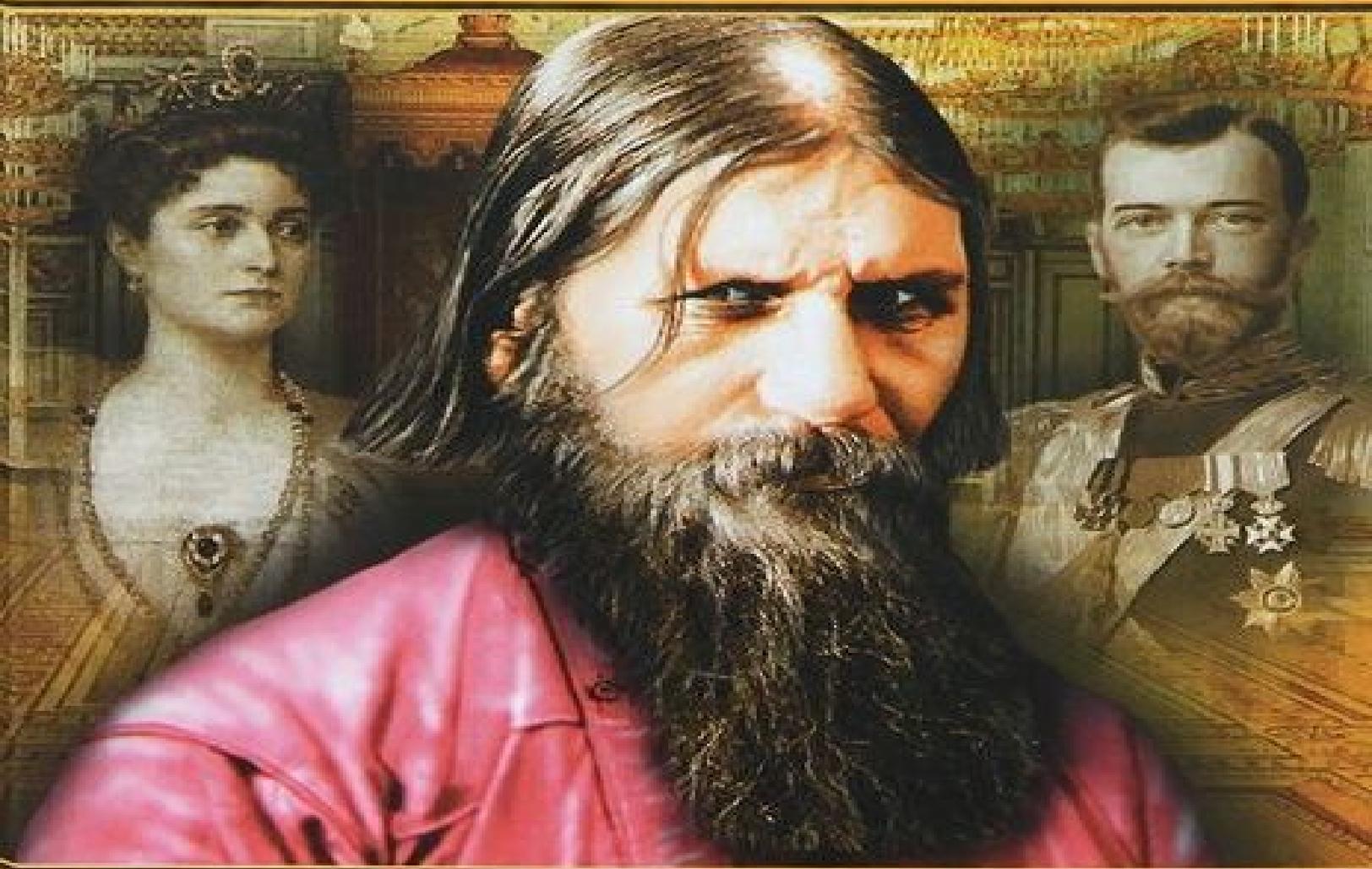


ВАЛЕНТИН Пиккуль

Нечистая сила



OZON.RU

Annotation

«Нечистая сила» — один из лучших романов Валентина Пикуля, а также достоверная повесть о жизни и гибели «святого черта» Григория Распутина. Его действие разворачивается в России в период между двумя революциями, а главный герой романа — Григорий Распутин...

- [Валентин Пикуль](#)
 - [Пролог](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Прелюдия к первой части](#)
 - [1. Гатчинские затворники](#)
 - [2. Сущий младенец Ники](#)
 - [3. Гессенская муха](#)
 - [4. Воспитательное путешествие](#)
 - [5. Колесо истории](#)
 - [6. Скандал в Ливадии](#)
 - [7. Нечистая сила](#)
 - [8. Житие царя тишайшего](#)
 - [9. Первые призраки](#)
 - [10. Звериный рык](#)
 - [11. Явление мессии](#)
 - [12. Чудо без чудес](#)
 - [13. Бесстыжий апостол](#)
 - [14. Парламент на крови](#)
 - [Финал первой части](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Прелюдия ко второй части](#)
 - [1. Первый блин комом](#)
 - [2. Салонная жизнь](#)
 - [3. «Нана» уже треснула](#)
 - [4. Самая короткая глава](#)

- [5. Темные люди](#)
- [6. Из грязи да в князи](#)
- [7. Дума перед думой](#)
- [8. Почти как в Англии](#)
- [9. Дуракам все в радость](#)
- [10. Бомба в портфеле](#)
- [11. Лампадный Гришенька](#)
- [12. Премьеры и примеры](#)
- [13. Друзья-приятели](#)
- [Финал второй части](#)
- [Часть третья](#)
 - [Прелюдия к третьей части](#)
 - [1. Скандальная жизнь](#)
 - [2. Cela me chatoville](#)
 - [3. Хоть топор вешай!](#)
 - [4. Гром и молния](#)
 - [5. Мой пупсик — мольтке](#)
 - [6. Бархатный сезон](#)
 - [7. Изгнание блудного беса](#)
 - [8. Родные пенаты](#)
 - [9. Вундеркинд с сахарной головкой](#)
 - [10. Коловращение жизни](#)
 - [11. И даже бетонные трубы](#)
 - [12. Три опасных свидания](#)
 - [13. На высшем и низшем уровне](#)
 - [Финал третьей части](#)
- [Часть четвертая](#)
 - [Прелюдия к четвертой части](#)
 - [1. Муравьиная куча](#)
 - [2. Саблер безо всяких «но»](#)
 - [3. Прохиндеи за работой](#)
 - [4. Провокатор нужен](#)
 - [5. На бланках «штандарта»](#)
 - [6. Третья декада августа](#)
 - [7. Сказка про белого бычка](#)
 - [8. Сказка о царе Салтане](#)
 - [9. Теперь отдыхать в Ливадию](#)

- [10. Так было — так будет!](#)
- [11. Кутерьма с ножницами](#)
- [12. Натиск продолжается](#)
- [13. Один Распутин или десять истерик](#)
- [Финал четвертой части](#)
- [Часть пятая](#)
 - [Прелюдия к пятой части](#)
 - [1. Вербовка агентов](#)
 - [2. Слепая кишка](#)
 - [3. Медленное кровотечение](#)
 - [4. В канун торжества](#)
 - [5. Романовские торжества](#)
 - [6. Горемычные истории](#)
 - [7. «Мы готовы!»](#)
 - [8. Герои сумерек](#)
 - [9. Июльская лихорадка](#)
 - [10. «Побольше допинга!»](#)
 - [11. Зато Париж был спасен](#)
 - [Финал пятой части](#)
- [Часть шестая](#)
 - [Прелюдия к шестой части](#)
 - [1. Все ставки на ставку](#)
 - [2. Штаб-квартира империи](#)
 - [3. Убиение «невинных» младенцев](#)
 - [4. Поклонение святым мощам](#)
 - [5. Открытые семафоры](#)
 - [6. «А нам наплевать!»](#)
 - [7. Мелочи жизни](#)
 - [8. Кесарю — кесарево](#)
 - [9. Мафия — в поте лица](#)
 - [10. Практика без теории](#)
 - [11. Заготовка дров](#)
 - [Финал шестой части](#)
- [Часть седьмая](#)
 - [Прелюдия к седьмой части](#)
 - [1. Мышиная возня](#)
 - [2. Бей дубьем и рублем](#)

- [3. Наша Маша привезла мир](#)
 - [4. «Навьи чары»](#)
 - [5. Мои любимые дохлые кошки](#)
 - [6. Ахтунг — Штюрмер!](#)
 - [7. Хвост в капкане](#)
 - [8. Когда отдыхают мозги](#)
 - [9. Торт от «Квисисаны»](#)
 - [10. «Мы плохо кончим...»](#)
 - [11. Война или мир?](#)
 - [12. Голоса певцов за сценой](#)
 - [13. «Про то попка ведает...»](#)
 - [Финал седьмой части](#)
- [Часть последняя](#)
 - [Прелюдия к последней части](#)
 - [1. Браво, Пуришкевич, браво!](#)
 - [2. Анкета на убийц](#)
 - [3. «Не спрашивай, не пытай, левконой...»](#)
 - [4. До шестнадцатого](#)
 - [5. Последний день мессии](#)
 - [6. Великосветский раут](#)
 - [7. «Византийская» ночь](#)
 - [8. Семейная революция](#)
 - [9. Трупное дело](#)
 - [10. Распутин жив!](#)
 - [11. Женщинам посвящается](#)
 - [Финал последней части](#)
- [Авторское заключение](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)

- [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
-

Валентин Пикуль

НЕЧИСТАЯ СИЛА

*Памяти моей
бабушки —
псковской
крестьянки
Василисы
Минаевны
Карениной,
которая всю свою
долгую жизнь
прожила не для
себя, а для людей,
— посвящаю.*

Пролог, который мог бы стать эпилогом

Старая русская история заканчивалась — начиналась новая. Стелясь в переулках крыльями, шарахались по своим пещерам гулко ухающие совы реакции... Первой исчезла куда-то не в меру догадливая Матильда Кшесинская, уникальнейшая прима весом в 2 пуда и 36 фунтов (пушинка русской сцены!); озверелая толпа дезертиров уже громила ее дворец, вдребезги разнося сказочные сады Семирамиды, где в пленительных кущах пели заморские птицы. Вездесущие газетчики утащили записную книжку балерины, и русский обыватель теперь мог узнать, как складывался поденный бюджет этой удивительной женщины:

За шляпку — 115 рубл.

Человеку на чай — 7 коп.

За костюм — 600 рубл.

Борная кислота — 15 коп.

Вовочке в подарок — 3 коп.

Императорскую чету временно содержали под арестом в Царском Селе; на митингах рабочих уже раздались призывы казнить «Николашку Кровавого», а из Англии обещали прислать за Романовыми крейсер, и Керенский выразил желание лично проводить царскую семью до Мурманска. Под окнами дворца студенты распевали:

Надо Алисе ехать назад,
Адрес для писем — Гессен — Дармштадт,
Фрау Алиса едет «нах Рейн»,
Фрау Алиса — ауфвидерзейн!

Кто бы поверил, что еще недавно они спорили:
— Монастырь над могилою незабвенного мученика мы так и назовем: Распутинским! — утверждала императрица.

— Дорогая Аликс, — отвечал супруг почтительно, — но такое название в народе истолкуют превратно, ибо фамилия звучит непристойно. Обитель лучше именовать Григорьевской.

— Нет, Распутинской! — настаивала царица. — Григориев на Руси сотни тысяч, а Распутин только один...

Помирились на том, что монастырь станет называться Царскосельско-Распутинским; перед архитектором Зверевым императрица раскрыла «идейный» замысел будущего храма: «Григория убили в проклятом Петербурге, а потому Распутинский монастырь вы повернете к столице глухой стеной без единого окошка. Фасад же обители, светлый и радостный, обратите на мой дворец...» 21 марта 1917 года, именно в день рождения Распутина, они собирались закладывать монастырь. Но в феврале, опережая царские графики, грянула революция, и казалось, что сбылась давнишняя угроза Гришки царям: «Вот уж! Меня не станет — и вас не будет». Это правда, что после убийства Распутина царь продержался на престоле всего 74 дня. Когда армия терпит разгром, она закапывает свои знамена, дабы они не достались победителю. Распутин лежал в земле, подобно знамени павшей монархии, и никто не знал, где его могила. Место его погребения Романовы скрывали...

Штабс-капитан Климов, служивший на зенитных батареях Царского Села, однажды гулял по окраинам парков; случайно он выбрел к штабелям досок и кирпичей, на снегу коченела недостроенная часовня. Офицер фонариком осветил ее своды, заметил черневший под алтарем провал. Протиснувшись в его углубление, оказался в подземелье часовни. Здесь стоял гроб — большой и черный, почти квадратный; в крышке было отверстие, вроде корабельного иллюминатора. Штабс-капитан направил луч фонаря прямо в это отверстие, и тогда на него из глубин небытия, жутко и призрачно, глянул сам Распутин...

Климов явился в Совет солдатских депутатов.

— Дураков-то на Руси много, — сказал он. — Не хватит ли уже экспериментов над русской психологией? Разве можем мы ручаться, что мракобесы не узнают, где лежит Гришка, как узнал это я? Надо от начала пресечь все паломничества распутинцев...

За это дело взялся солдат дивизиона броневиков большевик Г. В. Елин (вскоре первый начальник бронетанковых сил юной

Советской Республики). Весь в черной коже, гневно скрипящей, он решил предать Распутина казни — казни после смерти!

* * *

Сегодня дежурным по охране царской семьи был поручик Киселев; на кухне ему вручили обеденное меню для «граждан Романовых».

— Суп-похлебка, — читал Киселев, маршируя длинными коридорами, — пирожки и котлеты из корюшки-ризотто, отбивные из овощей, каша-размазня и оладьи со смородиной... Что ж, недурно!

Двери, ведущие в царские покои, отворились.

— Гражданин император, — произнес поручик, вручая меню, — позвольте обратить ваше высочайшее внимание...

Николай II отложил бульварный «Синий журнал» (в котором одни его министры были представлены на фоне тюремной решетки, а головы других обвивали веревки) и ответил поручику тускло:

— А вас не затрудняет несуразное сочетанье слов «гражданин» и «император»? Почему бы вам не называть меня проще...

Он хотел посоветовать, чтобы к нему обращались по имени-отчеству, но поручик Киселев понял намек иначе.

— *Ваше величество*, — шепнул он с оглядкой на двери, — солдатам гарнизона стало известно о могиле Распутина, сейчас они митингуют, решая, как им поступить с его прахом...

Императрица, вся в обостренном внимании, быстро переговорила с мужем по-английски, затем внезапно, даже не почуввав боли, сорвала с пальца драгоценный перстень, дар британской королевы Виктории, почти силком напялила его на мизинец поручика.

— Умоляю, — бормотала, — вы получите еще что вам угодно, только спасите! Бог накажет нас за это злодейство...

Состояние императрицы «было поистине ужасно, а еще того ужаснее — нервные подергивания лица и всего ея тела во время разговора с Киселевым, завершившегося сильным истерическим припадком». Поручик добежал до часовни, когда солдаты уже

работали заступами, озлобленно вскрывая каменный пол, чтобы добраться до гроба. Киселев начал протестовать:

— Неужели среди вас не найдется верующих в бога?

Нашлись и такие среди солдат революции.

— В бога мы верим, — говорили они. — Но при чем здесь Гришка? Мы же не кладбище грабим, чтобы нажиться. А ходить по земле, в которой лежит эта падла, не желаем, и все тут!

Киселев кинулся к служебному телефону, названивая в Таврический дворец, где заседало Временное правительство. На другом конце провода оказался комиссар Войтинский:

— Спасибо! Я доложу министру юстиции Керенскому...

А гроб с Распутиным солдаты уже несли по улицам. Среди местных обывателей, набежавших отовсюду, блуждали «вещественные доказательства», изъятые из могилы. Это было Евангелие в дорогом сафьяне и скромный образок, перевязанный шелковым бантиком, словно коробка конфет на именины. С исподу образа химическим карандашом императрица вывела свое имя с именами дочерей, ниже расписалась Вырубова; вокруг перечня имен рамкой разместились слова: *ТВОИ — СПАСИ — НАС — И ПОМИЛУЙ*. Снова начался митинг. Ораторы взбирались на крышку гроба, как на трибуну, и говорили о том, какая страшная звериная силища лежит вот здесь, попранная ими, но теперь они, граждане свободной России, смело топчут эту нечисть, которая никогда не воспрянет...

А в Таврическом дворце совещались министры.

— Это невысказано! — фыркнул Родзянко. — Если рабочие столицы узнают, что солдаты притащили Распутина, могут произойти нежелательные эксцессы. Александр Федорыч, а ваше мнение?

— Надо, — отвечал Керенский, — задержать манифестацию с трупом на Забалканском проспекте. Предлагаю: отнять гроб силой и тайно закопать его на кладбище Новодевичьего монастыря...

Вечером возле царскосельского вокзала Г. В. Елин остановил грузовик, спешащий в Петроград, солдаты водрузили Распутина в кузов автомобиля — и понеслись, только держи шапки!

— Вот уж чего я только не возил, — признался шофер. — И китайскую мебель, и бразильское какао, и даже елочные игрушки, но чтобы везти покойника... да еще Распутина! — такого со мной еще не бывало. Кстати, а куда вам надо, ребята?

— Да мы и сами не знаем. Ты, милоч, куды правишь?

— В гараж. Мой «бенц» придворного ведомства.

— Вези и нас туды. Утро вечера мудренее...

Грузовик с гробом Распутина въехал в гараж министерства двора, и тут заночевали по соседству с роскошными свадебными каретами царей. Временное правительство на рассвете узнало, что гроб с телом Распутина уже начал колесить по улицам и проспектам, словно солдаты еще не решили, как с ним поступить, и это беспокоило министров. Родзянко, вторые сутки не спавший, нехотя жевал бутерброд с черствым сыром, мрачно ругался:

— Сколько мне возни было с этим Гришкой, пока он щеголял тут живым, так теперь и от дохлого нет покою. Звоните же куда-нибудь! Выясняйте. Надо что-то делать с этим поганцем!

* * *

Невский, дом № 100 — штаб броневых сил Петрограда; полковник Антоновский названивал в Михайловский манеж:

— Второму дивизиону поручика Келлера выдать магнето, и пусть заводят моторы. Выезжать из манежа на первой скорости. Маршрут: Выборгское шоссе — в сторону Парголово.

— А что там стряслось, господин полковник?

— Стало известно, что Распутина повезли именно в этом направлении. Все трамваи города уже изменили маршруты — толпы народу едут в Парголово, туда бегут все кому не лень, будто Федя Шаляпин в ударе и дает там бесплатный концерт...

Между дачными станциями Шувалово и Ланская броневики включились в оцепление, дабы сдержатъ петербуржцев, нахлынувших сюда, как на праздник. В наведении порядка броневикам помогали низкорослые волынцы и казаки Сводного гвардейского полка. Внутри большого заснеженного поля закурился едучий дымок, потом пламя полыхнуло выше. Скоро язык костра, со свистом коптящий, казалось, коснется низко летящих облаков. Трескуче названивая, с Поклонной горы уже летела в низину выборгская пожарная команда; перед

красными, как огонь, повозками, перед первобытной яростью долгогривых пегих коней народ заранее разбежался в стороны... Решено было казнить Распутина именно здесь!

С гроба сбили тяжелую крышку, и перед людьми предстал долговязый мужик в вельветовых портках, в рубахе из тканого серебра. Пахло от Распутина приторно-сладко, но покойницкий дух забивал тончайший аромат благовоний, которыми его обильно умастила царица, а все раны на теле Распутина были искусно зашпаклеваны душистыми смолами. Всех особенно поразило, что впалые щеки Распутина были густейше нарумянены, а губы даже подкрашены. Сейчас он напоминал фараона дикой древности, извлеченного из лабиринтов загадочных пирамид... Вокруг топали валенками.

— Вот он какой! — кричали вразброд.

— Хоронили-то по первому разряду.

— Это верно... не как пса! Берегли...

А костер уже распылался так, что вокруг него оплавился снег. Пора извлекать мертвеца из гроба, однако охотников братья за него руками не нашлось. Пробовали зацепить Распутина крючьями, но Гришка вдруг начал расползаться, будто мокрое мыло. Тогда брандмайор, мужчина решительный, гаркнул:

— А чего мучиться? Гроб ему — вместо сковородки. Становь в духовку! Изжарим так, чтобы на зубах хрустел, язва!

Бесстрашные пожарные прислонили к поленнице костра два наклонных бревна, соорудив подобие аппарели, гроб с Распутиным был водружен на эти бревна, словно вагон на рельсы. Работая длинными баграми, солдаты толкали Распутина в самое пекло огня. Под влиянием жара труп начал корчиться, и Распутин вдруг... сел. Сел, и глаза у него стали... открываться! Гроб с треском плавился под ним, стекая в огонь каплями свинца и цинка. Брандмайор глянул на свои прожженные рукавицы, сказал:

— Горит, будто в аду. Приходи, кума, любоваться!

Сожжение продолжалось 10 часов подряд. К ночи пламя пошло на убыль, медленно меркли раскаленные угли. Дул сильный холодный ветер, разнося над толпой коптящий дым, однако народ не расходился. Ступая по жирному горячему пеплу, солдаты внимательно исследовали место казни. Вывод их был утешителен:

— Сгорел как свечка, и даже фитилька не осталось...

Всю землю вокруг костра перекопали лопатами, и никто бы не догадался, что здесь был казнен Распутин. А через несколько дней дотошные газетчики установили, что по странному капризу судьбы Распутин был предан казни как раз на том месте, где накануне рабочими-выборжцами была сожжена дотла роскошная вилла врача-шарлатана Джамсарана Бадмаева; история иногда словно подшучивает над людьми — пепел Гришки Распутина оказался перемешан с золою тайного притона, где он много лет пил и гулял, где он обдумывал свои черные планы. А потом сюда, на это ровное поле, повадились приезжать таинственные дамы, закрывая вуалями холеные породистые лица. Они торопливо собирали в сумочки землю пополам с пеплом и снегом, крестились, целуя ее, и уходили прочь — до ближайшей остановки кольцевого трамвая...

Окольными путями такая же горсть земли дошла и до бывшей императрицы, которая «впала в состояние анемии, потеряв способность не только передвигаться, но лишилась и дара речи. Болезнь на сей раз осложнилась параличом конечностей, и ее приходилось кормить, т. к. она не в состоянии была удержать в руках даже салфетку». Приступ неврастения сменился мрачной и тупой меланхолией. Императрица целыми, днями, безучастная ко всему на свете, просиживала в креслах, часто плача. На вопросы мужа она мычала, отвечая лишь слабым подергиванием плеч. Потом (что закономерно для этой женщины!) ее навестила острая форма мании преследования. Среди глубокой ночи дворец огласился дичайшим воплем, от которого даже бывалым солдатам стало не по себе:

— *Он жив...* Григорий опять со мною!

Николай II уговаривал жену успокоиться:

— Аликс, не кричи так. Неудобно перед охраной...

Вся колотясь, она рассказывала ему:

— Сейчас он навестил меня. Боже, в каком виде! Борода и волосы обгорели, Григорий с трудом передвигался на обожженных пятках... Он не сгорел! Укрываясь за плотным дымом, святой мученик выбрался из гроба... И знаешь, что он сказал мне?

— Что, милая Аликс?

— Нагнись, Ники, ко мне. Я шепну его слова...

Бывший император склонился над бывшей императрицей.

— Он сказал, чтобы мы скорее бежали. Надо бросить здесь все, даже детей, и... бежать, бежать! Англия, он сказал, не примет нас, а Керенский обманет. Бежать надо в Германию, у нас сейчас последняя надежда — на кузена-кайзера и на его могучую армию!

* * *

«Мне уютно в этой мрачной и одинокой бездне, имя которой — Петербург... Куда ты несешься, жизнь? Ото дня, от белой ночи — возбуждение, как от вина». Худущий, нелюдимый солдат в длинной шинели бродил по городу, размышляя о революции — неукротимой, как набег скифской конницы на чужеплеменные шатры.

Он забыл свои стихи и вспоминал тютчевские:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Столичные барышни вряд ли узнали бы теперь в этом солдате кумира их первой любви — Александра Блока! Нет, уже не стихи о Прекрасной Даме замышлял он на распутье ветров, где еще вчера старая цыганка дала ему поцеловать свою руку, всю в кольцах и перстнях. Теперь в нем — уже в зрелости — зарождалась книга о последних днях царской империи.

Да, скифы мы, да, азиаты мы
С раскосыми и жадными очами...

* * *

Запирайте этажи —
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

На скользком мосту, при зыбком свете фонаря, Блок записывал самое откровенное, самое наболевшее: «Что-то нервы притупились от виденного и слышанного. Опущусь — и сейчас же поднимается этот сидящий во мне Распутин... Все, все они — живые, и убитые дети моего века — сидят во мне. Сколько, сколько их!»

А на углу Офицерской и Лермонтовского мальчишки-газетчики звонко расторговывали народные лубки — последний шедевр подпольной литературы — «АКАФИСТ ГРИГОРИЮ РАСПУТИНУ»:

...Мы, Григорий Первый и Последний, конокрад и бывший Самодержец Всероссийский, Царь банный и Великий Князь драный и проч., объявляем всем нашим распутинцам, министрам, ворам-карманникам, жандармам-охранникам и прочей нашей сволочи: пребываем сейчас в аду и каждый день с Сатанинского благословения в баньке паримся... Дано в аду в день сороковой Нашей Собачьей Кончины. На подлинном верно Собственным Его Скотского Величества задним копытом наляпано —

Гришка,

а скрепил подпись адский секретарь барон фон Фридрихераус!

Часть первая

ПОМАЗАННИКИ БОЖИИ

(1880-е годы — осень 1905-го)

Конечно, мы ни на секунду не отступим от нашей марксистской философии, истории, мы знаем, что всякая личность, в том числе и личность монарха, закономерна. Но мы все-таки вряд ли предполагали все то количество глупости и подлости, которое наделали на своих тронах эти господа.

А. В. Луначарский

Прелюдия к первой части

Давно это было... На почтовом тракте, что стелился от Саратова в степи заволжские, служил в ямщиках мужик — прозванием Ефим Вилкин; небогато жил, ибо крепко запивал по трактирам дорожным. Сберется в «гоньбу» — честь честью, как положено, месяц или два нет его дома, а потом явился кормилец — все уже пропито и даже шапку с рукавицами посеял в дороге.

Завоет тут жена, заревут дети. Ефим тоже убивается:

— Пелагеюшка, не гневайся. Детки, не судите свою батюшку. Едешь-едешь, а тут — глядь — кабак. Как не зайти? Как не погреться? Опять же, щец похлебать охота. Ай-ай, во грех-то где! Попутал окаянный. Спаси и помилуй нас, царица-небесная...

Так и бедствовали. Но однажды отвозил Ефим Вилкин земскую почту на лошадях казенных. И столь упился на станции Снежино, что даже не заметил, как выпрягли коренника из оглобель, а люди вороватые на растопку печей и самоваров всю почту в клочки разнесли... Дело подсудное! Вилкина усадили в острог губернский, где он и казнился совестью. Уж как он плакал там, как он каялся — нет, не отпустили его до дому.

— Сиди! — было сказано, и сидел, коли велют.

Семья его за это время совсем обнищала. Жена нанималась к мещанам потолок белить, старший сын Лаврушка мыл коляски для господ проезжих; дома еще два рта разевались — Марьюшка, падучей страдавшая, да Гришенька, который с печи не слезал. Через год явился Ефим Вилкин, все иконы в избе перецеловал:

— Заручаюсь пред богом — винца в рот боле не возьму!

И слово сдержал — пить бросил. Однако, хотя и был Вилкин отныне тих, аки ангел, на почтовую гоньбу его не брали. Попробовал было при купцах устроиться — делать, что ни прикажут, но купцы иметь Ефима в услужении не пожелали. «Ты ж в остроге сиживал», — говорили ему... Вилкины вконец обхудились.

— Христа ради побираться надоть, — горевал Ефим.

Но тут повезло. По губернии Саратовской объявили призыв к малоземельным мужикам, чтобы искали счастья на просторах

сибирских, где жирная земля издревле лежит втуне, еще девственна, плугом не тронута... Вилкин сказал своей Пелагее:

— Ну, мать, выбирай: в Сибирь али башкой в прорубь...

Продали они домишко, перецеловались с родней, покидая ее на веки вечные, и покатали на восток, сидя на телеге поверх жалкого скарба. Переселенцев размещали в 80 верстах от Тюмени, на новых целинных землях, отчего сибиряки Ефима Вилкина прозвали на свой лад — «Новым»; по местному обычаю, дети Ефима именовались уже *Новых*, — так зародилась совсем другая фамилия, противу которой Вилкин не возражал: «За новой жизнью приехали — вот и поновились!» Скоро в тайге выросло молодое село, которое — по церкви — назвали Покровским, а покровские мужики выделяли Ефима как умевшего подписываться, как много повидавшего.

— Башка! — говорили они. — Энтот всем носы утрет...

За трезвость похвальную выбрали Ефима сначала в церковные старосты. А когда Покровское с окрестными выселками преобразовали в волость, Ефима Новых провели в волостные старшины. Далеким сном казались теперь мужику синие вьюги на заволжских трактах. Ефим картуз заимел, стал чайком из самовара баловаться. И даже дерзостно помышлял к старости кровать купить:

— С шарами... А шары чтоб сверкали, ядрена вошь!

Но даже во дни табельные, во дни значительные от водки он взоры свои геройски отвращал, говоря с немалым достоинством:

— Рад бы уважить, но потребить не могу. Потому как всю пайку винища, свыше мне господом отпущенную, уже восприял, по-божески, а ныне угощаться даже задарма не рыскну... Увольте, люди!

И дома у Новых — достаток, у каждого по тулупу и валенкам. Все трудились. Один лишь Гришка зимами на печи лежал, а по весне вытаскивал кислые овчины под плетень, дрыхнул на солнцепеке. Среди крестьянских детей выделялся он крайней нечистоплотностью, отчего его на селе иначе, как «сопляком», и не звали. Поначалу-то, дабы вразумить сыночка, Ефим немало вожжей об него измусолил. Но к труду приохотить не мог — и отступился:

— Пущай уж валяется... пададь. Слава те, хосподи, нонеча мы не бедные. Одно-то лодыря как-нибудь прокормим.

Вдруг начала помирать Пелагея, и Ефим велел Лаврентию скакать верхом по округе, дабы найти добрую знахарку. Сын вернулся домой,

когда мать уже на столе лежала, и сам свалился на лавку. Разгорячась, гнал он лошадь, на ветру ознобился — в сорок дён скрутила парня злая чахотка. Два могильных холма не успели еще травой порости, как случилась новая беда. Пошла как-то Марья стирать на речку, нагнулась над водой, чтобы порты батькины прополоскать, тут девку схватило в корчах — и бултых в воду! Под праздник светлого воскресения Ефим Новых разговелся в церкви и объявил односельчанам:

— Видать, не угодил я богу. Теперича *рыскну*...

И — запил! Начал разорять хозяйство с телеги, а кончил тем, что даже иконы пропил. Осталась голая изба, вся в паутине. Град выбил стекла в окошках, Гришка кое-как заткнул их старыми валенками. Ефима лишили звания церковного старосты, а губернатор не стал держать его в волостных старшинах. Земля опустела — отец пьяный да сын ленивый, разве они зерно бросят в землю? Чтобы не возиться с нею, разом пропил Ефим и землю — аж до самого плетня, что ограждал его дом от забытой пашни. Потом и плетень обменял за два штофа... Сам пил, угощал и сынка родимого:

— Пей, Гришуня, да поговори со мной. Скушно мне!

Гришка подрастал в звериной молчаливости. В ту пору, когда он водки попробовал, было ему годков пятнадцать, не больше. Вырос костлявым, мокрогубым, бессловесным, рано полезла из него мужская растительность. В один из дней, мучимый с похмелья, Ефим стащил с соседского забора цветной половик из тряпок, отнес его в кабак. В необъятных анналах истории по этому поводу сказано: «Крестьяне порешили бывшего своего кумира собственным мужицким судом: ворвались в избу к нему, поочередно избивая Ефима, переломав ему все ребра сразу, так что он вздохнуть не мог и потерял сознание». Из уезда приехал фельдшер, велел доставить избитого в больницу — до города. Покровские мужики лошадь с телегой дали, но ехать до Тюмени не пожелали:

— Пущай Гришка и отвозит, он же сыном ему доводится, а мы Ефиму не родня. А коль помрет Ефим... ну-к, што с того? С кем того не бывает? И все порем... Эка невидаль!

Сын отвез полумертвого отца до Тюмени, и всю долгую дорогу, бултыхаясь в соломе, тот поминал свою мечту о кровати:

— Не повезло. Видать, не леживать мягко под шарами...

Гришка в больнице так и остался. Жил под лестницей, кормился объедками от больных. А врачи подростка заметили:

— Эй, малый! Не крутись без толку. Ступай в палату и за сидельца будь. Да приучись руки-то с мылом мыть...

Средь тюменских врачей немало было тогда и сосланных студентов, вечно движимых лучшими побуждениями. От них Гришка кое-как постиг грамоту, научился читать вывески на трактирах. Любил он, когда стихнет в больнице, приткнуться в уголку и слушать умные речи. Мудростью не проникся, но кое-что из радикальных суждений все-таки запало в душу. Был он, однако, сонлив и ленив, труда избегал, в повадках нерасторопен.

— Сиделец, — истошно звали его из палаты, — тащи судно скорей! Или сам не вишь, что человек под себя нуждается!

Таскать горшки из-под хворых — работа, вестимо, не из самых веселых. Но зато (будем справедливы) в больнице тепло и сытно, никто Гришку не обижал, мог бы он годков через пять и в санитары выбиться. Но тут лукавый попутал — стащил Гришка узелок с деньгами, что остался лежать под подушкой умершего...

Врачи вышибли его из больницы на улицу!

Долго скитался парень, бездомный, подворовывая где мог, потом перебрался в губернский Тобольск. Муза истории, божественная Клио, временно потеряла его из виду, а через несколько лет она обнаружила Гришку половым в трактире по названию «Не рыдай». В трактире этом с утра до ночи только и слышалось:

— Гришка, самовар благородным клиентам оттащи.

— Чичас! Вот тока пьяного вышибу.

— Девицу Цветкову провесть до купца Ужаснова.

— Моментом! Эй, Дашка, пошли.

— Гришка, дюжину пива господам извозчикам.

— Сей секунд! Тока вот блевотину подотру...

«Не рыдай» был такой славы, что добрых людей туда на аркане не затащишь. Но в Тобольске считался самым веселым местом, где можно и себя показать, и на людей посмотреть. Опять же Гришке здорово повезло: водки этой самой — хоть залейся! После гостей в рюмках столько недопито, что к вечеру сам едва на ногах стоишь. Пьяницы, они ведь балованы — вилкой закусочку сверху ковырнут, а далее больше разговаривают. И сыт и пьян Гришка!

Но однажды пришли в трактир двое. На диво трезвые. Одеты суконно. В сапогах со скрипом на высоком московском ранте. И вели себя вполне осмысленно: гоняли чай с конфеткой вприкуску, глазами по сторонам бдительно зыркая. Присмотрелись они, что за люди вокруг, и один из них властно поманил Григория пальцем:

— Эй, носатый, подь сюды... Да не бойсь — спросить хотим. Не знаешь ли, кака кобыла дешевле — куплена али крадена?

— Гг-гы-гы! Всяк знает, что крадена дешевле.

— Уверен? — спросили его. — Тогда пошли с нами...

Гришку закружило в лихой и опасной жизни, в которой — ни кола, ни двора, сегодня не ведал он, будет ли жив завтра. Заматерел, заволосател. Конокрад деревенский — всеми палками битый, мрачный и страшный... С богатой выручки на ярмарках плясал он по трактирам в рубахе, расшитой васильками, висли на его жилистой шее развеселые бабы-солдатки:

— Ох, и Гришка! Сокол ты наш разлюбезный... жги!

* * *

Как раз о ту пору прогремел на Москве судебный процесс — судили *всю* деревню, от мала до велика. Мужики, бабы и дети линчевали конокрада дрекольем. Экспертиза установила, что у конокрада были разорваны шейные позвонки, отчего он — по всем правилам! — должен бы умереть на месте. Однако вор доказал, что наука способна ошибаться. Замертво рухнув, конокрад вдруг воспрянул от земли и пулей влетел в деревенский кабак. Там он хлестанул косушку водки, закусил шматом жирной ветчины с хлебом, после чего покорился выводам медицины и умер на пороге, не расплатившись за выпивку и закуску... Путаная русская жизнь породила особых людей с философией проще лаптя лыкового: «Краденая кобыла дешевле купленной!» В конокрады шли мужики, безжалостные к людскому горю, двужилые здоровьем, заранее готовые выносить побои от целой деревни. Конокрад невольно становился отщепенцем народа и с каждой украденной лошадью

отходил от крестьянского мира все дальше, вставая не только против закона, но и делаясь врагом своего народа, который он — враждуя с ним! — учился презирать. И носили они сапоги со скрипом, рубахи шелковые, ножички за голенищами, а в глазах у конокрадов было что-то дикое и озорное, было что-то бесовское.

Их боялись мужики, но зато как любили бабы!

...А теперь, читатель, мы отправимся в Гатчину.

1. Гатчинские затворники

Сто лет назад Гатчинский замок казался столь же несуразен и дик, как и сегодня. Каркали вороны в старинном парке. Вечерняя метель заносила тропинки... В тесной комнате замка, заставленной неуклюжей мебелью, ворочался, словно медведь в посудной лавке, громадный дядька с бородой, из-под которой проглядывало плоское лицо калмыцкого типа. Вот он протиснулся к столу, что-то начал писать — и перо кажется ничтожным в его большущей лапе с красными, будто ошпаренными кипятком, пальцами. Дверь в соседнюю комнату чуть приоткрыта, и время от времени жена заглядывает в кабинет мужа. *Пока* все идет как надо: муж вершит делами государства, а она... она штопает его носки.

Речь идет об императоре Александре III.

Это — тип! Грубый и нетерпимый, зато яркий и выразительный. Не анекдот, что боцмана Балтийского флота учились материться у этого императора; на флоте даже бытовало выражение «обложить по-александровски». На докладе министра просвещения он наложил историческую резолюцию: «Прекращай ты это образование!» Всю жизнь его глодала забота обставить свой быт как можно скромнее. Обожал крохотные комнатенки и низкие потолки. Став императором, из Аничкова дворца перебрался в Гатчинский замок, где безжалостно распихал семью по клетушкам лакейских антресолей.

— Даже рояля негде поставить, — жаловалась императрица.

— Но зато, Мари, еще есть место для пианино... Когда приехала гостить греческая королева Ольга, спать ее положили в большую ванну. Хорошо, что женщина была бедовая, с чувством юмора, а другая бы обиделась. Александр III таскал мундир, сопревший по швам; быстро полнея, он велел портным расставить рейтузы, чтобы в них вшили клинья. В крайности всегда есть доля безобразия. Императрица как-то получила фотографии от датских родственников, показывая их мужу, она просила:

— Сашка, можно я закажу для них дешевые рамочки?

— Ах, Мари! Тебе бы только деньги на пустяки тратить...

Фотографии королей и принцев пришили на стенках канцелярскими кнопками, будто в казарме. Штаны его величества неприлично лоснились сзади, вытертые от прилежного сидения. Сколько бы ни навалили бумаг министры, император корпел над ними до глубокой ночи, считая себя обязанным изучить каждую бумажку. Недостаток образования царь восполнял примерным усердием, словно мелкотравчатый чиновник, не теряющий надежд когда-нибудь выбиться в люди. Дело в том, что к роли самодержца его никто не готовил, и смолodu Александр бесцельно толкался в передних отца, не всегда трезвый. В цари готовили его брата Николая, на которого и проливалась вся земная благодать. Профессура вкладывала в него массу знаний, на Николая текли меды и сливки, ему сыскали самую красивую невесту в Европе. Но в 1865 году Николай скончался от излишеств, и права престолонаследования механически перенесли на Александра; с титулом цесаревича он унаследовал и невесту покойного брата — принцессу Дагмару Датскую, которая в крещении стала зваться Марией Федоровной...

Вот сейчас она сидит в соседней комнате и — мешает ему! Как раз пришло время хватить гвардейский «тычок» без закуски, а Машка торчит там и подсматривает, как бы муженек не выпил чего-либо. Отложив перо, император подкрадывается к буфету. Без скрипа отворяются дверцы, заранее (какое гениальное предвидение!) смазанные. Вот и вожделенный графин. Засим следует легкое, давно обдуманное наклонение его над рюмкой.

Но раздаётся предательское — буль-буль-буль.

В дверях уже стоит жена со старым носком в руках.

— Ах, Сашка, Сашка, — говорит она с укоризной. — Зачем ты хочешь обмануть свою старую Мари? Ведь тебе нельзя пить...

Александр III, шумно вздыхая, снова берется за дела великой и могучей империи. Правда, у самодержца прибережен один вариант в запасе. Вдруг он встает, бодро направляясь к дверям.

— Сашка, ты куда? — окликает его жена.

В ответ следует патетическое признание мужа:

— Ах, милая Мари! Не отнимай у меня хоть одно право — побывать там, куда и цари ходят своими ногами...

Теперь, когда лучезарная свобода на миг обретена, скорее вниз — в подвалы замка, где денно и ночью работает царская кухня. Здесь

появление императора никого не удивляет: привыкли!

— Василь Федорыч, скорей подавай «дежурного»...

Ему вручают ковш с водкой. Сладостно зажмурившись, царь осушает его до дна. Отовсюду слышны советы поваров:

— Ваше величество, закусите... нельзя же так!

— Некогда, братцы. А за поддержку — царское вам спасибо...

Опьянение у него выражалось в одной привычке, которой он не изменял смолоду. Император ложился спиной на пол и начинал хватать за ноги проходящих людей, слегка и игриво их покусывая. В таких случаях камер-лакеи звали царицу. «Сашка, — говорила она, — сейчас же спать... Ты пьян!» И самодержец всея Руси, Большая и Малая, Белая и Прочая, не шумствуя (и не стараясь доказать, что он трезвый), самым покорнейшим образом убирался в спальню. Гатчинский замок, и без того угрюмый, становился во мраке словно заколдован; в ночи гулко цокали копытами лошадей лейб-казачьи разъезды... Петербуржцы называли царя «гатчинским затворником», а европейская пресса — «пленником революции». Этот самодержец с тяжелым воловьим взором иногда умел и ошарашить Европу! В острый момент политического кризиса, когда многие страны искали поддержки у России, он провозглашал тост: «Пью за здоровье моего *единственного друга*, короля Черногории, а иных друзей у России пока что нет». Но подобные выкрутасы не были пустозвонством. Царь был уверен в несокрушимой мощи своего государства, и, выпивая чарку за здоровье южных славян, напускал похмельную икоту на Габсбургов. Военный авторитет России стоял тогда очень высоко, и Европа смиренно выжидала, что скажут на берегах Невы...

— А пока русский император изволит ловить рыбку, — говорил Александр III, закидывая удочку в мутные гатчинские пруды, — Европа может и потерпеть. Ничего с ней не случится!

* * *

Ему повезло — он любил жену (редчайший случай в династии Романовых!). В окружении дядей и братьев, среди которых процветали

самые гнусные формы разврата, Александр III сумел сохранить здоровое мужское нутро. Говорили, что царь вообще однолюб. В дневнике он заполнил страницу непорочным описанием своей первой брачной ночи. И — никаких оргий! Страшный пьяница, он не устраивал гомерических пооек, а надирался втихомолку. Начальник его охраны, генерал Петр Черевин, по совместительству исполнял должность и царского собутыльника... Поэты демократического лагеря даже восхваляли императора за явную скромность:

Матку-правду говоря, гатчинский затворник
Очень плох в роли царя, но зато не ёрник.
Хоть умом и не горазд, но не азиатец —
Не великий педераст, как Сережа-братец.

Мария Федоровна до старости была неутомимой танцовкой. Император сидел на балах в уголочке, издали наблюдая, как веселится красивая жена, и, не видя конца ее пляскам, он потихоньку выкручивал «пробки» — дворец погружался во мрак. Женщина с большой волей и выдержкой, Мария сумела подобрать отмычки к сердцу грубияна-мужа. Вполне счастливая в браке, она произвела на свет трех сыновей — Николая, Георгия и Михаила (Ники, Жоржа и Мишку). Старшего царь порол как сидорову козу, среднего поднимал за уши, показывая ему Кронштадт на седьмом небе, а младшего... младшего он и пальцем не тронул, хотя частенько грозился:

— Мишка, ты не шали, иначе я дам тебе дёру!

Мария Федоровна приехала в Россию, везя в своем багаже запасы лютейшей ненависти к бисмарковской Германии, и этих запасов хватило на всю ее долгую жизнь. Она страдала за свою маленькую отчизну, на которую в 1864 году напали немцы, отнявшие Шлезвиг-Голштинию, и датская принцесса, став русской императрицей, уже никогда этого не простила. Под сильным влиянием жены Александр III мстительно затирал людей с немецкими фамилиями, двигая по «Табели о рангах» всяких Ивановых, Петровых и Николаевых. Настала пора бурной русификации всего чужеродного, что было усвоено прежними императорами. Вдруг исчезли усы и бакенбарды. Подражая неприхотливому властелину, генералы и министры России буйно

зарастали густопсовыми бородами. Чем пышнее была растительность, тем больше было шансов выказать себя отчаянным патриотом. На русский же лад заново переобмундировали и армию. Солдат при Александре III получил удобную и легкую гимнастерку. Офицерский корпус принарядили в шаровары и сапоги бутылками, появились высокие мерлушковые папахи генералов и шинели упрощенного образца с двумя рядами пуговиц... Перед нами исторический парадокс: сын и внук германофилов стал отчаянным русофилом!

А жена не уставала нашептывать ему слова ненависти к жаждающей добычи Германии. Тактично оставаясь в тени престола, она настойчиво подталкивала мужа в объятия поверженной Франции, которая была готова на все — лишь бы иметь Россию в друзьях. И вот русские броненосцы отшвартовались в Тулоне; матросы вернулись в Кронштадт, имея на запястьях массивные браслеты из чистого золота, — так пылкие француженки передали оригинальный привет русскому флоту. Усиленно ковалась новая ось *ПАРИЖ — ПЕТЕРБУРГ*, безжалостно пронизывающая сердце Германии! Франция устраивала шумные «русские базары», где нарасхват шли тульские самовары, тряпичные матрешки, всякие там ваньки-встаньки, игрушки-дергалки, в которых два медведя усердно кузнечили молотками по наковальне. Парижане жадно скупали иконы, вышивки, кружева, меха Сибири и оренбургские платки, проскальзывавшие в самое узкое кольцо... Петербург не спеша разворачивался на фарватер незнакомой для России политики: от Берлина — к Парижу! Правда, при встрече французской эскадры случилось быть немалою конфузу. Сможет ли Александр III обнажить голову, чтобы с благодатным вниманием прослушать «Марсельезу», зовущую к восстанию против деспотов?.. Минута была критическая. Рядом с массивною глыбой императора на мостике «Александрии» колыхалась стройная фигура жены, затянутой в серую чешуйчатую парчу. Она вдруг что-то резко сказала, и царь-деспот покорно стащил с головы фуражку.

— Пусть оркестры не стесняются, — сказал он. — Я ведь не композитор, чтобы сочинять для французов новые гимны...

На эскадре приплыли в Петербург республиканские министры, спешившие закрепить союз, который позже переплавится в тройственную Антанту. Под жерлами путиловских пушек накрывали

столы для банкета. Орудийные салюты русских броненосцев созывали гостей к завтраку. Корабельные оркестры играли попеременно — то «К оружию, граждане!», то «Боже, царя храни!». Мария Федоровна, прежде чем проследовать к столу, все же успела шепнуть мужу:

— Сашка, умоляю — не напейся. Не ставь себя и меня в неловкое положение. Здесь тебе не Гатчина, и если ляжешь на палубу, кусая республиканцев за ноги, они тебя просто не поймут!

* * *

Когда Ники станет императором Николаем II, политическое наследство отца будет виснуть на его ноге тяжелой гирей.

2. Сущий младенец Ники

Но иногда (по старой дружбе) германские эскадры, пачкая дымом балтийские рассветы, заворачивали к Петербургу. Вильгельм II обожал демонстрировать возросшую мощь своего флота. «Вилли производит впечатление человека дурно воспитанного, — говорил Александр III. — Не мое это дело, но, будь он моим сыном, я бы порол его с утра до ночи!» Кайзер отзывался о русском императоре с не меньшей злобой: «Это просто дикарь, считающий себя неуязвимым за бастионами былой русской славы. Он не понимает, что Россия начала превращаться в большую кучу гнилой картошки...»

Германские крейсера бросали якоря вдали от Кронштадта.

Александр III спрашивал брата — генерал-адмирала:

— Алешка, чего эти фервлюхтеры там застряли?

— Вилли ждет, чтобы ты отдал ему первый визит.

— Пошли туда флотского флигель-адъютанта, и пусть он за шкуру притащит ко мне этого берлинского зазнайку...

Иной прием встречал Вильгельм II у наследника русского престола — цесаревича Николая; во время прогулок в Петергофе кайзер неизменно вставал от Ники по правому боку, чтобы цесаревич не замечал его левой руки, высохшей, как гороховый стручок, и обезображенной от рождения.

Николая кайзер подчинял, подавляя нещадно:

— Проклятье божие еще веками будет тяготеть над Францией. Ваш союз с республиканцами — это угроза святым монархическим принципам. Но если вы измазались в этом альянсе с лягушатниками, так хотя бы держи их в руках, чтобы не сели тебе на шею.

Вовсю шумели каскады и фонтаны, ликующая свежая вода дробилась на мириады брызг. Николай выглядел смущенно.

— Но так решил папа. А я ведь еще не император...

Кайзер четко впечатывал в песок каблуки своих кованых сапог с блямбами лейб-уланского полка на сверкающих голенищах.

— Я говорю с тобой как с кесарем... будущим! На твоём месте, владей я Россией, постарался бы забыть, что такая Европа вообще существует. Германия, дружественная тебе, своими силами способна

переколотить все горшки на кухнях Парижа, Брюсселя и даже... в Лондоне! Твоя же страна чисто азиатская, русское будущее — на Востоке, и ты, Ники, должен с Востоком поспешить, пока туда не забралась известные в мире нахалы — англичане... Не забывай, — намекал Вилли, — что твоя прабабка была внучкой Фридриха Великого, кровь «старого Фрица» кипит в твоих жилах, как она кипит и в моих. Дай руку! Я неисправимый идеалист, и потому я слышу повелительный голос крови...

* * *

Очень важно для раскрытия человека изнутри знать: что он читал? Из газет Николай II всю жизнь прочитывал «Русский Инвалид», выходящий из типографии на ура-кричащих костылях. Обожал юмористические журналы с картинками, которые бережно собирал в подшивки, отдавая в конце года переплетать лучшим мастерам. Из писателей же пуще всех ценил Гоголя, ибо его шаржированные герои выглядели убудочно-идиотски. Николаю нравилось отражение русской жизни в кривом зеркале, его забавляло и тешило, что Гоголь видел в России только взяточников, мерзавцев, сутяг и жуликов, — понятно, что рядом с его нищими духом героями Николай II, конечно же, во многом выигрывал!

Жизнь наследника слагалась в замкнутом треугольнике: Гатчина — Копенгаген — Ливадия. Невнятным шепотком вельможи судачили, что Николаю на престоле не бывать, а бывать Михаилу. Симпатии матери тоже сосредоточились на младшем сыне. Однажды под окнами дворца вдруг грянул гимн, который исполнялся только при выходе императора. Выяснилось, что гимн велел сыграть в свою честь Мишка! Но и в этом геройском случае экзекуция любимца родителей ограничилась лишь грозным окриком царя:

— Мишка, ох, дождешься... ох, и выдеру же я тебя! Или ты не знаешь, что наследником твой брат Ники!

Александр III постоянно ворчал на жену, что она «испортила породу Романовых». Худосочие наследника вызывало тревогу

родителей, из Германии вызвали знаменитого врача, который, осмотрев Ники, заявил отцу, что цесаревич будет здоров, когда прекратит предаваться тайному пороку. За это врач получил гонорар... хорошую оплеуху от самого императора! Ники с детства страдал сильными головными болями. Он не удался в родителей — ни красотой матери, ни отцовскою статью. Подрастая, цесаревич производил на окружающих странное впечатление. «Наполовину ребенок, наполовину мужчина, маленького роста, худощавый и незначительный... говорят, он упрям и проявляет удивительные легкомыслие и бесчувственность!» Повесить щенка на березе или прищемить в дверях беременную кошку было для Ники парюю пустяков.

Визжат? Хотят жить?

— Интересно, как они подышают, — говорил Ники, смеясь.

Императрицу однажды навесил граф Шереметев.

— Вчера меня, — сообщил он, — посетил ваш сын с сестрою Ксенией. Я сам был молод и тоже, прости, господи, любил побеситься. Но... цесаревич ведет себя довольно-таки странно.

— Что он там еще натворил? — нахмурилась мать.

— Впрочем, ничего! Только носился по комнатам, все к чертям перевертывая. *Играл в прятки.* Прятки так прятки, — согласился Шереметев, огорченно вздыхая. — Но смею думать, что когда человеку с усами пошло уже на третий десяток жизни, мне кажется, что он мог бы проводить свои вечера более содержательно.

— Ах, вот оно что! — рассмеялась царица-мать. — Но, милый граф, вы же сами знаете, что мой Ники еще сущий младенец.

Министр финансов Витте, видя, что молодой мужчина болтается без дела, хотел приобщить цесаревича к делам государства, но Александр III отвечал за это министру — честнейше:

— Сергей Юльевич, вы же сами видите, что мой сын растет оболтусом, каких еще поискать. Он запоздал в своем развитии...

А сил, чтобы развить в цесаревиче грамотного человека, было положено немало. Достаточно сказать, что химию ему преподавал славный Бекетов, композитор Кюи читал курс фортификации. Знаменитый умница Драгомиров, дававший наследнику уроки тактики, первым осознал всю тщету этих занятий.

— Не в коня корм! — заявил генерал сердито. — *Сидеть* на престоле годен, но *стоять* во главе России неспособен...

Николая пичкали науками до 22 лет, после чего он радостно отметил в дневнике, что отныне с образованием покончено — раз и навсегда! Дневнику он поверял и свои главные впечатления:

«Танцевали до упаду... Ужасная смерть Литца, которого разорвали собаки... Поехали на каток, покалечились... Изрядно нализались... Очень смеялся и забавлялся... Обед у кавалергардов. Венгерцы, песенники и цыгане... Обедали у Черевина; он, бедный, совершенно надрызгался... Был картофель и Ольга к чаю... Ко мне слишком приставала кн. Урусова (гречанка)... Я проиграл 9 руб., потом весело ужинал с песнями... Закусывали с подобающими винами и песнями... Поехал к Бергамаско и снялся с Татьяною в разных положениях... Целый день возился с насморком. Закусывал по обыкновению... Закусывали у себя... Катался с Ксенией, хлыщил за девицами по набережной... Лежали на лужайке и пили... Опять пили... Пили и закусывали...»

Пользу из учения Николай взял только от англичанина Хетса, преподававшего ему английскую речь. Хетсу удалось привить цесаревичу отличное знание языка и любовь к спортивной ходьбе. Последним обстоятельством Ники явно гордился и буквально замучивал людей, рискнувших с ним прогуляться. Позже наследник самолично освоил процесс заготовки дров, и — надо признать! — чурбаки он колот вдохновенно. Многие тогда поражались, что образование цесаревича не превышает кругозора кавалерийского поручика. Зато военная служба его оживляла! Пребывание в лейб-гусарах, которыми командовал «дядя Николаша» (великий князь Николай Николаевич), увлекло наследника. Повальное пьянство здесь начиналось с утра, а к вечеру уже наблюдали зеленых чертей. Иногда гусарам казалось, что они совсем не люди, а... волки. Они раздевались донага и выбегали на улицу, залитую лунным светом. Голые, вставали на четвереньки, терлись носами и кусались. Задрав к небу безумные лица, громко и жалобно завывали. На крыльцо вытаскивали громадное корыто, которое доплна наливали водкой или шампанским. Лейб-гусарская стая лакала вино языками, визжала и грызлась... Очевидец таких сцен пишет: «Никто, быть может, не обращал внимания, что организм Николая уже начинал отравляться алкоголем: тон лица

желтел, глаза нехорошо блестели, под ними образовывалась припухлость, свойственная привычным алкоголикам». Но еще страшнее оказалось воздействие на цесаревича другого его дяди, Сергея Александровича, который «протащил» племянника через угар великосветских притонов. Ежедневные вакханалии Ники с дядей-гомосексуалистом гремели тогда на весь Петербург, «и часто случалось, что гвардейские офицеры доставляли его домой в бесчувственно-пьяном виде». Чтобы оградить сына от излишеств, царица переговорила с мадам Мятлевой, у которой была разбитная дочка и четыре дачи по Петергофскому шоссе, стоившие 100 000 рублей. «А я вам за эти дачи уплачу триста тысяч, — сказала царица Мятлевой, — но вы должны закрыть глаза на поведение своей дочери... Что делать, если мой Ники нуждается в гигиенической прелюдии к браку!» Эта циничная спекуляция совершилась в 1888 году. «Ники еще суший младенец», — уверяла всех царица-мать...

Отчасти она права: Николай порою вел себя как недоразвитый ребенок. Приникнув к решетке Аничкова сада, он часами следил за движением публики на Невском проспекте. В красочном разнообразии афиш и реклам катились конки и кареты, прохаживались военные, спешили курсистки и студенты, бодро шагали по своим делам осанистые жандармы. Если бы кто из них заметил в кустах чье-то незначительное лицо с усиками, то, конечно же, не мог бы подумать, что там — за решеткой! — торчит цесаревич, будущий император России, и с невольной завистью взирает на яркое оживление чужой для него толпы, которой он скоро может повелевать.

* * *

Белая мучнистая пыль нависла над плацами и лагерями русской гвардии. Маневренный сезон открыт... Между Петергофом и Царской Славянкой до поздней осени крутится и бьется, подражая настоящей битве, запутанный клубок мнимо враждующих полков. А по вечерам в зелени дачных садиков загораются лампы, из темени брызжут ухарские гитары улан, с треском вылетают пробки из бутылей с

шампанским, от веранды к веранде шляются, таская в пылище пудовые юбки, загорелые ведьмы-цыганки: погадать бриллиантовому, наворожить яхонтовому... не надо ль?

Красное Село — жарко тут, душно. В стойлах хрумкали сено уставшие за день кони. Вальсы Штрауса неслись от курзала, кричали поезда на станции. Семейные полковники, встретив своих жен, уводили их в дачные кущи — под уютную сень домашних самоваров. Холостяки фланировали по бульварам, а возле лагерного театра царила, как всегда, обычная суতোлка любителей Терпсихоры. «Господа, — слышались голоса, — а это правда, что вечером танцует наша несравненная Малечка?..» «Малечка — так в кругах гвардии называли Кшесинскую. Сегодня она была в ударе. Великие князья Николай и Георгий, бисирующие ей из царской ложи, обтянутой фиолетовым бархатом, словно подогревали балерину. Белая полоска крупных и чистых зубов женщины обворожительно сверкала в потемках зрительного зала...

В антракте Жорж цинично сказал брату Ники:

— Бабец, конечно, лейб-гвардейский! Навестим-ка ее за кулисами и посмотрим, как она будет переодевать трико...

6 июля 1890 года Николай записал в дневнике: «Положительно Кшесинская меня очень занимает». Через несколько дней он повторил эту запись почти буквально: «Кшесинская мне положительно очень нравится». Великий князь Георгий, кажется, опередил своего брата, но цесаревича балерина тоже не отвергла... С той поры прошло много-много лет. Острые углы обкатала безжалостная река времени. С разумным тактом мы сумели отделить балерину от женщины. В нашей памяти уцелела большая и талантливая актриса. И все-таки, как ни старайся забыть дурное, Кшесинская останется для нас «роковой героиней». История знает, что почти все женщины, отмеченные подобным клеймом, как правило, были некрасивы. Вот и Малечка — крепко сбитая, с «пузырчатыми» мышцами ненормально коротких ног, невысокая и ладная, с осиной талией, а волосы темные... Даже придворные ненавидели эту «технически сильную, нравственно нахальную, циничную и наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями». Нет, она не ангел! И жила не как балерина: отчаянно кутила, ела и пила, что душе угодно, ночи напролет резалась в карты, огненные рысаки увозили ее в ночные шантаны. Беспутство

не губило ее таланта, а бессонные ночи не портили внешности. Зато потом следовал жестокий режим, почти тюремный, и строжайшая диета. Кшесинская вставала к станку и работала так, что пот хлестал с нее струями. Она трудилась, шлифуя свой талант, словно одержимая. И только крах царизма затормозил эту удивительную карьеру — итальянский лайнер «Семирамида» увез ее от нас навсегда...

...Между тем пора бы уж цесаревичу и жениться!

3. Гессенская муха

Остроумцы прошлых времен говорили: Петр I прорубил окно в Европу, не догадываясь, что через это окно ползут в Россию всякие воры и негодяи. В это же легендарное окно залетела на Русь и гессенская муха — вредитель злаков, пожиривший побеги пшеницы. Эту муху распространили по миру солдаты из Гессена, которые вывезли ее со своим фуражом. Гессенская муха ежегодно уничтожала на полях России посевы хлебов и была злостным врагом мужиков. Однако речь пойдет о другой «мухе», более опасной и зловредной. Но каждая история имеет свою предысторию...

* * *

К тому времени, когда Ники стал женихом, рекорды по долголетию царствования побивала Виктория — королева Великобритании и Ирландии (она же императрица Индии). Англия уже отпраздновала золотой юбилей ее правления и готовилась отмечать бриллиантовый. Своим долгим веком высокомерная королева внесла в быт Европы новое историческое понятие — викторианство... Помните, наверное, что писала наша незабвенная Анна Ахматова:

А с Запада несло викторианским чванством,
Летели конфетти и подвывал канкан...

Понятно, что с высоты своего величия Виктория смело вершила браки своих дочерей. Старшая стала императрицей Германской, породив кайзера Вильгельма II (он открыто презирал свою маменьку за то, что в душе она оставалась англичанкой). Младшую дочь — Алису-Мод-Мэри — Виктория неосмотрительно выдала за герцога Людвига IV Гессен-Дармштадтского, и этот бурбон затиранил свою

жену. Оскорбленная в браке, Алиса «испытала страсть к тюбингенскому богослову-рационалисту Давиду Штраусу... глубокая тайна окутывает этот роман, но он сильно смутил женщину, и Алиса пережила ужасные потрясения», от которых вскорости, еще молодой женщиной, и умерла. Людвиг IV, овдовев, отбил жену у русского дипломата Колемина, введя блудницу во дворец гессенских герцогов. Дочери подрастали между молитвами и сценами разврата с мордобитием их папеньки от госпожи Колеминой. В 1884 году Людвиг IV привез в Россию старшую дочь Эллу (Елизавету), выданную за царского брата Сергея Александровича; вскоре спихнул с рук и вторую дочь Ирену — за принца Генриха Прусского. Но уже подрастала младшая дочь — Алиса, и папаша зачастил в Петербург, прихватывая с собой и красивую девочку. Живя на хлебах русского зятя, Людвиг IV с непонятным упорством трижды в сутки обходил все окраины Петербурга; ни музеи, ни театры, ни библиотеки его не интересовали, — вечно пьяного дурака тянуло лишь в шалманы задворок русской столицы, где шумно пировали воры, извозчики и дворники. Герцог был законченный обалдуй «со старательно улыбающимися глазами и полной готовностью расхохотаться даже от рассказа о похоронах, дабы таким дешевым способом снискать популярность».

После скудного рациона Дармштадта, где гессенские принцессы чинно и благонаравно хлебали вчерашний суп, Алиса с тихим ужасом наблюдала, как русские князья при игре в картишки, лентясь считать деньги, ставили золото «внасыпку» — стаканами! В 1889 году она целых шесть недель гостила у сестры Элли; подле своего беспутного папеньки Алиса очень много теряла во мнении русских и, кажется, сама понимала это. Принцесса была на голову выше Николая, отчего неказистый цесаревич стыдился подходить к ней, всегда испытывая робость перед рослыми людьми. Николая ужасно коробило, что придворные окрестили Алису «гессенской мухой»... Александр III, сам рожденный от гессенской матери, никаких симпатий к ее сородичам не испытывал (он даже ликвидировал в Дармштадте русское посольство!). И сейчас в Гатчине отлично понимали, зачем таскается в Петербург сам и таскает за собой дочку этот гессенский обормот. «Ники наш слабоволен, — сказала мать, — и я бы не хотела, чтобы он потом всю жизнь страдал под германским каблуком». Вопрос был

решен за спиной Николая, который уже придумал невесте нежное имя — *Аликс* (нечто среднее между немецким «Алиса» и русским «Александра»). Однажды в Петергофе, когда отец подобрел от легкого подпития, сын рискнул завести разговор о возможной женитьбе на Алисе.

— Гессенская муха жужжит напрасно, — ответил отец. — У меня такое ощущение, что у этих гессенцев из Дармштадта много всего в штанах и очень мало чего под шляпами! Алиса же только тем и хороша, что имеет высокий рост и этим — да, согласен! — могла бы исправить твою испорченную породу...

При дворе сразу заметили, куда подул ветер, и сановники империи с их женами, еще вчера низко льстящие Алисе как возможной избраннице, теперь демонстративно отвернулись от нее. Перед самым отъездом принцесса была звана на придворный бал, но кавалера для нее уже не нашлось. Подавленная таким открытым невниманием, Алиса скромно жалась в стороне от танцующих, когда перед нею предстал молодой свитский полковник Орлов и тут же насквозь пронзил сердце «гессенской мухи» малиновым звоном отчаянных шпор... Таких красавцев Алиса еще не встречала! Александр Афиногенович Орлов с его стройной фигурой, с матовой кожей лица, с глазами-маслинами, — именно он, бравирюя своей дерзостью, стал для нее прекрасным кавалером. Об этом человеке следует писать до конца: заядлый наркоман, поглощавший коньяк и опиум, шампанское и кокаин, водку и морфий, Орлов был еще и мистиком с особым взглядом на скрещение людских судеб. Добавим к этому злостную реакционную сущность красавца полковника — и образ будет завершен!

— А ведь я роковой мужчина, — сказал он Алисе, обомлевшей от его красоты. — Вы не боитесь меня?

На что последовал откровенный ответ:

— Мне ли бояться вас, если я сама верю в рок!

Между ними уже тогда возникла немая духовная близость с привкусом тягучего, как мед, сладострастия, и все это (странное совпадение!) отчасти напоминало близость матери Алисы с мрачным фанатиком Штраусом... Качаясь на упругих диванах кареты, Алиса возвращалась с бала, и здесь случилось то, чего она сама же хотела: за Аничковым мостом к ней запрыгнул Орлов. Отвергнутая невеста, она

подставила грудь и шею под бурный ливень неистовых поцелуев, а за окнами кареты неслышно кружило и несло громадные хлопья холодного русского снега... Орлов сказал ей:

— Моя жена дивная женщина. Но... вы поразили меня!

В ушах еще гремела бальная музыка, и Алиса поклялась, что никогда его не забудет. Она покинула Россию, чтобы больше сюда не возвращаться. Потом, из затишья Дармштадта, поцелуи Орлова казались ей лишь смешным эпизодом, каких будет в жизни еще немало. Русский престол стал для нее недосыгаем, словно далекая звезда, и Алиса дала согласие на брак с Эдуардом Саксен-Кобург-Готским, который приходился ей кузеном.

— Но не станем спешить, — предупредила она жениха.

«Гессенская муха» словно предчуяла, что все еще может измениться, а в дневнике цесаревича Николая скоро появится пылкая фраза: «Моя мечта — когда-либо жениться на Аликс Г.».

* * *

Мария Федоровна с явным удовольствием поставила сына в известность о том, что Алиса уже обручена с Кобургским.

— Разве я тебя огорчила? Но поверь моему материнскому сердцу: оно чувствует, что Алиса способна принести лишь несчастье. Я думаю, — заключила мать, — французам было бы лестно видеть под русской короной очаровательную головку истой парижанки.

Даже имя невесты было примечательно — графиня Елена Парижская; отец ее, в прошлом герцог Орлеанский, еще претендовал на бургундский престол во Франции. Выбор для сына мать не ограничивала: существуют еще дочери герцога Коннаутского, вот красивая принцесса Вюртембергская (наполовину русская), вот и юная греческая королева, двоюродная сестра Ники.

— Ты можешь подумать и, подумав, выбрать...

Вскоре дотошный Санкт-Петербургский градоначальник фон Валь дознался, что цесаревич в Царском Селе соблазнил молодую еврейку, обещая сделать ее царицей (!); эту еврейку тут же сослали в Сибирь,

чтобы она не растрепала эту дикую новость. Попутно фон Валь точно установил, на какие такие шиши Малечка Кшесинская с ног до головы обвешалась бриллиантами. История получалась, прямо скажем, некрасивая. Александр III имел с сыновьями мужской разговор, после чего жаловался Черевину:

— Не то страшно, что Ники и Жорж спутались с этой плясалкой. Другое! Два круглых дурака не могли даже сыскать себе двух б..., а живут по очереди с одной и той же. Мы ведь, Петя, люди свои, и мы понимаем, что это — уже разврат...

Скоро у Георгия обнаружили признаки чахотки, лейб-медики спровадили его на горную климатическую станцию. Черевин, как верный собутыльник царя, обладал правом говорить Александру III все, что думает, без придворных выкрутас.

— Ваше величество, — сказал он (не забывая, однако, титуловать своего приятеля), — а разгони-ка ты их всех подальше...

Александр III, по совету Черевина, велел готовить старших отпрысков в путешествие — почти кругосветное.

Об этом вояже писали многие — напишу и я!

4. Воспитательное путешествие

Переход от бурной балерины к замкнутой и монументальной принцессе был слишком резок, и требовалась промежуточная ступень, которую цесаревич заполнил случайной связью, в результате заболел секретной болезнью, а лечиться, во избежание сплетен, следовало подальше от дома, — такова подоплека путешествия, на которое царь навесил бирку с широковещательной надписью: «воспитательное»... Осенью 1890 года Николай приехал в гавань Триеста; тут его поджидал прибывший с Кавказа брат Георгий, имевший чин мичмана. Фрегат «Память Азова» отплыл в Пирей, где на пристани их встретила греческая королева Ольга, русская происхождения. С нею был сынок — королевич Георгий в чине русского лейтенанта, хороший спортсмен и замечательный лоботряс. Отведя его за руку в кают-компанию, королева сказала командиру фрегата:

— Мне с ним уже не справиться. Но, может, он еще послушается вас. В случае чего разрешаю вам моего лейтенанта... сечь!

Георгий греческий подмигнул Георгию российскому.

— Нам бы только до Каира добраться, — шепнул он.

Каир они прочесали так, что о них там долго еще вспоминали. Египетским пирамидам тоже отдали дань просвещения, но это — так, больше для приличия. Греческий принц Георгий, бугай здоровенный, еще издали предвкушал индийскую экзотику:

— Теперь бы до Бомбея доплыть поскорее! Я слышал, что там женщины — на любой вкус и все разноцветные.

— А в Сингапуре еще лучше, — отвечал российский кузен. — Там не просто принимают гостей. Заодно обучают тридцати восьми способам восточной любви. Лишние знания никогда не повредят...

Нашелся в свите человек, который осмелился заявить, что столь бесстыже вести себя нельзя. Это был дипломат Михаил Константинович Ону — блестящий знаток Востока, русский посол в Афинах, который сел на фрегат в Пирее.

— А ну его! — сказал на Ону греческий королевич.

Великокняжеская тройца устроила на почтенного старца настоящую охоту. Стоило послу появиться на палубе, как все трое,

включая и цесаревича Николая, дружно орали:

— А ну! А ну его...

Травля беззащитного старика увлекла молодежь. Николай с королевичем достали грязную прокисшую тряпку и теперь часами лежали над входом в кают-компанию, выжидая. Ону открывал дверь, чтобы выйти на палубу, и смрадная тряпка тут же опускалась на его лысину... Дипломат признался командиру фрегата:

— Кажется, это путешествие станет самым трудным эпизодом в моей биографии. Мне становится не по себе, когда я подумаю, что один из этой милейшей троицы станет моим императором...

Дул слабый зимний муссон, качки почти не было, на столах кают-компании горшки с цветами даже не привязывали. Корабли работали машинами, в помощь которым поставили косые паруса. Оба Георгия (русский и греческий) жили в кормовых каютах на общих офицерских правах. Иное дело — наследник. Николай занимал на фрегате салон адмирала, куда приглашал к столу, согласно очередности, по три офицера ежедневно, в том числе — по графику! — к нему ходил обедать и брат... Опьянев, они заводили на палубе бесовские игры. Инициатором игр являлся греческий королевич, которому сил и хамства девать было некуда. Но однажды над мачтами фрегата, идущего в океане, вдруг завитала на мягких пуантах тень балерины Кшесинской — злопамятный Ники не простил брату его успехов у Малечки! Георгий стоял в это время спиной к открытому люку. Николай со страшной злобой пихнул Жоржа от себя — и тот залетел прямо в трюм. Из глубин корабля послышался сочный шлепок тела, столь отчетливо прозвучавший, будто на железный прилавок шмякнули кусок сырого мяса... Чахотка, недавно залеченная, после падения в трюм дала яркую вспышку. В Бомбее был созван консилиум врачей — русских и колониальных, которые сообща решили, что влажный воздух тропиков лишь ускорит развитие туберкулеза. Александр III телеграфом из Гатчины распорядился: *«ГЕОРГИЮ ВЕРНУТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО»*. Новый год встречали без елки — вместо нее соорудили нечто варварское из бамбуковых палок. На рейд Бомбея, возвращаясь из Владивостока на Балтику, влетел бравый крейсер «Адмирал Корнилов», чтобы забрать на родину великого князя Георгия. Николай вежливо прервал охоту на крокодилов — ради прощания с братом, которого сам и угробил!

— Со мной все кончено, — сказал Жорж, кашляя кровью...

Николай продолжил увлекательное путешествие. Он даже прифрантился. Серая «тройка» с жилетом, на голове — котелок, в руке — тросточка. Напоминал он при этом лабазного приказчика из Сызрани или Тамбова — вот он вышел вечерком на Дворянскую, вгоняя в трепет купеческих дочек... При верховой езде штанины брюк высоко вздергивались, обнажая нежно-сиреневые кальсоны. Для индийского климата — это уж слишком! Но англичане, природные джентльмены, кальсон цесаревича не замечали...

* * *

Проплыли мимо, словно в сказке, белые слоны Сиама; снасти кораблей были увешаны гирляндами бананов и мангустов; матросы стругали ананасы ножиками, словно репу с родимого огорода; сиамский король, искавший дружбы с Россией, прислал в дар русским морякам двух черных пантер, к которым было не подступиться, и двух милых поросят — ручных, как деревенские собачки. Была уже весна 1891 года, когда в день вербного воскресенья эскадра вошла на рейд японского порта Нагасаки. В компании с королевичем Николай начал свое знакомство с Японией. Для переездов пользовались рикшами, укрывались от дождей бумажными зонтиками. 29 апреля, осмотрев древности Киото, Николай въехал в узенькие улочки Оцу. Его вез на себе один рикша, двое других бежали сбоку, помогая везущему. За цесаревичем двигалась коляска с греческим Георгием, третьим (тоже на рикше) ехал японский принц Арисугава. Улица была шириною всего в восемь шагов. Кортёж растянулся, а по стенкам домов жались японские полицейские.

Среди них стоял и самурай Тсуда Сацо!

Двумя руками он обхватил саблю и с первого же удара рассек котелок на голове русского наследника. Со второго удара из-под сабли брызнула кровь. Георгий, выскочив из коляски, треснул самурая столь сильно, что тот сразу упал. В этот же момент сабля оказалась в руках рикши, который, недолго думая, уже начал отделять голову покусителя

от тела. Тсуда Сацо, едва живого, скрутили. Николая отвели в ближнюю лавочку, где старая японка промыла водой ему раны. Врачи наложили на черепе два шва. Стало известно, что микадо Мацухито срочно выезжает к месту печального происшествия. Внук солнечной богини Аматарасу приложил немалые старания, дабы загладить вину своего самурая (Япония никак не хотела ссориться с великой соседкой из-за этого случая в Оцу). Микадо лично прибыл на борт «Памяти Азова», он буквально завалил палубу фрегата драгоценными дарами Востока, и корабль стал похож на громадный антикварный базар. Здоровье Николая не внушало никаких опасений, он был готов продолжить поездку по Японии, народ которой с удивительным дружелюбием относился к русским. Но тут вмешался грозный отец: *«ОСТАВИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, — диктовали из Гатчины, — НЕМЕДЛЕННО ИДТИ НА ВЛАДИВОСТОК»*. Был пасмурный и холодный день, когда «Память Азова» втянулась в гавань Владивостока; Россия обнажала перед наследником престола свои глубокие тылы... Владивосток — город бешеных денег (один паршивый лимончик, которому в Питере цена копейка, здесь стоил 5 рублей). Железной дороги еще не было, но вокзал уже стоял, сверкая новенькими кирпичами. Николай взял тачку с землей, которую и сбросил в обрыв, символизируя этим жестом закладку Великого Сибирского пути со стороны Дальнего Востока... «Воспитательное» путешествие закончилось!

Много позже потянулись глупые сплетни, будто Николай II и не начал бы войны с Японией, если бы самурай не ударил его тогда саблей по голове. Но причины войны не были мелочны, а самураю Тсуда Сацо император на всю жизнь остался даже благодарен.

— Вы не поверите! — говорил Николай близким. — Но с тех пор, как меня трахнули в Японии по черепу, окончательно прошли головные боли, мучившие меня от самого раннего детства...

Вся Россия знала тогда наизусть эти стихи:

Приключением в Оцу опечален царь с царицею,
Тяжело читать отцу, что сынок побит полицией.
Цесаревич Николай, если царствовать придется,
Ты, смотри, не забывай, что полиция дерется!

* * *

А брат Георгий, посланный лечиться на высокогорном Абастумане, домой уже не вернулся. В сознании своего неизбежного конца люди становятся мудрее. Георгий увлекся астрономией и на свои личные деньги отстроил в Абастумане обсерваторию, которая сохранилась до наших дней... Смерть пришла к нему в 1899 году; на смертном ложе он ругался:

— Это мне братец устроил... за Малечку! Теперь убийца царствует, шлюха пляшет, а я вот подыхаю... под облаками!

Умер он страшно, решив убежать от смерти. Его нашли мертвым в грязной проточной канаве. Когда революция сошлет Николая II с его семейством в Екатеринбург, там, сидя на бревнах, сваленных возле дома купца Ипатьева, царь на свой лад осмыслит давно минувшее в юности.

— Господь бог покарал меня за Георгия, — говорил он. — Это я виноват в смерти брата. Если б не пихнул его тогда в люк, бог не гневался б на меня — и не было б революции на Руси...

В его тогдашнем положении мог бы он быть и умнее!

5. Колесо истории

Россия даже в самые мрачные времена своей истории не сидела сложа руки... Била камни на мостовых и создавала умные механизмы; таскала на пристанях мешки с зерном и выводила в лабораториях химические формулы; она разгружала корабли и копала картошку; люди гуляли на свадьбах, рожали детей и сидели в тюрьмах; русские с одинаковой гордостью носили великолепный фрак и бряцали ржавыми кандалами; производство имперской индустрии возрастало, и Россия могла выбрасывать на мировой рынок почти все — от броненосцев до детских сосок. Но два года подряд засуха губила урожаи; провинция голодала; в 1892 году вибрионы холеры проникли даже в столицу (одна из жертв — композитор Чайковский), а весь 1893 год Россия оправлялась от прошлых невзгод. Однако гатчинцев жизнь народа касалась лишь боком, и, отрывая первую страницу календаря, они произносили привычные слова: «Дай-то бог, чтобы Новый год был, как прежний...» Но в 1894 году пресловутое колесо истории со скрипом медленно провернулось, и сработали ржавые рычаги престолонаследия.

Александр II, один на один ходивший с рогатиной на медведя, передал Геркулесову силищу и сыну: Александр III шутя разрывал колоду игральных карт, в его кулаке бронзовые пепельницы сминались в комок. Но могучий организм царя уже подточила ежедневная выпивка, отчего ускорилось перерождение почек. Доказывать царю, что ему нельзя пить, было бесполезно, и потому врачи в основном обращались к его жене, чтобы она исключила из меню все «горячительные» напитки. Мария Федоровна вино со стола убрала, к обеду подавались квасы и вода Таицких ключей.

— Маша! — клянчил царь. — Ну, хоть стопочку... Лишь один гвардейский «тычок» в день могу я себе позволить?

— Ни одного «тычка»! И не смотри на своего Черевина...

Бравый алкоголик Черевин, потеряв такого сопитуху, каким был царь, уже не нашел себе места в жизни, уехав за границу, он в меланхолии застрелился. Но перед смертью о своих фокусах с царем успел поведать профессору физики П. Н. Лебедеву, записавшему его

рассказ: «Мы с его величеством дураками не были. Заказали сапоги с такими голенищами, куда входила плоская фляжка. Почти целая бутылка коньяку! На двоих у нас четыре ноги — выходит, четыре бутылки. Царица подле нас — глаз не сводит. Мы сидим, будто паиньки. Трезвые! Отошла она, мы переглянемся — раз, два, три! — вытащим фляги из сапог, пососем и опять сидим. Царю ужасно такая забава нравилась. Вроде игры. И называлась она у нас так: „Голь на выдумки хитра“. Хитра ли голь, Петя? — спрашивает меня царь. Ну, до чего ж хитра, говорю. Раз, два, три — и сосем! Императрица никак не поймет, с чего мы наакались. А его величество уже на спинке барахтается, визжит от восторга и лапками болтает... Да, — заключил Черевин, — были люди в наше время, когда весенний первый гром, не то, что нынешнее племя в тумане моря голубом!»

Здоровье царя ухудшилось, из Москвы был зван знаменитый доктор Захарьин, который заявил, что брайтонова болезнь нуждается в климате острова Корфу.

— Если со мной что случится, — сказал царь Николаю, — ты еще не женат. Это неприлично для... императора. Пока я жив, хочу видеть тебя супругом. Слава богу, что Эдди Кобургский умер и сердце Алисы Гессенской отныне снова свободно...

Ситуация не совсем корректная: сначала Алису забраковали, а теперь жених пускался за невестой вдогонку — умолять, чтобы она его осчастливила. Впрочем, Алисе не пристало и задаваться, ибо Гессенский двор в Европе — двор не первого ранга!

* * *

Гессен-Дармштадтское герцогство входило в состав кайзеровской Германии, и дела гессенские были делами берлинскими. Едва стало известно, что цесаревич едет искать руки Алисы, как сразу же сорвались с места два опытных путешественника — кайзер Вильгельм II и королева Великобританская. Брак и любовь для монархов — это прежде всего продолжение династической политики.

Николая сопровождали пресвитер Янышев, дабы обратить Алису в православие, и придворная лектрисса Шнейдер — вразумить ее русскому языку. Поезд цесаревича достиг Кобурга, где в это время невеста проживала у своих русско-германских родственников. На следующий день сюда прибыла грозная старуха Виктория, обладавшая полмиром (эскадроны гвардейских драгун составляли ее почетный эскорт). Примчался на экспрессе и кайзер, которого Николай встретил на перроне вокзала в прусском мундире. Вильгельм II засел со свитой в соседних комнатах замка, а за стенкою происходили вялые переговоры жениха с невестой. Топорща жесткие завитки усов, кайзер недовольтно щелкал крышкою часов: «Мне надо быть в Киле на спуске нового крейсера, а вместо этого я торчу здесь. Я не имею права столь бездарно расходовать свое время! — Он решительно прошел к молодым, скоро вернулся к свите. — Все оформилось, *как мне было угодно*... Надо же знать Ники — он совсем размяк, но я взял бутылку с мозельским и влил ее в моего птенца-кузена. После чего толкнул его в объятия моей племянницы. Дело сделано! Сейчас они уже там целуются напрапалую...» Николай записывал вечером: «Чудный, незабвенный день моей жизни... мы объяснились. Вилли сидел в соседней комнате, все семейство на радостях лизалось». Утром жениха разбудили шотландские волынки — это английская бабка Алисы выстроила музыкантов под окнами замка. За семейным кофе, тряся жирными брылями одутловатых щек, Виктория сказала Николаю: «Теперь вы, Ники, тоже должны звать меня бабушкой...» Желая отплатить королеве за игру на волынках, цесаревич срочно выписал из Петербурга Преображенских певчих с волосатым, как леший, пропойцей-регентом (на кобургских немцев он произвел неизгладимое впечатление). Николай постился, усердно раскрашивая пасхальные яйца. К заутрене выходил в гусарском ментике, христосовался со свитой. Алиса в эти дни заявила ему:

— А теперь я должна знать, что ты пишешь в дневнике...

— Но дневник я веду на русском.

— Все равно! Ты мне покажешь его...

Еще не став мужем, он уже попал под гессенскую цензуру. В конце апреля, заодно с бабкой, Алиса тронулась погостить в Англию, а Николай вернулся домой. Всю дорогу до Гатчины свита беспощадно расправлялась с гигантскими запасами вагона-ресторана. Вот и Луга

— здесь, на подтальом перроне, Николая поджидали офицеры 1-го батальона лейб-гвардии полка Преображенского, которым цесаревич командовал, и они кричали «ура» жениху. На гатчинском вокзале сына встречал император с семейством.

— А отец плох, — шепнула Мария Федоровна...

Летом император разрешил взять яхту «Полярная звезда», чтобы навестить в Англии невесту. Здесь Алиса, еще не постигнув русского языка, начала уснащать николаевский дневник сентенциями по-английски: «Мой дорогой мальчик, — писала она, — верь и полагайся на свою девочку... Всегда верная и любящая. Преданная, чистая и сильная, как смерть! Я мечтаю о поцелуях... Будущее скрыто для нас — только настоящее мы можем считать своим». Николай обожал военную форму, но в Виндзорском дворце, как последний «штафирка», был вынужден танцевать в белых чулках. За обедом принц Уэльский (будущий английский король Эдуард VII), который приходился Алисе дядей, сказал невесте, кивая в сторону смущенного курносого Николая:

— Профиль твоего суженого природа будто скопировала с профиля безумного Павла Первого... В России ты должна спать вполглаза: как бы ночью вас обоих не придушили бородатые генералы!

Это был светский «гаф», не вполне тактичный, но сердиться на дядюшку Алиса не осмелилась. Впрочем, ей было известно, что Павел I был женат на ее прабабке, и там получилась неприличная история: Вильгельмина Гессенская забеременела от красавца Андрея Разумовского и умерла в тягостях родов. Дядюшка Уэльский, даже подвыпив виски, мог бы и пощадить свою племянницу!

* * *

Слухи о болезни Александра III уже просочились в народ, русское общество стало неясно грезить о том, что престолонаследник свернет Россию с реакционного курса своего упрямого и вечно нетрезвого родителя. Император же продолжал жить так, будто никакого нефрита у него нет, а его почки — это железные насосы, способные денно и

ночно перекачивать от одного отверстия до фанов другого литры коньяку, водки и шампанского...

Ради охоты (скорее по семейной традиции) он отправился осенью в Беловежскую пушу. Текли холодные дожди. Мария Федоровна сильно простыла, получив в бок острый lumbago.

— Сашка, хватит тебе стрелять, едем греться в Ливадию!

Врачи настаивали, что надо ехать на остров Корфу.

— Нет уж! — отвечал царь. — Если помирать, так дома...

Романовы и громадная их свита, радостно волнуясь, плотно забили вагоны поезда и 18 сентября направились на юг — к солнцу, к теплему морю, к виноградникам, в Ливадию!

6. Скандал в Ливадии

Они разместились в Малом дворце, созданном вычурным зодчим Монигетти. Небольшие комнаты вполне устраивали Александра III; окно в спальне с видом на море было открыто. Вдали, испытывая механизмы, утюжил воду тяжкий броненосец «Двенадцать Апостолов». Император громадной тушей расплылся в креслах, а Мария Федоровна неразлучно сидела с ним рядом. В паркет их супружеской спальни были вделаны две старые татарские подковы.

— Одну нашла я, а другую нашел ты... Стерлась наша жизнь, Саша, как и эти подковы. Говорила же я тебе — не пей!

«Двенадцать Апостолов» проплыли мимо Ливадии, над печальным морем еще долго клубился темно-бурый дым скверно перегоревших углей. Молодежь шумно веселилась внизу двора. Ники с Ксенией играл на фортепьясах, ездил в Массандру пробовать вина, а на ферме в Эрикликке поглощал кефиры и простокваши. Пять светил медицины неотлучно дежурили возле кресла больного императора. Поняв, что смерть не за горами, Александр III стал проявлять сильное беспокойство о делах престольных.

— Время не терпит, — говорил он жене, — и надо ускорить приезд Алисы... Она длинная и пусть исправит породу.

Из носа царя потекла кровь, он дышал тяжело, словно загнанный першерон. Алиса прибыла в прозрачный и чистый день, от Ялты она катила в широком ландо, заваленном цветами и крупным виноградом. Возле дворца невесту встречал, отдавая ей первые царские почести, николаевский батальон преображенцев.

Александр III отнесся к приезду невестки равнодушно:

— Приехала? Я так и знал... С чего бы ей отказываться? Короны — это не пуговицы, и на земле они не валяются. — Возле его кресла лежала куча министерских бумаг, ждущих подписи; отец придвинул их сыну: — Читай ты, а я уже отчитался...

Николай впервые в жизни скучал над казенными бумагами. Его развлекало соседство свежей ароматной невесты.

— Эта депеш есть читала мы, — говорила она по-русски...

Романовы разбрелись по саду, потерянные. Собирались в гостиной первого этажа. Наспех жевали бутерброды, пили чай и молоко. За столом слышались приглушенные разговоры:

— Она какая-то деревянная, словно сколочена из досок, и я удивляюсь, что при ходьбе от нее не исходит скрипа шарниров.

— Тетя Минхен, передайте масло. Благодарю... Я ей поклонилась, а она ответила мне кивком головы, и то не сразу.

— Я не одобряю выбора Ники: лицо у Алисы красиво, но, если присмотреться, то черты лица совсем не тонкие.

— Говорят, ее брат Санди не совсем-то нормальный.

— Да, у этих гессенцев давно не все в порядке...

По отношению к великокняжеским родичам Алиса держала себя в холодной недоступности, ни с кем не вступая в разговоры, несла свой подбородок высоко. Ей было уже ясно, что Александр III обречен, а русская корона ей обеспечена... Но наверху дворца мать с отцом еще имели право решать дела престольные по своему усмотрению, и Александр III вызвал сына к себе.

— Ники, — сказал он ему, — ты и сам знаешь, что неспособен управлять страной. Обереги же Россию от врагов и революций хотя бы до того времени, когда Мишке исполнится двадцать один год. Обещай клятвенно по доброй воле уступить престол брату!

Александр III загибал разбухшие от водянки пальцы.

— Сколько же тебе мучиться? — бормотал он, подсчитывая годы.
— Сейчас Мишке только шестнадцать. Год, два, три... Пять лет тебе сидеть на престоле, после чего *сдай корону Мишке!*

* * *

Алиса встретила его, поджав тонкие губы.

— Ники, — заявила она, — мне не нравится, как ты ведешь себя с людьми, которые ниже тебя. Если ты меня любишь, ты обязан меня слушаться... Почему профессор Лейден делает доклад о здоровье твоего отца не тебе, а твоей матери?

— Но это же так естественно: она ему жена.

— Согласна, что это естественно, но это... неправильно! Не забывай, *кто ты*. Нельзя, чтобы тебя обходили. Выяви свою железную волю, и пусть все сразу знают, что в России ты самый главный человек, а после тебя... после тебя *главная здесь я!*

Александр III скончался на 50-м году жизни. Его не задушили, не взорвали, не отравили — он умер сам (уникальный случай в династии Романовых!). Телеграфы уже отстукивали по редакциям мира сногшибательное сообщение: «*ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ИМПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УМЕР ЕСТЕСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ — ОТ АЛКОГОЛИЗМА...*» Мария Федоровна с трудом высвободила свою ладонь из влажной руки мертвеца. Она опустилась на пороге спальни, широкий плед ее платья закрыл две стершиеся в бешеной скачке подковы.

— Какая пустота вокруг, — простонала царица...

Возле тела отца появился Николай, и она (мать его!) вдруг с неожиданной ненавистью посмотрела на сына, который приближался к ней — уже как император. В ливадийском дворце разразился жесточайший скандал, о котором знали тогда лишь немногие... Надо было присягать *НИКОЛАЮ ВТОРОМУ*, но Мария Федоровна отказалась дать клятву. В дворцовой церкви духота от множества пылавших свечей. Теснотища от наплыва великих князей и княгинь великих. Обращаясь ко всем Романовым, вдовая царица вдруг заявила:

— Мой сын неспособен править Россией! Он слаб. И умом и духом. Еще вчера, когда умирал отец, он залез на крышу и кидался шишками в прохожих на улице... И это — царь? Нет, это не царь! Мы все погибнем с таким императором. Послушайте меня: я же ведь мать Ники, и кому, как не матери, лучше всех знать своего сына? Вы хотите иметь на престоле тряпичную куклу?

Началась ссора — хоть святых выноси. Великая княгиня Мария Павловна (из дома Мекленбург-Шверинского) уже пихала к престолу своих отпрысков — Кирилла, Бориса или Андрея Владимировичей, но их тут же оттерли, как рожденных от лютеранки. Черногорки Милица и Стана трещали как сороки, что «дядя Николаша» лучше племянника. Мария Федоровна шагнула к сыну, глядя в упор:

— Ты должен, Ники, понять меня и мои чувства...

Николая II обступили и другие Романовы:

— Как это ни печально, Ники, но мать права. Откажись от престола сразу же, и пусть коронуется Мишка, а до его совершеннолетия регентство над ним отдадим твоей разумной матери...

Алиса Гессенская вдруг начала краснеть, и выражалось у нее это странно: сначала до самых локтей побагровели руки, потом лицо, мертвенно-бледное, вдруг закидало яркими пионами пунцовых пятен. Тут все догадались, что невеста, едва владея русским языком, все же *поняла* смысл романовской перебранки.

— Не слушай никого, — шепнула она жениху по-английски, — а поступай по воле божией. Если сейчас на твою голову опустятся святые ангелы, они внушат тебе то же самое, что говорю я!

Николай слабо оправдывался перед сородичами:

— Ну, какой же Мишка царь? Ему бы только собак гонять. Отец и не требовал, чтобы я вручил ему престол сразу же... Покойный родитель просил меня царствовать хотя бы пять лет.

— Прекратите этот базар! — рыдала Мария Федоровна. — Боже, какая дикая ночь... Я не стану присягать тебе. Не стану!

...Она прожила очень долгую жизнь и умерла на своей родине, пережив три русские революции, гибель династии, потерю детей и внуков. Наверное, в тихом Копенгагене ей, уже глубокой старухе, часто потом мерещилась эта сцена в церкви Ливадии. Она так и не уступила сыну! Но ей пришлось умолкнуть перед батальоном лейб-гвардии полка Преображенского, который (верен своему командиру) вступил под сень храма, где грызлись «помазанники божии», и этот батальон первым присягнул Николаю как императору,^[1] а следом пошли целовать иконы и все прочие... Но даже в кольце штыков Мария Федоровна не присягнула сыну!

На следующий день свершилось «миропомазание» Алисы Гессенской, которую нарекли Александрой Федоровной. Духовник дворца в своей речи обмолвился и назвал Алису «даромшматской» принцессой. Владимировичи, рожденные от матери-лютеранки, смеялись даже со злобой, скрывавшей их вчерашнее огорчение:

— Даромшматская... Надо же такое придумать!

Смеху подбавила и сама Алиса, объявив по-русски:

— Теперь я намазанница божия.

С моря накатывал сильный прибой, грохот воды и шум гальки заглушали все изветы. Александр III быстро разлагался, а лицо его после бальзамирования приобрело звероподобный вид. Пришла черноморская эскадра, на шканцах броненосца «Память Меркурия» (под тентом из Андреевского флага) поставили гроб и отплыли в Севастополь. Шторм кончился, не качало. Алиса твердила Николаю:

— Я твой ангел-хранитель. Неси бремя с терпением...

Траурный поезд отходил от Севастополя; Мария Федоровна, стоя возле окна, билась лбом в забрызганное дождем стекло.

— Какой день, какой день... Саша, ведь именно в этот день была наша с тобою свадьба! Откройте гроб, я хочу его видеть...

Мрачный экспресс с грохотом и воем летел через великую многострадальную страну, жившую надеждами на будущее. Вот и первопрестольная! Здесь Николаю II предстояло сказать речь в Георгиевском зале Московского Кремля, а говорить-то с людьми он не умел, панически боялся многолюдства. Нашелся в свите опытный человек — подсказал, как поступать в таких случаях:

— Ваше величество, без шпаргалки не обойтись.

— Стыдно, если заметят, что я говорю по шпаргалке.

— Никто не заметит! — заверил придворный ловкач. — Эту шпаргалку вы смело кладете на дно своей шапки. А шапку надели на голову. Затем вы шапку, естественно, снимаете. Держа ее перед собой, поглядывайте в шапку, читая. Никто не догадается...

Первая речь царя, прочтенная из шапки, сошла благополучно. Петербург уже наполнялся королями и принцами, делегациями и посольствами, съезжавшимися к погребению Александра III, и в сцене его похорон как бы определился стиль будущего царствования. Провожали покойника с беспардонным цинизмом, а хаотичность церемонии была поразительной. Никто не знал своих мест, все перепуталось. Слышались разговоры, шутки и неуместный хохот; из рядов погребальной процессии кавалеры раскланивались с дамами, занимавшими балконы в домах. Под конец траурная церемония обратилась в Панургово стадо, и это стадо валило через Неву, совсем забыв про покойника, а тем более о молодом императоре, понуро плевшемся за гробом. Возглавляли же кавалькаду два питерских мясника, которым по ритуалу следовало идти далеко впереди катафалка. Один мясник был одет в черные рыцарские латы, дабы

выражать печаль по умершему царю, а другой шел в светлых латах, демонстрируя радость грядущего царствования. Как символам смерти и жизни, им нельзя было сближаться! Но в общей неразберихе рыцарь печали и рыцарь радости сошлись бок о бок:

— Кондратьич, ты лавку-то свою красить собираешься?

— Уже покрасил! Говорят, вчерась на станции вагон с черкасским мясом растибрили... Тебе не предлагали из-под полы?

Александра III похоронили в Петропавловской крепости, где мертвые цари издревле привыкли разделять общество с живыми врагами царизма, — уродливейший парадокс самодержавной власти! В столицу нахлынули монархические депутации из губерний, Николай II, чтобы не возиться с каждой отдельно, велел всех монархистов, как баранов, загонять толпой в Николаевскую залу.

— Я тронут, — говорил он им. — Я очень тронут...

Словечко прилепилось к нему хуже банного листа, и он повторял его, когда надо и не надо. Придворные шутники остряли: «Наш император уже тихо тронулся...» Между тем дня не проходило, чтобы у нежной Аликс где-нибудь не побаливало. То здесь кольнет, то там ее схватит, то ей воздуху не хватает. Вот и сегодня лежит пластом, словно параличная: ходить не может, ее на руках таскают из комнаты в комнату. Лейб-медики удивлены — женщина не больна, но она и не здорова; ходить может, но она, черт ее побери, почему-то решила, что ходить неспособна... 14 ноября невеста все-таки встала — был день ее свадьбы! Николай II отреагировал на это событие скромно: «Спать завалились рано, т. к. у бедной Аликс снова разболелась голова!» Зато жена писала в дневнике восторженно: «Наконец, мы навеки скованы, и, когда здешней жизни придет конец, мы опять встретимся на другом свете, чтобы вечно быть вместе. Твоя, твоя... Покрываю тебя горячими поцелуями. Мой супруг! Мое сокровище! (в конце, правда, сделала приписку: „Нехорошо по ночам скрежетать губами...“). Экзальтацию своих чувств она покрывала налетом мрачного мистицизма, и этот налет, словно патина на старинной бронзе, придавал молодой женщине что-то нежилое, мертвенное, почти загробное. Характер ее в общении с людьми раскрылся мгновенно — узколовая и нелюдимая эгоистка, живущая лишь ради себя и своих страстей, она привезла из Германии презрение к русскому народу, который искренне считала народом варварским и недоразвитым; императрица заметила в православии

лишь языческие пышности, а церковные формы религиозных обрядов, казалось ей, служат единой цели — восхвалению самодержавной автократии. «Я так хочу, — капризничала она. — А этого я не хочу. Но если я хочу, значит, так надо. Правда — это только то, чего мне хочется!» К сожалению, эта злобная фанатичка обладала сильной волей и хваткой памятью, что и доказала в занятиях русским языком. Лектрисса Шнейдер не могла нарадоваться своей ученицей, когда Аликс вписала в дневник мужа первые стихи по-русски:

Прозрачный сумрак, луч лампы,
Кивот и Крест — символ святой.
Все полно мира и отрады
Вокруг Тебя и над Тобой...

Современники заметили, что люди высокого роста всегда имели на царя большое влияние — Победоносцов, Плеве, Витте, Столыпин, Штюмер и... жена! Имевшие же несчастье быть великанами повергали царя в ужас. Министр двора Фредерикс таким монстрам даже отказывал в аудиенции, говоря им откровенно: «Помилуйте, я не желаю вашим видом портить на весь день настроение государю...»

* * *

Нет, она не забыла свою первую русскую любовь: став шефом Уланского полка, Алиса пожелала, чтобы Саня Орлов командовал этим полком, и Николай II уступил ее просьбе. В это время царица была стройной, хорошенькой женщиной, пышноволосая и синеглазая, с длинными черными ресницами, и никто бы не догадался, что за такую приличной вывеской таится скопище злобных истерик, мистики и ненависти... Один видный русский сановник случайно заехал в Дармштадт, где имел немало старых знакомых, и разговор у них, естественно, зашел о молодой русской государыне:

— Ах! До чего же мы в Гессене счастливы, что от нее избавились. А вы с нашей сумасшедшей принцессой еще наплачетесь.

— Но почему же? Она благопристойна и корректна.

— А вы разве еще не заметили, что Алиса ненормальная? Вы ведь не знаете в России всего того, что тут творилось под крышею дворца наших гессенских герцогов.

— Простите, а... что же тут у вас творилось?

— Это уж секрет нашего Дармштадта!

Секрета не было: мать русской императрицы умерла в чудовищных содроганиях души и нервов — общение с германским черносотенцем Давидом Штраусом, в котором она видела «мессию», искалечило ее жизнь и ее психику. Но идеи мессианства она заложила в душу дочери, и теперь Алиса с высоты престола беспокойно озиралась по сторонам, словно желая знать — где тут апостолы? Кто станет ее пророком «от небесного откровения»?..

Будущий «мессия» пока что колобродил в Сибири!

7. Нечистая сила

Вдруг приехал в село Покровское мужик Григорий, никому не ведомый, деловито занял пустовавшую избу. Никто и не думал, что под отчий кров вернулся сын бывшего волостного старшины... На высоком лбу его краснела шишка — застарелый след удара, полученного в кабацкой сваре, а шишку он закрыл длинными прядями волос. Покрытый оспинами нос выступал далеко вперед, похожий на иззубренное лезвие топора. Кожа лица была морщинистой и загорелой, а правый глаз Гришки обезображивало желтое пятно. Смотрел на всех муторно и беспокойно — противно эдак-то поглядывал.

— Ты из каковских будешь? — спрашивали мужики.

— Из таковских! Человек божий, по жизни прохожий...

Приехал не один: с ним была жена Прасковья, из тобольских мещан Серихиных. Кормиться трудом Гришка не пожелал. Правда, чтобы не околеть с голодухи, он иногда в извоз нанимался — когда ссыльных в глухомань отвезет, когда до Тюмени возы с сеном или дровами доправит. Из таких «ездок» обычно вертался пьян-распьян, весь раздрипан в трактирных драках. Без шапки, без денег! Входил в избу, и оттуда сразу же рвался наружу долгий вой Парашки Серихиной — это Гришка от самого порога начинал лупцевать свое сокровище. Вся деревня слушала, как воет баба.

— В ум-разум вгоняет, — говорили. — Да и то, поди: с дороги возвратясь, как ту жену гостинцами не попотчевать?..

По селу ходили недобрые слухи, будто Гришкина жена служила ранее в «номерах» губернских, где по дешевке проезжих гостей ублажала и трудами немалыми даже на швейную машинку себе скопила, но Гришка эту машинку пропил. Жизнь мужицкая нелегка: летом изматывались с домочадцами на пашне, готовили дрова и солили впрок убоину, а зимой тоже не продохнешь — катать для города валенки, подновляй упряжь, опять же и овчины — их мять надо! А Гришка знай себе на печке валяется и пухнет там, давя клопов на стенках желтым корявым ногтем.

— Рази так можно? — говорили мужики. — Ты бы встал. Ты бы умылся. Гляди, сам рван, жена не кормлена. А копейка в мошну не

скачет. Ее струдить надоть. Крестьянская денежка пот любит!

Ответ Гришки звучал изуверски-кощунственно:

— Ежели господу богу угодно было меня на свет произвести, так пушай он и позаботится, чтобы я сытым бывал. А работать — не! Я вам не лошадь. На кой хрен мне спину-то ломать? Все подохнут одинако — что труженики, что бездельники...

Порченный — поставили на нем клеймо односельчане. Известно, сколь целомудренна русская деревня: матерного слова не услышишь, а Гришка сквернословил при любом случае, дрался бесстрашно. Лошадей не жалел — загонял насмерть. Внешне мрачный и нелюдимый, обожал веселье, и, коли где гармоника пиликнет, он уже пляшет. Час пляшет, два, три часа... Пузырем вздувается на его спине рубаха, вонючая от пота. Плясал до иступления, пока не рухнет. Плясал, выкрикивая слова песни, словно выбрасывал плевки:

Я люблю тебя, родная!
Я люблю тебя за то!
Что под платьем, дорогая!
Ты не носишь ничего!

Имел тонкий нюх и на выпивку. Носом чуял, где вчера пиво варили, где казенный штоф распивают. Придет Гришка, никем не зван, встанет у притолоки, в избу не входя, и стоит там, шумно вздыхая: мол, я уже здесь... учтите! Мужики пьют водку из мутных стаканов. Суют в бороды лохмы квашеной капусты, закусывая. На зубах хрустят крепенькие огурчики. Иной раз посоветятся:

— Эвон, Гришка-то заявился. Може, и ему плеснем махоньку? Вить ён, как ни толкуй, а тоже скотина — ждет подношения...

Угостившись, Гришка не уйдет, а лишь обопрется о притолоку косяка. Быстро пустеющий штоф приводит его в отчаяние:

— Налейте же и мне, Христа ради!

— Это зачем же тебе наливать? Платил ты, што ли?

— По-божески надоть, потому как — все люди.

— Нет, — настаивали мужики, — ты сначала ответ держи: рази в сооружении энтого штофа ты лично участвовал?

— Не участвовал, но... изнылся. Не погубите!

— По какому же порядку нам тебе наливать?

— А вы в беспорядке налейте... *даром*.

— Даром! — смеялись за столом мужики, жестокосердно приканчивая штоф без него. — Ишь, приткий какой... Хы-хы-хы! Пришел и требует, чтобы налили. И ведь не стыдится сказать такое...

Протрезвев, мужики пугались — Гришка умел отомстить. Один богач на селе справлял свадьбу дочери, а Гришку не позвал к угощению. Когда молодые на тройках ехали из церкви, кони вдруг уперлись перед домом — не шли в ворота. Все в бешеном мыле, рассыпая с грив праздничные цветы и ленты, под градом ожесточенных побоев, кони не везли молодых к счастью. «И не повезут», — сказал Гришка, стоя неподалеку... Молодухе же одной, отказавшей ему в любезности, Гришка кошачий концерт устроил. Со всего села сбегались коты по ночам к ее дому, и начинался такой содом, хоть из дома выселяйся...

Староста Белов докладывал исправнику Казимирову:

— Я его, патлатого, не боюсь. Но в глаза ему никогда не гляжу! Коли он на меня зыркнет, так будто мне за шкуру гадюку бросили... Добро бы — цыган какой, так нет: не глаза у Гришки, а бельма пустые... Будто гной поганый течет из глаз его!

Революция 1917 года сняла запрет молчания со многих свидетелей, и крестьянин Картавец показал под присягой следующее:

— Однась поймал я Гришку на покраже остожья. Он мое остожье порубил, жерди на телегу поклат и хотел уже везти на пропой. Тут я его ущучил и велел ему с покраденным остожьем вертать кобылу до волости. Он заартачился и хотел удрать, но я его держал. Тогда он — на меня с топором! Думаю: зарубит ведь. А у меня в руках дрын был. Я как хватил Гришку дрыном. Да столь ладно, что он топор выронил, а кровь из него ручьем. Полег замертво. Ну, думаю, сгубил человека. И стал приводить в сознание. Расшевелил дожива и опять потащил к волостному. Гришка очухался, начал рваться. Тут я ему еще насовал — довел!..

Природа наградила Гришку железным здоровьем. Гораздо позже журналисты подвели итог его скотской выносливости. В возрасте 50 лет он мог начать оргию с полудня, продолжая кутеж до 4 часов ночи; от блуда и пьянства заезжал прямо в церковь к заутрене, где простаивал на молитве до 8 утра; затем дома, отпившись чаем, Гришка

как ни в чем не бывало до 2 часов дня принимал просителей, говорил по телефону и устраивал разные аферы, потом набирал дам и шел с ними в баню, а из бани катил в загородный ресторан, где повторял ночь предыдущую. Никакой нормальный человек не мог бы вынести подобного режима...

Картавцеву — после битья — Гришка пригрозил:

— Погодь, я тебе этого не забуду — исплачешься...

Отомстил жестоко: растлил дочку Картавцева, а потом видели, как его невестка на сеновал к Гришке бегала. Скоро с выгона пропали две лошади Картавцева, который заметил, что Гришка их наведни оглядывал. Картавцев кинулся к Гришкиной избе, Гришка вышел на крылечко, притворно зевая, будто спал:

— Ну, что тебе? На ча мне сдались твои кобылы?

Картавцев заплакал злыми слезами, рухнул в ноги.

— Гриша, — взмолился он, — ты с меня свое уже взял, уже помял баб в дому моем... Верни лошадушек. Погибну ведь!

— Иди отседова, покель ноги держат, — отвечал Гришка...

Никогда того на селе не водилось, а тут стали девки рожать, будто их ветром надувало, и, боясь позору, подкидывали младенцев в дома к бездетным. С опросу выяснилось — Гришкина работа! «За такое надо учить», — и стали мужики зверски калечить Григория за блуд с их женами, дочерьми и сестрами, но Гришка вставал от побоев даже освеженный, будто в жаркий день искупался (сказалась в нем закалка конокрада). При этом еще и грозился:

— Бейте меня и далее, а я свое все равно возьму!

За мерзкие дела прозвали Гришку на селе РАСПУТИНЫМ, и это имя столь крепко прилепилось к нему, что уже не отдерешь. Исправник Казимиров, объезжая свои дремучие владения, не пожелал учитывать Гришку под фамилией «Новых».

— Тогда валяй по-старому — Вилкиным.

— Какой же ты Вилкин? — хохотал исправник. — Вилкин — это от вилки, которой господа салаты кушают, а Распутин — от распутства. Я грамотней тебя, фамильные тонкости понимаю...

Крестьянская община села Покровского возбудила перед властями вопрос о высылке Распутина в Восточную Сибирь, но Гришка не стал ждать, когда его возьмут за шкуру. Он разулся и босиком тронулся в

дальний путь, покидая село. На околице ему встретились бабы с граблями:

— Ты кудыть уцелился-то, Григорий?

Вороватый взгляд и подлейший ответ:

— Да я далече... богу молиться. Мне и тятенька завещал, чтобы я Верхотурскую обитель посетил. Ох, грехи все, грехи наши...

Долог пеший путь из Тобольской губернии до Пермской, где затаился в лесах монастырь. Много месяцев о Распутине не было ни слуху ни духу. А потом явился... но в каком виде! Шел полураздетый, без шапки, длинные волосы совсем закрывали лицо. Никого не узнавая, размахивал руками и все время пел нечто духовное. В церкви дико озирался по сторонам и вдруг ни с того ни с сего начинал сипло голосить псалмы... Кажется, что в период богомолья Распутин повстречался с людьми, которые очень сильно подействовали на его кривобокую психику. Вел он себя странно. Движения стали беспокойны и порывисты, он ходил по селу, часто приседая, потирал руки. Речь иногда делалась бессвязным набором слов. А после нервного возбуждения наступала глухая, замкнутая депрессия... Вернувшись из Верхотурья, Распутин был явно ненормальным, потом он вроде оправился, и здесь летописцы отмечают страшный взрыв чувственности, словно нечистая сила поселила в нем беса блудного! Но грубую животную похоть Гришка неизменно облакал в формы богоугодничества — этим он невольно закладывал первый камень в фундамент будущей «распутинщины».

* * *

Сибирь тогда кишмя кишела сектантами, и Распутин со своими наклонностями, конечно, не мог окунуться в холодный мистицизм официальной религии. Складу его природы отвечали хлысты — с их буйными плясками, с их аморальным кодексом, где под глубоким покровом тайны творились самые мерзкие преступления противу нравственности. Теперь в избе Распутиных частенько останавливались какие-то странники в полумонашеском одеянии, приходили на закате

солнца, а убирались с первой росой... Скоро села Покровского показалось Распутину мало — обесчестил и села окружные. Словно сатана какой, водил баб в лес тучами, там ставил кресты на елках, велел бабам молиться на него, а при этом плясал, дергаясь, обнимал всех и звал парней из соседней деревни — начинался свальный грех...

— Хлысты объявились, — заговорил народ, будто о чуме.

Распутин взял моду целоваться со всеми в уста.

— Греха в том нету, — говорил в оправдание. — Какой же грех, ежели все люди на земле родня друг другу? Коли я девку целую, так я закаляю ее противу беса... Спроси любую из них — противно ли ей это? Ежели противно, тады ладно, не буду!

Вокруг него скоро образовался кружок из людей темных и забитых. Сначала это были его дальние родственники с выселков, одичавшие в одиночестве, и две девки — Катька и Дунька Печеркины. Молельню вырыл Распутин под избой — словно могилу, и проникнуть туда никто из посторонних не мог. Из бани Распутин сам уже не шел — глупые девки тащили его на себе. В этот период жизни Гришка много болтал о любви к богу, молот что-то о создании на земле «мужицкого царства», и нашлись дуры, поверившие в его святость. Из дальних деревень шли женщины, дабы покаяться в грехах не священнику в церкви, а новому апостолу... Распутин говорил дурам: «Перво-наперво, коли уж решила покаяться, ты меня не стыдись. — Но покаявшихся от себя уже не отпускал, внушая им: — Как мне поверить, что ты искрення? Вот, коли в баньку со мною сходишь, ноги омоешь мне, яко спасителю, да водицы той испьешь толику, тады поверю: ты — во Христе!» Тунеядец, бежавший от труда, словно черт от ладана, Распутин нахально ощупывал котомки своих поклонниц и ничем не гнушался — ни соленым огурцом, ни куском ватрушки, ни луковицей. В этих обысках странниц активно участвовала и его жена Парашка (с того, кажется, и кормились)... Жидкие глаза Гришки, похожие на овсяный кисель, сочно и непотребно обласкивали деревенских молодух, которые отворачивались, закрывали лица руками, но тут же сами искали распутинских взглядов. Гришка давно уже заметил, что люди добрые взоров его не выдерживают...

...А в далеком Петербурге жаловалась мужу царица:

— Каждый день болит моя голова. Ежечасно расширено сердце. Я живу на каплях и валюсь в постель как мертвая. Меня гнетет

ощущение предстоящей беды, и я не вижу никого, кто бы мог спасти меня! Жизнь очень трудно понять. Россия — унылая снежная равнина, а Петербург — столица подлецов и мерзавцев. Я знаю, что меня здесь не любят, но и мне тут никто не нравится!

Наглотавшись капель, она валилась на кушетку и курила крепкие папиросы, изнуря себя самоанализом чувств, подозревая окружающих в том, что они решили испортить ей жизнь.

8. Житие царя тишайшего

Осип Фельдман, известный в ту пору гипнотизер, прогуливался однажды по берегу моря возле Сестрорецка. Вдруг видит — с купальных мостков упал в море старик, облаченный в тяжелое пальто, и тонет. Отважный гипнотизер кинулся в воду и вытащил старика на берег. Тот открыл один глаз — оглядел своего спасителя:

— Жид?

— Увы.

— Крестись...

Все рекорды лаконизма были побиты! Осип Фельдман вытащил из воды синодского обер-прокурора Победоносцева, и уже на следующий день газеты опубликовали фельетон Амфитеатрова, озаглавленный: «Не всегда тащи из воды то, что там плавает!» Фельдман имел неосторожность спасти самую зловещую фигуру столичной бюрократии... Вот он! Тощий аскет с высоченным лбом мыслителя, за роговыми очками беспокойно блестят глаза, всегда гладко выбрит, нос острый, а рот широкий, как у лягушки, манеры и одежды — испанского инквизитора. Дополню: подбородок крючком, безобразные зубы. На старости лет женился, конечно, на молоденькой... взяточнице! У этого дикобраза, пихавшего Россию в дремучую тьму реакции, никогда не было времени. «Когда я совершенно изнемогаю от трудов, — говорил он, — у меня остается лишь один доступный мне способ отдыха. Я сажусь в поезд и еду в Москву, откуда тем же поездом возвращаюсь в Петербург, даже не вылезая из вагона. Так я отсыпаюсь за всю неделю...»

Победоносцев он в Синоде.

Обедоносцев при дворе.

Бедоносцев он в народе,

И Доносцев он везде.

Поздно вечером, когда Николай II катался на велосипеде по садику Аничкова дворца, из темных кустов выступила унылейшая

фигура в долгополом пальто из вечно несносимого драпа. Император продолжал ехать по дорожке сада, едва вращая педали, вихляясь передним колесом в поисках равновесия, а Победоносцев настигал его, словно роковое видение из Апокалипсиса.

— Ваше величество, — бубнил он, — где ваши идеалы? Ох, нельзя ли ехать помедленнее? Я не успеваю за вами... Помните, что русский народ готов лобызать кнут, которым вы его наказуете. О-о, государь, вы даже не знаете, что все чаяния нашего народа издревле обращены к этому кнуту. Да, именно к отчему кнуту монарха... любой сын готов лобызать руку отца, поучающую его!

Призывы не пропали даром. Первый год царствования Николая II открылся брожением земских чинов в провинции. Во множестве приветственных адресов, поднесенных царю, земцы намекали на конституционные реформы. 17 января 1895 года царь положил в шапку очередную свою шпаргалку и вышел в Николаевскую залу, где толпились депутации — дворянские, земские, городские... Искося поглядывая в шапку, он обрушил на них вещие слова:

— Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для изъявления верноподданнических чувств. Но мне стало известно, что в последнее время слышны голоса людей, увлекшихся *бессмысленными мечтаниями*... Пусть все ведают, что я, посвящая свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия столь же твердо и неуклонно, как и мой незабвенный родитель.

Оторвавшись от шапки, он закончил — с вызовом:

— Я говорю это громко и открыто!

При этих словах из рук тверского предводителя дворянства выпало золотое блюдо, со звоном покотившееся, хлеб разломился, а соль просыпалась. В довершение всего предводитель и царь одновременно бросились ловить крутящееся по залу блюдо и нечаянно треснулись лбами так, что у обоих искры из глаз посыпались.

К царю подошел Победоносцев — с упреком:

— Государь, а вы неправильно прочли то, что я для вас сочинил. Я же не писал *бессмысленные*, я писал *несбыточные*.

— Константин Петрович, простите — ошибся...

Бессмысленные или несбыточные — хрен редьки не слаще. Но голос самодержавия прозвучал на всю страну, и робкие надежды были похоронены от самого начала. В этом же году Департамент полиции

подшил к делу первое пророчество, которое неведомо откуда стало распространяться в придворных кругах:

В НАЧАЛЕ ЦАРСТВОВАНИЯ БУДУТ НЕСЧАСТИЯ И БЕДЫ НАРОДНЫЕ, БУДЕТ ВОЙНА НЕУДАЧНАЯ, НАСТАНЕТ СМУТА ВЕЛИКАЯ, ОТЕЦ ПОДНИМЕТСЯ НА СЫНА, БРАТ НА БРАТА, НО ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ЦАРСТВОВАНИЯ БУДЕТ СВЕТЛАЯ, А ЖИЗНЬ ГОСУДАРЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ.

Согласно преданиям, это пророчество исходило из глухой давности Саровской обители, затерявшейся в тамбовских дебрях Темниковского уезда. Автором его был купеческий сын Прохор Мошнин, который родился в разгар Семилетней войны, а умер уже после казни декабристов. В монашестве этот пророк звался Серафимом Саровским, и Николай II сразу же (и безоговорочно) проникся верой в его былую чудотворность.

— Мое сердце чувствует, — говорил он, — что именно этот саровский угодник станет моим всемогущим патроном.

Победоносцев в ответ кривил лягушачий рот:

— Доказательств святости Серафима в архивах Синода не сыскано. Ваше величество, лучше назовите мне свои *идеалы*...

Не станем думать, что у Николая II не было идеалов. Совершенно непонятно — почему, но этот идеал он обратил в прошлое Руси: император проповедовал при дворе культ своего предка — Алексея Михайловича (ошибочно названного в истории царем «тишайшим»). Зимний дворец бессмысленно копировал угасшее в веках царствование второго Романова! Граф Шереметев, видный знаток боярской старины, выступал в роли режиссера костюмированных балов, которые устраивались с азиатской пышностью. Николай II любил облачаться в древние бармы, а царица играла роль красавицы Натальи Нарышкиной. Придворные в одеждах московских бояр пили, морщась, дедовские меды и говорили: «Редерер все-таки лучше!» Вошли в моду «посиделки боярышень» — девиц и дам высшего общества. Подпевая своему властелину, министры перестраивали служебные кабинеты на манер старинных хором и принимали в них царя, сохраняя при этом неуклюжие формы этикета XVII века. Министр внутренних дел Сипягин, волоча по коврам подола боярских шуб (а в зубах — папироса «Континенталь»), воображал себя премудрым боярином Морозовым. В телефонных аппаратах странно звучали древние

славянизмы: понеже, бяше, иже, поелику... Царю же эти спектакли безумно нравились. «Когда у меня родится сын, — говорил он, — я нареку его Алексеем... Алексей — человек божий, и это будет хорошо». Странное желание! Романовы как раз избегали именовать своих отпрысков роковым именем Алексея, за которым чудилась отрубленная в застенке голова несчастного царевича. Алисе же в русской истории, напротив, нравился не «тишайший» царь Алексей, а залитый кровью Иоанн Грозный. «Ники, — твердила она мужу, — вот с кого ты должен брать пример. Совсем не надо, чтобы тебя любили. Умные правители добиваются не любви в народе, а страха...» Тихое житие завершилось рождением дочери, которую нарекли Ольгой. Ребенок родился крупным, орущим, здоровым, и Николай II, исполненный лучших отцовских чувств, с удовольствием сам и купал девочку в ванне.

— Обещай мне, Аликс, — говорил он жене, — что в следующий раз ты принесешь мне Алексея... Нам очень нужен наследник!

Царица уже постигла сложность отношений среди романовской родни. Конечно, скандал в Ливадии еще не забылся, а клятва, данная Николаем отцу, оставалась в силе: Мишка подрастал как на дрожжах и... «Что будет, если наследник не появится к тому году, когда Михаил достигнет зрелого возраста?»

Скорее короноваться! В Москву, в Москву, в Москву...

* * *

В канун коронации был отпечатан на Москве особый плакат, извещавший народ, что 18 мая на Ходынском поле состоится народное гулянье с дармовым угощением. За городом выстроили сотни буфетов для раздачи узелков с подарками, выросли там дощатые бараки для разлива пьяницам водки и пива. Гостинец же от царя — диву даешься! — был совсем не богатым. В ситцевую косыночку завязывали обычную сайку, кусок колбасы, горсть пряников и коронационную кружку с гербом и датой (1896), чтобы о Николае навеки сохранилась в народе *несъедобная* память... Программа увеселений призывала люд

московский к 10 часам утра, но голь и нищета тронулись к Ходынскому полю еще с вечера 17 мая. Ночь была, на беду, безлунной. На широком пространстве площади, изрытой ямами и оврагами, публика располагалась таборами, палила для обогрева костры, распивала шкалики. Толпа росла; напирая, она уже сбрасывала крайних на дно оврага — и сброшенные в овраг, как выяснилось впоследствии, оказались счастливыми. Вот и полночь! К этому времени, по данным полиции, на Ходынке собралось уже больше полумиллиона человек. Стояли плотно, как стенка. К трем часам ночи из спрессованной гущи людских тел послышались первые жалобы на тесноту. «Жалобы эти иногда переходили в рев, указывая на то, что в толпе уже гибнут люди...»^[2]

Рассвет загорался над Москвою-рекой, медленно открывая страшную картину, которая доселе была погружена во мрак. «Над людскою массою густым туманом нависал *пар*, мешавший на близком расстоянии различать отдельные лица; даже в первых рядах люди обливались потом, имея измученный вид; иные стояли с широко раскрытыми, налитыми кровью глазами, у других лица были искажены, как у мертвецов; немолчно неслись предсмертные вопли, атмосфера же была настолько насыщена испарениями, что люди задыхались от недостатка воздуха и зловония». Рук было не поднять. А кто поднял руки раньше, тот уже не мог опустить их. Время от времени в облаках горячего тлетворного пара раздавался отчетливый треск — это у соседа ломалась грудная клетка.

Светлело...

Иногда путем невероятных усилий удавалось поднять над толпою обеспамятевших женщин. «Они перекатывались по головам до линии буфетов, где их принимали солдаты». Дети же, «взобравшись на плечи соседям, по головам толпы легко добирались до свободного пространства». Множество трупов стояло посреди толпы, не падая. «Народ с ужасом старался отодвинуться от покойников, но это только усиливало давку». словно в издевку, хулиганы забрались на колокольню (построенную для проигрывания финала оперы «Жизнь за царя»), и над умирающей толпой, глумясь над ее страданиями, разнесся неслыханный радостный перезвон.

Так было...

Полиция растерялась. Присутствие духа сохранили только солдаты и офицеры полков, наряженных для оцепления. Нарушив программу, они решили раздарить царские гостинцы не в 11 часов дня, а в 6 утра. При криках «ура, дают!» толпа смяла барьеры и ринулась на буфеты с удвоенной силой. При этом «мертвецы двинулись заодно с живыми...». Получив узелок и кружку, люди выдирались из толпы «оборванные, мокрые, с дикими глазами; многие тут же со стоном падали, другие ложились на землю, клали себе под голову царские гостинцы и умирали». Чтобы хоть как-то разрядить толпу, раздавальщики стали швырять гостинцы по сторонам — куда попало, кто поймает... Врачей не оказалось на месте. Не было и воды — людей, потерявших сознание, солдаты, не скупясь, обливали дармовым пивом. Вся местность вокруг Ходынского поля тоже была завалена мертвецами. Люди спешили прочь, забирались в кусты и здесь умирали. Иные, правда, сумели дотащить до дому, где ложились и уже не вставали. «После того как схлынула толпа, на поле, кроме трупов, оказалась масса шапок, шляп, зонтиков, тростей и башмаков», находили здесь господские цилиндры, даже золотые часы купцов. Многие вырвались чудом, но... голые («за них цеплялись упавшие и в борьбе за жизнь обрывали их платье и белье»). А вырваться было почти невозможно: «Один из потерпевших, оставшись в живых, лежал на 15 трупах, а поверх него громоздились еще 10 человеческих тел...»

Итог «гулянья» таков: на поле Ходынском полегли замертво, как в битве, тысячи несчастных. Руководство «праздником» лежало на московской полиции, бывшей в подчинении царского дяди Сергея Александровича. Конечно, начались поиски мифического стрелочника, который всегда и за всех виноват!

* * *

Батальоны фотографов, словно стрелки при осаде города, целились изо всех углов и щелей, отстреливая кадр за кадром сцены средневекового спектакля. Особо выделенные живописцы разводили на палитрах желть с белилами, дабы «схватить» на холсте

ослепительный блеск мундиров и драгоценностей. Коронация проходила в благолепии, и, конечно же, в храме божием никого не помяли, никто не пищал и не выскакивал на улицу голым. Вот только митрополит Палладий малость подкачал. Будучи от природы картавым, он, вместо «какая радость» провозгласил с амвона трубяще:

— Какая *гадость* осеняет нас в этот волшебный миг...

Ляпнул и сам испугался! Николаю II уже вручили регалии его власти — державу и скипетр. Шесть натренированных камергеров поддерживали соболью мантию императора. Согласно ритуалу Николай II чинно следовал к алтарю, где над ним должны свершить обряд помазания на царство и возложить на него корону. В этот-то момент лопнула бриллиантовая цепь, на которой держался орден Андрея Первозванного, и упала к ногам. Воронцов-Дашков быстро нагнулся и спрятал цепь с орденом к себе в карман.

Николай II, сильно испуганный, шепнул камергерам:

— О том, что случилось, прошу молчать всю жизнь...

Коронацию сопровождала пышная череда великолепных обедов и балов. Но ходынская катастрофа ужаснула всех! Умные люди убеждали царя удалиться на время в монастырь, дабы народ видел его скорбь. Некоторые настаивали на строгом наказании виновных, дабы суда не избежал и дядя царя Сергей, которого народная Москва уже прозвала «великим князем Ходынским».

Вдовая императрица, потрясенная, говорила сыну:

— Короноваться на крови — дурная примета. Будь же благоразумен, Ники, и отмени хотя бы ненужные празднества.

— Конечно, Ходынка — большое несчастье, — отвечал сын почтительно. — Но ее всем нам следует игнорировать, чтобы не омрачать праздника. Не хотел бы я, мама, огорчать и дядю Сережу!

В этом решении царя мощно поддерживал Победоносцев:

— Народа никто и не давил — он сам давился, а публичное признание ошибки, совершенной членом императорской фамилии, равносильно умалению монархического принципа...

Как раз в день катастрофы был назначен бал у французского посла Луи Монтебелло; богатый человек, владелец знаменитой фирмы шампанских вин, маркиз денег не пожалел; на дом к нему свезли деревья из ботанического сада, столы для пира украсили живыми

цветами. Музыканты уже продували мундштуки инструментов, когда маркиз сказал стареющей красавице маркизе:

— Я вот думаю, моя прелесть, не напрасно ли мы тратились? Как-то не хочется верить, что император навестит нас сегодня. Ходынка напомнила мне случай из нашей истории. Когда Людовик XVI бракосочетался с этой отвратной венкой, в Париже тоже устроили подобное гулянье с дармовым угощением, а закончилось оно эшафотом! Теперь меня терзает аналогия: не есть ли эти катакомбы трупов Ходынки предзнаменование новой революции — русской, способной заново потрясти весь мир, и тогда короны посыплются на мостовые Европы, словно дешевые каштаны...

Он был умен, этот маркиз! Но тут явился граф Воронцов-Дашков, и хозяева услышали от него, что император с женою уже выезжают из Кремля — сейчас явятся. «Все ли у вас готово к танцам?»

— Странно, — хмыкнул Монтебелло в сторону жены. — Русский властелин желает сплясать мазурку на трупах... Что ж! История, как мы знаем, прощает кесарям немало ошибок, но подобных — никогда... Ага, вот они уже подъезжают!

Бал начался старинным контрдансом. Его открыла молодая царица, подавшая руку в серебристой перчатке французскому послу; за ними в чопорный жеманный круг вступил Николай II, бережно несший в своей руке руку маркизы Монтебелло в сиреневой перчатке. В улыбках, которые источали направо и налево «помазанники божии», было что-то порочно-неестественное...

Кое-кто из свиты жестоко напился в посольском буфете.

— Ходынкой началось — Ходынкой и кончится!

Этой фразе суждено стать исторической...

* * *

Газета «Новое Время», описывая торжества, в том месте, где говорилось, что на главу царя была возложена *корона*, допустила опечатку: вместо *корона* напечатали слово *ворона*. Впрочем, газета

быстро поправилась, предупредив читателя, что вместо *ворона* следует читать... *корова*! Виноватых не нашли.

9. Первые призраки

Фабрика по производству богов всегда размещалась на земле... Там, где ждут чуда, пути логики уже немислимы, а все здоровое кажется губительным. Лучшей частью русского народа царица сочла монахов, странников и юродивых. Среди иерархов церкви — да! — встречались яркие самобытные личности с философским складом ума. Но они-то как раз и не нужны были ей. К чему ясная людская речь, если дикие вопли всегда звучат откровеннее?

Мы начинаем приближаться к распутинщине...

* * *

Осенью 1896 года открылась «Русская неделя» во Франции, Париж ждал царя и царицу. Тайная имперская полиция предупредила все каверзные случайности: заграничнику возглавлял тогда матерый «следопыт» Петр Иванович Рачковский, сделавший все, чтобы чете Романовых ничто не угрожало в Париже.

Французы обновили форму и ливреи, специально для встречи царя в Булонском лесу был выстроен Новый вокзал. Феликс Фор, пылкий президент Франции, даже изобрел для себя особый костюм: жилет из белого кашемира с золотым галуном, кафтан голубого атласа, расшитый дубовыми листьями, желудями, нарциссами и анютиными глазками; шляпу он украсил петушиным хвостом! В самый последний момент его уговорили облачиться в строгий фрак, как и подобает суровому республиканцу. Казалось, что в русско-французской дружбе наступил апофеоз. Около миллиона провинциалов нагрянули в Париж, на пути следования царского кортежа места возле окон продавались за 20 франков. Николай II с супругою ехали по авеню Елисейских полей в открытом ландо, императрица держала на коленях маленькую Ольгу, их сопровождал почетный эскорт — из одних спагов в ярко-малиновых

бурнусах. Французы перестарались! Они не учли того, что русский народ подобных восторгов царям никогда не выражал, и теперь император с женою были совершенно уничтожены вулканической стихией галльского темперамента. «Когда во дворе русского посольства за ними закрылись ворота, они испытали чувство облегчения, какое знакомо моряку, укывшемуся в порту после шторма в открытом море». На гала-представлении в парижской опере царь возмутился овацией публики.

— Это просто хамство! — говорил он. — Отчего они хлопают так, будто мы, Аликс, вульгарные заезжие гастролеры.

Царица испуганно забила в дальний угол ложи.

— В таком гвалте, — отвечала она, — в нас могут бросить бомбу, и никто даже взрыва не услышит... Надо спасаться!

Царице стало мерещиться, будто революционеры хотят укокошить ее именно здесь — в шумном Париже. Однажды среди ночи с улицы послышался взрыв праздничной петарды.

— Полицию сюда! Нас убивают... где же полиция? Что за паршивый город Париж — на улицах ни одного шупо!

Явился сам парижский комиссар полиции Рейно, заставший императрицу в ночном пеньюаре, она с ногами забила в кресло.

— Спасите меня, — скулила она, сжавшись в комок...

Рейно понял, что перед ним (увы, это надо признать!) плохо воспитанная женщина с расшатанной нервной системой. Скоро это поняли и французы: на смену активным восторгам пришло оскорбительное равнодушие. В следующем году царская чета должна была присутствовать на маневрах французской армии в Шампани, но Александра Федоровна твердо заявила супругу: «Надеюсь, Ники, ты не дашь убить меня в Париже!» Был страшный шторм, когда они высадились в Дюнкерке, и здесь Романовы проявили самое натуральное свинство. Прибыв в страну с дружеским визитом, они *отказались от посещения столицы*. Впрочем, на этот раз парижане их и не ждали: никаких флагов и лампионов, никаких петард и оваций! Во время случайной остановки в Компьене императрица вдруг... скрылась. Ее нашли в каком-то грязном чулане, среди старых бочек, за которыми она пряталась, вся трясаясь от страха.

— Не подходите ко мне! — взвизгнула царица. — Я знаю, что все хотят моей смерти... Увезите меня во Фридрихсбург!

К этому времени она была уже матерью двух дочерей — Ольги и Татьяны. Наследник не появлялся, отсутствие сына ввергло Романовых в подлинную меланхолию. А случайная остановка в Компьене сыграла роль — именно здесь к царице явился первый предтеча мессии, которого она не уставала ждать!

* * *

Рождение третьей дочери Марии совпало по времени с кончиною в Абастумане Георгия, а младшему брату царя Михаилу как раз исполнился 21 год — Мишка вошел в тот возраст, когда Николай II обязан был передать ему свои регалии власти. Правда, император делал вид, что никаких обещаний в Ливадии не давал. Но брат официально (!) был объявлен в стране НАСЛЕДНИКОМ ПРЕСТОЛА — и он будет им до тех пор, пока у царя не появится сын...

— Нам нужен Алексей, — со значением говорил Николай II.

А когда в Компьене императрица заболела манией преследования, к ней под видом врача прорвался уроженец Лиона по имени Низьер Вашоль. Ампула мага и чародея мало соответствовало внешности типичного буржуа: уже немолод, лысоват, большие карие глаза, проникающие в душу, а на толстом мизинце — громадный перстень, фальшиво всех ослепляющий.

— Впрочем, — сказал он ради приятного знакомства, — меня в Европе знают за «Филиппа»... Почему псевдоним? Но я же не просто врач, а творческий человек... почти артист!

Пошлость иногда способна заменять мудрость, а нахальство исключает всякую церемонность. Вашоль-Филипп (отдадим ему должное) был человеком смелым. Он дал понять, что воздействию его пассов поддаются именно женские немощи, при этом загадочно намекнул, что умеет управлять развитием плода во чреве матери. «Расслабьте свои чувства, — диктовал он. — Я должен без напряжения проникнуть в потаенный мир царственной красавицы. О-о, как горяча ваша рука... Чувствую зарождение мужского импульса в вашем божественном теле. Будет сын!» Алиса, как это и бывает с

истеричками, легко поддавалась внушению чужой воли, затем она сразу успокоилась и на маневрах в Шампани была даже радостно оживлена. Когда лава французской кавалерии сорвалась в атаку, посреди плаца заметалась жалкая фигурка человека, которого вот-вот сомнут и растопчут в неукротимом набеге конницы. Императрица, стоя на трибуне для почетных гостей, подняла к глазам бинокль и воскликнула — уверенно:

— Но это же... Филипп! Человек, сошедший на землю святым духом, не муравей, чтобы жалко погибнуть под копытами.

Вашоль-Филипп перебрался в Петербург — поближе к злату. В кругу царской семьи его называли по-английски dear Friend (дорогой друг). Человек беспардонной проворности, он сумел в русской столице сыскать массу поклонников. Вместе с дядей царя Николаем Николаевичем «вертел столы», а сеансы спиритизма в доме барона Пистолькорса создали ему славу чуткого медиума... Страх перед грядущим бросал властелинов в грубейший фанатизм, настоящий на острой закваске сладострастия. Это был наркоз, и Александра Федоровна с удовольствием отдавалась воздействию таинственных пассов. Филипп внушал ей, что она несет в себе наследника! Императрица сбросила корсет; на интимном языке она всегда выражалась грубо-иносказательно: «Прошел уже месяц, — призналась мужу, — а инженер-механик Беккер не навестил меня. Мой дорогой, я отправляюсь в девятимесячное плавание. Заранее поздравь меня с Алексеем...»

Но родила четвертую дочь, названную Анастасией.

— Где же наследник? — рыдала императрица...

Вашоль-Филипп оправдывался, что он не виноват:

— Мои пассы слабо влияют на вашу сущность, ибо в момент зачатия я нахожусь вдали от вас и не могу сосредоточиться...

Шарлатана ввели в императорскую опочивальню, где в ослеплении иконных ликов, мигавших во мраке лампадными огнями, стояли две гигантские кровати под пунцовыми балдахинами. Рядом с царской постелью водрузили ложе для «дорогого друга». Мораль была растоптана! То, что люди обычно тщательно прячут от других, «помазанники божии» производили при свидетеле.

— Наш dear Friend, — призналась императрица мужу, — оказался прав: его пасы уже во мне... Поздравь: это — *Алексей!*

Фрейлины первыми заметили, как она потолстела (они явно ей льстили). Напрасно лейб-акушер Дмитрий Оскарович Отт^[3] хотел вмешаться в течение беременности — императрица врача до себя не допускала. Время шло, и настал девятый месяц. Николай II официально заверил двор, что вскоре следует ожидать наследника. В поисках тишины Алиса перебралась в Петергоф, за ней тронулись и лейб-медики. Все ждали, когда залпы пушек с петропавловских кронверков возвестят России о прибавлении к дому Романовых...

Настал десятый месяц. Вот и одиннадцатый!

— Что-то стряслось в природе, — посмеивались врачи.

Профессору Отту подобная галиматья надоела. Он стал настаивать перед царем, чтобы его допустили до клинического осмотра.

— Но императрица — не баба, чтобы ее осматривали!

— Ваше величество, — дерзко отвечал Отт, — но я ведь гинеколог, а для нас все царицы такие же, простите, бабы...

Осмотр закончился скандалом.

— Вы и не были беременны, — буркнул Отт императрице. — Это вам внушили разные придворные негодяи...

Николаю II пришлось опубликовать официальное сообщение, что беременность императрицы оказалась ложной. Канониры крепости с матюгами разошлись от пушек. Из текста оперной феерии «Царь Салтан» цензура немедленно выбросила пушкинские строчки:

Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь,
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку...

В народе ходили слухи, что царица все же родила, но родила чертенка с рожками и копытцами и царь сразу же придавил его подушкой. Как раз в это время книгоиздательский комбинат И. Д. Сытина выпустил колоссальным тиражом календарь для народа с красочной картинкой: нарядная пейзажная тащит лукошко на базар, а в лукошке — четыре розовых поросенка... Цензура всполошилась:

— В четырех поросятах, несомых на продажу, народ русский способен зловредно усмотреть четырех дочерей нашей императрицы...

Вывод один — конфисковать весь тираж! Под нож его, на костры. А календари уже пошли в продажу. Полиция сбилась с ног:

— Эй, мужик, кажи календарь... с поросятами нельзя. Потому как народ нынче вредный пошел, а поросята не твоего ума дело!

Никто так и не понял тогда, отчего бедных поросят постигла столь жестокая кара. В чем они, хрюкающие, провинились?

* * *

Тем временем Рачковский, находясь в Париже, раздобыл о Филиппе такие сведения, что сыщик даже не рискнул доверить их дипкурьерской почте посольства. Рачковский сам прибыл в Петербург и направился с рапортом не в Зимний дворец, а прямо к министру внутренних дел Сипягину, который встретил его сидящим возле камина. Нехотя он буркнул, что готов слушать.

— Низьер Вашоль, именующий себя Филиппом, прожженный мерзавец, который судом Лиона уже не раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничества и подлоги. Он выдает себя за врача, на самом же деле (не угодно ли взглянуть?) вот справка из Франции, коя говорит, что он всего-навсего ученик... мясника! Его профессия — делать колбасы и шпиговать сосиски.

— Ну и что? — нахохлился Сипягин, глядя на пламя.

— Вашоль-Филипп, — продолжал Рачковский, — выдает себя за француза... Это неправда! Он является активным членом тайного «Гранд-Альянс-Израэлит» — центра международной организации сионистов, финансовые шупальца которой уже охватили весь мир. С его помощью сионизм проник туда, куда невхожи даже вы...

— К чему вы клоните? — спросил министр.

— К тому, что такое ненормальное положение чревато опасностью для Русского государства. Не исключено, что иностранные разведки станут и впредь использовать для проникновения ко двору мистическую настроенность нашей государыни императрицы...

Сипягин показал глазами на пламя в камине:

— Вот мой добрый совет — бросьте свое досье сюда, я как следует размешаю кочергой, и пусть его никогда не было...

Рачковский поступил иначе — пошел ко вдовой императрице Марии Федоровне и вручил ей досье на Вашоля-Филиппа.

— Спасибо, Петр Иванович, — ответила царица-мать. — Я уже слыхала, что «не все благополучно в королевстве Датском», как говаривал мой соотечественник принц Гамлет... Мне бывает тошно от сарданапаловых тайнств в спальне моего сына. Ладно! Еще раз — благодарю. Я передам это сыну. Лично в руки ему...

Финал истории был таков: Рачковского выперли со службы — без пенсии! Презрев своего агента, Николай II, напротив, решил возвысить Филиппа, который обрел такую силу, что уже начинал вмешиваться в дела управления государством. «Ваша супруга права, — внушал он царю, — русская нация способна понимать только кнут. Секите же этих скотов!..» Дворцовый комендант Гессе, вступаясь на защиту Рачковского, хотел было «открыть царю глаза» на шарлатанство Вашоля, но император велел ему молчать.

— Петр Павлович, — сказал он генералу, — я ведь не лезу в ваши домашние дела, так будьте любезны не вмешиваться в мои!

Царь обратился в Военно-медицинскую академию, дабы ученый совет присвоил Филиппу степень доктора медицинских наук.

— А где диплом этого господина? — спросили ученые люди.

Диплома не было. Зато была справка, утверждающая, что Филипп является подмастерьем лионского колбасника. В обход комитета ученых научную степень Филиппу присудили от имени Военного министерства — этот факт целиком лежит на совести генерала Куропаткина! Николай II заодно уж присвоил проходимцу и чин действительного статского советника, что дало право Вашолю-Филиппу появляться в свете облаченным в мундир генерал-майора медицинской службы... После чего, получив подъемные от царя, он собрал все нахапанное в России — и поминай как звали!

Но тут раздался...

10. Звериный рык

Вот и великий пост в Александро-Невской лавре. Господи, спаси ты нас, грешных, и помилуй... Архимандрит Феофан, магистр богословия и ректор Духовной академии, боялся оскоромиться, а потому стол его был аскетически скромнен. Сначала он пропускал рюмочку смородиновой, на закуску же — грибки, сиг копченый, балык и розовые ломти семги. Затем (уже под коньяк) лилась янтарная уха из волжской стерляди, а к ней подавалась кулебяка с енисейской визигой. В конце сладкое — муссы и бламанже.

— Ну-с, — сказал владыка, безгрешно насытившись, — так дело дальше не пойдет. До чего мы дожили! Русская земля исстари царям святых чудотворцев поставляла. А ныне... что творится?

Вашоль-Филипп уже не вернулся, но прислал в Петербург своего ученика, хитрого еврея Папюса (настоящая фамилия — Анкосс), который вовлек царя в беседу с духами умерших самодержцев. Царицу угнетал гипнозом сомнительный профессор Шенк из Вены, а тибетский знахарь Джамсаран Бадмаев подкармливал Николая II возбуждающими травками... От этого в Лавре было большое смятение.

— Нешто обедняла земля русская, от Византии свет получившая? — вопрошал Феофан у клира. — Кудесники на Руси всегда под ногами словно камни валялись: бери любого — не надо!..

Сообща было решено поставлять в Зимний дворец своих агентов. Первым проник к царице митрополит Антоний (Храповицкий), в прошлом блестящий офицер гвардии, свободно владевший многими языками. Это был вполне светский человек, остроумный собеседник с ядом раблезианства на устах. Церковный штаб просчитался! Александра Федоровна совсем не нуждалась в утонченных риториках. Духовенство моментально отреагировало на свой тактический промах и, отыскивая нужный товар, быстро-быстро, как мусорщик помойную яму, перекопало весь внутренний рынок гигантской империи. Скоро по Питеру пошел слух, что в глубинных недрах матери-России объявился отрок святой жизни, который уже прорицает. Флигель-адъютант князь Николенька Оболенский доложил царице:

— Как козельский помещик, могу засвидетельствовать, что истинно дух божий сошел на отрока. Посудите сами: княгиня Абамелик-Лазарева, моя соседка по имениям, никак не могла, пардон, понести. Отрок заверил ее, что сын будет, и сын... явился!

— Хочу видеть отрока, — сразу напряглась императрица.

* * *

Митька Благов, он же Козельский, он же Блаженный, он же и Коляба... Называют его по-разному — кому как нравится!

Отрок сей паспорта отродясь не имел, родителей не ведал, в детстве ползал, а когда подрос, то ловко бегал на четвереньках. Позвоночник имел искривленный, а вместо рук — обрубки. «Его мозг, атрофированный, как и члены его, вмещал лишь небольшое число рудиментарных идей, которые он выражал гортанными звуками, заиканием, мычанием, визжанием и беспорядочной жестикуляцией своих обрубков». На деревенском празднике, развеселясь, мужики ушибли убогого чем-то тяжелым — с тех пор и началась громкая Митькина слава: стал он подвержен падучей. Во время припадков блажил он что-то, людей пугая. Лечили его знахари канифолью, служащей для натирания смычков скрипичных. Так бы, наверное, и захирела Митькина слава в скромных масштабах Козельского уезда, если бы не один человек, осиявший его венцом знаменитости...

Вот он: Елпидифор Кананыкин — псаломщик церкви села Гоева; мужу сему выпала честь обнаружить великий смысл в речениях Митькиных как раз в те критические моменты, когда его корчит падучая. Но даже Христофор Колумб не имел стольких выгод от открытия Америки, сколько имел их наш грозный Елпидифор, открывший в Митьке глубокий кладезь премудрости... Мужик здоровущий, вечно несытый, Кананыкин был умудрен громадным житейским опытом и потому стал блажения отрока расшифровывать — очень точно:

— Тихо! Ша... о церкви лает... быть пожару!

И верно: ночью занялась церквушка и пошла прахом, одни головешки остались. Хочешь не хочешь, а надо верить, что на Митьку и впрямь «накатывает» дар божий. Теперь, коли Митьку сгибало в дугу посереде деревенской улицы, суеверные мужики и бабы обступали его стенкой, выкликая вопросы и просьбы:

— Продать мне пеструшку или на отел оставить?

— Ванюшку-то, скажи, долго ль в солдатах держать будут?

Елпидифор стихийного беспорядка не потерпел.

— Это по какому праву? — бушевал он. — Митька-то *мой*, я же ведь блажь его толковать уразумел... Рразойдись! Или закону не знаете? Вот я аблаката на вас спущу... Сначала вопрос подай мне, а уж я сам нужное у Митьки выведаю и перетолмачу обратно. Брать за блажь буду холстинами, деньгами и яйцами.

Посадив Митьку на тачку, Кананыкин повез его по деревням на платные гастролы. Вот когда житуха настала! Зажил псаломщик — кум королю: бабы его оделяли чем могли, и в новой роли антрепренера отъелся наш Елпидифор, купил сапоги себе и рубаху новую. Только вот беда: случается, день-два-три, а Митька здоров, проклятый... не кидает его в приступ, не «накатывает»! От Митькиного здоровья большие убытки терпел Кананыкин.

— Ты што ж это, а? — шипел он на Митьку в благородной ярости. — Я тебя, знашь-понимашь, по всей губернии, быдто хенерала какого, на тачке катаю. Я тебе, огузнику, вчера конфетку в бумажке купил. А ты, скважина худая, от самой пятницы даже не покорчился. Сплошной убыток, а где доходы? Разорюсь я с тобой...

Однако вскоре Елпидифор заметил, что если Митьке надавать тумачков побольше, то припадочки с ним случаются чаще. Теперь, подвозя блаженного к богатому селу, Кананыкин еще за околицей устраивал своему протеже хорошую взбучку. А когда подкатывали к сельскому храму, Митька уже начинал биться в жестокой эпилепсии... Юродивый имел теперь немало губернских заказов, и Кананыкин едва успевал расшифровывать его мычания и визжания:

— Бабу свою не жалея — помрет вскорости, тащи льна... На станцию с огурцами не езди — обворуют там тебя, гони двугривенный. А ты, девка с пузом, не плачь — солдат свое дело сделал и назад не воротится, с тебя дюжина свежих яичек...

Так и катилась роскошная жизнь — знай толкай перед собой тачку с припадочным идиотом, но тут вмешалась полиция:

— Стой! Кажи вид... Ага, псаломщик Кананыкин из села Гоева? Так-так... Впрочем, ты нам не нужен. Велено убогого Митьку из козельских мещан взять от тебя и доставить к ея императорскому величеству. А тачку забери! Про тачку ничего не велено...

Тут Елпидифор понял, что без Митьки он пропадет.

— Родные мои! — закричал он, на колени падая. — Да без меня-то ведь царица ни хрена не поймет от убогого.

Заявление Кананыкина подвергли критике:

— Ну, так уж и не поймет? Что она, дура какая?

— Христом-богом клянусь, вот те крест на себе целую... Митька ведь протоколы свои только для меня пишет!

Словно подтверждая эту святую истину, Митька выпал из тачки и, дергаясь, начал «писать протоколы» для Кананыкина.

— Чего это с ним? — удивились чины полиции.

— Прорицает! Речет от бога, чтобы нас не разлучали...

Елпидифора с Митькой посадили в вагон первого класса и научили, как надо пользоваться уборной вагонного типа: «Ты когда все соорудишь, дергай вот эту ручку. Смотри же, не дерни другую — это стоп-кран, тогда поезд остановится!» Было Елпидифору жутко и сладко от предвкушения будущего. Всю долгую дорогу до Петербурга, чтобы Митька не потерял спортивную форму, Кананыкин устраивал ему хорошие тренировки — бац в ухо, бац в другое, пригрел слева, приласкал справа... При этом говорил:

— Ты уж меня не подведи... постарайся!

Вот и Царское Село; первым делом приезжих отвели в гарнизонную баню, вывели им вшей. Митьку приодели в зипун, а Елпидифора, соответственно его сану, в подрясник. Взявшись за тачку, Кананыкин с грохотом покатыл ее в покои царицы, а Митька махал своими культяпками и пускал пузыри, словно младенец.

— Ишь, как тебя разбирает-то! — говорил Кананыкин. — Понимаешь ли, башка твоя дурья, до чего мы с тобой докатились?

А теперь, пока Елпидифор везет свою тачку, мы возьмем громовой заключительный аккорд. Я нарочно не говорил читателю раньше, что императрица была вполне образованной дамой. Еще в юности она прослушала курс лекций по философии и даже имела научную степень *доктора философии Гейдельбергского университета*.

Внимание, читатель! Двери распахнулись, и, визжа несмазанным колесом, в покои «доктора философских наук» отважный козельский антрепренер вкатил тачку с новоявленным чудотворцем...

— Вот мы и добрались, — сказал Елпидифор, чувствуя, что в этот момент он достиг горных высот блаженства.

Митька для начала издал легкое игривое рычание — вроде многообещающей увертюры, когда занавес еще не поднят.

— Это что с ним? — спросила царица. — О чем он?

— Деток повидать желает. Он у меня бедовый. Лимонад любит. Я ему, бывалоча, покупал... тратился! Как сыну. Куплю, а он все слакает и мне даже капельки не оставит.

Дали Митьке бутылку «Аполлинариса», привели царевен — Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию (последнюю принесла на руках нянька Ленка Вишнякова). При виде множества девочек Митька, не допив шипучих вод, дико возопил.

— А сейчас он что сказал? — спросила Алиса.

— Это он чаю с повидлой хочет, — перевел Елпидифор. — Говорит, чтобы нам кажинный божиный день по баранке к чаю давали...

Описывая психопатку с солидным дипломом доктора философии, я невольно теряюсь, ибо не могу понять ее логики. Мне остается взять на веру лишь показания очевидцев. Со слов их я знаю, что беременная императрица целых *четыре месяца подряд* присутствовала при ужасных припадках эпилептика. Сейчас ее волновал вопрос — кто родится, неужели опять не сын?

— Мммм... рrrrrры-ы-ы-к... у-у-ы-ы... — завывал Митька.

Понятно, что псаломщик Кананыкин (психически вполне здравый стяжатель) вылезать из дворцовых покоев не желал. А потому, дабы

продлить полезное пребывание на царских харчах, хапуга толковал Митькины вопли туманно, явно затягивая время:

— Погоди еще месячишко, он тебе потом все откроет! Да не забудь указать, чтобы мне драповое пальтишко справили...

Митька причащал царскую чету своеобразно: пожует «святые дары», а жвачку выплевывает в раскрытый рот Николаю II и его супруге. Если уж говорить честно, то Митькины манеры иногда были при дворе утомительны. С детства не приученный посещать клозеты, он, мягко выражаясь, раскладывал кучи по углам. Пойдет фрейлина — и вляпается туфлей! Хотя наклал и «блаженный», но все-таки, согласитесь, не очень приятно... Что же касается Кананыкина, то он, дабы пророческий источник в Митьке не иссякал, ежедневно лупил его смертным боем. Бледная, взвинченная от внутреннего напряжения, с расширенными глазами, вся в мелком холодном поту, Александра Федоровна с неестественным вниманием наблюдала, как возле ее ног катался эпилептик. На губах Митьки, словно взбитый яичный желток, вскипала пузырчатая пена...

Эту пену пронизало розовым цветом — кровь!

Кананыкин перетолмачивал звериное рычание:

— Тока не пужайся! Родишь кавалера, верь. Да передай хенералам своим, штобы мне на пошив сапог они хрому от казны выдали...

В один из таких «сеансов» с Алисой тоже начался припадок — истерический. Теперь на полу катались уже двое — эпилептик, весь в мыле, и закатившая глаза императрица в голубеньком капотике. На почве сильного потрясения случились преждевременные роды. Держать «пророка» при дворе далее не решились. Гастрологов на казенный счет выслали обратно в козельские палестины. Едва их запихали в тамбовский поезд, как Елпидифор сразу же, без промедления, засучил рукава подрясника.

— Жили при царях, как мухи в сахарнице. Такую жисть потерять — второй раз не сыщешь. Ты виноват... Ну, держись теперича!

Всю дорогу, под надрывные крики паровоза, Кананыкин вымещал на Митьке злобу за горестный финал своей завидной придворной карьеры. В конце концов он так измолотил своего протеже, что Митька не выдержал. Хотя количество «рудиментарных идей» в его башке было строго ограничено, но их все же хватило для понимания того, что надо спасаться. Ночью, когда паровоз брал воду на станции, Митька

навзничь вывалился из вагона на землю. Поезд тронулся, разбудив Елпидифора, обнаружившего ценную пропажу.

— Митя-а-а... где ж ты, соколик ясный? Не погуби. Я тебе конфетку куплю. Кажинный день по бутылке лимонаду давать стану. Без меня-то где встанешь, где ляжешь? Пропадешь ведь, стерва...

Митька, однако, не пропал. Нашлась добрая душа, сжалилась над убогим, врачи вернули Митьке слабое подобие человеческого облика, с четверенок его водрузили на ноги, в мычании юродивого стали проскальзывать внятные слова. Митьку сначала пригрела Почаевская лавра, откуда его занесло в Кронштадт, а потом он вновь оказался в столице, где содержался в клинике доктора Бадмаева на субсидиях Александро-Невской лавры как могучий духовный резерв православных клерикалов...

Судьба же его грозного наставника Елпидифора покрыта мраком неизвестности, и босоногая муза истории Клио при имени Кананыкина лишь разводит руками — сама в полном неведении.

* * *

«Духовная партия» еще не раз поставляла Дворцу своих агентов. Были тут Вася-странник, Матренушка-босоножка, была и Дарья Осипова, которая пророчила больше матюгами, специализируясь на лечении баб («чтобы у них детки в пузе держались»). Эту вечно пьяную старуху поставил ко двору блистательный наркоман — генерал Саня Орлов, на которого царица посматривала с вождедением.

Много тут было всяких! Но все не то. Не то, что нужно. Они ведь только предтечи мессии... А где же сам мессия?

11. Явление мессии

«В конце 1902 года, в ноябре или декабре месяце, когда я, обучаясь в С.-Петербургской Духовной академии, деятельно готовился к принятию ангельского образа — монашества, среди студентов пошла слухи о том, что где-то в Сибири, в Томской или Тобольской губернии, объявился великий пророк, прозорливый муж, чудотворец и подвижник по имени Григорий...» — так вспоминал о Распутине громоподобный иеромонах Илиодор, умерший в Нью-Йорке на 10-й авеню Ист-Сайда, где селилась беднота русских и украинских эмигрантов. Мечтавший создать на Руси православный Ватикан, чтобы играть в нем роль русского папы, Илиодор закончил жизнь швейцаром при открывании дверей богатого отеля. Владелец отеля ценил его за могучую грудь и роскошную бороду, а вступающих в отель избалованных туристов поражал жалящий, почти змеиный взор швейцара, пронизывающего женщин насквозь... Смелой рукою ввожу в роман героя, который станет одним из главных!

* * *

Кончились те примитивные времена, когда гоголевский семинарист Хома Брут, не изнурая себя гомилетикой, пил горилку, а по ночам лазал в окошко хаты, где жила прекрасная Дульцинея-просвирня. Хома Брут кажется нам существом наивнейшим. А теперь — о, ужас! — «в духовных академиях проектируется учредить специальную кафедру по предмету обличения социал-демократической доктрины». Первый удар был нанесен по русским писателям: «Все знают, — вещали с кафедры Академии, — что писатели наши не столько писали, сколько блудили и пьянствовали. Белинский получил чахотку оттого, что ночи напролет резался в карты. Герцен, Тургенев и Михайловский потеряли здоровье в сожительстве с

чужими женами. Некрасов и Лев Толстой — два златолюбца, которые других совращали на путь нищенства. Один малорос Гоголь еще так-сяк, да и тот умер, изнунив себя онанизмом...» Нет, читатель, семинарии не были тогда скопищем оголтелой реакции! Из числа семинаристов вышло немало революционеров, ученых и певцов, а начальство давно привыкло, что стенки в уборных разрисованы карикатурами «на Николашку и Сашку», семинаристы ножами вырезали на скамьях вещие слова: «Долой самодержавие!» Предчуя скорую революцию, высшее духовенство соблазняло будущих пастырей на путь активной борьбы с пролетариатом. Иерархи церкви выискивали среди молодежи талантливых и беспринципных демагогов...

Сущей находкой для Синода стал Серега Труфанов!

Фигура историческая. Донской казак. Собою красавец.

Парень с гривой волнистых волос, каким бы позавидовала любая женщина. Усы и борода редкие, будто у калмыка. А глаза — как у водяного лешего, эдакие ярко-зеленые глубокие омуты.

Антоний (владыка синодский) сказал Труфанову:

— Вот станешь попом, дадут приход, так даже страшно помыслить, что будет. Налипнут на тебя бабы, как мухи на патоку!

Но Труфанов был склонен к аскетизму — редкое явление по тем временам, и Феофан, ректор Академии, стал заранее выдвигать студента — как нового апостола церкви, который должен заменить Иоанна Кронштадтского, издыхающего от неумеренного потребления хересов. По рукам семинаристов ходила тогда крамольная картинка. Был изображен стол, полный яств, а вокруг стола пируют тучные митрополиты, архиереи и монахи, венчаные надписью «*Мы молимся за вас!*». А ниже, под столом, рабочий ковал железо, пахарь возделывал землю, и было начертано: «*А мы работаем на вас!*»

— Это неправда, — возражал Серега Труфанов. — Духовное есть духовно, и вы меня такими картинками не искушайте...

Труфанов был сила, но непутевая сила. Талант, но бесшабашный талант, искривленный и дикий. Он был еще студентом, когда слава о нем как о духовном витии уже гремела. Генералы присылали за ним автомобили, и, встав на дрожащий радиатор, Серега держал перед солдатами погромные речи. По его словам выходило так, что во всех бедствиях Руси повинны евреи и интеллигенция:

— Бей их так, чтобы от них одни галоши остались...

Петербург жил своей жизнью. За стрелки островов выбегали белоснежные речные трамваи, звонко цокали подковами по торцам лихие рысаки, шумели на Озерках рестораны с гуляющей публикой, дразняще ликовал в зелени женский смех, всегда волнующий чувства, оркестры пожарных команд раздували над парками щемящую тоску старомодных вальсов-прощаний, в магазине у Елисеева даже в лютейшие морозы торговали свежей клубникой, а по вечерам неистовствовали загородные кафешантаны, и там пели канканирующие красотки, вскидывая ноги в белой пене шуршащих кружев:

О Марианна, о Марианна,
простись с прославленным полком,
о Марианна, опять ты пьяна,
остыл твой кофе с молоком...

Ну, скажите мне, положила руку на сердце, какому дураку в бурной и праздничной жизни хочется стать монахом? Труфанов и стал им, приняв новое имя — *Илиодор*... Он блуждал по Невскому, безумный инок, пугавший проститутток речами о «страшном суде» на том свете. Босой праведник, опоясанный размочаленным вервием, Илиодор сшибал очки с носов прохожих, говоря при этом: «У-у, интеллигент поганый, морда твоя жидовская!» Духовная дорога уводила инок в дебри политики. В голове монаха самым диким образом совмещались идеи крестьянского народничества с махровейшими идеями черносотенства. Идя от бога, Илиодор хотел выйти к народу с его нуждами, но дорогу к народу не знал и пошел вкривь и вкось, словно пьяный. Человек гибкого ума, мракобес широкого масштаба, великолепный оратор, способный увести за собой тысячи, десятки и сотни тысяч людей, — фигура архисложная!

Феофан голубил Илиодора, зазывал в свои лаврские покои, пили они чай с клубничным вареньем, и молодой взвинченный монах раскрывал ректору свою душу, испепеленную ненавистью к «очкарикам», к романам Льва Толстого и к революции грядущего.

— Есть у меня мечта, — говорил он, — издавать журнал «Жизнь и Спасение», на обложке коего изображен квач малярный, и этим квачем мажут рожу дураку в очках. И хочу, владыка, пустить в народ газету по названию «Гром и Молния», а чтобы девиз у нее был такой: «Пролетарии всех стран... разбегайтесь!»

— Мажь квачем, Илиодорушко... все разбегутся.

Он был страшен, как погромщик, но царская власть еще не раскусила, что, возвращая Илиодора для своих нужд, она невольно готовит буйного протестанта, способного выступить и против царя. Тихое житие в келье Илиодора не прельщало. Протопоп Аввакум, Никита Пустосвят, Арсений Враль-Мациевич, Ириной Нестерович — именно эти бунтари церкви стали для Илиодора апостолами, образцами для подражания... Однажды за чашкой чая ректор Академии завел речь о подвижниках, но Илиодор отмахнулся:

— Да где они! В нашем веке чудеса библейские не привьются. Эвон вчера над Обводным каналом аэроплан запускали с винтиком. Тоже чудо! Токмо рукотворное, а не божие.

— От этих самых аэропланов святости не жду, — отвечал ему Феофан. — А подвижники шевелятся... в лесах, где гады ползают. Недавно из Казани от миллионерши Башмаковой весточку получил. Пишет вдовица кроткая, что в Сибири завелся истинный подвижник по имени Григорий. Он ладно беса из нее выгнал...

— Любопытно бы на него глянуть! — сказал Илиодор.

— Григорий уже в пути. Наплел лаптей поболее и пешком к нам заявится, аки странник вечно гонимый...

Феофан уже взял нового «святого» на учет своей канцелярии — авось и стодится! Если б эта новость отрыгнулась обратно в село Покровское, мужики скорее поверили бы в беса паскудного, но только не тому, что их Распутин способен к святости.

* * *

Соблазны всюду, как поглядишь, одни соблазны... Искушений столько, что страшно! Чуть свечереет над Лаврою, через забор сигают

мрачные патлатые тени, во мраке смачно брякаются трехлитровые бутылки. Оглянутся вокруг — никого нет, и слышать:

— Эй, Нюрка, лезь... Да тихо ты, дуреха лиговская!

В один из дней невыспавшийся Илиодор шел по темному академическому коридору, имея взоры опущены ниже долу, как и положено смиренному послушнику. На плечо ему легла ароматная рука.

— Братец Илиодорушко, — сказал Феофан, — а вот и Гриша навестил нас... тот самый, что в Сибири славно подвижничает!

Илиодор поднял глаза. Стоял перед ним мужик, который неустанно и очень быстро перебирал ногами, будто собираясь пуститься в пляс. При этом руки его находились в движении, а тонкая полоска губ раздвигалась, обнажая изъеденные кариесом зубы.

— Поцелуйтесь... вы ведь одного поля ягода, — сказал Феофан. — Что один, что другой — оба к богу тщитесь...

Распутин, еще больше дергаясь, полез целоваться.

«Григорий, — описывал его Илиодор, — был одет в простой, дешевый, серого цвета пиджак, засаленные и оттянувшиеся полы которого висели спереди, как две старые кожаные рукавицы. Карманы были вздуты, как у нищего, кидающего туда всякое съедобное подавание. Брюки такого же достоинства, как и пиджак, поражали своей широкой отвислостью над грубыми халявами мужицких сапог, усердно смазанных дегтем. Особенно безобразно, как старый истрепанный гамак, мотался зад брюк! Волосы на голове старца были причесаны в скобку. Борода мало походила на бороду, а казалась клочком свалывшейся овчины, приклеенным к его лицу, чтобы дополнить все его безобразие. Руки старца были корявы и нечисты. Под длинными и загнутыми внутрь ногтями полно грязи. От всей фигуры несло неопределенным, но очень нехорошим духом...»

Так выглядел мессия, когда он впервые появился в столице. После поцелуев Распутин повернулся к Феофану и с улыбкой (Илиодор запомнил ее как «заискивающую, лукавую и противную») сказал:

— А ведь сразу видать, что братец круто молится...

Неясно, чего конкретно хотел Феофан от знакомства с Распутиным и чем бы вообще закончился его приезд в столицу. Но тут из поездки вернулся синодальный владыка Антоний и прогудел:

— Какой еще Распутин? Гришка-то?.. Так я его знаю. Кто его, беса, не знает. Гоните в три шеи! Не верьте ему — жулик! Какой же праведник, если он в Казани на бабах ездил...

— Как это на бабах ездил? — поразился Илиодор.

— Не твоего ума дело: ездил — значит, ездил...

Распутин мгновенно скрылся, и о нем забыли: был — и нету его. А тут как раз подоспела знаменитая саровская эпопея...

* * *

В этом году Илья Репин закончил картину «Какой простор!». Помните, накатывающий с моря прибой, а в пенной волне, открытые простору и радости жизни, стоят влюбленные студент с барышней, которым давно уже «море по колено»... С тех пор как Игорь Грабарь разругал картину, стало признаком хорошего тона отзываться о ней критически. Но было и другое мнение, мнение современников, для нас давно угасшее: упоенные бурей и любовью, гордые и красивые, он и она — это как раз те люди, которым предстоит свершить революцию... Какой простор! Какая свобода!

12. Чудо без чудес

Повар царской семьи (на положении ресторатора) получал с персоны Романовых за обычный завтрак 78 копеек, за обед брал по рублю. Вскоре он сделал заявление, что завтрак будет стоить 93 копейки, а обед рубль и 25 копеек — продукты вздорожали! Молодая царица призвала повара к себе и в присутствии придворных кричала, что он вор и мошенник, что он может обманывать кого угодно, но ее обмануть ему не удастся... Алиса сразу дала понять, что за копейку горло перегрызет любому, теперь она ходила на кухню, проверяя, сколько кладется в суп корешков (к прозвищу «гессенская муха» прибавилось новое — «кухарка»). Царская чета кормилась по-английски: завтракали в полдень, обедали в 8 часов вечера. Гостей не любили. За царский стол свободно садились только министр двора Фредерикс и лишь в исключительных случаях дежурный генерал-адъютант...

Победоносцев неожиданно был приглашен к завтраку.

— Константин Петрович, — сказал Николай II, — мы вот тут подумали и сообща решили, что преподобного Серафима Саровского надо бы причислить к лику святых земли русской.

— Простите, государь, а... с кем вы подумали?

Император заискивающе глянул на свою ненаглядную.

— У меня немало друзей, — отвечал загадочно.

Синеватые пальцы обер-прокурора святейшего Синода сплюснулись на ручке чашки; Победоносцев даже помертвел.

— Для этого необходимо, — заговорил жестко, — чтобы Серафима чли верующие. Чтобы в народе сохранились предания о его подвигах во имя Христа. Чтобы его мощи оказались нетленными... Я не могу сделать его святым по указу царя! — заключил твердо.

— Зато царь *все* может, — вмешалась императрица...

Скоро в Саровскую пустынь выехала особая комиссия, которая — увы! — никаких мощей старца не обнаружила. В гробу валялись, перемешанные с ключьями савана, несколько затхлых костей, нашли истлевшие волосы и черные зубы. В протоколе осмотра так и записали, что нетленных мощей не сыскано. Строптивную комиссию, не

сумевшую понять желаний царя, разогнали — создали другую, более сговорчивую. Серафим Саровский был признан в святости, а «всечестные останки его — святыми мощами»! Николай II на этом докладе отметил: «Прочел с чувством истинной радости и умиления».

Летом 1903 года высшее духовенство империи (кстати, были они блестящие режиссеры!) организовало сцены «народного ликования» в Саровской обители. Втайне ловко сфабриковали чудесные исцеления возле источника Серафима; жандармские сейфы, взломанные революцией, раскрыли секрет чудес. Вот фотографии филера Незаможного: здесь он слепой, а здесь уже зрячий. Вот видный чиновник Воеводин: здесь он паломничает, несчастный, с котомкою и на костылях, а вот костыли заброшены в крапиву — Воеводин уже пляшет... Машина святости, подмазанная госбанком, работала хорошо! Ждали приезда царя с царицей. На всем долгом пути их следования — от Петергофа до Арзамаса — были выстроены солдаты при оружии (по солдату на каждые 100 метров). При встрече было немало дешевого пейзажа: плачущие бабы, вышитые полотенца, хлеб-соль, жбаны с яйцами. Николай II спрашивал волостных старшин, каково им живется, наказал слушаться земских начальников. В одном месте царь решил пройтись по лужайке, не зная, что там была протянута проволока. В высокой траве ее не заметили: Николай II кувырнулся так, что шапка отлетела, а шедший за ним старец Фредерикс расквасил нос. Местный фельдшер, не искушенный в придворном этикете, измазал физиономию царя и министра какой-то несмываемой зеленью. Четверть миллиона богомольцев жили неряшливым табором под открытым небом. Ретирадников для них не устроили, и потому свита царя часто натыкалась на неприличные позы, портившие общую картину торжества. Питьевая вода была загрязнена, богомольцев разобрал понос, побаивались холеры. Николай II лично тащил гроб с останками Серафима Саровского, а так как он был маленького роста, то гроб все время заваливался вперед, а шедшие за царем генералы сознательно приседали. Взмыленный от усердия Саблер, синодский заправила, старался больше всех, ибо он был евреем, а хотел стать гаулейтером православия! Потом царь с царицей навестили юродивую Пашу, которая «показывала им части тела, которые обычно скрывают... встретила грубейшей руганью и в их присутствии исполняла свои нужды...». Александра Федоровна прибыла в Сарово

целеустремленной, жаждущей чуда. «Мне нужен Алексей!» — говорила она. Возле самой могилы Серафима спешно откопали пруд. Сначала в этом пруду Алиса с сестрой Эллой выкупали фрейлину Саломею Орбелиани — женщину удивительной красоты, парализованную от сифилиса, которым ее заразил свитский генерал Рыдзевский. Ждали ночи. Под покровом темноты, в сонме молчаливых статс-дам, из павильона вышла императрица и направилась к пруду, на ходу сбрасывая с себя одежду. Агенты наружного наблюдения, страховавшие Романовых даже в интимной обстановке, видели из кустов, как царица долго полоскала в воде свое узкое длинное тело. Потом, нервно вздрагивая от ночной свежести, почти голубая при лунном свете, Алиса стояла на мостках купальни, а фрейлины растирали ее полотенцами. Никто тогда не знал, что из темени кустов за царицей наблюдает тот самый человек, который станет ее мессией. Пронизывая мрак ночи, глаза сибирского конокрада издали ощупывали недоступное для него царственное тело... А среди прислужниц, вытиравших императрицу, находилась в Сарове никому еще не ведомая Аннушка Танеева (в скором будущем — Вырубова). Пора уже случиться чуду!

* * *

На Инженерной улице в Петербурге, в доме № 4 проживал статс-секретарь Танеев — столичная знать, элита общества, сливки света. Казалось бы, и дочь видного бюрократа должна распуститься в некое прелестное создание, благо кремов и музыки вложили в нее немало. Но этого не случилось! Аня Танеева росла толстой, молчаливой и угрюмой, совсем не похожей на аристократку. Родители ее были культурными людьми, но Анютка с грехом пополам выдержала экзамен на маловыразительное звание «домашней учительницы». В 16 лет, когда красота только распускается, это была уже громоздкая бабища — с массивной грудью, с жирными плечами. В 1902 году она перенесла брюшной тиф, давший осложнение на кровеносные сосуды ног, и девица опиралась при ходьбе на два костыля...

Такой впервые и увидела ее в Царском Селе императрица.

— А я вас знаю, — сказала она Анютке. — Не помню — где, может, во сне, а может, и в загробной жизни, но я вас встречала.

Отбросив костыли, девица грузно бухнулась на колени.

— Я и сама чувствую, — запищала она, ползая по траве, — что я сама не от себя, а лишь загадочное орудие чужой судьбы, которая должна очень тесно переплестись с судьбою моей.

— Встань, — велела ей Александра Федоровна. — Какой у тебя удивительно высокий голос, а у меня как раз низкий... Если ты еще и поешь, так мы с тобою составим неплохой дуэт...

Теперь, когда к царице приезжала Наталья Ирецкая,^[4] во Дворец призывали и Анютку; вдвоем, закрыв глаза, они безутешно выводили рулады, воскрешая забытый романс Донаурова:

Тихо на дороге, дремлет все вокруг,
Что же не приходит мой неверный друг?..

Невзирая на возникшую близость к императрице, на плечо Танеевой не торопились прицеплять бант фрейлинского «шифра» (очевидно, при дворе не хотели иметь фрейлину с такой топорной внешностью). Перед поездкой же в Сарово Анютка призналась царице, что влюблена безумно, но он такой мужчина... просто страшно!

— А каков он? — ради вежливости спросила Алиса.

— Настолько обольстителен, что я боюсь на него глядеть. Я и не глядела! Но он недавно овдовел и теперь свободен.

— Назови мне его, — велела императрица.

— Это генерал Саня Орлов, ваше величество...

Императрица откинула голову на валик кресла.

— Ну... и что? — спросила, овладев собою. — Вы с ним уже виделись? Он тебя уже тискал, этот жестокий бабник?

Анютка испугалась, но отнюдь не грубости языка императрицы, ибо в обиходе двора бытовал именно такой язык — почти площадной. Наверное, только сейчас девица сообразила, почему Алиса, став шефом Уланского полка, сделала Орлова командиром своего же полка... От страха шитье выпало из рук толстухи.

— Я виновата, — заплакала она. — Но не ведаю, перед кем виновата. Вы же сами знаете, что перед Орловым устоять невозможно. Раскаюсь до конца: он сказал, что придет ко мне.

— Придет... куда и когда?

— Сегодня вечером. Я уже дала ему ключ от дачи...

За окнами свежо и вечно шумел царскосельский парк.

Императрица обрела ледяное спокойствие.

— Пусть он приходит, и тыпусти его, — сказала она, с неожиданной лаской погладив Анютку по голове. — Тебя сам всевышний послал для меня. Ты и верно что не сама от себя, а лишь орудие моей судьбы, которая переплетется с твоей судьбой...

Когда над царской резиденцией стемнело, генерал Орлов, накачавшись коньяком «до пробки», открыл дачные двери. Голос Анютки Танеевой окликнул его из глубин мрачного дома:

— Идите сюда... сюда... вас уже ждут!

Из потемок возникли горячие руки и обвили шею прекрасного наркомана. Но с первых же минут свидания Орлов почуял, что его встретило не совсем то, что он ожидал.

Ярко вспыхнул свет, и Орлов обомлел...

Перед ним лежала шеф лейб-гвардии Уланского полка!

— Вот как вредно ходить по девицам, — сказала она со смехом, — можно попасть в постель замужней женщины... Ты удивлен? Но я же поклялась тебе однажды, что никогда тебя не забуду!

Они ушли. Анютка уже собиралась спать, когда с крыльца раздался звон шпор. Ей показалось, что это возвращается Орлов, дабы экстренно проделать с ней то, что он только что проделал с императрицей, и этим благородным жестом он как бы принесет ей свои извинения. Но в спальню вдруг шагнул сам император Николай — в солдатской шинелюге, пахнувшей конюшней, он был бледен, от него ужасно разило вином.

— Аликс... была? — вот его первый вопрос.

— Да, — еле слышно отвечала Анютка.

— Тогда... ложись, — нелогично велел император.

Классический треугольник обратился в порочный четырехугольник. Николай II впредь так и делал: напьется — идет к ней. «А когда я не пьян, — признался он, — так я уже ничего не могу...» Он относился к любовнице, как к поганой выгребной яме, куда

можно сваливать всю мерзость опьянения. Анютка была измазана царем с ног до головы, и эта-то грязь как раз и цементировала ее отношения с царской четой. Освоюсь с положением куртизанки, Анютка в Ливадии уже открыто преследовала Николая II, что не укрылось от взоров императрицы... Что бы сделала на ее месте любая женщина? Все сделала бы — вплоть до серии звонких оплеух! Даже град пощечин с воплями и слезами можно понять, ибо они — от здорового чувства, не омраченного цинизмом. В любви бывает всякое, и не бывает в любви только равнодушия. Алиса же повела себя строго педантично. Сама до предела откровенная в интимных вещах, она и мужа приучила к откровенности, доведенной до безобразия. То, что в жизни всеми подразумевается, но не подлежит обсуждению, Романовы пережевывали на все лады. Николай II доложил жене о своей измене во всех подробностях... «Аняхватила через край, — подлинные слова императрицы. — Но ты слушайся меня! Тебе следует быть твердым. Не позволяй наступать на ногу. Если она опять станет лезть, мы будем время от времени окатывать ее ледяной водой». Даже в этой истории за ней осталось решающее слово главного консультанта. Она сама не замечала, что в ее практической дидактике есть нечто противоестественное. Это даже не цинизм, а лишь атрофия нравственного возмущения. Никаких клятв от мужа царица не требовала (у самой рыльце в пушку), и Николай II *никогда* не прерывал своих отношений с Анюткой. Об этой скотской связи догадывались многие, а потому и женихов на богатую невесту не находилось. Когда все уже ясно, тогда и скрывать ничего не надо. Танеева жаловалась самой... царице:

— Мне теперь трудно найти мужа, — говорила она.

— Я сама найду тебе мужа, — утешала ее Алиса.

30 июля 1904 года у императрицы наконец-то родился наследник-цесаревич, нареченный Алексеем. Над Невою долго палили пушки. Николай II был искренне убежден, что наследника престолу подарил его духовный патрон Серафим Саровский... Позже, когда Алексей подрос, придворные находили в нем большое сходство с генералом Орловым. По углам шушукались: «Стоило в это дело вмешаться Орлову, как, глядь, и наследник сразу же появился...» Впрочем, иностранная печать, отлично осведомленная, никогда и не считала Николая II отцом цесаревича Алексея.

* * *

Теперь, когда цесаревич явился, император отобрал у своего брата титул наследника российского престола. Но Мишке тут же было присвоено положение «условного регента» (на всякие непредвиденные случаи жизни). Надо признать, что, повзрослев, Мишка и не напрашивался на корону. «А зачем мне эта морока? — говорил он, когда ему делали намеки на то, что он имеет право претендовать на престол. — Разве мне и без короны плохо живется?» Михаил Александрович рано начал кутить, отчаянно прожигая жизнь по шантанам, к двадцати годам это был уже совершенно облысевший человек, а ресторанная кухня наградила Мишку отличной язвой желудка. Вокруг него, щедрого на кутежи и подачи, постоянно крутились ищущие злата женщины. По натуре он был добряк, не умевший ни в чем отказывать, и когда одна из метресс, госпожа Косиковская, наступила ему на горло, чтобы он срочно на ней женился, Мишка не стал отстреливаться до последнего патрона, а сразу же поднял руки, сдаваясь на милость победительницы... Пришлось вмешаться матери, которая спровадила энергичную даму на Ривьеру, а сыночку устроила головомойку: «Пойми, что при скандальном браке ты теряешь все. Ты теряешь главное — право на занятие престола...» Это было крепко и звонко сказано! За спиной Мишки еще много лет трещали, ломаясь в поединках, копы царедворцев и родственников. Мария Федоровна, явно недовольная Николаем и своей невесткой, кажется, была не прочь произвести на троне шахматную рокировку, заменив старшего сына младшим...

А лето 1904 года выдалось знойное, с частыми грозами. Короткие бурные ливни не освежали земли. Алиса, как всегда, болела: полежав на постели, перебиралась на кушетку, с кушетки — в шезлонг. Николай II, подобно дачнику-обывателю, шлялся по окрестным лесам, собирая в лукошко грибы и ягоды. Родители не могли нарадоваться на своего ребенка. «Удивительный бэби — никогда не плачет!» 8 сентября младенец доставил им первое беспокойство. Вдруг ни с того ни с сего

началось обильное кровотечение из пуповины. Врачам сделалось страшно. Лейб-хирург профессор Сергей Петрович Федоров первым нарушил тягостное молчание.

— У наследника престола, — доложил он царю, — болезнь, называемая «болезнью королей». В науке же зовут ее гемофилией. Пустяковый ушиб или укол иглою, даже приступ кашля могут вызвать кровотечение, которое медицина не способна остановить. Ваше величество, знайте правду: гемофилитики обычно умирают в детстве и очень редко они вступают в зрелую жизнь.

Федоров пощадил царя, умолчав о главном: гемофилия является ярким признаком вырождения. Странно, что женщины этой болезнью никогда не страдают, и великобританская королева Виктория всю жизнь чувствовала себя отлично. Но именно она-то и несла в себе гены этой ужасной болезни, которая расползалась как лишай по дворам старинных династий Европы, поражая отпрысков коронованных родителей. Три испанских инфанта, потомки Виктории, уже умерли от гемофилии; родной брат кайзера, гросс-адмирал Генрих Прусский, женатый на Ирене Гессенской, уже получил от нее сплошь отравленных сыновей. Принято думать, что Вильгельм II был особо заинтересован в браке Николая с Алисой, чтобы безжалостная гемофилия ускорила вырождение Романовых... Ну, а сама Алиса? Знала ли она об этом? Да, она тоже знала. Всем своим не женским, а чисто монархическим существом Алиса стремилась к зарождению в себе не столько сына, сколько *наследника*, ибо вопросы династии для нее были дороже чувств материнства, и вот она наследника произвела... Встреча с гемофилией состоялась, ничего исправить нельзя! Революция ампутирует то, что уже отгнило...

13. Бесстыжий апостол

Конокрады, они с коновалами всегда в дружбе. Им это надо — когда жеребца охолостить, когда кобылу доправить, чтобы в цене шла подороже. Гришка Распутин, пока с лошадиного воровства жил, немало повидал коновалов. От них и познал врачевальные тайны, что тянулись в XX век от ветхозаветной Руси, от народного разума, от знахарских книг, писанных в лихие времена славянской вязью, закапанных воском древности...

Многое запомнил. Сберег. Пригодится!

Покровские мужики хотя и презирали Гришку, но иногда были вынуждены признать его превосходство над ними. Однажды мальчонку резанули косой по ноге, кровью исходил малый на сенокосе, а Гришка пошептал что-то, приложил травки — и кровь замерла... Чудеса творил Гришка и перед конскими ярмарками. В канун торжища приволок откуда-то полудохлую клячу, запер ее в амбаре. Неделю отпаивал ветхую кобылицу снятым молоком с отрубями. А когда наступала ночь, Гришка во мраке, тихо подкравшись, вдруг ожигал клячу кнутом, отчего она стала пугливой. Зубы у лошади давно стерлись, верхушки их стали плоскими (признак старости). Каленым железом Гришка по-цыгански выжег ей в зубах ямки, какие бывают только у молодых коней. Когда же повел клячу на ярмарку, все только ахали: выступал за ним резвый, подвижный коняга, дрожа гладкой шкурой, а по зубам дашь ему два года — не больше...

Покровский староста Белов рассуждал:

— Мазурик он! Может, исправнику нажалиться мне?

Дошло это до Гришки, и он Белову грубил бесстрашно:

— Ты, коли медаль нацепил на шею, так ко мне не совайся. Я человек божий и завсегда могу уйти в странники...

Гришка часто уходил из села, пропадая в долгих отлучках, а потом являлся, изможденный и мрачный, мутные глаза его скользко плавали в ободах синевы; был он тих после богомолий, посылал свою Парашку до лавки с запискою собственного сочинения: *«Милостив Гасудар*

гаспатин Лавашиник бутъ любезна Силетку мине по жирне и по толоче уважаючи тебе грегорий».

Покровский лавочник спрашивал Парашку:

— Тебе, Федоровна, какую — с икрой или с молоками?

Иногда же брал рубль, ставя его ребром на прилавке.

— Эво! — говорил, подмигивая. — Красная цена тебе... На сеновал-то придешь ли? Разведем мы икру с молоками.

— Да будет вам, — отвечала Парашка. — Я ему про селедку, а он мне про это самое. Эдак-то и до греха недалече. Заворачивай ту, которая с молокой... Когда на сеновал-то приходит мне?

Была она, под стать мужу, бабой скверной. Под самый XX век пошли у Распутиных дети — сын Митенька да две дщерицы, Варька с Матрешкой, — сопливые, нечесанные, зимой они по нужде босые по сугробам гоняли. «Распутинские, — говорили на селе, — живучие. Их и оглоблей не проймешь... Ишь, заливаются — голосистые!»

* * *

Без паспорта, без денег, даже без лаптей отваживался Гришка шляться далеко. Когда отмечались саровские торжества, он долго болтался в «нетях», вернулся и брякнул мужикам в разговоре:

— А я вот царицу повидал, нагишом... быдто Еву!

— Врешь ты все, — не верили ему.

Гришка рассказал, что в Сарове, когда императрица в пруду купалась, он в кустах с одной монашкой радел и все видел.

— Ну и кык она? — спрашивали. — Царицка-то у нас?

— Да в темноте они, бабы, все одинакие. Видел я тока, что больно мосласта, нежирная... Я бы и лучшее ее разглядел, да мне монашка моя мешала: «Радей дале, говорит, коли уж на меня взобрался, так на чужих баб не разевайся...»

Пока же он там болтался по разным святым местам, Парашка его вконец истрепалась. Путалась исключительно с «аристократами» — с писарями, сотскими, лавочниками. Когда Гришке указывали на непотребство жены, он только отмахивался небрежно:

— Жалеть ли добра такого? От бабы не убудет... Это вы, дикари, закосматели тута, даже кофию ни разу не пробовали...

— А ты рази кофий пил?

— А как же! Я вот тока господского коньяка не пил. Но погоди, я и до этого коньяка, даст бог, ишо доберусь...

Вскоре было примечено, что после долгих отлучек по богомольям у Гришки начинали денежки шевелиться. Он даже лошадь с шарабаном купил, стал носить высокий черный цилиндр, какие носили тогда провинциальные священники. «С чего бы такая роскошь?»

— Не убил ли кого? — толковали мужики. — С Гришки ведь всякое станется. А со странствий добра не спроворишь...

Вдруг прикатила в Покровское на тройке с бубенцами вдовая миллионерша Башмакова, надарила Парашке разных платьев, щедро оделила детвору Гришки гостинцами. Распутин выстроил на отшибе села новую баню с каменкой, водил туда миллионершу по вечерам, и там они знойно парились. «Греха не пужайся, — говорил Гришка богачихе. — Потому как всякий грех я на себя забираю, и пред богом тебе виноватой стоять не придется. С богом я и сам разберусь!..» Башмакова растрезвонила по свету, что вот, мол, апостол какой объявился — не только согрешит, но еще и от греха очистит. Понаехали из города и другие паскудницы — тоже усердно парились, а из бани Гришку, вымытого до изнеможения, вели под локотки — словно гуся важного! «Осторожнее, старец: здесь крапива, — щебетали барыни. — Ах, устал наш старец...» (а старцу-то и сорока лет еще не исполнилось!). В голове Распутина, под буйными зарослями волос, вечно спутанных в жесткий колтун, была адская мешанина отбросов чужих мыслей. Все, что вынес он в юности из радикальной земской больницы, чего набрался в трактирах и конокрадских притонах, что впитал в себя на хлыстовских радениях, — все это, вместе взятое, образовало в башке его ужасный шурум-бурум... Одну лишь истину разумел он крепко и жадно:

— Чего это я стану ждять царствия небесного? На што мне облака да тучи? Я на земле желаю жить по-царски. Чтобы бабы плясали! Чтоб вино лилось! Чтобы самовары кипели! Чтобы сапоги у меня скрипели! Чтобы рубахи вышиты! Чтоб... всем вам треснуть!

Безжалостный к чужой жизни, харкая в самое святое людей, Распутин скоро совсем распоясался. Казалось, ему доставляло

удовольствие надругаться над извечным целомудрием крестьянского мира, и напрасно бабы пытались увещевать его жену:

— Глаза-то твои бесстыжие видят ли, что деется? Ведь, чай, не чужая... жена ему! Нешто самой-то тебе не противно?

Парашку теперь было не узнать: развалив по подоконнику тяжелину грудей, барыней сидела в окошке избы, сама в шелку, ела пастилу голубую и розовую, в усладу себе щелкала орешками.

— А чо мне? — отвечала с игривостью. — Кажинный мужничка должен на хлеб супружнице заработать. А уж как сработал — меня не касаемо.

А вскоре прибыл новый священник — отец Николай Ильин, сосланный Синодом в Сибирь, ибо, будучи человеком честным, он активно выступал против попа Гапона и его влияния на рабочих. Искренно желая отвратить Гришку от разврата хлыстовского, Ильин стал по вечерам заманивать его к себе на чашку чая. Вел с Распутиным «душеспасительные» беседы, уговаривая вернуться на путь истины. Знакомство пошло Гришке на пользу — поднабрался от попа словечек церковных, ловко молол о мощах и разных чудесах. Ранее манкируя церковью, он вдруг сделался самым усердным прихожанином, подолгу — напоказ! — постился. Не вера, а страх двигал Распутина в официальные храмы: боялся он, как бы за хлыстовщину не упекли его в края, куда и ворон костей не заносит... Не ко времени опять нагрянула в Покровское на тройке миллионерша Башмакова (уже рехнувшаяся). Зонтиком переколотила все стекла в окошках избы Распутина, призывала истошно:

— Гришуня, не покинь! Выйди, голубочек ясный...

Распутин, зевая, вышел. Взял дуру старую за глотку, повалил наземь. Прижал коленом, чтоб не больно-то рыпалась, долго и молча совал кулаком в сдобную морду. Звеня бубенцами и рыдая, мадам Башмакова отъехала... Когда же мужики засомневались, можно ли эдаким манером обращаться с миллионершей, Гришка оправил за поясок выдернутую из порток рубаху и отвечал рассеянно:

— Кто? Она? Миллионщица? Так все едино — *баба*...

Истомленный развратом и церковными бдениями, он заметно похудел, синяки под глазами расширились. Случилось нечто странное: с лопатой ушел Распутин за околицу, выкопал на опушке леса глубокую яму, будто колодец, прыгнул на дно ямы и заявил оттуда:

— Бес меня вконец истомил... Сами видите — отселе и кроту не выбраться. Теперича здесь поститься стану. А вы мне за это билетку пожирней да потолсче кидайте.

Высидел он в яме несколько дней, заедая свое одиночество жирной и толстой селедкой (когда с икрой, а когда попадалась и с молокою). Но однажды пришли односельчане на опушку, дабы навестить своего «подвижника», а там, в этой яме, Гришка уже не один — рядом с ним сидят на дне и три городские дамочки.

— А греха не избежать, — провозгласил из ямы Распутин. — Почти уже спасся, да энти дуры скакнули сверху, быдто лягухи поганые. Всю святость, какая была, поломали, стервы. Вынимайте меня!

* * *

Не сразу до сибирской глухомани долетели отзвуки революции, а потом пошли разные кривотолки, будто скоро будет на Руси собрана народная Дума, чтобы думу о народе только и думать.

— Расплясались! — говорил Распутин. — А на кой хрен вся эта Дума нашему брату? Быдто в кошки-мышки с нами играют...

Ох, не спеши, Григорий Ефимович!

Именно предвыборная кампания по выдвижению «кандидатов из народа» и выпихнула Гришку на поверхность путаной русской жизни, хотя об этом казусе истории у нас мало кто знает.

14. Парламент на крови

Легче всего ругать царей за то, что они... цари! Но марксистская история не осуждает царей за их происхождение. Мы судим не монархов, а только их поступки...

Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозь Артуром и Цусимой,
Грозь Девятым января!

* * *

Николай II имел в быту репутацию un charmeur (то есть очарователя). Спокойными глазами глянем на него как бы со стороны... Милый и деликатный полковник, умеющий, когда это надо, скромно постоять в сторонке. Предложит вам сесть, справится о здоровье, раскроет портсигар и скажет: «Пра-ашу вас...» Он умел производить впечатление мягкого и доброго человека, а скучноватое лицо императора оживляли глубокие материнские глаза («глаза газели»). Военным людям царь импонировал умением держаться на парадах. В его щуплом теле таился геликон удивительной мощи, и трубой своего голоса он свободно покрывал громадные площади, заставленные сплошь войсками...

Внешне, таким образом, все обстояло благополучно.

Но именно царствование Николая II было самым жестоким и злодейским, недаром же он получил кличку Кровавый. Кровавое царствование — и самое бесцветное. Картину своего правления Николай II обильно забрызгал кровью, но безжизненная кисть царя не отразила на полотне ни одного блика его самодержавной личности. Здесь не было ни упрямого азарта Петра I, ни бравурной веселости

Елизаветы, ни тонкого кокетничанья Екатерины II, ни либеральных потуг Александра I, ни жестокой прямолинейности Николая I, не было и кулацких замашек его отца. Даже те, кто воспевал монархию, днем с огнем искали монарха в России и не могли найти его, ибо Николай II, словно масло на солнцепеке, расплывался на фоне общих событий. Реакционеры желали видеть в нем грозного самодержца, а к ним выходил из-за ширмы «какой-то веселый, разбитной малый в малиновой рубашке и широких шароварах, подпоясанный шнурочком» (это форма стрелков Императорского батальона). О своих политических планах царь долго помалкивал. Правда, после коронации он дружески повидался с Вильгельмом II: «Константинополь меня сейчас мало тревожит, — сказал он кайзеру. — Мои взоры обращены исключительно на Дальний Восток». Летом 1903 года царь признался, что возвращает страну к завоевательной политике, которую столь прочно затормозил его миролюбивый отец. Николай II задумывал покорить Персию, захватить Маньчжурию, мечтал «разжечь тибетцев против англичан»; надеялся «с помощью жестов и мимики» аннексировать Корею... Восточный узелок был завязан прочно! Русские корабли обживали гавани Порт-Артура и Дальнего, через безлюдные степи легли рельсы КВЖД, Харбин стал почти русским городом, а германский кайзер толкал Николая II все дальше и дальше от Европы: «Твое будущее на Востоке, на тебе, Ники, лежит священная миссия — спасти христианский мир от желтой опасности...» Когда императорские яхты «Штандарт» и «Гогенцоллерн» расходились в море после свидания, Вильгельм II поднимал на своих мачтах провокационный сигнал: *АДМИРАЛ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА ПРИВЕТСТВУЕТ АДМИРАЛА ТИХОГО ОКЕАНА*. Сухорукий кайзер настолько увлекся восточной агитацией своего кузена, что сам намалевал громадную картину, изображавшую столкновение белой и желтой рас, и переслал картину в дар Николаю II с приказом повесить ее в своем кабинете. И всюду, куда бы теперь ни плыли русские крейсера, даже в пустынности океана они встречали серые, будто обсыпанные золой, японские броненосцы, молчаливо следящие за русскими через лучшую оптику мира — через линзы цейссовской фирмы. Конфликт обострялся... Японский посол настойчиво просил царя об аудиенции с глазу на глаз, однако Николай II каждый раз отвечал «я занят». Когда же они повидались,

император, брякнул в лицо послу: «Ze japon finira par me facher!» (Япония кончит тем, что меня рассердит!). В этой фразе он обнаружил мещанское понимание политики: так может сердиться сосед на соседа, но никак не государственный деятель. Зимний сезон 1904 года открылся в Петербурге шумными весельями. «Сарафановый» бал 19 января стал балом историческим... К императору подошла графиня Бенкендорф, жена русского посла в Лондоне, и спросила: будет ли война с Японией? «Я волнуюсь не как жена дипломата, а как мать флотского офицера, который служит на кораблях Порт-Артурской эскадры». — «Я войны не хочу, — отвечал царь, — и ее не будет». В самый разгар бала в залах Эрмитажа появился офицер Генштаба и вручил царю телеграмму наместника Дальнего Востока: японские миноносцы — без объявления войны! — атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура... Танцы не прерывались. «Ведь это же не люди, а макаки!» — говорили дамы. «Иконами закидаем!» — угрожали японцам генералы.

Из Киева приехал на генерал-адъютантское дежурство грубиян-остряк Драгомиров, когда-то преподававший Николаю II тактику. За гофмаршальским столом во время обеда, когда придворные спрашивали его, чем закончится война, знаменитый тактик рукопашного боя приподнялся со стула и громогласно издал неприличное для царской резиденции звучание:

— Вот чем закончится! — и снова сел за ботвинью...

* * *

Настал страшный день на Руси — день 9 января... Это был великий день на Руси — день, с которого началась Первая русская революция. «Тяжелый день, — записывал царь. — Произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Мама приехала к нам прямо к обеду. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей...» Даже в такой день он все же

не забыл, что прогулки полезны для здоровья. А когда во дворец проникли отзвуки возмущения народа, царица сказала:

— Мы же еще и виноваты остались! Теперь нас винят, что мы убили хулиганов, шумевших под нашими окнами, требуя себе хлеба, как будто они никогда хлеба не ели. Мы уже из своего кармана выложили пятьдесят тысяч — на похороны... Им все еще мало?

Сестра ее Элла (Елизавета Федоровна) проживала в Москве с мужем Сергеем Александровичем, дядей царя. На лице этого сатрапа лежала печать содомских пороков, он окружал себя красавцами адъютантами, а когда жена вознамерилась прочесть «Анну Каренину», то роман полетел в печку: «Это безнравственная книга», — заявил он. 4 февраля бомба эсера Каляева в ключья разнесла великого князя. Мозгами «дяди Сережи» была щедро забрызгана мостовая, и москвичи говорили, что это, кажется, первый случай, когда великий князь «раскинул мозгами». После похорон гимназисты сдали в полицию ногу убитого, найденную ими на крыше. На месте убийства долго стоял городской. Говорят, одна старушка спрашивала его: «Скажи, родимый, кого здесь убили?» — «Проходи, не задерживайся, — пасмурно отвечал городской. — Кого надо, того и убили...» В эти дни Элла приехала к коронованной сестре.

— Каляеву я останусь благодарна всю жизнь, — призналась старшая сестра младшей. — Мне известно, что, рискуя собой, он трижды выбегал перед каретой, но бомбу не бросал, видя, что в карете ехала я с детьми... Такой благородный поступок обязывает меня просить у вас помилования для этого молодого человека.

— Боже, о чем ты просишь, Элла! — отвечала царица...

Каляева повесили. В эти же дни у наследника прорезался первый зуб. А далее следовала Цусима. За поражение наших эскадр потом судили стариков адмиралов Рожественского и Небогатова. Судили офицеров, которые закрыли люки раньше времени. Судили механиков, открывших люки позже времени. Это были опять легендарные «стрелочники», но главные виновники остались целы... Был у царя еще один любимый «дядя Алеша» — великий князь Алексей, главный пират дома Романовых по прозвищу «Семь пудов августейшего мяса», — именно ему-то мы и обязаны Цусимой! К пальцам этого хапуги прилипли миллионы рублей, взятые у народа на создание флота. Дело дошло до того, что броня кораблей расплзлась, ибо,

разворовав заклепки, броневые листы крепили деревянными втулками. Остается непреложным фактом, что один новейший миноносец едва не затонул на полпути между Кронштадтом и Петербургом, так как в дырки для заклепок кто-то сверхпремудро воткнул сальные свечи. При таком флотоводце, как «дядя Алеша», снаряды кораблей уже не взрывались, зато частенько взрывались сами пушки... По причине «беспробудного залития глаз» дядя Алеша не успел даже жениться. Но много лет содержал на флотских харчах французскую балерину Элизу Балетта — толстую, как мешок с картошкой, и я до сих пор удивляюсь, как она умудрялась «порхать» на сцене. Даже ничтожный декорум приличия генерал-адмирал не соблюдал, публично раздеваясь догола, чтобы все видели татуировку, покрывавшую его высочество с головы до пяток, словно дикаря из племени ням-ням. По таблицам Ломброзо — уголовник!

А чужое и зловещее слово «Цусима» больно стегнуло по русскому народу. Такие трагедии выпадают на долю великих наций не часто. Дежурный генерал Рыдзевский, которому выпала обязанность докладывать императору о Цусиме, весь истерзался, предчувствуя тяжесть объяснения с государем. Царя он встретил на выходе из храма (он возвращался от обедни в форме капитана 2-го ранга). Весело поздоровавшись, царь с улыбкой выслушал известие о поражении своего флота и, показывая за окно, ответил:

— А погода-то какая! Не хотите завтра поохотиться?

Через полчаса Рыдзевский встретил царя в парке: с увлечением, почти детским, он стрелял из ружья по воронам... Вечером этого дня «Семь пудов августейшего мяса», как всегда, развалились в ложе Михайловского театра, аплодируя своей «порхающей» любовнице. Публика устроила Элизе Балетта скандал.

— Вон из России! — кричали даже из бархатной ложи. — На тебе не бриллианты — это наши погибшие крейсера и броненосцы...

В это время юмористический журнал «Зритель» под рубрикой «Полезные советы» поучал российских читателей: «Когда зуб, хотя и крепко сидящий, прогнил до основания, его следует удалить. Если при выдергивании свалится и *корона*, то этого еще недостаточно. Необходимо рвать с корнем, как бы больно ни было!»

Летом 1905 года революция брала разбег. По всей русской земле полыхали поместья, замирали станки, пустели фабрики, на путях безжизненно остывали раскаленные в беге паровозные туши...

Императрица настырно внушала мужу:

— Ники, сейчас ты должен быть как Иоанн Грозный... До сих пор народ видел от тебя только любовь и ласку — так покажи ему свой крепкий кулак.

Но пролетариат сам напугал царскую власть, и она, крайне растерянная, уговаривала растерянного царя:

— Существует три способа управления серым народом. Первый — дать ему что он просит. Второй — ничего ему не давать. И, наконец, третий способ, самый мудрейший: дать и тут же отнять то, что дали... Ваше величество, решайтесь — время не ждет!

Речь уже не шла о том, как подавить революцию.

Речь шла о том, как спасти династию...

— Неужели ты, Ники, поступишь прерогативами власти? — спрашивала царица. — Здесь тебе не Англия, да и ты — на кого ты будешь похож, если от принципа самодержавия останется только титул? Ты силен, пока самодержавен. Одной короной на голове сыт не будешь. Нужна еще власть над страной...

Николай II покалывал по утрам дровишки. По аллеям парка возил в кресле-коляске жену, катался на байдарке. В его покоях два музыкальных моряка играли сонату Моцарта: лейтенант Остен-Сакен терзал виолончель, а мичман Волков нежно трогал клавиши рояля. Россия, осыпанная теплыми дождями, вздрагивая от ночных гроз, жила за стенами дворца какой-то особой и чужой для них жизнью. Забастовки прервали связь между городами. Николай II, проживая в Петергофе, подальше от волнений столицы, чувствовал себя в осаде. Дело дошло до того, что министры уже не могли добраться до царя с докладами — поезда не ходили! Сановники империи доплывали до Петергофа морем, и казалось, что именно в 1905 году исполнилась заветная мечта первого русского императора, дабы «Господа Высокий Сенат» плыли до места службы водою, яко легендарные аргонавты...

Наконец решение было извергнуто — в муках и страданиях: словно подачку нищему, в народное восстание швырнули манифест о Государственной Думе.

Первый русский парламент — чудеса в решетке!

Мы, читатель, подошли к финалу первой части...

Финал первой части

Революция не только всколыхнула в народе благородные силы, дремавшие до этого втуне, но и подняла на поверхность жизни немало мути, лежавшей на дне нашей трудной и глубокой истории. Тогда же и родился «Союз русского народа», иначе черная сотня. Впрочем, его создатели обижались, когда их называли черносотенцами, им больше нравилось слово «союзники».

Немало было тут и дешевой демагогии.

— Позвольте, — волновался камергер Майков (сын поэта), — в чем вы нас, союзников, обвиняете? Мы же не доисторические зубры, а тоже идем в ногу со временем... Пожалуйста! В нашей программе записано: борьба с бюрократией, уравнивание прав всех сословий и государственное страхование жизни рабочих...

Не будем наивно думать, что черносотенцы — сплошь гужбанье с узенькими лбами, в поддевках и передниках, которые с железным ломом в руках дежурят в подворотнях, выжидая появления студента, чтобы с хряском проломить ему череп. Хотя такие союзники на Руси тоже водились, но они были лишь исполнителями чужой воли. Во главе же «Союза русского народа» стояли врачи, литераторы, генералы, адвокаты, педагоги, промышленники — люди вполне грамотные, при манишках и фраках, знающие, под каким соусом следует истреблять осетрину. Среди них обретался и протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов, духовный вития и журналист, издатель газет и автор брошюрок, в которых он силился доказать, что социализм зародился из христианства. Это был (как тогда говорилось) «активуй» черной сотни — человек дела, смело берущийся за любое поручение ЦК своей партии. Манифест царя, суливший России блага парламентарной системы, припекал союзников, словно горчичник. «Ради пропаганды, — рассуждали они, — не станем бояться залезать в самые медвежьи углы. Наши агенты должны проникнуть в любую Тмутаракань, если надо, и до Харбина... Мы посеем на Руси свои семена, а наши великолепные всходы произрастут из кресел Государственной Думы головами передовых мыслящих личностей...»

Словесная лирика тут же была переведена на московские рельсы практической жизни:

— Господа, кто и куда поедет для пропаганды?

Охотников покидать уютные квартиры, чтобы потом таскаться по грязи провинций, не находилось. Тогда решили бросить жребий. Иоанну Восторгову выпала Тобольская губерния.

— Мама дорогая! — застонал он. — А у меня как раз зубы болят. Впрочем, вижу в жребии указующий перст божий. Приложу все старания и по-христиански смиренно стану убеждать избирателей народных, чтобы дурака они не валяли...

* * *

Тобольская губерния длиннющей килой вытянулась с юга на север. Южные края погибали в суховеях Барабинской степи, гранича с Акмолинской областью, а на севере уже пылили метели Ямала, там жил одинокий самоед, там бродили одичалые русские трапперы. Конечно, Восторгову было не осилить гигантских просторов этого края, глухого и жуткого, в котором лишь изредка сверкали искорки городов — Тюмени, Ишима, Кургана, Туринска и прочих. Едешь и едешь — день за днем течет безлюдное марево тайги, а уж коли встретилось село, так оно забито плотно, мужик к бабе, старик к внуку, ибо в этих просторах человек жался поближе к человеку, как горошины в одном стручке... Восторгов объезжал молодые села, возникшие сравнительно недавно (от бедноты, что переселилась сюда при Александре III); поездка складывалась удачно, и текли в карман денежки — подъемные, суточные, дорожные, квартирные, столовые. В сопровождении исправника Казимилова протоиерей напоследки остановился в Покровском; на следующий день покровский староста Белов обходил село, стучал в слеповатые окошки:

— Эй, хозяйева! Есть кто дома? Давай на сходку.

— А чего там будет? — спрашивали.

— Да про Думу эту самую погибать станут.

— А-а-а... Вот младшего высеку и припруся.

Белов заглянул и в избу Гришки Распутина:

— А ты пойдешь? Или лучше не будить тебя?

Из-под потолка раздался сочный хруст челюсти — это сладостно прозевался на печи Распутин; потом затрещали кости — он потянулся. Наконец свесил ноги, и теперь староста наблюдал его черные пятки и грубые заскорузлые ногти — желтые, как дурной воск.

— Пойду! — сказал Гришка, легко спрыгивая с печи. — Нешто ж я не человек? Все людское для меня забавно...

Собрались мужики в доме церковноприходской школы. При виде исправника на всякий случай поскидали шапчонки. Приосанились старики, всегда готовые слушать, что в мире творится и чего им следует от начальства бояться. Восторгов сразу стал врать: будто послан в Покровское лично государем, дабы «привлечь достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию» в делах будущей Думы. В прошлом видный миссионер, Восторгов умел брать людей за живое и сейчас говорил хорошо, крепко строя фразы, украшенные церковным пафосом. Бабы мало что понимали и, пригорюнясь, дергали узелки платочков на шеях, подпирали кулаками щеки. Зато по живым глазам мужиков было видно, что все они себе на уме — хитрые, размышляют сейчас, как бы их и в этом деле не обжулили...

— Да хватит тебе! Дума царская — ну, и бог с ней со всею. Знаем, что там про бюджет да финансы размусоливать станут. А ты нам, батька, лучше о земле скажи: улучшеньице-то когда-сь будет? Или плюнуть и не ждать? Улучшеньица-то?

Восторгов завертел головой, отыскивая дерзкого. Среди крестьян стоял унылый и понурый мужик лет сорока, а руки он имел столь непомерной длины, что даже не сгибаясь, ладонями свободно касался коленей. Исправник Казимиров шепнул протоиерею:

— Не обращайтесь внимания! Это Распутин, самый непутевый мужик: не жнет, не пашет. Зачем ему земля? Только ради скандала. Я уже порол его однажды, но он, увы, неисправим-с!

А толпа мужиков заволновалась: вопрос о земле расшевелил их, и Восторгов подхватил с горячностью:

— Хорошо! О земле так о земле... Сами знаете, что господь бог Россию землей не обидел, и наш великий осударь готов хоть завтра наделить вас ею. Но вот как посмотрит на это Дума, которая вскоре

должна собраться? Известно, что нашлись нечестивцы, желающие пропереть в депутаты всяких там жидов и социалистов, злейших врагов крещеного люда. Они станут в Думе разводить всякие резолюции, чтобы помешать вам получить от царя землю. Вот вы, мужики, и старайтесь послать от общества таких депутатов, кои воистину православные...

Было тихо. И — снова голос Распутина:

— А нешто мы нехристей в Думу пошлем?

Мужики загыгыкали, довольные, пронесся шумок:

— Во, Гришка-то наш, во срезал! Ох, и бедова-ай...

Опытный оратор всегда старается не замечать насмешек толпы, и Восторгов напористо заговорил далее: крестьянство не получит земли до тех пор, пока их выборные в Думу не пройдут по партийным спискам «Союза русского народа», а всем прочим вообще не попасть в царствие небесное... Сколько раз произносил Восторгов эту скользкую фразу на сходках, и все сходило благополучно, но здесь, в селе Покровском, нашла коса на камень.

— Погодь тараторить... погодь, — заговорил Распутин, продираясь через толпу ближе к оратору. — По-вашему, царство небесное одни твои партейные получают? А мы-то, дурни, иначе Евангелие толковали... Жизнь небесную мы и сами как-нибудь отмолим для себя. А ты вот, городской, лучше нам скажи — будет ли когда здесь, на земле, царство мужицкое?

Старики в первых рядах затрясли бородами:

— Ой, Гришка, хоша и сволота, а правду режет!

Восторгов осекся. Перед ним, бывалым оратором, стоял наглый оппонент, с ехидцей подначивал агитатора:

— Что, поп? На мой спрос — ни бэ, ни мэ, ни ку-кареку?

Митинг оказался скомкан, что немало сконфузило местные власти. Казимиров услужливо предложил взять Гришку за цугундер и подержать с недельку в «холодной», чтобы одумался.

— Не надо! — отвечал Восторгов, стойко вынося свое поражение. — Я, батюшка вы мой, на Кавказе лезгин в православие обращал. Вот там было страшно — они на меня с кинжалами бросались... А такие люди, как ваш Распутин, *тоже нужны царю!*

Григорий Ефимыч уходил в окружении односельчан. Он был триумфатором скучного и серого, как застиранная портянка,

мужицкого дня, и сам хорошо понимал это... Вокруг толковали:

— Ты, Гришка, это верно ему холку намял. О царствии небесном в нехристях. Ловко ввернул! Дурак ты, а иногда проясняет...

В душе заважничав, Гришка, однако, держался скромником:

— А чего уж там, — говорил, заворачивая по тропке к своему дому. — Таких-то попов мы всегда на попа поставим!

* * *

Закончив пропагандистские турне, Восторгов возвратился в Москву, где отбоярился перед союзниками в командировочных деньгах, истраченных в дороге; потом в ЦК монархических организаций состоялся его отчетный доклад о результатах поездки...

— Что мы все с вами, господа? — завершая речь, спросил Восторгов. — Как бы ни переодевались мы в мужицкие зипуны, все равно из-под сермяги будет выглядывать наша ряса или фрачная пара. Иное дело, когда сам мужик говорит с мужиком. Такая пропаганда всегда успешнее... И я предлагаю (прошу занести в протокол!) вытащить из глубин захолустья крестьян, обладающих даром речи, умеющих не бояться критики толпы. Пусть они прослушают особый курс лекций и станут агитаторами могучего национального движения. От земли, от сохи, от гущи народной — пусть они и вернутся в народ, чтобы сеять полезное, вечное, доброе...

Бурные аплодисменты! Восторгов, наслаждаясь ими, растряхнул в руке цветастый платок, изобразил улыбку.

— Кстати, позвольте поведать собранию, что один такой златоуст на примете уже имеется. Это Григорий Распутин из села Покровского. — Рассказав о встрече с ним, протоиерей честно сознался, что в открытом бою потерпел от него поражение. — Вот и предлагаю начать с этого тюменского Цицерона... с богом!

Часть вторая

ВОЗЖИГАТЕЛЬ ЦАРСКИХ ЛАМПАД

(1905–1907)

*И вот он —
из кельи
выходит
Распутин
и валит
империю
на постель.*

Николай Асеев

Прелюдия ко второй части

Хотя время и было жертвенное, но жертвовать на Гришку Распутина черная сотня не хотела. Дело о субсидировании этой глупой затеи с его приездом в первопрестольную пошло в высшие инстанции империи. Министр финансов Коковцев, умный и тонкий говорун, трижды отбрасывал перо, произнося с возмущением:

— Бред! Война с японцами истощила кладовые имперского банка, золотой запас на исходе. Получилось, как у Салтыкова-Щедрина: «Баланец подвели, фитанец выдали, в лоро и ностро записали, а денежки-то — тю-тю... Плакали-с!» У меня уже трещит голова от мыслей о новом займе в Европе, а вы... Господа, что за ахинея!

Ему стали втолковывать о приезде Распутина.

— Можно подумать, к нам собрался Ротшильд и вы обеспокоены, какими гладиолусами украсить его спальню. А едет всего-навсего мужик, которому на билетик не наскрести! Подписывать галиматьи не буду. Если я стану оплачивать путешествия всех чалдонов, то, посудите сами, долго ли я усажу на своем министерстве?

— Владимир Николаич, — убеждали его чиновники, уже зараженные «союзными» взглядами, — поймите, что от таких Распутиных крепнет власть нации. Пройдет еще год-другой, и...

Возникла рискованная пауза.

— И что тогда будет? — спросил министр.

— Вы просто не узнаете России! — заверили его.

— Вот это-то и плохо, — огорчился Коковцев, — что через два года я, русский человек, перестану узнавать Россию...

Но перед Коковцевым тут же была нарисована идиллическая картина. В чайной, где ни одного пьяного, сидит под иконою благостный старец Распутин в чистейших онучах, самым скромным образом дует с блюдца липовый чай и, прикусывая постный сахарок, произносит умиленные речи, свободно оперируя такими выражениями, как «конгломерат общества» или «деформация русской личности».

— Вошь с ним! — сказал Коковцев, берясь за перо. — Пусть этот ваш... как его? Развратин или Паскудин, да, пусть он едет. Но эту

нечистую бочку я перекачу подальше от себя...

И переправил счет на департамент полиции. Владимир Николаевич, повторяю, был человеком умным. В меру реакционер. В меру либерал. Выпестованный в канцеляриях Витте, он старался не подражать своему учителю, любившему в тиши кабинетов общаться с любой мразью. Сейчас война с Японией близилась к завершению, говорили, что заключить мир поедет министр юстиции Муравьев, но Витте уже дал Муравьеву взятку в полмиллиона, и стало ясно, что на конференцию в Портсмуте поедет Витте.

— Почему Витте? Ну, как же не понять, господа: Сергею Юльевичу хочется стать графом, хочется быть премьером. Если он облапошит японцев, значит, дорога в бессмертие ему открыта!

* * *

Революция диктовала свою волю властям. Когда все гайки в механизме царизма ослабли, в это время — исправно и точно! — продолжал работать налаженный аппарат министерства внутренних дел, который было принято называть сокращенно (эм-вэ-дэ)... Министр сидит в желтом доме у Чернышева моста, а департаменты МВД, будто головы Змея Горыныча, пышат огнем по всей столице. Самый ответственный департамент — департамент полиции, главный нерв потрясенной революцией империи...

Что мы о нем знаем? Да ничего мы о нем не знаем!

Кто хочет побывать там, пошли со мною.

Вот и адрес: набережная Фонтанки, дом 16.

Главный подъезд с реки. Перед нами — роскошная лестница, убранная тропическими растениями, из зелени поют жандармские канарейки. Мебель в стиле ампир (белое с золотом). Висят мраморные доски с именами «невинно убиенных» жандармов. Большая картинная галерея. Портреты императоров. Столовая в стиле XVII века, отделанная под тяжеловесные боярские хоромы. Опять пальмы, а под ними рояль, ноты раскрыты на прелюдии Массне (видать, недавно кто-то играл). Как видишь, читатель, ничего страшного пока не

произошло. Ощущение такое, будто попали на частную квартиру. Но отсюда две потаенные двери выводят в мрачное чистилище великой Российской империи... Первый этаж — ничего интересного: бухгалтерия и казначейство. Сразу поднимаемся на второй. Вот тут-то все и начинается! В огромном зале размещена «книга живота» (картотека на верноподданных). Достаточно тебе разок потерять паспорт — и ты уже стал человеком, не внушающим доверия. «Книга живота» учтет тебя, если ты хоть единожды выступил публично, если любишь в ресторанах произносить пьяные тосты, если ты подписал какое-либо воззвание (пусть даже к дворникам, чтобы следили за кошками), если напечатал плюгавую статейку (пусть даже о ловле пескарей на хлебные крошки). Всего пять минут требуется, чтобы на основе агентурных данных выдали о тебе справку на бланке серого цвета. И здесь всегда будут помнить даже то, что ты сам давно позабыл!.. Третий этаж — самый злобредный, ибо здесь расположен *сыск*, а заходить сюда могут лишь избранные. Именно тут собраны материалы личного состава департамента, в пухлых досье покоятся жизнеописания агентов и провокаторов. Прекрасная библиотека легальных и нелегальных изданий (русских и заграничных). На третьем этаже сидят похожие на приват-доцентов господа и почитывают книжечки. Это не жандармы — это скорее ученые с аналитическим складом ума. Они изучают мемуары революционеров, газеты Парижа и Мадрида, Брюсселя и Берлина, Токио и Нью-Йорка; красным карандашом, сочно и жестко, подчеркивают все, что может пригодиться: имена, псевдонимы, даты, клички. Третий этаж — самый хитрый и изощренный (недаром здесь служит немало профессуры). Каждая мелочь анализируется, все пустяки сопоставляются. Из столкновения фактов, порой и незначительных, рождается проблеск первого подозрения и заводится новое дело. (*Шьется дело!* — говорят жандармы, скрепляя досье ниткой с иголкой.) Бесшумный лифт возносит нас на четвертый этаж. Вот где самый смак политического сыска — расшифровка и перлюстрация. Даже дипломатическая почта иностранных посольств не минует этих комнат. Печати сорвут и подделают так, что никто не догадается. Здесь лучшая фототехника мира. Нужно скопируют, раскладывая по полочкам и ящичкам. Тут же библиотека конфискованных книг и колоссальная коллекция... порнографии! Нет слов, чтобы описать это уникальное собрание. Здесь

все — от шедевров мировой живописи до дешевых открыток для гамбургских матросов. Зачем это нужно жандармам — кажется, они и сами толком не знали. Но так заведено еще со времен Бенкендорфа, и коллекция неустанно пополнялась. Однако на этом департамент не заканчивается — у него масса потаенных филиалов, начиная с нищенских притонов в подвалах окраин столицы и кончая богатыми квартирами с вышколенной прислугой, двумя ванными и уборными...

Директору департамента полиции подсунули бумагу.

— Что это? — спросил он, не дотрагиваясь до нее.

Ему объяснили, что Коковцев, что союзники, что Распутин... Директор, даже не дослушав, уже подписал эту бумагу.

— Выдайте из рептильного фонда, — сказал он.

Рептилия — это ползучий гад. А рептильный фонд — тайная касса. Здесь миллионы свистят между пальцев. Министры внутренних дел самые богатые, ибо им не надо отчитываться в расходах рептильного фонда. Куда и на что истратил — его дело!

* * *

Протоиерей... К чину иерея Восторгов получил этот довесок «прото», как личное отличие за заслуги перед православием. Пришлось немало поелозить на брюхе перед синодскими владыками. Иной раз, чего греха таить, и тошно становится, как вспомнишь. Однако протоиереев на Руси — хоть мостовые ими мости, а отцу Иоанну хотелось выдвинуться. Чтобы о нем говорили на улицах: «Вон идет отец Иоанн — красавец наш писанный!» И чтобы прохожие шею себе свернули, Восторгова в толпе отыскивая: «Где? Покажите батюшку Иоанна — хочу глянуть на наше красно солнышко...» Уже давно угнетало протоиерея мрачное, как меланхолия, уязвленное честолюбие. А залетел он в мыслях высочайше — видел себя духовником императорской четы и сейчас имел на Распутина особые виды. Сначала, конечно, пусть на него посмотрят союзники — члены ЦК, потом показать чалдона салонным дурам: может, какая из них и вцепится? Если бог поможет, тогда надо выдвигать Гришку и дальше.

Мужик, видать, крепкий! С башкой! За хлястик его держись — он тебя так и поперет в гору...

Каждодневно Восторгов звонил в ЦК черной сотни:

— Было ли что относительно субсидии?

Наконец деньги на приезд Распутина были переведены. Восторгов, радуясь, тут же отбил телеграмму в Петербург на имя архимандрита Феофана: *ВЕЗУ ИЗ СИБИРИ ЗЛАТОУСТА КРЕСТЬЯНСКОГО ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА ЗПТ ПРОШУ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ТЧК*. Благословение без задержки было получено... Цепная реакция сработала!

Итак, духовенство, черная сотня, секретная полиция. Именно они расшевелили и вызвали к жизни того Распутина, которого позже европейская печать оценит как *Der russische Ёbermensch* (то есть «российский сверхчеловек»!).

Эдакий природный супермен, лыка не вязавший, но хорошо знающий, что теплее всего валяться в грязи. Вот он выходит из дымной баньки и, приставив ладонь к бровям, пристально вглядывается в сиреневые дали Сибири, за лесами которой шумят великие столичные города и где его уже начинают *ждать*.

1. Первый блин комом

Правда, все случилось не так, как было задумано свыше. События развивались в прискорбном порядке, будто еще раз подтверждая, что исполнительная власть на Руси ни к черту не годится. До Тюменского уезда не сразу дошло грозное предписание: *НЕМЕДЛЕННО ВЫСЛАТЬ В МОСКВУ ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА*. Бумага имела казенный вид, а бланк «Союза Русского Народа» (с гербами и короной) настораживал начальство... Исправник Казимиров испытал при виде ее даже некоторое внутреннее напряжение:

— А карась-то оказался большой. Как он тут ни крутился, а на сковородку все же попал... Писано тут ясно: *выслать!*

Покровский староста Белов получил от него приказ, чтобы немедленно арестовать Распутина и направить его в уездную становую квартиру под охраной верных людей. Белов оперативно созвал из села мужиков подюжее, растолковал боевую задачу:

— Гришку брать учнем сразу. Ты, Пантелей, хватай его за ноги и держи. А ты, Тимоха, дави Гришку за глотку, чтоб дыхание ему перешиблось. Лично я, как староста, вязать его стану...

В избе Распутиных тускло помигивало единое окошко.

— Яфимыч, откройся... это я... дело есть!

Распутин сунулся в дверь, и тут же Белов сыпанул ему в глаза горсть едучей махорки. Далее операция проходила строго по намеченному плану. Опутанного веревками Гришку швырнули в телегу, сверху на него легли Пантелей с Тимохой.

— Гони скоряй, а то он, бес такой, рыпается...

На площади села долго не расходился народец.

— Теперича повесят, — толковали суровые старики.

— Да за што ж это Григория вешать станут?

— Всех вешают за шеи. Вот и его едак удавят...

— Жалеть ли? Всех баб перепортил, нечисть поганая.

Умудренные жизнью старцы взывали к односельчанам:

— Мужики, коли в свидетели учнут звать, чтобы ни гугу. Знать не знаю, ведать не ведаю. Иначе всех по судам затаскают.

Больше всех был напуган священник Николай Ильин: он этого Гришуню к себе зазывал, чайком баловал, сообщая Евангелие обсуждали и даже пришли к выводу, что слово Христово не всегда верно. Будучи ссыльным, отец Николай и не чаял, как ему из этой паршивой берлоги выбраться в родимое Подмосковье, где на горюшке под тихим Клином осталась чистенькая церквушка, а тут и Гришку сцапали... Желая опередить предстоящие изветы, Ильин одним махом накатыл на Распутина великолепный донос, обвинив его в закоренелом хлыстовстве, в свальном грехе с бабами, а вскользь дал понять, что у Гришки водится «вольный образ мыслей». Донос этот пошел догонять ту самую телегу, что увозила сейчас Распутин в зловещую неизвестность... Через день вернулись из уезда Пантелей с Тимохой, сказали мужикам:

— Дела худы. Как бы за Гришку всех нас не затрепали.

— Да не томи! Куды Гришку-то подевали?

— Приняли его от нас жандармы. Для порядку по зубам дали, чтобы очухался, всего обшарили — и на чугунку!

— А кудыть поезд-то побежал? В Расею аль вспять?

— Мы неграмотные, и нам это невдомек. Но вроде бы супротив солнца повезли Гришку на поезде...

Расходились боязливые. Долго стояли в калитках.

— Ай и дела! Молчать надоть. Распутин чужак. Мы не знаем, какого он роду-племени. К нам как с неба свалился...

Но всех огорошил староста Белов, дознавшийся из бумаг, что Григорий Распутин — сын бывшего старосты Ефима Вилкина. Дедушка Силантий смотрел на всех желтым, как янтарь, бельмом.

— Яфима Вилкина я помню, он потом Новых прозывался. Я ему саморучно два ребра изломал, ажно хруст по избе пошел, не приведи хосподи... Как же! Яфима я помню. И сыночка его малого не забыл. У него завсегда две соплюги под носом болтались. И он ыми эдак-то управлял: вжиг — в нос, вжиг — из носу... Ну сопляк! Что тут еще скажешь?

Гришка был мужик тертый, и хотя страх тонкой змейкой обвивал ему сердце, внешне он сохранял приличное спокойствие. Вот уже двое суток минуло как везли его... За окнами вагона стреляла елочками тайга, бежали, стелясь под ветром, примолкшие пожни, чернели гари прошлых пожаров. Война с Японией еще аукалась на полустанках Сибири, пронесло эшелоны с пушечным мясом, а в соседнем купе инвалид-поручик распевал глупейше:

Гаснут Дальнего Востока
золотистые края,
слышишь, гейша, — издалека
пушки молят за меня.
От Артура до Мукдена
в тихом сумраке ночей
жажду я от гейши плена
и огня ее очей...

Напротив Распутина сидел жандармский унтер-офицер, приставленный для сопровождения. С кропотливым тщанием, словно ювелир, шлифующий бриллианты, он делал себе бутерброды с «собачьей радостью» и, обожая жизнь в крохотном мизере, мельчил их ножиком так, словно собирался кормить воробьев.

— Дозвольте выйтить вон, — вежливо обратился к нему Гришка.

— Это зачем же тебе вон выходить?

— Третий дён не опростамшись. Уже... того!

— Терпи, — отвечал жандарм. — Или глаз нету? Видишь же, что я пишию потребляю. А ты мне петит портишь...

«Что-то будет?» — заглядывал Гришка в неясное будущее, а паровоз кричал впереди нехорошо, будто угрожая ему. Воображение уже рисовало тюремные решетки. Вся беда в том, что жандарм принимал Распутина за «ниспровергателя существующих устоев», и, ведя его в уборную, он разводил тоскливую лирику:

— Сицилистов тех самых, которы против бунтуют, завсегда сопровождать приходится. Но все больше в Сибирь! А ты, видать, немало нашкодничал, ежели тебя из Сибири вывозим...

Первую тысячу верст, которую пробежал паровоз от Тюмени до Ижевска, Гришка затаивал тревогу, потом все-таки не выдержал:

— Имею надобность...

— Опять? — взъярился жандарм. — Не поведу, хоть лопни!

— Я не про то. Узнать бы — куды едем-то?

— Того тебе, безбожнику, знать не надобно...

«Ой, плохо, — заробел Григорий. — Как бы не замучили втихую, никто и не сведает...» Вспоминал грехи свои — за какой из них отвечать? Нежным теплом отдавало в памяти об оставленных дома полатах. С пахучей овчиной. С родными клопами. Пестрая, крикливая Казань, машущая татарскими халатами, проплыла вдали и сгнула, — стал он понимать, куда везут. На станции Костыхино, что встретилась перед Муромом, жандарм, почуяв конец пути, сгношил себе водки, но Гришке даже пробки нюхнуть не дал. Вылакал всю водочку сам, закусывая каждый стакан нещадным курением махорки.

— Сицилист! По глазам вижу, что жулик.

— Как вам угодно, — ёжился Распутин, покорствуя...

А за окном уже вспыхивали красные крыши подмосковных дачек, изменилась в вагоне и публика, в тамбурах стояли бабы с лукошками, едущие на базар, — близилась Москва. «Ну, видать, здесь и прикончат», — тоскливо мыслил Распутин. Паровоз вкатил вагоны сибирского поезда под закопченные своды вокзала. Пробежали гимназисты с букетами магнолий, величаво проплыли монументы двух генералов, озирающих череду сибирских вагонов, и вдруг...

Распутин, подпрыгнув, плотно прилип к окну.

— Он! Никак это он самый?..

Его встречал сам Иоанн Восторгов; из-под рыжего пальто протоиерея змеино стелилась по доскам перрона шелковая ряса. Но вырвать Гришку из лап жандарма оказалось не так-то просто.

— Разойдись! — гаркнул на попа унтер. — Это не по духовной части, а по той самой... сицилист! По глазам вижу...

Распутин в их спор не мешался: коли нужен, так и без него разберутся. Жандарм получил расписку на бланке черной сотни, и Гришка попал в ведение протоиерея. Восторгов дружески подтолкнул его к пролетке, в кою был впряжен золотистый рысак.

— На Большую Дмитровку... гони, душа из тебя вон! — Потом, явно довольный, пихнул Распутина в бок. — Эки дурни, — сказал

проникновенно. — Мы хотели явить тебя на Москву аки гостя почетного, а они... волки тюменские! Хорошо хоть в кандалы не заковали. Ничего. Сейчас обживешься. Приоденем тебя. И заживем мы, Гришуня, так, что нам еще люди завидовать станут...

Распутин слушал в смятении: на что везли из такой дали, за что будут одевать и кормить? На всякий случай, делая постное лицо, он часто крестил себя на многочисленные купола храмов.

— Ай, благодати-то сколько, — шептал умиленно.

А сам думал, что с этим шустрым попом ухо надо держать востро. «Ежели хоть сотню рублей с него выжулю, — размышлял дерзостно, — оно и ладно...» Тпррру! — приехали. Дом со швейцаром. Прошли в квартиру. Но дальше передней Гришка заупрямился:

— Эко чисто у вас. Боюсь, полы загавержу.

— Шут с ними, Гришуня, ступай в комнаты.

— Куды-ы уж нам! Мы с уголка постоим. Коли корочку в сольцу обмакнете да мне пожевать дадите — вот и спасибочко...

Восторгов силком пропихнул Гришку в двери гостиной. Сажал за стол, где в ананасном кувшине фиолетово светилась настойка на черной смородине, пузатой горюшкой пыжилась в хрустале рубиновая икра, а в изумрудной желтизне, радуя глаз, сочно обтаивали перламутровые ломти свежей астраханской осетрины.

— Ну вот, Гришуня! — хлопотал отец Иоанн. — Садись, дорогой. Сам видишь, что живу я скромно. Что бог дал, то и на столе...

Распутин сообразил, что его принимают за кого-то такого, каким он никогда не был. А потому и себя решил показывать не тем, кем был. Примостился с угла, обждавело зыркая на яства.

— Не-не-не-не! — заговорил торопливо, отодвигая рюмку. — Упаси нас бог согрешить. Я ведь и не курю. Божие дыхание к чему копотью пакостить? Вот разве что селедочки постненькой... с молоком она у вас? Угощусь с вашего соизволения. Можно?

— Да бери что видишь, — надоело Восторгову миндальничать. — Что-то ты, брат, в Покровском иначе себя показывал. Да зачем хвост-то тянешь? Эвон, какой кусочек сам на тебя смотрит...

После завтрака отец Иоанн, держа в пальцах длинную папиросу «Эклер», сказал весьма значительно:

— Поживи-ка ты у меня. Потолкуем. О том о сем. Кое-кого и навестим. Можешь погулять. Вот тебе двадцать рубликов. Аванс!

Трать. Не бойся. Истратишь — еще дам. *Ты мне нужен...*

В небывалом волнении, предчуя нечто новое в жизни, Распутин вышел на кухню, хлопбыстнул из-под крана три стакана воды.

— Опося селедочки, — сказал он попу, — завсегда приятно водички попить холодненькой... Водичка, она вить от бога дана!

* * *

Восторгов сначала представил Распутина в ЦК своей партии — уже в долгополой сибирке из сукна, в скрипучих сапогах, а подол новой его рубахи был расшит петушками и коромыслами. В окружении господ, которые глядели строго, закрикивая вопросами на разные темы, далекие от мужицкого понимания, Распутин прибег к маскировке. Демонстративно, с показной неприязнью отмахивал от себя дым папирос, отвечал с кряканьем, словно дрова колол:

— Все от бога... и говорить неча! Спаси нас помилуй... это уж так! Оно конешно... без бога-то и чирей не вскочит!

Когда смотрины будущего агитатора закончились, Распутина без церемоний выставили за дверь. Присяжный поверенный Булацель строгим тоном юриста назидательно выговорил Восторгову:

— Не понимаю, Иоанн Иоанныч, на кой черт вам нужно было тащить его из Сибири, если подобных жуков можно набрать сколько угодно на любой трамвайной остановке в той же Москве?

— Но он же оригинален, — защищался Восторгов. — А вы, господа, уж простите, оторвались от народа. Вам не понять всей черноземной непосредственности Распутина.

— Послушайте! — возмутился Булацель, вскакивая. — Я же ведь адвокат, а мы умеем проникать в любую душу. Распутин самый обычный подонок, каких немало в той среде народного вакуума, что всегда возникает между пролетариатом и крестьянством. Я наблюдал за ним! Отвратный, гадкий и мерзкий тип... И этого прохиндея вы хотите сделать агитатором для наших народных чайных?..

Черная сотня единодушно отрыгнула Распутина, как дурной перегар после тяжелого похмелья. Но зато в Гришку хватко вцепился,

будто клещ в паршивую собаку, протоиерей Восторгов.

— Вот что, Григорий! Скрывать не стану — не показался ты нашим. А виноват сам... Что ты заладил словно дьячок над покойником: никто как бог, на все воля божия... Обложил бы их всех по матери — вот и постигли бы они твою черноземную силушку...

Гришка понял, что с богом он перегнул палку. Бог, конечно, сила решающая, но ведь и черта забывать не следует. Слушая ругань протоиерея, оглядывал свои новехонькие сапоги; его волновал вопрос: «Неужто сдерет их с меня? Или забудет?»

— Ладно! — помягчал голос Восторгова. — Не в лоб, так по лбу, а мы своего добьемся... Вникай! Есть в Питере одна барыня. Из очень знатной фамилии. И к царю, и в Синод вхожая. Она тебя знает. С моих же слов. Я ей писал. Но сначала я тебя по Москве покатаю. Если и здесь не покажешься, тогда... Сам не маленький, должен понять, что возиться с тобою напрасно не стану!

Распутин всю эту ночь провел в молельне протоиерея. Там он плакал. Вскрикивал. Истово отпускал поклоны до полу.

— Во псих! — крутился в постели Восторгов. — Так лбом барабанит, что соседи снизу могут прийти... И не поймешь, с кем я связался: то ли мазурик, то ли и впрямь святой...

2. Салонная жизнь

Восторгов немало поломал голову — под каким соусом подавать Распутина в свете? Быть юродствующим во Христе, славильщиком бога — нельзя, ибо таких придурней уже полным-полна коробушка. Быть прилизанным и робким «сыном народа», взыскующим у господ истины, — тоже нежелательно, ибо в этом случае не Распутина будут слушать, а он сам обязан внимать с разинутым ртом. Восторгов же, ради предбудущих выгод своей карьеры, ставил на Гришку многое и текущих расходов не жалел. Из кошелька выдернул две «катеринки», велел их в Покровское отправить. Пичкал Распутина лекциями, совал ему для прочтения свои брошюрки. Тот мусолил страницы, читал по складам, докладывая:

— От энтелева до сентелева... всю чекалдыкнул.

— А что-нибудь ты понял?

— Не!

Наконец главное решение было принято.

— Вот что, Гришуня, — объявил Восторгов однажды. — Тебе надо быть таким козырем, какой есть, и больше не мудрить. Сила твоя в хамстве твоём. Не притворяйся. А самобытность всегда блюди!

У подъезда дома их уже поджидал рысак под попоной.

— Едем к княгине Кантакузиной, графине Сперанской.

Распутин уселся в пролетку, скромно подобрал ноги.

— А к какой сначала? К графине или к княгине?

— Серость! Одна тетка, но фамилия у нее двойная...

Распутин уразумел: сила его в городе — сила первого на деревне. Пускай господа во фраках не сморкаются в скатерть, а ему можно. Правда, поначалу никак не удавалось обрести верную тональность речи в общении с господами. Гришка чаще отмалчивался, чутко слушая других, а если ронял слова, то они были увесисты, осторожны. Восторгов, отличный дрессировщик, тщательно оберегал его природную неотесанность, критиковал после визитов:

— Ох, не понравился ты мне сей день! Колода гнилая в лесу, и та живее тебя... Зачем умничаешь? Треснул бы ты княгинюшку под ее

двойную фамилию, чтобы она волчком закружилась, стерва. Разве такую язву проймешь словом божиим? И не старайся.

Гришка запускал пальцы в бороду, соглашался:

— Это уж так. Баба есть баба, хоть ты ее в сахар или в навоз сажай... Оно верно — тута еще не все у нас продумано.

Кажется, не сговариваясь, они уже составили единый альянс, и оба мерзавца работали друг на друга, как шестеренки в одной машине. Скоро в московских салонах заговорили о Распутине, а стареющая львица Нарышкина первой и оценила его.

— Этот ле-мюжик весьма забавен. Говорите, что он от святости? Вряд ли, голубушка. В двадцатом веке какие же праведники? Но зато какая сочная грязь у него под ногтями... Каюсь, что от глаз его не оторваться мне. О-о-о, и еще... еще аромат!

Не удивительно, что после Ралле с Брокаром, после Коти с Убиганом запах нечистого тела может показаться новым сортом духов последней моды. Парфюмерами уже издавна примечено на опыте, что самое тончайшее благовоние ближе всего соприкасается с настоящим зловонием. Тем временем Восторгов подарил Гришке тетрадку, карандашик и перочинный ножичек в нарядном футляре. Зная, что малограмотные люди лучше постигают смысл, если записывают сказанное, протоиерей внушал ему: «Пиши, Гришуня, пусть и коряво, но ты пиши...» При этом он усиленно прививал ему свои крошечные взгляды. А перочинный ножичек до того полюбился Распутину, что он с ним более не расставался, нося его в кармане штанов, и скоро этому ножичку предстоит сыграть свою роль...

Московская тренировка закончилась!

— Поехали дальше, — объявил Восторгов.

* * *

На вокзале он взгромоздил на Распутина, как на ишака, два громадных фибровых чемодана со своим барахлом; вспотевший Гришка усердно, весь в кислом мыле, тащил их через толпу, боясь потерять попа, ловко шнырявшего среди публики. Громяхая кладью,

Распутин вперся в вагон и даже ошалел: всюду зеркала, диваны под плюшем, а в отдельной кабине — раковина с унитазом, все фаянсовое, сверкает стеклом и никелем.

— Вот это горшок! — поразился Гришка. — И до чего ж чистый. Эх, на деревню б такой: Парашка моя в нем бы тесто месила.

— Привыкай к первому классу, — подмигнул Восторгов. — Закинь чемоданчики на верхнюю полочку... так! Теперь пальтишко мое повесь... так! Не хочу я рук пачкать — сними галошки с меня... молодец. Поставь их в уголочек... так. Садись. Поехали!

Брякнул третий звонок, и состав потянуло в столицу империи, тяжело и медленно, словно тонущий корабль в мрачную бездну. А в соседнем купе, как выяснилось, разместился со служкою саратовский епископ Гермоген — птица столь важная, что Распутин даже оторопел от такого соседства. Выглянув из купе, он видел, как служка епископа, молодая и румяная монашка с длинными волосами цвета бронзы, застилает для Гермогена постель.

— Никак девка при нем в рясе? — спросил Распутин.

Восторгов, хихикнув, отвечал тишком:

— Да не девка, а парень такой... Гермоген-то у нас, бедненький, содомским грехом страдает. Имел от этого уже кучу разных неприятностей.^[5] Но уж больно сильны покровители у владыки саратовского. Гермоген, как и я, тоже союзник. Я ему о тебе сказывал. Сейчас заявится. Он мужик простой. Не стесняйся...

Брюшком вперед, осеняя купе бликами алмазного распятия, вошел Гермоген — плотный, сытый, игривый, пахло от него дамскими духами. Ни с того ни с сего, даже не сказав «Здрасьте!», он, мальчишничая, треснул Распутина щелчком по носу:

— Ну и нос! На троих рос, а тебе достался...

Гришка на всякий случай примолк, боясь, как бы не обидели. Жался на плюше, словно бедный родственник на богатых именинах. Завидушными глазами смотрел он, как духовные побратимы-черносотенцы тащат на столик снедь разную. Гермоген до локтей закатал рукава рясы, обнажились сильные белые руки. Он крутил штопором, выдергивая из бутылок пробку за пробкой, только — шпок да шпок! Между прочим, епископ вел дружелюбный разговор:

— Ты — Григорий Ефимыч, а я в мирской жизни звался Григорием Ефремычем... тезки! Ну, как? Не боишься, что отец Иоанн,

разбойник, завезет за темные леса, где и слопает за милую душу? Небось хвост-то промеж ног зажал? Трясется он у тебя, чай?

Распутин, решив не пить, отвечал обстоятельно:

— Да уж не каторжники вы какие. Даст бог, и не пырнете ножиком по дороге... Чего трястись-то мне?

А выпить ему ужасно хотелось. Но крепился.

— Не искушайте мя, — говорил обдуманно. — Нонеча я должен гореть чисто и свято, быдто свеча воску ярого...

— Так я и поверил тебе! — Гермоген тыкал в губы ему стакан с пахучей жидкостью. — Эва, понюхай, варнак, какво пахнет.

Распутин подвижнически воротил нос на сторону:

— Ну-к, пахнет. Ну-к, клопами. Дык мне-то што с эфтого?

— Не выкобенивайся, — увещал его и отец Иоанн. — Дыхание к завтрему очистится. Явлю тебя графине, аки младенца из ясель.

Распутин до конца стойко выдержал искус:

— Нет! Не согрешу. О боге поразмыслить желаю...

Гермоген, больно наступив Гришке на ногу, широким местом еще дальше, еще плотнее затискал Распутина в самый угол купе.

— Нет у меня, — сказал, — веры к людям, которые пьют редко, а едят мало. Давай, отец Иоанн, приложимся к святым мощам...

Зазвенели стаканы, разом сдвинутые. «Эк хорошо!» — сказали оба и потянулись к пикулям в баночке. Это им хорошо, а Гришке даже челюсти свело судорогой — так хмельного он жадничал. Отворотясь, неистово крестил себя на окно вагона. А там, в бархатном квадрате ночи, неслась жуткая дремотная Русь, словно заколдованная на веки вечные. Пролетали ветхозаветные буреломы, стыли на косогорах древние храмы, редко-редко, словно волчий глаз, проницало мрак Руси желтым огнем забытой и нищей деревни...

От вынужденной трезвости Гришка озлился на пьющих:

— Ну-к ладно. Вы гуляйте. Поспать мне, што ли?

На верхней полке вытянулся под самым потолком, вздрагивая на зыбкой перине. «Сам виноват. Надо бы мне сразу, как предлагали, за стакан и хвататься... Оно бы и ничего!» Гермоген, вскоре упившись, утащился в свое купе. Восторгов свалился на диван и задрях. Распутин, как большая черная кошка, бесшумно и ловко спустился вниз. В потемках перебирал бутылки: «Какая тут, из которой клопами пахнет?» Хватил два стакана коньяку подряд и, не закусывая, взметнул

свое сильное жилистое тело обратно на верхнюю полку. С удовольствием он проследил за влиянием на организм алкоголя. «Теперича порядок. Отлегло...»

Черную ночь кружило за окнами. Опадали черные листья. Мимо пронесило яркие гроздья паровозных искр.

* * *

Была война, была Россия
и был салон графини И.,
где новоявленный мессия
тянул холодное ай.
Его пластические позы —
вне этикета, вне оков;
смешался запах туберозы
с ядреным запахом портков!

«Графиня И.», о которой здесь сказано, это генеральша Софья Сергеевна Игнатъева, урожденная княжна Мещерская; пожалуй, даже муж ее не ощущал себя так свободно в Государственном совете, как она — в Синоде, где митрополиты стелили перед ней ковры, ставили за ее здравие пудовые, сутками не угасавшие свечи. Сейчас уже неважно, сколько тысяч десятин графиня имела. Вкратце напомним, что лишь в Петербурге она владела восемью домами. А проживала на Французской набережной — в ряду посольских особняков, где Нева щедро обливала окна прохладною синевою, где из Летнего сада доносило благотворный шум отцветающей зелени...

Гости собирались. Приехал похожий на старую моську статс-секретарь империи Александр Сергеевич Танеев, светский композитор, большой знаток придворных конъюнктур. Старшая дочь его, Аннушка, сегодня отсутствовала, опять вызванная в Царское Село на урок по вокалу; с Танеевым была младшая — Сана, а при ней и жених ее — кавалергард Пистолькорс, поклонник оккультных наук,

бугай здоровенный (и вряд ли нормальный). Явилась скромно одетая, еще красивая Любовь Головина, родная тетка этого Пистолькорса; с нею вошла дочь ее — востроносая девица с челкой на лбу, которую в свете именовали на собачий лад — Мунькой; что-то глубоко порочное отлегло на высоком челе этой субтильной девицы в белой блузочке, едва приподнятой слабо развитой грудью... Хозяйка дома объявила гостям, что старец Григорий уже приехал, сейчас почивает, но скоро проснется и отец Иоанн Восторгов по телефону обещал вот-вот его подвезти. Но тут вбежала странная дама, вся в шорохе каких-то наколок и ленточек, говорившая то шепотом, то срываясь на крик, — это была генеральша Лохтина, когда-то блиставшая красотой и остроумием, а теперь понемножку сходящая с ума в общении с монахами...

— Не опоздала ли я, графинюшка? — спрашивала она.

Софья Сергеевна отнеслась к ней с пренебрежением:

— Э, милая! Разве ты куда опоздаешь?..

Внизу дома графский лакей с осанкой британского лорда уже принимал от Распутина его новенький картуз.

— Ну, Гришуня, — шепнул Восторгов, — теперь держи хвост торчком, иначе все у нас треснет... Не подгадь, миляга!

Шоколадный мрамор лестницы излучал приятное тепло, почти телесное. Дворецкий провел их в «ожидальную», сплошь завешанную картинами. Фамильные портреты кисти Левицкого умещались рядом с дешевым пейзажиком Клевера, а плоский жанр соседствовал с подлинными шедеврами старых голландцев. Распутин из разнобоя сюжетов выхватил лишь одну живописную сцену. На полотне была представлена женщина, готовая нырнуть под одеяло, она подмигивала кому-то — с непристойным вызовом.

— Это кто ж такая будет? — удивился Распутин.

Восторгов, будучи неплохо начитан, тихонечко пояснил, что картина называется «Нана», изображена здесь известная куртизанка Парижа, героиня романа французского писателя Эмиля Золя.^[6] Гришке-то писатель этот ни к чему, а слово «Нана» он расшифровал как дважды произнесенное «на!».

— Ишь ты, — сказал. — На да еще раз на...

Восторгов немедленно осадил его:

— С ума сошел! Не забывай, что мы святой жизни.

Двери зала отворились, и на пороге вдруг предстала какая-то... бабуся, скудно одетая, с крестьянским платком на голове. «Графиня», — шепнул Восторгов, и тут словно лукавый подпихнул Гришку в бок — он сразу же наорал на Игнатьеву:

— Ты что, ведьма старая? Гляди, какой срам по стенкам развесила... от беса это у тебя, от беса! Небось за едину таку картинку мужик корову бы себе справил, а ты... Смотри, — сказал ей Распутин, — я наваждение-то разом прикрою!

И яростно перекрестил Нану возле розового пупка.

Старая графиня нижайше ему поклонилась:

— Прости, батюшка Григорий. Ужо вот я скажу своим людям, чтобы блудодейку на чердак вынесли. Уж ты не гневайся на меня.

Распутин одернул поясок, тронул рукава рубахи.

— Ладно, — сказал. — Веди уж... чего там!

В растворе позлащенных дверей виднелись головы гостей, на столе попыхивал паром медный самовар, неопрятной грудой, словно в худом трактире, лежали простонародные баранки... Распутин, поскрипывая сапогами, шагал к столу, легко и пружинисто, и в этот момент сам чувствовал, что он — молодец!

3. «Нана» уже треснула

Гости графини еще не успели к нему присмотреться, когда Распутин ловким взором конокрада, оценивающим чужую лошадь, которую непременно надо украсть, уже оценил их всех сразу и теперь приближался к ним, часто приседая, потом резко выпрямлялся, и ладони его сочно прищлепывали по коленям. Сейчас он был похож на орангутанга, спрыгнувшего с дерева и решившего прогуляться по земле. Внезапно ощутив свою силу (и свою власть над этими людишками, ждавшими его!), он уже выпал из-под опеки Восторгова, заговорив так, как ему хотелось — почти бездумно:

— Чаёк пьете... ну-ну, лакайте. Чай — травка божия. Ты замужняя? А почто без мужа приволоклась? Вот бы я поглядел на вас, на обоих-то... Нехорошо, мать, нехорошо, — сказал он, остановясь подле Головиной. — Нешто так жить можно? (Головина страшно испугалась.) Смотри-кась, какая ты баба вредная... Но обидой ничего не исправишь. Не обижай! Любовью надоть... любовью, дура ты! Да что с тобой толковать? Все едино не поймешь...

И пошел дальше, поскрипывая. Еще на Москве убедился Гришка, что грубейшее «ты» звучит убедительнее обращения на «вы». В этот момент речь его обрела соль и перец.

— Ну ты! Кобыла шалая, — облаял он нервную Лохтину. — Курдюком-то не крути, а сиди смиренно, коли я с тобой говорю. Возжа, што ли, под хвост тебе попала?

— Благослови, батюшка, — взрыднула Лохтина.

— Это потом... — небрежно отмахнулся Распутин.

Пистолькорс, повидавший немало медиумов, магов и спиритов, смотрел на Гришку в изумлении: такого хама он еще не видывал.

— А кулаки-то у тебя... ого, какие!

Пистолькорс словно и ждал, что его похвалят:

— Этими руками задушил я пятнадцать латышей.

— За что?

— Бунтовали! Задушу, бывало, и в журнал себе вписываю: имя, фамилию, возраст, женат, холост...

— Зачем?

— Для памяти! Попалась мне знаменитая рижская красавица Ревекка Рабонен, дочь пастора, еще девчонкой путалась с социалистами. Я отвел ее в казарму. Что хотите, говорю, то с ней и делайте. Но солдаты — дрянь. Взяли и отпустили ее. Я выскочил... вижу, бежит моя красотка через картофельное поле. Я — за ней! Догнал. Шашку выхватил. Как полосну по затылку... в картошку и зарылась. Только, помню, косы у нее разлетелись...

Распутин сунул землистые ладони за пояс.

— Ну и сволочь же ты! — произнес он четко.

Отошел прочь. Пистолькорс растерялся:

— Что он сказал? Что сказал мне старец?

Софья Сергеевна поправила на буклях бабий плат и, выглядывая из-за самовара, на прекрасном парижском диалекте растолковала дураку-кавалергарду, что он вызвал недовольство у старца. Воспользовавшись минутной паузой. Восторгов шепнул Гришке:

— Ножичек у тебя с собой?

— Здесь. В штанах. А что?

— Ты эту голую Нанашку где покрестил?

— Аж у самого пупочка.

— Давай сюда ножик... сейчас все обтяпаем.

Ловкий поп незаметно улизнул от стола.

* * *

— Григорий Ефимыч, — сказала старая графиня, напузырив для «старца» чашку жиденького чайку (была она скупа), — осенил бы ты нас благодатью какой... Изнылись уж! Духом износились!

А если это так, чего тут с ними цацкаться? Смелее приступим к делу. Распутин раздробил на зубах твердую баранку.

— А ведь ты, мать, — сказал он, с хрустом жуя, — ишо не ведаешь, что благодать уже вершится в дому твоём...

Гости многозначительно переглянулись. Гришка мельком глянул на Танеева: «Ух, барбосина какой... паршивый!»

— Хитрый ты, — сказал он ему, — но скоро поглупеешь. А помрешь легко. Ляжешь и не встанешь. Я так вижу... — Взгляд его перевелся на Сану Танееву. — Это младшая твоя? — произнес он, не то спрашивая, не то утверждая. Танеев кивнул, и Распутин поставил вопрос как надо: — А почто старшую свою не привез?

За столом пронесся тихий шумок:

— Все знает... до дна видит... просто чудо!

— Старшая моя, Аня, — поежился под взглядом мужика статс-секретаря, — к императрице звана... у них урок пения.

Гришка расставил ноги и долго глядел в пол под собою, напрягаясь. Заговорил снова — убедительно:

— Скажи Ане, чтобы почаще дома сидела. Я так вижу, а ты ей передай, будто старец Григорий сказывал — ее муж ждет!

— Но она еще незамужняя, — удивился Танеев.

— Это я знаю, — не растерялся Распутин. — Но муж-то ейный уже к порогу подходит. Вскоро все решится...

Мунька Головина сидела как раз напротив старца, и Гришка, хорошо знавший женщин, сразу распознал ее суть:

— А ты горишь... Вижу, как по жилкам голубеньким бродит что-то красненькое... Это огонь от беса, и ты беса не пужайся... Опосля бесовского будет тебе дано и ангельское!

В разговор важно вступила мать Муньки, Любовь Валериановна Головина, жена камергера, дама острая и подвижная:

— Вы бы воздействовали, старец, на Мунечку... Вбила себе в голову, что светский мужчина — вырожденец, уже ни к чему не способен, и всех женихов, какие были, она от себя отвадила.

— И верно сделала! — отвечал Распутин. — Для ча ей с ыми, с тонконогими, пачкаться? Она невеста божия... *я так вижу*.

Восторгов тихонечко подсел к столу, завел богоугодные разговоры, столь елейные, будто всех маслом намазывал. В этот момент поп уже был серьезно озабочен быстрым ростом авторитета Гришки, хотел он от пальмы его первенства отодрать листик пошире и для себя, чтобы не вся слава досталась одному Распутину... Вдруг вбежал Пистолькорс, стал шептать что-то графине на ухо.

— Старец Григорий прав: сама святость в доме моем, — поднялась старуха. — В ожидальной не выдержала Нана... треснула!

Именно то место, которое перекрестил разгневанный Распутин, оказалось крестообразно разорванным — у самого пупка розовой «Нана». Никто из гостей не сомневался, что легкомысленная тема картины не выдержала осенения свыше и бесовский холст затрещал под дуновением крестного знамения. Восторгов, весь в ажиотаже, дергался на стуле, словно на кол посаженный. Гришка шепнул ему:

— Вишь, как ножичек-то пригодился...

Но полотно салонной жизни еще не было дописано до конца. Последний решающий мазок нанесла генеральша Лохтина, до этого издали разглядывавшая Распутина с таким видом, с каким опытная сова глядит на жирную и вкусную мышь: «Сейчас съесть или на потом оставить?» Наконец, не выдержав, она рывком подошла к нему. Заговорила напористо и смачно:

— Старец, что делать женщине, если у нее тело свято? Мой муж вполне порядочный человек, но... не святой. Я увидела тебя и вся открылась навстречу тебе. Научи, как мне быть?

Распутин сразу понял, что перед ним очередная психопатка, каких уже немало встречал в своих странствиях по монастырям и обителям. В ответ старец зашептал ей жарко:

— Ты вот што... Звать-то тебя как?

— Ольга Константиновна, а по мужу...

— Не надо мне твоего мужа! — Распутин воровато огляделся по сторонам. — Ты, Ольга, не скорби. В субботу с утра раннего ступай в баню и распарься так, чтобы косточки от мяса отлипали. А прямо из бани езжай ко мне на Караванную... Беса не томи, — погрозил Гришка даме пальцем, — беса, как и бога, тоже уважать надобно. Вот мы и потолкуем, как жить, ежели ты такая святая!

Генеральша даже прослезилась.

— Дашь ли мне святости? — спросила надрывно.

— Дам. Ужо получишь. Тока приди. Не омманешь?

— Христос с тобой! — заверила его Лохтина.

— Христос во мне, — поправил ее Распутин...

Утром графиня Игнатьева позвонила по телефону на квартиру придворного генерала Воейкова, который, будучи приятелем царя, носил неудобопроизносимый титул — «главнонаблюдающий за физическим развитием народонаселения Российской империи».

— Владимир Николаевич, я вас прошу доложить его величеству, что у меня ночью было ярчайшее видение... — Моральный авторитет старухи, всю жизнь проведенной на высших этажах православия, в дворцовых сферах был непогрешим, и потому Воейков со вниманием выслушал подробную ахиною: — Дух был с венцом вокруг головы, я до сих пор слышу его голос. В доме твоём, сказал мне дух, объявился великий пророк, назначение которого открывать царю волю провидения. Это был дух Серафима Саровского, покровителя государя, а пророк в доме моём — старец Григорий прозванием Распутин. Вы запишите, Владимир Николаевич, а то ещё забудете.

— Нет, нет, как можно! — отвечал Воейков. — Я в точности доведу ваши слова до сведения моего обожаемого монарха...

* * *

В эту ночь, пока графиню навещали всякие видения, в тихом доме на глухой линии Васильевского острова сидели трое: сам Распутин (герой дня), Восторгов с Гермогеном, сидели они и пили... Гришка уже не кочевряжился, святого не разыгрывал. Понял, что с такими пройдохами он и любой сойдет! Хлестал все подряд: водку, херес, коньяк, мадеру, вишневую и рябиновку.

— Чего затихли? Отец Иоанн, наливай вдругорядь... Эвон из той бутылки, чтобы пена пшикала... Эх, девок бы еще сюда!

Между ними лежал на столе перочинный ножичек, и каждый раз, когда вспоминали о нём, все дико хохотали, а Гермоген даже снимал с головы клобук и больно хлестал им Гришку по морде.

— Сознайся, это ведь ты отца Иоанна подначил?

— Я сам! — гордился Восторгов. — Где ему догадаться...

Распутин плясал, а духовные персоны распелись:

В глубокой теснине Дарьяла,
Как Демон, коварна и зла,
Надев треугольную шляпу,
Царица Тамара жила,

Прекрасна, как ангел небесный...
И серый походный сюртук...

Расходились уже вконец пьяные. Восторгов вывалился из туалета, весь испачканный сзади известкой, а низы рясы — мокрые:

— Народы православные, обфурился я, грешник великий...

— Поцелуемся на дружбу вечную! — зывал Гермоген.

— Хорошие вы люди, — бормотал Гришка. — Слава те, хосподи, сподобил ты меня на хороших людей нарваться...

Целовались и плакали. Очень уж они были хорошие!

Утром Распутин пробудился, чувствуя, что кто-то пристально на него смотрит. Ровно посреди комнаты, словно обвиняемая в зале суда, сидела на стуле прямая и плоскогрудая Мунька Головина... Ни слова не сказав, она с электрическим треском потянула через голову беленькую блузочку, длинными бледными ногами переступила через упавшие на пол юбки.

— Ни стыда у тебя, ни совести, — подивился Распутин...

Вечером Мунька была у своей подруги — баронессы Верочки Кусовой (дочери жандарма от брака с известной певицей Долиной).

— Что с тобою? — заметила та. — Ты какая-то не в себе.

Закурив, Мунька рассказала ей о Распутине:

— Что он творил со мною — непередаваемо! И ты знаешь, он при этом еще заставил меня молиться... Поверь, сочетание молитвы о Христе со скотским положением — небывало острое чувство. Теперь я опустошена, словно кувшин, из которого выплеснули вино. Тела у меня уже нет. Остался один дух, и я сама ощущаю себя святою после общения со старцем... Он — бесподобная свинья!

Подруга страдальчески заострилась носом.

— Как я завидую тебе, Мунечка, — сказала она. — Боже, если бы и мне хоть разочек в жизни так горячо помолиться!

Мунька твердо и решительно загасила папиросу.

— В чем дело, машер? В конце концов, это же не любовь, а лишь особая форма богослужения. И никому не запрещено войти в храм и молиться в нем во имя господя, спасителя нашего... Иди и молись! Распутин щедрый архипастырь и никого не отвергнет...

Мунька Головина, дочь камергера, стала самой близкой Распутину, самой верной адепткой его «учения». Она же, порочная до безобразия, сделалась и поставщицей поклонниц. В один из дней Мунька сообщила Гришке, что его желает видеть некая дама:

— Я не могу открыть ее имени. Она очень знатная. И просила предупредить, что явится под густейшей вуалью из конского волоса, и ты не должен делать попыток к снятию вуали.

— Вуаль, значит, снять нельзя, а штаны можно?

— Но отказывать ей тоже никак нежелательно. Ты пойми, — говорила Мунька, — что эта женщина очень *высоко наверху*.

— Для меня все верхние под низом будут. Что это за фокусы таки! — возмущался Распутин. — Идет ко мне за делом, а фамилию с мордой прячет... Рази это по-божески?

— Хорошо. Я скажу тебе, кто она. *Это...*

Это была Милица Николаевна, дочь короля Черногории и жена великого князя Петра Николаевича. Распутин быстро усвоил суть семейных связей дома Романовых и понял, что от чернавки Милицы тянутся тропочки к престолу. Он сказал, что Милицу примет.

— Чего ей? По душам говорить хочет? Ну, ладно-сь. Скажи, что я похристосуюсь с нею... Она уж вовек не забудет!

* * *

Восторгов и сам не заметил, когда его ученик перепрыгнул широкую реку и теперь свободно гулял на другом берегу.

4. Самая короткая глава

Самая короткая и самая пикантная... Множество анекдотов о Распутине (как правило, рассчитанных на людей недоразвитых) рисуют его женским героем раблезианского размаха и такой неукротимости в тайных делах, какая несвойственна даже весенним котам. Эту версию мы сразу же отбросим, как не заслуживающую нашего просвещенного доверия.

Надеюсь, читатель поверит мне, что эту сторону распутинщины я тоже изучил в подробностях и ответственно заявляю, что Распутин не был исключением в ряду обычных здоровых мужчин. Наоборот, документы иногда являют прискорбные для анекдотистов факты, когда Гришка как мужчина оказывался явно «не на высоте» той славы, которую ему приписывали...

В чем же дело? В чем его сила?

На этот вопрос ответ дал великий русский психиатр Бехтерев, который специально занимался Распутиным и разоблачил секрет его влияния на женщин.

«Все, что известно о Распутине в этом отношении, — писал Бехтерев, — говорит за то, что его сила заключалась... во властном характере его натуры и умении поставить себя сразу до фамильярности близко ко всякой обращающейся к нему особе женского пола... Каждую входящую даму „набожный“ старец встречает в передней, прежде всего обводя своими „нежными“ ручищами по всем линиям ее тела, как бы исследуя ее формы. Этим приемом старец Распутин сразу достигает близости к входящей даме, которая становится с этих пор кандидаткой на его обладание... Кроме обыкновенного гипнотизма, — подчеркивал Бехтерев, — есть еще и *половой гипнотизм*, каким, очевидно, обладал в высшей степени старец Распутин... А великосветское дамское общество, его окружавшее, представляло ту извращенную дегенерацией среду, в которой распутинский половой гипнотизм пожал обильную жатву».

В распутинщине нельзя винить одного Распутина!

Распутин никогда бы не создал распутинщины, если бы ему не помогала среда, в которой уже были заложены микробы разложения.

Конечно, виноваты и женщины, но... какие женщины?

Вот что писал по этому поводу В. В. Шульгин; при всей своей реакционной сущности он был неглупым человеком.

«Вырождающиеся женщины часто страдают оттого, что они ничего не чувствуют. Нередко они объясняют это тем, что муж обыкновенный, серый человек. Чувственность просыпается в них, когда к ним прикоснется герой. А героя найти нелегко! Те женщины, что пониже, могут ожидать своего принца. Но те женщины, что живут среди принцев, должны искать героя в слоях общества ниже себя, ибо люди своего круга ими уже испытаны. Такие особы начинают презирать условности, классовую рознь, наследственные предрассудки и даже требования чистоплотности. Так они доходят и до Распутина! Разумеется, — выделял Шульгин, — к этому времени они уже глубоко развращены, пройдя очень длинный путь великосветской проституции...»

Такая серьезная глава требует лирического окончания:

Как хорошо дурманит деготь
и нервы женские бодрит.
— Вы разрешите вас потрогать? —
статс-даме Гришка говорит.
Она, как бабочка, трепещет
в силках расставленных сетей,
и маникюр графини блещет
на фоне траурных ногтей.
В салоне тихо гаснут люстры.
Войдя в мистическую роль,
мужик, находчивый и шустрый,
ведет себя, как Рокамболь...
И даже пылкому Амуру
неловко стало свысока
за титулованную дуру
в объятьях грязных мужика!

Эти стихи принадлежат перу одного из убийц Распутина.
Он же и воспел его во множестве стихотворений.

5. Темные люди

1905 год погасил огни Зимнего дворца; темный и неживой, он являл вид заброшенности. Балов больше не было. Куда делись пышные карнавалы! Придворные жаловались на скуку, вспоминая, как чудесно жилось им раньше. Сорокалетние говорили: «Ах, как хорошо бывало при Александре Третьем!» Полувековые залезали памятью глубже в историю: «Кто не жил при Александре Втором, тот вообще не жил!» А те, которым пошло на седьмой десяток, сладко жмурились: «Вы бы посмотрели, как было при Николае Первом...»

Императоры знали о свинских рефлексах своих придворных, и потому для гостей Зимнего дворца накрывался *отдельный* стол — в узком коридоре, что тянулся вдоль бального зала. После третьего тура вальса танцующие пары загадочно размыкались, каждый стремился занять место поближе к дверям, ведущим в этот волшебный коридор. Белозубые арапы в ливреях века бесшабашной Елизаветы открывали двери и... здесь я умолкаю! Мое перо бессильно выразить все то, что там творилось, а посему я передаю слово очевидцу: «Столы и буфеты трещали, скатерти съезжали с мест, вазы опрокидывались, торты прилипали к расшитым мундирам, руки пачкались в креме; цветы срывались и совалились по карманам, шляпы наполнялись царскими грушами и яблоками. И через три минуты нарядный буфет являл грустную картину поля битвы, где трупы растерзанных пирожков плавали в струях шоколада, меланхолично капавшего на мозаичный паркет коридора...» При этом камер-лакеи, ко всему приученные, тактично отворачивались к окнам, чтобы не видеть проявления «троглодитских наклонностей» аристократии; прислужники тут же заменяли на столах все изгаженное свежими дубликатами цветов, пирожных и фруктов. Но самые волнующие сцены наблюдались во время штурма гофмаршальского стола, накрытого побогаче и ближе к столу царскому. Здесь, как правило, ходили в атаку прекрасные дамы. При входе в Золотой зал «меня окружили женщины в открытых туалетах, исключительно пожилые. Недостатки бюстов возмещались искусным размещением наличного материала на каких-то досочках и полочках, которые я поневоле созерцал в их открытых лифах. Спины,

покрытые прыщами и пятнами припудренной старческой экземы, острый запах женского пота — все это создавало атмосферу лисятника!» Сдерживая натиск атакующих дам, в дверях дежурил сам комендант дворца, обливавшийся холодным потом. Вот отзвучал последний аккорд придворного котильона, и тут же (ни секундой позже) комендант, словно паршивый сноп соломы, отбрасывался в сторону лавиною слабого пола, кинувшегося на яства со слепой и яростной жаждой добычи...

— Что и вспоминать! — вздыхали теперь придворные, поглядывая на темный Зимний дворец. — Такого блеска уже не будет!

Вдовствующей императрице Марии Федоровне все не нравилось в царствовании сына, и среди придворных она обрела кличку Гневная. Вдова все больше удалялась от «большого» двора.

— На худой конец, — говорила она, — у меня есть спасение: я могу сесть на поезд и утром буду в Копенгагене, где уже не стану видеть нынешних безобразий. С тех пор как царствует мой сын, я все время жду убийства, взрывов, катастроф и безумия!..

Революция наказала сына «гатчинского затворника» кличкой Царскосельский Суслик. Пешие походы на дальние дистанции Николаю II пришлось отложить, чтобы эсеры не подстрелили из-за кустиков, словно бекаса. Все свои дремучие первобытные силы император вкладывал в заготовку дров для своего дворца — пилил и колот с утра до ночи, словно хороший дворник. По ночам же, в кожаной куртке шофера, никем не узнаваемый, он садился в байдарку, ожесточенно выгребая веслом, чтобы побыть одному — подальше от семейных дрызг, подальше от своих страхов.

Гневная свою невестку Алису безжалостно шпыняла:

— Надо уметь себя вести! Мне тоже не всегда хочется улыбаться людям, которых я не знаю. Плохо себя чувствую. Или просто нет настроения. Однако надо... Мы цари, а это значит, что мы всегда на виду, ослепленные ярким светом. И простым людям приятно, если царица подошла к ним в скромном ситцевом платье, какое и они носят, и вдруг спросила — почему сегодня на базаре говядина? А ты, голубушка, ведешь себя с людьми так, будто наступаешь на противную и скользкую лягушку.

— Мне неприятны ваши сентенции, — огрызалась Алиса.

— Это неточно сказано, — возражала Гневная. — Не мои сентенции противны тебе, а тебе противны все, кто тебя окружает, и только ты сама для себя еще не стала противна...

Федоровская церковь в Царском Селе — как старинная игрушка. Убранство ее богато. Она считалась «государственным собором», здесь молились Романовы с придворными. Кто как умел, так и молился. Александра Федоровна, верная себе, решила молиться так, чтобы ее никто не видел. Царицу угнетала мания преследования. В алтарных приделах храма она велела выдолбить для себя глубокую нишу, в которой и скрывалась. Время от времени из тайника, словно из гадючьей норы, высывалась ее голова. Быстро оглядит молящихся — нет ли опасности, и снова спрячется, задернув ширму. Однажды, когда она так сидела, в храме раздалось:

— *Ненормальная!* — Это слово вырвалось у Гневной. — Передай своей сумасшедшей, — сказала она потом сыну, — что прятаться неприлично. Если мы все попрячемся по углам, то что же от нас, от Романовых, вообще останется? Тем более, здесь не улица и ни одна из статс-дам не держит бомбы под корсетом, а фрейлины не таят под лифами браунинги.

— Если бы ты, мама, знала, — отвечал император, — сколько в Аликс твердости духа... Как мощно укрепляет она меня в несении тяжкого бремени власти. Она совсем не сумасшедшая.

— Ну, так жди! Скоро она станет сумасшедшей...

В этом году и сам Николай II предстал перед русским обществом не совсем нормальным. Нашелся смельчак издатель, собравший в один том все резолюции и тосты императора. Книга состояла из одних только перлов: «Прочел с удовольствием... А мне какое дело?.. Живительно тронут... Ай да молодец!.. Царское спасибо молодцам-фанагорийцам... Пью за здоровье своих частей... Положение стыдное. Передайте извозчикам мою высочайшую благодарность... Я тронут... Пью за ваше здоровье, братцы... Надеюсь, союз между мною и корпусом жандармов будет крепнуть... Вырвать с корнем!.. Пью вместе с вами... Не сократить ли нам их?..» Цензура мгновенно зарезала эту книжицу, способную «расшатать устои самодержавия». Она запретила сочинения самого императора, который оказался вреден. Сам себе вреден, сам для себя опасен... Между тем время не располагало к веселости!

* * *

Война обескровила русский рубль — он пал, сраженный японской шимозой. Умные люди вспоминали, что пророчил Салтыков-Щедрин: «Это еще хорошо, если за рубль станут давать полтинник. Хуже, если за рубль будут давать нам в морду!» Миллиарды русских займов, набранных у Франции и Ротшильдов, были бездарно размусорены на полях Маньчжурии, и немецкий генштаб приятно волновался, узнавая о русских жертвах. «Теперь им долго не выбраться из этой лужи!» — говаривал Вилли, понимая, что в Европе осталась одна гегемония — железный кулак его могучего рейхсвера. «Адмирал Атлантического океана» за кулисами дружбы с кузеном Ники втихомолку хихикал над незадачливым «адмиралом Тихого океана»... Война в августе закончилась. Японцы сразу же открыли в Токио неряшливый музей, посвященный победе над Россией. Стены музея, словно баня кафелем, были сплошь облицованы трофейными иконами. Из гущи бород, люто и зловеще, взирали на праздничную сутолоку токийцев постные лики православных угодников. Выходит, что правы оказались русские генералы, год назад хваставшие, что они Японию иконами закидают (все-таки, черт побери, закидали!). А посреди музея красовалась... кровать, вся в кружевах и розанчиках, и музейный гид комментировал это трофейное чудо безо всякого юмора:

— Захвачена в бою доблестными самураями микадо при отступлении русской армии. На этой удивительной кровати спал сам командующий русской армией генерал Куропаткин, основным девизом которого были слова: «Терпение, терпение и терпение...»

Портсмутский мир завершил войну, и надо признать, что успехом в дипломатии Россия обязана Сергею Юльевичу Витте, который с апломбом шарлатана вел переговоры с японцами (в этом ему помогало то важное обстоятельство, что США боялись усиления Японии на Тихом океане). От тех времен осталась едкая карикатура из «Simplicissimus»: сидит громадный безносый Витте, а перед ним японский маркиз Комура, похожий на мартышку; Витте нахально ему

говорит: «Я разрешаю японцам оставить для себя Токио». Россия лишилась только южной части Сахалина, а Витте стал премьером и обрел титул графа, отчего шутники прозвали его Витте-Полусахалинский. Война закончилась, но революция продолжала расширять свои берега...

Мария Федоровна в страхе бежала в Данию. «Разбирайтесь сами, — сказала она сыну с невесткой. — Я вернусь, когда все притихнет и можно не бояться, что на улице мне плюнут в лицо». Возле Петергофа стоял под парами миноносец, на котором царская семья, случись что, рассчитывала удрать в Англию. Даже люди, посвященные в интимные секреты двора, не знали одной глубокой тайны. Николай II велел соорудить в Александрии блиндированный подвал, надеясь отсидеться в нем при нападении народа. Сложные переходы дворца прочеркивали прицелами замаскированные пулеметы, готовые в любой момент смести все живое, что ворвется сюда с улицы... Словно очумелые мотались между столицей и Петергофом казенные пароходы, развозя министров с докладами. Требовалось крутое решение, чтобы утихомирить народные страсти. Витте подготовил от имени царя манифест о даровании народу «свобод». Николай II обозлился на своего президента:

— Но я не желаю терять принцип самодержавности...

А стачка рабочих сделалась уже всенародной, и раздумывать было некогда. Колебания между диктатурой и дарованием конституции становились опасны. Дядя Николаша навестил Фредерикса:

— Если мой племянник не подпишет манифеста, я застрелюсь в его кабинете. Если я не сделаю этого, обещаю застрелить меня.

На бурном министерском заседании, когда кабинет Витте, качаясь, плыл, словно корабль в бурю, дядя Николаша выхватил из кобуры револьвер. Дуло его, блестя смазкой, уперлось в седеющий висок. «Мы здесь не в бирюльки играем! — заявил он царю. — Речь идет о спасении престола. Быть Романовым или не быть! Если не уступим сейчас, все полетит к чертям собачьим...»

Царь уступил! Очевидец пишет, что «после подписания манифеста во дворце произошла бурная сцена — великие князья нападали на Николая II чуть не с кулаками, женская половина дворца истерически рыдала». А на улицах обнимались одураченные люди: «С конституцией тебя, Петя! Приходи вечерком на севрюжину с хреном...

Выпьем, брат, за эру свободы. Споем что-либо мажорное». Манифест от 17 октября сбил с толку многих (даже умных). Толпы студентов, сняв фуражки, носили по улицам портреты Николая II, среди юных лиц курсисток развеялась ветром апостольская бородаща Стасова; ликовал и великий маэстро Репин, широкими мазками кисти спеша запечатлеть эту сцену вихря, сцену могучей людской лавины, остановившей конки, сметавшей со своего пути городских и жандармов, дворников и лотошников...

— Скандальное время, — жаловался царь.

— Ах, почему я не рождена мужчиной! — восклицала в ответ супруга. — Я была бы сейчас страшнее Иоанна Грозного, я залила бы всю страну кровью, но зато сама спала бы спокойно...

Внутренний рынок империи подпольно снабжал россиян почтовыми открытками, на которых Николашка изображался при всех регалиях, державшим себя за тайное удище, а снизу подписано: «САМОдержец». Алиса тоже рисовала карикатуры на мужа. Рисунки ее были злы. Царица изображала царя младенцем с бутылкой водки во рту (вместо соски), его укачивает Гневная, лупцуя сыночка по задку, а изо рта матери вырывается фраза в росчерке облака: «Ники, ты будешь меня слушаться?..» Алиса говорила:

— В самом деле, Ники, пора тебе решить этот вопрос — кого впредь ты намерен слушаться, меня или свою мать?

Император решил слушаться... Папюса (!), которого в октябре 1905 года он вызвал из-за границы. Прямо с вокзала чародей в закрытой карете был доставлен в Царское Село, где ночью устроил церемонию колдовства. На плече его сидела крохотная обезьянка, шкура которой была заранее натерта фосфором, а в пищу обезьяне уже много дней примешивался атропин.

— Ваше величество, сегодня флюидический динамизм вполне располагает меня к вызову духа вашего отца... Укрепитесь! — Во мраке комнат возникло легкое светлое облако, в котором резко определились две красные точки (фосфор и атропин сработали). — Это он! — возвестил Папюс. — Можете говорить с ним...

Николай II уже не отрывался от глаз обезьяны.

— Папа, — спросил он у нее, — ты понимаешь, как мне плохо? Скажи, чего мне еще ждать и на что можно надеяться?

Загробным гласом «дух» Александра III, исходивший от искусного чревовещателя, отвечал сыну, конечно, по-французски:

— Революция возникнет еще более сильная, нежели эта. И чем суровее будешь ты сейчас в подавлении революции, тем сильнее она будет в недалеком будущем. Но выхода у тебя, сын мой, уже нет... не бойся... крови... прощай... поцелуй внука...

Голос исчез «за кадром», а две красные точки в углу комнаты медленно погасали, как угли на остывающей жаровне.

— Он удалился, — сообщил Папюс; получив гонорар (которого хватило бы на закладку нового крейсера), шарлатан намекнул: — В моих силах еще предотвратить катастрофу будущей революции. Но действие моего флюидизма способно усмирять катаклизмы, пока я сам не исчезну с физического плана нашей планеты...

Этим сукин сын дал понять, что рассчитывает на пожизненную пенсию и, пока он жив, Романовым бояться нечего.

— А вот когда я умру!.. — И Папюс развел руками...

На другой день император принял архимандрита Феофана.

— Отец мой, — встал царь на колени, — утешь меня.

— Утешение близится, — отвечал тот. — Вчера я со старцем Распутиным снова скорбел за вас. Мы плакали, а потом вдруг стало светло, и Григорий сказал: «Ужо вот скоро царю полегчает!»

* * *

Через 12 лет, в разгар новой революции, из камеры Петропавловской крепости тащили на допрос генерал-лейтенанта Герасимова, бывшего в 1905 году начальником столичной охраны. Этот человек знал очень многое и держался нервно. С губ жандарма часто срывалось гневное слово *рвань*... Его спросили:

— О какой рвани говорите, Александр Васильич?

— Простите, я имею в виду сволочь придворную.

— Хорошо. Продолжайте, пожалуйста.

Герасимов весь подался вперед — в напряжении:

— Я хочу сказать про Распутина... Кто нашел его? Это я! — заявил жандарм, почти гордясь этим. — В то время, когда боялись каждого, когда все казались подозрительными лицами, дворцовый комендант однажды вызвал меня...

— Кто вызвал?

— Дедюлин! Он сказал, что в столице появился мужик. По всей вероятности, переодетый революционер... Мужика взяли под наблюдение. Это и был Гришка Распутин.

О том, что такой Распутин существует, департамент полиции узнал от того же Дедюлина, который доложил по телефону:

— Я заметил шашни придворных дам с неким Распутиным. А некоторые из дам часто бывают на царской половине. Это опасно! Хотя бы потому, что не исключено занесение сифилиса в царскую семью. Не мешало бы проверить — кто этот хахаль?

Машина сыска закрутилась, а тут из Сибири подоспел еще и донос Покровского священника отца Николая Ильина; справка из волости Тюменского уезда заверяла жандармов, что Распутин «первоклассный негодяй». Состоялся доклад директору департамента:

— Этот подозрительный мужик, надо полагать, переодетый революционер. Связан с духовенством и черной сотней, но это, видимо, лишь маскировка. Замечен в радикальных разговорах.

— А партийная программа его прощупывается?

— Темнота... Иногда треплется о «мужицком царстве», из чего можно заключить, что по своим настроениям близок к эсерам. Прикажете взять его под «освещение»? Гласное или негласное?

— Как угодно. А для филеров пусть он проходит под кличку, ну, хотя бы... — Директор подумал. — Пусть он будет *Темным!*

Под этой филерской кличкой Распутин и останется до самой гибели. Позже, когда он достигнет могущества, само наблюдение за ним механически превратится в его охрану, и Гришке будет уже не по себе, если не услышит шагов за собою... А сейчас он слезки даже не заметил, поглощенный своими делами.

6. Из грязи да в князи

Саратовский епископ Гермоген сказал:

— Ты мне должен за Феофана большое спасибо вставить. Про ножичек-то я... ни звука! Феофан в боге крепок и ваших фокусов с «Нана» не понял бы. Узнай он, как вы с Восторговым, будто хулиганы, картину-то ножом полоснули крест-накрест...

— Ой-ой, беда бы тогда! — затужил Распутин.

Карьера царского духовника Феофана покоилась на прочном официальном фундаменте. Распутин был умен, и перед ученым богословом представало некое «дитя природы», продукт глубинной Руси; варнак ловко играл в Лавре роль мужицкого искателя правды на земле, томимого сатанинскими страстями. Поступая весьма дальновидно, Гришка своих грехов от Феофана никогда не таил, отчего и приобрел полную доверенность архимандрита.

— Эка, беса-то в тебе... Покайся, — внушал Феофан.

— За прошлое откайся. А новых грехов не обрел.

Феофан нагнулся к Распутину, стоявшему на коленях.

— Тогда уж и согреси, чтобы крепче потом покаяться...

Нечаянно для себя Феофан преподнес Распутину уже готовую формулу его дальнейшего поведения: покаяние приходит с грехом, оттого и грех богоугоден... Теперь Гришка убежденно гудел:

— Грех — это хорошо! Он тоже от бога...

Такая простецкая теософия вполне устраивала его поклонниц. Однако Восторгов расценивал кобелячество Гришки иначе:

— Ах ты, псина худая! Тебя зачем из Сибири вывезли?

— А я знаю? — орал в ответ Распутин. — Схватили и доставили, быдто каторжного по этапу. Я рази просил вас об этом?

Восторгов еще не осознал, что уже перестал быть нужен Распутину, но зато понимал, что Распутин ему нужен. Как паук на хвосте орла, отец Иоанн мечтал взлететь повыше к солнцу. А сейчас протоиерею непременно хотелось, чтобы разрекламированный им Гришка делом подтвердил свою славу «праведника».

— Взял бы ты котомочку, вооружился бы палочкой и сухариками да пошел бы ты в мир — нести слово божие.

— Нашел дурака! — смеялся Распутин. — Мало ли я по всяким богомольям таскался. Будя... Лучше на кушеточке полежу. Нет ли книжечки какой? Про сыщчиков бы мне. Про мазуриков разных. Это я люблю, когда один спасается, а другой его догоняет...

С заботливой лаской поп подсел к нему на кушетку.

— Гришуня, а что далее-то делать удумал?

Распутин зябко повел покатыми плечами.

— Кабы знать... Сам вижу, что залетел столь высоко, что ежели кувырнись, то и костей от меня в гробу не собрать!

Это он сказал искренно. Будущее и впрямь писалось вилами по воде; возникало множество узоров и завихрений, но тут же все расплывалось в неясную муть, и порою думалось: «Ну, ладно. Приоделся. Сапоги справил. Винца господского похлебал. Не пора ли нагряться в Покровское да вздуть Парашку вожжами?»

Поездка в Кронштадт, где Распутину довелось видеть Иоанна Кронштадтского, смутила его. Завороженно наблюдал, как стелилась на Якорной площади многотысячная толпа, как летели по воздуху, порхая голубями, даренные на церковь денежки. Не забылось, как Иоанн вышел на паперть и каждому нищему вручил по сотенной, не жалеючи, будто сам деньги печатал. Распутин отплывал в Петербург, потрясенный. «Вот это жисть! — раздумывал, стоя под холодным дождем на палубе парохода. — Хоть лопатой деньгу гребь, а он по ним ступает — и хоть што, даже не глянет... Живут же люди! Умеют устраиваться. Эх, ядрена маковка, мне бы так пожить...»

В один из дней начал собираться в дорогу.

— Никак домой уцедился? — спросил Восторгов.

— Не подохнут там, чай, и без меня. Дело есть... Чернавка тут одна, ее Милицкой кличут, она обо мне нашептала великому князю Николаю Николаичу, вот и зовет он меня до себя. Сейчас на вокзале был. Купил билетик себе на поезд до Тулы!

— А зачем ты, Гриша, великому князю понадобился?

— Сука заболела. Вандой кличут. Великий князь ветеринара своего так затюкал, что тот бежал в лес и повесился.

— Он и тебя искалечит, ежели суки не излечишь.

— А я и лечить ее не стану, — отвечал Распутин.

— Как же так, Гриша?

Распутин уже напяливал шубу (была поздняя осень):

— А так... сама сдохнет! Или сама поправится.

Мужицкая смекалка и опыт жизни, осложненной воровством и частыми побоями, помогали Распутину отыскивать правильный фарватер в этой удивительно запутанной дельте столичного света. Он по-своему был прав, делая ставку на грязь... Гришка своим длинным носом учуял, что здесь не все чисто, — здесь, напротив, чрезвычайно грязно, и кому, как не ему, подниматься все выше и выше... Из грязи да в князи!

* * *

Великий князь Николай, прямой внук Николая I, приходился Николаю II двоюродным дядей. Отец его, тоже Николай Николаевич, был фельдмаршалом. Под старость, подобно библейскому Лоту, он начал приставать к дочерям, рожденным от балерины Кати Числовой. Во время пьяной вечеринки одна из них трахнула отца бутылкой по голове, отчего фельдмаршал спятил, вообразив себя лошадью. Соответственно пункту помешательства отмаршировал на конюшню, где и занял стойло. Поматывая «гривой» бороды, исправно жевал овес и лягал психиатров, демонстративно справляя нужду под «копыта». Очень просил конюхов, чтобы те его подковали...

От него остались два сына — Петр и Николай, которым он передал признаки ненормальности. Петр, женатый на Милице Николаевне, был незаметен, зато брат его, Николаша — гроза гвардии, непревзойденный мастер по части выпивки и закуски. Знаток порфорсной охоты, с арапником в руках он гонялся за волками и лисицами, совершая баснословные потравы мужицких посевов. Свой дворец в Петербурге сдавал под «веселый дом», за что имел по 46 000 рублей годового дохода. Не женат, но влюблен в слезливую купчиху, торговку мукой и бубликами. Бракосочетаться с нею ему запретили. «Я состою в родстве со многими дворами, — сострил Николай II, — но с Гостиным двором родниться не хочу». Напившись, великий князь обычно раздевался догола, брал гитару и залезал на крышу дома своей хлебобулочной пассивности. В лунные ночи жители Царского Села не раз

видели дядю Николашу, который, сидя под трубой, распевал злодейские романсы, жестоко изранивая сердце сдобной купчихи: «Скинь мантилью, ангел милый, и явись, как майский день...» Снимали его оттуда с помощью пожарной команды. Это закончилось, когда купчиха спятила. Николай Николаевич изобретал новые способы уничтожения щенков, которые, появясь на свет, почему-либо не угодили ему своей мастью. Осатанев от жестокости, он разработал способ, как убивать щенят ударом сапога по затылку. «Не всегда удается, — жаловался он царю. — Удачным я считаю такой удар, когда щенячьи глаза вылетают прочь из орбит и болтаются на тонких ниточках нервов, словно шарики...» В этом изверге жила особая нежная почтительность к монаршему титулу. Про своего племянника-царя он говорил так: «Вы не смотрите, что Ники жрет и испражняет сожранное, как и все мы, грешные. Он не бог! Но он и не человек! Император — это нечто среднее между богом и человеком...»

Сейчас великий князь уже не принадлежал сам себе, будучи оккупирован сестрами-черногорками. Когда ветеринар, не выдержав издевательств, повесился, черногорки сорочили:

— Только старец Григорий может спасти Ванду...

Чего им было надо, этим прохвосткам? О-о, тут интрига сложная и далеко идущая... Милица и Стана еще детьми попали из Цетинье в Россию, где окончили курс Смольного института. Отец их, черногорский король Негош, очень хотел, чтобы ловкие дочки навсегда застряли в Зимнем дворце как его тайные агенты — ради целей «балканской политики». Милица вышла за никудышного Петра Николаевича, а Стану окрутили с герцогом Лейхтенбергским, который бежал от нее в Париж. Стана с Милицей скучали... Скучая, они вообразили о себе, что являются знатоками акушерства и религии. В основном же занимались поставкою ко двору всяких провидцев, кудесников и старцев. Холостой дядя Николаша давно смущал их. Сестрам было ясно, что, пропившийся и старый, иметь детей он уже не сможет. Зато высоченная фигура, громкий голос, властный характер, плети и арапники — все это, в глазах черногорок, делало его возможным кандидатом на русский престол. Черногорки заранее подкупали жёлтую прессу, создавая в обывательских кругах популярность великого князя как полководца... Далее интрига будет развиваться по черногорским планам. Стана разведется со своим

гулякой-герцогом и выйдет за дядю Николашу, который должен был заместить на престоле племянника. Глядишь, и Стана — уже русская царица (хотя и бездетная). Но зато дети есть у Милицы, а старший сын ее, Роман, пусть наследует русский престол... Как подумаешь, до чего же все просто!

Распутин 30 верст тащился от Тулы на лошадях по непролазной грязи проселочных дорог, пока не добрался до Першина — охотничьего имения великого князя. На крыльце он долго и смачно целовал обеих черногорок в губы и в смуглые щеки.

— Ну, где сука-то ваша? Ванда, што ль? Ведите...

* * *

И везуч же был, окаянный! По щучьему велению или как иначе, но любимая сука дяди Николаши выздоровела с его приездом сама по себе. В узкой венгерке с бранденбурами великий князь уселся напротив старца, энергично сошлепал ладонью пепел сигары с кавалерийских рейтуз, прошитых кожаными леями.

— А фамилия-то у тебя поганая. Впрочем, и с такою жить можно... Живет же у меня генерал от артиллерии Бордель фон Борделиус — куда гаже? А камергер Бардаков постеснялся своей фамилии и с высочайшего соизволения стал, дурак, Бурдуковым...

Неожиданно сатрап осекся — прямо на него, не мигая и завораживая, в упор глядели блеклые зрачки мужика.

— Ну и глаза же у тебя! Смотреть тошно...

— А ты и не смотри, — дерзко отвечал Распутин. — Есть храбрецы, что со мною в гляделки хотят поиграть, да потом до утра заснуть не могут. Я человек махонький, как вошка, оттого и грехи мои крохотны. А ты вот большой, и грехов твоих паровоз не потащит... Дело ли — мужицкие посева топтать? Это от беса у тебя! Ежели б вы, великие-развеликие, эдак-то не резвились на шее народа, так, может, и революций не стало бы. А теперь хлебай ее, как кисель, полной ложкой!

Эти резкие слова, столь необычные, осадили Николая Николаевича назад, словно жеребца перед конкурным барьером.

— А ты фрукт! — сказал он, явно пораженный...

Скоро они притерлись друг к другу, и каждое общение с Гришкой производило на великого князя сильное действие, заменяя ему укол морфия. Распутин не давал помыкать собою. В разговоре оставлял за собой последнее слово. Гербованный и титулованный хам нарвался на хама простонародного, и закваска последнего оказалась крепче, ядреней! А вокруг них, сдружая обоих, трезвонили черногорские интриганки Стана и Милица:

— Мы тебя обязательно должны показать царице, Григорий, и, пока не увидишь царицы, ты не вздумай никуда уезжать...

Вернувшись из Першина в столицу, дядя Николаша повидал племянника, в разговоре с ним долго рассказывал о Распутине. Хвалил мужика за твердость. За трезвую ясность ума.

— Филиппы и папюсы — тонкие соломинки, а я предлагаю тебе большущее бревно, за которое можно уцепиться при любой аварии!

Николай II долго молчал, похаживая с папиросой. Носком сапога он поправил загнувшийся край ковра и ответил:

— Ты, дядя, прав: опоры нет! А придворные — сволочь. Камергер ставит передо мною тарелку, и по его лицу я вижу, что он счастлив играть лакея при моей особе. А потом этот же самый камергер едет в Яхт-клуб и там либеральничает. Ведет нескромные разговоры... обо мне, о моей Аликс. Кому же верить и когда верить? В тот момент, когда он ставит передо мной тарелку? Или когда сидит в клубе среди своих и ржет надо мною?..

— Зато Распутин не станет притворяться, — заверил его дядя. — Верь мне, что он далек от нашего понимания жизни. И ему не нужен золотой ключ камергерства. Сшей ему только портки из голубого бархата, чтобы вся деревня ахала, и он по гроб жизни будет тебе благодарен. А если еще граммофон ему купишь...

Николай II колебался, боясь допускать до своей особы простого мужика, и даже спрашивал у Феофана — правда ли все то дурное, что говорят о Распутине.

— Говорят, он и фамилию обрел от распутства?

— Истинно так! — не стал выкручиваться Феофан. — Григорий и не таил от меня грехов, кои бесчисленны и богомерзки. Но в нем царит

такая могучая сила покаяния, что я почти ручаюсь за его вечное спасение. Христос давно смотрит на него... Конечно, — заключил Феофан, — Григорий Ефимыч человек простой и, поев, тарелку от соуса облизывает, аки пес. Но вам, государь, и высоконазначенной супруге вашей не вредно его послушать...

— Странно, — хмыкнул император. — И вы, и дядя Николаша, и графиня Игнатъева, и черногорки... всюду слышу о Распутине.

— Да, государь! Большую пользу он принесет вам, ибо из уст его слышится глас потрясенной земли российской.

* * *

1 ноября 1905 года Николай II отметил в дневнике, что познакомился «с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии». Прошло всего четыре дня, и великий князь Константин (известный в свете поэт «К. Р.») записал в дневнике: «Говорят, что Николаша, Петюша, Милица и Стана получили при дворе *большое значение*».

Теперь читателю ясна подноготная черногорской интриги!

7. Дума перед думой

Члены царской фамилии разбегались от революции, как тараканы из горящего дома, по заграничным курортам. Мария Федоровна отдыхала от стачек в тишайшем Копенгагене, где ей было непривычно гулять без охраны, не боясь террористов. Вдова носилась по магазинам, скупала елочные игрушки для внучек, а в письмах к сыну спрашивала: «Когда кончится эта каша?» Близились рождество, и праздник ей хотелось отметить дома. Но революция властно перекрыла семафоры. «Очень просим тебя отложить твой приезд, — писал матери Николай II. — Варшавская жел. дор. небезопасна...» В это время царь жестоко пьянствовал!

Сердце государево пышет, словно зарево:
У его величества — масса электричества.
Мы между народами тем себя прославили,
Что громоотводами виселицы ставили...

31 декабря (под самую встречу нового, 1906 года) в столицу вернулся Семеновский полк из Москвы, где гвардейцы жестоко подавили восстание рабочих. Император в дубленой бекеше вышел к семеновцам на мороз, целовал их генерала Мина, одаривая карателей водкой, и лобызался с унтерами. А потом депешировал матери в Данию: «Витте после московских событий резко изменился — теперь он тоже хочет всех вешать и расстреливать... Дети простудились и на праздниках валялись в постелях вокруг елки». О жене он почти не упоминал, а Гневная за долгие месяцы переписки с сыном не послала невестке даже плевого приветика. Здоровая мещанка с верными женскими инстинктами, она ненавидела чахлае гессенское отродье с ее психологическими вывертами.

Зима прошла в карательных набегах. Всюду работали Шемякины судилища, не успевавшие вешать, стрелять и поджигать. Тюрьмы переполнялись. Заключение стали убивать даже в камерах. В глазок двери совывалась винтовка, человек вжимался в стенку — и пули

приколачивали его к стене, как гвоздями. В эту зиму правительство оказалось лучше организовано, нежели революционные массы. Пролетариат разочаровался в своих вождях, вроде Троцкого, вроде Хрусталева-Носаря, подзуживавших рабочих на выступления и удиравших в кусты при первом же выстреле.

Николай II научился спекулировать на человеческих чувствах. Совался с ложкой в солдатские котлы, проверяя качество пищи, спрашивал рядовых — не обижают ли их начальники? На парадах выходил к войскам, неизменно неся в руках наследника-мальчика. Как бы случайно царь просил кого-либо из солдат подержать ребенка, пока он командует. На эту сцену, словно вороны на падаль, налетали придворные фотографы, снимая Ваньку Тимохина с цесаревичем на руках. Получалось трогательно! В эту кровавую зиму царь повадился изобретать всякие медальки, крестики и жетончики для карателей, щедро раздавал их в награду за «подавление» чего-либо.

— За што, служивый, мядаль огреб? — спрашивали.

— За подавление, — отвечал тот.

Было ясно, что революция терпит поражение. А весной 1906 года окна Зимнего дворца вдруг снова озарились ярким светом, будто в старые времена. Придворные совались в подъезды:

— Разве предстоит какое-либо веселье?

— Да нет, — отвечали лакеи, — просто генеральная уборка...

Пылищи скопилось — страх один! Окна давно уже не мыли...

Уборке предшествовал долгий спор в правительстве. Одни говорили, что под Думу следует отвести Таврический дворец, где актовый зал бесцельно используется под зимние сады, другие настаивали на Зимнем дворце, благо царская семья из него выехала в Александрию. Сошлись на том, что оранжереи Таврического дворца все же лучше подходят для размещения парламента...

Николай II действовал с оглядкой на Берлин:

— Вилли перед каждым открытием рейхстага произносит тронную речь. Мне придется последовать его примеру... Жаль, что у меня нет Бисмарка, который не боялся прихлопнуть эту говорильню. Впрочем, старик Горемыкин не хуже Бисмарка!

Пришла ранняя весна 1906 года — весна политических конъюнктур, весьма опасных для избирателей и для депутатов.

Большевики I Государственную Думу бойкотировали. Ленин вскоре признал, что бойкот был ошибкой, небольшой и легко исправимой.

* * *

Кажется, что в пору грандиозных потрясений государства, когда бьются насмерть силы народа и силы реакции, когда льется кровь казнимых, когда премьеры не знают сегодня, что будет завтра, — что в такую пору значит какой-нибудь плюгавый коллежский регистратор, занимающий на лестнице российских чинов самую последнюю ступеньку? Между тем, смею вас заверить, коллежский регистратор иногда способен вытворять чудеса... Кстати уж, познакомьтесь: князь Михаил Андронников, сын захудалого прапорщика и баронессы Унгерн-Штернберг; из Пажеского корпуса исключен за мелкое воровство и неестественные половые привычки; возраст — 30 лет; холост и никогда не будет женат, ибо женщин он люто ненавидит. А зовут князя в свете *Побирушка*.

За окном всю ночь стучала капель, с крыш текло. Князь был еще в кальсонах, когда звонок с лестницы возвестил о том, что его ждут великие дела по «устроению неустройств» в империи.

— Это ты, Прохор? — спросил он через дверь. — Погоди малость. Сейчас отопру. Только халатец накину...

В пасмурных окнах пустой и неопрятной квартиры на улице Гоголя сочился скользкий чухонский рассвет. Лязгнули на дверях запоры, в дверь просунулась рука пожилого курьера типографии МВД, тряся свежими гранками «Правительственного Вестника».

— С вас пятерка, — сказал он, не входя.

Смысл сцены таков: Побирушка на много лет вперед закупил курьеров МВД, дабы об изменениях в составе кабинетов узнавать раньше, нежели это станет известно сановникам империи. Просмотрев гранки, он вернул их курьеру со словами, чтобы за деньжатами зашел через месячишко, а сейчас денег нету.

— Ты же, братец, знаешь: за мною не пропадет!

— За вами-то как раз и пропадет, — отвечал курьер.

Пора было действовать, и времени для лирики не оставалось. Потомок кахетинских царей треснул дверью, чуть не прищемив нос курьеру. Прошел в чулан, где непотребной кучей были свалены иконы. Вытер от пыли первую попавшуюся, что лежала сверху. Сунул в портфель. Заметив, что портфель выглядит тощим, Побирушка насовал в него скомканных газет, отчего портфель обрел «деловой» вид. Насвистывая, князь резво выбежал на улицы пробуждающегося Петербурга, перехватил извозчика:

— На Варшавский вокзал... Овес-то нынче почему?

Андронников поспел к прибытию ночного экспресса из Ниццы; в конце состава размещался оцинкованный вагон-лохань, в коем привозили свежие фиалки. Расчет Побирушки прост: на вокзале цветы и свежее и дешевле, нежели их покупать на Невском в магазине. Сэкономив трешку, он велел извозчику:

— Теперь на Моховую... дом тридцать один!

Швейцар не хотел открывать двери подъезда:

— Куда в такую рань? Все господа еще спят...

Пришлось сунуть ему в зубы полтинник. Прислуга неохотно отворила перед Побирушкой двери колоссальной квартиры Горемыкиных, занимавшей целый этаж. Из глубины комнат появилась сухопарая гримза в жестком парике, надетом на лысеющую голову.

— Ах, это вы опять, Мишель! — взялась она за виски. — Боже, сколько шуму и звону от вас... Зачем пожаловали?

Побирушка безжалостно рвал фиалки, еще вчера встречавшие рассветы над Ниццей, и лепестками цветов буквально с ног до головы замусорил пересохшую от старости клячу.

— Александра Вановна! — восклицал он при этом. — Вы даже не знаете, как вы прекрасны сейчас... богиня! Афродита! Пусть ваш супруг встает! Его ждут бессмертные дела, и прошу помнить, что я для него сделал... Это неопишимо, феерично! Это...

В дверях уже стоял Иван Логинович Горемыкин, начавший службу еще при Николае Палкине и дослужившийся до царствования Николая Кровавого; раскидистые ветви усов бывалого ловеласа и плута еще с вечера были завернуты в длинные бумажные трубочки, внешне напоминая дешевые уличные вафли.

— Штарый шеловек, — прошамкал он, — и не могу в шобштвенном доме вышпатша как шледует. Вшыкий шукин шын

будит...

Андронников, не теряя времени, уже стоял на коленях и осенял старого бабника иконой, изъятой из своего портфеля.

— Россия воскресла! — рыдал он. — Иван Логиныч, велите открыть шампанское... Нет, не встану с колен. Я всегда и всем говорил, что вы достойны... Именно вы! Это фамильная икона... по наследству... самое дорогое, что я имею! Жертвую вам в этот великий день... поприще славы... процветание отечества...

Шампанское не открыли, а угостили валерьянкой. Горемыкин вытянул из шлафрока носовой платок, причем из кармана выпала на пол искусственная челюсть с зубами словно лошадиными.

— Шлюшай, Мишка, што ты шумиш шдеш? — обозлился он.

— Вы, — задохнулся Побирушка, изнемогая от творческого вдохновения, — вы стали... стали премьером русской империи!

Во рту нового презуса отчетливо щелкнула челюсть, поставленная на место; речь Горемыкина сразу обрела внятность:

— А куда же денется Сергей Юльевич Витте?

* * *

Витте должен уйти... Снаружи грецкий орех прост, но стоит его расколоть, как поражаешься, сколько сложнейших извилин, будто в мозгу человека, кроется под его скорлупой. Человек-глыба с крохотной головкой ужа и с искусственным носом из гуттаперчи (ибо природный нос отгнил сам по себе), Витте был давно подозреваем в связях с «жидомасонскою» тайной ферулой Европы; приятельские отношения с кайзером Вильгельмом II, банкирами-сионистами Ротшильдами и Мендельсонами тоже никак не украшали Витте-Полусахалинского. Витте преступен, но это... заслуженный преступник! Витте проложил рельсы КВЖД. Витте накошелял в Европе долгов, опутав ими русскую экономику, словно цепями. Витте, чтобы долги те вернуть, оковал налогами и народы России. Витте изобрел винную монополию, и кристально чистая пшеничная водка стала нерушимым фундаментом государственного бюджета. Витте затеял войну с Японией, чтобы

война предотвратила революцию. Витте и погасил войну с Японией, чтобы война не мешала царю расправиться с революцией. Левые считали Витте правым, а правые почему-то причисляли к левым. Черносотенцам он казался нетерпим, как опасный либерал, а либералы ненавидели его, как черносотенца... Витте очень долго и упорно доказывал царю, что он, Витте, царизму необходим, — доказывал именно тем, что часто просил у царя отставки. И на этом-то как раз и попался — царь дал ему отставку, дабы показать графу его ненужность. Николай II почти с удовольствием прочел жене последнее виттевское прошение. «Я чувствую себя, — писал премьер, — от всеобщей травли разбитым и настолько нервным, что я не буду в состоянии сохранять то хладнокровие, которое потребно...» Алиса на этот заключительный апофеоз ответила коротеньким восклицанием:

— Ух! — Муж расценил это как вздох облегчения.

Ведь именно Витте был автором манифеста от 17 октября, последствия которого Романовым предстоит расхлебывать... Витте ушел, оставив после себя неприятный вкус во рту. Империя грубейше рыгала перегаром сивушных масел от казенной водки. Сам-то граф смылся, а народу русскому отказал тяжкое похмелье в наследство:

У любого спроси, кто из нас на Руси
от гостинца сего не шатался?
Улетел в царство фей генерал Ерофей,
но его «ерофеич» остался...

Его императорское величество разлил по рюмкам тепловатый смолистый арманьяк. Предложил Горемыкину:

— Иван Логинович, выпьем за ваши начинания, и пусть господь бог продлит ваши веки до Мафусаиловых...

Горемыкину было велено сформировать новый кабинет.

— Ваше величество, — отвечал дряблый, но еще едкий рамолик, — иногда мне начинает казаться, что я вытертая лисья шуба, которая пригодна лишь для дурной погоды. Вот уж никак не думал, что меня снова извлекут из нафталина... Государь! Мне ли, старому псу, дружить с молоденькой кошечкой?

Император отлично понял намек на кошку:

— Но вам предстоит поработать и с Думой.

— Не стану я терпеть эту грыжу. Не проще ли сразу ее вырезать, чтобы она не болталась между Советом и Сенатом?

— Ух! — сказала Алиса, послушав Горемыкина...

Николай II увлек почтенного старца в сторонку.

— Иван Логинович, вы не обращайте внимания на это «ух». Моя добрая Аликс еще не совсем оправилась после переживаний. Врачи тут бесполезны. Они сами не понимают, что с нею. Это удивительное «ух» иногда, признаюсь, и меня коробит...

* * *

За день до открытия Думы императрица тишком пробралась в Тронную залу и набросила на престол государственную мантию мужа, украшенную хвостиками горностаев. Несколько часов подряд с ненормальным тщанием она подбирала распределение складок... Николай II застал супругу за рисованием — на листе бумаги она старательно зарисовывала складки на мантии.

— После тронной речи перед Думой, — наказала она, — ты, Ники, садись на трон осторожненько, чтобы не колыхнуть мантию. Видишь, как удачно расположила я складки на ней? Ты сядь на престол сбоку, не затронув моих складок. Я так задумала: если заденешь складки, значит, мы все погибнем!

...А обыватели на улицах столицы рассуждали:

— С праздничком вас! Как подумаешь, так с ума можно сойти. Кто бы поверил, у нас — и парламент! Почти как в Англии...

8. Почти как в Англии

«Когда дом горит, тогда стекло не жалеют». Этот афоризм принадлежит Дурново, который сидел на посту министра внутренних дел до конца апреля. А за день до открытия Думы его сместили, и в хорошо прогретое кресло уселся черноусый жилистый человек с хищным цыганским взором — Петр Аркадьевич Столыпин, еще вчера губернатор в Саратове, он и сам, кажется, был отчасти удивлен, что за окнами его кабинета течет узкая Фонтанка, а не широкая Волга... Секретарю он сказал — с иронией:

— Любой министр как бульварная газетенка: если два года выдержал, то издание уже прочное и начинает давать дивиденд...

Настало 27 апреля. Еще никогда Зимний дворец не видел столько крестьянских свиток, восточных халатов, малороссийских жупанов и польских кунтушей. Для апреля день был на диво жаркий, почти душливый. Разбежались пажи-сороходы. Взмахивая сверкающими жезлами, тронулись церемониймейстеры. В сонме ключников-камергеров величественно выступал гофмаршал. Громко хрустели платья придворных дам, осыпанные драгоценностями. Вот пронесли корону с рубином в 400 полных каратов...

— Амнистии! — долетало с улиц. — Отворите тюрьмы!

Придворный и сановный мир был представлен мундирами разных окрасок, включая и «цвет бедра испуганной нимфы». Государственный совет позлащенной плотиной стоял напротив серобудничной толпы думцев. Величавую картину «единения» дорисовывала публика на хорах. Там разместились наемная кляка, получавшая от Фредерикса по 20 копеек с возгласа «Слава государю!» и по целому рублю на рыло за «стихийный экстаз» в исполнении гимна... Когда молебен, которым на Руси осенялось любое начинание в государстве (даже самое поганое), закончился и духовные отцы отволокли аналой в сторонку, царь по ступеням взошел на трон и лишь на секунду присел на самый краешек престола, стараясь не коснуться складок горностаевой мантии. Фредерикс открыто, никого не таясь, протянул шпаргалку, и Николай II (без помощи шапки) зачитал обращение к депутатам:

— Всевышним промыслом врученное мне попечение о благе отечества побудило меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа...

Это первая, а вот последняя фраза речи царя:

— Приступите с благоговением к работе, на которую я вас призвал, и оправдайте достойно доверие царя и народа!

Между началом и концовкой лежала гнетущая пустота. Правда была злостно игнорирована. Выражения казенны и беспомощны. Обычное вялое празднословие — ни уму, ни сердцу. Далее по плану должно бы грянуть молодецкое «ура», но случилось непоправимое: Дума молчала. Только на хорах, добывая себе на хлеб и детишкам на молочишко, бесновалась вульгарная клака.

— Империя... больна! — произнес кто-то.

Лишь одна Мария Федоровна, приехавшая из Дании ради открытия Думы, сумела сохранить на своих губах очаровательную улыбку, которой и одаривала всех — левых и правых. Николай II попросту растерялся. От губ его жены, бестактно залитой бриллиантами, осталась лишь тонкая ниточка. С нею случилось то, что уже было однажды в Ливадии, — Алису обрызгало яркими пунцовыми пятнами, побагровели грудь и шея, и уже никакие алмазы не могли скрыть этой краски ярого, животного гнева. Акт церемонии закончился. Настроение царской семьи и свиты было подавленным. Эта злоба комком застряла в горле царя, и два часа подряд Николай, несмотря на все старания лейб-медиков, не мог произнести ни слова — у него образовалась спазма глотки (*globus histericus*).

Положение не исправил и санкт-петербургский градоначальник, любимец царя, его генерал-адъютант фон-дер-Лауниц.

— Ваше величество, — сказал он, испытывая желание припасть на колени, — верьте, что на Руси остались честные люди, которые сумеют умереть при атаке на... Таврический дворец!

Все дальнейшее можно обрисовать одним лишь словом — хаос. После ремонта Таврического дворца в коридорах еще валялись стружки, из углов еще не скоро выметут все опилки. Каждые пять минут, не выдерживая пулеметной скорости речей, за пультами менялись стенографисты. Профессор Муромцев, председатель Думы, с трибуны назвал Николая II (впервые за всю историю России) «конституционным монархом».

В кулуарах Думы бродили сановники, возмущаясь:
— Вы слышали, что там болтают? Почти как в Англии...

* * *

Витте перед отъездом за границу имел прощальную аудиенцию у императора. Министр финансов Коковцев навестил экс-премьера империи, дабы попрощаться с ним.

— Ну, что там этот брандмайор, который спешит на любой пожар и все время закручивает свои немыслимые усищи?

Коковцев понял, что Витте спрашивает о Столыпине.

— Петр Аркадьевич еще не освоился. После саратовского затишья нелегко оказаться в сонме кадетских депутатов. Но одна лишь фраза Столыпина многое в его характере объяснила...

— Какая? — спросил Витте (вежливо-внимательный).

— Когда Дума разбушевалась, стали кричать, что он сатрап, Столыпин поднял над собой кулак и произнес с удивительным спокойствием: «Да ведь не запугаете...» И депутаты сразу притихли: они почувствовали присутствие сильной личности!

Витте долго молчал, голенасто вышагивая между треножниками, на которых были укреплены не поместившиеся на стенах холсты с портретами былых монархов и настоящих. Вдруг он замер возле овального портрета Николая II, писанного придворным живописцем Галкиным, и долго вглядывался в «глаза газели» (глаза царя).

— Это очень плохо кончится... для Столыпина!

От таких слов Коковцев даже дернулся в кресле:

— Почему вы так решили, Сергей Юльевич?

— Ах, милейший коллега, — со вздохом отвечал Витте (и подозвал фокстерьера, чтобы погладить его по мягкой шерстке). — Неужели вы еще не добрались до главной начинки нашего государя? Николай Александрыч не терпит никого, кроме тех, коих считает ниже себя. Стоит кому-либо проклюнуться на вершок выше императорского стандарта, как его величество берет ножницы и... подстригает

дерзкого! Потому и думаю, что со временем будет острижена и голова Столыпина с его лихо закрученными усами!

— Ну уж... — неловко рассмеялся Коковцев.

Разговор был достаточно честен. Высокие сановники империи умственно стояли выше императора, и оба они, Витте и Коковцев, уже не раз испытывали холодное прикосновение царских ножниц к своим холеным барским шеям. Это неприятное ощущение.

— Император еще не сделал выбора, — сказал на прощание Витте. — Он колеблется и примеривается. Ясно, что большие надежды сопряжены со ставкою на реакцию. Грубую и ничем не зафлерированную. Не исключено, что выбор царя падет когда-либо и на вас, Владимир Николаич! Но я не желаю вам быть в роли президента этого великого и могучего бардака, называемого Русской империей. Шуму-то много, а шерсти мало.

— Кто это так сказал про нас?

— Так сказал черт, остригая кошку...

Коковцев поехал домой, а Витте приехал в Биаррицу.

* * *

По столице блуждали слухи, что за рейдом Кронштадта болтаются два миноносца неизвестной национальности. Горемыкин отлично понимал, ради чего он назначен премьером и чего именно ожидает от него царь... Из рассветной мглы к двум загадочным миноносцам подскочили еще два — они бросили якоря рядом, тихо шевеля орудиями и дальномерами. В обществе говорили, что это кайзер Вильгельм II, памятуя о страхе кузена перед революцией, прислал ему свои корабли — на случай бегства Романовых из России! Назревал разгон первого парламента, и царь опасался, как бы народ не ответил на это новым взрывом восстания...

Зато у старого селадона Горемыкина оказались удивительно крепкие нервы. И чем больше бесновались кадеты, желавшие заполучить министерские портфели, тем отчетливее премьер демонстрировал перед ними свое «горемычное» спокойствие. Они

дебатировали, они кричали, а Горемыкин лишь холодно издевался над ними: «Благодарю вас за высказанное мнение, но, пока на Руси существует великий монарх, ни я, ни мы решить ничего не можем». Утром 7 июля, еще не вставая с постели, Иван Логинович принял врача, и тот вонзил в него шприц с морфием. Премьер оживился. Натянул английские штаны в серую полоску, велел подать мягкие сапожки, чтобы не страдали мозоли. Освежив перед зеркалом свои роскошные усы вежеталем, он попросил жену сунуть в портфель ту икону, которую преподнес ему Побирושка-Андронников.

— Все равно, — сказал, — она ничего не стоит...

С этой иконой он отъехал в Петергоф; стояла страшная духотища; в тучах копилась грозы. Николай II принял презуса после купания в Баболовской ванне, волосы царя были еще мокрыми. Красная рубашка стрелка делала его похожим на богатого сельского лавочника... Горемыкин, воздев над собой икону, плавно опустился на колени, а Николай II бросился его поднимать.

— Нет, не встану! — твердо заявил Горемыкин. — В моих руках самое дорогое, что имею. Это наша фамильная икона, и на ней я клянусь, что не встану с колен до тех пор, пока вы не решитесь ампутировать вредный член, мешающий в первую очередь вам... Государь, подпишите указ о разгоне Думы!

Четыре миноносца плоско лежали на поверхности моря, в душном мареве почти не различались их флаги. Николай II тихо заговорил. Он высказывал боязнь, что подобный акт насилия может снова оживить работу вулкана революции, который после недавнего извержения еще курился дымом, изредка выбрасывая кверху яркие вспышки огня и камни...

Горемыкин потрясал над собою иконою Побирושки.

— Ваши страхи напрасны! — взывал он. — Народ не поднимется, чтобы спасти Думу, это жалкое исчадьё виттевского манифеста. Поверьте мне, старику: *даже кошка не шевельнется...*

— Встаньте с колен, милый Иван Логинович.

— Не встану, пока не подпишете.

— Мне неудобно перед вами. Прошу вас, встаньте.

— Подпишите указ — тогда поднимусь...

Горемыкин выхватил указ из-под пера государя и быстро убрался в Петербург, а дальше начались чудеса (почти как в Англии). Опасаясь,

что царь по слабости характера может передумать и не разгонит Думу, премьер тут же, прямо с вокзала, отправил указ в Сенат — для опубликования его по стране, а сам покатил к себе на Моховую. Начальнику своей канцелярии Горемыкин посоветовал ехать к Кюба и выпить как следует:

— Чтобы ничего не помнить «для истории и мемуаров». А я, — закончил он, — сразу погружусь в объятия Нептуна.

— В объятия Морфея, — поправил его чиновник.

— Э, милый юноша, не все ли равно? — безнадежно отозвался Горемыкин. — Что Морфей, что Нептун — все одна гадость...

Дома он первым делом взял ножницы и обрезал провода телефона, после чего созвал в спальню домочадцев и прислугу.

— Предупреждаю! — объявил твердо. — Телефон уже не брякнет. Но могут прибегать курьеры от императора. Я принимаю большую дозу опия. Горе тому из вас, кто нарушит мой сон... Двое суток я буду спать! Всего хорошего... до свиданья...

Горемыкин проснулся, когда Думы уже не существовало. И никто не строил на улицах баррикад. Было тихо-тихо.

— Я же был прав: даже кошка не шевельнулась...

К нему вошла жена — вся в слезах:

— Ты все проспал и ничего не знаешь. Отблагодарили, называется! Так старался, все для царя сделал, а он тебя, благо ты дрыхнешь, уже выгнал... Радуйся: ты больше не премьер.

— Пардон, а кто ж теперь, если не я?

— *Столыпин!* Кому же еще?

Вот это, я понимаю, чистая работа...

* * *

Новый премьер сидел в своем кабинете, еще не осознав бурного взлета своей головокружительной карьеры, когда дверь распахнулась и на пороге выросла фигура человека с восточными чертами лица. Этот некто, весь трясаясь от восторга, держал над собою плохонькую иконку, выкрикивая иступленно:

— Самое дорогое, что имею... фамильная драгоценность рода князей Андронниковых! Приношу к вашим стопам... верю, что измученная Русь воскреснет под вашим мудрым правлением...

Столыпин позвонил. Секретарь явился.

— Кто это? — спросил премьер, не указывая пальцем.

— Точно не знаю, но, кажется, зовут Побирושкой.

Колокольчик опустил на стол возле чернильницы.

— Сударь, что вам от меня угодно?

— Ничего уже не желаю, ибо счастлив вполне, видя вас на посту премьера... Я всегда и всем говорил, что есть в Саратове замечательный губернатор Столыпин, и он... только он!..

— Простите, где вы служите?

Нигде (он «адъютант господ бога»).

— Лишь честный гражданин, желающий принести пользу отечеству. У меня нет иных забот, кроме блага Отчизны...

— Мне на это плевать! А в каком вы чине?

— Увы, я коллежский регистратор. Вы ведь и сами знаете, как в наше время трудно выбиться в люди порядочному человеку.

Столыпин закрутил усы в бравурные кольца.

— Все знаю! — сказал, выскакивая из-за стола. — Знаю и сейчас этим займусь. Моментально выбью вас в люди...

Одной рукой Побирושка был схвачен за воротник. Другая рука премьера намертво вцепилась в княжеские штаны. Получился страшный капкан. Легко и без напряжения Столыпин оторвал регистратора от паркета. В небывалом процессе ускорения Побирושка лбом растворил перед собой двери. А за дверями была приемная, наполненная просителями, и все они видели, как Столыпин вышибал князя на площадку лестницы. Причем все это время Побирושка держал перед собой «фамильную» икону (самое дорогое, что он имел). Могучее дворянское колено таранило его в самые порочные места, и «адъютант господ бога» покатился вниз. А икона, намного опередив своего владельца, тарахтя, прыгала по ступенькам, посыпая их сусальной позолотой...

— Вот так и впредь! — заявил Столыпин, бодрой походкой государственного мужа возвращаясь в кабинет, дабы вершить дела великой империи, уже второй день живущей без Думы...

Депутаты первого русского парламента еще малость порыпались, после чего самым примитивным образом их рассадили по тюрьмам.

— Почти как в Англии! Ну, совсем как в России... Сердце радуется. Душа умиляется. Коленки трясутся... Уррря-а!

9. Дуракам все в радость

Григорий Ефимович Распутин, крестьянин Тобольской губернии, после субботнего посещения баньки, чистый и опрятный, не сквернословя и не похабничая, скромнейше сидел у себя на Караванной и даже водки не пил, а хлебал с блюдца чаек с конфеткой, как вдруг, откуда ни возьмись, влетел незнакомый генералище с серебряными погонами — и сразу к нему:

— Это ты, в такую тебя мать, Распутиным будешь?

Григорий Ефимович деликатно водрузил блюдце на стол, вежливо поднялся со стула и почтительно отвечивал:

— Ну, я... Дык што с того?

Генерал — хрясть его по зубам, так что нижние клыки за верхние зацепились, и, мелькнув в дверях красной подкладкой шинели, тут же удалился. Распутин был крайне удивлен:

— Эва! И чайку не дадут попить спокойно...

Выяснилось, что визит вежливости нанес генерал-профессор Военно-медицинской академии Вельяминов, автор научной монографии «О вылущении прямой кишки с предварительной колотомией». Кишка-то здесь и ни при чем, а все равно обидно... еще как обидно-то! Распутин долго переживал последствия этого визита:

— За што он звонаря-то мне сунул? Прямо чудеса на постном масле. Я ж его и знать не знаю. Ежели он дохтур какой, так я же не больной. Рази так можно? Прискакал. Спросил фамилиё. И вдруг — бац! Мое почтеньице... уважил по всем статьям!

Ясность в этот вопрос внесла Мунька Головина:

— Господи, как ты не поймешь, Григорий? Вельяминов уже много лет в любовниках Милицы Николаевны, и, конечно, ему, генералу и дворянину, неприятно, что она с тобой христосуется...

Распутин заварил свежий чай — покрепче:

— Что у вас тут в Питере за дикий народ собрался! Добро бы я у Вельяминова жену отбил. Так нет же! Он сам законную жену от великого князя Петра отклеил... Выходит, генерал-то энтот на чужую мутовку раньше меня облизывался. Так чего наскокивать?

Восторгову он потом жаловался — даже с обидой:

— Ты вот меня попрекаешь, будто я живу несправедливо. А скажи по совести — рази я виноват? Я никого из растократов хуже, чем они были, не сделал. Они ишо до меня порчены. Так почему, спрашивается, я должен Осипа Прекрасного из себя корчить? Хошь мою портянку нюхать — так нюхай! Коли дура какая желает меня в бане помыть — так мой себе на здоровье... Мне-то што?

Это было веско сказано, и Восторгов не нашелся что возразить. Гришка входил в славу — с его именем связывали свои честолюбивые планы не только Восторгов, но и сам Феофан, сам Гермоген. Распутин же шел своим путем и себя-то не хотел ни с кем связывать: Гришка уже осознал свою силу. Медленно и неотвратно он приближался к престолу. Не было только зацепки, чтобы, раскачавшись, совершить последний прыжок... Ему вскоре помогло психическое состояние императрицы.

* * *

К этому времени Бехтерев, великий знаток глубин души человека, уже отступился от лечения Александры Федоровны, полагая, что дурная наследственность, помноженная на мистические психозы, делает ее неизлечимой. Она еще не сумасшедшая, но и нормальной назвать ее трудно. Наряду с разрушенной психикой в ней бились и четкие импульсы твердой воли. Императрица была *целеустремленной психопаткой*... Но были и такие периоды, когда Николай II даже изолировал детей от матери. Его положение как императора тоже было ненормальным: болезнь жены следовало скрывать от придворных, от министров... даже от лакеев! Очевидец пишет: «Было испробовано все, что могли дать богатство и власть. Держали в Вилла-Франке яхту для изоляции царицы на море, строили в Крыму дворец для изоляции ее на суше. Александру интернировали за решетками замка Фридберг близ Наугейма. Осматривали больную светила мировой медицины, молились о ней архипастыри всех церквей, общее сочувствие родного ей немецкого народа могло быть полезно как успокаивающее средство. Но ничто не помогало!» Помимо страсти к обаятельному наркоману

Орлову, императрица испытывала почти лесбийскую привязанность к Анне Танеевой; иногда во время плавания на «Штандарте» она нервно требовала, чтобы подругу срочно доставили на корабль. Николай II посылал за фрейлиной миноносец, который на предельной скорости врывался в Неву, подхватывал с набережной Анютку и спешил обратно в финские шхеры. Царица успокаивалась.

В сферу постоянно ранящей возбудимости скоро попал и сын. Каждая мать любит свое дитя, и никто не осудит мать за эту любовь. Но даже в любви к сыну Алиса была предельно эгоистична. Это было какое-то патологическое обожание, неизменно связанное с мистическим ужасом. Во время революции, схватив маленького Алексея, царица в панике металась по углам дворца. За ней следили, боясь, что она спрячет наследника где-нибудь в таком месте, где его никто не сможет найти... Потом она перестала раздеваться на ночь. Заядлая лежебока, теперь она сидела на постели. Сидела не как-нибудь, а в дорожной ротонде и в шапке, держа возле себя саквояж с драгоценностями. «Аликс, что ты делаешь тут в потемках?» — «Разве ты не видишь, что я еду». — «Ты... едешь? Куда же ты едешь?» — «Пора бы уж знать, Ники, — отвечала она мужу, — что у меня есть единственная дорога — до родного Фридрихсбурга...» Она то требовала от царя, чтобы он ради ее успокоения пролил моря народной крови, то вдруг отупело застывала с вытаращенными глазами, недвижимая, словно истукан. Под глубоким секретом из Москвы был вызван опытный невропатолог Григорий Иванович Россолимо — образованнейший человек, близкий друг Чехова, Станиславского и Левитана.

Он потом рассказывал, что там творилось:

— Я нашел императрицу в состоянии животного ужаса. Никогда до этого не видав меня, она вдруг кинулась целовать мне руки! Никого не узнавала, постоянно рыдая. Просила, чтобы я вернул ей сына... Чепуха какая-то! Ведь наследник находился в соседней «игральной» зале. Я потребовал удаления больной из привычной для нее обстановки. Настаивал на клиническом содержании. «Что это значит? — возмутился Николашка. — Уж не хотите ли вы, чтобы я посадил ее в бедлам?» Меня выгнали. Потом царицу тайно вывозили в Германию, которая действовала на ее психику благотворно. А вскоре появился и Гришка Распутин, после чего помощь медицины уже не понадобилась.

Я врач-психиатр, все-таки, как-никак, профессор медицины... Я далек от мистики, но даже я вынужден признать, что этот темный мужик обладал немалой силой внушения. В нем была какая-то особенность, которая властно парализовала волю не только женщин, но иногда действовала даже на крепких мужчин. Я знаю, что Столыпин влиянию Гришки не поддался. Он стал врагом его и на этом сломал себе шею...

* * *

Средь великих князей и княгинь всегда блуждаешь словно в дремучем лесу: тетя Минни и дядя Алек, Даку и Сандро, Эрни и Элла, Влади и Николаша, Тинхен и Минхен, Мавра и Стана... Но каждая ветвь Романовых жила обособленно, словно рыцарский клан, со своими притязаниями, со своими традициями. Между ними не было тех простосердечных отношений, какие бывают среди дядей и племянниц, среди бабушек и свояков. Алиса вообще — раз и навсегда! — отвадила родственников шляться во дворец, а теперь сама жаловалась: «Вот уже десять лет я живу одна, как в тюрьме...» Дольше всех удержались при ней сестры-черногорки, но за явную склонность к сводничеству их тоже попросили быть от Александрии подальше. Поправить свое положение при «большом» дворе они могли только через Анютку Танееву, и Милица активно взялась за очередную интригу, играя таким крупным козырем, каким был в ее руках Гришка Распутин... В один из дней она пригласила Танееву в свой дворец на Английской набережной.

— Аня, — сказала Милица, — только прошу тебя ничему не удивляться. Еще недавно я, глупая, целовалась с мужчинами. А теперь я лишь христосуюсь с ними, и, поверь, это ничуть не хуже!

В длинном белом хитоне античной весталки, перекинув через смуглое плечо черную шаль, Милица плавно подвела Анютку к книжному шкафу. Для возбуждения любопытства показала ей редкое собрание книг по мистике и оккультным наукам.

— Бывают люди (их очень мало на земле), которые одарены свыше. Вспомни Тихона Задонского, как и мы, ходил по земле, ел и

спал, а по смерти освятился. Но есть личности, вроде Григория Распутина, святость которых раскрыта еще на земле. И все мы, грешные и жалкие, имеем радость видеть его среди нас. Можем христосовать свои уста с его устами. Лицо с такой магнетической силой, как Григорий, является на земле один раз в тысячу лет. Мы не доживем до этого времени, Анечка, когда наши потомки будут славить Распутина, как сейчас мы славим Христа!

Милица распахнула дверь, ведущую в соседнюю залу. А за этой дверью, молитвенно сложив руки, давно стоял Распутин.

— Здравствуй, доченька, — сказал он весело. — Я тебя давно ждал и все спрашивал бога: когда ж ты явишь мне Анюточку?

Моментально он оглядел ее всю. Массивна, как тумба. Не красавица. Очень бледная. Лицо как тарелка. Ярκο-малиновый ротик собран в гузку. Глаза — два голубеньких бантика. Выражение лица часто менялось — ускользящее, обманное. То вдруг на нем отражалось ненасытное беспокойство и внимание к окружающему, то появлялась почти монашеская суровость... Сейчас от сознания, что она видит святого здесь, на земле, и может потрогать его и почувствовать, Анютка умилилась, а Милица спросила ее:

— Видишь, как все хорошо и все просто?..

Взявшись за руки, они втроем, будто дети, стали гулять взад и вперед по залу, и Анютке было даже стыдно, что она, дура толстая, не может попасть в ногу с Милицей и Григорием. Потом Распутин гладил ее по голове и спрашивал задушевно:

— Живешь-то как? Папа с мамой не забижают?

Она заговорила о родителях, но он засмеялся:

— Я тебя ведь о царе и царицке спрашиваю...

Анютка призналась, что она уже невеста.

— А жених-то хорош ли? — серьезно спросил Гришка.

Жениха ей подобрала сама царица. Это был лейтенант флотского экипажа Александр Васильевич Вырубов, служивший в походной канцелярии самого императора. Но она плохо его знала.

— Скажи, отец, выходить ли мне за Вырубова?

— Ты божья, а не флотская... Не уживешься!

— Почему, отец, я не уживусь с мужем?

Распутин сразу померк лицом, закрыл глаза.

— *Я так вижу*, — отвечал глухо и загробно...

Милица Николаевна уже созвала гостей, обещая «угостить» их Распутиным, и гости сбежались охотно, словно их позвали на жирного угря, привезенного из Пруссии, или на смотрины редкого заморского фокусника... Распутин подал Анютке руку.

— Пойдем к столу, — сказал. — Я мадерцы выпью. Уж больно полюбил я мадерцу. Говорить стану. Послушаешь меня...

Широко и свободно уселся он за великолепный стол. Держал себя вольготно и независимо. Заметив, что напротив него расположился чиновник особых поручений с университетским значком на лацкане фрака, Распутин поморщился — как от клюквы.

— Нехороший ты человек, — заметил он ему спокойно. — Суеты в тебе много. Ну да ладно... сиди уж, коли пришел!

Понимая, что за ласку да мадеру надо платить душеспасительными речами, Гришка сразу завелся в проповеди:

— Грешите, но покайтесь. Покайтесь и опять грешите. Господь для того и подпускает нам искушеньицев разных, чтобы мы от греха вкусили. Какое первое слово истины принес Христос людям? «Покайтесь!» — сказал он им. А пошто он так сказал? Да потому, что Христос знал, какой свинарник разведут люди. Но как же каяться, ежели я ишо не согрешил? Вот тута многие и спотыкаются... Поняли?

— А чего тут не понять? — за всех ответил носитель университетского значка на фраке. — В конце концов, подобные софизмы далеко не новы в истории человеческого сознания. Еще в древней Лаодикии такую же галиматью проповедовала одна заурядная фригийская секта. Здесь уместно вспомнить и еретика Монтануса! На заре нашей философии этот вонючий козел Монтанус подобно вам, Григорий Ефимыч, излагал такие же догмы красивым патрицианкам и... Не знаю, как вы, Григорий Ефимыч, но Монтанус достигал от дам немало живых и практических результатов!

Распутина затрясло. С толком ответить оратору он ничего не мог, ибо ни черта не понял. Но в голове его прочно уместились только два слова «вонючий козел» (вполне доходчивые).

— Энтото гугнявца на што сюды позвали? — зарычал он. — Я слово божье несую, а он... Не буду есть! Не стану пить!

Вызвав ужас в лице Милицы Николаевны, он круто и четко печатал шаги к дверям, злобно выкрикивая проклятья:

— Мозгляк, щелкопер поганый! Думаешь, коли хвостатку надел, так ты мужика умнее? Врешь, собака! Анахтема... Не меня — ты Христа во мне оскорбил. Вот завтра под трамвай угодишь, тады умней станешь... Я твоих наук не ведаю — мне бы по-божески!

В дверях обернулся и цепким взглядом вызвал на себя лучистое сияние анютиных глазок «божьей невесты» Танеевой.

— *Завтра*, — сказал он и саданул дверью...

Милица Николаевна разрыдалась.

— А все вы... вы! — кричала она на чиновника с образованием. — Зачем стремитесь ученость свою показывать, когда и без того уже все давно ясно... Это, наконец, невежливо!

На следующий день Анютка случайно встретила с Распутиным в вагоне дачного поезда, едущего в Царское Село; он был с какой-то нарядной дамой, но тут же пересел к Танеевой.

— Я ж тебе сказал вчера, что сегодня повидаемся...

И тут последовало окончание черногорской интриги! Милица Николаевна проиграла свою самую крупную игру. Сводя царскую фаворитку с Распутиным, эта продувная бестия не учла того, что после знакомства с Анюткой она сама делается уже не нужной для Распутина, ибо путь к престолу через Анютку был для Гришки намного короче и надежней... Ударил гонг — Царское Село!

* * *

Предупреждаю, что при всей своей коровьей внешности Анютка не была слезливой дурочкой, в ее душе немало отбушевало страстей, и порою она мастерски владела интригой. Про таких, как она, в народе говорят: себе на уме! Поздним вечером, когда царскосельский парк шелестел ветвями тоскливо и жутко, в Александрии императрица тосковала заодно с подругой. Между ними сложились уже такие отношения, что Анютка называла царицу Саной...

— Сана, мы давно с тобой не музицировали!

Алиса небрежно листанула на пюпитре нотные листы:

— Хочешь вот эту сонату? В четыре руки...

В старинных жирандолях, помнивших еще блестящий век Екатерины II, когда они освещали напудренные головы Дени Дидро и принца Жозефа де Линя, медленно оплывали ароматные свечи (электрический свет раздражал царицу). Четыре женские руки скользили над матовыми клавишами. Музыка не рвалась ввысь, а сразу от струн расплзлась по полу, словно боясь испугнуть тишину этого тоскливого вечера, в котором уже чуялось нечто неизбежное и роковое... Неожиданно Танеева сняла пальцы с клавиш.

— Сана, а ты еще ничего не почувствовала?

Императрица зябко поежилась под шалью.

— Мне как-то не по себе, — призналась она. — Только не надо пугать меня напрасно, Анхен...

— Повернись, Сана, и ты все поймешь!

Алиса обернулась и в ужасе отпрянула:

— Кто этот человек? Как он сюда попал?

Прямо на нее из мрака соседней комнаты неслышно двигался костистый мужик в бледно-голубой рубашке, в широких плисовых штанах, заправленных в лаковые сапоги. Лицо его по форме напоминало яйцо, перевернутое острием вниз, в обрамлении длинных волос, разделенных пробором и лоснившихся от лампадного масла. Узкая борода еще больше удлиняла это лицо, а из хаоса волос едва проступала узкая полоска губ, сжатых в страшном напряжении. Из полутьмы, притягательно и странно, чуть посверкивали его жидкие глаза, из которых, казалось, сочится что-то ужасное... Распутин подошел и встал рядом с императрицей, которую уже трясло в приступе нервного возбуждения. Анютка говорила ей:

— Сана, не бойся, это ведь Григорий... Он добрый и ничего худого не сделает. Доверься ему, как мне, Сана!

Распутин молчал. И вдруг легко, словно перышко, подхватил царицу на руки. Носил ее по комнате, гладил и шептал:

— Да успокойся, милая... Ишь, дрожишь-то как! О хосподи, пошто ты, мама моя, пугливая такая? Все люди родные...

Александра Федоровна бурно разрыдалась и обхватила его руками за шею. Она плакала. Она плакала и просила:

— Еще, еще! Носи меня... Ах, как приятно...

Гришка на одно мгновение обернулся. Один глаз был прищурен, а другой опалил Анютку кровавым отсветом.

— Цыть! — сказал он ей. — Пошла вон отсюда...

* * *

А был ли Распутин в близких отношениях с императрицей?

Сразу после революции 1917 года в этом никто не сомневался, и лишь одни монархисты с пеной у рта стремились доказать обратное. Потом этот вопрос стали пересматривать. Поговаривали, что близких отношений не было. И не потому, мол, что этого не хотела императрица, а как раз оттого, что сам Распутин не захотел их! «Он не злоупотреблял силой своего влияния в отношении царицы. Инстинкт, здравый смысл, пронизательность подсказывали ему самоограничение...»

Как же было на самом деле? Я не скажу.

Но вот передо мною письмо императрицы к Распутину.

Пусть читатель сам сделает выводы:

«Возлюбленный мой... Как томительно мне без тебя. Я только тогда душой покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову свою склоняю на твои блаженные плечи. О, как легко мне тогда бывает! Тогда я желаю все одного: заснуть, заснуть навеки на твоих плечах, в твоих жарких объятиях. О, какое счастье даже чувствовать одно твое присутствие около меня...»

Я думаю, что, как бы ни дружила женщина с мужчиной, она все-таки не рискнула бы писать ему, что желает заснуть в его жарких объятиях. Такое письмо может написать только женщина и написать может только мужчине.

Оставим этот вопрос — есть более важные!

10. Бомба в портфеле

В аптеке тогда продавали не только аспирин. Вот отличное лекарство — ото всех болезней, почти панацея. Красное клеймо рецепта способно взбодрить даже умирающего: «ГРЕМУЧИЙ СТУДЕНЬ. Екатеринбургский завод акционерного общества Б. И. Виннер. Динамит и зажигательные шнуры 190 г. Состав: нитроглицерин 83 %, пироксилин 5 %, селитра 10 %, целлюлоза 2 %, итого 100 %». Понятно, что департамент полиции работал в это время с полной нагрузкой и... заработался, сердешный! Столыпин внимательно выслушал доклад жандармов о том, что ему следует бояться высокого блондина с иностранным акцентом.

— Благодарю! — отвечал премьер без иронии. — Догадываюсь, что своей смертью мне умереть не дадут. Я только еще не знаю, с какой стороны полетят в меня пули — слева или справа?

Сказано не в бровь, а в глаз. Ведь в такие подлые времена можно ждать смерти и от собственного альгвазила!

Министру иностранных дел Извольскому было доложено:

— А с вами проще! Вы должны бояться женщины восточного типа. Проходит у нас по картотеке под кличку Принцесса. Безумной красоты. Одевается светской дамой. Свободно владеет французским и английским. Предпочитает работать браунингом.

Извольский (шутник) вкинул в глазницу монокль.

— А если я заведу с ней романчик? Приглашу к Донону? Ведь я интересный мужчина. Может, меня она и пощадит?..

Новому премьеру досталось гиблое наследство. В провинции творилось что-то ужасное. Губернаторы ездили под конвоем казаков, кричавших проходим: «Руки вверх! Мордой к стенке!..» Дело дошло до того, что в Одессе градоначальник Каульбарс, боясь выходить на улицу, совершал вечерние моционы по крышам. За печными трубами сидели стражники, окликивая: «Стой, кто идет?» — «Идет генерал Каульбарс!» Гремела кровля под ногами генерала.

Да, страх был велик. Сейчас перед Столыпиным — стол, а на столе — бумага, еще чистая, чернильница, еще закрытая, и слабенькое перышко... Как эти предметы бессильны сейчас! Даже он понимает это

— он, совместивший в своей персоне две самые видные государственные должности: премьера империи и министра внутренних дел. Устраняя с политического горизонта первую Думу, царь не уничтожил самого закона об учреждении Думы, и теперь на совести Столыпина лежал созыв второй Думы, назначенный на 20 февраля 1907 года. «Верим, — восклицал Николай II, прихлопнув первый русский парламент, — что явятся новые богатыри мысли и дела...»

— Так они и стоят за дверью, — бормотнул Столыпин.

Он потрянул в колокольчик, вызывая секретаря, машинально глянул на разворот календаря, отметив дату: 11 июля 1906 года.

— Телеграмма по губерниям, записывайте, диктую... «Борьба ведется не против общества, а против врагов общества. Поэтому огульные репрессии не могут быть одобрены. Действия незаконные и неосторожные, вносящие вместо успокоения озлобление, нетерпимы... Старый строй получит обновление!» Записали? Восклицание! Дата: одиннадцатое июля сего года. Отправляйте...

К нему в кабинет затерся генерал Курлов, который стал намекать, что не прочь быть петербургским градоначальником.

— Но здесь градоначальствует фон-дер-Лауниц.

— Вы же знаете, какие сейчас времена, — отвечал Курлов. — Сегодня есть Лауниц, завтра, глядишь, уже и нет Лауница!

— Это скоро закончится, — заверил его Столыпин, подразумевая террор, и прямо отказал генералу в своей протекции.

— Тогда... тюремный комитет, — клянчил Курлов. — Знаете, там одни немцы. Окопались колбасники, рвут командировочные до Сахалина. По-русски — едва-едва! А я в тюрьмах — свой человек. С любым громилой душа в душу... блатной язык знаю!

Столыпин думал: «Странные типы окружают меня».

* * *

Сейчас ему было 44 года... Человек еще крепкий. Молодцеват. Всегда при галстуке. Воротничок с лиселями. Кончики усов заливчатски вихрились, вздыблены. Столыпин выделялся из толпы, был чрезвычайно колоритен. Именно он составлял сейчас фон власти, на котором фигурка Николая II казалась мелкой и жалкой, словно карикатура на самодержавие. Петр Аркадьевич Столыпин был реакционен до мозга костей, но порою он мыслил радикально, силясь разрушить в порядке вещей то, что до него оставалось нерушимо столетиями. Карьера Столыпина вписывалась в русскую историю звончато, как мелодия гвардейского марша. Этот реакционер был цельной и сильной натурой — не чета другим бюрократам; угловатая и резкая тень Столыпина заслоняла царя, терявшегося в неуютных сумерках бездарности... Задерганный в семье, запуганный страхами, Николай II чаще, чем это следовало бы, прикладывался к бутылкам. Любимый его дядя Николаша уже дошел до того, что колол себя морфием прямо через рейтузы. Царь же, если верить его дневнику, «пробовал шесть сортов портвейна и опять надрызгался, отчего спал прекрасно». Николая тянуло в море, в тихие шхеры Бьёрке, подальше от публики. Столыпин имел в распоряжении миноносец, который забирал его прямо с дачи на Аптекарском острове. После жестокой вибрации узкого железного корпуса было приятно ступить на желтоматовую, будто слоновою кость, палубу императорского «Штандарта». В честь премьеры торжественно пели корабельные горны. В салоне он деловито раскладывал перед царем бумаги для доклада. Доброжелатели уже предупредили, что за тонкой переборкой его будет слушать и царица...

Начиналось дело — государственное дело:

— Ваше величество, вы напрасно изволили столь легкомысленно заметить генералу Драчевскому, что при погроме в Ростове-на-Дону мало убито евреев. Драчевский — это вам не Спиноза, сами знаете, и он понял вас так, что не сумел добить до желаемого вами процента. Кстати, обращаю ваше высочайшее внимание: «Россия» и «Московские Ведомости», эти главные органы национализма, призывающие «бить жидов — спасти Россию», имеют своими главными редакторами... двух евреев! Позволительно ли это с точки зрения моральной этики в государстве?

— Вот пусть жида сами и разбираются...

Рука Столыпина с покрасневшими от напряжения костяшками пальцев протянулась к императорскому портсигару.

— Позвольте? — спросил он, берясь за папиросу.

— Да-да, Петр Аркадьич, пожалуйста.

За выпуклыми иллюминаторами «Штандарта» море плоско и тихо покачивало воду, на которой играли солнечные зайчики.

— В чем суть всего? — заговорил премьер с напором, словно проламывая бездушную стенку. — Если мы хотим видеть Россию великой державой, если мы верим в обособленность исторических путей развития русской нации, то мы должны круто изменить главное в нашей стране... Кто у нас дворянин-помещик? Это дрэк, — сочно выговорил Столыпин. — Это, если угодно, брак чиновного аппарата. Это отбросы департаментов и помои канцелярий. Бюрократия их отвергла. Им нечего делать в городах. Вот они и живут с земли, которую сосут, угнетая крестьян. Мужика же мы сами связали круговой порукой. Один трудится в поте лица, имея от трудов кукиш. Другой пьянствует и тоже имеет кукиш. Но пьяница и бездельник одинаково пожирают плоды трудов работающего крестьянина... Этих сиамских близнецов надо разделить!

Пауза. Столыпин выждал, как отреагирует царь.

— В любом случае это недурно сказано вами...

Тогда премьер продолжил:

— Вся наша беда в том, что мужик уже не представляет землю *своею*. Столетиями над ним довлело общинное землевладение... Я делаю ставку на сильных! Слабый, ленивый и спившийся пускай подохнет — мне плевать на его прозябание. Мне нужен крепкий, деловитый и хитрый мужик-труженик, мужик-накопитель. Это будет русский фермер на единоличном хозяйстве, на закреплённой за ним земле, по примеру Американских Штатов...

— К чему это вам, Петр Аркадьич? — спросил царь.

— Это не мне, а — вам, ваше величество! — дерзко парировал Столыпин. — Я как помещик в этом варианте сам много теряю. Но как дворянин я обретаю рядом со своим именем хутор кулака, который станет моим добрым союзником... Давно пора раздробить славянофильскую общину и дать мужику землю: возьми, вот это *твое*! Чтобы он почуял вкус ее, чтобы он сказал: «*Моя* земля, а кто ее тронет, на того я с топором пойду...»

— Забавно рассуждаете, — хмыкнул Николай II.

Столыпин на комплименты не улавливался:

— Не забавно, а здраво... Вот тогда в мужике проснутся инстинкты землевладельца и все революционные доктрины разобьются о могучий пласт крестьянства, как буря о волнолом. Жадный мужик — хороший мужик, ему и карты в руки...

Мимо, разводя буруны, прошел тральщик, и «Штандарт» раскачало, он дергал цепи якорей, лежащих под ним на дне моря.

— Петр Аркадьич, — отвечал царь, когда качка утихла, — ведь это не так-то просто... Это уже реформа. Аграрная реформа! Ломка векового уклада жизни. Тут и с вилами пойдут.

— С вилами, но не с бомбами! Овчинка стоит любой выделки, ваше величество. Я тоже, как и вы, хочу спать в России спокойно. Грош всем нам цена, если мы боимся ступить на путь реформаций. Согласен, что будет больно. И затрещат кое-где косточки. И побегут с воплями обиженные и несчастненькие. Но *так надо*...

Когда миноносец, приняв на борт Столыпина, растворился в туманной пелене вечернего моря, в царском салоне появилась Александра Федоровна с вязанием в руках:

— Ники, почему ты позволяешь своему презусу так с тобой разговаривать? Он ведет себя попросту неприлично.

— В чем же это выразилось, Аликс?

— Странно, что ты сам этого не замечаешь... Развалился перед тобой в кресле, хватает со стола твои папиросы, а говорит в таком тоне, будто он — учитель, а ты перед ним — школьник.

— Я этого не почувствовал, — отвечал царь жене. — С другой стороны, не ходить же ему по струнке! Все-таки... премьер.

В костлявых пальцах императрицы быстро сновали вязальные спицы, и слова ее текли, как пряжа.

— Даже этот мерзавец Витте был куда как вежливее, — зудила она как муха. — Помнишь, здесь же, в Бьёрке, когда ты соизволил дать ему титул графа, он четырежды кидался на колени, жаждая поцеловать твою руку... Не забывай, Ники, что ты царь, ты самодержец, а барин Пьер Столыпин лишь твой верноподданный. Мог бы он и постоять в твоём присутствии!

— Столыпин производит на меня приятное впечатление.

Появилась Анютка, с размаху плюхнулась в кресло.

— Столыпину не мешало бы еще поучиться, как смеяться в присутствии монаршей особы. Произнес бы деликатное «хе-хе», и хватит! А то оскалил белые дворянские клыки и гогочет, как не в себе: «ха-ха-ха»! Здесь ему не Саратов, — сказала Анютка, закуривая царскую папиросу. — Что за дикость! Где он хоть воспитывался, невежа? В Пажеском, в Правоведении? Или в Лицее?

Император, вздохнув, направился к трапу. Сказал:

— Петр Аркадьич с отличием окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета...

Поднявшись в буфет, он стал пробовать сорта портвейнов. «А что, если Столыпин и правда метит в русские Бисмарки?»

Качало яхту — качало и царя.

* * *

Депутат Муханов рассказывал, что не слышал взрыва и в абсолютной тишине оказался сброшен со стула. Не потеряв сознания, он тут же поднялся, пораженный внезапно наступившей ночью. Тьма возникла от грязной штукатурки, которая в мгновение ока превратилась в мелкий черный порошок, и дышать стало невозможно. А рядом с собой Муханов заметил фигуру церемониймейстера Воронина, спокойно стоявшего возле стены. Человек высился совершенно неподвижно, только у него недоставало одной детали... головы!

Это случилось 12 августа на Аптекарском острове столицы, где размещалась дача Столыпина. Во время приема просителей и чиновников к дому подкатило барское ландо, из которого вышли трое, неся портфели. Двое из них были в форме офицеров. Дежурный жандарм слишком поздно заметил неладное:

— Держите их... у этого борода наклеенная!

Эсеры-максималисты с возгласами:

— Да здравствует свобода! — шмякнули под ноги себе портфели с бомбами, и они же первыми исчезли в огне и грохоте.

Министр иностранных дел Извольский прискакал на Аптекарский раньше всех. Возле крыльца дачи в ужасных муках умирали лошади, из хаоса стропил и балок, среди кирпичей и обломков мебели торчали руки, головы и ноги людей. Тихо капала кровь. Кричали из развалин придавленные и умирающие. Извольский нашел Столыпина в садовом павильоне. Премьер сидел за чайным столиком, врытым в цветочную клумбу, и — бледный — жадно курил папиросу. Папироса, как и пальцы его, была словно покрыта красным лаком.

— Нет, — отвечал Столыпин, — я даже не ранен. Это кровь моего сына, которого я своими руками откопал из развалин. Жена цела тоже, но вот Наташа... ей лишь пятнадцать лет! А ног нет — одни лохмотья. Вот жду! Из академии вызвали Павлова...

Максималисты хотели убить премьера, но он остался невредим. В единой вспышке взрыва погибло свыше 30 и было изувечено 40 человек, не имевших к Столыпину никакого отношения. Умерли в муках фабричные работницы, с большим трудом добившиеся приема у председателя Совета министров по своим личным нуждам.

Террор не убивал людского горя на земле.

Террор лишь усилил людское горе на земле.

Приехал на автомобиле знаменитый хирург Павлов, на траве перед домом осмотрел дочь Столыпина и сказал кратко:

— Увозим ее! Без ампутации не обойтись...

На лужайке пожарные раскладывали трупы, вид которых был страшен. Сила взрыва оказалась столь велика, что деревья вдоль набережной Невы вырвало с корнем, а на другой стороне реки в дачных виллах богачей высадило все стекла из окон.

— А я даже не оглушен, — удивлялся Столыпин. — Вот после этого и не верь в высшее провидение...

Николай II поборол в себе обычное равнодушие к чужим бедам и вечером того же дня нашел случай выразить Столыпину самое сердечное сочувствие. Он обещал, что лучшие врачи столицы приложат все старания, дабы спасти ему дочь и сына. А на прощание его величество подложил премьеру хорошую грязную свинью:

— Петр Аркадьич, извините, что в такой тяжкий для вас момент обращаюсь с просьбой... Мне, поверьте, стало уже неловко отказывать в прошениях о смягчении смертных приговоров. Вы как премьер не возьмете ли и эту обязанность на себя?

— Возьму, — ответил Столыпин. — Нас не жалеют, я тоже не стану жалеть. Кому суждено висеть, тот у меня нависится!

— А себя вы должны поберечь, — сказал ему царь. — На квартире министра вам оставаться опасно. Зимний дворец как раз пустует. Берите семью и занимайте мои апартаменты.

Отныне император сдавал Зимний дворец на прожитие своим министрам — поквартирно, словно это был доходный дом. Ночью Столыпин сидел на царской постели, слушал, как в соседней комнате дворца кричит его дочь Наташа, которой врачи ампутировали ногу. Возле жены мучился от боли раненый сын.

За окнами по черному небу неслись черные облака.

Столыпин вдруг ослабел, его плечи затряслись от глухих, судорожных рыданий. Слезы заливали ему лицо.

— Лучше бы меня... меня! — выкрикивал он. — Наташа ведь совсем девочка. Как жить ей дальше... безногой? О господи! Да ведь разве я в чем-либо виноват?

Утром он — бледнее смерти — снова закрутил усы.

— Карету мне, черт побери... карету!

Под конвоем конных жандармов премьер поехал из дворца на свою городскую квартиру, где состоялся сбор всего столыпинского кабинета. Министры смотрели на него почти с ужасом. Скулы перекатывались под цыгански смуглой кожей лица премьер, а глаза его ввинчивались в пустоту, как шурупы. В энергичных выражениях Столыпин сказал, что вчерашнее покушение, едва не лишившее жизни его самого и его детей, ничего не изменяет во внутренней политике Российского государства.

— Мой поезд с рельсов не сошел! — заявил Столыпин. — Террористам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия... Моя программа остается неизменной: жесточайшее подавление беспорядков, разрешение аграрного вопроса, как самое неотложное дело империи, и выборы во вторую Думу, которая должна явить новых богатырей мысли и дела... Господа! — закончил он почти вызывающе. — Подражайте мне!

В этот момент он казался себе героем античного мира; ему, как Муцию Сцеволе, хотелось сунуть руку в огонь и не почувствовать боли ожога. Возле премьер, неотступные, как сама смерть, молча

пребывали зорко взирающие личные телохранители — Пиранг и Дикобах... Министры, подавленные, расходились.

* * *

И опять ночь в царском дворце. Снова крики искалеченной девочки за стенкой. Кто-то бубнит, бубнит, бубнит... «Откуда этот дурацкий бубнеж?» К нему подошла заплаканная Ольга Борисовна, урожденная Нейдгардт, на которой он женился без любви. Просто, когда умирал тяжело раненный на дуэли старший брат, он всунул руку своей невесты в его руку и взял слово, что он будет Ольгу любить... Жена сказала:

— Пьер, надо бы ему заплатить. Он там молится.

— Кому платить? И кто там молится?

— Распутин молится. Старец!

— Распутин? А кто это? И зачем он здесь?

— Сама не знаю. Какой-то мужик. Противный. Но с запиской от государя императора. Его величество выразил желание, чтобы Распутин помолился у постели нашей несчастной Наташеньки... Вот уже два часа стоит на коленях. Мычит. Станный такой!

— Ну дай, — отмахнулся Столыпин от жены. — Не знаю, сколько в таких случаях давать... Дай ему весь червонец, только бы он больше не бубнил за стенкой. И без того тошно! Коли нога ампутирована, так тут, сколько ни молись, новая не вырастет...

Распутин ушел от Столыпина сильно обиженный. Он уже привык к вниманию высших особ и сейчас не понимал: как это премьер не пожелал его видеть, не захотел с ним побеседовать? Мунька Головина, узнав об этом, тоже возмущалась:

— Барин Пьер рубит сук, на котором бы ему и сидеть!

Феофан в эти дни предупредил Распутину:

— Ты, Гриша, к царям часто не ползай.

— А чо?

— Двери скрипеть станут...

11. Лампадный Гришенька

Развратная камарилья, которая в своем придворном инкубаторе вылупила Гришку из церковного яйца, кажется, и сама не ведала, что из него получится. А в притчах Соломоновых сказано: «Видел ли ты человека, проворного в деле своем? Он будет стоять перед царями; он не будет стоять перед простыми». Распутин крепко разумел эту библейскую истину.

— А на ча мне перед народцем топтаться? Я и посижу... Лучше уж перед царями встану. От ихнего стола даже помойка жирной бывает. С единой крохи царевой век сытым будешь!

Наблюдательный человек, он уже заметил, что цари живут скучной и одичалой жизнью, где много власти и злата, но мало людских чувств и простых человеческих интересов. Для них он — находка! Его речи дурманят и темнят их дразняще. А время для закрепления Распутина при дворе было как раз подходящим... 12 августа максималисты рванули дачу Столыпина; 13 августа на перроне Петергофа был застрелен генерал Мин, подавлявший московское восстание; 14 августа разорвали бомбой варшавского губернатора. От этого цари снова забились в щели. Николай II, кипя от бешенства, учинил Столыпину письменный разнос: «...считаю свое невольное заключение в Александрии не только обидным, но и прямо позорным!» Мария Федоровна снова не выдержала этой гнетущей обстановки. «С меня хватит! — сказала она сыну. — Я же не перепелка, чтобы меня подстреливал любой прохожий. „Штандарт“ оставляю тебе, я возьму „Полярную Звезду“ и переживу это время подальше от России...» В конце августа Николай II посадил семью на «Штандарт», три недели болтался в шхерах, не приставая к земле. Лишь на исходе сентября показались желтые, оголенные парки Ораниенбаума, печально журчали петергофские фонтаны, готовые уже замерзнуть в трубах. На берегу было тихо... Сразу послали за Распутиным. «В 6.15 к нам приехал Григорий, привез икону св. Симеона Верхотурского, видел детей и поговорил с ними», — записал царь. Распутин уже сделался для них своим человеком, близким и доверительным. Привычке говорить на «ты» он не изменял, и это

ставило его как бы на равную ногу с царями. Царь для него — папа, царица — мама, а наследник — маленький... Романовы очень быстро переняли эту манеру от него, и теперь Николай II обращался к жене «мама», царица окликала его «папой». С бережностью, словно боясь сломать, Распутин гладил наследника по русой голове. «Надёжа России, — говорил он. — Хошь, Алеша, я и завтрева приду? Сказочку расскажу... Одень на лошадь дугу, в руки по сапогу, бей жену кнутовищем, собак пои молочищем, а попалась родная мама — кидай ее в яму!» Ребенку много ли надо? Родители для него привычные люди, а дядя Гриша для него забавен. Нет Распутина день-два, и мальчик уже скучает, сам просит: «А когда дядя Гриша придет?..» Распутин приязнь ребенка к себе тоже учитывал. Он вел циничную игру — безо всяких правил. Царей же утешал: «Покеда я гляжу на вас, беды не станется!» И царь свято верил, что молитва сибирского старца доходит до бога быстрее, чем телеграмма, в то время как обычная молитва тащится со скоростью простого почтового письма...

«Полярная Звезда» околачивалась на рейде Копенгагена, Мария Федоровна слала оттуда письма. «Ах, когда же наконец у нас все это пройдет, чтобы опять могли жить спокойно, как все приличные люди. Почти обидно видеть, как здесь хорошо и смирно живут люди... Как теперь здоровье бедной дочки Столыпина? Катя Озерова мне писала, что она у себя в комнате слышит ее крики...» Прочтя письмо матери, Николай II спрашивал:

— Григорий, а отчего ты премьера не навещаешь?

Распутин вместо «премьер» всегда говорил «пример».

— К примеру я боле не ходок! Ну его... Я там молился, душу вкладывал, а он мне, словно дьячку какому, червонец через лакея на подносе высвистнул — и все тут! А ведь моя молитва особая. Она, чай, дороже иных молебнов стоит...

Фраза была решающей! Уж сколько ходил к царям, а они ему даже копеечки еще не дали. Пора бы им раскошелиться.

— У примера глаз нехороший, — продолжил он о Столыпине. — В человека глядит так, быдто штопор в бутылку вкручивает. Я таких уже встречал. Попадались. Люди опасные...

— Ах, как это верно подмечено! — восклицала императрица. — Ники, ты слышал, что сказал наш друг? Я тебе тоже говорила, что барина Пьера надо остерегаться... Господи, как хорошо, что мы хоть от

Витте избавились! Только бы он не вздумал возвращаться из Биаррицы... Терпеть не могу безносого! Если бы не он, ты, Ники, никогда бы не подписал этого дурацкого манифеста...

В окна сыпануло осенним дождем. По аллеям царскосельского парка шныряли казачьи разъезды. Александрия томилась в тревогах и ожиданиях чего-то ужасного. Распутин тоже мучился: «Как же мне из них, паразитов, денег-то выцарапать?..»

— Стой! — закричал он и вдруг начал удивительно ловко метаться по комнатам среди мебели. Царская чета онемела, наблюдая за ним. Гришка рывком подпрыгнул к ним, произнес страстным шепотом: — А ну, мама, покажь, где Маленький играет.

Его провели в «игральную» комнату Алексея — большой и светлый зал, в котором размещался богатый арсенал игрушек, а под потолком висела массивная хрустальная люстра.

— Скажи слугам, чтобы Маленького в эту комнату не пустили. Как бы греха не вышло. А ты, мама, мне верь. *Я так вижу...*

Зал опечатали. Через несколько дней Александрию потряс грохот — с потолка «игральной» сорвалась люстра. При ударе об пол ее разнесло вдребезги. Из города по телефону был срочно вызван Распутин, и царица опустилась перед ним на колени.

— Если бы не ты, Григорий... спаситель наш!

Гришка молодецкато похаживал среди обломков старинной бронзы, под ним отчаянно визжал раскрошенный хрусталь.

— Это ништо! Не бойсь. Голос мне был. *Свыше...*

А среди лакеев был дряхлый камердинер по фамилии Волков, человек крайне старомодных представлений, у которого из заднего кармана всегда свешивался хвостик цветного платка. Он ползал среди рогулек люстры, бормоча с недоверием:

— С каких пор висела... и вдруг сверзилась? Как же так? С чего бы ей падать? — Дотошный старец разглядел, что цепь, на которой висела люстра, была заранее кем-то подпилена. — Вот оно! — показал он всем надрез. — Подпил-то еще свеженький...

Распутина даже зашатало. Но он, оправясь, сам осмотрел подпиленное место на цепи, с ответом тоже не прогадал.

— Я так и думал! — заявил царице. — Конечно, подпилено. Злые люди, мама, враги твои не дремлют. Хорошо, что мне голос был свыше, а то бы так и пропала надежда земли русской...

Во сколько обошелся Распутину этот рискованный и точный надрез цепи люстры, об этом история умалчивает. Последний поезд из Царского Села ушел, и Гришке предоставили автомобиль из придворного гаража. Варнак сидел на мягком сиденье английского «паккарда», замороженно наблюдая, как из темени наплывали огни столицы... «Дело сделано! — размышлял. — Теперь не рыпнутся. Но когда же денег дадут? Или я даром для них стараюсь?»

* * *

Но однажды он при входе в парк Александрии нос к носу напоролся на незнакомого полковника. Тот как-то очень внимательно оглядел Гришку и задержал его резким окриком:

— Эй ты! Поди-ка сюда, шваль поганая.

Распутин после «звонаря», полученного от генерала медицины Вельяминова, испытывал некоторый страх перед людьми в форме и сейчас, явно заробев, покорнейше подтрусил к полковнику.

— Шапку долой, хамло! — последовал приказ (и за этим очень быстрое исполнение). — Ты кто такой, рожа?

Распутин вякнул что-то невразумительное насчет того, что все мы под богом ходим. Но тут же получил такой удар в «стамеску», что стало не до слов. Не успел Гришка очухаться, как полковник отвесил ему в ухо добротного «леща». Наконец, пихнул его ногой под хвост и погнал обратно в ворота.

— Эй, охрана! Почему вы тут всяких мужиков в царскую резиденцию пропускаете? Что за бардак, черт побери?

В этот день Распутин до царя не добрался. Сел на поезд и отправился восвояси, явно удрученный. Потом дознался:

— Это кто ж такой горячий, что меня пометелил? — Выяснилось, что нарвался на Мишку, родного брата царя, который всегда был далек от придворных тайнств, неизменно путая божий дар с яичницей. Конечно, с братом царя Гришке еще не пришло время тягаться. — Ладно-сь, прощаю ево... Молодой ишо, пряткий! Кулаки чесать охота. Вот и напал! Не меня, а Христа во мне бил... — Но императрице все

же наябедничал: — Рази так можно? Я за наследника престола поклоны бью, какую ночь не спал уже, а меня прям в мурло дуют и даже не думают, что я за человек...

«Гессенская муха» была предельно возмущена:

— Ники, если твой Мишка еще раз сюда притащится, я велю выставить его прочь... От него всегда разная смута идет!

Смута шла не от Мишки — Мишка был как раз «тихий». Всего-то навсего командир кирасирского эскадрона. Он проводил жизнь между конюшней и рестораном. К чести Михаила Александровича надо сказать, что от участия своего эскадрона в карательных экспедициях он наотрез отказался. «Моих синих кирасир оставь на страх врагам внешним», — заявил он брату... Монархисты писали о-нем: «Яркой особенностью Михаила было какое-то особое влечение к простой и скромной жизни, далекой от блеска царского двора, церемониалов, придворных этикетов, пышности и помпы. В нем было очень мало царственного. Ни широты горящего ума, ни глубины дерзающего духа. Это был обыкновенный средний человек средних дарований, радушный и мягкий...» В этой характеристике немалая доля истины! Мишка проводил зимы в ночлежках казармы, а летом выезжал в лагерь, жуируя в палатках.

Вот в этой палатке он однажды и попался.

Говорят, что люди с бородавками на лице удачливы в жизни. И всегда пикантны женщины с родимым пятнышком над верхней губой. Наталья Сергеевна Шереметевская, дочь видного московского адвоката, была украшена как раз такой родинкой, которую еще никто не осмелился назвать бородавкой. От матери-полячки ей передалась волнующая красота, кружившая головы юнцам и старцам. Она сделала хорошую партию, выйдя замуж за москвича Мамонтова, культурного и умного фабриканта. Но в муже не было того блеску, какой был нужен Наталье, и она, безжалостно бросив Мамонтова с ребенком, покорила ротмистра синих кирасир Вульфферта... Ночью, во время летних лагерей, Вульфферт спал, как дитяtko, и даже не слышал, как его жена перебралась в палатку его начальника — великого князя Михаила. Если верить самому Мишке, то он отчаянно отбивался от женщины, как библейский Иосиф от сладострастной жены Потифара. И не потому, что Мишка был высоких моральных устоев, — нет, просто кодекс офицерской чести не позволял ему владеть женою товарища по

эскадрону. «Все это лейб-гвардейские глупости!» — сказала Наталья Сергеевна, увлекая Мишку в бездну падения. Утром она послала денщика за своими вещами... Вульферт спросонья пошел объясняться с Мишкой:

— Ваше высочество, но это же черт знает на что похоже! Зачем вы столь недостойно увели от меня любимую жену?

Мишка морщился, явно стыдясь:

— Перестань, Вульферт! Я и не думал уводить твою жену.

— Но как же это так получилось?

— Откуда я знаю? Спроси у нее сам...

Наталья Сергеевна была восхитительно мила.

— Развод! — заявила она. — Быстрый и решительный...

После чего (быстро и решительно) она забеременела, ибо, когда имеешь дело с Мишкой, надо поторопиться.

— Насколько я понимаю в гинекологии, — заявила она, — то я должна родить. Насколько я понимаю в генеалогии (прошу, дорогой, не путай этих понятий), то во мне зреет ПЛЕМЯННИК САМОГО РУССКОГО ИМПЕРАТОРА... Разве я исторически не права?

Мишка схватился за лысую голову, на которой трепетал под ветром жалкий оазис из трех последних волосинок:

— Боже! Какой скандал будет при дворе...

Да, она несла в себе поросль, весьма опасную для Романовых. А если еще учесть, что Мишка был вроде престольного стажера, готового в любой момент заменить на троне или самого Николая II, или его сына Алексея, то... Ситуация прямо убийственная!

— Теперь, — приказала ему Наталья Сергеевна, — ты напиши брату-царю, что скоро у него будет племянник и чтобы он не вздумал ершиться, когда я пойду с тобою под венец.

Писать для Мишки мука мученическая.

— Ты знаешь, как я пишу. Как собака пятой ногой.

— Я дочь лучшего адвоката Москвы, с детства знакома с юриспруденцией и напишу сама, а ты своей рукой перепишешь...

Николай II сообщал матери в Данию: «Миша написал мне, что он просит моего разрешения жениться и что он не может ждать дольше... Я боюсь, что кто-то помогал Мише писать его письмо, там много казуистики, которая ему несвойственна!» На другом конце Европы, в

каюте яхты «Полярная Звезда», вдовая императрица в бешенстве — чашку за чашкой — переколотила чайный сервиз.

— Какой дурак! — говорила она. — Ведь если он женится на этой авантюристке, то этим усилит своего идиота брата...

А она еще не теряла надежды произвести тронную рокировку. Мишке было велено оставить эскадрон и отправляться в Данию. В Царском Селе каталась в истерике по коврам Алиса:

— Ники, что они там задумали — твои мать и брат? Это интрига против Алексея, против нас с тобою. Я прикажу лейб-акушере Отту, чтобы он немедленно абортiroвал эту полковую шлюху...

Мишка прибыл в Амалиенбург, где его поджидала мать.

— Не дури, — сказала она любимцу. — И не вздумай венчаться тайно. Я не хочу, чтобы ты терял право на русский престол!

Мишка попросил вина. Выпил.

— Когда у меня родится сын, — отвечал он, — я нареку его Георгием в память о моем брате, которого погубил брат Ники. — Между сыном и матерью вдруг пролегла сточная канала в Абастумане, в которой нашли труп Георгия. — Прости, мама, но иногда я ненавижу брата Ники! Он ведет всех нас к гибели... Ходынкoй началось — Ходынкoй и кончится. Так говорят все умные люди... И на кой мне черт сдалась эта корона?

Вернувшись домой, Мишка стал жить с любовницей невенчанно. У них родился сын Георгий, никем не признанный. Наталья мечтала о широкой славе. Учитывая дух времени, она нарочито сторонилась двора, с показной решимостью отворив двери своего дома для либералов-кадетов. Тон на партийных собраниях задавала она — тон либеральный (не красный, а розовенький).

— В двадцатом веке немыслима монархия в кристальном виде, — заявляла Наталья открыто. — О чем думает царь? В наше время он обязан быть монархом конституционным, а не самодержавным...

Под влиянием жены Мишка тоже начал фрондировать:

— Вот мне говорят: Англия, парламент, подготовка общественного мнения, выборы. А у нас на Руси — бахтарарах! — словно пьяный мужик с печки свалился, — бац тебе на стол указец царский... Что? Зачем? Почему? Никто того не ведает...

Однажды вечером он пришел домой, отряхнул с шинели пласты сырого снега. Денщик поднес великому князю чарку с ежевичной.

Мишка выпил и на закуску поцеловал красавицу Наталью.

— Вот мы и дожили! — сказал он ей. — За нами, дорогая, установлено негласно политическое наблюдение тайной полицией...

— Тем лучше для нас, — отвечала жена, понимая изощренным разумом, что со славою либералки, взятой под подозрение, она легче поскачет к престолу; ей казалось, что, когда революция произойдет, она произойдет лишь затем, чтобы призвать на престол ее с мужем, и толпы народные будут выкликать на стогнах империи: «Хотим Михаила и Наталью!»...

* * *

Отдав своего брата под надзор полиции, царь с женою решали, что им делать с Гришкой... Анютка им рассказывала:

— Это так страшно, что слов нет. Недавно еду я с Григорием в санях по Французской набережной. Денек такой яркий, кони бегут хорошо, все искрится от мороза, а Григорий вдруг закрыл глаза и меня за ляжку схватил и держит. Сам весь трясется. Так страшно... И вдруг стал выкрикивать, что он видит. Он видел на льду Невы горы сваленных трупов, среди которых лежали мертвые великие князья и масса всяких графов, а вода в полыньях текла красной от крови. «Так будет, — сказал мне Григорий, — но будет тогда, когда меня при царях уже не будет!»

Императрица представила себе эту картину при ярчайшем сиянии солнечной русской зимы. Мужу она сказала твердо:

— Ники, надо что-то решать с нашим другом. До сих пор мы еще ничем не отблагодарили его за молитвы.

— Хорошо. Я дам ему денег.

— Это не выход. Может опять нарваться на Мишку, который его и поколотит и еще деньги отнимет, — он такой...

— Ну, тогда я не дам ему денег, — сказал царь.

— Нет, ты деньги ему дай!

— Ладно. Я дам...

При очередной встрече с Распутиным император, стесняясь, извлек из бумажника 20 рублей. Самому стало неловко от своей скромности и, подумав, доложил еще две бумажки.

— Молитвами сыт не станешь... возьми, Григорий.

Распутин выбрал из вазы твердое английское печенье и сунул его в чай, размачивая. Перед ним лежало 40 рублей — всего-то! Да ему даже от Восторгова больше перепадало. При всем своем нахальстве он растерялся. Затаив глаза под бровями, соображал: «Брать или не брать?» — Решительным жестом Распутин отодвинул от себя никудышную царскую подачку.

— Рублев не люблю, — заявил крепко. — От них одна блажь и тревога исходит. От беса оне, от беса... Ну их!

Кажется, отказ Распутина от денег не был запланирован в семье Романовых: им думалось, что мужик так и кинется на рублишки, будто воробей на пшено... Императрица потом говорила:

— Ники, надо сделать так, чтобы Григорий имел официальное право для посещения наших резиденций. Чтобы его не обыскивали при входе. Чтобы пропускали сразу, без проверки.

Перед сном Николай II истово молился в спальне. Беспорядочное изобилие икон сплошь заливало даже стенки алькова. Здесь царь фиксировал свою веру на изображениях божества. У него были иконы на все случаи жизни, и Николай II всегда знал, какой иконе следует ему поклоняться. Вот эта от скорби, а та от зубной боли, третья помогает прервать запой. Поставщиком икон для царя был Исаак Губерман, в прошлом московский старьевщик, которому надоело трясти тряпки и мусор, а на закоптелых иконах, особо ценимых царем, он не только разбогател, но и получил от царя титул «почетного гражданина»...

Отмолясь, Николай II воспрянул с пола:

— Аликс, я понял, как поступить с Григорием: мы дадим ему придворный титул *возжигателя царских лампад!*

Сразу стало все на свои места. Конечно, Романовым не всегда было удобно, что их навещает мужик без роду и племени, без определенных занятий. А теперь Распутин был закреплен при дворе на официальном положении как служащий в императорском штате. В эти дни императрица позвонила по телефону Герасимову, начальнику Санкт-Петербургского охранного отделения.

— Александр Васильевич, — сказала она жандарму, — у нашего друга (надеюсь, вы понимаете, о ком я говорю) немало врагов. Мне будет очень больно, если кто-либо осмелится его обидеть. Я была бы чрезвычайно признательна вам лично, если бы департамент полиции приставил к нему надежную охрану.

— Глубоко тронут доверием вашего величества, — отвечал Герасимов. — К обоюдному счастью, мы предвосхитили ваше высочайшее пожелание, и Распутин уже давно находится под наблюде... Простите, я хотел сказать — под охраной полиции!

* * *

После этого случая с 40 рублями Распутин закатился на два дня в ресторан, где просадил с проститутками сотню рублей.

Вернувшись в номера, еще пьяный, он ругался:

— Во сквалыги, не могут человека по прилику уважить... Молись тут за них! Чтоб вас всех чирьями закидало...

Это верно, что Николай II и его жена, богатейшие люди в мире, были страшными скупердяями. Уж как они боготворили Распутина, но подачки их всегда были жалкими. Распутин понял, что рассчитывать на божественный шелест тысячных бумажек здесь не приходится. Ему следует зарабатывать при дворе царя только влияние, а деньги предстоит изыскивать в других местах.

12. Премьеры и примеры

Возьмем-ка снова за шкуру князя Андронникова, приглядимся к нему внимательнее... Побирושка действовал на психику власть имущих сигарами и фазанами, напоминал их женам о себе конфетами и букетами. С цинизмом (непревзойденным!) он сам однажды и раскрыл секрет своего влияния: «В порядочные люди выбиться трудно, и потому я решил не выбиваться. Сначала в меня плевались, а теперь привыкли. Моя метода проста! Допустим, какой-либо финтифлюшкин назначается, предположим, управлять одним из наших генеральных ватерклозетов. Я посылаю ему письмо: мол, наконец-то воссияло солнце правды, настала счастливая эра процветания и прочее... Финтифлюшкину приятно! Он начинает барабанить мне по телефону. Но я не подхожу. Только с пятого звонка, набив себе цену, я снимаю трубку и строго предупреждаю финтифлюшкина, что его в клозете окружают недостойные люди, которых я, как человек благородный, называть не стану. После этого появляюсь в его ватерклозете с портфелем, он встречает меня стоя и спрашивает: „Чем я могу быть вам полезен?“...»

Сановный Петербург (за редкими исключениями) поверил во всемогущество Побирושки так же слепо, как гоголевский городничий уверовал в то, что Хлестаков — птица важная. Никогда не выпуская из рук «делового» портфеля, восторженный и болтливый, намекающий на важные обстоятельства своих поручений, он испытывал особую слабость к военным министрам. Конечно, такой проныра не мог не привлечь внимания охраны. Голубые господа давно приметили, что Побирושка никогда не расстаётся с портфелем. Герасимов очень интересовался, что внутри его.

— Побирושка часто катается за каким-то лешим в Берлин, говорят, имеет неясные шашни с самим кайзером. Правда, отец у него восточный «чеа-эк», но мать-то типичная немка...

Тайны портфеля Побирושки оставались неоткрыты.

— Не удается! Он будто приклеен к своему портфелю.

— Но ведь в одно место он бежит.

— Бывает и там. Но опять-таки с портфелем...

Чиновник МВД навестил тюрьму «Кресты», просил отвести его в камеру № 216, где по мертвой сидел попавшийся на «мокром деле» опытный вор-рецидивист Ванька Свист... Сейчас он был занят общественно полезным трудом, расплетая на паклю измочаленные на флоте канаты. Чиновник МВД сказал отпетому вору:

— Ванька! Дело есть.

— А ну вас всех, — отвечал тот, зевая.

— Держи пять рублей. Надо портфельчик прощупать.

— Пять рублей — не товар. Погулять бы дали.

— Обчисти портфель, и под честное слово честного ворюги мы дадим тебе дневной отгул на Выборгской стороне...

Ванька Свист на одну лишь секунду перехватил портфель Побирушки и выгреб из него все наличное. На столе директора департамента полиции оказалась масса нужных и полезных для жизни вещей. Жандармы с сомнением изучали недоеденный бутерброд со швейцарским сыром, комки старых газет, пачку туалетной бумаги и берлинский журнал, издаваемый — с согласия кайзера — специально для гомосексуалистов (с картинками).

— И это все? — спросил Герасимов.

— Все.

— Так чего он тут голову нам морочит? Одна декорация!

Но за этой «декорацией» скрывался опытный аферист. Еще никто не смог подтвердить шпионаж князя Андронникова в пользу Германии, но никто и не опроверг этой версии. Полезно вспомнить, что германский генштаб утверждал: «Отбросов нет — есть кадры!»

* * *

— У меня, вы знаете, столько дел, что не продохнуть, — говорил Побирушка, навестив вечером квартиру столичного градоначальника фон-дер-Лауница. — Владимир Федорович, не помешаю?

— Да нет, входите, Мишель... Что слышно в мире?

— Да ничего нового, — сказал Побирушка, кладя за свою спину портфель, ужасно раздутый, и попросил чаю. — Сами знаете, какие

сейчас могут быть новости! Пожить не дают спокойно порядочному человеку. Куда ни придешь, везде неприятности. С тех пор как в 1897 году я благодаря любезности графа Витте получил чин коллежского регистратора, с тех пор у меня нет минуты покоя. Понимаю, что министром не стану! Но уже ни один министр не обойдется без моих практических советов... Владимир Федорович, спасибо вам за вкусный чаек, не откажусь и от ужина.

Лауниц сам был жуликом. Мало того, погромщик. Именно этими качествами и выдвинулся. Побирושка пришел к нему за сплетнями, платя за каждую своей сплетней. Это был производственный обмен натуральным сырьем — деловой и честный. Календарь в гостиной показывал 2 ноября 1906 года, за окнами сильно пуржило...

Лауниц, накормив Побирושку ужином, сказал ему:

— Сегодня из-за границы вернулся Витте.

— Кто-о? — оторопел Андронников.

— Витте... Рванут его здесь как миленького. Департамент уже извещен, что на него готовится покушение.

— Представьте, я извещен тоже, — сказал Побирושка и, раскрыв свой портфель, извлек из недр его бумагу. — О покушении знаю раньше вас. Мои связи велики... сами понимаете! И вот, прочтите, что я телеграфировал Витте в Париж.

Фон-дер-Лауниц с удивлением прочел: «Умоляю вас продлить пребывание за границей. Опасность для вашей жизни гораздо серьезнее, чем вы думаете. Это мое последнее слово. Тем хуже для вас, если вы хотите умереть...»

— Если приехал, значит, хочет! — сказал Лауниц. Побирושка не верил. Лауниц вызвал по телефону жандармское управление Варшавской железной дороги, велел перечислить высокопоставленных персон, прибывших с берлинским экспрессом, после чего приставил трубку телефона к уху Побирושки: — Слушайте сами, князь, если не верите моим словам...

Среди статских и тайных советников с вокзала упомянули и бывшего премьера графа Витте. Побирושка сразу заторопился:

— Дела, сами знаете. Просто вздохнуть некогда...

Витте встретил Побирושку спокойно.

— Да, приехал, — сказал он. — При дворе могут морщиться, но я считаю, что моя государственная карьера закончена.

— Столыпин сидит крепко, — предостерег его Андронников. — На следующей неделе уже публикуется указ о свободном выходе крестьян из общины... Затеваются аграрная реформа.

— Столыпин крепок, — согласился Витте. — Но он вульгарный временщик. Лупоглазый, зато безглазый...

Кто еще, кроме Витте, способен заместить Столыпина?

— Горемыкин — труха, а Коковцев — болтун.

Витте покрыл их всех козырным тузом:

— Я должен повидать... Распутина!

Сразу стало ясно, зачем он приехал. Тут Побирושку даже замутило — как же он, великий мастер интриги, проморгал Распутина, в котором заискивает сам бывший премьер? В мире что-то изменилось. Надо срочно перекраивать свои политические взгляды. Побирושка схватил свой портфель и снова заторопился:

— Извините, бегу! Знаете, столько дел, столько дел... Просто не знаю, когда будет минута покойного времени!

* * *

Распутин (новая политическая сила великой империи) вставал с похмельюги — тяжело и натужно. Долго шарил в карманах брюк — не осталось ли там денег «после вчерашнего»? Бормотал:

— Куды ж я их потратил? Неужто все саданул?

Наскреб копеек с тридцать и заскучал.

— Пивка бы... мать вас всех за ногу.

Открылась дверь, и вошли два неизвестных господина. Из раздутых карманов шуб торчали горлышки пивных бутылок. Сами они — вида наглейшего! Расселись на венских стульях, как у себя дома. С треском выставили пиво на стол.

— Лакай, — сказали. — Чего вылупился?

Распутин жадно выхлебал три стакана пива.

— Полегчало... благодарствую. Тока вот не пойму, отколь вы такие ангелы свалились? Чтой-то не видывал я вас ранее.

— Надень порты, варначе, — отвечал ему один и отряхнул с котелка тающий снег. — Мы за тобой приглядывали, как ты вчера в ресторации мадеру дюжинами глушил. Вот с товарищем Ипполитом Гофштеттером и решили: небось трещит башка у нашего Ефимыча! Не взять ли баварского да не навесит ли его по-дружески?

— Хорошие люди. Заботливые. Уважаю. А... кто вы?

Первый сунул ему к носу свою визитную карточку:

— Читай, если грамотный... Сазонов я, Егорий Петрович, кандидат права о бесправии и работник прессы. А это — Гофштеттер из «Нового Времени», знаешь такую газету? Вот он там и пишет.

— Чего ж он пишет? О фунансах небось?

— Что хочешь, — заговорил Гофштеттер. — Могу про тебя такое накатать, что обратно в Сибирь без порток убежишь.

— А я твоей газеткой подотрусь! — реагировал Распутин.

— Всего тиража тебе не осилить, — засмеялся Сазонов. — А карточку мою не рви. Здесь и адресок обозначен: Кирочная, двенадцать. В случае нужды — забредай. Спать положу. И накормлю...

Распутин стал натягивать штаны. Сомневался:

— Чтой-то вы, господа, не очень понятные. Начали за упокой, я даже испугался, а кончаете во здравие...

— Похмелиться хочешь? — конкретно спросили его.

— А нешто ж я не православный?

— Тогда поехали...

Внизу ждал «мотор» (так называли тогда автомобили). Сели и покатили. Распутин автомашинам всегда дивился:

— Бежит себе и даже овса не просит! Одно в ём плохо: вони много, а навозу не видать. Вы не смейтесь, ребята! Навоз — первейшая вещь в мужицком хозяйстве... От него вся сила!

Вот и загородный ресторан (скромненький). Березы в снегу. Пустынные комнаты. В отдельном кабинете сидел... Витте.

— Оставьте нас, — сказал, и журналисты выкатились.

Витте разливал коньяк в плоские рюмки-блюдца.

— Пусть эта встреча останется между нами, — предупредил граф властно. — И мне и вам так будет удобнее.

— Как хошь. Молчать умеем...

Когда им подали лангеты, Витте начал дело:

— Григорий Ефимыч, как это ни странно, но между нами много общих точек соприкосновения. Я начал свою карьеру, можно сказать, с того же, с чего ее начинаете и вы... Не поняли? Тогда поясню. Кому был известен скромнейший инженер-путеец Сережа Витте, который в 1887 году предсказал царскому поезду катастрофу в Борках? Но я ее предсказал, и семейство нашего незабвенного императора Александра Третьего покатилося под откос...

— Так и шваркнулись? — не поверил Распутин.

— Да, если вам угодно, то... шваркнулись! Мария Федоровна, ныне вдовья императрица, босиком и голая выбралась из обломков. Ей один солдат свою шинель дал... Вот тогда, в Борках, меня и заметили! Тогда же и выдвинули. По слухам я извещен достаточно, что вы тоже пророчите и ваши предсказания сбываются. Будем откровенны! Меня задвинули в угол, как старый шкаф. Сейчас в моде новая мебель. Жесткая, зато модная. Но я, старый гусь, по опыту жизни знаю — все возвращается на старые круги. Мы бы с вами сошлись. В любом случае, — заключил Витте, жуя мясо, — вы найдете во мне то, чего никогда не сыщете в Столыпине!

Распутин все понял. Понял и сказал твердо:

— Примером не станешь, граф. Папа слаб! У него в башке зайчик прыгает. За ним пригляд нужен — ой как! А мама крута. Хозяйка! Но она-то тебя и не любит. Вот все говорят: царь, царь, царь. А я говорю: не царь, а царицка! Вот как...

Витте явно смутился оттого, что его подпольные каверзы столь быстро раскусил этот мужик, залезающий пальцами в салат и выбирающий из него кусочки вареной курятины. Чистоплотный телом, граф Витте морально никогда чистым не был, и сейчас он решил приставить к Распутину своих агентов-соглядатаев.

— Я назову вам людей, на которых вы можете положиться, как на меня: это князь Андронников-Побирушка, это писатель Егорий Сазонов, это журналист Манасевич-Мануйлов, это...

И опять Распутин проник в его замыслы.

— Не надо мне твоих табелев, — хмуро отвечал он графу. — Я ведь людей не с чужого языка снимаю. Мне они все как на ладони. Я и тебя наскрозь вижу, что ты за человек...

Гришка уставился на Витте упорным взором, и граф почувствовал себя крайне неудобно. Желая пресечь неудобство своего положения, он

протянул Распутину радужную квитанцию — чек.

— А на кой? — косо глянул в бумагу Гришка.

— Не отказывайтесь. Здесь немалая сумма.

Распутин налил стопку водки и выпил, крякнув:

— Эх, не люблю я водки... мадерца лучше! — Его рука потянулась к закуске, но попутно схватила чек. — Давай! — согласился он так, будто сделал для Витте великое одолжение. — Сами-то мы людишки махонькие, зато брюхо у нас большуще! По невежеству своему сибирскому так и быть, Виття, возьму, а благодарить не стану. Тебе ведь Столыпина не спихнуть — кишка тонка. Но утешу: Столыпин и без тебя шею сломает... Я так вижу!

* * *

1906 год заканчивался. 31 декабря в Петербурге открывали кожно-венерологическую клинику. Ждали премьеры, но Столыпин накануне загрипповал и не прибыл. Это его спасло. Премьера поджидал на морозе молодой человек, модно одетый. Поняв, что Столыпин не придет, он разрядил обойму в сатрапа фон-дер-Лауница. А в ночь на 26 января какой-то дядя в верблюжьей шубе, не совсем трезвый, околачивался возле особняка графа Витте на Каменноостровском проспекте. Потом окликнул дворника:

— А где барин твой Сергей Юльевич дрыхнет?

— А эвон, окошко светится. Видать, книжку читает...

Через четыре дня истопник в комнатах Витте обнаружил, что сверху по дымоходу тянутся какие-то веревки, на которых привязан пакет — больше кирпича, обтянутый холстиной.

— Ваше сиятельство, что вы тут спрятали?

Витте, как увидел этот пакет, так и шарахнулся:

— Полицию сюда, скорее... Адская машина!

С чинами сыска прибыл профессор Забудский, специалист по взрывчатым веществам. Ученый муж отважно распорол холстину.

— Смесь гремучего студня с аммиачной селитрой, — сказал он, понюхав, и даже что-то лизнул с пальца, пробуя на вкус. — Да, я не

ошибся... А вот и будильничек! Скажите, граф, этим часикам спасибо. Они остановились за тридцать пять минут до девяти часов, когда эта машинка должна бы сработать...

Витте решил на этом покушении крупно сыграть. Но протокол и заключение экспертизы легли на стол Столыпина, который погубил тщеславные замыслы Витте с самого начала:

— Сам пихнул динамит в печку и развел панику. Это же понятно: безносый хочет исправить карьеру, и он готов взорвать даже свою Матильду с фокстерьером, лишь бы заменить меня...

В газетах появились карикатуры: Витте, стоя на крыше своего особняка, опускает на веревке в дымоход адскую машину. А весной близ Ириновской дороги нашли разложившийся труп человека в ошметках верблюжьей шубы. Возле него валялись закуска и пустые бутылки из-под водки. При нем же оказалась и записная книжка с номерами питерских телефонов... Жандармы поступили просто:

— Ну-ка, брякнем по номеру 3-43.

— Журналист Ипполит Гофштеттер слушает.

— Ясно! Теперь позвоним по номеру 144-57.

— Протоиерей Восторгов у аппарата, кому я нужен?

Это работала черная сотня, но Столыпин сказал:

— Я ничего не знаю. *Винные не обнаружены...*

Звезда Витте закатывалась за горизонт. Но до самой смерти он не терял надежд на приход к власти и не прерывал конспиративных отношений с Распутиным. Витте до конца дней своих будет умело и незаметно афишировать из подполья Распутина как человека, необходимого в государстве. *Виття* — называл его Гришка.

13. Друзья-приятели

Трех пальцев вполне хватит, чтобы пересчитать привязанности Распутина; с людьми он был крайне небрежен, кидался и швырялся ими, как хотел, никогда не ценя дружбы. К женщинам относился так же — эта ушла, другая пришла, без задержки подавай третью. Но людское общество, особенно незнакомое, пылко любил и новых знакомств всегда настойчиво домогался. Обожал Распутин и застолье, чтобы галдели кругом, чтобы пели и плясали пьяные, чтобы на столе всего навалом — торты и селедка, марципаны и бублики, фрикассе и черные сухари, а под столом чтобы непременно стояли бутылки (сказывалась юность, проведенная по трактирам). Что ему теперь Феофан да Восторгов? Пока в Царском Селе его принимают как родного, конечно, он и сам будет для всех желанен. А тут еще этот Восторгов крутится под ногами... гнида!

* * *

Восторгов пришел к выводу, что его Гришуня уже достиг положения, какое теперь ему, Восторгову, пора использовать в своих корыстных целях. Первым делом протоиерей выразил желание преподнести иконку наследнику престола, цесаревичу Алексею.

— Нужна им твоя иконка, — отвечал Распутин. — У них тамотко ровно музея какая — пальцем в стенку ткнуть негде.

Но все же буквами, которые качало вразброд, словно забор гнилой, Распутин сочинил послание: «Дарагой послуш ево об иконке грегорий». Велел идти на Фонтанку, в дом № 20:

— Там чины дворцовы сидят. Им пратецу мою и всучи.

— А к кому пишешь-то? — недоумевал отец Иоанн.

— Кому сунешь, тому и ладно. Скажи — от меня. А там меня уже знают. Возжигатель царских лампад — как не знать?..

Являсь с «пратецей» в министерство двора, Восторгов был заприходован как взыскующий царской аудиенции и вскоре имел счастье поднести иконку мальчику Алексею... Вернулся пьяный!

— От восторга и напился, — рассказывал Восторгов. — Знаешь, а они там дураки... Я образок на барахолке за рупь купил, над свечкой его держал, чтобы копоти побольше, а выдал за старинный. Взяли! Теперь бы мне еще самого государя повидать. Я бы ему свои сочинения поднес... Устрой мне, Гриша, а?

На что Распутин отвечал — веско:

— Ишь ты, хвост-то как высокононько задираешь...

Восторгов сразу хвост поджал:

— Ах, Гриша, Гришуня... знал бы ты, сколько я на тебя денег своих извел, так ты не обижал бы меня словами этими.

Распутин шмякнул перед ним раздутый бумажник:

— А задавись! — сказал. — Отсчитай скока хошь и больше не липни... Обойдутся тамотко и без твоих сочинений!

Чтобы Распутин на него не сердился, Восторгов ему через мокрую тряпку отпарил брюки. Но струна уже натянулась. И лопнула в том самом доме, с которого все и начиналось. На приеме у графини Игнатьевой протоиерей согласно своему сану протянул ей надушенную руку для поцелуя. Старуха не успела еще коснуться ароматной длани священника, как возле ее губ очутилась корявая пятерня Распутина с траурной окантовкой под ногтями. Восторгова заело, почему графиня сначала лобызала Гришкину лапу, а уж потом его... Когда вернулись на Караванную, поп завелся:

— Ты зачем ей руку-то свою подсовывал?

— А ты зачем? — дельно спросил Распутин.

— Я по чину духовному.

— А я рази же недуховен?

— Не смеди людей, — отвечал Восторгов. — Уж кто-кто, а я-то тебя, жулика, изучил. Таких, как ты, еще поискать надо...

— Вот ты меня и нашел! Не я же тебя искал.

— Доиграешься. Худо будет, — пригрозил поп.

— Не вводи во грех, — помрачнел Распутин.

— А что ты мне сделаешь? В наших руках — газеты, пресса. Я тебя так пропечатаю... осрамлю на всю великую читающую Русь. Сейчас нас, союзников, даже премьеры боятся.

— А я тебе не пример, — заявил Гришка. — Видит бог, так в глаз врежу, что ты у меня в колбаску скрутишься.

— Это ты кому угрожаешь? Ведь я с крестом...

Только он это сказал, как Распутин в мах произвел страшное сокрушение, отчего Восторгов закатился в дальний угол.

— Во сатана! — сказал Гришка, поворачиваясь к иконам и крестясь. — Довел-таки до греха, прости меня, хосподи...

Поп с трудом встал (его не били с семинарии).

— За оскорбление сана духовного... Да знаешь ли, что за это бывает? Засужу! Я тебя на чистую воду выведу...

Он выскочил на улицу, истошно завопил:

— Изво-о-озчик! Скорее гони меня в Лавру...

Восторгов при этом не сумел оценить достижений науки XX века, и Гришка по телефону опередил быстрый бег лучшего столичного рысака. А потому Гермоген, уже предупрежденный Распутиным, встретил своего партийного собрата весьма кисло:

— Да знаю я все! Григорий уже поведал, как вы сцепились... Нехорошо ведешь себя, отец Иоанн. Ты мне друг, но Григорий тоже. Коли придется меж вами выбирать, так я тебя первого под лавку закину, и валяйся там, пока не поумнеешь!

Восторгов даже за голову схватился:

— Что ты говоришь, Гермоген? Или забыл? Ведь «Нана»-то у самого пупочка не от крестного знаменья Гришки, а от моего ножика треснула. Сам же я и ножичек покупал... тратился.

Гермоген отнесся к этому равнодушно:

— Да цена ему копейка. Нашел чем хвастать.

— Это же... обман! — взъярился Восторгов.

К этому Гермоген отнесся уже сурово:

— *Был обман*, — заявил он. — А коли сошел за святое дело, значит, уже не обман... А кто резал-то?

— Ну я!

— А зачем ты «Нанашку»-то ножиком пырнул?

— ?!

— Вот видишь. И ответить не знаешь что.

— Да ведь не для себя же я старался.

— А для кого ты с ножиком в руках старался?

— Для Гришки, чтоб он сдох, окаянный.

— А я думал, для бога, — логично рассудил епископ.

— Гришка с того же часа, как я резанул картину, и пошел, и поехал, и поперло его... сволочь такая!

Гермоген залился дробным смехом, и тряслась на его груди, поверх муарового шелка, панагия с бриллиантами.

— Выходит, зависть мучает. Ты старался резал, а вся слава Гришке досталась. Ой, нехорошо... соблазн это!

Восторгов ожесточился в бесплодной борьбе за правду.

— Не святой же он! *Это мы сами придумали.* Ведь он, ты знаешь, просто бабник... козел какой-то! Бабник и пьяница.

— Это ты брось, — сразу осерчал Гермоген. — Ефимыч мужик крепкой веры и церкви божией завсегда угоден. Если не желаешь без башки остаться, так ты сейчас вернись в номера и Григорию в ножки поклонись. Проси, чтобы он простил тебя!

Восторгов от такого унижения даже расплакался:

— Да побойтесь вы бога! Или за ненормального меня принимаете? Гришка-то ведь за добро мое еще и сокрушил меня.

— Так тебе, дураку, и надо, — утешил его Гермоген. — В другой раз умнее будешь: не станешь подрывать веру в чудеса.

— Да где вы эти чудеса видели? Готов сам себя разоблачить. Пусть пропаду, но и Гришке хорошую баню устрою...

Сунулся он было к графине Игнатьевой, чтобы рассказать ей правду-матку, как было с картиной «Нана», но дворецкий задержал протоиерея словами: «Велено не принимать». Восторгов понял, что перед ним стенка. Как ни бесись, а надо ехать и кланяться Гришке, чтобы зла не попомнил. Но и тут опоздал — Распутина на Караванной уже не было. А в разлуку, соответственно своим наклонностям, Гришка наворотил для Восторгова громадную кучу добра. Так и лежало все посреди комнаты. А сверху Гришка кучу прикрыл записочкой: *«МИЛАЙ КАЖДА ТВАР ХОТИТ ЖИТИЯ ТОЛАНТЫ ПОД ГОРУШКОЙ НЕ ВАЛЯЮТСЯ УБЕРИ ГРЕГОРИЙ»*. Проветривая комнату, Восторгов озлобленно рыдал — в полном отчаянии:

— О господи, где я возьму лопату? Не я ль тебя в люди вывел, из Сибири вытащил? Денег-то сколько перекидал... А за все мои труды — возись тут теперь!

Гришка перебрался к генеральше Ольге Лохтиной; их видели вместе — они гуляли по улицам; Распутин заимел черный цилиндр, а

светская дура щеголяла в цилиндре из белого шелка. Потом они поцапались, и Гришка куда-то пропал. Восторгов мотал ноги по городу и не сразу установил, что Распутин перебрался на Кирочную улицу, прочно сел на квартире Егора Сазонова — экономиста, издателя, литератора, жулика, семьянина...

* * *

Распутин сразу и плотно вошел в семью Сазонова, на Кирочной ему нравилось. С утра до ночи разный народец крутится: одни приходят, вторых выносят, третьих приглашают. Кого тут не повидать — от маститого профессора до рассыльного из редакции. В квартире неустанно трещал телефон, ведерный самоварище клекотал от ярости, посуда колотилась нещадно, прислуга падала с ног, пекли пироги с рыбой и яблоками, гоняли мальчика за вином на угол Литейного, через раскрытые окна квартиры гремело на улицу пьяным и дымным содомом:

Эх, пить будем,
эх, гулять будем,
а смерть придет —
помирать будем...

Но хозяин против такого ералаша не возражал.

— Хороший ты мужик, Егор, — говорил ему Гришка. — Я тебя вижу. Ищешь ты в жизни куска большого. Мелкие-то уже попадались, да между зубов проскакивали. Мечешься ты и не знаешь, у кого бы кожаные стельки от лаптей лыковых отдраконить.

Распутин умел прозревать людей. Сазонов был мещанин с повадками хищника. Сейчас он свою квартиру сознательно обратил в нечто вроде кунсткамеры, где и содержал редкого зверя — Распутина; хочешь повидать зверя, не миновать тебе и дрессировщика. Гришка это понимал, но охотно прощал хозяина, ибо в писательском доме было

ему занято жить. Собиралась профессура, журналисты, актеры, трепались тут, как хотели, когда пьяные, а когда трезвые — на этих сборищах Распутин полной ложкой снимал с поверхности людского шума нужные для себя слова и знания. Именно тут, за самоваром чужой для него семьи, он начал на свой лад постигать политику. В силу каких-то неясных причин у него вызревала ненависть к буржуазной Франции, подозрительность к респектабельной Англии и большое доверие к немцам, даже любовь к их кайзеру. Здесь, на Кирочной, он впитал в себя ненависть к полякам и южным славянам, ведущим борьбу за самостоятельность; здесь же он впервые узнал, что в России давно существует гиблый «еврейский вопрос» (как коренной сибиряк, Распутин до этого никогда не соприкасался с евреями). Хитрый и расчетливый мужик, Григорий Ефимович умел показать себя и с хорошей стороны. Коли чего не знал, то в разговор не лез, а помалкивал. Если же дело касалось деревни, то он рассуждал свободно, красочно, интересно, и ему охотно внимали. Многие, наслышавшись о Распутине немало гадостей, даже терялись, когда перед ними выступал покладистый и смекалистый крестьянин, только что вернувшийся из бани, смотревший на гостей лучисто и ясно. «Это и есть тот самый?» — спрашивали тишком. «Да, тот самый», — отвечал Сазонов, посмеиваясь... Распутин сметал со скатерти хлебные крошки в ладонь и скромнейше отправлял их в рот. Ждавшие от него чудес и пророчеств бывали удивлены, что за весь вечер он ни разу не помянул бога. Но здесь, в разброде многоречивых мыслей, бог ему был не нужен — Гришка знал, где и когда замешивать густую квашню на религии...

Профессор Петражицкий однажды шепнул Распутину:

— Вам бы, милейший, гипнотизером быть. Большие деньги б заколачивали! Есть у вас в глазу какой-то бесенок... Простите, а вы сами никогда не задумывались над этим обстоятельством?

— Не! На што? Смотрят — и пушай...

Но в памяти отложилось и это: авось пригодится.

* * *

Вскоре на квартиру Сазонова кто-то загадочный стал поставлять для Распутина его любимую мадеру... ящиками! Тот самый сорт, где на этикетках изображен кораблик под парусами. Пришло и письмо, из коего стало ясно, что доброжелатель, давно наблюдающий издали за Распутиным, не может больше мириться с тем, чтобы такой замечательный человек испытывал недостаток в своем любимом напитке. С почтением к вашим несомненным достоинствам и прочее...
Подписано — И. П. Манус!

— Это кто ж такой будет? — спросил Гришка.

Сазонов развел руки как можно шире:

— Ну, Ефимыч, не знать Мануса... это, брат, стыдно!

И рассказал, что Игнатий Порфирьевич Манус, хотя у него русские имя и отчество, на самом деле германский еврей, натурализовавшийся в России, да столь крепко, что от русских акций его теперь не оторвать. В правлении Путиловского завода это персона важная, он же директор товарищества Вагоностроительных заводов, член совета Сибирского банка, Манус имеет очень большие деньги от общества Юго-Восточных железных дорог...

— Миллионщик, што ли?

— Примерно так, — согласился Сазонов. — Но связи Мануса — вплоть до берлинских банков, до швейцарских. А я ведь помню, каким он прибыл в Петербург: почти без штанов, был мелким «биржевым зайцем», каждый рубелек на ладони разглаживал...

Скоро встретились на деловой почве в присутствии Ипполита Гофштеттера, который, влюбленно глядя на Распутина, и устроил это свидание. Манус — грузный мужчина ярко выраженного семитского типа, в пенсне с дужкой, зубы в золотых коронках, голос ласковый. Манус куда-то торопился и потому пить не стал.

— Я человек деловой, и у меня нет времени... Говорите прямо: сколько вам надо? Согласен сразу выдать аккордно сумму в десять-пятнадцать тысяч, а затем буду ежемесячно субсидировать вам еще по тысяче рублей... Человек я честный, верьте мне!

Распутин понял, что такие коврижки даром не сыплются.

— Даешь — беру! А что мне делать за это?

Манус заторопился еще больше:

— У меня нет времени, чтобы объясняться. Сейчас вам ничего и делать не надо. Просто живите, как жили и раньше. Только не

забывайте, что в этом печальном и скверном мире существует ваш искренний почитатель — бедный еврей Манус, к которому вы всегда можете обратиться в трудную для вас минуту... Надеюсь, что в трудную для себя минуту и я обращусь к вам! Поможете?

— А как же.

— Дела, дела... Всего доброго, господа.

Скоро нечто подобное проделал и банкир Дмитрий Львович Рубинштейн, которого в петербургском обществе называли Митькой. Он поднес в презент Распутину несколько акций Русско-Французского банка, но подарком не угодил:

— На што мне акцы твои? — сказал старец Митьке. — Я вить на биржу не ходок... не моего ума дело. Это вы, образованные там всякие, на биржу треплетесь.

Митька Рубинштейн не стал спорить и стоимость акций тут же перевел в наличный чистоган, от которого Распутин не отказался.

Международный сионизм уже заметил в Распутине будущего диктатора, и потому биржевые тузы щедро авансировали его — в чаянии будущих для себя выгод в финансах и политике. По проторенной этими маклерами дорожке к Распутину позже придут и шпионы германского генштаба... «Отбросов нет — есть кадры!»

Финал второй части

Притихла под снегом тайга, сторожа свои дремучие сны, застыли и болота. Тихо... А в селе Покровском все по-старому: день за днем — ближе к смерти. По вечерам, когда приходила тюменская почта, несли газеты к священнику Николаю Ильину. Читал он мужикам, осиянный керосиновой лампой, что в мире творится, кого убили, кого искалечили, кто своей смертью преставился, а кто орден получил в усладу себе.

— Слава богу, — крестились старики, — а у нас благодать зимой, и комарье не кусается. Никаких орденов не захочешь!

Подзабыли уже Распутина, вспоминался редко:

— Небось повесили... не вернется!

Только удивлялись иной раз — с чего живет Парашка Распутина? Как и прежде, шуршит обновами, шелкает орешками.

— С чего шелкуешь? — спрашивали.

— Живу! А вам хотелось б, чтобы я подохла?

— Да несвечно так-то. Без трудов, без забот.

— С мужа и живу! С кого же мне жить-то ишо?

— Да вить нет мужа-то. И жив ли он?

— Где-то шляется. Не ведаю. Деньги шлет, и ладно...

Опять непонятно: у этих Распутиных, чтоб они горели, всегда не как у добрых людей. Было тихо... За околицами села, в замети сыпучих снегов безнадежно погибали гумна и бани. Но вот однажды показался на тракте обоз в четыре телеги. Ждать никого покровские не ждали и теперь приглядывались с большим сомнением — не надо ли беды ждать? Обоз втянулся в улицу села, впереди на заиндевелой кобыле восседал сам исправник Казимиров. Издали, гомоня, неслись мальчишки, оповещая:

— Распутин едет! Пьяный уже... вовсю шатается.

Насторожились мужики. Пригорюнились бабы, завидушими глазами встречая первую телегу добра, возле которой в богатой шубе нараспашку шагал Распутин с початой бутылью вина в руке. А рубашка на нем розовая, штаны на нем из бархата лилового, а поясок-то с кистями, а сапоги-то из хрома чистого...

— Ох и нагребился! — рассуждали старики. — На большие деньги одел себя человек. Как бы и нас не загребли за него!

Но видимость исправника, состоящего при Распутине, малость утешала. Гришка всем махал картузом.

— Землякам мое уваженьице! Уж вы помогайте мне барахло-то в избу занести. Все ли дома в порядке? Давно не писал...

Выбежала на крыльцо Парашка с детьми — и в ноги мужу (под круглыми коленками бабы горячо и влажно растопился снег).

— Гришенька! Кормилец наш... возвратился.

— Чего радуешься? — отвечал Распутин. — Вот я тебя вздую для порядка, чтобы себя не забывала...

Покровские густо облепили плетень. Чего только не навез Распутин! Три самовара, машинка швейная, которую ногою надо крутить, сундуки с тряпками. Завернутую в войлок, протащили в избу гигантскую пальму в деревянной кадучке, какие стоят в богатых трактирах. А поверх последней телеги лежало нечто невообразимое, большое и черное, торчали вразброд три толстые ноги с колесиками вместо копыт... Дедушка Силантий спросил:

— Это што ж за хреновина? И на што она тебе?

— Рояля такая... Боюсь, не поймете. Одним словом, машина. Как-нибудь я вам на ней музыку сыграю.

Дюжие парни-добровольцы, предчюя даровую выпивку, осатанев от усилий, пихали рояль в избу — то передом, то боком.

— Не идет, зараза, туды-т ее в гвоздь! Что делать-то?

— Клади! — сказал Распутин, и рояль опустили на снег, парни вытирали пот. — Покеда новый дом не отгрохал, — заявил Гришка, — пушай рояля в хлеву побережется. Тока бы корова не пужалась.

Сбросив шубу на снег, он повернулся к Парашке:

— Ну, пойдём, сука тобольская... потолкуем.

Завел супругу в комнаты и поучил вожжами. Но лупцевал на этот раз без охоты, без остервенения, как раньше бывало. Баба и сама чуяла, что бьют ее лишь «для прилику», ради домашнего порядка, а подлинного гнева нет... Распутин напоследки протащил Парашку за волосы вдоль половицы и сказал миролюбиво:

— Накрывай на стол. Я тебе гостинцев разных привез... Селедочки-то не найдется ль в дому? Хорошо бы с молокой...

Парашка упрятала волосы под платок, радостно суетясь.

— Ой, Гришенька, родненький. Чичас. Все будет.

— То-то, стерва! — сказал Распутин.

Дедушка Силантий с бельмом на глазу вперся в горницы.

— Уж ты скажи мне, Гриша, откель богатство тако?

Распутин отбросил вожжи, отряхнул штаны.

— Что нам деньги! — отвечал, приосанясь. — Мы сами чистое золото... Теперь заживу. Заходи, дед, кады хошь. Будем кофий по утрам хлобыстать.

Вышел он на крыльцо, красуясь. Между прочим, чтобы похвастаться, развернул перед толпой свой тугой бумажник.

— Чтой-то, — сказал, — уже позабыл я, сколько деньжат в дорогу брал. Надо пересчитать.

Толпа затаила дыхание, тихо постанывая от зависти, пока в пальцах Гришки шелестели радужные пачки «катеринок».

— Ну, мужики, подходи по одному. Угощать стану!

Баб награждал конфетами полной горстью, а мужикам наливал по стакану чего-то коричневого, они выпивали и отходили прочь, делясь сомнениями:

— Не то! Не шибает... да и сладко, как патока.

— Вы еще недовольны, сиволапые! — грохотал с крыльца Распутин. — Я вас царской мадерой потчую, а вы кривитесь... Смотри!

Показывая пример, как надо пить мадеру, он запрокинул голову, разинул пасть пошире и между гнилых черенков зубов воткнул в себя горлышко бутылки. Вся деревня замерла, наблюдая, как двигается под бородищей Распутина острый кадык, как медленно, но верно иссякает содержимое посуды. Допил все вино до конца, а пустую бутылку далеко зашвырнул в сугроб.

— Во как надо! Чай, мадера-то царская.

Ему не верили:

— Кака там царская! Небось на станции купил...

Исправник Казимиров вынес на крыльцо граммофон.

— Григорья Ефимыч, куда прикажете ставить?

— Да хоша в снег... Заводи погромче!

Расписанная лазоревыми цветочками широченная труба граммофона издала шипение, а потом на все село грянул Шаляпин и оглушил покровских баб и мужиков:

Люди гибнут за металл,
за-а мета-алл!
Сатана там правит бал,
там пра-авит бааааа...л!

Распутин показывал мужикам рубахи свои:

— Сама царицка и вышивала. Вот и метка ее на подоле.

Все поверили, что рубахи на Распутине истинно царские. Но поняли так, что Распутин царей обворовал.

— Ой, Гриша, а не страшно ли тебе? — спрашивали.

— Да кто меня тронет-то?

Дедушка Силантий дал ему практический совет:

— Я тебе, Гришок, такое скажу. Коли наворовался от царей, так теперь скройся и затихни. Как бы не проведали, что ты тут гуляешь... Тадысь погубят. Ей-ей, во сне кишкою удавят!

— А што мне цари! — кочевряжился Распутин, хмелея пуще прежнего. — Я с ними запросто... Бывалоча, еще сплю. А ко мне уже телефоны наяривают. Опять зовут чай пить. Без меня и не сядут. Царь мне в ноги кланялся, а царицу эту самую я на себе таскал. Хватал ее всяко. Она ничего! Не кусачая.

Исправнику Казиминову он вдруг заявил:

— А попа Ильина на селе живым не оставлю. Он, вражья сила, на меня донос наката. Будто я жития несправедного... Ну, так я ему сейчас устрою житие! Пошли все со мной...

Распутин переколотил стекла в окнах отца Николая; несчастный священник, выставясь наружу, возмущался с плачем:

— В экий морозище, анафема, ты меня без стекол оставил. Господин исправник, почто стоите? Почто не прикажете? Да кто он таков, чтобы служителю церкви стекла выбивать?

— Ах ты, мать твою... — отвечал «старец». — Ты ишо узнаешь, кто я такой. Нонеча я стал возжигателем царских лампад, и таким гугнявцам, как ты, я не чета...

...Через годы, когда имя Распутина уже гремело по России, дотошные корреспонденты петербургских газет доискались и до бедного священника Николая Ильина, которого нашли в задвённом таежном улусе, среди якутов и политических ссыльных.

— Небось на Москве-то сейчас солнышко тепленькое, — сказал он и заплакал. — Это Гришка сюда запек. Теперь, видать, и до смерти не выберусь на родину...

* * *

Вскоре поставил Распутин в селе Покровском новый дом для себя и своего семейства — двухэтажный, нарядный, крышу покрыл железом. Изнутри убрал комнаты коврами и зеркалами, по углам расставил пальмы и фикусы, завел множество кошек (он их любил). Стали навещать его здесь петербургские дамы в шляпах, убранных цветами, в пышнейших юбках колоколом, в белых блузочках, с зонтиками-тросточками... Спрашивали у покровских сельчан:

— Простите, а где здесь старец живет?

— А эвон... его дом навсегда отличишь от мужицкого.

Металась по улицам сумасшедшая генеральша Лохтина, Мунька Головина, на всех презрительно щурясь, записывала в книжечку афоризмы от старца. Придворные дамы переодевались в крестьянские сарафаны и широкие поневы, повязывали прически платками, ходили босиком по траве. А по вечерам Гришка забирал их всех и гуртом отводил в баню, где долго и усердно все парились.

Парашка ни во что не вмешивалась, но не выносила, если дамы целовали Распутина в лицо. Покровские жители видели, как она, схватив большущий дрын, гоняла по улице генеральшу Лохтину, крича при этом:

— Не дам целовать Гришку в голову! В баню ходишь — и ходи, но в голову, мерзавка, не смей...

Почему она так высоко ценила именно голову Распутина — этого мы, читатель, никогда не узнаем!

Наезжали в Покровское и корреспонденты столичных газет. Однажды на улице села появился городской шпингалет в желтых ботинках, он тащил на своем горбу от пристани ящик фотоаппарата с треногой.

Бежали следом за ним мальчишки, прося:

— Дяденька, сыми... сыми меня, дяденька!

— Брысь, мелюзга, тут дело серьезное. Буду вашего старца снимать. Распутин дома. Распутин на телеге. Распутин входит в хлев. Распутин выходит из хлева... Где тут баня его?

От тюменского вокзала летели теперь в таежную нежить, в буреломный треск, летели, взметывая гривы и звеня бубенцами, летели в село Покровское — тройки, тройки, тройки...

Ехали в них — бабы, бабы, бабы!

Одни были умные. А другие были дуры.

Старые ехали. И совсем юные гимназистки.

А назывались все они одинаково.

Кратко и выразительно.

Как на заборе!

Часть третья

РЕАКЦИЯ — СОДОМ И ГОМОРРА

(лето 1907-го — конец 1910-го)

*Ежели кто
под меня попал,
тот на меня
уже не вскочит!*

*Клопов не
бойся.*

*Ежели кусают
— чешишь!*

*Из афоризмов
Распутина*

Прелюдия к третьей части

Столыпин, размахисто и нервно, строчил царю, что «члены Думы правой партии после молебна пропели гимн и огласили залы Таврического дворца возгласами „ура“... при этом *левые не вставали!*». Николай II отвечал премьеру: «Поведение левых характерно, чтобы не сказать — неприлично... Будьте бодры, стойки и осторожны. Велик бог земли русской!» Таврический дворец подновили, да столь «удачно», что крыша зала заседаний рухнула. Счастье, что это случилось в перерыве, а то бы от «народных избранников» только сок брызнул! Крыша обрушилась на скамьи левых депутатов, зато кресла правых загадочно уцелели. Столыпин, хрипя от ярости, доказывал газетчикам, что злого умысла не было, просто деньги для ремонта дворца, как водится, заранее разворовали! Впрочем, к чему высокопарные слова, если вторую Думу разогнали, как и первую. Это случилось 2 июня 1907 года, а на другой же день Столыпин изменил избирательные законы. Третью Думу подобрали уже на столыпинский вкус. Вот, к примеру, депутаты от Петербургской губернии: фон Анрепп — профессор судебной медицины, Беляев — лесопромышленник, Кутлер — бывший министр, Лерхе — инспектор банка, Милюков — профессор истории, Родичев — присяжный поверенный, фон Крузе — мировой судья, Смирнов — царскосельский купец, Трифонов — сельский лавочник, и только один рабочий — Н. Г. Полетаев, — через руки которого проходила тогда переписка Ленина с питерскими большевиками... «Сначала успокоение, затем реформы, — твердил Столыпин. — Мне не нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия». Революция уходила в подполье, и Распутин в эти дни заверил царя, что «покушений больше не будет». Николай II столь свято уверовал в Гришку, что рискнул появиться на улицах столицы, и... попал под трамвай! Вагоновожатый резко затормозил (за что и был потом награжден деньгами), а Распутин торжествовал:

— А я што тебе говорил, папа? Вишь, даже трамвай тебя не берет... Покуда я жив, с вами беды не случится. Верь мне!

Реакция неизменно сопряжена с падением нравов. Знатную публику вдруг охватила эпидемия разводов, чего раньше не было и в помине. Теперь дамы петербургского света рассуждали:

— «Анну Каренину» читать уже невозможно — так глупо и так пошло! В наше время Анна просто развелась бы с мужем через хорошего адвоката и вышла бы за Вронского... А в таком случае к чему весь этот длинный и нудный роман?

Среди студенчества раздался коварный призыв: «Долой революционный аскетизм, да здравствуют радости жизни! Потратим время с пользой и удовольствием...» Арцыбашев уже сочинил своего нашумевшего «Санина»; женщины в этом романе волновались, как «молодые красивые кобылы», а мужчины изгибались перед женщинами, как «горячие веселые жеребцы». Русские газеты (и без того скандальные) запестрели вот такими объявлениями:

«ОДИНОКАЯ БАРЫШНЯ ищет добрпрдч. г-на с капит., согл. позир. в париж. стиле».

«МУЖЧИНА 60 ЛЕТ (еще бодр) ищет даму для провожд. врем. на кур.».

«МОЛ. ВЕС. ДАМА жел. сопр. один. мужч. в поезде».

«ЧУЖДАЯ ПРЕДРАССУДКОВ интер. женщ. принимает на даче, согл. в отъезд».

«ОДИНОКАЯ ДАМА (ход без швейцара) сдает комн. для мужч., брак при взаимн. симп.».

Всюду возникали, словно поганки после дождя, темные и порочные общества. Молва разносила весть об орловских «Огарках», о московском «Союзе пива и воли», о минской «Лиге свободной любви», о казанской веселой «Минутке», о беспардонном кобелячестве киевской «Дорефы»... Женщина перестала быть объектом воздыханий возле ее ног. Теперь романисты писали о красавицах: «Ах, какое у нее богатое тело — хоть сейчас отвози в анатомический театр!» А разочарованные россияне говорили уныло:

— Наверное, так и надо! Чем гаже — тем лучше...

Великая русская литература в эти годы потеряла целомудрие. Рукавишников умудрился сблудить даже со статуей Мефистофеля:

И встал я. Взял статую. Чугунную. Пустую.
Легли в постель мы рядом. Прижался черт ко мне.

Федор Сологуб откровенно проповедовал садизм:

Расстегни свои застёжки и завязки развяжи,
Тело, жаждущее боли, нестыдливо обнажи.
Чтобы тело без помехи долго-долго истязать,
Надо руки, надо ноги крепко к кольцам привязать.
Чтобы глупые соседи не пришли бы подсмотреть,
Надо окна занавесить, надо двери запереть.

В низу газетных колонок теперь набирали свеженькую информацию из провинции: «Гимназистка 14 л. Таня Б. разрешилась от бремени здоровым мальчиком; двух гимназисток 4-го и 6-го классов исключили из гимназии за беременность, поставив им двойки за поведение... Родители возмущены!» К. А. Поссе в своих публичных лекциях призывал молодежь хотя бы один месяц не посещать домов терпимости, чтобы на сбереженные от воздержания деньги образовать читальни для просвещения народа. Где тут кончается умный и где начинается круглый дурак — я не знаю! Юбилей Льва Толстого проходил под знаком «полового вопроса»: первую часть речей посвящали восхвалению гения, потом рассуждали о половом подборе. Результат этого «вопроса», поставленного в эпоху столыпинской реакции на ребро, не замедлил сказаться. В таких случаях следует отбросить все красоты стиля и не бояться черствых таблиц статистики. Вот подлинная шкала самоубийств в России только за осенние месяцы, самые тоскливые на Руси — от сентября до декабря:

- в 1905 году — 34 чел. (разгар революции);
- в 1906 году — 243 чел. (начало реакции);
- в 1907 году — 781 чел. (утверждение реакции).

Я не боюсь таблиц, ибо знаю их деловую наглядную силу.

Реакция — это не только политический пресс. Это опустошение души, надлом психики, неумение найти место в жизни, это разброд сознания, это алкоголь и наркотики, это ночь в скользких объятиях проститутки. Жизнь в такие моменты истории взвинченно-обострена; она характерна не взлетами духа, а лишь страстями, ползущими где-то понизу жизни, которая уже перестала людей удовлетворять. Отсюда — подлости, измены, растление.

* * *

Полковник Николай Николаевич Кулябка — начальник Киевского охранного отделения. В его жизни был один анекдот.

— Не беспокойтесь, он не похабный... Знаете, — рассказывал Кулябка, — я чрезвычайно благодарен революционерам. Они спасли мне жизнь! Врачи меня, как чахоточного в последнем градусе, заочно приговорили к смерти. Эсеры тоже приговорили к смерти. Приговоренный дважды уже не погибнет... Когда в меня стреляли, одна из эсеровских пуль вошла в грудь и навсегда затворила в легком роковую каверну! Я был спасен.

Сейчас Кулябка сидел у себя дома. В двери просунулась стриженная голова сына с оттопыренными ушами:

— Папа, уже поздно. Можно я спать лягу?

— Нет. Выучи урок, тогда ляжешь. А если завтра не исправишь единицы, я тебя выдеру, как последнего сукина сына.

Кулябка перед сном просматривал донесения тайных агентов о подпольном обществе «Дорефа»; на дверях этого сборища была надпись: *ВОШЕДШИМ СЮДА НЕТ ВЫХОДА!* Агентура сообщала, что девушки остались в чулках и шляпах, а юноши в котелках и при галстуках — в таком неглиже устроили танцы. Работая синим карандашом, Кулябка подчеркивал в списках «Дорефы» знакомые фамилии участников этого «подполья»... Все дети почтенных родителей! Из швейцарской, где постоянно дежурил переодетый жандарм, раздался звонок — явился нежданный посетитель.

— Так поздно? Кто он? И что надо? — спросил Кулябка.

— Мордка Гершов Богров, называет себя Дмитрием Григорьевичем, сын присяжного поверенного, студент университета... Выражает большое нетерпение видеть вас лично.

— Хорошо. Пусть поднимется ко мне...

Из-за двери слышался бубнеж сына: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, нет, вы не знаете украинской ночи...» Кулябка распахнул двери из кабинета в комнаты, наказал:

— Убери учебник — и спать! А завтра выдеру...

Поджидая студента, Кулябка усмехнулся; ведь он только что подчеркнул имя Д. Г. Богрова в списках «Дорефы». Отец этого юноши — видная фигура: пять домов в Киеве, под Кременчугом богатая вилла, семья живет в зелени Бибиковского бульвара.

— Да, да! Входите... Прошу прощения, что принимаю вас не при мундире. Но я дома. Уже вне служебных обязанностей.

На пороге жандармской квартиры стоял молодой человек в пенсне. Довольно высокий. С румянцем на щеках. Отвислые губы, сморщенные. Он их все время подбирает, чтобы закрыть очень длинные передние зубы. Лоб небольшой, но хорошо сформирован. «С такой внешностью, — машинально заметил Кулябка, — Богров весьма удобен для наружного за ним наблюдения...»

— Прошу, садитесь. Что вас привело ко мне?

Увидев перед собой дубоватого полковника в домашних шлепанцах, Богров сразу решил, что эта упрощенная скотина вряд ли способна оценить все нюансы его тонкой ущемленной души, а потому, сев на диван, он начал с некоторым нахальством:

— Не стану затруднять вас прослушиванием сложной гаммы моих настроений. Скажу проще: революция, столь бесславно прогоревшая, одним своим крылом задела и меня. Да, я состоял в обществе киевских анархистов. Нет, я никого не шлепнул, в «эксах» не участвовал и вот... Решил прибегнуть к вам. Извините за позднее вторжение. Я отлично понимаю, это не совсем вежливо с моей стороны, но ведь в вашем деле это простительно. Просто я не хотел, чтобы кто-либо видел меня посещающим вас.

Кулябка развернул стул и сел на него верхом, расставив ноги, словно в седле. Молча вздохнул. Возникла пауза.

— Так чего же вы от меня хотите? — спросил он.

Ему, конечно, было уже ясно, ради чего пришлялся к нему Богров, но этот злодейский вопрос полковник соорудил умышленно, чтобы Иуда, явившийся в полночь ради получения тридцати сребреников, покрутился на диване, словно глупый пескарь, попавший на раскаленную сковородку... Богров смутился.

— Надеюсь, — начал он, — вы понимаете, что этот мой шаг определен большим внутренним напряжением и сделкой... Если угодно, пусть будет так: именно сделкой с нормами морали.

— А у вас есть «нормы»? — равнодушно спросил Кулябка, памятуя о списках тайной «Дорефы» и пытаясь представить себе этого подонка в котелке и при галстукке танцующим с девицей в одних чулках (картина получалась отвратная).

— Простите, но они есть! — вспыхнул Богров.

— Любопытно... даже очень, — с иронией произнес Кулябка. — А все-таки я не понимаю, ради чего вы пожаловали?

— Я и так выразил все достаточно ясно.

— Вы ничего не выразили. Пришли и... томитесь.

Богров это понял, натужно выдавил из себя:

— Я согласен сотрудничать с вами.

— Опять непонятно! — обрезал его Кулябка. — Что значит «согласны»? Можно подумать, я взял палку и лупил вас до тех пор, пока вы не согласились. Нет, вы не согласились, как это бывает с другими, измученными тюрьмой и ужасом перед казнью. Вы, милейший, сами пришли ко мне и сказали: я — ваш!.. Так ведь?

— Да, — поник Богров, — кажется, это так.

— Бывает, бывает... — отвечал Кулябка, вроде сочувствуя. — А что же именно заставило вас предложить нам свои услуги?

Вопрос сложный, но Богров реагировал без промедления:

— Я убедился на собственном опыте, что вся эта свора революционеров не что иное, как обычная шайка бандитов...

Ясно, что этот «блин» испечен Богровым еще на улице и в горячем состоянии, с пылу и с жару, донесен им до кабинета Кулябки. Жандармские же полковники на Руси дураками никогда не были, напротив, их отличало большое знание человеческой психологии, и в данном ответе Николай Николаевич сразу уловил фальшь.

— Ну, а теперь выскажитеесь точнее. Не стесняйтесь.

На этот раз Богров уже не спешил — прежде подумал:

— Видите ли, мой папа обеспеченный человек. Хотя я и еврей, но мои красивые тетки замужем за видными русскими чиновниками. Хочу быть присяжным поверенным и, надеюсь, им стану. У меня нет обоснованных конфликтов с самодержавной властью, чтобы выступать на борьбу с нею... Зачем мне это?

— Вы уже близки к истине, но еще бегаєте по сторонам... Выкладываете! — рявкнул Кулябка грубовато. — Ведь я вас за шкуру к себе не тянул, сами пришли, так будьте откровеннее...

Конечно, Богров не мог думать, что в лице начальника киевской охранки он встретит человека тоньше его самого и проницательнее. Пришлось убрать общие слова, за которыми стоял туман благородства, и перейти к самым обыденным фактам:

— Папа с мамой недавно ездили в Ниццу и брали меня с собой. Я имел неосторожность проиграть в рулетку тысячу пятьсот франков.

— И теперь хотите, чтобы я, старый дурак, дал вам их?

От прежней наглости Богрова не осталось и следа.

— Вы не совсем поняли меня, — бормотнул он жалко.

— Да понял! — отмахнулся Кулябка как от мухи. — Не такой уж вы Шопенгауэр, чтобы вас не понять. — И вдруг обрушил на него лавину брани: — Щенок паршивый, сопля поганая, продулся в рулетку, а теперь хочет продавать своих товарищей?! Этому, что ли, учили тебя твои благородные родители?

Богров был уничтожен. Наивно прозвучали его слова:

— Но папа дает мне всего полсотни в месяц.

Кулак жандарма в бешенстве молотил по столу.

— Так на что же ты, подонок, их тратишь?

— Разрешите мне уйти? — живо поднялся Богров.

— Сидеть! — гаркнул Кулябка. — Или тебе кажется, что здесь романтика? Нет, братец. И над нашей лавочкой, как и в твоей вонючей «Дорефе», золотом выбиты слова: *ВОШЕДШИМ СЮДА ВЫХОДА НЕТ*. — Богров при этом даже вздрогнул. — Я тебе не папа с мамой, — продолжал Кулябка спокойнее, — и давать буду по сотне. А за долг в рулетку расквитайся-ка, братец, сам!

Встретив на себе обратный колючий взгляд, Кулябка вдруг понял, что перед ним не желторотый птенец, не знающий, где подзанять деньжонок, — нет, перед ним предстал опытный гешефтмахер, который пятьдесят рубликов от папеньки уже расчетливо приложил к

ста рублям от жандармов, и теперь он, остродумаящий подлец, уже прикидывает, на сколько ему этих доходов хватит...

Кулябка с треском выложил перед ним сотню:

— Забирай. А теперь подумай и здесь же, не выходя на улицу, избери для себя тайную кличку... псевдоним.

Предложив это, он смотрел с интересом: «Наверняка изберет себе имя — как с театральной афиши!» Жандарм не ошибся:

— С вашего разрешения я буду *Аленским*.

— Так и запишем. Нам плевать...

Но рядом с этим именем новорожденного агента-провокатора Кулябка записал и второе, придуманное самим: Капустянский — это уже для внутреннего употребления (точнее — для сыщиков). Николай Николаевич любезно проводил Богрова до швейцарской.

— Я пойду спать, — сказал он жандарму. — Так намотался за день, что ноги не держат. Больше меня не тревожить...

Но сон Кулябки был нарушен звонком по телефону.

— Докладываю, — сообщил агент наружного наблюдения, — гости от Шантеклера выкатились в половине третьего. Замечены: Фурман, Бродский, Фишман, Марголин и Фельдзер...

— Это не все, — сонно сообразил Кулябка, — в гостях у Шантеклера был еще австрийский консул Альтшуллер. Где он?

— Не выходил, — отвечал агент. — Остался ночевать.

— Хорошенькая история, — буркнул Кулябка.

История *грязная*: в доме киевского генерал-губернатора Сухомлинова, прозванного Шантеклером, остался ночевать некто Альтшуллер, подозреваемый в шпионаже в пользу Австро-Венгрии, причем секретные документы об этих подозрениях находятся в том же доме, где он сейчас ночует...

* * *

В эту ночь на темном горизонте русской истории замерцала звезда провокации.

Осыпались листья осени 1907 года.

1. Скандальная жизнь

Каждая женщина вправе сама решать, сколько ей лет. Марии Федоровне исполнилось уже шестьдесят, но вдовья царица была еще миниатюрна, как барышня. При резких движениях на ней посвистывала жесткая парча, в руке трещал костяной веер; на груди Гневной умещалось, трижды обернутое вокруг шеи, драгоценное ожерелье из двухсот восемнадцати жемчужин — каждая с виноградину. Когда революция пошла на убыль, она съездила в Вену, где существовал единственный в мире Институт красоты. Там ей надрезали веки глаз, в которые вращили каучуковые ресницы — как шпильки! Лицо стареющей женщины облили каким-то фарфоровым воском, предупредив, что за успех не ручаются. Это верно: «фарфор» сразу дал массу мельчайших трещинок, отчего лицо императрицы стало похоже на антикварную тарелку. После этой рискованной операции Мария Федоровна сразу же произвела вторую. Неожиданно для всех она вышла замуж. Из трех своих любовников царица выбрала в мужа одного — своего гофмейстера князя Георгия Шервашидзе...

В Царском Селе она появлялась как майская гроза.

Между сыном и матерью возник серьезный разговор:

— Я слышала, Ники, что ты недоволен Столыпиным. Но без него тебе нечего делать. Можешь сразу убираться в Швейцарию! Только он, последний русский дворянин, еще способен скрутить революцию. А на кого ты еще мог бы так опереться?

— На Руси, мама, народу хватает.

— А тебе кто нужен... народ или министры? Столыпин — это наш Бисмарк, так не повтори ошибки кузена Вилли, который много потерял, удалив с мостика главного лоцмана германской политики. Где ты еще найдешь второго Столыпина? Камарилья льстецов и жуликов способна поставить лишь петрушку для придворной ярмарки.

— Бог еще не покинул меня, — отвечал император.

— Бог! — воскликнула мать. — У тебя с ним какие-то странные отношения. Ты говоришь «я и бог» в таком тоне, словно бог уже генерал-майор, а ты пока еще только полковник...

В этом году русский обыватель придумал про царя такую загадку: «Первый дворянин, хороший семьянин, в тереме гуляет, столом гадает — стол мой, столишко, один сынишка, четверо дочек, женка да мать, а... куда бежать?» Алисе царь говорил:

— В Древнем Риме толпа требовала у цезарей хлеба и зрелищ, а сейчас от нас хотят видеть только скандалы. — При встречах с премьером он пытался шутить: — Петр Аркадьич, а ведь вы — мой император! — Но за шуткой таилось уязвленное самолюбие. Столыпин — монолитная фигура реакции, и этот классический монумент самодержавия отбрасывал на престол такую густую тень, в которой совсем уже не был различим император. Николай II не раз уже пытался накинуть узду на премьера: — Петр Аркадьич, отчего вы так старательно избегаете Распутина?

— Ваше величество, — отвечал тот, непокорный, — да будет позволено мне самому избирать для себя приятелей...

На парадах, когда Николай II, сидя в седле, перебирал поводья, пальцы рук его безбожно тряслись, и лощеные гусарские эскадроны, в которых было немало мастеров-вахмистров, готовых выпить и закусить огурчиком, про себя отмечали: «Эге, Николашка! А ты, брат, тоже, видать, зашибаешь...» Алкоголь всегда был сильнее кесарей. На полковом празднестве царскосельских стрелков, упившись, царь в малиновой рубаше увлекся пляскою своих опричников и, следом за ними, выкатился из казармы на улицы, демонстрируя перед прохожими свое умение плясать вприсядку. Но при этом он еще выкрикивал слова лейб-казахьей песни:

А и бывало — да, да и давала — да,
да другу милому да целовать себя.
А теперь не то, да не стоит его
да лейб-гвардейский полк
да в нашем городе...

Потом кувыркнулся в канаву. Конечно, в канаве не ночевал (все-таки царь!), но в канаве уже побывал...

Плачущая Анютка Танеева позвонила Распутину:

— Прощай, отец... выдают меня за лейтенанта.

— Ступай! — отвечал Гришка с широкой лихостью. — Но добра от флотских не жди. Вижу я, что не уживетесь вы!

Непонятно, на что рассчитывал бравый лейтенант, но святых чувств к невесте у него не было да и не могло быть. Вырубов кое-что знал о связях невесты, и кто говорил — сам царь, кто говорил — генерал Орлов... А свадьба была значительна и торжественна («Неутешно плакала императрица; так она рыдала, как не рыдает купчиха напоказ, выдавая своих дочек. Казалось бы, могла ея величество удержать свои слезы в своих комнатах...»). Вырубов знал, что попалось ему не сокровище. А потому, когда торжественная часть брачной процедуры закончилась и молодые остались одни, свитский моряк изволил заметить:

— Я часто бываю в командировках по флотам, но это не значит, что вы можете принимать у себя Орлова или... или этого ничтожного господина с высоким положением. В случае же чего — во!

И возле круглого лица новобрачной вдруг оказался здоровенный кулак, обрамленный ослепительным манжетом с янтарной запонкой. Огорченная такой увертюрой к семейной жизни, Анютка напрасно ждала мужа в постели. Вырубов решил играть в бильярд.

— Сударь, где же вы? — пришла за ним Анютка.

Намеливая кий и топорща ус, лейтенант ответил:

— Чтобы я... да с царской шляхой... никогда! Лучше пойду на улицу и за рубль возьму проститутку. Это будет честнее...

На все попреки Анютка шептала в оправдание одно:

— Я не я, а моя судьба лишь орудие чужой судьбы.

— Ну, это слабое утешение! — отвечал лейтенант, сам с собой играя на бильярде. — Иди и спи... декадентка паршивая!

Утром уже Вырубова, а не Танеева, звонила Гришке:

— Отец, ты прав. Ничего не получается.

— А я что говорил? — обрадовался Распутин...

Дача Вырубовой в Царском Селе находилась на Церковной улице в доме № 2, который примыкал к дворцам, и вскоре (по приказу императрицы) в ограде сделали особую калитку: толкни ее — и сразу из дворца можно попасть на вырубовскую дачу. Недавно вернулся из Прибалтики генерал А. А. Орлов, звериная сущность которого особенно импонировала императрице: «Если бы и мой Ники был таким сильным и жестоким, подобно Орлову... О?о, как бы мучительно и пылко я его любила!» При дворе поговаривали, что Орлов за свои кровавые карательные экспедиции получит титул графа, но Николай II позволил палачу лишь называть себя Орлов-Балтийский. В опасном четырехугольнике (царь — Анютка, царица — Орлов) генерал-каратель занимал сейчас особое положение. Императрица внимательно изучала царствование Екатерины Великой, в котором ее потрясло, что Екатерина мужа своего Петра III считала недостаточно твердым, как и она своего супруга Ники. С помощью фаворита Орлова Екатерина II устранила мужа с престола, чтобы самой стать императрицей...

— Аня — сказала Алиса как-то Вырубовой, — а ты не находишь, что возникла роковая аналогия? С одной стороны у меня Орлов, а с другой — Григорий. Если их совместить в именах, то получится Григорий Орлов — почти как у Екатерины Великой... Почему ты молчишь? Разве ты не веришь в символы судьбы?

Вырубова даже не узнала своей подруги: Александра Федоровна сидела в кресле-качалке, чеканно-прямая, с ровным холодным настроением, волевая и решительная. Синий папиросный дым обволакивал императрицу, которой недавно исполнилось 35 лет.

— Екатерина тоже была немкой, как и я, — говорила она, — а в истории России осталась с титулом «великой»!

Один из современников писал: «Царица в это время разделяла тревоги, которые приносит жертвам своим страшная *mania persecutiva*, с молодым и красивым генералом Орловым. Связь была давно всем известна... Мужу не могли нравиться эти отношения, его самолюбие страдало, но отвлечь жену от Орлова не было ни мужского умения, ни, может быть, охоты!»

Бульварная пресса Европы подливала масла в огонь, продолжая указывать истинного отца наследника русского престола. Летом, при открытых окнах, охрана Александрийского дворца не раз слышала, как ругались царь с царицей. Хотя, скандала, они вели речь только на английском языке, но в речи Николая II проскакивала русская брань и часто поминалось имя Орлова.

В один из вечеров, когда императрица уже покинула дачу Вырубовой, а Орлов еще приводил себя в порядок, с улицы раздался звонок, возвещавший о несвоевременном прибытии лейтенанта.

— Ах, боже! — заметалась по комнатам Анютка. — Скорее покидайте меня... это он... он. Я пропала... прыгайте в окно!

Орлов выдержал характер до конца, и прежде чем сигать в окно, он еще поцеловал Вырубовой ручку. Лейтенант шквалом ворвался в комнаты и успел разглядеть, как в теплых сумерках улепетывал командир лейб-гвардии Уланского полка императрицы.

— Ну, теперь держись, царская шлюха!

Но даже под тумачами Анютка стойко молчала, беря вину царицы на себя. Утром, собираясь на службу в морскую канцелярию его императорского величества, лейтенант сказал жене:

— Будь готова! Вечером продолжим беседу...

Второй раз такого не пережить, и Анютка помчалась во дворец, стала показывать Алисе свои синяки. Она рыдала:

— Он сошел с ума! Сана, спаси меня.

— Говоришь, он сошел с ума! Вот и хорошо...

Лейтенант А. В. Вырубов указанием свыше был объявлен при дворе умалишенным, нуждающимся в особом надзоре. Но «лечиться» на родине не пожелал, и его спровадили в Швейцарию; перед отъездом он зашел в офицерское собрание, где как следует и напился. Спьяна он высказал то, о чем другие помалкивали:

— Вы думаете, я пьян? Не-ет, я не пьян. А этот романовский бардак давно пора прихлопнуть. Вы думаете, я не знаю, от кого рожден наследник престола? Об этом вся Европа болтает...

На беду его, здесь же в собрании оказались и великие князья, числившиеся в Гвардейском экипаже. Умные из них смолчали, а те,

что поглупее, донесли лично императору.

— Орлов прогнал уже до печенок, — сказал царь. — И пусть убирается в Египет на курорт в Геллуане, без права возвращения в отечество. Денег я ему дам. Но прежде поговорю с ним...

После разговора с царем наедине, где Орлову была любезно предложена чашка чаю, генерал вышел бледный, весь в поту. «Мне дурно», — сказал он, падая. Его подхватили и отправили на вокзал — прямо к отходу поезда. Была глубокая ночь, поезд приближался к пограничной станции Вержболово, когда Орлов, испытав облегчение, попросил крепкого кофе... Экспресс Париж — С.Петербург замер возле рубежного столба. Агенты тайной полиции при свете карманных фонарей вынесли красавца из вагона. «Умер от чахотки», — писал граф Витте. «Отравился», — шептались в столице. «Был отравлен по приказу царя», — точно указывала французская пресса. Императрица велела похоронить Орлова в Царском Селе (вне кладбища!) и теперь заодно с Вырубовой часто навещала его могилу, осыпая ее цветами. Сидя на скамейке, они навзрыд плакали... «Мой соловушка», — говорила Алиса. «А какой был красавушка», — вторила ей Вырубова... Эта могила тоже соединяла их. Столь разные, две женщины были отныне нерасторжимы, как сиамские близнецы. Но гибель Орлова была для императрицы страшным ударом. «Несомненно, — сказано в одной книге, — Орлов был одним из тех, на кого рассчитывала с наступлением революции супруга безвольного царя...»

* * *

Царь не оставлял своих попыток покорить Столыпина:

— Петр Аркадьич, а все-таки не мешало бы вам повидать Распутина... Поверьте, от него исходит почти зримая благодать.

— Ваше величество, — отвечал Столыпин, — благодать стала анахронизмом, а мы живем в двадцатом веке, который, как я догадываюсь, станет веком революций... Что умного может сказать мне ваш Распутин? Или вы думаете, я никогда мужиков не видел?

...Скоро в Думе заговорили о генерале Сухомлинове.

2. Cela me chatoville

Сразу же берем под наблюдение киевского генерал-губернатора Владимира Александровича Сухомлинова: вот он надевает красные гусарские штаны, плотно облегающие его старческое убожество; не оставаясь нем, он заполняет время туалета романсом:

Отцвели уж давно хризантемы в саду,
Но любовь все живет в моем сердце больном...

Именно за это желание петушиться его и прозвали Шантеклером. А красные лосины нужны генералу ради физиологического омоложения. Сухомлинов опять влюблен. Он бесстыдно влюблен в замужнюю женщину, которая по возрасту годится ему в дочери! Какой скандал... Покойный генерал Драгомиров не раз уже говорил ему:

— Владимир Александрович, да ведь не штаны красят человека, а человек штаны красит... Азбучная истина, милый вы мой!

* * *

Современники считали, что из военных наук Сухомлинов отлично усвоил салтыково-щедринскую науку «о подмывании лошадиных хвостов». Смолоду отчаянный офицер кавалерии, он полюбил лишь внешнюю оболочку жизни — красивых женщин, веселые компании, комфорт и денежки. Ради популярности много писал под псевдонимом Шпора; под старость выпускал брошюры, прикрываясь именем Остапа Бондаренко, вымышленного рубаки, якобы живущего теперь в сытой тишине полтавского хутора. Генерал и сам не заметил, когда и как из дельного офицера он превратился в брюзгу-консерватора, зубоскалящего везде, где речь заходила о новшествах в армии... Военная наука вступала в кризис! Славная русская конница уже теряла

генеральную роль, ибо ее стали подкашивать пулеметы. Н. Н. Сухотин, профессор Генштаба, ратовал за новые приемы кавалерийской тактики, — Сухомлинов, словно хороший жеребец, оборжал Сухотина в печати, назвав его «табуретным всадником». XX век ставил перед войсками задачу маскировки, воин нуждался в защитной форме цвета хаки, — Сухомлинов опять ржал: не лучше ли одеть солдат в серые мешки с дырками для пяток, чтобы показывать их врагу, когда от него удираешь? Именно это плоское остроумие стареющего бонвивана было принято царем за творческий ум, а бойкость пера — за деловые качества. Киевляне же знали истинную цену своему генерал-губернатору и умником его не считали. К тому же, человек в летах, Сухомлинов запутался в своих романах и браках. Первая жена его, баронесса Корф, не оставила по себе памяти. Вторую генерал вырвал уже с мясом и кровью из объятий законного мужа — Корейши (это был директор Института гражданских инженеров). С этой второй женой история темная. Она председательствовала в киевском Красном Кресте, и непонятно куда испарились 60 000 казенных рублей. Киевляне убеждены, что Сухомлинов сам же и понуждал жену к растратам. А когда грабеж обнаружился, он вложил в рот жене капсулу с ядом... Возник — без передышки — новый роман.

Екатерина Викторовна Бутович, урожденная Гошкевич, женщина была статная, с развитой грудью, волоокая; про таких, как она, принято говорить: «Баба с изюминкой во рту». В юности служила машинисткой в конторе адвоката Рузского, где ее облюбовал помещик Бутович и взял себе в жены. 3000 десятин жирного чернозема, которыми владел Бутович, вскормили захудалую красоту, но мотовства по модным лавкам муж не одобрял, и скромная блузочка мадам Бутович была украшена одним лишь крестиком, когда ее в киевском театре Н. Н. Соловцова встретил Сухомлинов.

— К такой очаровательной шейке, — сказал опытный ловелас, — необходимо колье египетской Клеопатры! Вы и без того прекрасны, но, позволю заметить, вам нужна должная оправа...

А что такое киевский генерал-губернатор? Это человек, у которого власть почти королевская, и Екатерина Викторовна сообразила, что Сухомлинов может создать ей «оправу». Первый шаг сделала она сама, имитировав перед мужем сцену самоубийства.

— Катя, скажи, зачем ты решила уйти из жизни?

— Изверг! — отвечала она низким трагическим голосом. — Ты загубил мою невинность и молодость, так не мешай мне любить человека, который так чутко понимает мою тонкую душу.

Владимир Николаевич Бутович горько рыдал:

— Я тебя люблю и не стану мешать твоему чувству...

Сцена как в дешевой мелодраме! Здесь тебе и загубленная юность, и благородный муж, жертвующий своим счастьем, и пылко ожидающий любовник (в красных штанах!). Наверное, тем бы все и закончилось, как уже не раз кончалось на Руси, но тут австрийский консул Альтшуллер, владевший на Крещатике подозрительной конторой по сбыту чего-то, дал Сухомлинову совет:

— Недавно из дома Бутовичей выехала во Францию мадемуазель Гастон, служившая у них гувернанткой. Нужно бы достать справочку, заверяющую нас в том, что господин Бутович много лет подряд тайно прелюбодействовал с означенной француженкой...

Мелодрама в доме Бутовичей завершилась оплеухой:

— Вот тебе, стерва! — сказал муж жене. — Я взял тебя из ничтожества, а ты... Тебе захотелось вывалить меня в грязи, а самой стать генеральшей? Так я не дам тебе развода!

Он запер жену в полтавском имении, отдав ее под охрану кучеров и управителей, а сам, взяв сына, укатил в Ниццу.

— Что будем делать? — растерялся Сухомлинов.

Альтшуллер исправно подогревал грязную похлебку:

— Я уже приготовил свадебный подарок — коллекцию мехов, которую знатоки оценивают в сто тысяч рублей. Но госпоже Бутович следует тоже проявить некоторую активность...

Прослышав о подарке, красавица бежала с унылого хутора и объявилась в кабинете генерал-губернатора.

— Только вы, благородный и чистый рыцарь, — встала она перед ним на колени, — только вы можете спасти мою невинность, и я, благодарная вам, вручу вам то самое трепетное и святое, что только может вручить женщина мужчине...

В это время (совсем некстати) явился Кулябка:

— Ваше высокопревосходительство, а я опять к вам. Опять по поводу Альтшуллера... Отдел контрразведки Генштаба вторично напоминает вам, что общение с этим господином угрожает безопасности нашего государства. Альтшуллер — шпион, и это ясно!

— Допустим. Но... где доказательства?

— Альтшуллер четырежды в год ездит в Вену для дачи отчетов, и мы, конечно, при его докладах не присутствуем. Но есть подозрения, и весьма основательные. Также хотел бы обратить ваше внимание, что в Киеве бродят нехорошие слухи, своими ушами слышал, как хохлы зовут вас «жидовским батькою». Обществу не понять, отчего генерал-губернатор избрал в свои ближайшие друзья маклеров Марголина, Бродского, Фурмана и прочих.

— Помилуйте, — возмутился Сухомлинов, — но я ведь бываю и в доме Стуковенковых, всем известно о моей дружбе с ними.

— Стуковенков — сифилисолог, и ваши регулярные захождения к нему по пятницам наводят киевлян на мысль...

Сухомлинов схватился за виски.

— Боже мой, боже мой... Сколько мрази нанесли к моему порогу. Николай Николаич, а не можете ли помочь мне?

Кулябка пожал плечами:

— Корпус жандармов — это ведь не пожарная команда на все случаи жизни... Что я могу сделать, если Бутович находится в Ницце? Могу лишь послать к нему доверенное лицо, и пусть оно повлияет на него, чтобы он в разводе не упорствовал.

Уходя из кабинета, Кулябка веско добавил:

— Но всему есть предел, ваше высокопревосходительство! Нельзя же черновики своих бумаг по бракоразводному делу Екатерины Викторовны сочинять на бланках конторы Альтшуллера...

В Ниццу им был командирован Дмитрий Богров.

— Владимир Николаич, — заявил провокатор Бутовичу, — вам предлагается уступить жену мирным путем... без военных действий. Известная вам фирма расходов на развод не пожалеет.

— Опять гешефты! — разъярился Бутович.

— Воля ваша, — ответил ему Богров, — но мне кажется, что своим согласием на развод вы лишь закрепите постфактум.

— Что это значит? — обомлел несчастный муж.

— А это значит, что ваша супруга не на хуторе... Она уже давно ночует под кровом генерал-губернаторского особняка.

Бутович вернулся в Киев, взял в руки тяжелую дубину и стал караулить Сухомлинова при его выездах. Он хотел треснуть Шантеклера по его лысому гребню, но удар дубины отбили ловкие

адъютанты. Тогда он, как дворянин, вызвал Сухомлинова на дуэль, однако не нашел секундантов. Быть на стороне оскорбленного Бутовича, противостоя самому генерал-губернатору, в Киеве никто не осмелился. Затравленный муж решил не сдаваться.

— Мне уже не нужна моя жена, — говорил Бутович, — эта алчная беспринципная женщина... Но мне важен принцип чести!

Однажды вечером его настиг, как выстрел из-за угла, звонок по телефону из генерал-губернаторского дома.

— Господин Бутович, — сказал ему Альтшуллер, — от имени его высокопревосходительства имею честь заверить вас, что генерал-губернатор согласно существующим законам империи обладает правом выслать вас в Сибирь как возмутителя общественного порядка. И потому мы дружески вам советуем... уступите жену?

Альтшуллер звонил из кабинета Сухомлинова, куда он имел доступ на правах друга, и адъютанты генерал-губернатора уже не раз ловили его за руку в те моменты, когда он начинал рыться в секретных бумагах. В это время радио еще только входило в быт нашей армии, оно было новинкой и называлось «беспроволочным телеграфом». На первых киевских опытах армейского радирования присутствовал и Альтшуллер, внимательно приглядываясь. Офицеры киевских штабов иногда звонили на дом главнокомандующему военным округом Сухомлинову и... вешали трубку:

— Опять к телефону подоспел консул Альтшуллер, а назвался такими словами: «Генерал-губернатор у аппарата». Но его выдает акцент, каким Сухомлинов, слава богу, пока еще не владеет!

* * *

— День еще только начался, — сказал император, — а у меня уже трещит голова. Опять меня ждет эта каторга...

— Ты ждешь доклада Столыпина? — спросила Алиса.

— Петр Аркадьич заявится в субботу, а сегодня мне никак не избежать доклада от Александра Федоровича.

Александр Федорович Редигер — военный министр империи. Имя этого человека почтено и уважаемо. Профессор Академии российского Генштаба, всем внешним обликом — воплощение интеллигента (залысина, тонкий облик, пенсне), Редигер принял военную машину России в период поражений на полях Маньчжурии. Автор многих научно-военных трудов, которые долгое время считались почти классическими, высокообразованный человек, он имел смелость указывать Николаю II на необходимость демократических реформ в армии. Обрусевший швед, Редигер был суховатым педантом-аккуратистом. Некрасивый и лишенный светского блеска, он не развлекал царя своими докладами, а лишь пытался вовлечь его в ту сложную *работу*, которую проводил сам... Вот он опять стоит на пороге, а из-за эполет Редигера выглядывают адъютанты, и скоро кабинет императора оказывается завален схемами железных дорог Германии, графиками мобилизаций Австрии, картограммами достоинств пушек Крезо и Шнейдера, Круппа и Путилова... С указкой в руке, похожий на строгого учителя, Редигер говорил нудным писклявым голосом: «Итак, ваше величество, глядя на эту схему, мы имеем коэффициент полезного действия артиллерии на площади, равной показателю, выраженному у нас в сумме икс — игрек. Далее...» В руках исполнительных генштабистов шуршали свитки новых схем, и Николай II прилагал невероятные усилия, чтобы, скрывая зевок, показать министру, как ему все это безумно интересно.

— Продолжайте, Александр Федорович, я вас слушаю... — А после доклада он жаловался Алисе: — Нет, я не выдержу. Редигер делает из меня мочалку. На весь день я уже выбит из колеи.

— Так убери его, Ники, и поставь другого министра.

— Кого, Аликс? — надрывно вопрошал император.

— Ну, хотя бы того же Куропаткина.

— Он опозорился в войне с японцами. Не могу простить ему, что при бегстве он оставил японцам свою дурацкую кровать...

— Тогда возьми помощника Редигера — Поливанова. ^[7]

— Поливанов — знающий генерал, но беда в том, что якшается с думскими горлопанами, либеральничает с Гучковым...

Поглощенный наукой и службою, Редигер только за пятьдесят лет огляделся по сторонам и увидел, что жизнь прошла мимо. Он срочно и

по-деловому женился на петербургской барышне Ольге Ивановне, робевшей от сознания величия своего мужа. Когда молодые подкатили из церкви к своему дому на Фонтанке, из толпы встречающих вдруг выскочил неизвестный толстый человек и поднес пылавшей невесте букет ароматных хризантем. Редигер, полагая, что это давний знакомый жены, учтиво пригласил его в свой дом, дабы совместно выпить по бокалу шампанского.

— Оленька, — шепнул он жене, — а кто этот господин?

— А я сама хотела спросить вас об этом...

Выяснилось, что в их дом проник князь Андронников, известный в свете под именем Побирушка; мало того, он зачастил в дом Редигеров, давно испытывая подозрительное пристрастие к делам войны и мира России. Но деликатный и умный хозяин вел себя с Побирушкой холодно и сдержанно, не пуская его дальше пуговиц своего мундира. Побирушке это не нравилось. Вскоре появились слухи, что государь от Редигера «скучает», и Побирушка сразу затерся в кабинет помощника военного министра Поливанова.

— Я думаю, — заявил с апломбом, — что именно вам следует занять пост министра, а Александра Федорыча попросим вон...

— Пошел ты вон, — спокойно отвечал Поливанов...

Профессионал военный до мозга костей, Редигер доказывал царю, что армия не должна исполнять карательные функции:

— Допустимо ли держать в гвардии офицеров, которые тушили папиросы о тела женщин, лишали узников воды, насильно поя их водкой, практиковали, осмелюсь доложить, прыганье по грудной клетке человека до тех пор, пока не раздавался хруст ребер?..

Но, как писал очевидец, «нет той картины человеческих страданий, которая могла бы тронуть это высушенное вырождением сердце, нет предела полномочий, которых царь не был бы готов дать кому угодно для непощадного избиения своих подданных».

Редигеру царь отвечал злорадным смешком:

— *Cela me chatoville* (Это щекотно)!

...в Думе опять делали запрос о Сухомлинове.

3. Хоть топор вешай!

Третья Дума! «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй...» Иногда в газетах писали: депутат такой-то «из фракции правых перешел к националистам». Пусть обыватель думает, что депутат сильно полевел. Но верить нельзя. Я при этом вспоминаю, как однажды на воловьей ярмарке разговорились два хохла: «Слушай, — сказал один, — наших гусаров переводят в ваше село, а ваших переводят на постой в наше местечко». — «Скажи на милость! Какая же разница?» — «Разница очень большая: у ваших гусар штаны желтого цвета, а у наших синие». — «Так не лучше ли оставить всех гусаров на прежних постоях, только обменять им штаны?» — «Можно и так! Но, посуди сам, в чем же будут ходить гусары, пока им обменяют штаны?»... Примерно так же происходили и партийные перебежки в Думе — кто левел, кто правел. На самом же деле все оставались на прежнем «постое» реакции, только менялся цвет их партийных штанов. Какая, скажите мне, разница, если был ты черный, как сапог, а стал чернее сажи? Ведь нету, черт побери, разницы между Понтием и Пилатом и быть ее не может, ибо это — одно и то же лицо...

Внимание, читатель! Столыпин (усы вразлет, глаза навывкате) уже поднялся на думскую трибуну, которую депутаты имели неосторожность наречь «эстрадой».

— Реформы — дело будущего, — говорил он увесисто. — Вот когда в России появится крепкий фермер, земельный собственник, живущий богатым хутором, оснащенный машинами и наемной рабочей силой, тогда вы не узнаете прежней России...

* * *

Тон в Думе задавали октябристские и кадетские лидеры. Профессор Родичев, явно рисуясь перед дамами, заполнившими ложи

для публики, намекнул на «столыпинский галстук», который премьер затягивал на шее русского общества. Моментально затрещал звонок в руке председателя Хомякова, и Родичев был исключен из Думы на 15 заседаний, а депутаты устроили Столыпину шумную овацию со вставанием. Даже черносотенцы поняли, что это смешно. В расшаркиваниях перед властью кадеты уклонились в область политической проституции. Знаменитый думский хулиган Марков (по прозвищу Марков-Валяй), сам будучи крайне правым, нанес зубодробительный удар тем, что были не крайне правыми.

— Господа, — заявил он им с «эстрады», — в моих глазах вы достойны жалости. О чем хлопчете вы там? Никакой конституции у нас, слава богу, нет. Не было ее и не будет... А за вами ведь не стоит никакой силы. — Марков при этом показал на скамьи левых, где сидели социал-демократы, связанные с Лениным. — Вот эти господа, когда они резко и грубо нападают на правительство, то за ними есть сила! Сила решимости идти на баррикады, а вы на баррикады не пойдете... Так что же стоит за вами? — спросил Марков. — Перестаньте же размахивать картонными саблями, не пугайте нас хлопушками либеральных программ. Я ведь знаю, что, если вам скажут — пошли прочь, вы покорно встанете и уйдете отсюда, трясясь от страха...

Марков-Валяй, как видите, был неглуп. Правда, благодаря присутствию в Думе таких вот Марковых Столыпину пришлось подумать о создании особой полиции — думской. Когда начинались рукопашные разногласия между партийными господами, в зал заседаний влетали соколы-приставы и в одну минуту растаскивали фракционеров за фалды их фраков, словно дерущихся собак за хвосты. А с высоты «эстрады» председатель Хомяков (сын знаменитого славянофила) обзванивал Думу колокольчиком. Впрочем, по правде говоря, сам Хомяков и сделал из Думы это вульгарное «чрево общества». Именно его сомнительные остроты, которые он время от времени бросал в раскаленный зал, и положили начало новой скандальной эпохе русского парламентаризма. Образовался особый вид жаргона — парламентарный, перенасыщенный словечками, за которые на улице городской призвал бы к порядку. Депутат Вараксин (кстати, священник) столь часто прибегал к помощи матерного лая, что пришлось составить протокол о его «духовном неистовстве». На хорах

для публики, куда пускали по билетам, не раз уже краснели дамы, а некоторым из них мужья вообще запретили шляться в парламент: «Соня, ты же приличная женщина... Как тебе не стыдно?» Обстановка иногда напоминала такую, о какой в народе принято говорить: хоть топор вешай! Русский парламент — не английский, а русские депутаты — это вам не милорды.

Вот Родичев произносит речь, а из зала кричат:

— Кончай, Федька, все равно врешь...

Берет слово похожий на моржа историк Милюков.

— Пошел вон... ты опять пьяный! — провожают его.

Депутат Караулов имел несчастье сидеть в тюрьме.

— А ты, рожа каторжная, вообще молчал бы...

А в кулуарах Думы, сунув пальцы в кармашки жилета, похаживал курский депутат Марков-Валяй.

— Хожу вот... выжидаю, когда Пуришкевич в уборную побежит, — сообщает он радостно. — Решил, знаете ли, набить ему морду...

Раскрывая газеты, обыватель заранее хихикал:

— Ну, поглядим, что нонче в Думе отмочили. Кого матюшком приласкали, кому пенсне протерли... Веселые собрались люди! Да и с чего им печалиться, ежели по червонцу в день получают.

Одного пассажира в поезде мужики расспрашивали:

— Скажи нам, пожалуйста, ваше благородие: есть нонче Дума в Питере или это одна газетная брехня?..

* * *

Но царь постоянно испытывал влияние Думы, которую по кривой дорожке уже не объедешь. Надо 11 миллионов для закладки новых крейсеров, а там, глядишь, на «эстраду» вылез Пуришкевич.

— Россия не переживет второй Цусимы! — кричал он. — Вторая Цусима — это вторая революция, а значит, и полное уничтожение монархии, без которой мы не мыслим себе жизни. Пусть сначала министры дадут нам гарантии, что Цусима не повторится, что больше

не будет броненосца «Потемкина» с его бунтом, а до тех пор, господа, мы не дадим на флот ни копейки!

Из полумрака министерской ложи беспокойно посверкивал цыганскими глазами Столыпин — слушал. В отличие от царя, желавшего игнорировать Думу, премьер активно сдружался с нею, понимая, что парламент, пусть даже самый плюгавый, все-таки это труба общественного мнения. Столыпин вел большую игру с членами ЦК октябристской партии, которой он безбожно польстил, назвав ее лидеров «сливками общества». Россия после поражения в войне с японцами быстро набирала военную мощь, потому и дебаты об ассигнованиях на дело обороны — самые острые, самые ранящие. А к портфелю военного министра судорожными рывками, словно пантера, завидевшая лань, уже давно подкрадывался ситцехлопчатобумажный фабрикант Александр Иванович Гучков, с которым Столыпин вошел в глубокие конфиденции... Гучкова военные дела привлекали еще смолоду. Он сражался в Трансваале за буров против англичан и был жестоко ранен пулей «дум-дум», участвовал в Македонском восстании за свободу Греции, под Мукденом был взят в плен японцами. Гучков смело дрался на кровавых дуэлях, — робким купчишкой его никак не назовешь!

27 мая 1908 года Гучков попер на рожон — пошел на конфликт с великими князьями, плотно обсевшими все горушки военного правления. Главный удар он обрушил на Николая Николаевича, который возглавлял Совет Государственной Обороны. Гучков прицелился точно: если ты занимаешь ответственный пост, так будь любезен и быть ответственным за свои деяния. Но в том-то и дело, что их высочества Романовы суду общества не подлежали, а Гучков штамповал с «эстрады» страшные слова:

— Постановление неответственных лиц во главе ответственных отраслей военного дела является делом совершенно ненормальным... Государственный Совет Обороны, во главе с великим князем Николаем Николаевичем, является серьезным тормозом в деле улучшения нашей армии и нашего флота...

Дядя Николаша, прочитав речь Гучкова в газете, побежал с жалобой на оратора к царственному племяннику:

— Престиж древнего института великих князей подорван окончательно. Россия больше не может относиться с доверием ни ко

мне, ни к моему брату Петру и прочим великим князьям... Опровержения-то не последовало? Редигер смолчал? Ты тоже молчишь?

Николай II обещал дяде опубликовать «благодарственный рескрипт», обещал в нем высоко оценить «научное и практическое» значение дяди в деле развития оборонных сил своей державы.

— Выходит, меня на свалку? — обиделся дядя.

— Ну, а что я могу сделать? Мы схвачены за горло...

Дядя Николаша вернулся в Стрельну, где проживал, выпил пять бутылок шампанского и распахнул двери кабинета.

— Ванда, ко мне! — позвал он любимую суку.

Помахивая хвостом, вошла красивая борзая. Дядя Николаша снял со стены клинок и одним взмахом отсек голову собаке. Горячая собачья кровь пламенем ударила ему в лицо...

* * *

Пора раскрыть карты: речь Гучкова — это слова Столыпина, но премьер, нанося из-за кулис удар по камарилье, кажется, не рассчитал силы взрыва. Рикошетом осколки полетели в него же, Столыпина, — назревал кризис власти. Со дня на день все ждали, что премьер подаст в отставку. Вместо этого Петр Аркадьевич, как ловкий престижист на арене цирка, выкинул неожиданный фортель: от партии октябристов переметнулся к националистам (сменил темно-серые штаны на светло-черные). Но кампания против него продолжалась, и Николай II эти дни с большим удовольствием наблюдал за унижением премьера, попавшего в «кризис».

— Столыпин не Бисмарк, а Редигер не Мольтке. Столыпина я заставил подобрать хвост, а Редигеру никогда не прощу, что он публично не опроверг высказывания Гучкова...

И тут, читатель, мы подошли к роковой развязке. Слухи о старческих шашнях Сухомлинова уже давно щекотали воображение думских депутатов. Однако потребовать у царя отставки Шантеклера либералы побоялись. Они избрали путь окружной — завели нудную

речь о нерентабельности киевского гевеал-губернаторства вообще, надеясь таким окольным путем свалить и Сухомлинова. Но результат, которого добивались думцы, оказался совершенно обратный их чаяниям... Николай II признался жене:

— Если Сухомлинова бранят в Думе, значит, в этом человеке есть нечто значительное. Я видел Владимира Александровича на последних маневрах. Он так смешил меня анекдотами... Не чета этому бубнили Редигеру с его таблицами во всю стенку!

В декабре 1908 года к перрону вокзала в Киеве был подан вагон-люкс, в который грузили множество кафров и чемоданов. Возле отъезжающего Сухомлинова, держа его под руку, стояла чужая жена. Он отъехал в Петербург, где его ждало назначение на пост начальника Генерального штаба русской армии. Багаж, с которым он прибыл на берега Невы, был грязный бракоразводный процесс и еще... Альтшуллер; этот тип немедленно тронулся за Сухомлиновым в Петербург — поближе к тайнам русского Марса!

Всю дорогу Екатерина Викторовна усиленно хлопотала над своим Шантеклером, словно заботливая курочка:

— Что хочет мой драгоценный пупсик? Молочка? Или налить рюмочку коньяку? Боже, ты бы знал, как я сгораю от любви...

На плюшевых диванах люкса убаюкивало сейчас самую трагедийную фигуру нашей истории кануна Великой Революции!

4. Гром и молния

На углу Невского и Надеждинской — толпа, сумбурная и настырная. Отовсюду сбегаются любопытные:

- Скажите, а что тут случилось?
- Ой, никак опять кого-то мотором задавили?
- Да нет. Ничего особенного. Распутин идет.
- Простите за серость, а кто это такой?
- Стыдно не знать, сударь... Вот он!
- Где, где? Ой, да не пихайтесь вы.
- Вон... дерется с бабой!
- Тетя Даша, иди сюды скоряе, отселе виднее...
- Дайте и мне посмотреть. Это тот, что в шляпе?
- Да нет, с бородой, за него баба цепляется.
- Мама-а! Ты видишь? А я вижу...
- Ай, кошелек стащили! Только что был — и нету!

Распутин попал в нечаянный переплет. Только он вышел из дома, как на него из подворотни выскочила генеральша Лохтина в широком белом балахоне, словно санитар на чумной эпидемии, а балахон она предварительно расшила ленточками, цветочками и крестиками. Распутин, не желая публичного скандала, бешено рвал из ее пальцев подол рубахи, сквернословя, кричал:

— Расшибу, сатана худая... Ой, не гневи!

Но сумасшедшая баба держала его крепко, хихикая:

— Бородусенька, алмазик ты мой, освяти меня. Или не видишь, живот-то какой! Христосика порожу вскорости...

Толпа хохотала, а городовые свистели:

— Разойдись! По какому случаю собрались?

Гришка понял, что надо спасаться. Он размахнулся и треснул генеральшу кулаком в лоб. Лохтина, ойкнув, отлетела в сторону, Гришка, верткий как угорь, прошмыгнув через гущу толпы, сразу вцепился в поручень проезжавшей мимо пролетки:

— Гони, черт такой! — А в толпу, оборотясь, крикнул на прощание: — Нашли что смотреть. Добро бы умная, а то дура...

Городовые уже вели Лохтину в участок.

— А мы вот поглядим, какая ты генеральша...

Развевая балахоном, спятившая баба орала:

— Не троньте тела моего — оно святое! Я с самим Христом плотски жила, только разлучили нас люди коварные...

Один хороший пинок, и, развевая ленточками и крестиками, поклонница Распутина вылетела на свет божий. А коляска с Распутиным уже заворачивала на Инженерную — к дому статс-секретаря Танеева, отца Анютки Вырубовой и Саны Пистолькорс...

* * *

Прошло уже пять лет, как Илиодор впервые встретил Гришку Распутина в Петербурге; с тех пор иеромонах заматерел в молитвах, но еще не потерял иноческой выправки. Жизнь его выписывала сложные синусоиды взлетов и падений... В разгар революции он был назначен преподавателем в Ярославскую семинарию, где с резким политическим задором, не выбирая выражений, повел черносотенную пропаганду. Но большинство семинаристов были настроены революционно, и педагога они поколачивали. А когда узнали, что Илиодор ненавидит Льва Толстого, они литографировали его «Крейцерову сонату» и в темном уголку дали на подпись как список лекций по вышнему промыслу. Илиодор сгоряча подмахнул: «Одобряю!» — а вышла потеха, весь Ярославль смеялся. Кончилось все это тем, что семинария забастовала, прося убрать Илиодора, и семинарию закрыли... Илиодор перебрался в Почаевскую лавру на Волыни, где его пригрел Антоний (Храповицкий), давший монаху несколько наглядных уроков, как следует владеть интригой, чтобы черти завидовали. Здесь Илиодор выступил с погромными речами как «охранитель престола», и слава о его проповедях дошла до ушей царя. Николаю II импонировало мнение Илиодора, что в народных бедствиях повинны одни евреи и интеллигенты. Илиодор превратил церковную кафедру в политическую трибуну, на Волыни запахло дымком погромов... Антоний сказал:

— Знаешь, Илиодорушко, катись-ка ты отсюда подальше, а то, брат, потом неприятностей не расхлебать будет!

Илиодор отвечал Антонию:

— Уйду, но ты меня послушай... Народ у нас мягонький, будто пушок заячий, его и так и эдак крути, он все себе поворачивается. И на любой крик бежит охотно. Настали времена смутные, и нет на Руси правды. Будь моя власть, я бы огнем по земле прошелся, все спалил бы дотла, а потом создал бы новое царство — мужицкое! Знаешь, как при Иване Грозном было? Едет опричник по улице, возле седла его приторочены метла паршивая и башка пса дохлого. Вот едет он, супостат, и красуется. Ничего худого еще не сделал. Слова бранного никому еще не сказал. Едет он, а на улице уже пусто... Все разбежались!

— Это к чему ты сказал мне?

— А вот знай: там, где я пройду, скоро тоже все разбегутся. Пусто и мертво станет... Это я — гром и молния!

Илиодор перебрался в Саратов — под крылышко архиепископа Гермогена, который приветствовал его словами: «Паси ветер и пожнешь птиц парящих!» В газетах тогда писали, что эти столпы черносотенства «поражают нас и своею узостью, и своей талантливостью». Никакому эсеру, прошедшему огни и воды, не удавалось подняться в агитации до такого пафоса, до такой силы внушения, до каких поднимался Илиодор, умевший покорять словам тысячные массы людей. Наш журнал «Наука и религия» недавно тоже воздал ему должное как блестящему оратору: «Он умел говорить образно, страстно, доводя толпу верующих до высокого, почти истерического накала. У него была устоявшаяся слава защитника и благодетеля бедных». Способный говорить часами, пока люди не падали в обморок, Илиодор умел быть и лапидарен, как Александр Македонский перед побежденными (в этом сказывалась прекрасная академическая выучка). Но делить с Гермогеном славу Илиодор не захотел и твердо обосновался в Царицыне, превратив этот город в автономную цитадель «илиодоровщины». Что он тут вытворял — непередаваемо! По его указам пароходы на Волге меняли расписания. Илиодор врвался в публичные дома, переписывал всех, кого заставлял там, а утром царицынские матроны с ужасом читали в газете, где и с какой проституткой провел эту ноченьку ее благоверный. Илиодор

обрушивал целые ниагары брани на властей предержавших: чиновники — взяточники, приставы — шкуродеры, полицмейстеры — воры, а губернатор — дурак. С малярной кистью в руках он шлялся по улицам и мазал квачем лица прохожих, имевших несчастье носить очки или портфель. «Не нравится, сучья морда?» — спрашивал их Илиодор... Синод запретил ему проповеди — не подчинился. Синод запретил печататься — не подчинился. Синод велел ехать в Минск — не подчинился. Наконец, он выгнал из губернии самого губернатора графа С. С. Татищева, который, обескураженный от стыда, явился к Столыпину.

— Петр Аркадьевич, — сказал он, — а вы хоть секите меня, но я бежал. Что делать, если Илиодор стал сильнее меня!

— Мы это сейчас же исправим. — Столыпин велел полиции арестовать Илиодора, отправив его в Минск по этапу; машина МВД заработала, и через день премьер был извещен из Царицына, что полицейские участки в городе полностью разгромлены илиодоровцами, сам полицмейстер ранен, а морды всех приставов, с помощью того же легендарного квача, вымазаны какой-то особой пахучей краской, которую не отмыть даже скипидаром. — Хорошо, Сергей Сергеевич, — сказал премьер Татищеву, — возвращайтесь на свое воеводство, а я буду действовать теперь через его величество...

Николай II, под давлением Столыпина, издал указ — Илиодору ехать в Минскую епархию и сидеть там тишайше. Илиодор не подчинился! Император издал второй указ. Илиодор, ознакомься с ним, сказал, что поедет... только не в Минск, а скоро открыто появился в столице — гостем царского духовника Феофана.

— Где это видано, — спросил он его, — чтобы человеку в монашеском образе не давали сказать того, что он думает?

Феофан сильно изменился (похудел, потускнел).

— А ну тебя! У меня своих забот словно мух осенью...

Выяснилось, что его положение при дворе пошатнулось.

— Из-за чего, отец Феофан?

— Из-за Гришки... пса!

— Какого Гришки? — удивился Илиодор.

— Или забыл Распутина? Я ж его, чалдона поганого, и во дворец сам втаскивал. А ныне он возлетел. Ох, обманулся я! Нет святости — одни бесы скачут. Сказал я государю, что Гришка плут и бабник, так

что? Тьфу ты, господи... Теперь царица глядит на меня, будто солдат ва вошь. Больше ты ничего не спрашивай...

Илиодор понял, что защиты себе надобно искать в другом месте. И оказался в доме статс-секретаря Танеева, где поджидал приезда из Царского Села его дочери. В гостиную вдруг смелым шагом вошел Григорий Распутин, и монах не забыл отметить в своих мемуарах, что «брюки из дорогого черного сукна сидели на его ногах в обтяжку, как у военных, а дорогие лакированные сапоги бросались в глаза блеском и чистотою...» Поразительно, что Распутин моментально узнал Илиодора и сразу же двинулся к нему, уже отлично извещенный обо всех скандалах в Царицыне.

— Што голову-то повесил? Не робей, монашек, епископом будешь. А власть, от бога данную, не лай, не лай, — наставительно произнес Распутин, даже грозя пальцем. — Люцинеров и жидов мажь чем хошь, но власть божью не трогай... Грех!

Илиодор невольно ощутил величие этого мужика.

— Мне бы, Гриша, опять в Царицын вернуться. А как вернешься, ежели один указ от Синода, а еще два указа — от царя...

Распутин искренно рассмеялся:

— Што нам указы, коль мы пролазы?..

Потом легко, как на пружинах, скрипя кожей сапог, повернулся к дамам, стал целовать всех подряд, при этом руки его очень ловко и виртуозно обводили фигуры женщин от грудной клетки до бедер, каждый раз как бы выписывая форму гитары. Но все это делалось им спокойно и строго, как будто он, опытный инженер, прикидывал на ощупь размеры нужных ему для работы деталей, и ни одна из дам не протестовала... все в порядке вещей.

Снизу слышался шум — это приехала Вырубова.

* * *

Вошла она — высокая, мощногрудая, с зонтиком в руке, уже усталая, сразу плюхнулась в кресло, заговорила:

— Эти поезда меня замучили: то в Царское, то из Царского... Папа, — обратилась она к отцу, — а ты собрался на службу?

Танеев стоял с громадным портфелем в руках, на котором белела платиновая табличка с надписью «В знак непорочной 50-летней службы от благодарных подчиненных». Илиодор с ненавистью посматривал как на портфель, так и на очки статс-секретаря: будь это в Царицыне — так в рожу квачем бы! Пускай потом две недели подряд скипидаром моется... Позже он записывал: «Распутин в это время прямо-таки танцевал возле Вырубовой, левой рукой он дергал свою бороду, а правой... хватал ее за груди и меня немного стеснялся. Потом он бил ее ладонью по бедрам, как бы желая успокоить игривую лошадь. Вырубова покорно вертелась, а отец ее стоял рядом и жмурился... Далее свершилось нечто сказочное: Вырубова упала на землю, дотронулась лбом обеих ступней Распутина, потом поднялась, трижды поцеловала старца в губы и несколько раз его грязные лапы. Ушла...» Она ушла, но осталась Сана Пистолькорс, и Распутин (в присутствии ее отца и мужа) проделал с Саной целый ряд манипуляций, как и с Вырубовой... Уже на улице Распутин спрашивал Илиодора:

— Видал как? Я из этой Саны беса уже выгонял. Сейчас-то она ничего, а раньше на всех кидалась... Я ведь как? Больше касательством работаю. От меня сила исходит. Хошь, и тебя трону? — Он обнял Илиодора и спросил: — Ну что? Учужал силу мою?

— М-м-м-да-а, — неопределенно промычал Илиодор...

Не стыдясь прохожих, Распутин на улице рассуждал:

— Министеров, хадов, не бойсь — они только и знают что хвост Столыпина с подушки на одеяло перекладывать. А в Синоде обер-прокурором торчит Лукьянов-профессор. Но я ученых не люблю, скоро ему провожаньце сделаю... Цыть им всем!

Илиодор решил: была не была — и ляпнул:

— Гриша, помоги мне — хочу царя повидать.

— Лучше ты царицку проси — мамка у нас с башкой.

— А царь не обидится, что я его обхожу?

— Да не! На нас-то чего ему обижаться? Тока не будь дураком, дай маме расписку, что власть царскую ты лаять не станешь...

Илиодор описал это свидание в Царском Селе: «Высокая, вертлявая, с какими-то неестественно-вычурными ужимками и

прыжками, совсем не гармонизировавшая с моим представлением о русских царицах... она поцеловала мою руку. Потом моментально села в кресло и с грубым немецким акцентом заговорила: „Вы из Петербурга?“ Эти слова были сказаны так неправильно, что я не понял их. Произошла крайне тяжелая и неприятная пауза. Из беды выручила Вырубова. Она передала мне вопрос царицы на чистом русском выговоре. Государыня тогда засыпала как горохом: „Вас отец Григорий прислал? Да? Вы привезли мне расписку по его приказанию, что вы не будете трогать правительство?..“

Илиодор вышел от царицы победителем! Плевать он хотел теперь на Синод священный и даже на царя с его премьером. На следующий день иеромонах повидался с Распутиным, поехали они помолиться на могилку Иоанна Кронштадтского. «Когда мы с ним шли по лаврскому парку, Григорий не пропускал ни одной дамы, чтобы не пронизать ее своим упорным, настойчивым взглядом». Неожиданно Гришка засуетился: «Спрячь меня, ой, закрой, дай сховаться...» На садовой дорожке показался какой-то старенький генерал, читавший надгробные эпитафии. Распутин присел на корточки и забился головой под рясу монаха, Илиодору было очень противно свое дурацкое положение.

— Ну, вылезай, Гриша, генерал уже миновался.

— Фу! — сказал Распутин. — До чего ж там душно у тебя, как в бане побывал...

— А что это за генерал такой?

— Откуда я знаю? Но я, брат, военных обхожу. Они на меня глядят как-то не так, как все другие люди...

Был он в этот весенний день празднично одет — в дорогом сером пальто и при шляпе. Разговаривал очень охотно:

— Вот, брат, штука! В Камышлове на станции меня жандармы с поезда ссадили. Народ хохочет, думают, фулигана пымали. А в участке спросили, кто таков, я сказал, и отпустили.

— Ну и что? — не понял его Илиодор.

— Как что? — взбеленился Распутин. — Это же все козни Синода противу меня, это Столыпин меня насильничает... Слышал я от людей верных, будто на меня уже целый архив скопили!

Илиодор продемонстрировал перед Гришкой свое отточенное искусство, как надо расправляться с идейными противниками на

митингах. С расстояния пяти метров он цыкал в них плевком, и плевком обязательно попадал в оратора.

— Молодец ты! — похвалил его Распутин. — А я так больше глазом действую. Бывало, гляну и сам вижу — плохо человеку...

Между ними установились самые приятные отношения.

— Гриша-а... дру-уг, — нежно говорил Илиодор.

— Сережа-а, мила-ай, — сладостно выпевал Распутин.

— У меня врагов... ой сколько!

— Не хвались! У меня их больше, — отвечал Гришка...

Поддержанный могучим авторитетом Илиодора, Распутин в эти дни был принят в черную сотню. Но, побывав разочек в клубе союзников, он больше туда не заглядывал, ибо не выносил, где только разговаривают, но выпивки и плясок не предвидится...

* * *

Настал день прощания. Илиодор отъезжал обратно в Царицын, Гришка провожал его на вокзале. Прозвенел гонг — друзья обнялись, целуя друг друга, иеромонах говорил:

— Теперь ты к нам, Гриша... мы с Гермогеном ждать будем. Встречу устроим — во! Все телеграфные столбы в твою честь повыдергиваем, молебен устроим. Волгу повернем вспять...

Поезд тронулся, Распутин шагал вдоль перрона.

— Осенью! — кричал. — Раньше не могу... ждите осенью!

Накануне они договорились, что Распутин будет явлен в Царицыне под видом «изгонителя блудного беса», — богатый столичный опыт в этом деле Гришка переносил в провинцию. А премьер Столыпин был крайне удручен оттого, что на Илиодора не действовали ни указы Синода, ни указы самого императора.

— Вот нечистая сила! — сказал он...

5. Мой пупсик — мольтке

В 1870 году, в самый канун нападения на Францию, начальник германского генштаба знаменитый Мольтке ночевал в своем имении. К нему послали офицера — с известием, что завтра грянет война. «Хорошо, возьмите с левой полки третий портфель справа», — велел Мольтке офицеру и снова уснул...

— Владимир Александрович, — сказал Николай II, — я привел вам этот случай с Мольтке, чтобы вы поняли: вам предстоит роль исторического человека. Мне сейчас не нужен просто хороший генерал Сухомлинов — мне нужен русский Мольтке, и я с глубочайшим удовольствием назначаю вас на пост начальника Генштаба!

Свидание с царем происходило в бильярдной, где царь обычно принимал доклады министров. Зал имел большие затемненные антресоли, в тени которых пряталась императрица, все слушающая. Сухомлинов отвечал царю, что он рад принять назначение, но сразу же выговорил для себя право личного доклада царю.

— Вне зависимости от Редигера, — подчеркнул он...

В конце 1908 года русская дипломатия потерпела стыдное поражение. Извольский в условиях тайны встретился в замке Бухлау с Эренталем, австро-венгерским министром иностранных дел, и в обмен на открытие черноморских проливов для русского флота он дал Вене согласие на аннексию Боснии и Герцеговины.

Проливы не открылись, но зато австрийцы ввели армию в сербские провинции. Это была вторая Цусима для нас — только дипломатическая! Боснийский кризис до крайности обострил противоречия между империями, он стал тем узлом, который могла развязать только война. Европа жила как в лихорадке, ей снились дурные сны. Близость грандиозной войны уже чуялась всюду, и обыватель, просыпаясь, удивлялся, почему ему не пришла призывная повестка. В этом году, бряцая саблей перед ускоренным выпуском юнкеров гвардейской кавалерии, кайзер Вильгельм II проболтался: «Кажется, настало время, чтобы дерзкая банда в Париже снова на своей шкуре испытала, на что способен наш славный померанский

гренадер. Похоже, что нас хотят окружить (намекнул он на союз России с Францией)! Что ж, — упоенно заливался кайзер, — *они могут идти*: германец всегда лучше сражался, когда на него нападали с двух сторон. *А мы готовы...*» Французский генштаб переслал в Петербург своим русским коллегам утешительное известие: «Мы работаем так, будто война уже началась». Сухомлинов велел ответить в Париж, что на берегах Невы мух ноздрями не ловят, а тоже трудятся в поте лица. Он принял Генштаб от генерала Ф. Ф. Палицына, который сдал Сухомлинову несколько шкафов военных планов на будущее. Тут была разработка операций на все случаи жизни — будь то перестрелка на Кушке или натиск германских полчищ на Вильно. Сухомлинов с какой-то дикой яростью повел борьбу с этими шкафами. С подлостью (непонятной!) он вырывал из досье листы и схемы, нарочно перепутывал пагинацию страниц, кромсал кланы ножницами, обливал таблицы чернилами. Так завистливый любовник брызжет раствором соляной кислоты в лицо недоступной красавицы... Изгадив все, что только можно, Сухомлинов потом сам же и жаловался генералу Поливанову:

— Алексей Андреевич, не пойму, за что в обществе так нахваливали Федю Палицына? Ведь он там какой-то компот мне оставил. Уж на что я, человек опытный, и то не мог разобраться!

Весной 1909 года царь принял Редигера в бильярдной.

— Александр Федорович, вы прекрасно выглядите. — Сверкнув стеклами пенсне, Редигер поклонился; Николай II точно положил шар в узкую лузу. — Мне всегда было приятно служить с вами, и от ваших сугубо научных докладов я испытывал подлинное наслаждение. Мною уже подписан рескрипт о награждении вас орденом Александра Невского. — Редигер снова поклонился, а царь долго намеливал кий. — Однако, — сказал он, — допустив послабления думским демагогам, вы потеряли авторитет в армии и... Вы потеряли мое монаршее доверие!

Редигер понял — это отставка (под чистую).

— Когда прикажете сдать дела? — спросил он.

— Почему вы не спрашиваете — кому?

— Я догадываюсь, ваше величество...

Сухомлинов стал военным министром и, вернувшись от государя, был страстно расцелован Екатериной Викторовной.

— Боже, мой пупсик — Мольтке... Как я счастлива! Наклонись ко мне: я поцелую тебя в самую серединку моей дорогой лысины.

Расцвет карьеры малость изгадила столичная пресса, неодобрительно именуя «пупсика» Мардохеем, а грамотный читатель намеков сразу понял, ибо Мардохей был дядей библейской Эсфири... Начинался медовый месяц стареющего павиана! Боже упаси утомлять его величество схемами, картограммами или таблицами с коэффициентами полезного действия. Рассказав царю свежий анекдот, Сухомлинов выгружал на стол эскиз юбилейного значка, куски цветного сукна для пошива новых мундиров. Император отодвигал в сторону модели остроконечных пуль, оставшиеся еще от Редигера, с удовольствием прикладывал к своему мундиру новую тряпочку. С антресолей спускалась императрица, втроем они прикидывали, красиво ли будет выглядеть синий лацкан на желтом фоне... В эти дни Германия переслала России угрожающую ноту, больше похожую на ультиматум, по поводу Боснийского вопроса, Берлин почти приказывал уступить Австрии, и Николай II с логикой (которая недоступна моему пониманию) сказал Сухомлинову:

— Мощь нашего государства ослаблена, мы сейчас неспособны вести войну, а потому (?), Владимир Александрович, я прошу вас поскорее разобраться с женой господина Бутовича...

Вернувшись из Царского Села, русский Мольтке почему-то никак не мог попасть в свою спальню. Когда же достучался, то дверь ему открыл цветущий кавказец с длинным унылым носом.

— Позалуста, — сказал радушно. — Мы вас так здали!

Это был миллионер, бакинский нефтепромышленник Леон Манташев. Он как ни в чем не бывало рассказывал:

— Мы вот тут с Екатериной Викторовной увлеклись мечтами. Я соблазняя ее ехать в Египет смотреть пирамиды фараонов.

— А я не поеду, — сказала Екатерина Викторовна тоном капризной девочки. — На кого я оставлю моего пупсика?

Сухомлинов с чувством поцеловал ей ручку.

— Леон Александрыч, я вручаю вам свое сокровище. А тебе, Катенька, надо видеть мир. Во всей его необъятности. Ты ведь теперь столичная дама! Поезжай, душечка...

Манташев с глубоким вздохом воззрился на часы.

— Очень заль расставаться, но мне пора. Екатерина Викторовна, не отказывайтесь от лицезрения египетских пирамид. Из Египта мы навестим римские бани Каракалла, где еще сохранились фрески, из коих наглядно видно, что способы человеческой любви в древнем мире были таковы же, что и сегодня...

Далее «молодая» жизнь Сухомлинова созидалась уже на прочной нерушимой основе: он давал пятьдесят рублей — на булавки, Манташев добавлял к ним пятьсот — на шляпку, Сухомлинов клал пятьсот рублей — на платье, Манташев тут же добавлял еще пять тысяч — на обретение модной шубы из шкур леопарда. Сухомлинов денег на Катеньку не жалел. Манташев тем более не жалел их...

Ну, а что тут можно еще добавить? Известно, что счастлив в любви только тот, кто счастлив. Да и разве цветущая госпожа министерша не стоила честных мужских расходов?

— Мой пупсик — Мольтке, — и поцелуй, поцелуй...

Эх, повезло же человеку на старости лет!

* * *

Побирушка начал еще с порога кабинета:

— Владимир Александрович, все уже знаю... все! Меня не обманешь. Видел уже. Как же! Кто не побежит смотреть Екатерину Викторовну? Таких дураков в Петербурге нет... все бегают и все любят. Сегодня имел счастье поднести ей фиалки...

Андронников уселся в кресло напротив Сухомлинова, уверенным жестом выбрал из коробки сигару.

— Конечно, — сказал он, втыкая ее в жирный рот, — Москва не сразу строилась, и счастье надо добывать в бою... Знаю! Все знаю. Извещен. В этом бракоразводном процессе могут возникнуть нежелательные трения. Понимаю. Их надобно избежать. А посему полагаю, что без лжесвидетельства не обойтись...

— Как вы сказали? — наострился Сухомлинов.

— Ведь этот буйвол Бутович уперся в закон. Вот если бы он, допустим, сблудил... тогда было бы очень хорошо!

— Михайла Михайлыч, что вы предлагаете?

— Это вы мне предлагаете... всего тысячу рублей.

— Зачем?

— Как зачем? А кто в Париж поедет?

— Простите, а зачем ехать в Париж?

— Ах, боже мой, я же русским языком толкую вам, Владимир Александрович, что нужна справка... Справка о том, что муж Екатерины Викторовны не раз прелюбодействовал.

— С кем? — отупело спросил Сухомлинов.

— С мадемуазель Гастон... с гувернанткой!

Сухомлинов долго тряс жирную руку Побирושки.

— Ради бога, голубчик, выручите... Екатерина Викторовна истрадалась. Бедняжка! Вы даже не знаете, как этот изверг Бутович тиранил скромную женщину... А чем кормил, знаете?

— Еще не выяснил.

— Овсянкой! — доложил военный министр.

— С ума можно сойти, — отвечал Побирושка.

— Такую женщину и кормить овсянкой? Это не просто разврат — утонченный разврат! Такой человек только и мог сожительствовать с гувернанткой...

Получив командировочные от министерства, Побирושка смотался в Европу, откуда вывез на родину справку о том, что мадемуазель Гастон незаконно сожительствовала с господином Бутовичем, и эту справку поместили в святейший Синод, ведавший на Руси бракоразводными делами. Но тут мадемуазель Гастон, прослышав об этом, отдала себя в руки медицинской экспертизы Парижа, и в архивах Синода появилась еще одна справка о том, что госпожа Гастон до 33 лет сохранила целомудрие... Сухомлинов пребывал в панике: «Ну, кто же мог подумать такое о француженке? Кошмар... Ах, как она подвела нас!» Нравственность гувернантки Гастон неожиданно обрела мощный международный резонанс: посол Франции явился в министерство иностранных дел и принес Извольскому протест от имени Французской республики (наши историки отмечают, что протест был «пламенный»)! Побирושка сунулся было в Синод, но из покоев выскочил разгневанный митрополит Владимир, главный эксперт по части разводов.

— Прочь, нечестивец! — заорал он, взмахивая посохом. — Я кого только в своей жизни не разводил, но в таких гнусных помойках, как ваша, еще не копался... Сухомлинов — уже не мальчик, мог бы и успокоиться. Не будет им божьего благословения!

Побирушка стакнулся с Альтшуллером. «Ну, а теперь что нам делать?» — спросили они друг друга... «Черный кабинет» вскоре перехватил два письма Сухомлинова, посланные им в Киев к сахарозаводчику Льву Бродскому; в них министр открыто выражал свое желание видеть Бутовича отравленным. Потом многие документы из сейфов Синода пропали, а митрополит Владимир слег в постель, убежденный, что кто-то подмешал ему в пищу яд. Бутович с малолетним сыном от Екатерины Викторовны таскался по заграницам, проедая по курортам доходы от своего чернозема, потом решил вернуться домой, чтобы (как он говорил) «искать правды у царя». На пограничном вокзале в Эйдкунене в купе к нему подсел тучный господин восточного типа, который сказал:

— Владимир Николаевич, если вы пересечете границу империи, вы сразу же будете арестованы как германский шпион...

В эти дни Екатерина Викторовна проговорила перед своей дальней родственницей — госпожой Червинской:

— Ах, Наташа! Да я скорее лягу на рельсы, как Анна Каренина, но уже никогда не вернусь на бутовичский хутор...

Одетая с вызывающей роскошью, она теперь обедала только у Кюба или Донона, где публика, привлеченная скандальным разводом, шепталась о ней: «Вот сидит штучка Сухомлинова!», и это ей даже льстило (она согласна быть хоть «штучкой»). Громадную поддержку оказывал им сам царь. Николай II еще смолоду, когда командовал батальоном преображенцев, поощрял браки офицеров с женщинами скомпрометированными. Каждый, кто женился на падшей особе, мог рассчитывать на его благосклонность и быстрое продвижение по службе. Царь вызвал обер-прокурора Лукьянова.

— Я не хотел бы вмешиваться в дела Синода, но поймите меня правильно: Сухомлинов должен жениться на госпоже Бутович, чтобы министр мог спокойно трудиться на благо отечества.

Лукьянов согласился дать развод, но съязвил:

— Поймите и нас, государь! Каково же будет положение Синода, если каждый новый министр для того, чтобы спокойно трудиться на

благо отечества, будет уводить от мужей чужих жен?

Николай II рассмеялся и сказал любезно:

— Войдем в положение Сухомлинова — ему уже на седьмой десяток, так дадим же старику побаловаться перед смертью.

«Баловство» закончилось ритуалом свадьбы, шаферами в которой были Побирушка и Альтшуллер, причем Побирушка сказал:

— Владимир Александрыч, в кавалерии всегда существует падеж лошадей, а шкурами, снятыми с них, никто не озабочен. Позвольте сдиранием шкур заняться мне... вполне бескорыстно!

— Я понимаю, — отвечал Сухомлинов, — что корысти тут нету, одна чистая трогательная романтика и... шкурная забота!

После свадьбы бакинский миллионер Леон Манташев сразу же повез госпожу министершу лицезреть пирамиды в Египте, откуда они завернули в Рим для осмотра банных фресок Каракалла. Из интересного путешествия Екатерина Викторовна вернулась подвижной, сильно загорелой, а шею ее окружало драгоценное кольцо, словно выкраденное из гробницы египетской Клеопатры.

— Сколько ж, Катя, ты заплатила за эту прелесть?

— Это дешевка, пупсик, в Каире никто даже не смотрит...

Сухомлинов вдруг загрустил:

— Скажи, птичка моя, а Леон Александрович... он случайно не делал тебе никаких игривых предложений?

Госпожа министерша погрузилась в обморочное состояние:

— Как ты мог подумать? — разрыдалась она. — Я свято несу свой крест — быть женою великого человека!

* * *

Ах, читатель! Я ведь не бездушная литературная машина и, когда пишу, переживаю за своих героев. Честно скажу — мне иногда и жалко этого старого человека в красных штанах. Сидел бы себе в Тамбове, командуя кавалерийской дивизией, «винтил» по маленькой в клубе, «цукал» на смотрах господ корнетов, качал на коленях белокурых внучек — и все было бы в порядке. Так нет, черт возьми! Царь велел

ему стать «историческим человеком», и Сухомлинов... стал им. Весною 1917 года его окружила яростная толпа. Под градом кулаков и насмешек оплеванный старик уже не будет понимать, что происходит, и тогда неуместным покажется белый Георгиевский крест на его шее — ведь это его славное прошлое, его молодость, когда он отлично сражался в седле. Затем наступит жалкое прозябание в Берлине, где, оглохший и глупый, он будет писать всякую ерунду, чтобы самому очиститься, а других испачкать. В необъятном море белоэмигрантской литературы книги Сухомлинова — самые плачевные. В них нет даже злости — лишь обиды да кляузы. И глаза старику уже не закроет Екатерина Викторовна... Великие события мира растворили эту женщину в себе, будто жалкую муху, упавшую в чан с кипящей кислотой.

6. Бархатный сезон

Бархатный сезон в разгаре... Наезжающие в Ялту бездельники, гуляя по окрестностям, упирались в ограду с надписью:

ЛИВАДИЯ

ИМЕНИЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

— Сюда нельзя, — словно из-под земли появлялись охранники. — Требуется особое разрешение ялтинского градоначальника...

Вокруг Ливадийского дворца, под шум тополей и кипарисов, свежо и молодо звенели фонтаны — Мавританский, Венера, Нимфа и прочие. Ветер с моря доносил до помазанников божиих очаровательные ароматы экзотических растений, всхоленных в оранжереях. По вечерам над Ялтою разгоралось зарево электрических огней, туда спешили ночные пароходы, там люди фланировали по бульварам, танцевали на площадках, окруженных фонариками, ели и пили, поднимая бокалы за прекрасных дам, по-своему они были счастливы, и бархатный сезон в Ялте — это, конечно, чудо!

По воздушной перголе, увитой розами, гуляли царица и Вырубова с русско-татарскими разговорниками в руках.

— Я боюсь — бен коркаим, мы боимся — бизлер коркаимыс, — твердили они. — Бабочка — кобелек, баня — хамам, блоха — пире, я люблю — бен северым, пистолет — пыштоф...

Вдали шумела праздничная Ялта, там играли оркестры.

— Скажи, — спросила императрица, — тебе никогда не хочется вырваться из этой золотой клетки на волю?

— Иногда мне, правда, скушно, — созналась Вырубова.

Александра Федоровна окунула лицо в ворох прохладных роз, ее рука забросила в кусты татарский разговорник.

— Мне тоже надоела эта... тюрьма!

Крайности всегда имеют тяготение одна к другой, как полюса магнитов. Парижский апаш читает роман из жизни маркизы, а сама маркиза читает роман из жизни апашей. Царям тоже иногда бывало любопытно подсмотреть недоступную народную жизнь.

— Сана, — вдруг предложила Вырубова, — отсюда до Ялты извозчики берут полтинник. Оденемся попроще и будем вести себя как обычные гуляющие дамы... Ведь на лбу у нас не написано, что ты царица, а я твоя приближенная...

Взяли извозчика, покатали. Алиса оборачивалась:

— Как-то даже странно, что нас никто не охраняет.

— Странно или страшно?

— И то и другое. Ощущение небывалой остроты...

— Вот видишь, как все хорошо!

Извозчик спросил, куда их везти в Ялте.

— Высади возле «Континенталья».

— Но там дорого берут, — заволновалась царица.

— Ладно. Тогда возле «Мариино», там дешевле...

На открытой веранде «Мариино» они ели мороженое, потом с некоторой опаской вышли на Пушкинский бульвар. Ялта город странный: каждый приезжий — барин, каждый ялтинец — лакей барина. Подруги были в больших шляпах, тульи которых обвивала кисея, обе в одинаковых платьях, с одинаковыми зонтиками, на которые опирались при ходьбе, как на тросточки.

— Как интересно, — говорила императрица, вся замирая. — Воображаю, как мне попадет от Ники, когда он узнает...

На лбу у них — да! — ничего написано не было. Но все-таки, смею думать, что-то было там написано. Потому что один молодящийся жуир наглейше заглянул под шляпу императрицы.

— Недурна, — сказал он и побежал за ней следом. — Мадам, приношу извинения за навязчивость, но желательно...

— Пойдем скорее, — сказала Анютке царица.

Ухажер не отставал:

— Мадам, всего один вечер. Три рубля вас устроят?

Вырубова едва поспевала за императрицей.

— Боже, за кого нас принимают!

Сбоку подскочил пижон, беря Анютку под руку.

— Чур, а эта моя... обожаю многопудовых!

Назревал скандал. Вырубова не выдержала:

— Отстаньте! Вы разве не видите, кто перед вами?

— Видим... или вам пяти рублей мало?

Александра Федоровна истошно закричала:

— Полиция! Городово-ой, скорее сюда...

Не спеша приблизился чин — загорелый как черт.

— Чего надо? — спросил меланхолично.

— Я императрица, а эти вот нахалы...

Раздался хохот. Собиралась толпа любопытных.

— Пошли, — сказал городской, хватая Алису за локоть.

— Я императрица... Как ты смеешь! — вырывалась она.

Другой рукой полицейский схватил и Вырубову:

— А ты тоже... в участке разберутся...

К счастью, в толпе оказался богатый крымский татарин Агыев, который не раз бывал в Ливадии, где продавал царю ковры.

— Бен коркаим! — крикнула ему царица по-татарски.

— Бизлер коркаимыс, — тоненько пропищала Вырубова...

Агыев решительно отбросил руки городского.

— Дурак! Или тебе в Сибирь захотелось?..

Пока они так общались с внешним миром, вся Ливадия перевернулась в поисках пропавших. Николай II был страшно бледен.

— Где вы пропадали? — набросился он на жену.

— Ники, какой ужас! Меня сейчас приняли за уличную даму, и знаешь, сколько мне предлагали?..

— Хорошо, что тебя не приняли за царицу, — в бешенстве отвечал Николай II. — А сколько тебе давали, я не желаю знать.

— Нет, ты все-таки знай, что давали три рубля.

— А за меня целых пять, — ехидно вставила Анютка.

* * *

— Представляю, — сказал Столыпин, завивая усы колечками, — как оскорблена императрица, что за нее давали на два рубля меньше... Впрочем, ей попался какой-то дурак, который плохо знаком с подлинным ялтинским прејскурантом!

Вися на волоске, почти на грани ежедневной отставки, Петр Аркадьевич умышленно бойкотировал молодую царицу, сознательно раздувал слухи о ее психической ненормальности и лесбийской

привязанности к Вырубовой; он делал ставку на императрицу старую — на Гневную. А на его столе неустанно трещали телефоны.

— У аппарата Столыпин, — говорил он, и на другом конце провода вешали трубку. — Это, знаете, зачем звонят? Проверяют — сию ли я на месте или меня уже скovyрнули в яму?

Он принял синодского обер-прокурора Лукьянова.

— Сергей Михайлыч, надо что-то делать с Илиодором... Он, дурак, зарвался до того, что уже не понимает, где лево, где право, хоть привязывай к его лаптям сено-солому.

Лукьянов, профессор общей патологии и директор института экспериментальной медицины, попал в синодскую кастрюлю, как неосторожный петух. Он был приятелем и ставленником Столыпина, которому, естественно, во всем и повиновался.

— Но помилуйте, — сказал он, — что я могу сделать, если Илиодора поддерживает какой-то Гришка Распутин?

— Не «какой-то», — поправил его Столыпин. — К великому всероссийскому прискорбию, я должен заметить, что возле престола зародилась новая нечистая сила. И если мы сейчас не свернем Гришке шею на сторону, тогда он свернет шею всем нам! — Премьер извлек из стола досье. — Вот бочка с грязью, в которой собраны богатейшие материалы об этом псевдонародном витязе. Это я затребовал в департаменте полиции, и там покривились, но дело дали... Грязный мужик позорит монарха на всех углах, а сам монарх, наш инфант-терибль, этого не понимает. Посему мы, здоровые люди, должны открыть государю глаза!

— Вы хотите говорить с ним?

— Если выслушает...

Вечером в Зимнем дворце премьера навестил вежливо пришептывающий Извольский, который не расставался с моноклем, но не умел его носить, и потому лицо министра постоянно искажала гримаса тщательного напряжения лицевых мускулов. Боснийский кризис решил отставку Извольского, и Столыпин для заведования иностранными делами уже готовил своего родственника — Сазонова... Берлин исподволь бужировал войну, а германский генштаб решил «создать в России орган печати, политически и экономически обслуживающий германские интересы». Для этого совсем не

обязательно создавать в Петербурге новый печатный орган — еще удобнее перекупить старую газету, авторитетную среди читателей.

— «Новое Время», — доложил Извольский, — как раз и попало под прицел. Сегодня мне позвонил профессор Пиленко, старый суворинский холуй. Он сказал, что немцы действуют через Манасевича-Мануйлова, а денег не жалеют... Беседа с Пиленко прервалась, ибо ко мне вдруг явился сам германский посол — граф Пурталес. Пурталес был явно смущен и грыз зубами трость... «Разговор между нами, — сказал он, — пусть и останется между нами. Но я попал в очень неловкое положение. Берлин перевел в мое распоряжение восемьсот тысяч рублей для подкупа вашей русской прессы».

— Так, — кивнул Столыпин. — Дальше?

— Дальше я постарался свести разговор к шутке.

— Правильно сделали! Пурталес пошел на открытие тайн Берлина только потому, что он, мудрый дипломат, боится войны Германии с нами. Он понимает, как далеко заведет нас эта война. А что касается Манасевича-Мануйлова, то... я вам покажу!

Столыпин извлек из ящика стола громадное донесение о провокаторских происках Манасевича-Мануйлова, украшенное резолюцией премьера: *«ПОРА СОКРАТИТЬ МЕРЗАВЦА. СТОЛЫПИН»*.

За окном вдруг гроыхнул бурный ливень.

Извольский откланялся, сказав на прощание:

— Сейчас в Ялте бархатный сезон, вообще-то принято...

— Да, да! — перебил его Столыпин. — Я уже знаю, что вы скажете. Обычно принято от царей приглашать своих министров в Ливадию ради отдыха, но в эту осень царь не позвал — ни меня, ни вас, ни Лукьянова... Отчего так, как вы думаете?

— Я об этом не думаю.

— А я думаю... Всего хорошего. Мне надо выспаться.

* * *

Бархатный сезон начался анекдотом — анекдотом и закончился. 24 октября в пьяную голову царю взбрело одеться в солдатскую форму при полной выкладке — со скаткой шинели, с брякающим котелком и с винтовкой, взятой «на плечо». В таком виде, сильно шатаясь, он продефилировал по Ялте, и в пьяном солдате все узнали царя. В дождливом Петербурге Столыпин, прослышав об этом казусе, был вне себя: «Какой позор! Теперь надо спасать этого комика...» Премьер срочно выехал в Крым, проведя в душном вагоне 39 часов долгого пути; в вагон к нему забрался журналист из влиятельной газеты «Волга», и ночью Столыпин, блуждая вдоль ковровой дорожки, крепко сколачивал фразы интервью.

— Дайте мне, — диктовал он, — всего двадцать лет внутреннего и внешнего покоя, запятая, и наши дети уже не узнают темной отсталой России, восклицание. Абзац. Вполне мирным путем, запятая или тире, как вам удобнее, одним только русским хлебом мы способны раздавить всю Европу...

В Ливадии его ждал пристыженный пьянкой царь.

— Вам предстоит реабилитировать себя...

Николай II покорно подчинился. На него снова напялили солдатское обмундирование. Он, как бурлак в ярмо, просунул голову в шинельную скатку, вскинул винтовку «на плечо». Столыпин царя не щадил» в ранец ему заложили сто двадцать боевых патронов, а сбоку пояса привесили шанцевый инструмент и баклагу с водой.

— Не забудьте отдавать честь офицерам!

Николай II маршировал десять верст, после чего подставил себя под объективы фотоаппаратов. Для ликвидации скандала всему делу придали вид преднамеренности — будто бы царь-батюшка, в неизреченной заботе о нуждах солдатских, решил на себе испытать, какова солдатская ляжка. Этим повторным маневром (проделанным уже в трезвом состоянии) хотели возбудить патриотический восторг армии. Однако русский солдат царю не поверил. Историк пишет: «Солдат очень хорошо понял, что царь „дошел“. Но не до солдатской участи, а до той грани, за которой алкоголикам чудятся зеленые змии, пауки и другие гады!»

Разобравшись с царем, Столыпин вернулся в столицу, затуманенную дождями. Низкие темные тучи проносило над Невою.

— Пора спускать собаку с цепи, — распорядился премьер. — Разрешаю начать в прессе антираспутинскую кампанию. Распоряжение негласно. Пусть газеты не стесняются. Правда, тут есть опасность, что, задевая Гришку, невольно заденут и честь царской фамилии. Не спорю, кое-кто заплатит мне штрафы за оскорбление его величества, но это дело уже десятое...

В кабинет, кося плечами, двинулся генерал Курлов с замашками удачливого уголовника. Не так давно — за расстрел демонстрации в Минске — под ноги ему швырнули бомбу-самоделку, но Курлов остался цел. Сейчас жандарм обхаживал графиню Армфельдт, успешно отбивая ее от своего подчиненного Вилламова, а перед свадьбой Курлов торопливо залечивал в клинике Джамсарана Бадмаева какую-то слишком подозрительную язву на ляжке.

— Распутин... пропал! По некоторым сведениям филеров, он брал в кассах билет до Саратова или до Царицына.

— Чего ему там надобно? — удивился Столыпин.

— Саратовский епископ Гермоген приютил иеромонаха Илиодора, а теперь Илиодор перетягивает к себе Гришку Распутина...

— Чтоб они сдохли! — закрепил разговор Столыпин.

Ночью он не мог уснуть. Ольга Борисовна спросила:

— Пьер, у тебя опять неприятности?

— Нет... просто не могу забыть выражения глаз Курлова. Наградил же меня бог помощничком! Такой не остановится, чтобы придушить в темном коридоре. Мало того, еще и пуговицы с моего фрака срежет и пришьет их на свою шинелю... Я чувствую, — признался он жене, — что тучи собираются. Если не по прямой линии эм-вэ-дэ, то хотя бы со стороны департамента полиции я должен оградить себя от роковых случайностей...

Премьер заснул, затылком уже ощущая свою гибель.

А вдали от столицы поезд проносил Распутина через ночные русские просторы, и, пьяный, он никому не давал спать в дымном и тесном купе. Стуча кулаком, все грозился:

— Никого я уже не боюсь, одних зубных врачей боюсь. Вот зубы драть — это, верно, очень больно, страшно и противно!

7. Изгнание блудного беса

Царицын... В городе было две фотографии и две типографии. Географы прошлого с похвалой отмечали, что город разлегся по косогору, отчего вся грязь самотеком сливается по улицам в Волгу, не застаиваясь на проезжей части. По дну глубокого оврага текла речка Царица, делившая город на две части. Первая была ограждена руинами древней насыпи, служившей защитой от татар; здесь скособочились ветхие церквушки, дремали в пыли сонные куры; пощелкивая семечки, в дверях лавчонок тошно зевали одурелые от тоски приказчики в рубахах навыпуск, подвергая злачной обструкции каждого прохожего. Зато в новой части города уже кричат паровозы, слышны гудки пароходов, всюду куховарят дешевые харчевни, возле гостиниц полно пролетов, а в кабаках на пристани посиживают горьковские челкаши, бароны и сатины... Пахнет тут разно — водкой и дегтем, овсом и хлебом, рыбой и кислой верблюжьей шерстью. По булыжным мостовым ветерок перегоняет клочья утеряннго с возов сена, под ногами маститых купцов жалобно пищат арбузные корки. Арбузы здесь славные, так и назывались — царицынские, вся Россия их тогда ела...

А через весь Царицын, вздымая тучи желтой пылищи, валит толпа, и в городе все живое разбегается перед нею:

— Илиодоровцы идут... спасайся кто может!

Толпа... Не дай-то бог угодить в эту толпу, если ты для нее чужой: разорвут на сто кусков, словно кошку, которая по ошибке затесалась в хоровод собачьей свадьбы. Через город, захлопнувший двери и ставни, идут илиодоровцы — биндюжники с флагами, маляры с квачами, дружинники с браунингами, бузотеры со шкаликами, лавочники с хоругвями, мясники с ножиками, бабы со скалками, старухи с иконами, мальчишки с рогатками. Нету здесь пролетариев, и полиция в своих депешах на имя Столыпина никогда не забывала отметить это обстоятельство... Впереди процессии патлатые ведьмы, полусогнутые от усилий, влекут по песку колесницу наподобие той, в каких гордые триумфаторы въезжали в ликующий Рим. Но теперь на колеснице, под белым балдахинном, украшенным курослепом и ромашками, высился

иеромонах Илиодор, проницая будущее Руси зелеными глазами лешего. Надо сказать, что зрение у него было превосходное — снайперское! Еще за версту Илиодор видел человека в очках или чиновника, который заранее не скинул фуражки. В таких случаях следовал призыв:

— Вон дурак! Бей его, чтобы умные боялись...

Илиодор останавливал трамваи, а пассажирам велел стоять в вагонах навтыжку, пока процессия не минует. Он подзывал к пристани волжские пароходы и указывал капитанам, что среди пассажиров замечены «жиды и толстовцы», которых требуется утопить в центре Каспийского моря. Никто не осмеливался возразить, а полиция с почтением выслушивала любую ахиною иеромонаха. Возле ресторана «Северный полюс» Илиодор произнес страстную проповедь на тему о том, что, пока в ресторане доверчивые христиане пьют и закусывают, «жиды и писатели творят свое черное дело». На всякий случай толпа ворвалась в зал ресторана, покалечив «доверчивых» христиан, а сам владелец ресторана дал обет посетить святые места и, стоя на коленях, всенародно поклялся быть исправным подписчиком на газету «Гром и Молния» (которая, кстати, в свет еще не выходила)... Нашелся в Царицыне такой мерзавец, который, стоя в дверях скобяной лавки, шапку-то снял (и очков не носил, слава богу), но позволил себе при прохождении толпы, стыдно сказать, *засмеяться*. Наказание было ужасно — смешливого торговца скобяными товарами окунули в выгребную яму. Затем попалась какая-то дама сорока с лишним лет, довольно симпатичная, которой Илиодор с высоты своей колесницы сделал строжайшее внушение, чтобы она на чужих мужчин не засматривалась.

— Да что вы ко мне пристали? — обиделась та. — Я иду своей дорогой, а вы идите своей. Какое вам до меня дело?

Илиодор велел ей в наказание примкнуть к его толпе.

— Да ты просто сумасшедший! — сказала дама.

Тогда Илиодор подозвал пристава и указал тому составить протокол об оскорблении духовного сана. После чего тронулись дальше — с криками: «Шапки и очки долой! Русь идет...» На балконе третьего этажа некие супруги Николаевы осмелились пить чай с ежевичным вареньем. Толпа пропела им анафему, а Илиодор произнес зажигательную речь о падении нравов, причислив любителей

чаепития к зловредной секте читателей Льва Толстого. С прапорщика запаса Волкова, идущего в банк за пенсией, сбили фуражку, а когда он, наивный человек, сказал, что офицеров бить нельзя, Илиодор крикнул: «Это социалист!» — и толпа смяла прапорщика. Жандармский полковник Тюфяев, сопровождавший процессию, решил вступить за Волкова, но Илиодор скомандовал дружине № 1, чтобы Тюфяева взяли и выяснили, нет ли у него тайных связей с масонами и синедрионом. Профессиональный борец Корень шапку перед илиодоровцами снял, перекрестившись, но с папироской не пожелал расстаться, что его и погубило... Илиодор заметил дымок.

— Брось дымить, или не видишь, что Русь идет?

— Кака там ишо Русь? — не поверил Корень.

С волжским чемпионом классической борьбы, конечно, пришлось как следует повозиться, и на подмогу дружине № 1 была брошена в бой дружина № 2. Борца все-таки связали и, паля в небо из браунингов, оттащили в острог. Толпа вышла на берег Волги, где заранее из досок и соломы было сооружено гигантское чучело «гидры революции». Илиодор заверил демонстрантов, что внутри «гидры» засели социалисты, евреи, толстовцы, кадеты и прочие, после чего прочел им всем смертный приговор, начертанный на куске красного картона. А когда чучело (под вопли «анафема»!) подожгли, Илиодору с пристанской почты принесли телеграмму.

— Братия и сестры! Великая весть дошла до нас... На наши сладкие виноградники едет могучий старец Григорий Распутин — ура, великий изгонитель бесов приближается к нам — ура!

Все это происходило не при царе Горохе, а в царствование Николая II, когда творили Максим Горький и Мечников, Репин и Циолковский, когда пел великий Шаляпин и танцевала несравненная Анна Павлова, когда Заболотный побеждал чумную бациллу, а макаровский «Ермак» сокрушал льды Арктики, когда Борис Розинг обдумывал проблемы будущего телевидения, а юный Игорь Сикорский вертикально вздымал над землею первый в России вертолет... Об этом следует помнить, чтобы не впадать в ложную крайность.

Далее я вынужден следовать секретным отчетам полиции и запискам Илиодора... Распутин приехал страшный! В каком-то драном полушубке с чужого плеча, руки не мыл с неделю, лицо изможденное, взгляд скользкий, нечистый. Сам признал, что в дороге насквозь пропился — приехал чуть ли не зайцем без копейки. «Да и общептали меня. Только было уснул, как все карманы обчистили. Был рупь, помню. Проснулся — нету...» Местная черная сотня поднесла ему хлеб-соль на подносе, как союзнику, она собрала 150 рублей, на которые справили Распутину новую шубу (был ноябрь 1909 года — уже холодало). От Саратова Гришка ехал вместе с Гермогеном, который и нашептал Илиодору: «Связались мы с ним, а зря... Бес он паршивый!» Илиодор отвечал епископу: «Я же его в Царицыне уже за святого представил». На что получил ответ Гермогена: «Козлом от него несет, а не святостью. Но коли нам пока угоден, будем его держаться. Дай ему, собаке, похмелиться!» С разговорами о трудностях в дороге и о том, что не стало в народе честности, Гришка вылакал 12 бутылок церковного кагору и даже не окосел. В оправдание себе сказал: «Это ж духовное... такого мне хоть бочку ставь!» Илиодор вспоминал: «Гришка охотно целовал молодых женщин, а старух отпихивал. Гришка у меня исповедовался: „Что я буду делать, когда царицка шугнет меня от себя?“ — Эта фраза и некоторые другие дали мне понять, что против него собирается кампания (верно: Столыпин уже начал ее!)... Гриша много рассказывал, как с Вырубовой и другими женщинами ходил в баню... как радел с Вишняковой, нянькой царских детей, и другими, как они в келье... обнимали его голову, как Вишнякова рвала на себе волосы из-за того, что ей не пришлось лежать с Гришей...» Рассказывая все это, Распутин выпытывал у монаха: «Ну, как? Соблазняешься?» Давно известно, что монах занимает женщину так же, как мужчину занимает монахиня. Женщина сердцем чувствует, что отречение мужчины «от мира» есть прежде всего отречение от нее, и поэтому женщина так стремится разбудить в монахе именно мужчину. Илиодор сейчас попал в неприятное положение. Он жил в окружении женщин, легко перешагивал через них, спящих на полу храмов, но берег себя в чистоте, никакого блуда

за ним никогда не водилось. И теперь ему стало ясно, что Гришка приехал неспроста, — ему хочется сделать монаха сообщником в разврате... Илиодор это понял и сказал так:

— А в народе-то про тебя скверно глаголют. Будто я позвал в Царицын не святого старца Григория, а жулика Распутина...

— Это нехорошо, брат, — отвечал Гришка. — Я вить делаю новый подвиг, церкви ишо неизвестный. Вишь, еропланы залетали... это новое. И я, брат, тоже новый — вроде этих еропланов. Какая с еропланов польза? Никакой. А с меня много пользы.

Распутин был заранее разрекламирован в Царицыне как «изгонитель бесов», причем Гришка уточнил по приезду:

— Женских бесов! А за мужских я не берусь... Первым делом поехали к жене извозчика Ленке, на которую Распутин произвел должное впечатление: «Огонек разума блеснул в ее черных красивых глазах, и она громко закричала на старца: „Ты зачем меня лапаешь, а? Я тебе полапаю! Вот я тебе как дам по морде, так будешь знать Ленку...“ Что она и сделала тут же.

— Силен бес, ой, силен, — заговорил Распутин, пятясь. — Ну ее... Вот стерва какая! Шарахнула-то здорово...

Следующий визит. Царицынская купчиха Лебедева, 55 лет, здоровая бабина кустодиевского типа, пудов эдак на десять весом. Дом — полная чаша. Распутин, как только осмотрелся среди богатой обстановки, сразу точно установил верный диагноз:

— Бес есть... чую! — Он обошел все комнаты, остановился в угловой тесной клетушке, где стояла широченная кровать. — Вот отседова бесу уйти уже некуда, — авторитетно заявил он мужу купчихи. — Давай, батька, волоки сюды свою бабу...

Лебедеву оставили с Распутиным наедине, а Илиодор с хозяином засели за самоваром. Поговорили о суетности жизни и вообще... Вдруг раздался страшный треск, и хозяин забеспокоился:

— Как бы мебель не испортили... эва как! Бес-то!

— Видать, бес не сдастся, — отвечал Илиодор.

В клетушке долго слышалась страшная возня, будто здоровые мужики дрались в чулане. Но при этом ни единого возгласа, ни мужского, ни женского, не раздалось. А купец молился:

— Господи, помоги старцу Григорию беса осилить...

Распутин выкатился из чулана, примеряя к рубахе оторванный подол. Он был весь в поту, через лоб пролегла яркая царапина.

— Ну, бес так это бес, скажу я вам! Не дай бог второй раз на такого нарваться... Едва управился. Ба-альшой бес был. Сам видел. Сначала-то он — под кровать. Я — за хвост и тащу его. Эй, хозяин, там в окошке стекла вылетели. Так это не я! Это бес выскакивал... Дайте выпить чего! А то сил моих не стало...

Цитирую: «Когда старец это говорил, несчастный муж плакал». Поехали с третьим визитом. О нем писано: «Е. С. Г. — богатая купчиха, молодая и красивая, а муж старый и некрасивый. От половой неудовлетворенности, считая себя бесноватой, часто кричит...» Но когда Распутин стал уводить молодуху, престарелый муж, еще не потеряв бдительности, почуял неладное и возроптал:

— Это по какому такому праву! Ён, значица, с нею останется, а я, значица, как на гвоздиках тут сиди... Зачем же так?

— Старец святой жизни, — сказал ему Илиодор.

В деле запротоколировано, что из спальни слышались «закатистые смешки и раздавались шлепанья ладонью по голому телу». Муж часто порывался встать, но Илиодор его удерживал:

— Не мешай... это наважденье бесовское.

— Да рази так бесов изгоняют? — возмущался муж.

— А как изгонять — ты знаешь?

— Не знаю.

— Тогда сиди и не рыпайся...

Распутин с купчихой вышли потом к столу и стали алчно пить чай. Муж посматривал на жену с большим недоверием.

— Ну, ладно, — сказал он ей, коля сахар. — На этот раз куды ни шло. Но ежели ты еще заблажишь, я тебя вожжами так вздую, что любой бес из тебя в момент выскочит...

Распутин попросил у него двадцать пять рублей.

— За што, мил человек?

— За беса.

— Вот с беса и получи...

Хитрущий Гермоген, почуяв назревание скандала, хотел уже скрыться в Саратов, но Илиодор не отпустил его: «Мне одному с Гришкой не справиться... Попробуй вдуди каждому в ухо, что он святой!» Дабы поднять авторитет Распутина, втроем пошли в

фотографию Лапшина, где чинно и благородно снялись на карточку в порядке слева направо: Гришка — Гермоген — Илиодор (все сидючи на стульях). Фотографии размножили в невероятных количествах и раздавали, как иконки, молящимся в храме. А пока они там «гоняли бесов», газеты уже начали травлю: Гришка читал ругань по своему адресу, страшно удивляясь, откуда журналисты знают все подробности его прошлого, и он уговаривал Илиодора ехать с ним в Покровское — там пережить газетную бурю. Неожиданно к возмущению газет подключилась и Дума, депутаты которой хотели ставить перед правительством официальный запрос о Распутине.

— Ну, поехали... пропала моя головушка!

— Не ты ли, Гриша, учил меня: «Клопов не бойся, ежели кусают — чешись!» Вот, миленький, и почесывайся...

Волгу сковало льдом, с вокзала покрикивали поезда. 27 ноября стали собираться в дорогу. До места предстояло ехать 9 суток. Распутин перед отъездом домой отбил телеграмму в Царское Село:

Миленький папа и мама вот бес то силу берет окоянай! А дума ему служит там много люцинеров и жидов. А им что? Скорей бы божего по мазанека долой и Гучков господин их прохвост клевета смуту делает. Запросы. Папа! Дума твоя што хошь то и делай. Какеи там запросы? Шалость бесовская. Прикажи. Не какеих запросов не надо

Распутин

* * *

Московский приват-доцент Новоселов выпустил о Распутине брошюру, в которой разоблачил его как развратника-хлыста и обругал Синод за попустительство распутинским оргиям. Брошюра тут же была арестована полицией, но спекулянты продавали ее из-под полы за бешеные деньги. Газетная шумиха вокруг имени Распутина охватила всю империю — «от хладных финских скал до солнечной Тавриды». В разделе фельетонов читателю преподносили теперь покаянные письма женщин — жертв «изгнания бесов». Прилагались фотографии, на

которых Распутин был изображен в кругу своих почитательниц. Тиражи газет конфисковали, издателей штрафовали, а редакторов сажали. Репрессии властей против газет имели обратное действие. Поместив материалы о Распутине, издатель охотно платил пятьсот рублей штрафа, понимая, что доход от продажи газет по повышенной цене даст ему пять тысяч рублей чистой прибыли. Было из-за чего рисковать! Антираспутинская кампания сделала имя Гришки широко известным: если кто раньше и не знал его, то теперь все ведали, что такой гад существует и он неистребим! Натиском печати исподтишка руководил сам премьер государства; одной рукой Столыпин инспирировал разоблачения старца, другой налагал штрафы за публикацию статей о нем... Думский же запрос о Распутине затормозил не кто иной, как самый опасный враг Распутина — Родзянко, неуклюжий и рыхлый господин с седым ежиком на крупной голове, часто небритый, умный и резкий.

— Не торопите события, господа, — сказал он думцам. — Дайте мне собрать на Гришку побольше материалов.

Календари империи отмечали канун 1910 года.

8. Родные пенаты

Паровоз почти трагическим ревом покрывал безлюдье заснеженных сибирских пространств. Редко мелькнет за окном вагона нежилая заимка, еще реже встретится деревня среди вырубок, и совсем уж редко экспресс пронизывал залитые электричеством вокзалы городов — с их суматохой носильщиков и жандармов, с гамом ресторанов, с запахами духов и воблы, коньяку и дегтя. Глядя на белые пажити и на леса, стынущие под снегом, Илиодор невольно вспомнил, что писал великий Карлейль: «Россия безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна, вечна и несокрушима...» Цитировать же эту фразу для Гришки не хотелось, ибо тогда пришлось бы ему, дураку, разьяснить, кто такой этот Карлейль, а было монаху лень заниматься просвещением варнака, который, поглядывая в окно, со значением побрякивал:

— Кажись, и Курган скоро... станция-то с буфетом! Не сбегануть ли за бутылочками? Деньги-то у тебя, Сережа, имеются?

— Я городу Царицыну полмиллиона задолжал, а где река текла, там всегда мокро будет... Ох, великий должник я!

— Да не! — убежденно заявил Распутин. — Я вот ране, ишо в мужицком положении, о мильёне и понятия не имел. А теперича пообвыкся и вижу — мильён нахапать завсегда можно.

— А сколько у тебя скоплено?

— Да нисколько! Это я так говорю, к примеру. У меня, брат, на гулянья разные много вылетает. Опять же и на извозчиков, особенно когда пьяный. Сядешь — он тебя возит, возит. Потом разбудит и «с вас, говорит, шашнадцать с полтиной!» Ну, даешь...

Ехали они, ехали. К чертям на кулички. Разговаривали. Илиодор решил выведать у Гришки тайну его успеха при дворе.

— Ты, Гриша, пей, а меня уволь. Я на вино слаб...

Подпоив Гришку, он повел на него атаку по всем правилам логики. Давно уже приметив в Распутине непомерное тщеславие (не свойственное массе русского крестьянства), Илиодор умышленно сыпанул солью на самую болезненную рану Гришки:

— А не верю я тебе, Гриша, обманщик ты! Плетешь ты что-то о своем положении при царях, да врешь, наверное.

— А хто тебя в Царицын устроил? Тока пальчиком шуранул, кому надо подмигнул — и ты тама! Рази не я? Или, может, скажешь, что и газеты меня задарма облаивают?

— Мало ли кого не лают в газетах, — подзуживал иеромонах. — Про меня, эвон, тоже пишут, будто я разбойник какой.

— Нет, ты погоди... Да знаешь ли, куда я вхож к царям? Аж прямо в спальню, да! Царицку целую, она ко мне жметя, как ребенок. Это ей, вижу, нравится. А я — пожалте: нам не жалко!

— Врешь, — сказал Илиодор, словно ударил.

Распутин даже зубами скогорготнул — в ярости:

— Так я те докажу! Вот прибудем в Покровское, сундук отворю, у меня на дне ево письма царицки лежат. Сам прочтешь...

— Ну-ну, — говорил Илиодор. — Покажи. Может, и поверю.

За окном вагона малость расступилась тайга, потянулся длинный унылый барак. Распутин приник к оконному стеклу.

— Что за станция? Чичас стгоношу пол-ящика.

— Сиди. Еще от поезда отстанешь.

— Хто? Я? Тю... От своей судьбы еще не отставал!

Ехали дальше. Под ногами катались пустые бутылки.

— А ты гляди, как меня Русь-то знает! Буфетчик чичас, как другу: «Григорья Ефимыч, для вас... что угодно... печенка свежайшая... пожалте!» Кушай, Сережа, печенку эту. — Распутин размотал жирный газетный лист, в котором его ругали, обнажил мешанину грязно-серых кусков печенки. — Эх, вкуснятина! — сказал. — Главное, даром! И платить не надоть...

— Ладно тебе. Ты лучше про царей расскажи...

Распутин за четыре минуты опорожнил четыре бутылки.

— А то вот ишо помню... Царь эдак-то поглядел на меня и говорит: «Григорий, а ведь ты — Христос!» Ей-пра, не вру. Глядит прям в глаза и говорит: «Не спорь, Григорий, я-то и сам вижу, что ты у нас Христос...» Мне даже неловко сделалось.

Илиодора такие речи коробили. К царице, после свидания с нею, он относился скверно. Но, будучи убежденным монархистом, страдал за эти рассказы Распутина о царях, в которых Гришка всегда выглядел соколом, а цари негодными цуциками.

— Не веришь мне, што ли? — ерзал Распутин.

— Не знаю, что и сказать... Верить ли тебе?

От недоверия Распутин откровенничал напропалую:

— В пятом годе (аль в шестом? — не помню), кады революция случилась, они Митьку Козельского позвали. А он, убогонький, с ходу заблеял: «Спасайтесь... всех перестукают!» Я в Царское прискакал. Гляжу, царь с царицкой царенка пакуют в тряпки. Совсем уже обалделые, ни хрена не понимают... В чемоданы шмотки пихают. Бежать чтобы... Эх, забыл я, как энта страна-то у них называется, где у них деньги в банке лежат. В обчем, — когда я увидел, как они чемоданы собирают, я тут наорал на них. Стыдил всяко. Они присели. Потом царь с царицкой на колени передо мною опустились. Вовек не забудем, говорят, что ты для нас, Григорий, сделал! А это верно — улизнули б...

— Так уж они тебя и послушались?

— Ей-ей, — крестился Распутин, округлив глаза...

О царе он говорил с явной горечью, как о беспутном родственнике, который мешает ему налаживать прочное хозяйство. Правда: если собрать все высказывания Распутина об императоре, получится немалый том отрицательных отзывов. Все похвалы Распутин расточал в адрес императрицы:

— Баба с гвоздем, она меня понимает. А царь пьет шибко. Пуганый. Я ему говорю: «Брось пить, нешто пьяному-то тебе легче?» А он мне: «Ничего ты, Григорий, не понимаешь». Я с него зароки беру, чтобы вина не пил. Беру на месяц. Так он в ногах у меня навалется: Григорий, просит, на две недельки. Я ему на полмесяца указываю не нюхать даже. А он, быдто купец на какой ярмарке, недельку себе выторговывает. Слаб! Сла-аб...

Вконец опьянев, Распутин вдруг раздавил в пальцах стакан, начал крыть матюгами Столыпина и Феофана:

— Феофан сдохнет... Столыпин — тоже! Сестра царицкина, Элла, та, что в монахини записалась, вот она да ишо фрейлина есть такая... Тютчева! Грызут меня... Клопы, мать их...

— Чешись, коли кусают. Чешись, Гришуня!

Илиодор оставил его внизу, полез на верхнюю полку. Теперь надо было кое-что продумать, кое-что запомнить навеки. Внизу, между диванов купе, тяжело и громко блевал Распутин...

* * *

Слезли с поезда в Тюмени, Распутин сказал, что у него тут есть одна знакомая сундучница. Пошли к ней, чтобы переночевать, на улице Гришка все время сосал грязный палец.

— Чего ты сосешь? — спросил Илиодор.

— Да бес! Кады изгонял его, он меня за палец хватил...

Илиодор ночевал в одиночестве, Гришка то прибежал откуда-то, то снова убегал, каждый раз меняя на себе рубахи.

— Дела, брат... Тут такие дела, не приведи бог!

В сильный морозище ехали до Тобольска, потом на лошадях тащились в санках по скрипучему снегу до Покровского.

— А я брату Антонию тобольскому еще из Челябинска телеграммку свистнул, чтобы он тебе обеденку позволил отслужить.

Стало ясно, что Гришка везет Илиодора с определенной целью, дабы укрепить свое значение среди односельчан.

— Ну и что тебе Антоний ответил?

— Да ничего... поганец такой!

В струях дымков открылось село Покровское, где домочадцы ждали своего кормильца. От калитки до крыльца выстелили они ковры, по которым прошел сам Распутин и провел по ним гостя. Даже внешний вид дома произвел на Илиодора сильное впечатление. Внутри же — кожаные диваны, стеклянные витрины, пальмы и фикусы в кадучках, буфеты натисканы хрусталем и фарфором, всюду масса пасхальных яиц, писанок и крестиков — будто в молельне. По стенам висели царские портреты в очень богатых золоченых рамках. Распутин, похваляясь, с крестьянской бережливостью указывал, какая вещь сколько стоит.

— Вишь, как живу? — говорил, очень довольный...

Парашка накрывала на стол к ужину, девочки, дабы поразить заезжего гостя, тыкали пальцами в клавиши рояля, а сын Митька прятался за углы, мычал идиотски: «Ммммм... гы-гы-гы!»

— Что он у тебя, Гриша... иль ненормальный?

— Да не, — отвечал Распутин. — Это он так... в его летах я тоже придурком был, а потом вишь, каким стал.

За ужином проявила себя Парашка, которая, чтобы опередить предстоящие изветы односельчан, сама брякнула Илиодору:

— Болтают тут у нас невесть што, а мы с моим Гришенькой душа в душу живем, точно голубки... Верно, родимый?

— Ага, — отвечал тот, наматывая на вилку хвост селедки и отправляя ее в рот. — С молокой попалась! — сообщил радостно. — Ну-к, Парася, ставь ишо бутылочки три-четыре.

— Да будет тебе, — отвечала та, поводя рукою будто пава. — Эвон, сколько уже вылакал-то.

— Тащи, стерва! Я тебе не царь — не сопьюсь...

Забрехали собаки, взвизгнула калитка, принесли телеграмму. При свете керосиновой лампы Гришка прочел ее и засмеялся:

— Царицка жалится, что ей скушно. Ну, да я не поеду! На што ехать-то? Слушать, как меня в газетах языками скоблят...

Илиодора уложили спать на кушетке в горнице. Он пишет, что жившие в распутинском доме девки, Катя и Дунька Печеркины, стали стелить матрасы на полу. Дунули на лампу — темно...

— Это вы зачем здесь? — взбеленился иеромонах.

— А нам отец Григорий велел.

— Брысь отседова, мокрохвостые...

Из-за стенки послышался голос Распутина:

— Ладно, ладно... они уйдут. Спи!

«Я понял, — писал Илиодор, — что Распутин хотел меня соблазнить на грех, чтобы сделать меня связанным, когда я... дерзнул бы выступить против грязных дел Григория». Утром монах проснулся от громкого скрипа половиц. Это блуждал Распутин, невымытый, нечесанный, в одних кальсонах, босой. «Враги, враги, — бормотал он, — гнетут меня, анахтеми... помогай, боженька, их осилить!» Вечером он назвал в гости местную «интеллигенцию»: учителя с женою, священника Остроумова, писаря и каких-то двух барышень с гитарами. Учитель в зеленых штиблетах, угодничая, подхалимски ржал, рассказывая глупые анекдоты, барышни терзали гитары, пытаясь настроить их на «духовный» лад, а священник, крепкий мужчина с выправкой солдата, не проронил ни слова, ни к чему на столе не коснулся. Распутин шлялся по комнате в плохо застегнутых штанах,

которые он заправил в длинные шелковые чулки голубого оттенка... Гости посидели и убрались.

— А попу Остроумову не верь, — сказал Распутин. — И деревенским, коль трепаться станут про нас, тоже не верь.

— Почему же, Гриша?

— Завидуют нехристи, — просвистел Гришка...

Перед сном он поманил иеромонаха в комнату, где стоял сундук с замком. Извлек из него завернутые в тряпку письма.

— Не верил ты мне, так гляди... Это царица пишет. Это от дочек ее. А вот наследник Алешка, смотри, какие ковелюги, одна лишь буква А получилась, а все остальное — чепуха...

Перед глазами Илиодора поплыли строчки царицы: «Возлюбленный мой, если все тебя забудут, если все от тебя откажутся, я никогда-никогда не забуду...» Из Ливадии писала подросток Ольга: «Так жалко, что давно тебя не видела». А вот письмо от Анастасии, поразившее Илиодора безграмотностью: «Када ты приедиш суда я буду рада... када ты приедиш тада я поеду к Ани в дом и тада тебя увижу приятна мой друк».

Распутин плотно обмотал царские письма в тряпку.

— Теперь-то веришь, что я при царях шишка?..

Илиодор все же навестил Покровского священника Остроумова, который принял монаха с откровенным недоброжелательством.

— Зачем вы здесь появились? — грубо спросил он.

— В гости заехал... к другу.

— Ваш друг — замечательный мерзавец.

Опытный интриган, Илиодор знал, что на противоречиях можно заставить собеседника высказать самое откровенное.

— Да бросьте? Отец Григорий хороший человек.

— Сволочь, каких еще поискать надо.

— Его сам государь отличает, — сказал Илиодор.

Остроумов едва сдерживался от брани.

— Если вы знаете о Григории дурное, так почему же лично о сем царю не доложите? — тонко строил интригу Илиодор.

Тут попа прорвало: навалил на Гришку целую кучу.

— И знайте, — заключил он рассказ, — что я никакой не священник, я агент святейшего Синода, наблюдающий за богомерзкими делами Распутина от имени обер-прокурора Лукьянова,

и я уже дал телеграмму в департамент полиции, что в доме Распутина скрывается беглый каторжник... Это о вас, милейший!

— Простите, разве же я похож на каторжника?

— Одна ваша рожа чего стоит! — ответил Остроумов...

В доме Распутина с неудовольствием восприняли его визит к Остроумову, но Илиодор переговорил еще и с крестьянами. С их опросу узналось, что покровские жители считают Распутина дураком и мошенником. Когда он, чтобы задобрить односельчан, выхлопотал в Петербурге двадцать тысяч рублей на построение в родном селе нового храма, мужики собрались на сходку и единогласно постановили: «Денег не брать! Это б...ские деньги». Илиодор шел через все село, громко хрустя валенками по снегу. В домах жгли лучину, только в распутинском доме, светло и беззаботно, палили керосин. Было холодно. Звезды. Тишина. Синеватый мрак... В голове церковного баламута кое-что прояснилось. Через узкие щелки глаз, заплывших «духовным» жирком, Илиодор жадно впитывал в себя это желтое сияние, что исходило от распутинских окошек.

— *Надо брать*, — загадочно произнес он...

Ночью, когда в доме все уснули, Илиодор затеплил от лампы тонкую свечечку. Взял нож. Прокрался в соседнюю комнату, где берегся сундук. Неслышно, как заправский взломщик, он заставил замок открыться. Достал связку писем царицы и ее дочерей, запихнул их под рубашку и, дунув на свечку, вернулся к себе на кушетку. В будущем эти письма должны сыграть свою роль!

* * *

Русская кинохроника того времени, как это ни странно, чаще всего обыгрывала сюжет — купание зимою в проруби. Это был самый ходовой товар для экранов Европы, ибо вполне отвечал представлению иностранцев о бытовой стороне жизни русского человека как человека чрезвычайно сильного и здорового, для которого посидеть в обледенелой проруби — это сплошное удовольствие! В 1908 году на русский экран энергично вышел сам Столыпин, запечатленный на

пленке «Вечер у П. А. Столыпина в Елагином дворце», но фильм был сразу же запрещен, и я подозреваю, что тут не обошлось без зависти царицы, которая тоже снималась в фильме с мало интригующим названием. «Их императорские величества высочайше изволят пробовать матросскую пищу на императорской яхте „Штандарт“ во время плавания в шхерах в 1908 году». Я не думаю, что на фильм с таким названием публика повалила!..

Занимая царские апартаменты в Зимнем дворце, Столыпин не всегда был тактичен по отношению к царям. Дерзость его дошла до того, что однажды он принял за своим столом офицеров при оружии (что полагалось только за столом царским). Прослышав об этом, Алиса ядовито заметила: «До сих пор у нас было две царицы, но показалась и третья!» Она имела ввиду себя, Гневную и жену премьера, Ольгу Борисовну. Вспомнив про Мишку, царского брата, и его метрессу Наталью, она добавила: «Не исключено, в скором времени их будет уже четыре...»

В один из дней Столыпин начал доклад Николаю II:

— Обращаю внимание вашего величества на некоторые неудобства в связи с пребыванием подле вас некоего Григория...

Но царь тут же прервал его:

— Давайте перейдем к текущим делам!

Вернувшись в «желтый дом» на Фонтанке, Столыпин немедленно велел секретарю звать Курлова... Он ему сказал:

— У меня хорошая память, и я не забыл о своей резолюции по делу Манасевича-Мануйлова... Этот вундеркинд жирует по шантанам, его часто видят в Суворинском клубе, где он шикарным жестом бросает червонец «на чай» швейцару. Все зубы у него, блестящие от золота, целы, и ни один из них еще не пошатнулся!

— Будет исполнено, — хмуро посулил Курлов.

9. Вундеркинд с сахарной головкой

Как уже догадался читатель, назрел момент для появления нового героя распутищины; безжалостно разрывая ткань событий, он вторгается в наш роман, наглый и опасный, и не заметить его мы не вправе. Даже самая скверная жизнь бывает достойна исторического внимания... Мир не состоит из добреньких людей!

* * *

А все начиналось с бандероли... Бандероль — тьфу, и цена ей копейка. Узенькая ленточка с продольными полосками. Подделать ее — пара пустяков. Вся еврейская беднота западных губерний целых полвека только и жила с того, что «тянула акциз». В каждом подвале стоял примитивный станок, и никто не ленился: дети мазали краской печатный валик, женщины вращали ручку станка, а бандероль струилась в почтовый мир верстовою лентой. Понятно, что никто уже не стремился покупать бандероль казенную, ибо фальшивая стоила дешевле... Нашелся такой ребе Тодрес Манасевич, который дело частной инициативы поставил на широкую ногу капиталистического гешефта. Он сплотил евреев в могучую фабричную кооперацию. Теперь они «тянули акциз» гораздо быстрее, нежели это поспевала делать государственная типография. Фальшивые бандероли опоясывали всю Российскую империю,^[8] а Тодрес Манасевич, попивая мозельское, уже забыл вкус родимой пейсаховки, и подрастал у него сыночек с мыслительным аппаратом конической формы, вроде головки сахара, отчего старые раввины говорили так: «Сразу видно гениального ребенка! Сладкая сахарная головка зреет в доме нашего умного и дельного ребе Тодреса...» Все шло хорошо, пока русская казна не подсчитала колоссальные убытки. Полиция вдрызг разнесла станки фабрик, а гешефтмахера на вечные времена закатали в Сибирь,

где он и умер. «Сахарную головку» усыновил богатый купец из евреев Мануйлов, который вскоре приехал в Петербург и здесь, вместе с приемным сыном, перешел в лютеранскую веру. В крещении приемыш стал называться Иваном Федоровичем Манасевичем-Мануйловым, а перед смертью купец завещал Ванечке сто тысяч рублей, но с твердым условием, чтобы он получил их лишь по достижении 35-летнего возраста... Революция 1917 года раскрыла пухлое досье под шифром: *СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, ВЫДАЧЕ В ДРУГИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НЕ ПОДЛЕЖИТ*. Жандармы фиксировали: «Красивый толстый мальчик обратил на себя внимание известных педерастов... Мануйлова осыпали подарками и деньгами, возили по шантанам и вертепам, у него рано развилась пагубная страсть к роскоши, кутежам и швырянию денег». Заодно уж Ванечка смолodu набил себе руку в писании статей для желтой прессы. Великосветские развратники устроили свою «фею» в «Императорское Человеколюбивое Общество», где он получил первый чин. Под капиталы, лежавшие в Сибирском банке, хватал деньги у ростовщиков, и вскоре от богатого наследства остался пшик на постном масле. Тогда паразит предложил свои услуги царской охранке, где бытовал жесткий, но остроумный закон: «Бей по воробьям — попадешь и в сокола!»

— Что вы любите больше всего? — спросили жандармы.

— Деньги! — отвечал Ванечка с очаровательной улыбкой.

— Ну что ж. Так и запишем: *продажен...*

В 1905 году его заслали шпионить в Париж,^[9] где Ванечка все казенные денежки спустил в шантанах. Покровители спасли его от тюрьмы, зачислив свою любимую «фею» в департамент духовных дел, который отправил его прямо... в Ватикан! Ломай голову сколько угодно, но такого не придумаешь: иудей по рождению, лютеранин по вере, он в центре мирового католицизма выступал как ярый защитник православия. Помимо этого, он следил в Риме за русской и польской эмиграцией, пролез в редакцию социалистической газеты «Аванти». Но и тут не удержался: на вербовав для охраны кучу платных агентов, Ванечка платежные деньги прокутил. Обманутые шпионы слали угрозы в Петербург — лично царю! «Этого вундеркинда, — велел император, — уберите-ка из Рима в Париж, я от своего имени дам ему десять тысяч франков». На эти деньги Ванечка основал в Париже официоз Романовых «La revue Russe», в котором хлестко доказывал

Европе, как благоденствуют люди русские под мудрейшим царским попечением. Война с Японией обогатила его баснословно; по пятьдесят тысяч в год урывал только от охраны «на борьбу с революцией», не считая того, что приворовывал (он умудрился ограбить даже тертого попа Гапона, обчистив кассу его «рабочих» организаций). Из МВД его вышибли, и Ванечка ушел, печально бряцая орденами: русским — святого Владимира, испанским — Изабеллы Католической и персидским — Льва и Солнца. «Теперь, — объявил он, — мне ничего не остается делать, как только стать писателем...»

Манасевич-Мануйлов уселся за стол журналиста, бегая между отцом и сыном Сувориными — из «Нового Времени» в «Вечернее Время». Вокруг себя он поставил густую дымзавесу: мол, слухи об отставке неверны, я по-прежнему в охране, а потому его и боялись. Мерзавец повадился писать театральные рецензии на молоденьких актрис. «Обильные ужины в ресторанах, дорогие подарки — все пускалось в ход, лишь бы удовлетворить этого высокого покровителя искусств...» Он заставлял юных актрис продаваться ему за хорошую рецензию. «Иначе я тебя уничтожу», — говорил он, обворожительно сверкая золотыми коронками. Набеги Ванечки на сады, вроде сада «Олимпия», напоминали нашествие варягов. Владельцы садов сначала кормили его в отдельном кабинете, подсаживая к нему хорошеньких певичек, а потом говорили:

— Иван Федорыч, у вас из кармана выпали сто рублей.

— Неправда, — отвечал Ванечка, — я уронил пятьсот...

Договаривались на том, что выпало триста. На другой день в газете следовало возвышенное описание садовых забав и воспевалась примерная гигиена отхожих мест. В это время его подобрала актриса Надя Доренговская, хорошая женщина, для которой этот роман обернулся трагедией. Впрочем, если верить знатокам жизни, то порядочные женщины чаще всего и влюбляются в негодяев!

* * *

К своим жертвам, которые он собирался обезжирить, Ванечка относился с обаянием дантиста-экстрактора; берясь за страшные щипцы, он радушно говорит: «Откройте рот пошире. Будет больно, но придется потерпеть». Первую половину трудового дня Манасевич посвящал усиленной работе на благо процветания общества. Список клиентов, жаждущих, чтобы их обезжирили, был велик: Минц, Шапиро, Беспрозрачный, Якобсон, Гуревич, Шефтель, Рабинович — несть числа им... Ванечка выходил с улыбкой: «Стройся по ранжиру! Которые побогаче, те с правого фланга, победнее — в конце, а кто денег не имеет — подожди на лестнице, когда заведутся». Пресловутая черта оседлости угнетала евреев, они всячески цеплялись за жизнь в столице. Один хотел открыть типографию для печатания визитных карточек, другой мечтал варить мыло, пахнущее непременно нарциссом, третий видел себя владельцем магазина пуговиц. Ванечку евреи страшно боялись, а сионисты лютейше ненавидели за отсутствие соплеменного патриотизма, ибо Ванечке было плевать на мифы об Израиле, его заботила только дневная выручка, и потому, когда он замечал, что еврей жульничает, он мстил ему жестоко: «Сейчас часовых дел мастера не нужны. Своих девать некуда. Зато есть у меня один роскошный блат... на Путиловском заводе! Хочешь, устрою учеником слесаря? Не хочешь? Ну, я так и думал... Проваливай!» На крайние случаи жизни, когда клиент был достоин особого почтения, Манасевич-Мануйлов имел особый телефон, не подключенный к телефонной станции. Но клиент этого, конечно, не знал, и Ванечка в его присутствии снимал трубку, говоря уверенно:

— Барышня, мне приемную Столыпина... Петр Аркадьич? Добрый день, это я... ну, конечно. Кстати, как там дело с этим... Да нет, я не тороплю вас, упаси бог, но человек-то волнуется...

Повесив трубку, Ванечка огорченно вздыхал.

— Трудно, — жаловался тому же клиенту. — Мне-то от вас ничего и не надо, и так проживу, но вот министры... Сами понимать должны, какой у них аппетит. Прекрасный! Это не то что у меня, который сыт одной изюминкой. Берут в пакете. На ощупь...

Закончив прием просителей, он уходил в редакцию, садился за стол, злодейски размышляя: «Что бы написать такое, чтобы читатель чесался хуже паршивой обезьяны?.. Где взять тэму?» За неимением

«тэмы» Ванечка сочинял очередной некролог на кончину безвременно усопшего брата-писателя:

«Горько! Сегодня мы проводили в последний путь того, кто вот уже много лет скрывался от суда „критиков“, и вот, наконец, мы узрели его... увы, в гробу! После покойного осталась семья безо всяких средств к существованию. А между тем — вспомните! — покойник при жизни, когда подвыпьет, всегда предлагал: „Может, кому нужны деньги? Пожалуйста, я дам...“»

К нему заскочил давний приятель — Егорий Сазонов:

— Ванька, а ты чего печальный сидишь?

— Тэмы нет... и трешки не заработал.

— Что ты за дурак такой? Да пиши о Распутине.

Манасевич-Мануйлов поморщился — скушно.

— Ну, что мне твой Распутин? Что он знает и что он может? Бабы, винцо, бани, вокзалы... Вот если бы он, любимец богов, градоначальнику Петербурга штаны с лампасами порвал! Вот если бы он, кудесник, Столыпину фонарь под глазом засветил!

— Плохо ты знаешь Ефимыча, — отвечал Сазонов. — Поверь, что этот мужчина на святой редьке с уксусом плотью не иссушится! Хочешь, я тебе это распишу до печенок?

— А почему сам не пишешь о нем?

— Не могу! Потому что Распутин у меня же в доме и живет. С детьми возится. Кухарке помогает самовар ставить... Материал у меня на него собран — ох! Договоримся: я тебе его *продам*. Но только ты меня, Ванька, не выдай.

— Журналист, как и врач, обязан скрывать болезнь пациента. Ты не бойся. Вали все... пока воробьи не расклевали!

Вечером Ванечка снял трубку телефона.

— Барышня, мне сорок-семнадцать, личный аппарат на улице Жуковского... Наденька, это я. Поставить в духовой шкаф отбивные из зайчатины с красной капустой. Приду поздно. Тэма есть!

«Сахарная головка» старательно склонилась над чистым листом бумаги, чтобы сделать его грязным и за это получить деньги.

Суворинский клуб (Невский, № 16) — самое пахучее стойло журналистов-черносотенцев, среди которых Ванечка всегда чувствовал себя великолепно, как микроб в питательном бульоне. С тех пор как старик Суворин разругался со своим сыном Борькой, тот отпочковался от батькиного «Нового Времени» и заварил свою крепкую бурду в «Вечернем Времени». Входя в буфет, где было принято просаживать гонорары, Ванечка сказал журналистам:

— Там внизу какой-то пьяный валяется...

Никто на эти слова не обратил внимание. Борька Суворин, с утра насквозь проконьяченный, сидел на столе и стряхивал пепел папиросы на свои брюки в крупную клетку. Манасевич выпил рюмочку слабенького винца и закусил виноградкой, которую стащил с чьей-то тарелки. Сам подошел к Суворину.

— Ну как? — спросил издатель. — Писал?

— Пописывал.

— Крепко?

— Не жуть.

— Для меня? Или для родителя моего?

— Для твоей «вечерки»... о Распутине.

— А ты с ним мадеру хлебал?

— Не.

— Так чего суешься?

— Кое-что нащупал.

— Поздно хватился. Уже все описали.

— Позднее всех и закончу...

Борька выложил рубль и сказал:

— Лень вставать. Дай за меня маза хорошего!

Ванечка пробил за него удар на бильярде, промахнулся, получил еще рубль, опять промазал, с третьего засадил шар в лузу.

— Катись, — сказал издатель...

Вошел толстенный профессор Пиленко.

— Сволочь ты, — тихонечко сказал ему Манасевич на ухо. — Ты зачем же на меня бочку с кайзером покатишь?

Пиленко призадумался о тех путях лабиринта, которые вывели Ваньку к его разговору с Извольским. На всякий случай профессор уселся на стуле плотнее и перешел в контратаку:

— Бурцев сейчас в Париже собирает с политэмигрантов денежки, словно татарин ясак с православных, а... зачем?

— Зачем? — моргнул Ванечка.

При этом нервно моргнул и профессор Пиленко.

— А затем, что ты, агент охраны, обещал Бурцеву, что за миллион наличными продашь ему тайны нашего эм-вэ-дэ...

Между ними врезался пьяный журналист-нововременец Краков, женатый на сестре Бориса Савинкова, и обоих расцеловал:

— Только без драки... Мы же все братья!

Скандал прервало появление швейцара.

— А внизу пьяный валяется. Уж вы посмотрите, ваш или не ваш. Писатель или не писатель? Вышибать его или так оставить?

— Оставь так, — сказал Краков. — Потому что, если он еще не писатель, то он обязательно станет им...

Шел уже третий час ночи, когда Ванечка по Надеждинской возвращался к себе домой на Жуковскую. Было темно и пустынно. Его окликнул вполне приличный господин с тростью:

— У вас горит? Позвольте прикурить.

— Ради бога, — сказал Ванечка...

Прохожий нагнулся к его папиросе и вдруг — снизу вверх! — со страшной силой вонзил в ноздри Ванечки два пальца. Голова журналиста вздернулась. От страшной боли из глаз хлынули слезы. Он очнулся лишь тогда, когда приличный господин вырвал из ноздрей свои пальцы (при этом раздался щелчок, словно откупорили шампанское) и сказал набежавшим из подворотни филерам:

— Это он! Я не обознался... тащите его.

Ванечку в охране решил допросить сам Курлов.

— Здравствуй, Ванюшка, — сказал он приветливо. — Ну, милый, ты меня знаешь, я тебя знаю, люди свои, богадельня наша родная, порядки тебе знакомы... Садись на табуретку. Валяй с ходу все, что известно о Борисе Савинкове со слов твоего приятеля Кракова.

— Жизнь моя — это удивительный роман, — сказал Ванечка, усаживаясь на табуретку и понимая, что этой табуреткой его будут бить. — Простите, я не слишком утомил вас своим рассказом?

— Нет. Пока не засыпаю. Давай покороче.

— Покороче будет так: пока не станете мне платить, ничего говорить вам я не буду... Принимайте меня обратно в эм-вэ-дэ, тогда и спрашивайте.

— Встань! — сказал Курлов. — Табуретка понадобилась...

Над ним звучал голос жандармского генерала:

— Говори, паразит, за сколько банных веников ты продал нас Бурцеву? А кто скупал для Пурталеса суворинские акции? А что знает Краков о Борьке Савинкове?..

...Через несколько дней он вернулся домой как ни в чем не бывало. Надежда Доренговская встретила его слезами:

— Ванечка, о боже, что с тобой сделали!

Он развернул перед ней носовой платок, в котором были завернуты золотые коронки с прогнившими зубами.

— Честнейшие люди, — сказал, — служат в царской охранке. Смотри сама: зубы выбили, а коронки тут же вернули... В какой еще стране возможна такая трогательная забота о человеке?

* * *

О нем существует книга — «Русский Рокамболь»!

10. Коловращение жизни

Надо же так случиться, что бродячий шарманщик-итальянец с обезьянкой, зябко дрожащей, завел свою музыку как раз напротив окон министерства финансов — на Мойке, № 47... Владимир Николаевич Коковцев невольно отвлеклся, прислушиваясь:

Всюду деньги, деньги, деньги,
всюду деньги — господа,
а без денег жизнь плохая,
не годится никуда...

Его навестила красивая госпожа М., в прошлом придворная дама, несшая на себе шубу из канадских опоссумов тысяч на двадцать и еще бриллиантов в перстнях тысяч на сорок. Прослезившись и мило высморкавшись, она сказала певучим контральто:

— У меня записка лично от государя императора... к вам, Владимир Николаевич. Мне нужно (срочно!) сто двадцать тысяч.

Коковцев был человек умный, хорошо воспитанный, но болтлив не в меру и сейчас завелся как шарманка на целых полчаса, рассказывая прекрасной госпоже М., как трудно быть в России министром финансов, что десятиmillionный фонд давно исчерпан, что покрыть расходы казны без ведома Государственной Думы (и без прений в ней) уже не представляется возможным...

— Владимир Николаевич, — сказала госпожа М., — я прекрасно вхожу в ваше положение, но войдите и вы в мое: мне срочно (даже очень срочно!) нужны сто двадцать тысяч рублей.

— Высочайшее повеление, — отвечал Коковцев, — я должен исполнить, и просимую вами сумму вы от меня получите, но, мадам, я вынужден доложить его величеству об источнике этой суммы.

— Золотой вы человек! — сказала госпожа М. — Мне ведь важно получить деньги, а источник золота меня не касается...

Через несколько дней Николай II заметил Коковцеву:

— Из личных денег моего Кабинета вами изъято сто двадцать тысяч рублей. Мне неловко говорить вам о своей эмеритуре, но вы и сами понимаете... деньги на земле не валяются.

Коковцев показал царю его же записку.

— Вы ее дали для госпожи М., — пояснил он. — Но вам известно, государь, что ресурсы казны исчерпаны, а деньги, как вы высочайше заметили, на земле не валяются, и посему я был вынужден прибегнуть к капиталам вашего монаршего Кабинета.

Царь две недели подряд с Коковцевым не разговаривал. Императрица же при встречах с ним делала вид, будто он обворовал ее в темном переулке. Миллиардеры, живущие задарма, на всем готовом, в сказочных дворцах, наполненных сокровищами, они выедали казну, как крысы, забравшиеся в головку сыра, но... только посмей тронуть их кубышку! Коковцев рассказал этот случай жене:

— С тех пор всякие записочки о выдачах прекратились. Свой карман они берегут так, будто едут в переполненном трамвае. Понимаю и Распутина, ищущего прибылей на стороне...

Вскоре парализованная от сифилиса красавица княжна Саломея Орбелиани (кстати, бывшая любовница Николая II) плакала перед царем, прося у него пять тысяч на лечение, но он не дал. Орбелиани потом сама же и жаловалась Коковцеву:

— Что случилось? А раньше давали... записочку!

Коковцева посетил Егорий Сазонов, наглость которого не поддавался описанию. Кандидат сомнительных прав, Сазонов в дни революции опубликовал фельетон Амфитеатрова на Романовых, а теперь, когда баррикады разобраны на дрова, он вступил в черную сотню... Сразу видно «принципиального» человека!

Устало вздохнув, министр сказал:

— Ах, это вы... Что у вас ко мне?

— Профессора Мигулин и Алексеенко (ну и я, конечно) просят вас утвердить устав Хлебного банка.

— Какого? — переспросил министр.

— Хлебного...

Владимир Николаевич заведомо знал, что никакого Хлебного банка не возникнет, но жуликам на хлеб всегда хватит и даже детям их останется, а банковские уставы продаются, как облигации.

Коковцев раскурил длинную сигару «Корона Британии».

— Я не верю, будто вы упрятали за решетку своего родного брата, как о вас говорят. Но я не верю и тому, что вы были другом повешенного Желябова... Простите за сентенцию: все-таки неприлично бывать в том доме, хозяина которого вы ругаете!

Сазонов засмеялся. Его еженедельник «Экономист» регулярно устраивал для Коковцева китайскую пытку: по капле, по капельке, не спеша, год за годом министру долбили череп, терроризируя его критикой. Ведь даже вселенский грех «винной монополии» сваливали на Коковцева, обвиняя его в спаивании водкой народа. Чувствительный к критике аристократ, дабы утихомирить живодерские наклонности плебея-издателя, субсидировал Сазонова дачею в его журнал прибыльных объявлений. Но Сазонов (к несчастью Коковцева!) имел глаза во много раз больше желудка, и сейчас он дал понять министру, что поезда в Царское Село ходят каждые полчаса. Сразу стало понятно развитие интриги: в Царском охотно принимают Распутина, который от царя и царицы едет ночевать на Кирочную — к Сазонову... После разговора, неприятного и тягостного, Коковцев вечером признался жене с брезгливостью:

— А меня стали шантажировать именем Распутина! Сазонов намекнул, что мою особу могут шлепнуть лопатой, но зато могут и оставить во здравии... могут даже сделать премьером!

Анна Федоровна Коковцева пришла в ужас:

— Володя, дай ты им! Дай... Пойми, что Столыпин тебе не опора. Это садовый георгин, хотя и пышный, но стебель его слабый, и он сразу надломится, когда на него облокотишься.

— Пусть георгин! Не опираться же на чертополох.

— Не связывайся с ними — дай!

— Но если я дам, тогда-то и буду связан...

Коковцев был человеком честным, и в обширную летопись грабежа русской казны он вошел как собака на сене: сама не ест и другим не позволяет. Но теперь Владимир Николаевич понимал, что, как бы он ни «трезорил» этот стог сена, распутинская шайка все равно сено по клочкам растащит... Утром он сказал жене:

— Придется мне утвердить устав Хлебного банка!

Позже он стороною выведал, что устав этого банка Сазонов продал на юге страны за четверть миллиона. Разбогатеv, этот экономист тут же разлил работу министерства финансов, куда опять и

заявился, чтобы продолжить китайскую пытку... Свою дружбу с Распутиным он использовал на все корки! Теперь он, помимо журнала, хотел издавать еще и газету. Коковцев испытал состояние караса, который сидит на крючке, а его, бедного, прямо за губу тянут из родимой стихии на сковородку... Келейно он созвал на Мойке у себя директоров кредита, директоров госбанков, и сообща они постановили: дадим! Объявив между собой подписку, они вручили Сазонову сто тысяч на процветание его новой газеты...

Коковцев не сдержался и все-таки сказал:

— На этот раз вы залезли в мой карман!

— Извините, — отвечал Сазонов, забирая деньги...

Шарманщик завел под окнами министра нечто веселое:

Ах вы, сашки-канашки мои,
разменяйте мне бумажки мои,
а бумажечки все новенькие —
двадцатипятирублевенькие!

— Вот так и живем, — надрывно вздохнул Коковцев.

* * *

Газеты оповестили Россию, что старец Гриша вновь объявился в Царицыне, где затеял создание женского (!) монастыря, для которого уже подбирал штат — из молодых да красивых. Газеты сообщали, что устроитель монастыря «садится с женщинами на один стул, целуется, гладит их за лопатки (и не за лопатки), произнося фразы вроде следующей: „А не люблю я этой Х., уж больно толста, а ты куды как покрепче да круглее...“ Ясно, что монастырь обещал быть очень строгих правил! Между тем травля старца в печати продолжалась, и Гришка не спешил в столицу. Наконец он осознал, что испытывать терпение царицынских жителей далее нежелательно, и стал собираться в дорогу. На вокзале его провожала толпа, одни бабы молились на

Распутина, а другие плевались в него — все как положено! С площадки вагона Гришка стал говорить речь, „но речь его, — писал Илиодор, — была такая путаная, что даже я ничего не понял“. После Распутина выступил с речью один пьяный абориген — и тоже никто ничего не понял. Илиодор решил вмешаться, «но Григорий сделал в мою сторону жест рукою, как генерал солдату, когда солдат что-либо невпопад скажет, и в духе придворного этикета он промолвил пьяному:

— Продолжайте, пожалуйста. Продолжайте...».

Пьяный выступал до тех пор, пока поезд не тронулся.

В купе ехали какие-то молодые чиновники, читавшие о нем в газетах. Распутин, обожавший даже поганую славу, с гордостью заявил попутчикам, что Распутин — это я! Ему долго не верили, так что пришлось поведать о себе немало пакостей, пока не поверили... А поверив, чиновники с интересом спрашивали:

— Неужели все это правда, что о вас пишут?

— Да врут половину, а другую половину... кто не без греха? Одно меня сердит: псинаним придумали, в «Новом Времени» как-то «маска» про меня стала писать. Что ни слово — все правда! Знай я, кто он, пошел бы и настучал в морду. Но он же, анахтема, за псинаним спрятался... «Маска»! Поди ж ты сыщи ево...

Пока он там куролесил по задворкам империи, слухи о его безобразиях копились в келье архимандрита Феофана, и (как принято говорить в консисториях) «владыка омрачился». А тут приехал епископ Гермоген, новых сплетен подбавил и сказал Феофану:

— Не на того Холстомера мы ставили! Гляди, скоро Гришка так возвысится, что мы ему вроде гнид покажемся... Сказывал мне борец Ванюшка Заикин, который на еропланах летал, что с высоты люди мельчей муравьев видятся... Дело ль это?

В интервью газетчикам Гермоген заявил:

— Святейший Синод, печась о духе народном, недавно воспретил постановку пьесы Леонида Андреева «Анатэма», где от сатаны запах серы исходит. Верно, что нельзя сатану на сцене играть. Так почто же, спрашиваю я вас, мы Гришке беса играть позволяем?..

Почуяв в лице Гермогена опору для себя в Синоде, Феофан при свидании с императрицей объявил ей:

— Едет сюда богомерзкий и грязный шут Гришка Распутин, едет за виноградом царским, благоуханным, а я, виноградарь немощный, не

для него возвращал ягоды в покаях сих. Государыня! Если я не скажу этого тебе, то кто еще скажет? Отрекись же от Распутина и впредь не путай бога с дьяволом!

Александра Федоровна вытянулась — во гневе:

— Мои глаза не увидят вас больше, — прошипела она.

Злыми слезами разрыдался Феофан, взмахнул крестом:

— Пропадете вы... с Гришкою-то!

— Уходите, — велела царица. — Еще одно слово, и я навсегда забуду, что вы были моим духовным пастырем...

Гермоген прибыл в столицу на зимнюю сессию Синода и, как заведено, представился императору. Николай II сказал ему:

— Не понимаю, зачем вы Григория Ефимовича совместили с этой дурацкой «Анатэмой» бездарного Леонида Андреева? Григорий Ефимович принят в нашей семье как... умный человек.

Гермоген, пылкий мракобес, запальчиво ответил:

— Где вы ум-то у него видели? Я хотел его священником сделать, поручил Илиодору подготовить его, так он бился с ним как рыба об лед, а Гришка — олух, ни одной молитвы целиком не знает.

Николай II махнул рукой: прочь. Возникла дикая ситуация: *реакция выступала против реакции*. Конечно, в этот момент царь не подумал так, как у меня здесь написано, но и он, кажется, ощутил всю остроту создавшейся обстановки; он решил: «Теперь, если Столыпин пожелает разорить это гнездо Гермогена и Илиодора на Волге, я возражать не стану!» Вслед за этим стала собирать свои вещи, желая покинуть царский дворец, нянька наследника престола Елена Вишнякова. Императрица велела няньке подробно доложить, как ее растлил в поезде Распутин и что вытворял с нею в Покровском, после чего Алиса положила подбородок на валик кресла и долго смотрела на Вишнякову синими глазами.

— И ты хочешь, чтобы я поверила тебе? — спросила она. — А мне кажется, ты вовлечена в заговор тех недобрых сил, которые сейчас ополчились против отца Григория... Говори же честно, кому ты еще рассказывала обо всем этом?

— Фрейлине Софье Ивановне Тютчевой.

— Хорошо. Ступай. Я видеть тебя не желаю...

В седьмом часу вечера Тютчеву, заступившую на фрейлинское дежурство при дворе, навестил скороход:

— Вас просит в бильярдную его величество.

Николай II встретил женщину словами:

— Софья Ивановна, что за сплетни вокруг моих детей?

— Никаких, государь. Дети есть дети.

— А... Вишнякова? Для этой женщины, взятой из народа, мы с женою так много сделали, а она... о чем она, дура, болтает?

Тютчева подтвердила стыдный рассказ Вишняковой.

— Выходит, вы тоже не верите в святость Распутина?

— А почему я должна в это поверить?

Царь точным ударом загнал шар в лузу. С треском!

— А если я вам скажу, что все эти тяжкие годы после революции я прожил исключительно благодаря молитвам Распутина?

— Я позволю себе усомниться в этом, ваше величество.

Николай II искоса глянул на фрейлину: перед ним стояла внучка поэта А. Ф. Тютчева, женщина сорока лет, с мощным торсом сильного тела, обтянутая в дымно-сиреневую парчу, из-под стекол пенсне на царя глядели едкие непокорные глаза.

— К чистому всегда липнет грязное, — сказал царь, невольно смутившись. — Или вы думаете иначе, Софья Ивановна?

На это он получил честный ответ честной женщины:

— Да, ваше величество, я думаю иначе.

— В таком случае я вас больше не держу.

— Позвольте мне понять ваше величество таким образом, что отныне я могу быть свободной от придворных обязанностей?

— Да. Зайдите к моей жене... попрощаться.

Следуя длинным коридором, Софья Ивановна отстегнула от плеча пышный бант фрейлинского шифра, в котором красовался вензель из заглавных букв имени-отчества Александры Федоровны, и этот шифр она положила с поклоном перед императрицей.

— Я чрезвычайно счастлива, ваше величество, что поведение Распутина делает невозможным мое дальнейшее пребывание при вашей высочайшей особе. Я пришла откланяться вам...

Царица знала о попытке Распутина изнасиловать фрейлину, и она — очень спокойно — дала ей понять:

— Но, милая, Распутин — это же ведь не пьяный дворник. Вы должны бы радоваться этому обстоятельству.

— По-моему, никакая женщина этому не может обрадоваться.

Царица (немного смущенно):

— Я не так выразилась. Ну, если не радоваться, то хотя бы... стерпеть.

— Странные советы я слышу от вашего величества.

— Ничего странного. В вас вошел бы святой дух...

Тютчева вышла. Я не выдумал этих диалогов!^[10]

...Распутин приехал в столицу и, засев на квартире Сазонова, сразу же стал названивать по телефону Вырубовой:

— Слышала, как Гермоген-то меня обложил? Феофана не надо! Так и скажи папе с мамой, что, покуда Феофан здесь, я не приду... молиться стану. Тютчевой по шапке дали? Дело! Вишнякова — дура, она сама ко мне в штаны лезла. Чисти дом, Аннушка, чисти! А как ишо там «Анатэма»? Это што? Про бесов? Не надо про бесов... Писателев тоже не надо: от них много смуты идет!

Василий Иванович Качалов вопреки замыслу автора все-таки создал на сцене трагический образ современного беса Мефистофеля, полный сатанинского пафоса разрушения. А после всей этой крутни и нервотрепки императрица сказала:

— Ники, ты должен вмешаться. Театр Станиславского нам не указ, а здесь, в столице, «Анатэма» Леонида Андреева поставлена не будет. Это черт знает что такое... И вообще, — разрыдалась она, — я не выдержу! Мне все уже опротивело. Каждый день какие-нибудь новые гадости. Сколько можно! Я скоро сойду с ума...

* * *

В растопыренных пальцах Распутин держал блюдце с горячим чаем, поддувал на него, чтобы скорей остыло, и говорил:

— Не пойму, Егор, откедова эта Маска, что меня в газетах ругает, все про меня верно описывает? Ежели б этот псинаним мне попался, я бы ему всю рожу расковырял.

Маска — псевдоним Манасевича-Мануйлова, которому Сазонов (чистая душа!) и выдал тайны быта и жизни Распутина, а

теперь он (дивный человек!) решил продать Распутину и самого Манасевича-Мануйлова... Надевая серую шляпу, экономист сказал:

— Так и быть, едем. Я покажу тебе эту Маску!

Приехали на Эртелев переулок, в дом № 11; здесь размещалась редакция «Вечернего Времени», филиала «Нового Времени». Сазонов объяснил, где кабинет Маски, а сам идти уклонился:

— Пока ты там его ковыряешь, я в пивной посижу...

Распутин, напрягаясь телом, через три ступеньки — прыжками, решительный и сильный, взлетел по лестнице на четвертый этаж, по табличкам на дверях отыскал номер кабинета своего хулителя. Без стука отворив дверь, вошел. За столом сидел круглолицый (словно кот) господин без пиджака, опоясанный французскими подтяжками, и вел беседу по телефону. Разговор шел о зубах, а так как у Гришки зубы болели часто, то он со вниманием прислушался.

— Коронки вернули, — говорил Ванечка, — а зубов не вставили. Три передних... Почему? Но я же не пенсии у вас домогаюсь, а лишь того, что положено: выбили — вставляйте... на казенный счет! Это неправда... вранье. Курлов ведь ясно сказал, что я пригожусь. А если так, так на что я вам сдался... беззубый-то?

Повесив трубку, Манасевич-Мануйлов сказал:

— Какого ты черта сюда вперся?

От такого приема Распутин малость потускнел. Вежливо, даже сняв шапку, он проговорил:

— Распутиным будем... Новых — по пашпарту.

— А-а-а, куманек... явился. Мое почтеньице!

Распутин был готов драться, но вид наглого журналиста смутил его, и Гриша как-то вяло, извинительно бормотал:

— Пишут тут обо мне всяко... нехорошо пишут.

— Ну, пишут... так что? Тоже писать захотелось?

— Оно не про то. Я вот и говорю, что ежели писать, так ты пиши... оно понятно! Но ежели ты жук, так ты мне прямо и скажи: я, мол, жук, и тогда я тебя пойму... Кто не без греха?

Манасевич набулькал себе воды из пыльного графина, попивал малюсенькими глотками, смакуя, будто ликер. Сказал:

— Значит, как я понял, ты мною недоволен? Признаться, я тоже не всегда доволен собою. Можно бы писать и лучше. Но ты, приятель, ошибся, надеясь в Эртелевом переулке встретить Пушкина!

— Нельзя обижать хороших человекoв! — выпалил Гришка...

Вслед за этим произошло нечто феерическое. Ванечка каким-то полицейским приемом обернул Распутина к себе спиной. Гришка ощутил страшный удар по затылку, отчего согнулся и упал на четвереньки. При этом лоб его упирался в нижнюю филенку дверей. Последовал завершающий удар ногой под копчик, двери сами собой растворились, и старец птичкой выпорхнул из кабинета.

— Не мешай людям на хлеб зарабатывать, — сказал Ванечка, отряхивая прах и пепел Распутина со своих шулерских дланей. Удивительно громко стуча сапогами, Гришка мчался вниз по лестницам редакции, а из кабинетов высывались потревоженные сотрудники Борьки Суворина, спрашивая о причине шума. Манасевич-Мануйлов не сказал им, что ему нанес визит сам Распутин.

— Да так... Приходил один читатель, удрученный неправдами жизни. Ну, я и показал ему, что аптека находится за углом направо...

Распутин (бледнее обычного, весь дергаясь) спустился в подвал пивнухи, где расселся Сазонов, заказавший дюжину пива.

— Ну как? — спросил. — Повидал Маску?

— Дык што? Само собой... малость поболтали.

— О чем же?

— Как сказать? О разном... больше о жисти.

— Манасевич хороший парень, правда?

— С ним жить можно, — поникнул Распутин над кружкой пива и потянул к себе с тарелки рака.

— Ну вот! — обрадовался Сазонов. — Я знал, что вы друг дружку понравитесь. Что ни говори, а два сапога — пара!

Распутин долго чистил рака, потом признался:

— А все-таки он большой нахал. Уважаю!

* * *

Неожиданно для Сазонова Распутин впал в глухую депрессию, будто алкоголик после страшного перепоя, сидел на постели и днем и ночью, нечесан, немыт, в одном исподнем, мычал непонятно:

— М-м-м, беда... пропал я, бедненькой!

— Ефимыч, да ответь толком — что с тобой?

Активное «изгнание бесов» в Царицыне не прошло даром. Случилось невероятное: *Распутин стал импотентом...* Он плакал:

— Хосподи, на што ж я жить буду теперича?

Утром его потревожил телефонный звонок:

— Григорий Ефимович, с вами говорит доктор Бадмаев... знаете такого? Я слышал, что у вас, мой дорогой, случилась маленькая мужская неприятность... Это чепуха! Навестите меня...

11. И даже бетонные трубы

Прощай, моя Одесса,
веселый Карантин,
нас завтра угоняют
на остров Сахалин!

— Мне это надоело, — сказал генерал Курлов, выпивая при этом стопку анисовой, чистой, как слеза младенца. — Стоит мне вынырнуть, как меня снова топят. Уж как хорошо начал губернаторство в Минске, а тут... Демонстрация. Я скомандовал: залп! — и газеты подняли такой жидовский шухер, будто воскрес Малюта Скуратов... А сейчас, — продолжал Курлов, закусывая водку китайским яблочком, — Столыпин, этот истинный держиморда, призывает Степку Белецкого, у которого вместо носа — канцелярская кнопка... Зачем? Это ясно — чтобы Степана на мое место сажать...

Курлов имел очень внимательного слушателя сейчас — тибетского Джамсарана Бадмаева; закутанный до пяток в бледно-голубой балахон, он сидел на корточках перед низенькой монгольской жаровней, бросая на нее индийские благовония.

— Кто такой Степан Белецкий? — спросил тихонько.

— Дурак! — отвечал Курлов громчайше. — Сейчас на Самаре — вицегубернаторствует. Вместе со Столыпиным служил... в Гродно, кажется. Столбовому боярину Пьеру эсеры лапу прострелили, а Степана, как выходца из народных низов, в навоз обмакнули. Вахлак он... в Жмеринке б ему на базаре солеными огурцами торговать!

— Сейчас придет Распутин, — сообщил Бадмаев.

— Нельзя ли мне по душам с ним поговорить? Говорят, мужик с мозгами. Если с ним не собачиться, так он...

— Не надо, — перебил Бадмаев. — Вы, Павел Григорьич, в мундире генерала, а Григорий Ефимыч после того, как его профессор Вельяминов отколошматил, генералов пугается.

— Так я могу мундир скинуть, — предложил Курлов.

— А штаны с лампасами?

Курлов был настроен воинственно:

— Черт меня возьми, но можно и штаны скинуть!

— Как же я вас без штанов представлю?

— Как своего старого пациента...

Зазвонил телефон. Бадмаев снял трубку:

— Доктора Бадмаева? Простите, вы ошиблись номером... Здесь не лечебница — здесь контора по продаже бетонных труб! — Только повесил трубку, как раздался звонок с лестницы.

— Это он! — сказал Бадмаев, отодвигая ногой жаровню.

— Заболел? А что с ним стряслось?

— Переусердствовал, — отвечал Бадмаев. — Любить женщин в его летах надо по капельке в гомеопатических дозах...

* * *

Никто не отрицает, что бетонные трубы государству необходимы. Никто не станет отвергать и значение тибетской медицины. Насчет бетонных труб я не знаю что сказать, ибо за двадцать пять лет работы в литературе трубами никогда серьезно не занимался, но о тибетской медицине скажу, что сейчас в нашей стране проводится большая научная расшифровка древних книг Тибета, дабы выявить в них секреты древнейшего врачебного искусства. Тибетская медицина признает лишь один метод лечения — высокогорными травами... Но при чем здесь Бадмаев?

Джамсаран Бадмаев, этот коварный азиат, имел прозвища Клоп, Сова, Гнилушка. Из бурятской глуши приехал в Петербург, где окончил университет, в котором и стал профессором монгольского языка. Александр III был его крестным отцом, Джамсаран в крещении получил имя — Петр Александрович. Из путешествий по Востоку он вывез вороха душистых трав, назначение которых аллопаты и гомеопаты не знали. Витте говорил, что Бадмаев вылечит любого человека, но при этом он обязательно впутает пациента в какую-либо аферу. Тибетская медицина экзотично вошла в быт великосветского Петербурга, где нашлось немало ее адептов. Бадмаевскую фармакопею

трудно учитывать, он варил лекарства всегда сам, названия для них (чтобы запутать ученых) брал с потолка, — по сути дела, он вел опасную торговлю возбуждающими *наркотиками*, которые называл романтично: тибетский эликсир ху-ши, порошок из нирвитти, бальзам ниен-чена, эссенция черного лотоса, скорбные цветы царицы азока... Понимая, на чем легче всего разбогатеть, Бадмаев специализировал свою клинику на излечении сифилиса. Ослабевших аристократов он делал пылкими мужчинами, а страстных аристократок (по просьбе их мужей) превращал в холодных рыбок. Помимо клиники в городе, Бадмаев имел дачи-пансионаты и загадочные санатории, где изолировал больных от мира, а что там происходило — об этом никто не знал, пациенты же санаториев лишь таинственно улыбались, когда их об этом спрашивали. За голубою тогой врача-кудесника скрывался изощенный политический интриган. Еще в конце XIX века он настаивал, чтобы рельсы Великого сибирского пути пролегли не на Владивосток, а через Кяхту. Он досаждал министрам своими «мнениями» в плотно запечатанных пакетах, сочинял брошюры, писал рефераты о пассивности Китая, высчитывал, сколько Россия выпивает ведер молока и водки; Бадмаев — один из поджигателей войны с Японией. Шарлатан был глубоко уверен, что тайные пружины управления государством гораздо важнее, нежели холостящие приводные ремни, опутавшие Россию с ног до головы и работа которых видна каждому. Бадмаев несколько не врал, когда сказал по телефону, что здесь, по Суворинскому проспекту, в доме № 22, находится контора по продаже бетонных труб. В любой момент его клиника могла обернуться ателье парижских мод, а любая амбулатория становилась вертепом разврата, побывав в котором хоть единожды люди уже до гробовой доски молчали как убитые. Бадмаев умел связывать людей, не беря с них никаких клятв! Сила его заключалась в том, что все эти министры, их жены, сенаторы, их любовницы оставались перед ним... нагишом... Бадмаев хранил врачебные тайны, но всегда умел шантажировать пациентов знанием их тайн!

Сейчас Джамсарану Бадмаеву было шестьдесят лет.

Звонок в прихожей звенел, не переставая.

В квартиру шарлатана ломился Распутин.

Бадмаев был ему нужен — от него зависело все!

Я уже писал, что Митька Козельский после разлуки со своим антрепренером Елпидифором Кананыкиным был содержим на синодских субсидиях в бадмаевских клиниках. Точнее, Бадмаев держал его, как собаку, в прихожей квартиры, где блаженный мужчина, достигнув зрелости, настолько развил свой могучий интеллект, что с помощью культипок освоил великую премудрость — научился отворять двери... Сейчас он открыл двери Распутину и сразу же больно укусил его за ногу. «Зачем мамок блюдуешь?» — спровоцировал он, уже науськанный святейшим Синодом против придворной деятельности Распутина. Гришка никак не ожидал встречи с Митькой, но, благо в передней никого не было, он молча и сердито насовал убогому по шее, отчего Митька с плачем уполз по коридору...

Бадмаев провел гостя в комнату для гостей, где не было ничего лишнего, только на стенке (непонятно зачем) висел портретик поэта Надсона. С неожиданной силой врач толкнул Гришку пальцем в бок, и тот, здоровый мужик, сразу ослабел — опустился на кушетку.

— А теперь, — сказал Бадмаев, улыбаясь широким лицом, — вы расскажете мне о себе все, что знаете. Скрывать ничего не надо! Вы должны быть предельно искренни со мною, иначе... Иначе ваша болезнь останется навсегда неизлечимой!

Бадмаев косо глянул на дверь, а в замочной скважине узрел растопыренный глаз генерала Курлова, который тщательно изучал знаменитого Распутина (пройдет шесть лет, и жандарму предстоит в морозный день целых два часа сидеть на зачоченевшем трупе Распутина, о чем сейчас Курлов, конечно же, не догадывался)...

— А вылечите? — с надеждой спрашивал Распутин.

— Я употребляю очень сильные средства — дабсентан, габырьнирга, горнак. У меня в аптеке есть и «царь с ногойкой», который хлестнет вас раза три — и вы поправитесь... — Бадмаев со своей ладони дал Распутину понюхать зеленого красивого порошка. — Сейчас вы заснете... Вам хочется спать, Григорий Ефимыч?

— Угу, — ответил Гришка и рухнул на подушки...

Бадмаев тихо затворил двери, сказал Курлову:

— Пока он дрыхнет, я подумаю, что с ним делать.

...Распутин очнулся от яркого света. Он лежал в комнате, окно которой выходило в лес, и там не шелохнулись застывшие в покое ели и сосны. На ветвях, отряхивая с них струйки инея, в красных мундирчиках сидели важные снегоири. В комнате топилась печка. А на соседней кровати, уныло опустив плечи, сидел еще не старый мужчина с усами и очень печально смотрел на Распутина.

— Где я? — заорал Гришка.

— Не знаю, — отвечал мужчина с усами и стал плакать.

— А ты кто таков? Санитар, што ли?

— Я — член Государственной Думы Протопопов!

— Чего лечишь?

— Пуришкевич, — отвечал Протопопов, сморкаясь, — уговаривал меня лечиться сальварсаном у доктора Файнштейна... знаете, это на Невском, вход со двора, конечно. Но я как-то не доверяю современной медицине... А вам габырь уже давали?

— Не знаю я никакого габыря, — забеспокоился Распутин, вскакивая. — Это как же так? Где же я? Куда попал?

— Я был в таком ужасном нервном состоянии, — рассказывал Протопопов, — что не могу вспомнить, как меня сюда привезли. Думаю, что мы с вами на станции Сиверская... Вот теперь жду, когда мне дадут понюхать цветок азока, и тогда я успокоюсь.

Дверь открылась, вошел сияющий, как солнце, Бадмаев с бутылкой коньяку, следом за ним Митька Козельский — с кочергой.

— Григорий Ефимыч, — сказал Бадмаев, — советую подружиться с моим старым пациентом Александром Дмитричем Протопоповым... это человек, достойный всяческого внимания.

— Да, я вижу, он с башкой! — отвечал Распутин и, отняв у Митьки кочергу, помешал в печке сырые дрова. — Скоро ль вылечите? Терпенья моего нету... дома ведь меня ждут!

— Не спешите. Чтобы обрести нужную силу, побудете здесь с недельку. Потом я продолжу лечение в городской клинике...

В программу лечения входили и оргии, которые Бадмаев устраивал для своих пациентов. Протопопов однажды во время попойки крепко расцеловал Распутина.

— А ведь знаете, мне одна цыганка нагадала, что я стану министром. А я верю в навьи чары... Глубоко между нами признаюсь:

я страшно влюблен в нашу царицу. Влюблен издалека, как рыцарь! Прошу: доставьте мне случай повидать даму моего сердца.

— Устроим, — обещал ему Гришка...

Распутин прошел курс лечения и скоро с удвоенной силой включился в бурную «политическую» деятельность. Но Бадмаев его уже не оставил. Посредством лекарств, то возбуждающих, то охлаждающих, он как бы управлял Гришкой на расстоянии, отчего Распутин был зависим от врача-шарлатана, а заодно он стал и ходячей рекламой бадмаевской клиники. Сохранился документальный рассказ Распутина: «Зачем ты не бываешь у Бадмаева? Ты иди к нему, милая... Больно хорошо лечит травушкой. Даст тебе махонькую рюмочку настойки и — у-у-ух как! — бабы тебе захочется. А есть у него и микстурка. Попьешь ее, кады на душе смутно, и сразу тебе все ерундой покажется. Станешь такой добренький, такой глупенький. И будет тебе на все наплевать...»

До самой гибели Распутин будет жить на наркотиках!

* * *

Весною на своей вилле возле Выборгской стороны (там, где в 1917 году сожгли Распутина!) Бадмаев принял Родзянку. Хомякова уже скинули с «эстрады» Государственной Думы, и председателем был избран Александр Иванович Гучков.

— Что бы вы могли сказать о нем? — спросил Бадмаев.

Родзянко держался настороже, будто попал в вертеп разбойника, и сказал, что явился на эту виллу не ради сплетен:

— Вы обещали, Петр Александрович, дать мне конспект своей записки о негодяйском житии обормота Гришки Распутина...

Бадмаев опустился на колени, прикинув к жаровне с благовониями. Родзянко наблюдал, как струи синего дыма подобно змеям уползали в широко расставленные ноздри бурятского чародея, и если бы дым вдруг начал выходить из-под халата врача, Родзянко даже не удивился бы... Бадмаев резко выпрямился.

— Хорошо. Григория Ефимовича я вам «освещу»!

Этого же хотел бы и премьер Столыпин, который тоже собирал досье на Распутина. Но Бадмаев никогда бы не дал премьеру материалов о Распутине, ибо врач делал ставку на Курлова, мечтавшего свалить истукана Столыпина, и Бадмаев заранее учитывал расстановку шахматных фигур в предстоящей опасной игре за обладание креслом министра внутренних дел... Вечером Родзянко сидел у себя дома на Фурштадтской, 20 и читал записку о Распутине, которую этот негодяй Бадмаев начинал так:

«Сведения о Грише знакомят нас с положением Григория Ефимовича в высоких сферах. По его убеждению, он святой человек, таковым считают его и называют Христом, жизнь Гриши нужна и полезна там, где он приютился... Высокая сфера — это святая святых Русского государства. Все верноподданные, особенно православные люди, с глубоким благоговением относятся к этой святыне, так как на нем благодать божия!»

— Какая скотина! — прошипел Родзянко. — Обещал мне ведро с помоями, вместо этого всучил акафист какой-то...

В списке распутинцев Бадмаев одно имя тщательно замазал чернилами. Но Родзянко все же доскоблится до него: граф Витте! В конце записки Бадмаев выражал уверенность, что, если Распутина не станет, его место займет кто-то другой, ибо Распутин нужен.

12. Три опасных свидания

— Если Распутин нужен, — сказал Столыпин, — то, выходит, я больше не нужен! Кажется, мы уже дошли до конца веревки и теперь настало время заглянуть гадине прямо в ее глаза!

Накануне он вручил царю доклад о мерзостях Распутина и потребовал удаления варнака в необъятные сибирские дали. Император читать не стал.

— К чему вам порочить молитвенного человека?

— Молитвенного? — осатанел Столыпин. — Распутин таскает в банные номера статс-дам и фрейлин, а попутно прихватывает с улиц и проституток. Петербург небезгрешен! Это, конечно, так. Но знаменитые куртизанки Додо и Мак-Дики представляются мне намного чище наших придворных дам... Их могу соблазнить я! Можете соблазнить вы! Но в баню с Гришкой они не побегут!

Ответ царя был совсем неожиданным:

— Петр Аркадьевич, я ведь все знаю! Но я знаю и то, что даже в условиях бани Распутин проповедует Священное писание. — Столыпинский доклад был им отвергнут. — Премьеру такой великой империи, как наша, не подобает заниматься коллекционированием сплетен. Вы бы лучше сами повидали Григория Ефимовича!..

Сидя в «желтом доме» МВД на Мойке, Столыпин решил исполнить совет царя и вызвал генерала Курлова.

— Павел Григорьич, я сейчас послал Оноприенко на Кирочную для доставки сюда главного гада империи. Человек я горячий и потому прошу вас при сем присутствовать. Сядьте за стол и читайте газетку, но в разговор не вмешивайтесь...

Было жарко. За раскрытыми окнами плавился раскаленный Петербург, шипели струи воды из брандспойтов дворников, обливавших горячие булыжники мостовых, по которым сухо и отчетливо громыхали колеса ломовых извозчиков. В двери кабинета просунулась голова дежурного курьера Оноприенко.

— Дозволите ввести? — спросил он.

— Да. Пусть войдет или — точнее — вползет...

Об этом свидании сохранился рассказ самого Столыпина: «Распутин бегал по мне своими белесоватыми глазами, произносил загадочные и бессвязные изречения из Священного писания, как-то необычно разводил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине... Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза и что он производит на меня какое-то довольно сильное, правда, отталкивающее, но все же моральное впечатление. Преодолев себя, я прикрикнул на него. Я сказал ему прямо, что на основании документальных данных он у меня в руках и я могу раздавить его в прах, предав суду по всей строгости закона, ввиду чего резко приказал ему *НЕМЕДЛЕННО, БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО И ПРИТОМ ДОБРОВОЛЬНО ПОКИНУТЬ ПЕТЕРБУРГ*, вернуться в свое село и больше здесь никогда не появляться...» Распутин на прощание неожиданно сказал:

— Но я же беспартейна-ай! — И захлопнул двери.

— Он, видите ли, вне партий, — возмущался Столыпин. — Можно подумать, я больше всего боюсь, как бы он не пролез в ЦК кадетской фракции. А ваше мнение? — спросил у Курлова.

— Варнак, конечно, — помялся жандарм. — Но лучше бы вы с ним не связывались. Что вы ему инкриминируете? То, что он в баню не один ходит? Так это его личное дело. А завтра я пойду с бабой в баню. Вы и меня потащите с курьером Оноприенко?

— Нет, — возразил Столыпин. — Все сложнее. Чувствую, что с этим Распутиным власти еще предстоит немало повозиться...

Вскоре выяснилось, что Гришка, дискредитируя премьера, в Сибирь не поехал. При очередном свидании с царем Столыпин заметил на лице самодержца блуждающую усмешку... Его, презуса, оскорбляли! Скомкав служебный день, он отъехал на нейдгардтовскую дачу — в Вырицу, до вечера сидел в скрипящем соломенном кресле, закручивая усы в кольца. В сторону затуманенной речки, названивая на гитарах, прошла компания вечно юных студентов и милых барышень-курсисток... Счастливые люди — им было хорошо.

Да, выходит, пели мы недаром,
не напрасно ночи эти жгли.
Если мы покончили со старым,
знать, и ночи эти отошли.

Да-аро-огой длинна-аю,
да ночью лунною,
да с песней той, что вдаль летит, звеня,
да со старинною, да с семиструнною,
что по ночам...

За спиной премьера послышался резкий стук костылей — на веранду вышла безногая дочь Наташа, а под локоть ее поддерживал красивый лейтенант флота (жених!). Что ж, жизнь продолжалась... Из темной зелени ревели неугомонные граммофоны, над крышами дач расплескивало за полночь сладостный сироп собиновского тенора: «Дышала ночь восторгом сладострастья...» А из отдаления, со стороны станции, несло родимое, такое ветхозаветное и всем знакомое: «Кара-у-ул! Гра-а-абят...»

— Черт знает куда смотрит наша полиция, — сказал Столыпин, председатель Государственного Совета, он же и министр внутренних дел (завтра у него второе свидание — тоже опасное).

* * *

За полчаса до прибытия поезда премьер уже прогуливался по доскам вокзального перрона — в светлосерой шинели, в дворянской фуражке, обрамленной красным околышем. В числе путейцев, носильщиков и публики Столыпин наметанным глазом определял агентов охраны, обязанных подставить свою грудь под пули, которые будут направлены в него — в государственного мужа... Все было в порядке вещей, и Столыпина уже трудно было чем-либо удивить. Наконец запыленный поезд вкатил зеленые вагоны под закопченные своды Николаевского вокзала. Столыпин еще издали помахал фуражкой — рад, ррад, рррад! Из вагона вышел мужиковатый человек в кургузом пиджачишке, помогая сойти на перрон детям, следом появилась сухопарая некрасивая дама.

Это прибыл Степан Петрович Белецкий.

Столыпин поцеловал руку его жены, погладил малышей по золотистым головкам, молча двинулись к царскому павильону, в тени которого премьер вел себя по-хозяйски, почти по-царски.

— Эту даму с детьми, — наказал метрдотелю, — накормите из буфета, дайте им помыться после дороги... Ольга Константиновна, извините, но вашего Степана я забираю для важного разговора!

Они уединились в отдельной комнате павильона. Белецкий чувствовал себя страшно скованно, попав из самарской глуши сразу в царскую обстановку, где сам (!) премьер империи наливает ему рюмочку арманьяка. Столыпин знал, что делает, когда вызвал Степана в столицу. В этом притихшем чиновнике скрывалась потрясающая (полицейская!) память на мелочи. Умный. Бескультурный. Вышел из низов. Лбом пробил дорогу. Короткие пальцы. Желтые ногти. Чувствителен к взглядам: посмотришь на руку — прячет ее в карман, глянешь на ногу — подволакивает ее под стул. Нос пипочкой. Глаза влажные, словно вот-вот пустит слезу. На пальце колечко (узенькое). Чадолубив. С хохлацким акцентом: «телехрамма», «хазеты», «хонспирация», «Азэхф»... Таков был Степан Белецкий.

Поначалу премьер расспросил его об аграрных волнениях в провинции. Белецкий отвечал даже со вкусом, рад поговорить:

— Пятый ход похазал, што такое русский мужик. Посмотришь: вроде хонсервативен. Но хогда дело хоснется чужого добра, тут он сразу социал-демократ, да еще хахой! Знаю я их... сволочей. «Давай дели на всех... Нашей хровью добытое! Ишь, дворцов понаделали. Бей, хруши, ломай... все наше будет!»

Столыпин, горько зажмурившись, с каким-то негодованием всосал в себя тепловатый коньяк. Долго хрустел золотую бумажкою царской карамели. Мимо окон павильона прошел дачный поезд — петербуржцы, обремененные кладью, спешили к лесам и речкам, ища отдохновенной прохлады... Столыпин заговорил по делу:

— Мы живем в такое подлое время, когда все хорошие люди говорят горам высоким: «Падите на нас и прикройте нас...» Я тоже хочу прикрыться! Не знаю, откуда посыплются пули — слева или справа? В конце-то концов это даже безразлично... Поверь мне, Степан: мне давно наплевать, где подписан мой приговор — в ЦК партии эсеров... или на Фонтанке, в департаменте полиции! —

Белецкий спросил, не боится ли он ездить в Думу. Столыпин ответил, что на втором этаже Таврического дворца, по секрету от думцев, для него сделана блиндированная комната. — Но никакая броня не спасет. Мне нужен свой человек на Фонтанке...

Да! Столыпин и не скрывал, что, выдвигая Белецкого, хотел нейтрализовать в МВД влияние генерала Курлова, ибо в нем видел не только соперника, но и врага...

Потом семья Белецких ехала в наемной коляске.

— Что он тебе сказал? — спросила жена.

Белецкий пребывал в некотором ошалении.

— Ты не поверишь! Я заступаю пост вице-директора департамента полиции... Мне хочется плакать от счастья. Подумай: сын народа, щи лаптем хлебал, зубами скрипел, так мне было, и...

Он вверг жену в страшное отчаяние.

— Степан, умоляю — не соглашайся!

— В уме ли ты, Ольга?

— Ты пропадешь, Степан, а я пропаду с тобою.

— Чушь! — отвечал он.

— Это катастрофа... это конец нашей жизни. Тебе хочется вывалиться в полицейшине, как в луже? Прошу, откажись.

— И вернуться вице-губернатором в Самару?

— Хоть на Камчатку, но только не полиция.

— Ольга, — твердо сказал Белецкий, — ты женщина, и ты ничего не понимаешь. Я должен делать карьеру. Ради тебя. Ради детей. Ради куска хлеба под старость... Для кого же я стараюсь?

Через день Столыпин позвонил Белецкому — спросил, как он чувствует себя на Фонтанке? Степан отвечал премьеру:

— Ну и ну! Курлов глядит так, будто я ему долгов не вернул. Здесь даже не бегают, а носятся по коридорам как угорелые кошки... Вижу, что попал прямо в парилку. Вот только жена беспокоится, как бы чего не вышло!

Столыпин не сказал ему, что мужья должны слушаться своих жен. Женщины предчуют беду лучше мужчин — сердцем.

Осенью 1910 года весь русский народ отмечал небывалый праздник, вошедший в нашу богатую историю под названием Первый Всероссийский Праздник Воздухоплавания. Пилоты напоминали тогда птичек, летающих внутри своих порхающих клеток. Чуткий поэт Александр Блок уже давно прислушивался к новому шуму XX века — это был шум работающих пропеллеров:

Его винты поют, как струны.
Смотри: недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной
Стремит свой винтовой полет.

Подлинным асом показал себя летчик Н. Е. Попов, который достиг небывалой высоты — шестисот метров; он же побил все рекорды продолжительности полета, продержавшись в воздухе два часа и четыре минуты! «Для него, — с восторгом писали газеты, — не существует невозможного в авиации». Полиция на всякий случай тут же установила «Правила летания по воздуху», что дало повод выступить в Думе депутату Маклакову: «Не понимаю, как полиция мыслит себе контроль за правильностью полетов? Я думаю, в конечном итоге это будет выглядеть так. Летит, скажем, Уточкин или Заикин, а за ними геройски ведет аэроплан жандармский генерал Курлов и грозным окриком, как городской на перекрестке, делает им замечания...» Следом поднялся на трибуну иронический Пуришкевич: «Я понимаю тревогу своего коллеги Маклакова. Но полиция, заглядывая в будущее, поступает правильно. А то ведь, сами знаете, господа, как это бывает... Найдется какой-нибудь Стенька Разин, который раскрутит свой пропеллер, взлетит на недостижимую для смертных высоту и шваркнет оттуда пачку динамита на Царское Село с его венценосными жителями. Тогда мой коллега Маклаков громче всех будет кричать о том, что у нас безобразная полиция, которая ест хлеб даром... Я — за полицию даже под облаками!»

Удивительно: русский народ как-то сразу полюбил авиацию. Царская власть, учитывая большую популярность авиаторов-

чемпионов, незримо использовала Неделю воздухоплавания ради заигрывания перед армией и перед народом. А. И. Гучков от лица думской общественности уже слетал в Кронштадт и обратно, а теперь — от имени правительства! — наступала очередь лететь и Столыпину... На зеленом поле Комендантского аэродрома колыхалась трава. Самолет напоминал нечто среднее между стрекозой и этажеркой. Треск мотора, брызгающего на траву касторовое масло, наполнял сердца зрителей сладким ужасом чего-то необыкновенного. Столыпин шагал через поле, не видя путей к отступлению, ибо газеты (ах, эти газеты!) уже разрезвонили на всю Русь-матушку, что он полетит именно сегодня — 21 сентября... Премьера подждал пилот — капитан Лев Макарович Мациевич, в прошлом офицер подводных лодок. Глядя в глаза Столыпину, он невозмутимо доложил:

— Ваше высокопревосходительство, осмелюсь заявить, что я революционер, и мне выпадает хороший случай разделаться с вами за тот реакционный курс политики, который вы проводите... По-человечески говорю: прежде чем лететь со мною, вы подумайте!

«Ах, эти газеты...» А пропеллер уже вращался.

— Спасибо за искренность... Мы полетим!

Мациевич любезно помог ему забраться в кабину, крепко стянул на Столыпине ремни, велел держаться за борта двумя руками.

— Могу только одной, — пояснил Столыпин. — Вторая рука была прострелена насквозь вами... революционерами!

Трава осталась внизу. Мациевич часто оборачивался, чтобы посмотреть, не вывалился ли премьер на крутых разворотах. «Этажерка» его тряслась каждой своей жердочкой. Столыпин, посинев от ужаса, с глубоким удивлением разглядывал классически точную планировку «Северной Пальмиры»... Он видел и Кронштадт.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Мациевич.

Горячие брызги касторки залепляли премьеру глаза.

— Превосходно, капитан! — с бравадой отвечал он.

— Значит, я полагаю, полетим за облака?

— Вы крайне любезны, капитан, но... не надо.

Вот и трава! Столыпин выпутал себя из ремней.

— Благодарю вас, — пожал он руку пилоту. — О том, что вы мне сказали перед полетом, я болтать никому не стану...

Через несколько дней газеты России вышли в траурной рамке: «ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ КАПИТАНА МАЦИЕВИЧА! Авиатор во время полета выпал из машины и разбился насмерть. Аэроплан, пролетев без него немного, упал тоже и превратился в груды обломков...»

— Жаль, — искренне огорчился Столыпин. — Это был благородный человек, человек смелых и дерзких чувств. Из мрачных глубин моря он смело взлетел под облака и был... был счастлив!

28 сентября Невский проспект заполнила такая гигантская демонстрация, какой никогда еще не бывало: Петербург прощался с Мациевичем. А в толпе провожавших тишком рассказывали, что пилот не просто выпал из самолета — нет, он сознательно покончил с собой, [\[11\]](#) якобы испытывая угрызения революционной совести за то, что не разделался со Столыпиным... Столыпин в эти дни писал царю: «...*Мертвые необходимы!* Жаль смелого летуна, а все же общество наше чересчур истерично». Почему он написал именно так — я не знаю. Наш известный архитектор И. А. Фомин тогда же установил на могиле пилота прекрасную стелу — она как игла, устремленная ввысь. В ней чувствуется что-то очень тревожное, крайне беспокоящее, даже ранящее...

13. На высшем и низшем уровне

После Боснийского кризиса, вызвавшего обострение европейской политики, Извольского недолго держали на посту министра, спровадив его послом в Париж, где, в нарушение правил дипломатической этики, он всюду настырно твердил: «Война с Германией будет *моей войной*». Портфель с иностранными делами в кабинете Столыпина получил его ставленник из культурной семьи москвичей-славянофилов. Лицеист по образованию, он был полиглот и музыкант, знаток истории и политики. Сазонову предстояло пройти все круги Дантова ада — вплоть до того момента, когда Пурталес вручит ему ноту, объявляющую войну с Германией... А работы много! В восемь утра Сергей Дмитриевич уже в министерстве, где за чашкой какао прочитывает поступившие за ночь донесения послов и консулов, по вырезкам из газет изучает столичную прессу государств Европы и Америки; с десяти до часу — доклады и приемы. Потом ему подают диетический завтрак, полчаса он гуляет по набережной. В два часа дня начинается прием иностранных послов, которые занимают его до вечера. К этому времени в Ампириной зале министерства накрывают обед, длящийся до 9 часов, затем Сазонов снова уединяется в кабинете, где редактирует дипломатическую переписку. Ровно в полночь он покидает здание у Певчевского моста и едет домой. Завтрашний день будет повторением прошедшего. Лишь очень редко, большой поклонник музыки, Сазонов урывает часок-другой, чтобы забежать в Мариинку, где прослушивает арию певца, или посещает Дворянское собрание — ради одной или двух частей любимой симфонии... Очень слабый здоровьем, Сазонов не курил, не пил, не имел дурных привычек, это был человек «невысокого роста, с непомерно большим носом, ходил слегка вприпрыжку и потому напоминал молодого вороненка, выпавшего из гнезда». Жена его была сестрой жены Столыпина...

Николай II проводил осень 1910 года на родине супруги — в замке Вольфегартен близ Дармштадта; подготовлялась встреча царя с кайзером в Потсдаме, и чиновники МИД понимали, что за разговорами о строительстве немцами железной дороги Берлин — Багдад следует ожидать тевтонского натиска Германии, желавшей развалить союз

России с Францией. Импровизаций в таких делах не допускалось: в Берлине заранее писался сценарий разговора с Сазоновым для рейхсканцлера Бетман-Гельвега, в Петербурге создавали схему беседы Сазонова с Бетман-Гельвегом. Ночью поезд пересек границу. Германия находилась в активном движении: мимо станций громыхали воинские эшелоны, в раскрытых дверях товарных вагонов виднелись гладкие блестящие крупы драгунских лошадей, солдаты играли на окаринах и, любовно обнимая стволы крупновских гаубиц, пели вполне миролюбиво (словно специально для русского министра иностранных дел, глядящего на них из окна вагона):

Девчонок наших давайте спросим —
неужто летом штанишки носят?..

В Берлине Сазонову был дан завтрак. Обеды и завтраки даются дипломатам не для того, чтобы накормить и напоить их, — это лишь предлог для завязки политической дуэли. Под шипение шампанского в бокалах развивается внешне игривый диалог, в котором даже безобидные слова подвергаются потом тщательному анализу в канцеляриях министерств... Немцы чествовали Сазонова с удивительным радушием! Бетман-Гельвег заявил, что Германия не нуждается в изменении курса русской политики. Конечно, был затронут и Боснийский кризис, в котором Австрия выиграла, а Россия проиграла. Рейхсканцлер заверил Сазонова, что *Германия не обязана и не намерена* поддерживать честолюбивые планы Австрии на Балканах. Услышав такое, Сазонов чуть не задал вопрос: «Сознает ли канцлер все значение сказанного?» Но он смолчал, ибо понимал, что эти обдуманые слова тоже вписаны в сценарий. Немцы лезли из кожи вон, лишь бы изолировать Россию в Европе... Переговоры продолжались в Потсдаме, где кайзер весьма усиленно (и успешно) потчевал своего милого кузена коньяками, и царь от выпивки подобрел (и поглупел): в проекте договора появилась статья о взаимном обязательстве России и Германии не вступать во враждебные друг другу коалиции. Но Сазонов за выпивкой монархов ограничил себя минеральной водой, и потому Германии, не удалось взобраться на русскую шею. «Ваше величество, в политике всегда есть точки, далее

которых следовать гибельно», — сказал Сергей Дмитриевич царю... Вернувшись в Петербург, он дал газетчикам интервью, которое скорее напоминало извинение перед русской публикой за посещение им Берлина. Бетман-Гельвег напрасно заверял рейхстаг, будто в Потсдаме договорились о полном единстве взглядов: Сазонов выдержал бешеный натиск германской дипломатии и договора с немцами не подписал. Потсдамское свидание монархов стало *последней попыткой* кайзера оторвать Россию от союзников. Это была и последняя попытка Николая вернуть страну на старинные рельсы родственной дружбы с Германией... Сазонов поспешил повидать Столыпина.

— Война будет, — сказал, — это уже ясно любому дворнику. Но если в результате войны русские казаки не напоят лошадей из Одера, если наши солдаты не согреются от пожаров Потсдама и Сан-Суси, значит, мы уже не великая нация!

— Я думаю о другом, — хмуро отвечал Столыпин. — Если война на носу, то следует убрать анекдотиста Сухомлинова...

Из Потсдама, заболтанный кайзером, царь вернулся, сильно *поправев*. «Опухший, глазки маленькие, говорят, пьет страшно много, недавно всю ночь до утра пьянствовал в Морском собрании».

* * *

В чаянии великой войны Сухомлинов настоял перед царем на ликвидации пограничных областей вдоль западных границ империи, по его распоряжению передовые линии гарнизонов тоже отводились назад — в глубину страны. Это не предательство, просто дурость. А когда Генштаб заговорил о создании в лесах Белоруссии на будущее партизанских баз, Сухомлинов раскипятился:

— Какие там партизаны? Мы же культурные люди...

Своих подчиненных он умолял: «Ради бога, побольше допинга!» Что он хотел этим сказать — неясно. Но зато Сухомлинов разгадал характер царя, чрезвычайно ревнивого к чужой популярности. Мастерски играя на этой струне, он добился, что великого князя Николая Николаевича выгнали из Совета Государственной Обороны, а

вскоре и сам Совет уничтожили. Сухомлинов сделал все, чтобы право личного доклада царю оставалось только за ним — за Сухомлиновым! Лишив этого права начальника Генштаба и генерал-инспекторов инфантерии, артиллерии, кавалерии, Сухомлинов забрал в свои руки *всю* армию России... Сегодня Шантеклер рассказал царю-батюшке очередной казарменный анекдот об одном старом интенданте, который никак не мог уразуметь разницу между «полевым довольствием» и «половым удовольствием». Николаю II анекдот безумно понравился, и министр решил позабавить им свое сокровище. Но реакция Екатерины Викторовны была совсем неожиданной:

— Не понимаю, на что ты, пупсик, намекаешь? Или до тебя дошли грязные сплетни, будто я беру взятки с интендантов?

— Душечка, упаси тебя бог... какие взятки?

Когда старик женится на молодой женщине, тут все ясно с самого начала — вынь да положь! Дают тебе, дураку, пять тысяч — бери, нашел на панели пять копеек — не ленись нагнуться, ибо молодой жене все пригодится. Сухомлинов хватал деньги где только мог, придумывал всякие доводы, чтобы казна оплатила ему перевоз мебели из киевской квартиры, чтобы всчитали ему в доход покупку новых обоев для питерской квартиры. А мир состоял из одних соблазнов, магазины ломались от красивых и дорогих вещей, за модами было уже не угнаться...

— У меня опять ни копейки, — говорила жена с подозрительной холодностью. — Пупсик, куда ты тратишь деньги?

Чтобы красавица не мучилась, Сухомлинов постоянно пребывал в дальних командировках (вплоть до берегов Тихого океана), получая бешеные прогонные. Его буквально мотало из конца в конец великой страны, в кабинете министра застать было невозможно, и потому армия наградила его меткой кличкой Корнет Отлетаев! Тысячи рублей протекали, как вода, между пальчиками очаровательной женушки, которая в благодарность целовала своего Мольтке прямо в эпицентр громадной лысины... Да, «любви все возрасты покорны», и чашу этой покорности Сухомлинову пришлось испить до конца. Словно мусор из дырявого мешка, в кабинет Сухомлинова посыпались родственники и родственнички Екатерины Викторовны — мелкотравчатые, жадные до рублей и власти, были они в империи мелкими и серенькими, а теперь готовились с помощью министра превратиться в жирных тлей, все

изъедающих, все прогрызающих, все переваривающих... Но запоздалый роман с чужою женой не украсил чело Сухомлинова лаврами, и двери лучших домов Петербурга захлопнулись перед супругами. Сухомлиновы оказались в состоянии «блестящей изоляции»! Странное положение: к царю входи, а в гости сходить не к кому. Но природа не терпит пустоты, и вакуум в доме Сухомлиновых тут же заполнили киевские знакомцы — Фишманы и Фурманы, Бродские и Марголины. Аферисты уже почуяли, что запахло прибылями от поставок для армии; сахарозаводчик Бродский угрожал министерству тем, что отныне русский солдат каждый день будет пить чай с сахаром, а сие означало, что теперь они сахарок только и видели. Альтшуллер открыл в столице контору «Южно-Русского машиностроительного завода». Да, такой завод существовал. Но контора была фиктивной и связи с заводом не имела. Денежных операций в ней не производилось, кассовые книги отсутствовали, никто не заключал с Альтшуллером договоров, но зато в контору частенько забегали подозрительные типы. А в кабинете Альтшуллера, на самом видном месте, висел портрет Сухомлинова с его же надписью — «Моему лучшему другу Альтшуллеру, с которым никогда не приходится скучать...».

Сухомлинова навестил полковник Оскар фон Энкель в мундире семеновца, говоривший с акцентом неисправимого шведа.

— Я из контрразведки, — сказал он, свободно усаживаясь. — Нам интересно: вы еще долго будете испытывать наше терпение?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Мы устали твердить вам об Альтшуллере.

— А я устал выслушивать ваши подозрения...

Энкель протянул ему бланк конторы Альтшуллера.

— Гляньте бумагу на свет.

Просветив бумагу напротив окна, Сухомлинов отчетливо различил водяные знаки австрийского государственного герба.

— Я тоже люблю писать на немецкой бумаге, но это еще не значит, что я германский шпион... Где у вас доказательства?

— Альтшуллер недавно вновь выезжал в Вену, и там, как стало известно, ему тайно вручили орден Франца-Иосифа... А за что?

— Альтшуллер — австрийский подданный, и это дело Вены награждать своих подданных орденами. Но ваши подозрения меня уже

достаточно утомили. Я буду жаловаться на вас государю...

И наклепал! Николай II (при всей его фатальной ненависти к телефонам) все же заставил себя снять трубку.

— Оставьте в покое военного министра, — наказал он контрразведке, — не мешайте ему трудиться на благо отчизны...

Екатерина Викторовна неожиданно расхворалась.

— Меня может поправить только осень в Карлсбаде.

— Птичка моя, но где же я возьму тебе денег?

Скоро к царю проник князь Андронников-Побирушка, которому давно протезировала Вырубова; она же — через царицу — и устроила это свидание. Хорошо зная характер князя, царь приготовился к тому, что тот сейчас начнет выскуливать для себя пособие на свою бездетность. Но, увы: «Не за себя прошу!» — слезно выговорил Побирушка; оказалось, что госпоже Сухомлиновой срочно потребовалось всего-то десять тысяч рублей.

— Не дам... нет, дам, — отвечал царь, возмущенный. — Но это уже выходит за пределы разума. Я не верю, чтобы военный министр не мог найти денег для лечения жены. Такая молодая здоровая бабища... Интересно, какое место она собирается излечивать?

Коковцев, получив записочку царя на выплату десяти тысяч рублей, вертел ее в руках и так и эдак: не верилось.

— Это для меня новость, — сказал он Екатерине Викторовне. — Как вам удалось добыть такую записочку?

* * *

Карлсбад (нынешние Карловы Вары) — столица курортов мира; русские аптеки давным-давно наладили выпуск карлсбадской соли, и ее мог пить каждый россиянин, не покидая родных пределов, но мятущиеся натуры, не знавшие, куда девать деньги, «солono хлебали» теплое карлсбадское пойло прямо на месте источника...

Екатерина Викторовна только в Карлсбаде и ощутила себя госпожой министершей. В самом деле, как приятно осознавать свою принадлежность к сливкам европейского общества. Вспомнилась ей

Потягуха — дачное место под Киевом, куда ее отвозил скаредный варвар-муж... «О боже, разве можно сравнить Карлсбад с Потягухой?» Ни в коем случае. И я не сравниваю. Карлсбад нужен нам, читатель, только потому, что именно здесь госпожа Сухомлинова заметила дамские перчатки небывалой красоты и выделки. Разглядев сначала перчатки, она перевела взгляд на лицо обладательницы перчаток... Это была Клара Самуиловна Мясоедова!

— Где вы достали такую прелесть? — не удержалась Екатерина Викторовна, вступая в сугубо женский разговор.

— Берлинские. Согласитесь, что только немцы могут любую ерунду сделать старательно и добросовестно... Если вам угодно, я попрошу мужа, и он выпишет для вас хоть дюжину... А вот, кстати, и он — познакомьтесь!

Плотный мужчина с плоским лицом смахнул с головы широкое канотье, плетенное из тонкой желтой соломки.

— Полковник Мясоедов... Сергей Николаич. Позволю себе сразу же заметить, что с неизменным восхищением наблюдаю за активной работой вашего супруга-министра на благо родного отечества.

— Да, он... допингирует, — отвечала министерша.

И вдоль карлсбадской колоннады, места обычных променадов, они тронулись уже втроем, рассуждая о пустяках, как и положено людям на отдыхе, которые убеждены в том, что их будущее обеспечено, впереди — гладкая дорожка жизни, на коей их поджидают одни удовольствия. Из этой троицы один будет скоро повешен, другую сошлют в сибирские трущобы, а третья, по одним слухам, расстреляна, по другим — вышла за грузинского князя...

Финал третьей части

В жизни каждого молодого человека бывает нормальный период «глупого счастья», когда радуется прохладный рассвет и закат над озером, улыбка случайно встреченной женщины, хороший обед с шампанским и дружеская пирушка с пивом — все эти крупницы радости приносят человеку бесхитрое ощущение своего бытия: я живу — я радуюсь тому, что живу! А вот на душе Богрова всегда лежала беспросветная мгла. Люди, знавшие его, потом вспоминали, что в нем было что-то дяляческое и запыленное, как вывеска бакалейной лавки на окраине заштатного городишки. Даже кутить не умел. Выпьет, но в меру. Увлечется, но не влюбится. Богров годился бы в подрядчики по ремонту водопроводов в земской больнице. Был бы неплохим коммивояжером галантерейной фабрики, распространяя по городам и весям империи подтяжки «люкс». Мог бы ходить по квартирам, предлагая самоучитель игры на семиструнной гитаре. Среди киевлян он считался «хохмачом», но острил нудно, и казалось, вся его жизнь будет нудной. Однако друзья его допускали такой вариант: однажды в провинциальной газетке, где-нибудь в низу колонки, петитом наберут сообщение: мол, вчера ночью в гостинице «Мадрид» повесился «король русского шпагата» Д. Г. Богров, причины самоубийства неизвестны... Но будь тогда киевские эсеры и анархисты немножко бдительнее, они бы прислушались к речам Богрова: «Важно не конечный результат действия массы, а лишь яркая вспышка в конце судьбы одной сильной личности. Но эта личность должна свершить нечто такое, чтобы все наше быдло вздрогнуло, будто его огрели кнутом!» Богров всегда возмущался партийной дисциплиной, не скрывал ненависти к той среде студенческих косовороток, которая саботировала сытых и богатых. «А я, — говорил Богров, — умею носить фрак и люблю высокие воротнички с откинутыми лиселями...»

Полковник Кулябка устраивал ему нагоняи.

— Вы же не ребенок, — говорил он ему. — Я все понимаю. Можно посидеть в ресторане. Можно взять певичку из хора. Но нельзя же так бессовестно напялить фрак и на рысаках подкатывать вечером к

«Клубу домовладельцев», который считается черносотенным. Эдак вы не только себя погубите, но и меня засыпете...

— Извините, Николай Николаевич, — отвечал Богров жандарму с покорностью. — Но что делать, если «домовладельцы» крупно играют, а я, увы, с пеленок обожаю картежный азарт...

Богров оказался предателем безжалостным; благодаря его доносам Кулябка предупредил несколько экспроприаций, провел групповые аресты максималистов в Киеве, Воронеже, Борисоглебске, с помощью Богрова жандармы обнаружили подпольные лаборатории взрывчатых веществ... Совесть его не мучила, и он жертвовал даже теми людьми, которых считал своими друзьями: Леонид Таратута, Иуда Гроссман, Наум Тыш, Ида и Рахиль Михельсоны — они могут сказать ему свое революционное «спасибо». Наконец, Богров «осветил» Кулябке по телефону дело о подготовке побега революционеров из Лукьяновской тюрьмы.

— Кто устраивает им побег? — спросил Кулябка.

— В том числе и я! — засмеялся Богров.

— Голубчик вы мой, брать будем всех одним букетом. Если вас не взять, возникнут подозрения.

— Без меня букет завянет... Берите!

Он был фиктивно арестован и полмесяца просидел в Старокиевском участке, куда ему носили обеды из ресторана. Папа с мамой убивались напрасно — их Мордка вернулся в отличном расположении духа. «По блату посадили, по блату выпустили, — смеялся Богров, а товарищам по партии он бросил такую фразу: — Не удивляйтесь, если между нами завелся провокатор. Вся наша партия — полуграмотный сброд, из которого охранка всегда выберет агента для своих нужд...» Из тюрьмы на волю стали просачиваться робкие слухи, что Богров как раз и есть тот провокатор, что предал всех. Однажды на конспиративной квартире его взяли за глотку — так или не так? Богров не потерял хладнокровия. «Обычно люди, — отвечал он, — продаются за деньги, но мой папа не последний в Киеве человек: один только его дом на Бибикивском бульваре оценен в четыреста тысяч рублей. А поместье Потоки под Кременчугом? Это не фунт изюму... За какие же коврижки мне продавать себя и предавать вас, дураков?» Вроде бы все логично, и ему вернули пенсне, которое перед разговором сорвали с

носа, чтобы он (плохо видящий без очков) не вздумал бежать... Повидав Кулябку, он неожиданно спросил:

— Помните, во время революции в Киеве ходил такой анекдот, будто один нахал пробил дырку в царском портрете, просунул в дырку голову и кричал в восторге: «Теперь я ваш царь!» Так вот, — сообщил Богров, — этим нахалом был... я!

Кулябка долго помалкивал. Потом спросил:

— Вы были при этом в пенсне или без него?

— А разве это имеет какое-нибудь значение?

— Просто я хочу полнее представить себе эту омерзительную картину... Извините, не могу понять: зачем вам это было нужно? Ну, крикнули: «Я ваш царь!», но царем-то вы не стали.

— А вы ничего не поняли, — мрачно ответил Богров.

* * *

Окончив Киевский университет, Богров писал друзьям, что «в Петербурге положение адвоката-еврея благоприятнее, нежели в Киеве или даже в Москве». Летом 1910 года он выехал в столицу, следом за ним в департамент полиции полетела телеграмма Кулябки: «К вам выехал секретный сотрудник по анархистам Аленский». Богров сначала устроился в юридическую контору Самуила Калмановича, затем по протекции отца перешел на службу в Общество по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов, где, надо полагать, работой себя не изнурял. Полностью опустошенный человек, не умеющий найти для себя ни дела, ни друзей, ни моральной основы, он писал летом своему приятелю так:

«Я стал отчаянным неврастеником. Слава богу, что у меня остался еще целый запас фраз, которые можно сказать в том или другом случае жизни, и потому моя репутация хохмача еще не окончательно подорвана. В общем же, мне все порядочно надоело, и хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное... Нет никакого интереса к жизни! Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать...»

Степан Белецкий снял трубку кабинетного телефона.

— Вице-директор департамента полиции слушает.

— С вами говорит агент Аленский.

— Отлично! Позвоните через полчаса.

Белецкий нажал кнопку звонка — явился жандармский полковник фон Котен, ведающий связями с агентурой.

— Михаила Фридрихыч — сказал Белецкий, — я еще не освоился с делами как следует... Тут звонил какой-то Аленский, я на всякий случай велел ему брякнуть через полчаса.

— И хорошо сделали! Киевский Кулябка уже предупредил нас о его приезде... Пожалуйста, выпишите деньги для небольшого кутежа в ресторане, ибо раскрывать перед Аленским конспиративные квартиры я не решаюсь и вам того не советую.

— Благодарю за науку. А нельзя ли выписать на кутеж и на меня? Я бы инкохнито посидел в уголку да послушал.

— Тогда выписывайте сразу на трех. Я прихвачу из жандармского резерва и Еленина. Партию анархистов он знает «в лицо».

Богров скоро позвонил, и Котен ему сказал:

— Будьте при фраке в «Малом Ярославце»...

В отдельном кабинете ресторана на Морской (ныне улица Герцена) состоялась встреча с Богровым.

— Киевлянин... земляк! — сказал пройдоха из резерва Еленин и дружески шлепнул Богрова по заднице, чтобы проверить, нет ли браунинга в заднем кармане брюк (он незаметно мигнул Белецкому: мол, все в порядке — сзади полная пустота).

Теперь пришла очередь поработать фон Котену.

— Такой молодой и красивый человек, — сказал он Богрову, дружески шлепая его по груди, чтобы проверить, нет ли оружия в пиджачных карманах (подмигнул Белецкому — чисто, можно ужинать).

Белецкий в разговоре отмалчивался; беседу с Богровым, стремительную и ловкую, больше похожую на допрос, вели фон Котен и Еленин, причем первый играл на недоверии, а второй выступал в роли защитника интересов Богрова, и если фон Котен выражал подозрение, то Еленин (из резерва) говорил ласково:

— Ну, что вы цепляетесь к человеку? Такой милый неиспорченный юноша... зачем же думать о нем так плохо?

Впервые в жизни Белецкий постигал уроки жандармской игры с человеком. Договорились, что Богров проникнет в подполье столичных эсеров; платили ему по сто пятьдесят рубликов в месяц.

Не особенно-то обогатив жандармские архивы, Богров обещал, что может принести МВД большую пользу, если отъедет за границу, что он и сделал. Зиму он проводил в Ницце, куда приехали и папа с мамой; заглянув в Монте-Карло. Богров просадил в рулетку четыре тысячи франков. После этого он заявил родителям, что Европа ему осточертела — он хочет вернуться в Киев.

* * *

Для встречи Нового года в доме Сухомлиновых на Мойке собрались гости, далеко не лучшие представители столичного общества: притащился Побирושка с конфетами, под елкой расселись сородичи Екатерины Викторовны; пришел, конечно, и Альтшуллер, явился интендант, через которого госпожа министерша брала взятки.

Часть четвертая
НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ
(январь 1911-го — весна 1912-го)

*Пуля
охранника провела
между легкими и
печенью
диктатора одну из
тех роковых черт,
за которой
история вписывает
итоги баланса
целой эпохи.*

Виктор Обнинский

Прелюдия к четвертой части

В 1911 году печать возвестила народам мира, что на небе появилась комета Галлея, которая пройдет от Земли столь близко, что хвост ее — не исключено! — врежется в нашу планету. Русские журналы запестрели наглядными схемами кометы, намекая читателям, что неплохо бы им, грешным, покаяться. Первогильдейские матроны срочно обкладывались подушками, дабы смягчить неизбежное потрясение (комета представлялась им вроде неосторожной телеги, которую нетрезвый кучер разогнал с мостовой на панель)...

Лучше всех, как я знаю, отметили «вселенское светопредставление» тамбовские семинаристы. В ночь, когда комета Галлея должна была вдребезги разнести нашу Землю, они собрались в городском парке, куда принесли восемьдесят пять ведер водки. Восемьдесят пять ведер водки — дело слишком серьезное, требующее сосредоточенности и хорошей закуски. Над тамбовскими крышами, трагически и сильно, всю ночь звучала «Наливочка тройная» — глубоко религиозная песня, слова которой до революции знало наизусть все русское духовенство:

Лишь стоит нам напиться, само собой звонится
и хочется молиться — умили-тель-но!
Коль поп и в камилавке валяется на лавке,
так нам уж и в канавке — извини-тель-но!
Наш дьякон из собора, накушавшись ликера,
стоит возле забора — наклони-тель-но!
Монахини святые, все жиром налитые,
наливки пьют густые — услади-тель-но!
Наш ректор семинарский в веселый вечер майский
напиток пьет ямайский — прохлади-тель-но!
А бурса из Харькова, накушавшись простова,
читает вслух Баркова — умили-тель-но!
Тамбовская же бурса, возьми с любого курса,
пьет водку без ресурса — положи-тель-но!
Большой любитель влаги, отец-ключарь Пелагий,

по целой пьет баклаге — удиви-тель-но!
А я, как ни стараюсь, но с ним не состязаюсь,
от четверти валяюсь — положи-тель-но!
Его преосвященство, а с ним все духовенство,
спилось до совершенства — непочти-тель-но!

Тамбов не пошатнулся. А на следующий день (что и требовалось доказать) семинаристы бойкотировали занятия. Зато полиция трудилась в поте лица, растаскивая бурсаков по кутузкам и говоря при этом весьма многозначи-тель-но:

— Ну-ну, попадись нам Галлей, мы ему покажем конец света... Энти вот ученые никогда не дадут помереть спокойно!

1911 год — год укрепления Распутина при дворе; члены фамилии Романовых нижайше испрашивали у царской четы разрешения прийти к чаю, а мужик просто приходил к царям, когда ему было удобно. От тех времен сохранилась протокольная запись его рассказа; ощущение такое, будто на старомодном граммофоне крутится заезженная пластинка с голосом самого Гришки Распутина:

— У царя свой человек... вхожу без доклада. Стукотну, и все! А ежели два дня меня нету, так и устреляют по телефончику. Вроде я у них как пример (т. е. премьер). Уважают. Царицка хороша, баба она ничего. И царёнок ихний хорош. Ко мне льнут... Вот раз, значит, приехал я. Дверь раскрываю, вижу — Николай Николаич там, князь великий. Невзлюбил он меня, зверем глядится. А я — ништо. Сидит он, а меня увидел, давай собираться. А я ему: «Посиди, — говорю, — чего уходить-то? Время раннее». А он-то, значит, царя соблазняет. Все на немцев его натравливает. Ну, а я и говорю: «Кораблики понастроим, тады и воевать можно. А нонеча, выходит, не надо!» Рассерчал Николай Николаич-то. Кулаком по столу — и кричит. А я ему: «Кричать-то зачем?» Он — царю: «Ты бы, — говорит, — выгнал его». Это меня, значит. «Мне ли, мол, с ним разговоры о делах вести?» А я царю объясняю, что мне правда открыта, все наперед знаю и, ежели Николаю Николаичу негоже со мной в комнате, так и пущай уходит. Христос с ним! Тут он вскочил, ногою топнул — и прочь. Дверью потряс шибко...

Расшифровать подтекст некоторых событий 1911 года не всегда удается. А нам нужны только факты, и мы снова посетим Суворинский клуб журналистов на Невском проспекте, дом № 16.

* * *

Читатель! Исторический роман — особая форма романа: в нем рассказывается не то, что логично выдуманно, а то, что нелогично было. Следовательно, стройная архитектоника у нас вряд ли получится. В чередке знакомств на протяжении всей нашей жизни одни люди возникают, другие уходят. Так же и в историческом романе автор вправе вводить новых героев до самого конца романа. Это нелогично с точки зрения литературных канонов, но зато логично в историческом плане. У меня нет композиции, а есть хронология. Ибо я не следую за своим вымыслом, а лишь придерживаюсь событий, которые я не в силах исправить...

В буфет Суворинского клуба вошел швейцар.

— А тамотко внизу опять пьяный валяется.

— Опять? — воскликнул Борька Суворин, жуя папиросу...

В гардеробной клуба лежал некто в сером и, судя по луже, вытекавшей из-под него, на бессонницу не жаловался.

— И кажинный денечек так-то, — рассказывал швейцар, — Дверь с улицы отворит, спрашивает: «Здесь храм искусства?» Я ему говорю, что здесь. Тогда он падает на пороге и засыпает...

Пьяному обшарили карманы, но обнаружили только давний билет железной дороги на право проезда в 3-м классе от Нижнего Новгорода до Петербурга; Суворин велел швейцару взять свисток и вызвать городского. Тот прибежал, болтая «селедкой».

— Вот тебе рубль. Оттащи пьяного в участок.

— Премного благодарны, господин Суворин...

Утром Франц Галле, полицейский ротмистр Рождественской части, учинил проспавшемуся допрос по всей форме:

— Ваше имя, фамилия, положение, состояние?

— А что? — спросил некто в сером, страдая от жажды.

- Да ничего. Представьтесь.
- А зачем?
- Так нужно.
- Ну, Ржевский я! Борис Михайлыч. Что с того?
- Нуржевский или Ржевский? — переспросил Галле.
- Без «ну». Столбовой дворянин. Не чета вам!
- Охотно верю. Документами подтвердить можете?
- Обратитесь с этим в департамент герольдии.
- Та-а-ак... Зачем посещали Суворинский клуб?
- И не думал. Что мне там делать?
- Но вас там часто видели.
- Согласен на очную ставку. Не был я там!
- Вас видели в клубе... пьяным.
- Клевета! Даже не знаю, где он находится.
- Ладно. Обрисуйте мне, чем занимаетесь.
- Обрисовываю — я ничем не занимаюсь.
- Ну, хорошо, черт побери, с чего вы живете?
- С литературы.
- Где печатаетесь?
- Нигде.
- Как жить с литературы, нигде не печатаясь?
- А зачем... печататься?
- Но каждый литератор желает быть напечатанным.
- Это каждый, — отвечал Ржевский, — а я вам не «каждый».

Помните, Иисус Христос говорил: «Если все, то не я!»

Галле все-таки удалось расшевелить Ржевского, и с опросу выяснилось: приехал из Нижнего, направленный в столицу как журналист нижегородским губернатором А. Н. Хвостовым.

- А зачем он вас сюда направил?
- Не могу сказать, — ответил Ржевский, подумав.
- Ну что ж. Продолжайте свою илиаду...

Короче говоря, прибыв в столицу, Ржевский выпил раз, выпил два и увлекся этим делом, а больше ничего не делал.

- Почти роман, — усмехнулся Галле.

Очевидно, ротмистр полиции был в курсе отношения высшей бюрократии к губернатору Хвостову, потому что он велел Ржевскому

подождать его. Галле удалился и довольно-таки долго отсутствовал. Вернулся, когда графин с водою был пуст.

— Сегодня же убраться из Питера! — сказал он.

— А на какие шиши? — спросил его Ржевский.

Галле выложил на стол два конверта. В одном было полсотни рублей, в другом подписка, которую давал Ржевский полиции, в том, что он «заагентурен» и будет наблюдать за Хвостовым.

— Алексей Николаич — добрая душа, — заупрямился Ржевский. — Не могу же я делать доносы на своего благодетеля!

— Я все уже знаю, — прервал его Галле. — Хвостов считает вас близким человеком, он устроил вас сборщиком объявлений в «Нижегородский торгпромовский листок», издаваемый думцем Барачем, знаю, что в первый же день вы пропили три казенных рубля, после чего Барач вышиб вас на улицу... Вот вам полсотни рябчиков, билетик до Нижнего, подпишите эту бумагу.

Ржевский перестал спорить и, в чайнии похмельной выпивки, расписался. Когда он это сделал, Франц Галле сказал:

— А теперь, когда вы заагентурены, отвечать мне быстро, не думая: зачем Хвостов командировал вас в столицу?

— Он... просил меня... Алексей Николаич просил проникнуть в Суворинский клуб и понюхать там — нельзя ли устроить серию похвальных для него публикаций в «Новом Времени»?

— Вот теперь все ясно, — сказал Франц Галле.

* * *

Чтобы читателю было все ясно до самого конца, я предлагаю ему на одну минутку окунуться в быт Одессы 1919 года. Красная армия еще на подходе, в городе царит неразбериха. Из кабаре Фишзона выкатились три белогвардейца — друзья знаменитого бандита Мишки Япончика. Один был Беляев — офицер Царскосельского гарнизона, второй — журналист Ржевский, с ними был Аарон Симанович — личный секретарь Гришки Распутина. Подъехала пролетка, Ржевский взгромоздился на нее, все трое расцеловались. Потом Беляев вынул

револьвер и преспокойно выстрелил Борьке Ржевскому в ухо — тот скатился на панель. Аарон Симанович сказал:

— Слушай, друг, за что ты Боречку шлепнул?

— С ним у меня чрезвычайно много лирических наслоений. Получается нечто вроде пирожного «наполеон»! Тут и Распутин, тут и Мишка Япончик, тут и кот наплакал, тут и бриллианты премьера Штюрмера... Вообще мне его жаль, — сказал Беляев, еще раз выстрелив в мертвого журналиста. — Поверь, что я готов плакать над хладным трупом нашего незабвенного Боречки.

Он еще раз выстрелил, а Симанович сказал:

— Евреи в таких случаях говорят: «чистому смех»!

— Во-во! — согласился Беляев, и они, любовно поддерживая друг друга на осклизлых ступенях, спустились обратно в кабаре Фишзона, где курчавая Иза Кремер, изображая наивную девочку, пела завтрашним эмигрантам об Аргентине, где небо сине, как на картине, а ручку ей целует черный Том...

— Ладно, — решил Беляев. — Завтра же задерем портки до самого колена и побежим в эту самую Аргентину.

— Чего я там потерял? — спросил Симанович. — У меня уже давно куплен участок земли в Палестине, где небо тоже сине, как на картине. Спасибо Грише Распутину — ох, какие дела мы с ним проворачивали... Если бы он был жив, он сейчас был бы с нами. Уверяю тебя: сейчас Григорий Распутин сидел бы рядом с нами...

...Странное дело, читатель! При царе-батюшке монархисты готовы были разорвать Распутина, а когда царя не стало, даже Гришка стал им дорог как ценное воспоминание о сладком минувшем — вроде сувенира о былой любви, и они преследовали врагов Распутина, как противников царизма... Все шиворот-навыворот!

Это уже излом истории, трещина в сознании.

1. Муравьиная куча

Нижний Новгород — славное российское торжище... Пора заполнить анкету на местного воеводу. Алексей Николаевич Хвостов! Возраст тридцать восемь лет. Землевладелец орловский. Женат. Придворное звание — камергер. Вес — восемь с половиной пудов белого дворянского мяса с жирком. Окружность талии — сто двадцать сантиметров. Если верить газетам (а им иногда можно верить), «сатрап, поедает людей живьем». Характер общительный, с юмором, грубый, иногда сентиментальный, бесцеремонен, увлекающийся. Умен, склонен к интриге. Примечание: способен на отважные предприятия, что и доказал рискованной экспедицией на Ухту в поисках нефти. Поэты о нем слагали возвышенные оды:

Ну, этот, верно, не слукавит
И государство не продаст;
Он кресла, может быть, раздавит,
Но им раздвинуться не даст...

Ночь кончилась, и розовый рассвет застал Хвостова в постели нижегородской купчихи М. Д. Брызгаловой, пугливой и трепещущей от общения с таким великим человеком, каким, несомненно, являлся губернатор. Ну что ж! Пора навестить законную жену, после чего можно ехать на службу и воеводствовать... Он сказал:

— Лежишь вот ты! А ведь не знаешь, что ты — любимый сюжет Кустодиева... Эдакое розовое ню в интерьере.

— Алексей Николаич, вы меня трогать всяко можете, только слов непонятных не произносите... До вас навещал меня, вдову бедную, один чиновник по страхованию жизни, так я его не терпела. Он меня, бесстыдник, одним словом до смерти испугал.

— Каким же, миленькая?

— Да мне и не выговорить — срам экий...

Примерно через полчаса, после серьезной юридической обработки, Хвостов все же выудил из купчихи это ужасное слово, от

которого можно залиться краской стыда: архитектура!

— А вот еще есть такое слово... аккумулятор.

Брызгалова сразу зарылась в подушки.

— Ах, но вы же меня со свету сживете!

Хвостову такая забава понравилась.

— Катализатор! — выкрикнул он, безжалостный. — Гваделупа! Баб-эль-Мандеб — и Па-де-Кале...

— Издеватель вы мой, — простонала купчиха.

— Ну, я пошел. Всего доброго... физиология!

Прибыв в губернское присутствие, Алексей Николаевич нехотя полистал донесения из уездов. Тут прямо с вокзала явился Борька Ржевский в новой кепке, с красными обомороженными ушами.

— Закрой дверь, — сказал ему Хвостов.

Разговор предстоял секретный. Позже в газетном интервью Хвостов оправдывался так: «Ржевского я узнал в Нижнем, его направили ко мне мои хорошие знакомые с просьбой оказать ему помощь; я знал, что Ржевский до этого судился за ношение неприсвоенной формы. Считая, что совершенное им преступление не бог весть что и желая помочь вечно голодному человеку, я пристроил его...» В этом проявилась одна из черт характера Хвостова — сентиментальность. Но, пристроив Ржевского, он вовлек его в свои интриги.

— Рассказывай, мерзописец, — велел Хвостов журналисту и убрал со стола коробку с сигарами от него подальше.

Ржевский доложил, что, насколько ему удалось выяснить, в столице отношение к Хвостову скверное; Столыпин же сказал, что безобразий в Нижнем от губернатора терпеть нельзя; что в «Новом Времени» (тут он приврал) поддерживать Хвостова не станут; что могут лишить и камергерства; что... Хвостов не выдержал и вlepил своему протеже хорошую затрещину.

— Ты же пил там напропалую... по морде видно!

— Ну, выпил... на вокзале... не святой же я.

— Не святой, это верно, — вздохнул Хвостов.

Он отвернулся к окну и долго ковырял в носу (скверная привычка для человека с лицейским воспитанием).

— Еще не все потеряно, — неожиданно просиял он, становясь снова ласковым. — Конечно, в данной ситуации мне было бы

неуместно обращаться к помощи Распутина... Я зайду к Распутину с черного хода! Слушай меня. Я напишу сейчас записку государю, а ты отвезешь ее в Питер и передашь (трезвый, аки голубь!) лично в руки Егорке Сазонову, который уже корреспондировал обо мне, когда я был еще вологодским вице-губернатором. Что ему сказать — я тебя научу! Егорка вручит записку Распутину, а тот передаст ее императорскому величеству... Ясно?

— Ясно. Передам. Трезвый.

— Столыпин тоже не монолит, — сказал Хвостов, энергично усаживаясь к столу и разрешая Ржевскому взять сигару. — Нет такой стенки, которую бы, раскачав, нельзя было обрушить...

Он начал писать царю «всеподданнейшую» записку о современном положении в России. Он писал, что Столыпин не уничтожил революцию, а лишь загнал ее в подполье. Под раскаленным пеплом еще бродят угарные огни будущих пожаров дворянских усадеб. Россия на переломе... Ветер раздувает новое жаркое пламя! В этой записке Хвостов проявил другую свою черту — ум: сидя на нижегородском княжении, он предвидел то, чего не замечали другие.

— Семафоры открыты, — сказал он, поставив точку.

Среди дня ему доложили, что в просторы Нижегородской губернии вторглась дикая орда илиодоровцев, и, потрясая хоругвями и квачами, измазанными масляной краской, она валит напролом — к святыням гусиной «столицы» Арзамаса. Хвостов велел полиции:

— Я думаю, илиодоровцев задерживать не следует, черт их там разберет: у них вроде крестного хода! Но советую вкратить в их толпу надежных филеров наружного наблюдения...

* * *

Вторично описывать безобразия илиодоровцев я не стану. Для нас важно другое: в январе 1911 года Илиодор поднял на Волге знамя вражды к Синоду, к правительству, к бюрократии, к полиции. Это знамя не было ни белым, ни тем более красным — оно было черным. Реакция выступала против реакции!..

Столыпин ознакомился с докладами полиции.

— Этот сукин сын Илиодорушко зарвался до того, что уже не понимает простых вещей. Если бы сейчас был пятый год, мы бы сами поддержали его изуверства, но Илиодор забыл посмотреть в календарь — сейчас одиннадцатый, и революции нет и быть не может, а потому он играет против нас, против власти...

Газеты писали о Гермогене и Илиодоре как о новых иноках Пересвете и Ослябе, которые сокрушают своих врагов — и слева и справа, не разбираясь. Столыпин решил разорвать их ратные узы: Пересвет-Гермоген оставался в Саратове, а Ослябю-Илиодора прокурор Лукьянов назначил настоятелем Новосильского монастыря. Илиодор приехал в глушь Тульской епархии, целый месяц дрался с монашеским клиром, а потом, нарушив предписание Синода, бежал обратно в Царицын, где объявил своим поклонникам: «У кого есть ненужная доска — тащи мне ее, у кого ржавый гвоздь — тоже неси. У кого ничего нету — землю копай...» Террорист в рясе задумал создать храм наподобие Вавилона, чтобы на высокой горе стояла прозрачная башня до облаков, заросшая изнутри цветами, а с купола башни Илиодор, подобно Христу, желал обращаться к народу с «нагорными проповедями». На самом же деле он строил не храм, а крепость со сложными лабиринтами подземных туннелей; Илиодор шлялся по городу в окружении боевиков, вооруженных кастетами и браунингами. Знаменитый силач Ваня Заикин, человек недалекого разума, вкатывал, как Сизиф, на гору гигантские валуны. Илиодор велел местным богомазам написать картину Страшного суда, в которой были показаны грешники, марширующие в ад. Впереди всех выступал с портфелем премьер Столыпин, возле него рыдал от страха обер-прокурор Лукьянов (в очках), следом валили в геенну огненную адвокаты, евреи, писатели, а Лев Толстой тащил в адское пекло полное собрание своих сочинений... Вскоре, оставив земляные работы, Ваня Заикин прокатил Илиодора на самолете. Вернувшись с небес на грешную землю, царицынский Савонарола выступил перед верующими с такими словами:

— Дивное видение открылось мне с высоты аэропланной: все министры, губернаторы, толстовцы, социалисты и полицмейстеры предстали малюсенькими, будто гниды. Зато истинно верующие виднелись с небес как библейские Самсоны — величиною со слонов...

12 марта Илиодор выпустил воззвание к народу, в котором он заявил, что высшее духовенство продано бюрократии за «бриллиантовые кресты», что отныне он начинает «жестокую войну» с властью «столичных мерзавцев», — в Царицын сразу вошли войска, получившие боевые обоймы! Илиодор заперся в монастыре, где были скоплены гигантские запасы продовольствия, в окружении многих тысяч приверженцев, спавших и евших в храме, он выдержал двадцатидневную осаду по всем правилам военного искусства. А потом, обманув слежку полиции, выбрался в Петербург, где его как ни в чем не бывало принял... царь. Николаю II нравилось, что, ругая всех подряд, Илиодор императора не трогал, и царю было жаль терять такую разгневанную черную силищу, как этот иеромонах... Илиодор записывал: «Страшно нервничая, моргая своими безжизненными, туманными, слезящимися глазами, мотая отрывисто правой рукой и подергивая мускулами левой щеки, царь едва успел поцеловать мою руку, как заговорил буквально следующее: „Ты... вы... ты не трогай моих министров. Вам что Григорий Ефимович говорил... говорил. Да. Его... слушать... Он тебе... он вам ведь говорил, что жидов... жидов больше и революционеров... а моих министров не трогай!“

А потом, вне всякой логики, Николай II в кругу придворных высказал мысль, что профессор медицины Лукьянов негоден для поста обер-прокурора Синода, ибо не может справиться с Илиодором! И тут произошло такое сцепление обстоятельств, благодаря которым Распутин дерзостно вторгся в дела синодальные...

* * *

Легкость победы над Феофаном, высланным из столицы, воодушевила Гришку; осознав свою силу, он пришел к выводу, что начинать свистопляску следует с Синода, во главе которого он поставит своего человека. Синод — это, по сути дела, тоже правительство, а оберпрокурор имеет права министра. Сергей Михайлович Лукьянов, врач и профессор, был для Распутина криминалом, ибо он говорил с голоса Столыпина, а на «святость»

Гришки ему, материалисту, было наплевать. Как раз в это время в Тобольске подняли старые, протухшие дела о принадлежности Гришки к секте хлыстов, где-то в потемках «шилось» досье на его «свальный грех», и Распутин понимал, что Лукьянова надо вышибать из Синода немедленно, иначе будет поздно... Распутинская разведка пошла сначала по глубоким тылам — Егор Сазонов нанес визит графу Витте.

— Говорят, что осенью в Киеве будут неслыханные торжества по случаю установки памятника Александру Второму... Памятник откроют, а заодно скovyрнут и нашего барина Пьера?

С удалением Столыпина в государстве освободились бы сразу две крупные должности... Витте (почти равнодушно) спросил:

— И кого же, вы думаете, поставят в эм-вэ-дэ?

Сазонов от прямого ответа уклонился, но намекнул:

— Слышал я, что нижегородский Хвостов подал государю всеподданнейшую записку и на царя она произвела очень сильное впечатление! Там и Столыпину крепко от Хвостова досталось...

— Хвостов самый отпетый хулиган, какого я знаю.

— Чудит много, это верно. Но гармошка у него играет...

Вбежал фокстерьер, за ним вошла Матильда Витте.

— Садись, дорогая. Вот пришел к нам Егорий Петрович, хочет, вижу, что-то спросить, но никак не может — мнется...

— Я не мнусь, — засмеялся Сазонов. — Просто синодский Лукьянов малость поднадоел, а к моему жильцу Григорию Ефимовичу Распутину повадился шляться Владимир Карлович Саблер и в ногах у него валяется — просит сделать его обер-прокурором...

Пауза! Витте погладил собаку, нежно поглядел на свою несравненную Матильду, которая, нежно посмотрев на своего супруга, тоже подозвала собаку к себе и тоже ее погладила.

— Владимир Карлович достойный... — начала она.

Но жену вдруг резко перебил граф Витте:

— Саблер во всех отношениях достоин того поста, которого он желает. Но, — сказал Витте и повторил с нажимом, — но...

2. Саблер безо всяких «но»

Читатель помнит, что во время перенесения гроба с «нетленными мощами» святого угодника Серафима Саровского больше всех старался показать свою богатырскую силушку некто Владимир Карлович Саблер, который смолоду отирался по службе в делах православия и хотел казаться православным больше, нежели сами русские. Саблер строил карьеру при Победоносцеве, который поднял его как можно выше и сам же уронил его в пучину недоверия. В канун смерти обер-прокурор отправил царю письмо с аттестацией на Саблера — такой, которая похоронила его навеки. Что он был вор — это еще полбеды, но в глазах Победоносцева хуже воровства оказался факт тайного забегания Саблера в синагогу...

С петербургских крыш уже звенела предвесенняя капель, длинные сосульки падали на панели, искристо и звучно. Столыпин, явно удрученный, повидался с Лукьяновым.

— Сергей Михайлыч, я уже перестал понимать, что творится на божьем свете... Всюду шепчутся: Саблер, Саблер, Саблер.

— Сам не пойму! Но государь ко мне благожелателен.

— Это-то и опасно, — подчеркнул Столыпин. — Характер нашего государя как у кобры: прежде чем заглотать жертву, она смазывает ее слюной, вроде вазелина, чтобы несчастная жертва легче проскакивала в желудок.

— Я выяснил, — сказал Лукьянов по секрету, — список лиц, которые могут заменить меня, уже составлен. Но в списке Саблер не фигурирует, ибо он иудейского происхождения.

— Я тоже думаю, что наша кобра Саблера отрыгнет...

* * *

Распутин, спортивно-упруго, через три ступеньки преодолевал лестницу четвертого этажа мрачного дома по Большому проспекту Васильевского острова. Под самой крышей, на площадке пятого этажа, он останавливался перед дверью, обитой драным войлоком. Медная табличка гласила: «Н. В. СОЛОВЬЕВЪ, казначей Святейшего Синода». Распутин плюнул на палец и нажал кнопку звонка. Дверь, словно за ней уже стояли, моментально отворилась, и на площадку выкатилась, как пузырь, коротенькая и толстая женщина. Она была столь мизерна ростом, что целовала Гришку в живот и, подпрыгивая, все время восторженно восклицала:

— Отец, мой отец... отец дорогой, как я рада!

— Ну, веди, мать. Чего уж там, — сказал Распутин.

В столовой угол был занят божницей, горели лампадки, а под ними сиживал старый придурок в монашеском одеянии, но со значком Союза русского народа на груди. При появлении Распутина он заблеял, словно козел, увидевший свежую травку:

— Спа-а-аси, Христос, люди-и тво-а-я-а-а...

— А, и Васька здесь? — поздоровался Распутин с юродивым. — Ты, Васек, погоди чуток, я тут с Ленкой поговорю.

Он удалился с хозяйкой в спальню, где в спешном порядке проделал с нею несколько природных манипуляций, причем старый идиот слышал через стенку одни молитвенные возгласы:

— Отец, ах, отец... дорогой наш отец!

Раздался звонок, возвещавший жену о прибытии законного мужа. Распутин сам же и открыл двери.

— Коля, ну где ж ты пропадал? Заходи...

В квартиру вошел Соловьев, синодский казначей, костлявый чинуша в синих очках, делавших его похожим на нищего; меж пальцев он держал за горлышки винные бутылки. Звонко чмокая, Ленка Соловьева часто целовала Распутина в живот, прыгая по прихожей, и неустанно выкрикивала мужу:

— Коля, гляди-кось, отец пожаловал... отец!

При этом Соловьев и сам поцеловал Распутина, как целуют монарших особ — в плечико.

— А я таскался вот... до Елисеева и обратно. Портвейн, я знаю, вы не жалуετε. Гонял извозчика за вашей мадерой.

— Ну, заходи, — говорил Распутин, прыгая заодно с толстой коротышкой, потирая руки. — Давай, брат, выпьем мадерцы...

Хозяйка внесла громадное блюдо с жареными лещами.

— Ух, мать, доспела! Вот это люблю... Коля, — сказал Распутин хозяину, — уважили вы. По всем статьям... Васёк, — позвал он придурка, — а ты чего с нами не тяпнешь?

— Ему не надо, — ответила Ленка. — Он блаженный...

Хозяйка вынесла кучу мотков разноцветной шерсти и швырнула их придурку, чтобы он их перематывал. Тот, распевая псалмы, мотал шерсть, а Распутин разговаривал с казначеем.

— Цаблер у меня хвостиком крутит... знаешь, как? У-у-у... А дело, значит, за Даманским? Коля, кто он такой?

— Петр Степаныч ваш искренний почитатель. Сам из крестьян, но желает стать сенатором и товарищем оберпрокурора Саблера.

— Сделаем! Но пусть и он постарается...

Страшно пьяного Гришку спускали с пятого этажа супруги Соловьевы — костлявый муж и коротышка жена. Часто они приговаривали:

— Григорий Ефимыч, ради бога, не оступитесь.

— Отец, отец... когда снова придешь? Ах, отец...

Ну, что там Столыпин? Ну, что там Лукьянов?

* * *

На следующий день следовало неизбежное похмелье. О том, как протекал этот важный творческий процесс, осталось свидетельство очевидца: «Распутин велел принести вина и начал пить. Каждые десять минут он выпивал по бутылке. Изрядно выпив, отправился в баню, чтобы после возвращения, не промолвив ни слова, лечь спать! На другое утро я нашел его в том странном состоянии, которое находило на него в критические моменты его жизни. Перед ним находился большой кухонный таз с мадерой, который он выпивал в один прием...» Момент и в самом деле был критическим, ибо в любой день Православие как организация могло восстать против него, и

Синод следовало покорить! Появился Новый фрукт — Петр Степанович Даманский, канцелярская крыса дел синодальных; понимая, что орлом ему не взлететь, он желал бы гадом вползти на недоступные вершины власти и благополучия. Чем хороши такие люди для Распутина, так это тем, что с ними все ясно и не надо притворяться. Сделал свое дело — получи на построение храма, не сделал — кукиш тебе на пасху!

— Наша комбинация проста, — рассуждал Даманский открыто, — на место Лукьянова прочат Роговича, но мы поставим Саблера, Роговича проведем в его товарищи, потом сковырнем и Роговича, а на его место заступлю я... Что требуется лично от вас, Григорий Ефимыч? Сушная ерунда. Пусть на царя воздействует в выгодном для нас варианте сама императрица, хорошо знающая Саблера как непременно члена всяких там благотворительных учреждений.

— И ты, — сказал Распутин, — и Колька Соловьев, и вся ваша синодская шпана мослы с мозгами уже расхватили, а мне... Что мне-то? Или одни тощие ребра глотать осталось?

Даманский напропалую играл в рубаху-парня:

— Об этом вы сами с Саблером и договаривайтесь!

Распутин Саблера всегда называл Цаблером (не догадываясь, что это и есть его настоящая фамилия):

— Цаблер ходит ко мне, нудит. Я ему говорю: как же ты, нехристь, в Синоде-то сядешь? А он говорит — тока посади...

— Сажай его! — отвечал Даманский. — Знаешь, у Иоанна Кронштадтского секретарем еврей был. Сейчас живет — кум королю, большой мастер по устройству купеческих свадеб с генералами.

— Вот загвоздка! Посади я Цаблера, так меня газеты в лохмы истреплют. Скажут — ух нахал какой, нашел пса...

— Ефимыч, какого великого человека не ругали?

— Это верно. Меня тоже кроют.

— В историю входишь, — подольстил Даманский.

— А на кой мне хрен сдалась твоя история? Мне бы вот тут, на земле, пожить, а что дальше... так это я... хотел!

В пасмурном настроении он покати́л в Царское Село. История крутилась, как и колеса поезда. Александра Федоровна согласна была на замену Лукьянова Саблером, но Николай II уперся:

— Помилуйте, аттестация Победоносцева на Саблера выглядит чернее египетской ночи. Не могу я этого проходимца...

Кулак Распутина с треском опустился на стол.

Все вскочили — в невольном испуге.

Распутин вытянул палец — указал на царя:

— Ну что, папка? Где ёкнуло? Здесь али тута?

При этом указал на лоб и на сердце.

Рука царя легла поверх мундира, подбитого атласом.

— Здесь, Григорий... даже сердце забилося!

— То-то же! — засмеялся Распутин. — И смотри, чтобы всегда так: коли что надо, спрашивай не от ума, а от чистого сердца.

К нему подошла царица, поцеловала ему руку.

— Спасибо, учитель, спасибо... Теперь ясно, что от ума надобно бы ставить в обер-прокуроры Роговича, но сердце нам подсказывает верный ход — в Синоде отныне быть только Саблеру...

Графиня Матильда Витте уже названивала Саблеру:

— Владимир Карлович, ваш час пробил. Мы с мужем очень далеки от дел церковных, но... не забудьте отблагодарить старца!

Распутин еще спал, когда Сазонов разбудил его:

— К тебе старый баран пришел — стриги его...

Появился Саблер, добренький, ласковый, а крестился столь частенько, что сразу видно — без божьего имени он и воздуха не испортит. Салтыковский Иудушка Головлев — точная копия Саблера («Те же келейные приемы, та же покорная, но бьющая в глаза своей неискренностью религиозность, та же беспредельная мелочность, лисьи ухватки в делах и самая непроходимая пошлость», — писали о нем люди, хорошо его знавшие).

— Ну что ж, — сказал он, — теперь стригите меня...

Гришка скинул ноги с постели, потянулся, зевая.

— Вот еще! — отвечал. — Стану я с тобой, нехристью, возиться. Лучше сам остригись дочиста, а всю шерсть мне принеси...

Сколько дал ему Саблер — об этом стыдливая Клио умалчивает. Но дал, и еще не раз даст, да еще в ножки поклонится. Весной 1911 года Распутин неожиданно для всех облачился в хламиду, взял в руки посох странника и сел на одесский поезд — отбыл в Палестину, а машина, запущенная им, продолжала крутиться без него, под наблюдением опытных механиков «православия» — Соловьева и

Даманского. Из путешествия по святым местам Распутин вывез книгу «Мои мысли и размышления», авторство которой приписывал себе. Книга была тогда же напечатана, но в продажу не поступала. Это такая духовная белиберда, что читать невозможно. Но там проскочили фразы, отражающие настроение Распутина в этот период: «Горе мятущимся и несть конца. Господи, избавь меня от друзей, а бес ничто. Бес — в друге, а друг — суета...» В этой книге Гришка, конечно, не рассказывал, как на пароходе в Константинополь его крепко исколошматили турки, чтобы смотрел на море, чтобы глядел на звезды, но... только не на турчанок!

* * *

2 мая Саблер стал обер-прокурором Синода.

— Ничего не понимаю! — воскликнул Столыпин, которому сам господь бог велел быть всемогущим и всезнающим.

Лукьянов пришел к нему попрощаться и рассказал, что Саблер, дабы утвердить свое «православие», плясал перед Распутиным «Барыню» — плясал вприсядку! Столыпин этому не поверил:

— Да ему скоро семьдесят и коленки не гнутся.

— Не знаю, гнутся у него или не гнутся, но это точно — плясал вприсядку, причем под балалайку!

— Под балалайку? А кто играл им на балалайке?

— Сазонов, издатель журнала «Экономист».

— Господи, дивные чудеса ты творишь на Руси!

3. Прохиндеи за работой

17 июня в Царицын нагрянули Мунька Головина в скромной блузочке, делавшей ее похожей на бедную курсисточку, и шлявшаяся босиком генеральша Ольга Лохтина, на модной шляпе которой нитками вышиты слова: «ВО МНЕ ВСЯ СИЛА БОЖЬЯ. АЛЛИЛУЙЯ». Мунька больше молчала, покуривая дамские папиросы, говорила Лохтина:

— Великий гость едет к вам. Встречайте! Отец Григорий возвращается из иерусалимских виноградников...

— У нас виноград рвать? — спросил Илиодор.

— Так надо, — сказала Мунька, дымя.

Было непонятно, ради чего Распутин (которого трепетно ждут в Царском Селе) вдруг решил из Палестины завернуть в Царицын, — это Илиодора озадачило, и он решил Гришку принять, но без прежних почестей. Распутин прибыл не один. Возле него крутилась Тоня Рыбакова, бойкая учительница с Урала, которая чего-то от него домогалась, а Гришка не раз произносил перед нею загадочную фразу: «Колодец у тебя глубокий, да мои веревки коротки...»

— Это ты Саблера в Синод поставил? — спросил Илиодор.

— Ну, я. Дык што?

— А зачем?

— Мое дело... Мотри, скоро и Столыпина турну!

При этом он встал на одно колено, лбом уперся в землю.

— К чему мне поклоняешься? — удивился монах.

— Да не тебе! Показываю, как Цаблер принижал себя, благодарствуя. Эдак скоро и Коковцев учнет мне кланяться...

Илиодору стало муторно от властолюбия Распутина; он сказал, что отъезжает с певчими в Дубовицкую пустынь.

— Ну и я с тобой, — увязался Распутин.

Мунька с Лохтиной от него — ни на шаг. «Если он во время прогулки по монастырскому саду заходил в известное место, то они останавливались около того места, дожидаясь, пока Григорий не справится со своим делом». Илиодор сказал дурам бабам:

— Охота же вам... за мужиком-то!

— Да он святой, святой, — убежденно затараторила Лохтина. — Это одна видимость, что в клозет заходит...

Подвыпив, Гришка завел угрожающий разговор.

— Серега, — сказал Илиодору, — а ведь я на тебя ба-альшой зуб имею. Ты со мной не шути: фукну разик — и тебя не станет.

Дело происходило в келье — без посторонних. Илиодор железной мужицкой дланью отшвырнул Гришку от себя — под иконы.

— Нашелся мне фукальщик! Молись...

Распутин с колен погрозил скрюченным пальцем:

— Ох, Серега! С огнем играешь... скручу тебя!

Илиодор треснул его крестом по спине.

— Не лайся! Лучше скажи — зачем пожаловал?

Распутин поднялся с колен, и в тишине кельи было отчетливо слышно, как скрипели кости его коленных суставов, словно несмазанные шарниры в мотылях заржавевшей машины. Он начал:

— Мне царица сказывала: «Феофана не бойсь, он голову уже повесил, зато Илиодора трепещи — он друг, а таково шугануть может, что тебе, Григорий, придется в Тюмени сидеть, а и нам, царям, будет трудно...» (Илиодор молчал. Слушал, хитрый. Даже не мигнул.) А царица, — договорил Распутин главное, — готовит тебе брильянтовую панагию, что обойдется в сто пятьдесят тыщ! Будешь епископом... Только, мотри, царя с царицкой не трогай!

Стало понятно, зачем Распутин приехал. Сначала Илиодора хотели запугать, а потом и подкупить для нужд реакции. Но это еще не все: заодно уж Гришка из поездки искал себе прибыли.

— Ты, Серега, собери с верующих на подарок мне?

Сказал и больше не повторялся. Он человек скромный. Зато Лохтина с Головиной теперь преследовали Илиодора:

— К отъезду старца чтобы подарок был! А на вокзале, как положено, девочки должны цветы ему поднести... Пожалуйста, не спорьте — пора Царицын приобщать к европейской культуре...

Вступив на стезю «европейской культуры», Илиодор во время службы в церкви пустил тарелку по кругу — для сбора подаяний на проводы старца. Храм был забит публикой, но тарелка вернулась к аналою с медяками всего на двадцать девять рублей. На эти плакучие денежки иеромонах хотел купить аляповатый чайный сервизик. Узнав об этом, Мунька с Ольгою Лохтиной возмутились:

— Такому великому человеку и такую дрянь?

— А где я вам больше возьму? — обозлился Илиодор.

Дамы сложились и добавили своих триста рублей.

— Вот деньги... и считайте, что от народа.

Илиодор сразу и решительно отверг их:

— Это не от народа! Сами дали, сами и дарите Гришке...

Распутин со стороны очень зорко следил за приготовлениями ему подарка «от благодарного населения града Царицына» (Европа — хоть куда!). Известие о том, что на тарелку нашвыряли бабки одних медяков, приводило его в содрогание. Тоне Рыбаковой он даже пожаловался: «Не стало веры у людей, одна маета... Ну, што мне двадцать девять рублей? Курам на смех!» Мунька с Лохтиной купили Распутину дорогой сервиз из серебра, который и вручили ему на пароходной пристани, причем девочка Плюхина поднесла Гришке цветы, сказав заученные по бумажке слова: «Как прекрасны эти ароматные цветочки, так прекрасна и ваша душенька!» Распутин, красуясь лакированными сапогами, произнес речь, из которой Илиодор запомнил такие слова: «Враги мои — это черви, что ползают изнутри кадушки с гнилою квашеной капустой...» С веником цветов в руках, размахивая им, он начал лаяться. Пароход взревел гудком, сходню убрали. Борт корабля удалился от пристани, а Распутин, стоя на палубе, еще долго что-то кричал, угрожая кулаками... Возле фотографии Лапшина шумели жители Царицына, требуя, чтобы владелец ателье больше не торговал снимками троицы — Распутина, Гермогена, Илиодора; Лапшин из троицы сделал двоицу — теперь на фотографии были явлены только Пересвет с Ослябей, а Гришку отрезали и выкинули. Назначение Саблера в обер-прокуроры словно сорвало тормоза, и в бунтарской душе Илиодора что-то хрустнуло; сейчас он круто переоценивал свое отношение не только к царям, но даже к самому богу. Сразу же после отбытия Распутина он поехал в Саратов — к Гермогену и, недолюбливая словесную лирику, поставил вопрос на острие:

— Что с Гришкой делать? Может, убить его?

Высшее духовенство империи пребывало в большом беспокойстве, ибо растущее влияние Распутина делалось для него опасным.

— За убийство сажают, — поежился Гермоген. — Знаешь? Давай лучше кастрируем его, паскудника, чтобы силу отнять. Чтобы стал он как тряпка помойная: выжми ее да выкинь...

В пору молодости, нафанатизированный религией, епископ пытался оскопить себя, но сделал это неумело и стал не нужен женщинам, погрязая в мужеложстве. Сейчас в нем заговорило еще и животное озлобление против Распутина, какое бывает у мужчин ущербных к мужчинам здоровым... Илиодор убеждал епископа:

— Распутина надо устранить любым способом. Коли сгоряча и порубим его, так не беда. Согласен ли панагию снять и в скуфейку облачиться, ежели нас с тобой под суд потащут?

— А ты как? — отвечал Гермоген вопросом.

— Я хоть в каторгу тачку катать... Не забывай, что Гришка в Синоде хозяйничает, как паршивый козел в чужом огороде. Он и твою грядку обожрет так — одни кочерыжки тебе останутся!

Договорились, что расправу над Распутиным следует организовать с привлечением других лиц в декабре этого же года, когда Гермоген поедет на открытие зимней сессии Синода.

— А я, — сказал Илиодор, — тоже буду в Питере по делам типографии для издания моей любимой газеты «Гром и Молния»...

До декабря, читатель, мы с ними расстанемся!

* * *

«Вилла Родэ» — в захолустье столичных окраин, на Строгановской улице в Новой Деревне. Это ресторан, которым владел обрусевший француз Адолий Родэ, создавший специально для Распутина вертеп разврата. Я разглядываю старые фотографии и удивляюсь: обычный деревянный дом с «фонарем» стеклянной веранды над крышей, возле растут чахлые деревца, ресторан огражден прочным забором, словно острог, и мне кажется, что за этим забором обязательно должны лаять собаки... Пировать бы тут извозчикам да дворникам, а не женщинам громких титулованных фамилий, корни родословия которых упирались в легендарного Рюрика. Распутин

всегда находился в наилучших отношениях с разгульной аристократией. «Любовницы великих князей, министров и банкиров были ему близки. Поэтому он знал все скандальные истории, все связи высокопоставленных лиц, ночные тайны большого света и умел использовать их для расширения своего значения в правительственных кругах». В свою очередь, дружба светских дам и шикарных кокоток с Распутиным давала им возможность «под пьяную лавочку» обделывать свои темные дела и делишки... Часто, заскучав, Гришка названивал дамам из «Виллы Родэ», чтобы приезжали, и начинался такой шабаш, что цыганские хористки и шансонетки были шокированы вопиющим бесстыдством дам высшего света в общем зале ресторана.

Вернувшись из Царицына в столицу, Гришка однажды кутил у Адолия Родэ несколько дней и ночей подряд. Наконец даже он малость притомился, всех разогнал и под утро сказал хозяину:

— Я приткнусь на диванчике. Поспать надо...

Утром его разбудили, он прошел в пустой зал ресторана, велел подать шампанского с кислой капустой — для похмелья.

— Селедочки! Да чтоб с молокой...

Распутин лакомился кислой капустой, со вкусом давя на гнилых зубах попадавшие в ней клюквины, когда в ресторане появился человек со столь характерной внешностью, что его трудно было не узнать... Это был Игнатий Порфирьевич Манус! Подойдя к столику, на котором одиноко красовалась бутылка дешевого шампанского фирмы «Мум», он без приглашения прочно расселся.

— Григорий Ефимыч, мое почтение.

— И вам так же, — отвечал Распутин.

— Надеюсь, вы исправно получали от меня мадеру?

— Получал. Как же! Много лет подряд.

— Именно той марки, которую вы любите?

— Той, той... на бумажке кораблик нарисован.

— Деньги от меня доходили до вас без перебоев?

— Какие ж там перебои!

Жирный идол банков и трестов, заводов и концернов международного капитала, этот идол сентиментально вздохнул.

— Когда-то я вам говорил, что мне от вас ничего не нужно, но просил всегда помнить, что в этом гнусном мире не живет, а мучается

бедный и старательный жид Манус...

— Тебе чего нужно? — практично спросил Распутин.

— Я кандидат в члены дирекции правления Общества Путиловских заводов, но, кажется, так и умру кандидатом, ибо людей с таким носом, как у меня, до заводов оборонного значения не допускают.

— Кто мешает? — спросил Распутин.

— Закон о евреях.

— А перепрыгнуть пробовал?

— Не в силах. Слаб в ногах.

— А подлезть под него, как собака под забором?

— Не мог. Слишком толст. Брюхо мешает.

— Тогда... ешь капусту, — предложил Гришка.

— Спасибо. Уже завтракал. Я хотел бы коснуться вообще русских финансов. Не подумайте, что я имею что-либо против почтеннейшего господина Коковцева, но он... как бы вам сказать...

Распутин сразу же осадил Мануса:

— Володю не трожь! Кем я Столыпина подменю? Чул?

— Простите, я вас не понял.

— Цыть! Мадеру твою пил — пил, деньги брал — брал. Не спорю. Спасибочко. Давай сквитаемся. Какого тебе рожна надобно?

— Мне хотелось бы повидать Анну Александровну...

Ага! Маленький домик Вырубовой в Царском Селе, калитка которого смыкалась с царскими дворцами, заманивал Мануса, как пьяницу трактир, как ребенка магазин с игрушками.

— Сделаем! Тока ты мне про акци энти самые да про фунансы не болтай. Деньги я люблю наличными... Чул?

— Чул, — просиял Манус. — А по средам прошу бывать у меня. Таврическая, дом три-бэ. Веселого ничего не обещаю, но уха будет, мадера тоже. Кстати, — вспомнил Манус, — вас очень хотела бы видеть моя приятельница... княжна Сидамон-Эристави... гибкая, вкрадчивая и обольстительная, как сирена.

— Как кто?

— Сирена. Впрочем, это не столь важно, что такое сирена. Важно другое: по средам у меня бывает и Степан Белецкий.

— А што это за гусь лапчатый?

— Вице-директор департамента полиции.

— У-у-у, напужал... боюсь я их, лиходеев.

— Напрасно! Степан Петрович — отличный человек. Бывает у меня и контр-адмирал Костя Нилов — ближайший друг и флаг-капитан нашего обожаемого государя императора.

— Он этого обожаемого уже в стельку спойл!

— Что делать! Морская натура. Без коньяку моря уже не видит. Итак, дорогой мой, что передать княжне Эристави?

— Скажи, что вот управлюсь с делами... приду!

Разговор, внешне приличный, закончился. В окошки «Виллы Родэ» сочился серый чухонский рассвет. Когда Манус удалился, Распутин со смехом сообщил ресторатору: «А ведь ущучил меня, а?..»

Сколько лет прошло с той поры, а историки до сих пор точно не знают, кто такой этот Манус. Французская разведка считала его одним из крупнейших шпионов германского генштаба. В советской литературе он лучше всего описан в «Истории Путиловского завода».

4. Провокатор нужен

Назначенный товарищем к Столыпину против желания Столыпина, но зато по личному выбору императора, генерал Курлов широко жил на казенные деньги. «Пятаков не жалко!» — любимая его фраза. В верхах давно поговаривали, что Курлов станет министром внутренних дел. Заранее, дабы выявить свой «талант» борца с революцией, он искусственно создавал громкие дела с эффективными ликвидациями подпольных типографий, со стрельбой и взрывами в темных, закрученных винтом переулках... Оба они, и Курлов и Столыпин, предчувствовали, что им, как двум упрямым баранам, еще предстоит пободаться при встрече на узенькой дорожке, перекинутой через бурную речку. Сегодня Курлов принес из Цензурного комитета жалобу писателей на притеснения — Столыпин отшвырнул ее со словами: «Книги люблю, но литературу ненавижу!» Курлов ему напомнил, что цензура ведь тоже находится в ведении МВД.

— В моем ведении, — отвечал Столыпин, — числится и ассенизационный обоз Петербурга с его окрестностями, однако я за все эти годы еще ни разу не вмешался в порядок его работы...

Сазонову, как родственнику, он горько жаловался:

— Нас, правых, били. Не давали встать и снова били. И уже так избили, что мы, правые, будем валяться и дальше...

* * *

Весна 1911 года прошла для него под знаком нарушения равновесия, словно он попал на гигантские качели. Никогда еще не были так заняты телефонистки столичного коммутатора. То и дело люди звонили друг другу, сообщая с радостью:

— Столыпин пал, его заменяют Коковцевым...

В витрине магазина Дациаро был выставлен громадный портрет Коковцева с надписью «*НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ*». Коковцев с большим трудом дозвонился до премьера.

— Поверьте, что я к этой шумихе не имею...

— Да о чем вы! — перебил его Столыпин. — Я и сам знаю, что вы не станете выставлять своей парсуны у Дациаро, в этом деле опять видна чья-то нечистая сила... Вот она и крутит нами!

Портрет с витрины убрали. Сразу возник слух, будто Столыпин взял отставку обратно, а царь даже плакал, умоляя премьера не покидать его. И опять всю трезвонили телефоны:

— Наш Бисмарк повис на ниточке. Его величество обещал ему титул графа, и на этом наш барин Пьер успокоился...

Курлов доложил, что в ресторанах пьют за падение «диктатуры» и звучат тосты за «новую эру ослабления режима».

— А чего удивляться? — отвечал Столыпин. — Нет такого политического деятеля, уходу которого бы не радовались.

— Вы... уходите? — расцвел Курлов.

Столыпин показал ему белые дворянские клыки:

— Сейчас я силен, как никогда. Вся эта свистопляска вокруг моей отставки напоминает мне афоризм одного фельдфебеля, который поучал новобранцев: «Сапоги следует чистить с вечера, чтобы утром надевать их на свежую голову!»

Он был бы крайне удивлен, узнай только, что Гучков, смотревший на него влюбленными глазами, говорил: «Столыпин уже мертв. Как это ни странно, но человек, в котором привыкли видеть врага общества, в глазах реакции представляется опасным...» Суворинская пресса вещала: «Мы все ждем появления великих людей. Если данная знаменитость получила величие в аванс и вовремя не погасила его, общество этого не прощает». Берлинские газеты высказывали почти такую же мысль, какую проводил и нижегородский губернатор Хвостов: «Он (Столыпин) сделал все для подавления минувшей революции, но сделал очень мало для предотвращения революции будущей...»

Неожиданно к премьеру нагрянул Белецкий.

— Вот ваша апробация о «сокращении мерзавца» Манасевича-Мануйлова. Между тем этот мерзавец на днях зашел ко мне, и мы с большим удовольствием с ним побеседовали.

— Курлов с удовольствием, ты, Степан, с удовольствием, один лишь я давно не имею никакого удовольствия!

— Поверьте, что это жулье — вроде полицейского архива. Он наизусть шпарит массу адресов даже за границей, кличек, «малин» и прочее. Я тоже за всепрощение Манасевича-Мануйлова.

— Смешно! — сказал Столыпин без тени улыбки на бледном лице. — С революционерами проще: попался — вешаем! А вот со своим братом-provокатором не разобраться. Копнешь такого, будто бабкину перину, а оттуда — клопы, клопы, клопы... И если верить тебе и Курлову, то каждый такой клоп — на вес золота!

— В нашем деле provокатор тоже нужен.

— Ну, ладно. Допускаю, что нужен. Но вот у меня под носом валяются какой уже месяц жалобы потерпевших от Манасевича — Шапиро, Якобсон, Беспрозванный, Минц...

— А чего их жалеть? — логично рассудил Степан. — Честные люди не таскались на прием к Манасевичу. Жулик обштопал жуликов! Я думаю, тут все ясно... Нам нужен агент. Хороший агент.

— Мне, дворянину, не пристало пачкать руки об это сокровище вашей веры, — сказал Столыпин и воспроизвел библейский жест Пилата, омывающего руки.

— Так черкните резолюцию: «сократить мерзавца!»

— Нет, пусть останется... для историков будущего. Говорите, что подлец вам нужен? Хорошо. Я не возражаю. Я скоро уйду. А вы с Курловым обнимайтесь с ним и целуйтесь...

* * *

Манасевич сказал Надежде Доренговской:

— Вся жизнь — театр, а гастролы продолжаются. Не знаю, что будет дальше, но самое главное — не терять хладнокровия.

Курлов предложил ему службу за двенадцать тысяч в год.

— Павел Григорьич, мне и на леденцы не хватит!

— А больше не можем. У нас не бездонная бочка.

— Пятаков пожалели? — обиделся Ванечка...

Он забежал в МВД с другой стороны — к Степану Белецкому, в котором угадывал будущего великого инквизитора, и согласился быть его информатором за очень скромные чаевые.

— Но у меня так, — сказал «сын народа». — Если что замечу, пришибу насмерть. Нужна полная солидарность! Понял?

— Пришибайте. Солидарность будет.

— Утоплю! Даже галоши не всплывут.

— А вы мне нравитесь, — сказал Ванечка. — Заранее предрекаю, что вы станете министром внутренних дел. И очень скоро!..

Сейчас он неплохо зарабатывал на Распутине, и статьи Маски заставляли Гришку скоблиться, как солдата перед баней. В книге «Русский Рокамболь» об этом казусе писано: «Распутин был далеко не дурак и не всегда мстил своим врагам. Когда было нужно, он умел их приваживать, а такой человек, как Мануйлов, конечно, давно ему был необходим!» Скоро они совершенно случайно встретились в распивочной на Садовой. Распутин был наряжен, богат, выглядел хорошо, двигался как на пружинах.

— Сволочь ты, — с глубоким уважением сказал он.

— От кого слышу-то! — отвечал Ванечка без уважения.

Распутин охотно присел к нему за столик.

— Хам с тобой! Водку пьешь?

Стали пить водку. Гришка с надрывом спрашивал:

— Скважина ты худая, насквозь меня пропечатал?

— Деньги нужны, а ты — хорошая тэма.

— Я тебе не «тэма»! Давай бурдушар выпьем да подружиться, и с сего дня обещаю, что меня трепать в газетах не будешь...

Выпили на брудершафт. Энергично закусывали.

— Трудное небось твое дело? — душевно спросил Распутин. — Мне вот кады понадобится пратецю сочинить, так я перышком ковыряю-ковыряю... Взмокнешь, бывало! А ты, брат, писатель. Дело твое темное. Книжку-то хоть какую ты сочинил?

Манасевич показал ему чековую книжку:

— Мой лучший роман! Переведен на все языки мира и, всем читателям понятен. Я буду знаменит, пока у меня есть такая книжка. А теперь скажи — у тебя есть такая?

— Не завел. Я деньги банкам не доверяю.

— Дурак ты, — небрежно сказал Ванечка.

Распутина это сильно задело, он полез на стенку:

— Почему не боишься ругать меня? Ведь даже цари мне руку целуют, а ты лаешься... На, поцелуй и ты мне!

«Сахарная головка» уплетал севрюжину под хреном. На секунду оставив вилку, он смачно плюнул в протянутую лапу.

— Я ж тебе не царь, — ответил он с важностью.

Распутин тер руку об штаны, виртуозно матерился.

— Перестань. И не спорь. Меня ты не переделаешь...

Через несколько дней он снова выплеснул на Распутина в газете очередную порцию помоев. Ванечка знал, что делает. Ругая Распутина, он обретал силу в глазах того же Распутина, и должен наступить такой момент, когда Распутин сочтет себя побежденным, а тогда можно будет вить из него веревки, с помощью которых хорошо вязать своих врагов... Логично?

* * *

Еще с весны киевляне знали, что осенью к ним заявятся «высокие гости» ради открытия памятников — Александру II и святой Ольге. Заблаговременно в Киев прибыл колоссальный штат чиновников МВД, отовсюду стягивались войска, жандармы и агенты сыска из других городов (даже из Сибири). В «мать городов русских» наехало пополнение городских и околоточных. В городе провели свыше трехсот обысков, многих студентов и рабочих арестовали без предъявления им вины, все подозрительные из Киева были высланы. Царская охранка облазила чердаки и подвалы, саперы делали подробные чертежи тех квартир, окна которых выходили на центральные улицы. Для царской семьи подновили Николаевский дворец, а для министров наняли богатые квартиры. Номера киевских гостиниц были забронированы начиная с 20 августа. Скоро на стенах домов появились листовки, в которых строго указывалось, что обывателям запрещается «выбегать навстречу царскому экипажу, бросать цветы и подавать прошения». В объявлениях было сказано, что киевские торжества продлятся до 6 сентября...

На Крещатике цвели каштаны, когда Богров навестил юридическую контору А. С. Гольденвейзера, приятеля отца. В разговоре с юристом он неожиданно задал вопрос:

— А кто самый вредный в России после царя?

— Вредных много, но после царя... Столыпин.

— Вы так думаете? — спросил Богров и ушел.

Он ушел, обнаружив в этом вопросе свою полную политическую безграмотность. Еще ничего не было решено, и в канун августа, когда на Бибиковском бульваре пахло тополями и девочки в белых юбочках катали по дорожкам круги серсо, Богров в конторе папеньки подсчитывал, сколько можно выручить от спекуляции с котельными водомерами. Гешефт сулил девятьсот рублей прибыли.

— Прекрасно! Почему бы нам и не заработать, папочка? Тем более палец о палец не ударим, а денежки уже в кармане...

По ночам на Бибиковском бульваре надсадно скрипело старое дерево. «Провокатор нужен... нужен... Провокатор нужен!»

5. На бланках «штандарта»

В этом году случилось большое несчастье с Черноморским флотом: на подходах к румынскому порту Констанца вице-адмирал Бострем посадил весь флот на мель. Позорное дело случилось на глазах множества публики, собравшейся на берегу, так как Румыния ждала русские корабли с визитом дружбы. Бострема судили заодно с флагманским штурманом. В этом же году был суд и над офицерами императорской яхты «Штандарт»... Известно, что русский царь и германский кайзер, словно соперничая друг с другом, ежегодно околачивались на зыбких водах, демонстрируя один — морское невежество, другой — прекрасную выучку. Вильгельм II, на зависть русскому кузену, умел произвести даже такую сложную операцию, как швартовка боевого крейсера в переполненной кораблями гавани... Итак, речь идет о «Штандарте», который ходил под особым императорским стягом, имея свои особые бланки под царским гербом и орлами с андреевским флагом.

* * *

Это особый мир Романовых, не имеющий ничего общего с бытом Александрии или Ливадии. Наши историки флота и революции обошли этот мир стороной, а между тем внутри «Штандарта», как внутри яичной скорлупы, творились иногда удивительные дела... Начнем с команды. Матросов отбирали из числа безнадежно тупых, реакционно мыслящих или, напротив, острых и ловких, прошедших через горнило матросских бунтов, но которые раскаялись и стали называться «покаянниками». Прямой расчет на то, что ренегату отступления нет... Кают-компания «Штандарта» формировалась лично царем из офицеров двух различных категорий: это были отличные боевые моряки (умеющие к тому же вести себя в высшем свете) или,

наоборот, отпетые негодяи, обладающие протiwоестественными вкусами, — к развратникам, как известно, Николай II неизменно благоволил.

Командиром «Штандарта» долгое время был свитский контр-адмирал Иван Иванович Чагин, который в Цусиму, командуя крейсером «Алмаз», увидев, что эскадра окружена и уже поднимают белые флаги, дал в машину «фуль-спит» (полный вперед) и, прорвав блокаду японцев, геройски дошел до Владивостока. Молодой и беспечный холостяк с аксельбантом на груди, он не совался в дела царской семьи, был просто веселый и добрый малый. Но рядом с ним на мостике «Штандарта» качался и флаг-капитан царя, контр-адмирал Костя Нилов — забулдыга первого сорта. Трезвым его никогда не видели, но зато не видели и на четвереньках: Нилов умел пить, выдавая свое качание за счет корабельной качки. Этот человек, открывая в буфете «Штандарта» бутылку за бутылкой, сам наливал царю, позволяя себе высказываться откровенно:

— Я-то знаю, что всех нас перевешают, а на каком фонаре — это уже не так важно. По этому случаю, государь, мы выпьем...

Был обычный день плавания, и ничто не предвещало беды. Яхта шла под парами в излучинах финских шхер, когда раздался страшный треск корпуса, причем вся царская фамилия, заодно с компотом и вафлями, вылетела из-за обеденного стола так, что на великих княжнах пузырями раздулись юбки.

— Спасайте наследника престола! — закричал Николай II.

Шум воды, рвущейся в пробоину ниже ватерлинии, ускорил события, а в шлюпку вслед за наследником Алексеем очень резво прыгнула и сама государыня Александра Федоровна.

— Скорее к земле! — верещала она.

Вокруг было множество островов. «Эти острова кишели солдатами, которым были даны прямолинейные, но мало продуманные инструкции — палить без предупреждения по всякому...» Представьте себе картину: императрица с цесаревичем подгребают к острову, а тут ее осыпают густым дождем пуль. В этот момент некто вырывает из ее рук сына и заодно с ним скрывается... в пучине! Не скоро на поверхности моря, уже далеко от шлюпки, показалась усатая морда матроса, который, держа мальчика над водой, доплыл обратно к

«Штандарту», пробоину на котором уже заделали. Решительного матроса явили перед царем в кают-компании.

— Как тебя зовут, молодец?

— Матрос срочной службы Деревенько.

— Зачем ты прыгнул с наследником в море?

— А как же! Надо было спасти надежду России...

Туп он был, но сообразил, как делать карьеру. Его наградили Георгием, нашили на рукава форменки шевроны за отличную службу и внесли в придворный штат с титулом «дядька наследника». До этого за мальчиком присматривал английский гувернер Сидней Гиббс, который жаловался в мемуарах, что «гемофилия сделала из мальчика калеку, как и все дети, он хотел побегать, поиграть, а я — запрещаю и хожу за ним, как курица за цыпленком, но я не в силах уследить за ребенком». Попав на дармовые царские харчи, Деревенько, сын украинца-хуторянина, сразу показал, на что он способен. В одну неделю отожрался так, что форменка трещала, и появились у матроса даже груди, словно у бабы-кормилицы. За сытную кормежку он дал себя оседлать под «лошадку» цесаревича. Деревенько сажал мальчика себе на шею и часами носился как угорелый по аллеям царских парков, выжимая свою тельняшку потом будто после стирки. Но зато цесаревичу теперь не грозили царапины и ушибы! Распутин поначалу малость испугался, заподозрив в матросе соперника по опеке над Алексеем, но вскоре понял, что тот дурак, к интригам не способен, и они дружно гоняли чай из царского самовара с царскими бубликами.

— Тока ты сам не упали, — внушал ему Распутин...

Но это еще не конец морской романтики. Вскоре столица империи наполнилась революционными прокламациями. Для жандармов это не новость. Новостью для них было то, что на этот раз прокламации были отпечатаны на императорских бланках «Штандарта». Призывы к свержению самодержавия очень красиво и даже поэтично выглядели на фоне императорских гербов и короны.

Степан Белецкий сказал Курлову:

— А конечно! Они латали пробоину у стенки Балтийского завода, рабочий класс и просветил «покаянников»... Это ж ясно.

За посадку «Штандарта» на рифы Чагина судили заодно с Костей Ниловым. Их выручил финский лоцман, доказавший на суде, что риф (острый как иголка) известен только старым рыбакам, а на картах он

не отмечен. Чагин был оправдан. Но он не вынес того, что под палубой его «Штандарта» размещалась подпольная типография, жарившая «Долой царя!» прямо на корабельных бланках. Свидетель пишет, что Чагин «зарядил винтовку и, налив ее водою для верности, выстрелил себе в рот. Голова разлетелась вдребезги, оставив на стене брызги мозгов и крови. На панихиде гроб был покрыт андреевским флагом, а на подушке — вместо головы! — лежал носовой платок. Факты, обнаруженные следствием, держались в строгом секрете». «Штандарт» имел свои особые тайны...

* * *

Из документов известно, что, пока царь с Костей Ниловым упивались в корабельном буфете, Алиса с Вырубовой перетаскали по своим каютам почти всех офицеров «Штандарта». От команды не укрылось это обстоятельство, а трубы вентиляции и масса световых люков давали возможность видеть то, что обычно люди скрывают. Матросы «подглядывали в каюту Александры Федоровны, когда она нежилась в объятиях то одного, то другого офицера, получавших за это удовольствие флигель-адъютантство... Охотница она до наслаждений Венеры была очень большая!» Так царица перебрала всех офицеров, пока не остановила свой выбор на Николае Павловиче Саблине... Личность неяркая. Обычный флотский офицер. Неразвратен, и этого достаточно. Живя в этом содоме, он страдал одним чувством — бедностью и унижением от этой бедности. Царица открыла ему сердце, но не кошелек...

Саблин — слабенькая копия Орлова! Прежде чем он стал командиром «Штандарта», он приобрел большой авторитет в царской семье. Если в доме Романовых назревал очередной скандал между супругами, арбитром выступал Саблин, который, внимательно выслушав мнения противных сторон, объективно и честно указывал, кто прав, кто виноват.

27 июля, после месячной болтанки в шхерах, «Штандарт» вернулся к берегам, а на 27 августа был запланирован отъезд царской

семьи на киевские торжества. Николай Павлович Саблин навес­тил свою холостяцкую квартиру на Торговой улице, где и блуждал по комнатам в унылом одиночестве. С лестницы неожиданно прозвучал звонок... Саблин впустил незнакомого господина, который всучил в руки ему визитную карточку: под именем «Игнатий Порфирьевич Манус» помещалась колонка промышленных титулов...

— Итак, что вам, сударь, от меня угодно?

Манус очень прозорливо и быстро окинул убогое убранство квартиры захудалого дворянина, оглядел молодого стройного офицера.

— Я знаю, что вы человек порядочный, но бедный, и потому решил помочь вам, чтобы вы стали богатым...

— Каким образом? — удивился Саблин.

— Вы стали любовником нашей императрицы...

— Ложь! — выкрикнул Саблин.

— Не спешите, — умерил его пыл Манус. — Я вам покажу фотоснимок одной сценки, сделанной тайно в каюте «Штандарта»...

Саблин разорвал фотографию, не глянув на нее.

Раздался скрип — это смеялся Манус:

— Неужели вы думаете, что избавились от позора? Негатив снимка находится в банке одного нейтрального государства...

— Это шантаж! — воскликнул Саблин в ужасе.

Манус и не пытался ему возражать:

— Конечно, шантаж. Самый обычный. Вас я уже назвал порядочным человеком. Теперь назову себя непорядочным человеком. Что делать, если так надо? Обладая такой фотокарточкой, осмеливаюсь требовать от вас полного и беспрекословного подчинения мне!

Один рывок сильного тела, и голова Мануса была отброшена на валик кресла, а в кадык ему уперлось острие кортика.

— Пожалуйста... режьте! — прохрипел Манус. — Но после моих похорон фотоснимок должен быть опубликован в одной неприличной газете, а мои люди заодно уж перешлют копию и вашей невесте, на которой вы собираетесь жениться, зарясь на приданое...

Саблин отбросил кортик и спросил — что ему, подлецу, от него понадобилось? Манус поправил воротничок на потной шее.

— Я финансист, а потому мне нужно, чтобы вы проводили в кругу царя идеи тех операций, какие выгодны для меня.

— Хотите сделать из меня второго Распутина?

— Ну, подумайте сами — какой же из вас Распутин? — огорченно отвечал Манус. — Такой красивый, такой приятный офицер... Распутин давно в моих руках, но его примитивным мозгам не осилить тонкостей финансовой техники. Этот тип, вызывающий у меня отвращение, не видит разницы даже между акцией и облигацией!

— Короче — зачем вы пришли?

— Познакомиться и договорить относительно гонораров на будущее. Вы начнете действовать по моему сигналу. Я готовлю для матери-России министра финансов, который нужен России.

— То есть не России, а вам!

— Но я уже сроднился с Россией: теперь что мне, что России — это один черт... Коковцев меня устроить не может.

— Вы надеетесь, что я способен свергнуть Коковцева?

— А почему бы и нет? Капля камень долбит. Сегодня вы за табльдотом «Штандарта» скажете, что Владимир Николаевич демагог, завтра Распутин скажет, что Коковцев плут... глядишь, и царь задумался! Анархисты рвут министров бомбами, за это их вешают. Мы взорвем Коковцева шепотом, и никто нас не повесит. Напротив, мы с вами еще разбогатеем! А вы, чудак такой, схватились за свой острый ножик, на котором что-то еще написано...

Он взял кортик, прочел на лезвии торжественные слова: «ШТАНДАРТ». «ЧЕСТЬ И СЛАВА».

6. Третья декада августа

Весной 1911 года, когда возник кризис власти, Столыпин на три дня прервал сессию Думы, а Гучков — в знак протеста — сложил с себя председательские полномочия. Протест свой он выражал лично Столыпину, но — странное дело! — это нисколько не ухудшило их личных отношений. Гучков был страстным поклонником Столыпина, он преклонялся перед самой «столыпинщиной». Подобно провинциальной барышне, которая обвешала свою кровать карточками душки-тенора, так и Гучков буквально завалил свою квартиру бюстами, портретами и фотографиями премьера...

Столыпин позвонил ему по телефону:

— Александр Иваныч, мой цербер Курлов сообщил из Киева, что приготовления к торжествам закончены. Очевидно, я выеду двадцать пятого, дабы на день-два опередить приезд царской семьи. Не хотите ли повидаться... на прощание?

— С удовольствием. С превеликим!

— Тогда я скажу Есаулову, чтобы вас встретил...

Гучков на извозчике доехал до Комендантского подъезда Зимнего дворца, где его встретил штабс-капитан Есаулов — адъютант премьера, хорошо знавший думского депутата в лицо.

— Пра-ашу! Петр Аркадьевич ждет вас...

Столыпин сидел за чайным столиком возле окна, открытого на Неву; его острый чеканный профиль отлично «читался» на фоне каменной кладки фасов Петропавловской крепости.

— Ну, как там управляется на вашем месте Родзянко? — спросил он, подавая вялую прохладную руку, и, не дождавсь ответа, пригласил к столу: — Садитесь. Чай у меня царский...

В ресторане-поплавке играла веселая музыка.

— А дело идет к закату, — вздохнул Столыпин. — Запомните мои слова: скоро меня укокошат, и укокошат агенты охраны!

Премьер ожидал выстрела — не слева, а справа.

— Быть того не может, — слабо возразил Гучков. — Газеты пророчат, что в Киеве вы получите графский титул.

— Возможно, — отозвался Столыпин. — В разлуку вечную его величество согласится воткнуть мне в одно место павлинье перышко. В конце-то концов я свое дворянское дело сделал!

— Ваша отставка вызовет развал власти...

— Ничего она не вызовет, — отвечал Столыпин.

Казалось, внутри его что-то оборвалось — раз и навсегда. Неряшливой грудой сваленные в кресло, лежали выпуски газет, в которых из «великого» его сделали «временщиком» и открыто писали, что царь лишь подыскивает благовидную форму, чтобы достойно облечь в нее падшего премьера... Столыпин буркнул:

— Здесь пишут, что даже Витте был лучше меня.

— Мария Федоровна не позволит сыну устранить вас!

Длинная кисть руки Столыпина, темная от загара, безвольно провисшая со спинки стула, в ответ слегка шевельнулась.

— Никакая фигура и никакая партия уже не способны восстановить мое прежнее положение. Я физически ощущаю на себе враждебность двора... неприязнь царя и царицы...

Конечно, губернатором на Тамбов или Калугу его не посадишь. Гучков слышал, что специально для Столыпина замышляют открыть грандиозное генерал-губернаторство на Дальнем Востоке (почти наместничество). Поговаривали, что сделают правителем Кавказа. Столыпин с жадностью раскурил толстую папиросу.

— Не верьте слухам! Даже послом в Париж меня не назначат. Все будет гораздо проще, чем вы думаете. Я та самая кофеинка, которая попала в рот государю, когда он пил кофе: мешает, а сразу не выплюнешь. Однако, — продолжал Столыпин, покручивая в пальцах обгорелую спичку, — сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что Царское Село не может простить мне одного...

Чай был невкусен, и Гучков отставил чашку.

— Чего же там не могут простить вам?

Столыпин через плечо выбросил спичку в окно.

— Я не сошелся с Гришкой Распутиным! Меня с ним не раз сволакивали. Почти насильно, будто женить собирались. Я способен бороться с любым дьяволом. Но я бессилен побороть те силы, что стоят за Распутиным... Мы еще не знаем, кто там стоит!

Гучков вынес от этой встречи ужасные впечатления. Казалось, он пил чай с политическим трупом, который ронял мертвые земляные

слова, а рука покойника играла обгоревшей спичкой, и костяшки пальцев опускали в чашку гостя большие куски искристого бразильского рафинада из царских запасов. Зарождалась какая-то новая бесовская авантюра, в которой до сих пор многое еще не выяснено, но Столыпин уже предчувствовал близость гибели...

...За неделю до отбытия в Киев царской семьи тронулись в путь еще два путешественника — Егорий Сазонов и Гришка Распутин, билеты у которых были взяты до Нижнего Новгорода.

Уже начинался дележ столыпинского наследства!

* * *

Пропились в дороге так, что, когда вылезли из поезда на вокзале в Нижнем, наскребли в карманах только три рубля и шестнадцать копеек. От путешественников нехорошо пахло... Сазонов сказал:

— С тобой ездить — живым не вернешься.

— Ништо! Дорога — праздник. Коли в поезд запихнулся, так пей без памяти, покуда не приедешь... А иначе-то как же?

— Ты есть хочешь? — спросил его Сазонов. — Чай, губернатор-то накормит и денег даст...

Одного прохожего господина Распутин спрашивал:

— Где тут Хвост-то ваш сыскать?

— Алексея Николаевича Хвостова, — уточнил Сазонов.

— Губернатора? Так вы на месте его вряд ли застанете. За Окой искать надо... Сейчас ведь шумит наша славная ярмарка!

Но все же показал, как пройти до присутственных мест, которые располагались внутри древнего нижегородского кремля, вблизи Аракчеевского кадетского корпуса. На их счастье, в канцелярии сказали, что губернатор на месте — в кабинете.

— Веди нас к нему, — велел Гришка чиновнику.

— Господа, а кто вы такие?

— Я говорю — веди, а то хуже будет...

Хвостов без промедления принял обоих.

— Я о вас немало слышал, — сказал он Гришке.

Это воодушевило Распутина, который, сидя на стуле, расставив ноги, битых полчаса размусоливал зловещую тему о том, как его уважают цари и что он может сделать все что хочет.

— Все можете сделать? — прищурился Хвостов.

— Все, — ответил Распутин, не поняв иронии.

— Отлично, если так. А зачем в Нижний пожаловали?

Распутин сказал, что прибыли «посмотреть его душу».

— Душа — это слишком расплывчато. Нельзя ли точнее?

Молодой толстяк смотрел на них с умом, в щелках глаз Хвостова светилась нескрываемая усмешечка. Распутин сгоряча выпалил:

— Хошь быть министром дел внутренних?

— Премьер Столыпин и есть по совместительству эм-вэ-дэ. Так что, господа, вы предлагаете мне занятое место.

Распутин вскочил, пробежался по кабинету, приседая, длинные руки его хватали воздух, он выкрикнул:

— Ах, глупый! Сегодня есть Столыпин — завтра нету...

Тут Хвостов оторопел, а потом даже возмутился:

— Да вы что? Из какого бедлама бежали?

Можно понять недоумение Хвостова: ему тридцать восемь лет, гор не своротил, рек вспять не повернул, и вдруг ему, человеку с дурной репутацией, предлагают сесть на место Столыпина.

— Столыпин знает об этом? — спросил он.

— Упаси бог! — отвечал Распутин.

В разговор вклинился Сазонов:

— Вы нас неверно поняли. О нашей поездке никто не знает. Но поймите, кто послал... Мы же ведь тоже не с печки свалились.

— Я вас понимаю как самозванцев.

Распутин переглянулся с Сазоновым и сказал:

— Не веришь? Тогда скажу — мы из Царского Села...

Но имени царя не произнес, а Хвостов сильно колебался. До провинции столичные отголоски доходили не сразу, и фигура Столыпина из отдаления высилась нерушимо.

— Я вас больше не держу, — суховато кивнул он.

Сазонов шепнул Гришке:

— Скажи, чтобы на обед позвал... жрать-то надо.

Распутин снова расселся перед губернатором.

— Ты меня с женой да детками ознакомь.

— Это не обязательно.

— Тогда обедать нас позови.

— Обедать идите в кухмистерскую...

— Невежливый ты человек, — вздохнул Распутин.

Чрезвычайные царские эмиссары убрались.

Хвостов тут же позвонил губернскому почтмейстеру:

— Переслать мне все копии телеграмм в Царское Село...

Примерно через полчаса на его столе лежали бланки двух телеграмм Распутина о визите к Хвостову. Первая — императрице: «Видел молод горяч подождать надо Роспутин». Вторая — Вырубовой: «Хотя бог на нем почитет но чего то недостает...»

Отправив эти телеграммы, друзья подсчитали деньги.

— Руль с медью! — сказал Гришка. — Хоть плачь!

Они зашли в тень памятника гражданину Минину.

— Что делать? — мучился Сазонов. — Ведь нам же еще билеты до Киева брать... Говорил я тебе, не пей, лопнешь.

— Не лопнем! У меня тут, в Нижнем, одна знакомая огородница живет. Ты постой в тенечке, а я мигом сбегаяю.

— Не пропади! К бабе идешь, а я тебя знаю.

— Не бойсь. В момент управлюсь...

Управился он быстро и пришел с синяком под глазом.

— Ну как? Дала она денег? — спросил Сазонов.

— Сам вишь, червонец отвалила... Совсем озверела баба! Отколе же мне знать-то, что она замуж вышла? — Выбрав пяточок, он приладил его к синяку...

— Как же нам без денег до Киева добраться?

— Без нас там обойдутся...

Прибыв на вокзал к отходу киевского поезда, Распутин горячо убеждал своего робкого приятеля:

— Скажи кондуктору, будто товарища потерял, и ныряй в вагон. Он орать станет, а ты ничего не слушай. Заберись в уборную, на крючок закройсь и притихни. Будут стучать — не пушай...

— А как же ты, Ефимыч?

— Э-э! Здесь не останусь... Первый раз, што ли!

— Ну, а если нас ссадят с поезда?

— С одного ссадят — на другой пересядем... Не пойму я тебя, Егор! Вроде бы не дурак. Книжки пишешь. Журналы печатаешь. А

такого дерьма скумекать не можешь... Давай! Поехали...

Утром на киевскую товарную станцию прибыл, громыхая буксами, порожняк для перевозки скота. Из грязной пахучей теплушки вывалились под насыпь издатель и праведник.

— Ну, — сказал Гришка, позевывая, — вот и Киев...

Сазонов, чуть не плача, отдирает от своих брюк присохшие комки коровьего навоза, вычесывает из волос солому.

— Теперь, как говорят футуристы, пора «обсмокингаться» заново. А цена костюма — как раз цена билета до Киева.

— Вот зануда! Приехали. Киев. Так ему опять плохо... Пошли, Егорка, начинаются киевские торжества!

* * *

27 августа часы на киевском вокзале показывали 00.44, когда к перрону подкатил столичный экспресс. Киев уже спал, отворив окна квартир, было душно. Из вагона вышел Столыпин с женою, их встречал генерал Курлов — без мундира, в пиджаке.

— Ну, как здесь? — спросил Столыпин.

— Тихо, — отвечал Курлов.

Сунув руки в карманы кителя, Столыпин через пустынный зал ожидания тронулся на выход в город. Впереди диктатора, сжимая в ладони браунинг, шагала штабс-капитан Есаулов. Захлопнув дверцы машины за премьером и его супругой, Курлов не спеша обошел автомобиль вокруг и уселся рядом с шофером.

— По Безаковской — быстро, направо — по Жандармской... Петр Аркадьевич, вам приготовлены три комнаты в нижнем этаже.

— Спасибо. Я хочу отдохнуть...

В этот же день от Петербурга отошел литерный экспресс с царской семьей. Сейчас уже мало кто знает, что поездки Николая II по стране сопровождалась убийствами. Войска для охраны собирались как на войну; на протяжении тысяч верст солдат расставляли вдоль рельсов. На пути следования литерного вводилось военное положение. Другие поезда задерживались, пассажиры нервничали, не понимая

причин остановки. Перед проходом царского экспресса убивали всякого, кто появлялся на путях, и первыми гибли путевые обходчики или стрелочники, не успевшие укрыться в будках. Движение под мостами полностью прекращалось. Плотогоны, летевшие по течению реки, если они попадали под мост во время прохождения царского поезда, тут же расстреливались сверху — мостовой охраной, погибали и люди, плывшие в лодках...

7. Сказка про белого бычка

В полдень 26 августа Богров позвонил в охранку и попросил к телефону «хозяина». Кулябки да месте не было, а дежурный филер Демидюк велел пройти в Георгиевский переулок, где они и встретились, зайдя в подворотню. Богров сообщил о прибытии в Киев революционеров с оружием, на что Демидюк сказал:

— Дело швах! Повидай самого «хозяина»...

В четыре часа дня этот же Демидюк, со стороны Золотоворотской улицы, провел Богрова в квартиру Кулябки по черной лестнице. Кулябка встретил агента в передней, через ванную комнату они прошли в кабинет. Дверь в гостиную была открыта, доносился звон бокалов и крепкие мужские голоса. Кулябка сказал:

— Это мои приятели. Итак, что у вас серьезного?

К ним вышли подвыпившие жандармы — Курлов и полковник Череп-Спиридович, женатый на сестре жены Кулябки.

— Пусть говорит при нас, — хамовато заметил Курлов.

Суть рассказа Богрова была такова: в Киев прибыли загадочные террористы — Николай Яковлевич и какая-то Нина. Вооружены. Готовят покушение.

— На кого? — спросил Кулябка.

— Наверное, на Столыпина.

— Где они остановились? — вмешался Череп-Спиридович.

— У меня же... на Бибиковском бульваре.

Историк пишет: «Жандармы всех стран и времен, как показывает опыт истории, являются весьма проницательными психологами, умеющими хорошо разбираться в людях, даже самых сложных: к этому их обязывает сама профессия!» И вот, когда Богров закончил рассказ, Курлов пришел в небывалое волнение. Несколько минут он отбивал пальцами по столу брагурный гвардейский марш: «Трубы зовут! Друзья, собирайтесь...» Потом сказал Кулябке:

— Ну что ж. Ничего страшного. Адрес агента господина Богрова известен. Бибиковский бульвар. Установим наблюдение.

Череп-Спиридович, как автор нашумевшей книги о партийности в русской революции, не преминул спросить у Богрова:

— К какой партии принадлежат ваши приятели?

— Кажется, эсеры, — ответил Богров.

Кто был сейчас дураком? Кажется, один полковник Кулябка, чего нельзя сказать про Курлова и Черепа-Спиридовича — опытных «ловцов человеков». Приход Богрова с его нелепой сказочкой про белого бычка — это была жар-птица удачи, сама летевшая им в руки. Курлов недавно, в связи с женитьбой, промотал несколько тысяч казенных денег, о чем Столыпин еще не знал. Но Курлов (через дворцового коменданта Дедюлина) уже пронюхал, что царь позволил Столыпину уволить Курлова после «киевских торжеств». При сдаче дел, несомненно, обнаружится и растрата. *Значит...*

— Значит, — сказал он, — нужны особые меры охраны!

Передать все тончайшие нюансы этой встречи невозможно. Богров, кажется, и не предполагал, что жандармы так охотно клюнут на его приманку. Вся обстановка напоминала грубейший фарс: сидят матерые волкодавы политического сыска и делают вид, что поверили в детский лепет дешевого провокатора. Это свидание подверглось анализу наших историков: «Гениальным политическим нюхом Курлов и К^о учуяли, что неожиданный приход Богрова является тем неповторимым случаем, который могут упустить только дураки и растяпы. Они отлично знали, что предвосхищают тайное желание двора и камарильи — избавиться от Столыпина! Риск, конечно, был. Но игра стоила свеч...»

Курлову стало жарко — он раздернул крючки мундира на шее. Через десять лет, жалкий белоэмигрант, сидя на задворках мрачного Берлина, он будет сочинять мемуары, в которых, не жалея красок, распишет, как он любил Столыпина, а Столыпин обожал его — Курлова! Подобно лисе, уходящей от погони, он пышным жандармским хвостом станет заметать свои следы, пахнущие предательской псиной. Но это случится через десять лет, когда Курлов даже бутылочке пивка будет рад-радешенек, а сейчас — за стенкой! — стол ломился от яств, и жандарм, в предвкушении небывалого взлета своей карьеры, хотел только одного: стопку холодной, как лед, анисовой и немножко икорки с зеленым луком...

— Я думаю, все уже ясно, — сказал он, поднимаясь.

Курлов остался пить анисовку, понимая, что Богров сделает его министром внутренних дел. Как сделает — это, пардон, уж дело

самого Богрова... Грязно сделает? Плевать. Пускай даже грязно! Вообще, читатель, политика иногда выписывает такие сложные кренделя, каких не придумать и на трезвую голову. Богров уходил вдоль оживленного Крещатика, предоставленный самому себе, уже вовлеченный в водоворот честолюбивых страстей, и — что поразительнее всего! — Богров в этот день ощущал себя *государственным человеком*... Дома он сказал родителям:

— У меня сегодня был на редкость удачный день!

Папа и мама порадовались за сыночка, не догадываясь, что их дом уже насквозь просвечен полицейским рентгеном. В практике царской охраны известны два вида филерного наблюдения — густое и редкое. За домом Богровых установили густое! При этом даже самый хитрющий клоп, если бы ему пожелалось выбраться на улицу, не смог бы этого сделать — клопа заметили бы и арестовали. Конечно, никакая Нина, никакой Николай Яковлевич в дом Богровых не входили и не выходили...

Генерал Курлов начинал большую игру!

Ва-банк своей карьеры он ставил жизнь премьера.

И не только его... Может быть, и царя?

* * *

Кулябка навестил киевского городского голову.

— Господин Дьяков, первого сентября в театре будет исполнена опера «Сказка о царе Салтане»... Мне бы билетов...

— Вам с женою — пожалуйста, всегда рады.

— Не мне. Надо обставить охрану царя.

Кулябка просил двадцать билетов, Дьяков дал ему семь.

— Простите, я должен записать номера рядов и кресел.

— К чему такой педантизм? — возмутился жандарм.

— Ах, милый Николай Николаич, — отвечал Кулябке городской голова града Киева, — мало ли чего в нашей паршивой жизни не случается! И я не хочу, чтобы мне потом голову сняли...

Дьяков, среди прочих номеров, записал и данные рокового билета: ряд № 18, кресло № 406. Здесь будет сидеть Богров!

* * *

Киев, 29 августа, обычный день... Коковцев вывез из столицы целый штат министерства — шло составление государственной сметы, и финансисты купались в морях монопольной водки, ухали миллиарды на постройку дредноутов, вкладывали миллионы в казенные пушечные заводы. В пушистом халате, попивая остывший чай, Коковцев расхаживал по канцелярии и чаще всего говорил, что «здесь надо урезать... тут сократить...». Потом фланирующим барином (еще красивый холеный мужчина), помахивая тросточкой, он прогулялся до квартиры премьера. С улицы стояла очередь ходоков и просителей: Столыпин продолжал в Киеве работу как министр внутренних дел, — нервный, задерганный, крикливый.

— Сейчас я кончу, — сказал он, завидев Коковцева. Они прошли в комнаты, где Ольга Борисовна, жена Столыпина, сервировала чай; премьер негодовал: — Я оставил свой автомобиль в Питере, надеясь, что мне, не последнему человеку в мире, выделят киевский... Черта с два! Жандармы забрали его себе. Просил у Фредерикса карету — говорит, что все заняты. И вот я, премьер, вынужден кричать на улицах: «Эй, извозчик!..»

Он спросил — надолго ли Коковцев в Киеве?

— Первого сентября мой вагон прицепят к питерскому.

— Завидую вам, — вырвалось у Столыпина. — Хочется домой. Честно говоря, беспокойно мне как-то... в этом Киеве!

Коковцев барственным жестом извлек из кармашка пестрого жилета дедовские часы, щелкнул крышкой.

— Ого! Скоро прибудет царь. Как бы не опоздать...

Столыпин ехал встречать царя на вокзал в наемной колясочке. Киев был расписан, как праздничный пряник. Дома украсились флагами, вензелями, портретами. Буржуазия задрапировала балконы коврами, в окнах выставлялись цветы, горела иллюминация. В густой

толпе народа, среди шума и гвалта, полиция задержала коляску с премьером. «Назад!» — последовал окрик.

— Вы что, не узнаете меня? Я же Столыпин...

Он все-таки пробился на перрон, но в суматохе царь не обратил на Столыпина внимания. Разъезд кортежа прошел без него, и премьер в самом конце процессии трясся на своих дрожжах, следуя за дежурными флигель-адъютантами. «Меня сознательно оскорбляют», — шепнул он Есаулову... В публике городские бесплатно раздавали брошюры, срочно отпечатанные тысячным тиражом. Автором брошюры считался Распутин, но я в это не верю. Вот образчики пропагандистской чепухи: «Что поразило восторгнуться и возрадоваться Киевскому граду? Так трепещет весь народ и аристократия, одни жида шушукаются и трепещут... Солдатики просто не человеки — подобны ангелам: они от музыки забыли все человечество, и музыка отрывает их от земли в небесное состояние». Глупее — и хотел бы, да не придумаешь!.. Столыпину в политической феерии отвели место в хвосте, а все цветы и улыбки выпали на долю царя и царицы. Александра Федоровна сидела в ландо с гримасой на лице, которая по плану должна бы выражать любезность. И вдруг, презренная ко всем, она поклонилась — она отвесила поклон! — прямо в толпу киевлян, которые зашушукались:

— Кому ж из нас это она кланялась?

А среди прочих стоял мужик, который сказал:

— Да не шумите... это она мне кланялась!

Так киевляне узнали о присутствии в Киеве Распутина. Но в этой сцене была одна деталь. Когда царский кортеж проехал и показалась колясочка с жалким, словно его обухом пришибли, Столыпиным, Гришка взмахнул ручищами и громко запричитал:

— Смерть за ним идет! Смерть глядит на Петра...

Так и невыяснен деликатный вопрос: что знал Распутин и в какой степени был он посвящен в программу дальнейших событий? Но если знал Распутин, то выходит, что знал и... царь?

Столыпин выбрался из коляски, расплатился с извозчиком. Пройдя в комнаты, сразу же просил соединить себя с генералом Курловым, занимавшим номер в «Европейской» гостинице:

— Почему во время проезда я не был обеспечен охраной?

— Охрана была. Вы ее просто не заметили.

Столыпин бросил трубку и выругался:
— Врешь, морда каторжная! Я все замечаю...

* * *

31 августа, время — 12.40...

Некто М. Певзнер позвонил на телефонную станцию:

— Барышня, мне нужен номер шестьсот-девять...

Это был телефон Богровых в доме № 4 по Бибиковскому бульвару. На коммутаторе произошла осечка, и, подключив Певзнера к Богровым, барышня — по ошибке! — не разъединила прежнего разговора. Таким образом киевский обыватель М. Певзнер явился нечаянным слушателем беседы Д. Г. Богрова с полковником Кулябкой:

— Вы обещали дать мне билет в Купеческий сад, где сегодня вечером будет встреча царя и его августейшей семьи.

— Я оставлю вам билет. Пришлите за ним кого-либо.

— Хорошо, — ответил Богров, — я пришлю. Спасибо.

Певзнер решил использовать эту ситуацию в своих личных целях. Позвонив на станцию, он попросил барышню снова соединить его телефон с квартирой Богровых.

— Слушай, Мордка, — сказал он ему на жаргоне «идиш», — я сейчас слышал, как ты разговаривал. Если ты имеешь роскошный блат с жандармами, так устрой мне и моей Идочке по билету в Купеческий сад. Мы тоже хотим повеселиться.

Нависло молчание. Богров долго думал.

— Надеюсь, — отвечал по-еврейски, — ты достаточно умен, чтобы не болтать о том, что слышал. А билета тебе не будет...

Примечание: по законам департамента полиции все тайные агенты охраны, связанные провокаторской деятельностью в революционных партиях, никогда (!) и ни при каких условиях (!) не имели права (!) посещать места, где находятся члены царской семьи или члены правительства... Курлов разрешил это сделать.

— Богрову можно, — сказал он Кулябке.

Сказка про белого бычка увлекла его, как игра старого мудрого кота с жалкой мышью. Кот знает мышиную судьбу наперед, но мышь, сильно тоскуя, еще на что-то надеется...

* * *

Вечер, восемь часов, Купеческий сад... Богров постоял возле эстрады, где пел украинский народный хор, затем перешел в аллею — поближе к царскому шатру. Он стоял в первом ряду, когда Николай II с Алисою прошли мимо него столь близко, что царь даже задел его локтем, а ветерок донес аромат духов императрицы. Вместе со всеми обывателями Богров кричал:

— Да здравствует великий государь... Сла-а-ава!

Но Столыпина не заметил, да это и немудрено. Обескураженный невниманием царя, Столыпин сознательно растворился в густой массе гуляющих. В этот день его фотографировали. Он был одет, как чиновник из дворян, — в белом кителечке и в фуражке с белым чехлом. Я не знаю, что означала повязка на его рукаве, похожая на траурную. Итак, премьер затерялся в толпе... Богров позже показывал: «Вернувшись из Купеческого сада и убедившись, что единственное место, где я могу встретить Столыпина, есть городской театр, в котором был назначен парадный спектакль 1 сентября, я решил непременно достать билет...»

Было полвторого ночи, когда Кулябку разбудили:

— Опять пришел этот Аленский-Капустянский.

— Пусть войдет... Что ему надо?

Богров, взволнованный, путано рассказывал:

— Оказывается, у Николая Яковлевича в портфеле бомба. Нина имеет два браунинга. Они поручили мне побывать в Купеческом саду, чтобы установить возможность покушения и расстановку охраны. У них есть связи, и они могут добыть билеты в театр...

— Государю опасность угрожает? — спросил Кулябка.

— Ни в коем случае! *За императора будьте спокойны.* А мне нужен билет в театр. Я просил тут одну проститутку Регину из

кафешантана... она обещала... через знакомых в оркестре...

— Голубчик, о чем разговор! — сказал Кулябка.

И дал ему билет: кресло № 406 в ряду № 18.

— Спасибо. — Богров ушел спать; все заснули.

8. Сказка о царе Салтане

А войска шли всю ночь — войска Киевского военного округа, войска особой выучки (драгомировской!). Они имели право шагать босиком, курить в строю и разговаривать, могли расстегнуться и даже сойти на обочину, — *это были лучшие войска России*, которые в мирные дни ходили как на войне. Всю ночь они держали устойчивый марш, уходя все дальше от Киева — для маневров. Сухомлинов, желая угодить царю, велел задержать марш-марш в пяти верстах от Киева, но тут возмутились драгомировские генштабисты:

— Здесь маневры, а не придворный спектакль...

После Сухомлинова пост киевского генерал-губернатора занимал генерал Трепов; в шесть часов утра, когда войска удалились от Киева на сорок пять верст, Трепов сел в автомобиль, чтобы нагнать их на марш-марше, и тут посыльный вручил ему записку от Кулябки, извещавшую, что на Столыпина готовится покушение. Трепов указал свите — предупредить об этом премьера:

— Скажите ему — пусть не высовывается на улицу!

В семь утра Столыпина разбудил Кулябка и подтвердил:

— На вас готовится покушение. Посидите дома...

После Кулябки его навестил Курлов — с тем же!

— Все это несерьезно, — отвечал Столыпин.

Курлов в разговоре с ним добавил:

— А за ваше пребывание *в театре мы спокойны*...

Утро 1 сентября нанесло Столыпину еще один страшный удар по самолюбию. 4 сентября царь намеревался с женой и свитой отплыть пароходом в Чернигов, придворное ведомство распределило каюты для сопровождающих царя, и тут выяснилось, что Столыпина... забыли! В гневе он позвонил Фредериксу:

— Шеф-повара государя вы не забыли, а премьера... забыли? Я уже не говорю о том, что каждый придворный холуй разъезжает на автомобиле, а я, премьер империи, пижоню на наемных клячах. Я молчу о том, что вы не дали мне экипажа. А теперь...

— Петр Аркадьевич, — отвечал министр императорского двора, — извините, но для вас места на пароходе не хватило.

— Кто составлял список пассажиров?

— Кажется, Костя Нилов...

Штабс-капитан Есаулов известил с утра пьяного Нилова.

— По-моему, — сказал ему офицер, — один премьер империи стоит того, чтобы высадить с парохода половину свиты.

Бравый алкоголик Нилов спорить не стал:

— Хорошо, я сразу доложу его величеству... — и скоро вышел из царских покоев.

— Государь указал, что премьера не надо!

— Зато теперь все ясно, — вздохнул Столыпин, выслушав Есаулова, и позвонил Коковцеву. — Доброе утро, дорогой мой...

Коковцев, дабы скрасить отверженность премьера, каждодневно обедал с супругами Столыпинными в ресторане, но сейчас он извинился, что сегодня будет вынужден обедать отдельно:

— У меня встреча с друзьями юности — лицеистами.

— Надеюсь, на ипподром мы поедем вместе?

— Да, конечно. Я заеду за вами...

В 14.00 ожидался приезд царской семьи на Печерский ипподром, где должны состояться скачки и смотр «потешных». За полчаса до этого игрища Коковцев заехал за Столыпиным, который пересел в экипаж министра финансов. Лошади красиво взяли разбег.

— Вот что! — сказал Столыпин. — Я не хочу, чтобы это разглашалось, но есть сведения, что на меня готовится покушение. А потому будет лучше, если мы сей день будем кататься вместе.

С точки зрения человеческой морали Столыпин поступал не ахти как прилично. Коковцев признавал всю опасность для себя соседства Столыпина, но, человек воспитанный, с замашками былой уланской доблести, он ограничился лишь кратеньким замечанием:

— Не очень-то любезно с вашей стороны...

— Ерунда! Я жандармам не верю, — буркнул Столыпин, и здесь я еще раз замечая, что он поступил не по-рыцарски, заслонясь от пуль телом своего коллеги, который в высшей степени благородно согласился быть для него этой живой «заслонкой».

Богров до полудня зашел в «Европейскую» гостиницу, где в номере генерала Курлова еще раз повидался с жандармами. Он сказал им, что Николай Яковлевич и Нина, очевидно, расположены ждать вечера, когда Столыпин двинется в театр. Кулябка заметил на это, что было бы хорошо, если Богров оповестит филеров наружного наблюдения о выходе террористов из дома курением папиросы. Богров охотно согласился закурить папиросу...

— Братъ будем на улице, — решил Кулябка. — Как он закурит папироску, так сразу налетим и сцапаем.

— Лучше в театре, — рассудил Курлов.

— Чтобы с поличным, — добавил Череп-Спиридович.

Узнав, что на ипподром съезжаются царь и его свита, Богров взял коричневый пропуск, удостоверяющий его службу в охранке, и покатил туда же, имея в кармане браунинг. Но секретарь «Киевского бегового общества», некто Грязнов, парень из жокеев, узнал Богрова в лицо как заядлого игрока в тотализатор.

— Эй, — сказал он ему, — а тебе чего тут надобно?

— Я жду придворного фотографа, — смутился Богров и тишком показал коричневый билет, шепнув: — Ты ведь тоже в охранке?

Грязнов выплюнул изо рта папиросу и со словами — «Ну, держись, морда поганая!» — пинками выставил Богрова с ипподрома.

— Я с гадами дела не имею... проваливай, шкура!

А ведь Богров уже занял хорошую позицию для стрельбы. От министерской ложи его отделяло всего три шага, и он видел спину Столыпина... Жокей, сам того не ведая, спас премьера!

* * *

Благородное вино, искрясь радостью, хлынуло в сияющие бокалы. Коковцев принимал в гостинице друзей юности — лицеистов. При этом он вел себя как настоящий аристократ, одинаково ровно и

любезно общаясь со всеми — и с теми, которые достигли высоких чинов, обросли именьями, и с теми, кто едва выбился в жизни, погряз в долгах и неудачах, опустил и раскис. Блестящий знаток классической поэзии, Коковцев даже в финансовых отчетах не пренебрегал цитировать стихи русских поэтов и сейчас тоже не удержался, чтобы не воскликнуть:

Друзья, в сей день благословенный
Забвенью бросим суеты!
Теки, вино, струю пенной
В честь Вакха, муз и красоты!

Бокалы сдвинулись, Коковцев перешел на прозу:

— Извините, вынужден на минутку оставить вас... дела! — В канцелярии он напомнил чиновникам, чтобы позвонили на вокзал — вагон министерства финансов надо прицепить к вечернему поезду. После чего вернулся в компанию лицеистов. — Очень приятно быть в Киеве, но для нас, лицеистов, до смерти «целый мир чужбина, отечество нам Царское Село»! — Раскурив папиросу и жестикулируя, отчего резко вспыхивал алмаз в его запонке, представитель винной монополии старался реабилитировать себя в обвинениях, будто он, министр финансов, строит бюджет государства на продаже казенной водки. — Самое главное — золотой запас, — заключил он с вызовом. — Поверьте, после меня кладовые банков России будут трещать от накоплений чистого сибирского золота...

Войдя на цыпочках, чиновник особых поручений шепнул ему на ухо, что пора в театр. Старые обрюзгшие лицеисты, которых Коковцев помнил еще юными непоседами-шалунами, расходились, отчасти подавленные величием своего товарища, а Коковцев в экипаже поехал за Столыпиным. Усевшись с ним рядом, премьер сказал:

— Если в театре ничего не случится, значит, вообще ничего не случится, а жандармы, как всегда, брали меня на пушку...

Театр был переполнен разряженной публикой, в толчее и давке штабс-капитан Есаулов с трудом отыскал Курлова.

— Еще раз прошу обеспечить охрану премьера.

— Вы первый обязаны это делать, — огрызнулся Курлов. — И не имеете права покидать премьеры... Впрочем, — закончил он миролюбиво, — в проходе первого ряда болтается полковник Иванов, а меры усиленной охраны Столыпина уже приняты как надо.

В первом ряду сидела вся знать, министры и генералитет. Ровно в 9.00 царскую ложу заняли Николай II с женою, занавес взвился, блеснула томпаковая лысина дирижера, и грянула веселая брызжущая музыка... «Сказка о царе Салтане» началась!

* * *

Перед финалом оперы Кулябка велел Богрову сбежать домой, чтобы узнать, где сейчас Николай Яковлевич с бомбой и Нина с браунингами. Богров вскоре же, постояв на улице, вернулся и сказал, что террористы ужинают. В первом антракте Кулябка опять наказал ему проверить, что делают покусители. Но дежурный жандарм при входе обратно в театр Богрова уже не пускал:

— Не могу! У вас билет был уже надорван...

Случайно это заметил Кулябка и сказал жандарму:

— Пропусти его. Он из нашей оперы...

Опера продолжалась. В синем море плавала бочка, в ней не по дням, а по часам подрастал царевич. Бинокли киевских аристократок были нацелены на царскую ложу, тихим шепотком дамы обсуждали туалеты царицы, которая сосала вкусные карамельки киевского кондитера Балабухи. Музыка обрела особое очарование — из утреннего тумана вырастал сказочный град Леденец, а жители его восторженно приветствовали Гвидона, прося его княжить над ними... С волнующим шорохом занавес поплыл вниз, очарование исчезло, и зал медленно наполнился электрическим светом. Сразу же по краям первого ряда кресел (как бы замыкая министров по флангам) встали два жандармских полковника — Иванов и Череп-Спиридович; внешне равнодушные, они зорко следили за настроением зала... Столыпин в антракте разговаривал с Сухомлиновым; премьер стоял лицом в

зрительный зал, а спиной облокотился на барьер оркестра. Коковцев подошел к нему проститься.

— Как я вам завидую, — произнес Столыпин.

— В чем дело? Бросайте эту глупую «Сказку», берите под руку Ольгу Борисовну, а мой вагон всегда к вашим услугам.

— Не могу, — выговорил Столыпин, — я думаю, что все-таки надо съездить в Чернигов, чтобы взнудать тамошнего губернатора Маклакова.

Коковцев направился к выходу, и в узком проходе лицом к лицу столкнулся с идущим навстречу молодым человеком в пенсне. Это был Богров, который театральной афишкой прикрывал оттопыренный карман с оружием. Возле самых дверей Коковцева остановил сухой и отрывистый треск (характерный для стрельбы из браунинга). Было всего два выстрела — одна пуля прошла руку Столыпина, вторая погрузилась в печень диктатора и застряла в ней. Коковцев от выхода сразу же повернул обратно, но пробиться через публику оказалось невозможно. В театре началась паника! Затолканный слева и справа, Коковцев беспомощно крутился между кричащими дамами, и только сейчас он смутно начал догадываться, что его, как царя Гвидона, волнами этой толпы прибивает к сказочному граду Леденец, где его и попросят княжить, — на место того человека, который сейчас провис через оркестровый барьер как худая мокрая тряпка...

При первом же выстреле Череп-Спиридович выхватил шашку и бросился на Богрова, чтобы в крутом размахе разрубить его череп, как арбуз, на две половинки. Но к Богрову было уже не пробиться — толпа, озверелая и кричащая, растерзывала его, и тогда Череп-Спиридович (весьма дальновидный) отбежал к царской ложе, где, не убирая шашки, он встал подле царя, демонстрируя перед ним свою боевую готовность. *Богрова убивали!* Жандармский полковник Иванов кинулся спасать его. Не впутанный в курловские интриги, Иванов твердо понимал одно — Богрова надо сохранить ради *следствия*. Этим-то он и спутал все карты игры Курлова.

Человек страшной физической силы, Иванов словно котят разбросал вокруг себя публику и выдернул Богрова из толпы, как выдергивают пробку из бутылки. После этого одним мощным рывком он воздел убийцу над собой, держа его словно напоказ на вытянутых руках. Весь театр видел, как Богров, описав плавную траекторию,

перелетел через барьер и рухнул прямо в оркестр, ломая и круша под собой хрупкие пюпитры обалдевших музыкантов. Вслед за ним в оркестровую яму прыгнул и сам полковник Иванов, сразу и ловко заломивший руки провокатора назад.

— *Теперь ты мой*, — сказал он, лежа поверх Богрова.

Коковцев велел чиновнику особых поручений:

— Позвоните на вокзал. Пусть отцепляют вагон от поезда. Теперь уже ясно, что мы приехали...

«Сказка о царе Салтане» закончилась. Орущую от страха публику жандармы выгоняли прочь из театра, как стадо глупых баранов. Но при этом (непонятно зачем) оркестр вдруг начал исполнять гимн «Боже, царя храни!». К театру уже подкатывали кареты: одна санитарная, другая тюремная... Царская ложа давно была пуста.

* * *

Коковцев заскочил внутрь санитарной кареты. Столыпин лежал на полу, ботинки его почему-то были расшнурованы, рубашка задрана, на животе виднелось красное пятнышко — след пули, ушедшей внутрь. Лошади трясли карету по булыжникам мостовых, они ехали на Малую Владимирскую — в частную клинику доктора Маковского... Столыпин страдальчески выхрипывал из себя:

— Я знал, что этим все кончится... Мне теперь уже безразлично, откуда летели пули, — слева или справа...

Столыпина сразу же отнесли на операционный стол. Вынуть пулю из печени оказалось нелегко. Был уже час ночи, когда Коковцева позвали к телефону клиники. Он решил, что звонит сам государь, но в трубке послышался рыкающий голос:

— Жиды убили русского премьера русского правительства в русском граде Киеве в русской опере на представлении русской сказки о царе Салтане. Так вот, предупреждаем, что если Столыпин умрет, мы завтра же устроит жидам кровавую баню...

— Кто говорит со мною? — спросил Коковцев.

— Балабуха... киевский кондитер. А что?

— Да нет. Ничего. Приму к сведению...

Опять звонок — генерал-губернатор Трепов:

— Такая каша... Можете срочно приехать ко мне?

— Не могу. Пулю еще не вынули. А что за каша?

— Да опять с жидами, — проворчал Трепов.

Было три часа ночи, когда в чашку звонко брякнулась пуля, извлеченная из печени. Коковцев спросил Маковского — как дела? Тот ответил, что положение слишком серьезное.

— Есть ли надежда, что Столыпин выживет?

— Вряд ли... все-таки — печень.

Санитары вывели в коридор Ольгу Борисовну; увидев Коковцева, женщина без слез, но яростно прошептала:

— Этого бандита Курлова я бы сама убила...

В четвертом часу ночи Коковцев приехал к Трепову.

— Утром в Киеве начнется резня. А войска гарнизона на маневрах. Казаков нет. Я погибаю. Что делать?

Коковцев сказал, что еврейского погрома допустить никак нельзя. Маневры должны были начаться уже сегодня, а царя Коковцев мог увидеть не раньше двух часов дня. К этому времени все перья из подушек будут уже выпущены.

— Я сам боюсь погрома, — заявил Трепов. — В другое время — куда ни шло, ладно. Но сейчас в городе-то царь! При нем как-то неудобно выпускать пух на Подоле...

— Погрома не будет, — твердо сказал Коковцев. — Сейчас, по праву, мне данному, я принимаю на себя обязанности Столыпина и волею председателя Совета Министров приказываю вам срочно отозвать с маневров кавалерию и казачьи части обратно в город. Чтобы к рассвету они были на улицах еврейского Подола.

— Да как же они успеют?

Коковцев вспомнил молодость, когда выслуживал ценз в лейб-гвардейских уланах. Он сказал Трепову:

— На шпорах, на шенкелях... все в мыле! Успеют...

Запахнув крылатку, он пошел прочь. Было уже четыре часа ночи. Коковцев позвонил в Николаевский дворец, чтобы сообщить царю о смертельном ранении Столыпина, о том, что утром возможен еврейский погром, но дежурный чиновник сказал ему:

— Его величество сразу, как вернулись из театра, попили чайку и преспокойно легли спать... Велели не будить.

Коковцев раздвинул занавеси на окне. Улица была наполнена тенями. Тени, тени, тени... Скрип тележных колес, тихий плач детей. Уже началось поголовное бегство евреев из Киева.^[12] К утру в городе не осталось ни одного еврея, а поезда не успевали вывозить их со скарбом. Через шесть лет Коковцев вспоминал: «Полки прибыли в начале восьмого часа утра, и погрома не было. Станция Киев и площадь перед вокзалом представляли собой сплошное море голов, возов подушек и перин...» В этой толпе несчастных людей не было ни одного, кто бы не проклинал Богрова за его выстрел во время «Сказки о царе Салтане»!

9. Теперь отдыхать в Ливадию

Во время от полуночи до трех часов ночи, когда хирурги извлекали пулю из столыпинской печени, Курлов спросил Спиридовича:

— Ты почему сразу не рубанул его шашкой?

— Не пробиться было. Свалка началась.

— Вот теперь жди... свалка тебе будет!

И горько рыдал Кулябка — от жалости к самому себе:

— Я же его и заагентурил... Теперь мне крышка!

Богров жив. Богров в лапах киевской прокуратуры.

— Его надо вырвать... с мясом! — сказал Курлов.

Допрос и обыск Богрова начался в буфете Киевского театра. Присутствовали киевский прокурор Чаплинский и его помощники. Из фрачных карманов убийцы на стол сыпались визитные карточки. Был обнаружен и билет кресла № 406 в ряду № 18.

— Кто вам его выдал? — спросил Чаплинский.

— Полковник Кулябка.

— Запишите, — велел прокурор секретарю.

Службу в охране Богров отрицал.

— Запишите и это. Потом проверим...

Из охраны прибыл в буфет пристав Тюрин.

— Имею приказ генерала Курлова забрать преступника.

— Куда? — спросил Чаплинский.

— Известно куда... все туда.

— Возьмете его только через мой труп.

— А что мне передать? Там Кулябка плачет.

— Так и передайте, что прокурор возражает. А плачущего Кулябку доставьте сюда... как свидетеля.

Кулябка, прибыв в театр, настаивал на свидании с Богровым наедине с ним, «желая получить от него очень важные сведения». Чаплинский ему отказал. Кулябка попросил прокурора выйти в фойе театра, и там, плача, он говорил, что никогда бы не дал Богрову билет в театр, ибо законы тайного сыска уважает, но на него нажал Курлов... В конце беседы он произнес с отчаянием:

— Курлов-то выгребется, а мне... пулю в лоб?

Курлов сам позвонил в театр Чаплинскому:

— Богров — революционер, это ж сразу видно.

— Я еще не выяснил, кто он, — отвечал Чаплинский.

Богрова опутали веревками с ног до головы, зашвырнули в карету и отвезли в каземат «Косого капонира», где за него сразу же взялся следователь по особо важным делам Фененко.

— Если вы революционер, то почему же выбрали в театре, где находился царь, своей целью не царя, а Столыпина?

Богров резко и непримиримо отверг свою принадлежность к революционным партиям России и добавил, что боялся стрелять в царя, ибо это могло бы вызвать в стране погромы. Он продолжал считать себя великим «государственным человеком» и верил в будущую славу — пусть даже геростратову! Не сразу, но все-таки он признал, что является агентом царской охранки.

— Подпишитесь, — сказал Фененко в конце допроса.

Богров отказался подписывать протокол в той его части, где зафиксированы его слова о боязни погрома.

— Почему упорствуете? — спросил Фененко.

— Потому что правительство, узнав о моем заявлении, будет удерживать евреев от террористических актов, устрашая их последующей за актом организацией погрома...

По записной книжке Богрова, начатой им с 1907 года, жандармы произвели в Киеве свыше 150 арестов. Все делалось снахрапа, без проверки, и тюрьму забили ни в чем не повинные люди — врачи, артисты, певички, адвокаты, проститутки, студенты, прачки. Из тюрьмы в город выплеснуло мутную волну: Богров — провокатор!

Вот тогда киевский голова Дьяков (человек осторожный и дальновидный) созвал журналистов, дав им пресс-конференцию.

— Обращаю ваше внимание! — заявил он. — Киевская городская дума ни в чем не виновата. Мы не давали Богрову билет на вход в театр. Полковник Кулябка из жандармского управления Киева выцарапал у меня семь билетов для своих агентов. Я записал их номера. Пожалуйста! Ряд восемнадцатый, кресло четыреста шестое. Это как раз место убийцы. А я не давал Богрову билета.

Ему был задан скользкий вопрос:

— Значит, Богров — агент царской охранки?

Дьяков (повторяю) был человеком осторожным.

— А я в такие дела не путаюсь, — отвечал он, сворачивая свою кургузую конференцию, благо *главное было уже сказано*.

* * *

Городская дума за свой счет выстелила Малую Владимирскую улицу мягчайшим сеном, чтобы проезд экипажей не беспокоил Столыпина, умиравшего в палате клиники Маковского. 3 сентября премьер вдруг почувствовал облегчение и вызвал Коковцева. Он передал ему ключ от своего портфеля с секретными документами государства, попросил сиделок и врачей удалиться.

— Известно, — сказал Коковцеву с глазу на глаз, — что на совещании у кайзера немцы решили начать войну против России в 1913 году, а на посту военного министра находится человек в красных штанах, который ни к черту не годен. Убирайте его! А заодно уж, Владимир Николаич, скovyрните и нижегородского губернатора Хвостова — я не успел до него добраться...

— Вы что-нибудь хотите лично от государя?

— Перо в зад, и больше ничего, — отвечал Столыпин...

Киев наполнился слухами, что премьер поправляется. «Сдохнет!» — выразился Распутин, живший на частной квартире и бегавший босиком в уборную (Гришка сейчас выжидал, когда царь с царицей позовут его отдохнуть в Ливадию)... 4 сентября Столыпину стало хуже, а Николай II не отложил поездки в Чернигов; расцветенный лампочками пароход отвалил от пристани, а Коковцев сказал: «И так всегда! Если предстоят неприятности, государь оперативно сматывается куда-нибудь подальше». 5 сентября Столыпин скончался, а Богров продолжал давать откровенные показания, подробно оглашая свои похождения. Допрос гнали с такой быстротой, будто судьи опаздывали на последний трамвай. Курлов признавал, что авантюра удалась лишь наполовину: Столыпин убит, а Богрова, чтобы не наболтал лишнего, надо как можно скорее сунуть в петлю. 8 сентября следствие торопливо свернули. В казематах «Косого капонира»

состоялся закрытый судебный процесс. Не жажда мести руководила судьями — нет, их поджимали сроки... Кулябка плакал, и Богров стал его выгораживать. Получилась замкнутая реакция: жандарма Кулябку выручал провокатор Богров, а Кулябка выкручивал из этого дела Курлова, ибо понимал, что если потопит Курлова, то и сам оставит после себя на воде одну лишь «бульбочку»... Зачитали приговор — смерть через повешение!

10-го числа полковник Иванов велел привести Богрова.

— Один вопрос! — сказал полковник. — Чем объяснить ваш образ поведения на суде, когда вы стали выгораживать Кулябку?

— Просто он растерялся. Мне стало его жалко.

— Верю! Завтра вас ждет смерть. Рано утром, когда на Подоле запоют петухи. Можете писать письма. Вот бумага...

Но тут к жандармам появился киевский кондитер Балабуха.

— Этот номер не пройдет! — заявил он чистосердечно. — Знаем, как это делается. Повесите куклу из тряпок, а потом скажете, что казнили Богрова... Мы, киевские союзники, истинно русские, воистину православные, хотим сами жиды вешать.

Иванов сказал Балабухе, что линчевать Богрова им никто не позволит, а делегацию «союзников» до места казни допустят. Смерть Столыпина оставила народ равнодушным. В защиту Богрова общественность страны не вступилась. Против казни убийцы прозвучал *только один протест* — от вдовы и детей самого Столыпина.

* * *

Черниговский губернатор Николай Алексеевич Маклаков был сегодня в ударе. Перед дверями в столовую его дома стояли царь в мундире преображенца и смущенная царица в белом с золотом платье, а Маклаков исполнял перед ними роль ярмарочного зазывалы:

— Каждая страна питает народ по-разному. Немцы поглощают сосиски с пивом. Англичане — дохлый бекон и черствые бисквиты. Французы кормятся поцелуями, запивая их абсентом. Итальянцы сыты

одним лишь воздухом. Швейцарцы кормятся туристами. Американцы — долларами. А мы, русские, живем тем, что бог послал...

Двери растворились, и открылся губернаторский стол, в изобилии даров украинской природы, а Маклаков продолжал:

— Этот бог по каким-то особым причинам весьма благосклонно относится к нам, русским. Он регулярно посылает нам икру паюсную и зернистую, блины с медом и маслом, осетрину заливную и севрюжину под хреном, поросят в яблоках и пироги с вязигой. Приток этих божьих даров усиливается на масленицу, на рождество, на мясоеды. Конечно, такое благоволение свыше к матушке-России уже не раз вызывало зависть других народов, и, смею думать, именно из-за этого возникали все войны...

Наконец он иссяк, и обед начался. Пока царственные гости насыщались, губернатор успел проявить клоунские, актерские и имитаторские таланты. Кричал петухом и рычал львом. Маклаков постоянно был на грани озорства, но вовремя умел остановиться. В конце обеда, когда официанты подавали мороженое, в гостиную вскочила разъяренная пантера, гневно стегая воздух стеблем упругого хвоста. Императрица, выронив вазу, в ужасе закричала, но пантера тут же легла возле нее и длинным красным языком облизала ей туфли. Гости не сразу поняли, что это... Маклаков!

— Вам бы в цирк, — сказал Николай II, очень довольный. «Пантера» ласково мурлыкала возле его ног. Император, улучив минуту, прошептал жене: — Какой приятный человек. С ним легко в такой степени, что ни о чем серьезном уже не думаешь.

— Заметь, он расположен к нам, — ответила Алиса. — Ты, Ники, не забудь о Маклакове, таких людей надо приближать.

В курительной комнате царь сказал губернатору:

— Скажите, а вот в Думе есть ученик самого Плевако — некий Василий Алексеевич Маклаков... это, кажется, ваш брат?

— Увы, — грустит губернатор, — стыдно за кадета Васю, говорил я ему — не трепись, братец, но куда там! Занесло! И стал членом ЦК... Объясню суть: еще в детстве меня отец часто порол, а Васю никогда. Это его и развинтило! Я, сеченый, пошел в эм-вэ-дэ, а несеченый Вася подался в кадеты.

Царь покидал Чернигов в отличном настроении.

— Николай Алексеич, — сказал он Маклакову, — Чернигов под вашим правлением произвел на меня отрадное впечатление. Благодарю за службу, за вкусные обеды и за минуты искреннего веселья. Прошу вас: когда в Петербург поедете, не забудьте захватить с собой шкуру пантеры — напугайте моих придворных...

Коковцев, встретив царя на киевской пристани, сразу же завел речь о том, что надо провести жестокий процесс над главными виновниками гибели Столыпина: «Ясно, что Курлов не стрелял в Столыпина, но рука Курлова направляла руку Богрова...» На автомобиле подъехали к Николаевскому дворцу.

— Сегодня восьмое сентября, — сказал царь, листанув настольный календарь. — Та-ак... завтра я выезжаю в Ливадию.

— Как? Разве не будете присутствовать на похоронах?

— Я бы остался, но... жена! Она не любит сцен.

— Ваше величество, вы хоть взгляните на него. Вы столько лет работали вместе... Больше вы его никогда не увидите.

— Хорошо, я постою у его гроба.

Коковцев ждал, что над гробом Столыпина царь открыто призовет его на пост премьер-министра империи, но царь в раздумье постоял возле покойника, не глядя на него, и молча удалился. Коковцев не знал, что накануне вечером Николай II спрашивал у Распутина — кого ставить в министры внутренних дел?

— А, чего уж там выбирать... давай Хвоста!

* * *

Малую Владимирскую улицу переименовали в Столыпинскую, а на рассвете 11 сентября Богрова казнили. Виселица была установлена в одном из форт Киевской крепости — как раз на Лысой горе, где, по преданиям, свершался шабаш всякой нечистой силы. От встречи с духовником Богров отказался, писем для родных не оставил. А смерть он встретил весьма спокойно...

Днем к перрону киевского вокзала был подан царский экспресс. Провожать императора в Ливадию собралась местная знать, тузы

дворянства и столпы местной бюрократии, но государь почему-то задерживался. Вдруг на перроне показался скороход, одетый так, как одевались пажи времен веселой Елизаветы — с крылышками Юпитера на лодыжках ног. Запыхавшись, он объявил, что его (Коковцева) «очень ждет» император. Коковцев велел шоферу ехать быстрее и скоро предстал перед царской четой. Слуги уже стаскивали вниз баулы с туалетами, царица перед зеркалом примеряла громадную шляпу. Состоялся разговор — краткий, нервный, торопливый.

— Владимир Николаич, — сказал царь, — я решил дать портфель внутренних дел нижегородскому губернатору Хвостову.

— Назначение такого человека, каков Хвостов, будет означать, что вы добровольно бросаетесь в пропасть. Одно дело — министр земледелия: если он запретит нам один урожай, мы его выкинем и поставим другого. Но нельзя эм-вэ-дэ вручать Хвостовым!

Царица крутилась перед зеркалом, и в отражении его Коковцев видел ее глаза, следившие за «игрой в министры». Царь спросил:

— Отчего вы так суровы к Алексею Николаевичу?

— Среди наших губернаторов масса безобразников, но такого хулигана, каков Хвостов, пожалуй, сыскать трудно...

Царица, по-прежнему глядя в зеркало, сказала:

— Ники, не забывай, что нам пора ехать...

— А если я предложу черниговского Маклакова?

— Что ж, для балагана годится, — ответил Коковцев.

— Ники, я пошла! — сказала царица.

Она стала величаво спускаться по лестнице на улицу, где фыркали газOLIном придворные «рено» и «бонды».

— Вам трудно угодить, — заметил царь Коковцеву.

Коковцев изящно поклонился, но... промолчал.

— Ники, — слышалось снизу, — не забывай, что я уже в шляпе, а шляпа тяжелая, и я не могу больше тебя ждать...

— Хорошо, — сказал Николай II, протягивая руку. — О министре дел внутренних я еще подумаю. А вы будете моим презусом...

Слово сказано! Коковцев передохнул так, будто сбросил с себя тяжелый мешок. Но от лестницы царь вдруг повернулся к презусу, и в его «глазах газели» блеснула яркая, выразительная злость.

— Надеюсь, — отчеканил он в разлуку, — *вы не станете заслонять меня, как это делал покойный Столыпин!*

В этой фразе затаилась разгадка убийства Столыпина...
Распутин тоже поехал в Ливадию — отдыхать.
— Очень уж я измучился, — говорил он.

10. Так было — так будет!

После революции на глухой окраине Киева, во дворе чугунолитейного завода, много лет стоял бронзовый Столыпин с отбитым носом и, философски заложив руку за отворот сюртука, терпеливо поджидал своей очереди на... переплавку (СССР нуждался в ценных металлах!). А на улицах Киева торчал монумент, с которого свергли памятник, и на нем можно было прочесть столыпинские слова: «Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия!» В эти годы, первые годы социализма, нашлись горячие головы, которые пожелали на месте бронзового Столыпина водрузить гипсового Богрова, чуточку видоизменив надпись на постаменте: «Нам не нужна великая Россия — нам нужны великие потрясения!» Советским историкам пришлось проделать адову работу (она продолжалась и продолжается сейчас), чтобы выяснить подлинный образ Богрова, и теперь нам уже ясно, что революционера Богрова никогда не было — был подленький торгаш-провокактор, который на убийстве и предательстве делал гешефт своей посмертной славы. Выстрелы в киевском театре прозвучали не слева, а справа. Пуля, сразившая Столыпина, была начинена ядом реакции...

Революция свергла памятник диктатору.

Но революция не ставит памятников провокаторам!

Вообще этот выстрел был никому не нужен. Столыпин как политический деятель давно агонизировал — Богров только ускорил эту агонию... А через три года Коковцев рассказал французскому послу Морису Палеологу:

— Знаете, почему царь отказался участвовать в похоронах Столыпина, а царица даже не подошла к его гробу? Столыпин в конце жизни разочаровался в верности своего пути и стал указывать царю, что монархический строй России нуждается в демократизации. И когда я позже упоминал имя Петра Аркадьевича, царь всегда отвечал мне одно: «Сам бог хотел, чтобы его не стало!»

Морис Палеолог иногда посещал на Литейном проспекте книжный магазин издателя Соловьева, чтобы не купить, а полюбоваться французскими изданиями XVIII века. В один из дней посол копался в редкостных книгах, когда в магазин вошла красивая женщина с бархатными глазами. На ней было платье из серебристого шелка, отделанное кружевами, а поверх плеч накинута расстегнутая шубка из шиншиллы. При свете люстры на шее женщины сверкало чудное антикварное ожерелье. Приказчики засуетились, подвигая ей кресло, из конторки выбежал сам Соловьев, раскрывший перед дамою громадный фолиант с гравированными портретами. Палеолог обратил внимание, что красавица со вкусом рассматривала гравюры, через линзу отмечая отточенность линий, и каждое движение дамы было подчеркнуто грациозно. Купив несколько портретов, она, со смехом рассказывая что-то очень забавное, попрощалась с Соловьевым за руку (на республиканский лад) и вышла на улицу, где шофер в форме гусара предупредительно распахнул перед нею дверцу автомобиля. Палеолог спросил:

— Отчего я не видел этой дамы в Петербурге?

— Вы и не могли ее видеть, — отвечал книготорговец, — ибо она приехала из Орла, где ее муж командует кавалерийской дивизией... Это графиня Наталья Брасова.

— Брасова... не помню такой фамилии.

— Брасово — имение великого князя Михаила Александровича, брата царя, и по имени его она обрела себе титул.

— Морганатическая жена?

— Да не жена... метресса. В случае брака с нею Михаил механически теряет свой титул «регента».

— Она оригинальна и даже... чуточку вызывающа.

— Вы не ошибаетесь, посол: графиня Брасова позволяет в своем политическом салоне высказывать такие дерзкие мысли, за которые любой другой на ее месте получил бы двадцать лет каторжных работ... Дама опасная не только для мужчин!

— Я вас понял, — сказал посол, берясь за трость.

* * *

Михаил проживал частным лицом, не впутываясь в дела государства. Брат-высочество не был похож на брата-величество: царь — скупердяй, а Мишка мог отдать последнее, царь жесток и мстителен, а Мишка многое людям прощал. После того, как при нем появилась Наталья, царь спровадил братца в Орел, где он командовал 17-м гусарским полком, увлекался новым делом — авиацией, был отличным шофером высшего класса. В табельные дни гусары совершали «проездку» по улицам города. Впереди гарцевал сам Мишка — на жеребце в желтых ноговках, с челкой на лбу, а вислоусый вахмистр, ухарь и пьяница, заводил любимую песню, вывезенную гусарами из раздолья молдавских степей еще при Пушкине:

Спуни-спуни, молдаване,
Унде друма ля Фокшане,
Унде наса матитик,
Унде фата фармашик...

В канун убийства Столыпина, будучи под негласным надзором полиции, Мишка с Натальей умудрились скрыться за границу. Ощувив в этом некую угрозу престолу, царь поставил на ноги секретную агентуру. В погоню за беглецами бросился генерал-майор корпуса жандармов Герасимов... Мишка был простак! Вся оперативная работа по избежанию ареста проводилась Натальей, женщиной хитрой и ловкой, как Мата Хари. Из Берлина, где они поначалу скрывались в санатории д-ра Аполанта, «супруги Брасовы» выехали в Киссенген; отсюда они дали телеграмму в берлинский отель «Эспланад» — чтобы забронировали за ними два спальных места на поезде от Франкфурта до Парижа. Царская охранка, узнав об этом, мотнулась обратно — кто в Париж, кто в Берлин, а беглецы уже мчались в автомобиле через горные перевалы Швейцарских Альп. Ночью их стали преследовать

фарные огни автомашины генерала Герасимова; Наталья, закулив папиросу, достала из ридикюля браунинг с нарядною перламутровой ручкой. Мишке она сказала:

— Не отвлекайся — я открываю огонь.

Мишка, не отрывая глаз от ночной дороги, с шорохом бегущей под шины колес, передал ей свой дальнобойный «бульдог»:

— Возьми мою штуку — бей прямо в морду!

Со звоном вылетело разбитое стекло: Наталья со вкусом разрядила весь барабан в настигающую машину охраны.

— Я разбила им радиатор, — сообщила радостно...

Прибыв в Вену, они посетили сербскую церковь св. Саввы, где священник без канители оформил их брак. Степан Белецкий телеграфировал Герасимову шифрованное указание царя, что «Эрнеста» и «мадам Жюлли» следует залучить в западню и тайно доставить на родину. До Ливадии не сразу дошло, что Мишка вступил с Натальей в законный брак... Алиса очень обрадована.

— Тайным браком с потаскухой твой брат сам устранил свои права на занятие им престола, к которому Наташка подбиралась, и нам осталось только утвердить это положение...

Михаила тут же лишили титула регента при наследнике, царь запретил ему появляться в России, а имения великого князя секвестровали, о чем и было объявлено в торжественном манифесте. Вслед за этим Мария Федоровна забрала свой двор и, заодно с мужем Шервашидзе, перебралась на постоянное жительство в Киев — подальше от сына-царя. Теперь, если наезжала в столицу, то разбивала свой бивуак в Гатчинском замке или на Благином острове. В доме Романовых получилось, как сказано у Пушкина:

Но дважды ангел вострубит,
На землю гром небесный грянет,
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет...

Михаил оказался на положении вынужденного эмигранта, «Граф Брасов» со своей «графиней» проживал в Европе, пока не вспыхнула война с Германией, позволившая ему вернуться на родину, и в планах

дворцовых заговорщиков Михаил будет самым идеальным кандидатом на занятие царского престола.

* * *

Старые киевляне помнят не только памятник Столыпину — помнят и полковника Кулябку, который, отсидев несколько лет в тюрьме, служил агентом по распространению швейных машинок известной компании «Зингер». Старый, обремененный семьей человек таскал по этажам на своем горбу тяжелую машинку, на кухнях перед домохозяйками он демонстрировал, как она ловко оставляет строчку на марле и дает прекрасный шов даже на пластине свинца. С ним все ясно! Кулябка — обычный «стрелочник», виноватый за то, что поезд полетел под откос. Зато прокуратура в кровь изодрала себе пальцы, но так и не смогла затащить в тюремную камеру генерала Курлова: в процесс вмешалась «высочайшая воля».

— К нему всегда придираются, — говорил Коковцеву царь, — а Курлов хороший человек. Я велю дело его предать забвению.

— Но этим самым, — упорствовал новый премьер, — вы утверждаете общественное мнение, которое убеждено, что именно Курлов устранил Столыпина ради выгод своих и...

— Перестаньте! Курлова я не дам в обиду.

Генерал вышел в отставку, и вплоть до войны с Германией он проживал на коште Бадмаева, который выплачивал ему немалый «пенсион», как человеку, который себя еще покажет. Но с удалением из МВД Курлова еще выше подскочил Степан Белецкий — он стал директором департамента полиции! Дележ столыпинского наследства заканчивался. Коковцев удержал за собой прежний пост министра финансов. А портфель внутренних дел в кабинете Коковцева получил невыразительный педант консерватизма Макаров — тот самый, который после Ленского расстрела заявил: «Так было — так будет!..»

Со Столыпиным отошла в былое целая эпоха русской истории, а на развале столыпинщины укрепляла свои позиции распутинщина. Мир церковной элиты, едва сдерживаемый Саблером, содрогался от

грозного величия нахального варнака. Но уже вставала сила махровая, сила дремучая, ярость первозданная — в Петербург ехали «богатыри мысли и дела» Пересвет с Ослябей... Епископ Гермоген всю дорогу щелкал в купе поезда громадными ржавыми ножницами, взятыми им напрокат у одного саратовского кровельщика. Показывая, как это делается, епископ говорил Илиодору:

— Один только чик — и Гришка не жеребец! Потом мы его, паршивца, шурупами к стенке привинтим и плевать в него станем...

11. Кутерьма с ножницами

В таком серьезном деле, каким является кастрирование Распутина, без поддержки влиятельных особ не обойтись, и потому Пересвет с Ослябей первым делом нагрянули на дом к Горемыкину.

— Иван Логиныч, — сказал Илиодор экс-премьеру, — вот вы разогнали первую Думу, за что, как сами рассказывали, царь вас целовал, а царица назвала «отцом своим». Человек вы в преклонных летах, а орденов столько, что смело можете на брюки их вешать. Вам уже нечего искать. Нечего бояться. Все в жизни было. Все извели. А потому вы, как никто другой, можете поехать к государю и в глаза ему сказать, что Распутин...

При этом имени дверь распахнулась и вломилась костлявая мегера — мадам Горемыкина, говоря что-то по-французски, горячо и напористо. Старик выслушал старуху и отвечал духовным:

— Как вы могли сопричислить меня к числу врагов Григория Ефимовича? Распутин в моем представлении — человек самых благих государственных намерений, и польза его несомненна.

— А больше к нам не ходите, — веско добавила жена...

На улице Илиодор сказал Гермогену:

— Махнем к министру юстиции Щегловитову! Хотя его в Питере не зовут иначе, как Ванькой Каином, и предать нас он может, но ведь «гоп» мы уже крикнули — теперь надо прыгать...

Щегловитов их принял. Илиодор начал:

— Вы понимаете, что угодить царю — это одно, а угодить Распутину — это другое, и Гришке угодить даже труднее, нежели его величеству... Все вы, министры, висите на волоске! Сегодня вы есть, а завтра вас нету. Мы пришли сказать вам — Гришке капут! Запрем пса на ключ и будем томить в потаенном месте, пока царь не даст согласия на постоянную ссылку его в Сибирь.

Гермоген заварухи побаивался, лепетал жалобно:

— Илиодорушка — дитя малое: что на уме, то на языке.

— А за это время, — продолжал фантазировать Илиодор, — в селе Покровском дом Распутина со всеми его вещами и банками будет

сожжен, чтобы в огне исчезли царские подарки и не осталось бы даже памяти, что Гришка был близок к царям...

Щегловитов к заговору не примкнул, но одобрил его:

— Только, прошу, не преступайте норм законности...

Возвращаясь в Ярославское подворье, Илиодор сказал:

— Гришка-то для меня котенок еще. А я бы хотел с самими царями сцепиться да погрызть их как следует.

— Что ты, что ты! Тогда мы все погибнем.

— Не люблю царей. Мешают они жить народу. Ей-ей, как иногда задумаешься, так революционеры и права выходят...

«Пусть погибну, — писал он, — но мне хочется дернуть их за то, что они с такою сволочью, как Распутин, возьмется. Посмотрю, откажутся они от этого, подлеца или нет?» Гришка в Петербурге отсутствовал — еще нежился в Ливадии, где 6 декабря праздновался день рождения царя. В ожидании его приезда Илиодор посетил Бадмаева, которому передал на заветное хранение интимные письма к Распутину царицы и ее дочерей.

— Когда меня будут вешать, — сказал он, — ты можешь меня спасти. Для этого вручи письмо императрицы лично в руки царя, и тогда у него, дурака пьяного, глаза-то откроются. Тут ее рукой писано, что она мечтает поспать с Гришкой...

Когда иеромонах удалился, Бадмаев с трудом освоился с мыслью, что в его руках не просто письма — это важные документы, дающие ему возможность шантажировать самого царя!

* * *

Распутин, в отличие от царя, очень любил телефоны и широко ими пользовался. Едва прибыв в Питер он из квартиры Муньки Головиной сразу созвонился с подворьем, без удержу хвастал:

— Папка-то в Ливадии новый дворец отгрохал... пять мильёнов выложил! Есть комнаты из одного стекла, ажно звезды видать. Водил меня папа за руку, все показывал. А в Севастополе я встретил Феофана поганого... дохлый-дохлый, стоял на пристани и гнил от зависти, что я

в почете живу. Закрылась ему лазутка, и другим лазутки прикрою! А в Киеве-то дураки: хотят Столыпину памятник ставить. А я еще за семь дён до убийства Володю-то Коковцева в примеры наметил. Володя — парнишка ничего, меня любит. А папа мне сказал: «Не хочу я памятника Столыпина, но ты, Григорий, не болтай об этом, а то сплетни опять начнутся». А я говорю: «Покойникам ставить памятники ты никогда не бойся, дохлые тебе не навредят, пушай по смерти и покрасуются...»

Илиодор пресек болтовню резкими словами:

— А я не люблю царя! Слабый. Папиросы жгет одну за другою. Пьяный часто. Говорить совсем не умеет. Дергается. Весь истрепался. Я тебе так скажу — дурак он у нас!

— У-у, куды занесло, — смеялся в трубку Распутин. — Людей без греха не бывает, а говорить эдак-то о царях негоже...

Условились, что Распутин заедет на подворье 16 декабря. К этому времени заговор клерикалов уже оформился. Из лейб-казачьих казарм прибывало солидное подкрепление в лице мрачного есаула Родионова, который пописывал книжечки о «духовном благе», а с Гришкой имел личные счета. Из клиники Бадмаева, тихо бляя, прибыл блаженный Митя Козельский, и Гермоген торжественно вручил ему громадные ножницы для разрезания кровельного железа.

— Мы штаны с него сдерем, а ты режь под корень, — поучал Гермоген. — Стриги его так, чтобы ничего не осталось.

Из позорной отставки явился и протоиерей Восторгов.

— От драки увольте, — сказал он. — Я слабый здоровьем, а Гришка, учтите, словно бес... как бы не раскидал нас!

За окном, весь в снегу, курился дымками зимний Петербург, жарко стреляли дрова в печке. Гермоген отшатнулся от окна.

— Идет, — сказал, — шапкой машет...

Распутин вошел, увидел компанию, почувал неладное.

— А чего этот пентюх здесь? — указал на Митьку.

Все тишайше молились. Блаженный щелкал ножницами. Двери подворья заперты — бежать нельзя. Западня!

Есаул с ухмылкой принял с плеч Распутина шубу.

— Чай тыщи на две потянет? Это и есть твое «старческое рубище»? Ну, а шапку покажь... Сколь платил за нее?

— Не помню. Кажись, триста.

В «красных» комнатах подворья расселись все мирно по стульям. Долго и натужно помалкивали. Восторгов не утерпел:

— Ну, Митенька, ты дитя божие... приступай с богом!

Тот, щелкая ножницами, истошно возопил:

— А-а-а, вот когда я тебя обкорнаю...

— Стой, вражья сила! — гаркнул Гермоген. — Что вы самого-то безобидного да глупого в почин дела суете? — Епископ накиннул на себя епитрахиль, подкинул в руке тяжелое распятие. — Гришка! — позвал решительно. — Валяй сюда... на колени.

Распутина подтащили к иконам, он безвольно осел на пол, будто сырая квашня. Илиодор по конспекту, заранее составленному, зачитывал над ним обвинения противу церкви и нравственности, а на каждом параграфе, согласно их нумерации, Гермоген регулярно долбил крестом по черепу обвиняемого. Текла речь — текла кровь. Через красные пальцы Распутин смотрел на всех растопыренным в ужасе глазом, источавшим страх и ярость бессилия.

— Покайся! — следовал выкрик после каждого удара.

Илиодор свернул конспект прокурорских обличений.

— Намонашил ты здорово. Сознаешь ли вину свою?

Восторгов, корчась от жажды мести, с превеликим удовольствием смачно высморкался в лицо Распутину, не забыв деловито напомнить, сколько он истратил на него своих денег.

— И ты не вернул их мне! — сказал он, отходя.

— Отпустите... грешен... сам ведаю, — мычал Гришка.

— Не здесь каяться! — заорал Гермоген.

Распутина волоком, словно раскисшую швабру, втащили в церковь. Гришка ползал перед иконами, клялся, что больше к царям не ползет. При этом он очень бдительно надзирал за действиями Митьки Блаженного, который уже разрезал на его штанах пояс. Гришка энергично отпихивал от себя ножницы, подбиравшиеся к его сути. И вдруг, как распрямленная пружина, он ринулся на Гермогена, обрушив его на пол. Зазвенели, падая и колотясь, церковные сосуды. Восторгов, бегая в отдалении, кричал:

— Уйдет, уйдет... держите его!

Началась драка. Самая грубая, самая русская.

Родионов обнажил шашку, выскочил перед варнаком:

— Зарублю... смирись, падло паршивое!

В общей свалке и в едком дыму угасающих свеч зловеще скрежетали кровельные ножницы, и этот звук напоминал Гришке о том, что положение слишком серьезное, — надо спасаться.

— Зачем мамок блядуешь? — вопрошал Митя Блаженный.

— А, иди ты... — Распутин ударом сапога поверг юродивого наземь, вынося при этом болезненные удары от Илиодора, который бил его расчетливо — в морду, в горло, в поддыхало.

Сцепясь в клубок, они выкатились в прихожую. Распутин могуче высадил двери, на себе выволок иеромонаха на лестницу. Там они оба своими костями пересчитали все ступеньки до самого низу. А на улице Распутин стряхнулся, сбросив Илиодора с себя.

— Ну, погоди! — крикнул и убежал...

Без шубы и без шапки, он домчал на извозчике до вокзала, сел в дачный поезд и махнул на дачу Анютки Вырубовой.

— Вот, гляди, что со мною сделали, — сказал он ей. — Могло быть и хуже, да сила небесная меня еще не покинула...

Вырубова бегала по комнатам, будто ополоумев.

— Боже мой! Боже мой! Боже мой! — восклицала она...

По тропинке она повела его через парк, как поводырь слепого. Распутин шатался, ступая по снегу, красные от крови лохмы его волос мотались из стороны в сторону, глаза были безумны... Он выл! В таком виде Вырубова явила его перед императрицей.

* * *

Гермоген сутками не вставал с колен, ел одни просфоры, пил только святую воду. Илиодор сбросил рясу из бархата, облачился в холщовый подрясник, туго опоясался кожаным поясом, пеплом из печки посыпал свою буйную головушку и накрыл ее грубой «афонской» скуфейкой. Боевой. Дельный. Логичный.

— Идти надо до конца! — сказал он.

— Сожрут ведь нас, — затрясло епископа.

— А мной подавятся... я ершистый!

Оставался последний шанс — личная встреча с царем. Соблазняя его «открытием тайны», по телеграфу просили царя принять их. Ответ пришел моментально: «*Не* о какой тайне я знать не желаю. Николай». Отбили вторую — императрице (молчание). Стало известно, что Гришка не вылезает из Александрии, ведет там длинные разговоры о «небесной силе», которая спасла его от гибели.

— Мученический венец плетут нам, — решил Гермоген.

Неустанно трещал телефон на Ярославском подворье.

— Але, — говорил Илиодор, срывая трубку.

В ухо ему вонзались визгливые бабьи голоса. Грозили карами небесными. Обещали растерзать, клеймить, четвертовать. Яснее всех выразилась сумасшедшая Лохтина: «Отвечай мне по совести: что ты хотел у Христа отрезать?..» Чтобы скрыть свои следы, Распутин мистифицировал столичные газеты о своем мнимом отъезде на родину. Он, как паук, затаился в тени царских дворцов и там незаметно ткал свою липкую паутину, в которой запутывал всех. Кажется, только сейчас Гришка в полной мере осознал, как дальновидно поступил, проведя в синодские обер-прокуроры Саблера, — «старикашка» служил ему, аки верный Трезор: пореже корми, почаще бей, а иногда и погладь — тогда он всех перелает...

— Одна надежда — на царя, — убивался Гермоген.

— Для меня уже нет царя! — отвечал Илиодор, держа царскую телеграмму. — Смотри, какой же это царь, если он грамотно писать не умеет? Написал: «*Не* о какой тайне...» А каждый гимназистик знает что писать следует: «*Ни* о какой тайне...»

— Не ищи у царей ошибок — сам ошибешься!

— Буду искать ошибки! — взорвало Илиодора, в котором проснулся дух донского казака. — Я столько уж раз в царях ошибался, что теперь не прошу им ошибок даже в русской грамматике.

— Молись! — взывал Гермоген.

— Время молитв прошло — пришло время драк!

Явился курьер из Синода — вручил им два пакета от Саблера, но подписанные Даманским (Синод уже перестал быть синклитом персон духовных — Саблер и Даманский бюрократической волей расчищали дорожку перед Распутиным). Гермоген прочел, что его лишают саратовской епархии, приказано ехать «на покой» в захудалый

Жировецкий монастырь, а иеромонаха Илиодора ссылали «на послушание» в лесную Флорищеву пустынь.

Илиодор принял на подворье столичных журналистов.

— Синод надо взорвать, — объявил он.

— Как взорвать? — спросили его.

— А так: бочку динамита в подвал заложить, бикфордов шнур до Невы раскатать, самому за «Медным всадником» укрыться, а потом рвануть все к чертовой бабушке... Вот и порядок!

Газеты опубликовали его вещий сон: Распутин в виде дряхлого пса бегал между пивной и Синодом, таская в зубах какую-то грязную тряпку, а нужду он справлял возле телеграфного столба, пронумерованного апокалипсическим числом «666». Но в дела духовные вмешался министр внутренних дел Макаров:

— Исполнить указ Синода, иначе штыками погоним.

К воротам подворья был подан автомобиль МВД, в который и уселся потерпевший крушение епископ. Митька Блаженный, юродствуя, ложился на снег и просил шофера переехать через него колесами, дабы вкусить «прелесть райскую». Гермоген сдался!

Илиодора окружили падкие до сенсаций газетчики:

— Ну, а вы как? Поедете во Флорищеву пустынь?

— В указе не сказано, чтобы ехать. Пойду пешком...

Кто-то из доброжелателей шепнул ему: «За поворотом улицы дежурят переодетые жандармы... Скройтесь!» Ночью, в чужом драном пальтишке, по виду — босяк, Илиодор позвонил в квартиру на Суворовском, Бадмаев предоставил ему убежище у себя.

— За это вы напишете все, что знаете о Распутине... [\[13\]](#)

Монах хотел пробиться в Царицын, где у него была армия заступников. Но из газет вычитал, что полиция разгромила в Царицыне его храм. «Со страшными ругательствами, обнаживши шашки, таскали бедных женщин по храму, вырывали волосы, выбивали зубы, рвали на них платье и даже оскорбляли шашками девичью стыдливость самым невероятным образом... Пол храма представлял поле битвы. Везде виднелась кровь, валялась порванная одежда». Бадмаев через Курлова вызнал, что все вокзалы перекрыты кордонами — Илиодора ищут. Макаров пустил на розыски монаха своих сыщиков... Илиодор сам же и позвонил Макарову:

— Это ты, который царю сапоги наяривает ваксой?

— Кто позволяет себе так разговаривать со мною?
— Да я... Илиодор! Хочешь меня живьем взять?
— Хочу, — честно заявил министр внутренних дел.
— Ишь ты, хитрый какой... Ну, ладно. Хватай меня на углу Суворовского и Болотной. Обещаю, что буду стоять там.
Бадмаев помогал ему одеться, подарил шарфик.
— Вот и хорошо! Опять будете у царского сердца.
— Лучше уж в любом нужнике...
— Стоит ли вам против царя поход начинать?
— Ладно. Вы письма царицы к Гришке берегите.

Жандармы на углу улиц поджидали его. Бунтаря впахнули в промерзлый автомобиль, повезли прямо на вокзал к отходу поезда. В дороге нацепили ледяные наручники. На перроне перед арестантом шарахалась публика. Илиодор, озоруя, кричал людям:

— Ну, чего пялитесь? Я же Гришка Распутин, меня Илиодор погубил. Видите, теперь в тюменские края ссылают...

Его посадили в клетушку тюремного вагона. В соседней камере перевозили уголовника-убийцу, он постучал в стенку:

— Браток, ты тоже «по-мокрому»?

— Пока по-сухому. Но крови не боюсь... Прирежу!

Поезд тронулся. За решеткой вагона, в сизой вечерней мгле, проплыл в небыль чадающий окраинами Петербург, вдали от которого монаху предстояло думать, думать, думать.

* * *

Бадмаев показал Курлову письма царицы к Распутину, отставной жандарм прочел их спокойно, потом сказал:

— Не вздумай сам вручать их царю — погибнешь! Такие вещи делать надо чужими руками. Известно, что думский председатель Родзянко давно наскребает к себе на дом всякий навоз о Гришкиных радостях... Ему и отдай! Дурак еще «спасибо» тебе скажет!

Так эти письма, выкраденные из сундука Распутина, оказались в кабинете председателя Думы, и сейчас в царской грязи начнут

ковыряться внешне очень чистоплотные люди, сдувавшие со своих вечерних смокингов каждую пушинку.

12. Натиск продолжается

Настал 1912 год, в котором Россия отмечала 100-летие со дня Бородинской битвы, а кайзеровская Германия пышно праздновала 100-летие пушечнорявкующей фирмы сталелитейного Круппа... Кончились те времена, когда у нас в учебниках по истории Россию ошибочно называли «полуколонией», зависимой от того, что скажут банкиры Парижа или Лондона. Теперь, напротив, наши историки справедливо указывают, что русская мощь во многом определяла всю тональность европейской политики. Промышленный подъем империи начался в 1909 году, еще при Столыпине, а расцвет капиталистического производства пал на период премьерства Коковцева. Этому способствовали напряженный труд рабочих и активная деятельность ученых — химиков и физиков, металлургов и горных инженеров. Россия стояла в одном ряду с Францией и Японией (но отставала от Англии и Германии); зато по степени концентрации производства русская империя вышла *на первое место в мире*. Бурный рост синдикатов и картелей шел параллельно с развитием в стране революционного движения. Близилась первая мировая война. А в 1943 году в оккупированном гитлеровцами Париже умирал человек, подготовивший экономику России к войне с кайзеровской Германией. Советские историки относятся к Коковцеву более благосклонно, нежели его современники: он обогатил русскую казну золотым запасом, без которого немислимо сражаться с могучим противником. Правые упрекали Коковцева в недостатке монархизма. Левые критиковали за излишек монархизма. А середина есть: Владимир Николаевич попросту был либерал. Распутин всюду гудел, что «Володя — свой парень», но Коковцев не считал, что «Гриша — свой в доску»! Саблер при встрече с премьером однажды заметил, что Распутин — личный друг царской семьи, вмешиваться в их отношения нельзя, ибо это... семейные дела.

Утонченный аристократ отвечал с вежливым ядом:

— Но существует извечный закон: в монархиях семейные дела закономерно становятся делами государственными.

— Не вмешивайтесь в дела Распутина, — настаивал Саблер.

— Если он не вмешивается в мои, — отвечал Коковцев...

Между тем Распутин надавал в обществе столько авансов о своей дружбе с Володей, что теперь ему ничего не оставалось, как заверить эту дружбу визитом. Однажды поздним вечером, сидя в приемной, Коковцев просматривал длинные списки лиц, чающих у него аудиенции, и холеный палец премьеры, полыхая теплым огнем крупного бриллианта в перстне, задержался на колонке списка как раз напротив имени Распутина... Так-так!

— А ведь неглупо придумано, — сказал он. — Бестия знает, что, если вломиться ко мне как Гришка Распутин, я выставлю его пинком. Но я, как премьер, по долгу службы обязан принять всех просителей по списку, и в том числе не могу отказать просителю Распутину только потому, что он... Распутин!

Был февраль, хороший, снежный, морозный.

Распутин пришел.

* * *

Распутин пришел, и Коковцев, ничем не выделяя его из массы просителей, предложил ему сесть... Сказал вежливо:

— Прошу изложить ваше дело касательно до меня.

Далее события развивались стихийным образом.

Распутин сидит. И министр сидит.

Распутин молчит. И министр молчит.

Коковцев, чтобы не тратить времени зря, придвинул к себе отчеты губернских казенных палат, щелкал на счетах, думал... Наконец все-таки не выдержал:

— Так какое же у вас ко мне дело?

— Да нет... я так, — отвечал Гришка, гримасничая; с тщательным вниманием он рассматривал потолок министерского кабинета. — Нет у меня никакого дела, — сознался Распутин.

— Зачем же записывались на прием?

— Посмотреть на вас.

— Ну, посмотрели. Что дальше?

— Теперь вы на меня посмотрите.

Коковцев посмотрел на него и сказал:

— Очень... неприятно!

После долгого молчания Гришка наивно спросил:

— Неужто я такой уж плохой?

— А если вы такой уж хороший, так убирайтесь к себе в Тюменскую область и не лезьте в чужие дела...

Распутин растрезвонил по свету, что именно он провел Коковцева в премьеры и теперь хотел получить с Коковцева хорошей «сдачи». А потому не уходил, хотя ему на дверь было точно указано. Владимир Николаевич отодвинул в сторону иллюстрированную «Искру», в глаза невольно бросилась фотография: голод в Сибири! Под трагическим снимком было написано: «Семья вдовы кр. д. Пуховой Курган. у., идущей на урожай. В запряжке жеребенок по второму году и два мальчика на пристяжке, сзади — старший сын, упавший от истощения». Эта фотография направила мысли Коковцева совсем в другую сторону.

— Кстати, — сказал он без подвоха, — в Сибири был недород, а как там у вас в волости обстоят дела с хлебом?

Распутин заговорил о крестьянских делах четко, здраво, разумно, между ним и Коковцевым возник содержательный разговор. Далее цитирую показания Коковцева: «Я его прервал и говорю: „Вы бы так говорили обо всем, как сейчас“. Моментально (он) сложился в идиотскую улыбку, опять рассматривание потолка и пронизательные, колющие насквозь глаза. Я сказал ему: „Вы напрасно так смотрите... ваши глаза впечатления не производят“.

— Когда-то был случай, — нечаянно вспомнил Коковцев, — когда я, грешный, выписал на ваш приезд из Сибири деньги. Теперь я согласен выписать их снова в любой сумме, какую ни попросите, ^[14] ради вашего отбытия в Сибирь... Хватит валять дурака! В вашу святость не верю, ваш гипноз не оказал на меня никакого действия, а делать из министерств спальни я вам не позволю.

Распутин, несолоно хлебавши, убрался, но оставил Коковцева в крайне затруднительном положении. Если он не доложит царю об этой встрече, то Распутин изложит царю ее сам, но уже в той интерпретации, какая ему будет выгодна. Следовало опередить

варнака, и Коковцев при первой же аудиенции с императором сам начал рассказ о своем знакомстве с Распутиным.

— Давно пора! И какое впечатление он произвел?

Подлинный ответ Коковцева:

— Государь, я одиннадцать лет служил в главном тюремном управлении, исколесил мать-Россию от Млавы до Сахалина и побывал во всех тюрьмах, какие у нас существуют. Я ходил по камерам без конвоя, и за все это время только один арестант бросил в меня миской, да и тот оказался сумасшедшим...

— Вы говорите мне о Распутине! — напомнил царь.

— Я говорю именно о нем... Среди множества сибирских варнаков-бродяг таких Распутиных сколько душе угодно! Это ведь типичный уголовный тип, который одной рукою перекрестится, а второй тут же невозмутимо хватит вас ножом по горлу.

Царь дал такой ответ, что можно ахнуть:

— Ну что ж! У вас свои знакомые, а у меня свои...

* * *

В харьковском театре во время представления оперы «Кармен» полицмейстер вылез на сцену и велел прекратить «это безобразие». Ему, дураку, послышалось, будто хористы пели:

Или-о-дор, сме-ле-е в бой,
Или-одор!
Или-одор!

Распутин указывал: «Миленькаи папа и мама. Илиодора нужно бунтовщика смирять. А то он собака всех сест собака злой. Ему ништо. А зубы обломать. Построже стражу больше. Да. Грегорий». Заштатная Флорищева пустынь затерялась в Гороховецких лесах; Илиодора вторгли в темницу, окна забили досками, в коридоре толпились вооруженные солдаты. Стены монастыря высокие! Но русские

семинаристы из поколения в поколение, от деда к внуку, передавали секрет сложного трюкачества — как перемахнуть через ограду, имея при себе громадную бутыллицу с водкой (и чтобы она не разбилась при этом!). Илиодор и показал страже, как это делается... Его догнали. Стали избивать. Бок пропорол штыком. Сапогами расквасили лицо. Илиодор с трудом поднялся.

— Братцы, да ведь я же... священнослужитель!

— Так точно.

— Нельзя же так... с человеком-то!

— Нельзя, — соглашались с ним.

— За что же вы меня излупили?

— А нам так приказано...

Гермоген переслал узнику письмо, умоляя его смириться и не гневать царей. Илиодор отвечал злобной бранью, он писал епископу, что презирает его трусливую душонку, и напомнил из истории: Французская революция началась, когда королева оказалась замешана в краже бриллиантов, — дай бог, чтобы у нас революция началась с публикации писем царицы к Распутину! Флорищеву пустынь часто навещала Ольга Лохтина («не теряя надежды на мое примирение с Григорием»). Илиодор издали кричал дуре, чтобы бросила Гришку и вернулась в семью, как положено жене и матери. «Она ходила, — записывал монах, — вокруг моей кельи, забиралась на стену, на крышу сарая и все кричала одно и то же: „Илиодорушко! Красно солнышко!“ Монахи, думая, что у меня с ней были грешные отношения, смеялись, а стражники таскали ее за волосы, босые ноги разбивали сапогами до крови, потом сажали в экипаж и увозили в Гороховец. Она никогда не сопротивлялась, притворяясь мертвой». Под видом бродячего странника во Флорищеву пустынь проник хвостовский журналист Ржевский.

— Я очень нуждаюсь. Дайте мне на вас заработать.

Такой честный подход к делу подкупил Илиодора.

— Пиши, — сказал он, — что меня заточили в дом терпимости. Здесь каждый монах имеет женщину, а то и двух. Молодые послушники, которым женщин иметь еще не дозволено, бесстыдно преданы мужеложству. Пьянство непомерное! Однажды я видел, как монахи испражнились в таз с водою, потом этот таз таскали вокруг

собора, а встречным богомольцам кричали: «Поклоняйтесь! Жертвуйте на святые мощи...»

— Вы бы о себе побольше, — сказал Борька. — Говорят, Распутин поклялся, что засадит вас в крепость, а Саблер готовит документы о том, что вы спятели. Мне один знакомый телеграфист подарил копию телеграммы Распутина к царице. Вот, прочтите: «Илиодору собаке живот распорю...» Что на это скажете?

— Я сам ему кишки выпущу, — ответил Илиодор, потом, прочтя репортаж бездарного писаки, он pokrивился. — Так писать — все мухи сдохнут. Если хотите на мне заработать, так я сам за вас накатаю!

Он сочинил интервью с самим собою, и в репортаже об узнике-монахе послышался голос разгневанного человека. Борька Ржевский напечатал его под своим именем в газете «Голос Москвы», что сослужило ему хорошую службу — его заметили, стали публиковать в центральных газетах России...

В темной келье иеромонах внушал себе:

— Думай, Илиодор, думай... крепко думай.

Пришлось проделать анализ прошлого, начиная с тех времен, когда он, крестьянский сын, пахал с отцом землю на хуторе близ станицы Мариинской; анализ уводил далеко — до небес, и вскоре Илиодор пришел к выводу, который стал неожиданным для Синода и самодержавия, — он будет неожиданным и для тебя, читатель!

Или-о-дор, сме-ле-е в бой.

И-ли-одор!

Или-о-дор!

* * *

Неясно кто — Бадмаев или Родзянко, но письма царицы к Распутину были кем-то размножены. Отпечатанные под копирку на «ремингтонах», они сотнями экземпляров расходились по стране. Над словами царицы хихикала барышня-бестужевка и мрачно плевался

старый сановник: «Черт знает до чего мы дожили!» Во дворце разыгралась некрасивая сцена (по слухам, Николай II отпустил жене хорошего гвардейского «леща»), и Алиса срочно депешировала в Покровское, спрашивая Распутина: каким образом мои письма к тебе очутились в чужих руках? «Миленкая мама, — телеграфировал Распутин, — фу собака Илиодор! Вот вор. Письма ворует. Украл из сундука или еще как. Да. Бесам служит. Это знай. У него зубы остры у вора. Да. Григорий». Дума бурлила. Пуришкевич громил с трибуны «швабского жида» Саблера, а Синод в это же время подносил Саблеру подхалимские адреса в переплетах из пергамента. Дума сражалась с Распутиным, дабы спасти престиж царской власти... Родзянко предупреждал депутатов: «Мне стало известно, что если запрос о Распутине последует на обсуждение, то Думу сразу прикроют. Лучше вы не шумите, а я сам буду говорить с императором». Неожиданно из департамента полиции его поддержал Степан Белецкий, сказавший по телефону: «Вы решили говорить с царем? Очень рад... Гришка так надоел нам! Прямо с вокзала берет каких-то барынь и тащит их в баню. У нас вылетают в трубу тысячи рублей на слезку за ним. Даже наблюдение за Борисом Савинковым обходится нам дешевле!» В конце февраля Родзянку навестил генерал Озеров, состоявший при вдовой императрице Марии Федоровне: «Она крайне обеспокоена слухами о Распутине. Не могли бы вы навестить императрицу завтра в одиннадцать часов дня со всеми документами?..»

Свидание состоялось. Всегда очень собранная, подтянутая, неизменно добродушная, с располагающей улыбкой, вдовая царица приняла председателя Думы в своем маленьком гатчинском кабинете. Разговор происходил на французском языке, что не мешало Гневной вставлять в свою изящную речь и чисто русские выражения — вроде «меня огорошили», «я взбеленилась» и прочее.

— Какова же причина запросов в Думе об этом мужике? Нет ли тут революционной подоплеки? — сразу же спросила она.

Родзянко отвечал, что успокоение умов — вот главная цель этой шумихи, а революцией тут и не пахнет. Он прочел женщине некоторые выдержки из конфискованных газет и брошюр, в которых говорилось о дикой карьере Распутина... Царица задумалась:

— Может, и правда, что он какой-то святой? Я в это не верю, но в простом народе, знаете, всегда какие-то юродивые...

— В том-то и дело, — отвечал Родзянко, — что простой народ никогда не верил в святость Распутина. Вот извозчик — отвозил Гришку в публичный дом. Вот дворник — тащил пьяного Гришку из саней на пятый этаж. Вот банщик — видел, какой содом развел Гришка с дамами... Именно люди нашего круга вознесли его до палат царских! Государыня, мы, монархисты, больше не в силах молчать. Последствия слишком опасны для династии...

Гневная — с гневом же! — отвечала:

— Моя невестка только и делает, что катает свою корову из одной лужи в другую, где погрязнее. Сына я не защищаю. Очевидно, справедлива поговорка: муж и жена — одна сатана.

Наконец она подошла к самому каверзному вопросу.

— Я слышала, у вас подлинник письма моей невестки к Распутину, где есть очень неудобные выражения... Покажите мне!

Родзянко записывал: «Я сказал, что не могу этого сделать. Она сперва требовала, потом положила свою руку на мою:

— Не правда ли, вы его уничтожите?

— Да, ваше величество, я его уничтожу».

Родзянко не сдержал своего слова, и эти письма впоследствии оказались в Югославии, где их следы затерялись...

13. Один Распутин или десять истерик

Был 1924 год, когда в поезде, идущем в Белград, в столицу сербского королевства, врангелевские офицеры избивали жалкого бедного старика, одежда на котором болталась как на вешалке. Это был Родзянко — бывший камергер и председатель Государственной Думы; в глазах белогвардейщины он выглядел крамольником. Ехавший в Белград за получением ничтожной пенсии, Родзянко и скончался — от жестоких побоев... Конец жизни страшный!

Он принял бразды правления Думы из рук Гучкова и председательствовал в парламенте до самой революции — фигура, таким образом, историческая. Лидер октябристов, глава помещичьей партии, Родзянко внешне напоминал Собакевича, но за этой внешностью, словно обтесанной топором, скрывался тонкий пронизательный ум, большая сила воли, стойкая принципиальность в тех вопросах, которые он защищал со своих — монархических! — позиций. Лелея в душе идею царизма, Родзянко не любил самого царя, он с трудом выносил императрицу. Наш историк С. Пионтковский писал, что «для династии Романовых Родзянко был определенно врагом». Царица платила ему острой ненавистью: «Нахал, — говорила она. — Заплыл жиром, сипит, как самовар... Хорошо бы им висеть рядом — тощему Гучкову и толстому Родзянке!» Родзянко всегда был самым твердым и самым неутомимым врагом Распутина. Во имя идеи монархизма монархист не боялся идти на обострение конфликта с монархами. После беседы с вдовою императрицей придворный мир пребывал в страшном волнении: примет царь Родзянку для доклада о Распутине или отвергнет?..

Распутин, прибыв в столицу, сказал царской чете:

— Я знаю, что злые люди подстерегают меня. Воля ваша — слушать их или не слушать. Но если вы меня покинете, то потеряете сына и престол через шесть месяцев... Вот так-то!

Неприличный шум вокруг Распутина все возрастал, имя царицы трепали на всех перекрестках, полиция была бессильна заткнуть рты всем россиянам; художник В. М. Васнецов, человек глубоко верующий, обратился к Синоду с гневным протестом против

вмешательства Распутина в церковные дела. В это сложное и трудное для правительства время Родзянко запросил аудиенции у царя для доклада о распутинских мерзостях. Родзянко шел на штурм, вооруженный до зубов фотографиями и документами, способными оставить от дворца одни головешки... Примет ли его царь?

Коковцев после очередного доклада уже собрался уходить, но Николай II задержал его словами:

— Владимир Николаевич, возьмите вот это...

Это была резолюция об отказе Родзянке в аудиенции!

— Ясно одно, — рассуждал Коковцев перед женою, — правила дворянской чести заставят Родзянку сразу же подать в отставку, как только он узнает об этой изуверской резолюции царя. Но уход Родзянки вызовет перевыборы, и возможен думский кризис... Я растерян. Не знаю, что и делать.

Родзянко звонил ему по телефону — радостный:

— Мы с женой побывали в Казанском соборе, я заказал молебен перед святым делом сказывания правды в глаза царю, святых тайн я уже приобщился... Владимир Николаевич, резолюция была?

— Нет, пока не было, — солгал Коковцев.

— Я вам еще позвоню.

— Да, пожалуйста...

Николай II, когда вручал эту резолюцию, сказал: «Он будет докладывать, а я должен кивать головой и благодарить его за то, что благодарности не стоит». Теперь надо было как-то спасти положение, спасти доклад о Распутине и спасти самого Родзянку от унижения, а потому Коковцев сам позвонил Родзянке:

— Михаила Владимирович, я думаю, вам лучше завтра к шести вечера прямо подъехать в Царское. Наверное, резолюция застряла где-либо в каналах бюрократии, и царь будет вас ждать.

— Я тоже так думаю, — согласился Родзянко...

Николай II не ждал его, когда он, сипло дыша, вперся к нему, — со всеми фотокарточками и документами, отчего в кабинете его величества запахло винным перегаром, вонючими портянками, банными мочалами и клиником доктора Бадмаева с цветками азока...

Коковцев обманул царя! А Родзянко оставил протокол своей беседы с царем, и потому писать мне будет легко.

Закончив говорить о думских делах, Родзянко предупредил царя, что его доклад выйдет за пределы обычного. Николай II поморщился.

— Я имею в виду, — закинул удочку Родзянко, — Распутина и недопустимое его присутствие при дворе вашего величества...

Царь тихо сдался: «Ну, что ж. Послушаю».

— Никакая революционная пропаганда не может сделать того, что делает присутствие Распутина в царской семье... Влияние, которое Распутин оказывает на церковные и государственные дела, внушает ужас всем честным людям. А на защиту проходимца поставлен весь государственный аппарат, начиная от верхов Синода и кончая массою филеров... Явление небывалое!

Родзянко говорил очень долго, оперируя точными фактами, которые невозможно опровергнуть. Николай II съедал каждое подаваемое ему блюдо в молчании, только однажды не выдержал:

— Да почему вы все считаете его вредным?

Родзянко заговорил о распутстве и хлыстовстве:

— Почитайте брошюру Новоселова, которую конфисковала полиция из продажи. А вот и фотография, где Распутин с двумя женщинами, он облапил их за груди, а внизу — его рукою писано: «Путь, ведущий к спасению». Полиция нанесет вам три короба фактов о том, как Распутин таборами водил женщин в баню.

— В народе принято мыться вместе, — сказал царь.

— Нет, государь, — возразил Родзянко, — это было давно, но еще Елизавета Петровна повела с этим борьбу, а Екатерина Великая особым указом запретила совместное мытье. Согласитесь, что сейчас, в нашем веке, никто и не пойдет мыться вместе.

Царь горячо отстаивал «банный» вопрос:

— Но существуют же в банях номера на двоих!

— Существуют — для мужа с женой, но это их дело. А вот письмо госпожи Л., обратите внимание. Распутин обесчестил ее, после чего она отшатнулась от него, обратясь к честной жизни. И после этого вдруг видит, что Распутин выходит из бани с двумя ее дочерьми-гимназистками... Госпожа Л. тут же сошла с ума!

— Я об этом слышал, — сознался царь.

— Далее, — продолжал Родзянко, — не думайте, что я хочу испортить вам настроение, нет, просто я всегда помню слова присяги: «О всяком же вреде и убытке его величеству своевременно извещать и предотвращать тшчатися...» У нас принято в газетах ругать министров, Синод, Думу, и меня облаивают, как последнюю скотину, мы все терпим... привыкли! А вот о Распутине писать не дают, как будто он высокопоставленное лицо царской фамилии. Это наводит на мысль, что *он стал членом вашей семьи...*

— Распутина теперь здесь нет, — произнес царь.

— Если его сейчас нет во дворце, то позвольте мне, после этого визита к вам, всюду утверждать, что Распутин удален вами и более никогда в Царском Селе не появится.

Николай II помолчал и ответил, стесняясь:

— Не могу этого обещать...

28 февраля на квартиру Родзянки позвонил дворцовый комендант Дедюлин, его старый гимназический товарищ.

— Миша, — сказал он, — здравствуй. Знаешь, после твоего доклада государь за обедом был скучен, даже есть не стал. Я его спросил — утомил вас Родзянко? А он: «Да нет... Там в Синоде заваялось какое-то старое дело о Распутине, скажи ему, чтобы забрал его, но пусть об этом никто не знает...» Миша, слушай, не мог бы ты вечером заглянуть ко мне?

Вечером они встретились на городской квартире. Дедюлин сказал, что если сейчас возникнет война (а дело к тому и идет), то все в империи полетит вверх тормашками.

— А у тебя ничего не получится.

— С чем? — спросил Родзянко.

— Да с этим... с Гришкой!

— Почему ты так решил, Вовочка?

— Ах, Мишка, Мишка... Едва ты вышел от государя, как наша благоверная царица бухнулась в постель, объявив себя больною. Конечно, никакой Боткин или Бехтерев тут не помогут — спасти ее может только Гришка. А я, — подытожил Дедюлин, — еще полюбуюсь на этот романовский бардак и... застрелюсь!

— Ты с ума сошел.

— Вряд ли...

Дедюлин застрелился, а на его место был назначен генерал Джунковский, бывший московский губернатор. Родзянко, исполняя решение царя, взял за глотку жулика Даманского и душил его до тех пор, пока тот не выдал ему из архивов секретное дельце о Распутине. Но когда подошло время докладывать о нем царю, Коковцев снова получил от царя резолюцию, отказывающую Родзянке в аудиенции с глазу на глаз. На этот раз Коковцев не стал выкручиваться, а сунул эту резолюцию к носу Родзянке.

— Как же так? — обомлел тот. — Сам же просил меня поднять это дело из Синода, а теперь видеть меня не желает.

— Настала моя очередь, — ответил ему Коковцев...

В ту пору на великосветских журфиксах был обычай устраивать импровизированные «капустники» (наподобие театра Балиева), — о Коковцеве светские дамы распевали такие частушки:

Жить со мною нелегко,
я не из толстовцев:
я — Ко-ко-ко-ко-ко-ко,
я — Ко-ко-ко-ковцев!

* * *

Теперь, когда контуженый Родзянко временно отполз в кусты, зализывая раны своего самолюбия, в атаку на штурм твердынь распутинщины двинулся элегантный премьер империи. Коковцев начал с того, что Распутин — шарлатан и негодяй, а газеты...

— А вы читаете газеты? — с издевкой спросил царь.

— И газеты *тоже*, — со значением отвечал Коковцев.

Его величество потребовал от своего презуса, чтобы печать империи больше не смела трепать имя Распутина.

— Ваше величество, есть только один способ заткнуть рты печати — для этого пусть Распутин живет не здесь, а в Тюмени!

Царь молчал. Коковцев решил бить в одну точку:

— Позволено мне будет распорядиться о принятии мер к тому, чтобы Распутин навсегда застрял в Покровском селе?

Перед царем была громадная пепельница, доверху наваленная окурками крепких папирос. Он без нужды ее передвинул.

— Я сам скажу Распутину, чтобы он уехал...

Коковцев не верил своим ушам. Неужели царь, утомленный борьбой за Распутина, решил от него избавиться?

— Должен ли я полагать, что решение вашего императорского величества есть решение окончательное?

— Да, это мое решение. — Царь взял со стола карманные часы, показывавшие половину первого, и циферблатом повернул их в сторону своего премьера. — Больше я не держу вас...

Вечером Коковцева позвали к телефону. Он снял трубку, молча выслушал и молча повесил трубку на крючок.

— Меня сейчас накрыли матом, — сказал он жене.

Ольга Федоровна передернула плечами.

— Но кто посмел это сделать?

— Конечно, он... Распутин. Поверь, что меня обкладывали еще не так. Уголовники в тюрьмах! Но тогда я был мелким чинушей, только начинающим карьеру, и, прости, дорогая, я сам обкладывал их виртуозно. Но теперь-то я... премьер великой империи!

Развевая полами бухарского халата, Коковцев снова двинулся к телефону, в гневе выкрикивая:

— Я этого так не оставлю! Я эту сволочь допеку! Это барин Пьер не мог с ним справиться, но я ему не Столыпин...

* * *

Весной царский поезд отправлялся в Ялту, списки пассажиров проверены, лишних никого нет, бомб в багаже не спрячено, все и порядке, можно ехать. Гугукнул паровоз — тронулись... В салон царя заявился генерал Джунковский, маленький хрупкий человек, обладавший колоссальной нервной силой. Ступая лакированными

сапожками по мягкому ворсу ковра, он подошел к его величеству и на ухо (как шепчут слова нежной любви) прошептал:

— Ваше величество, *ваше решение нарушено.*

— Каким образом?

— С нами едет Распутин.

— Как он попал в мой экспресс?

— Вырубова спрятала его в купе князя Туманова.

— Это... нахальство, — сказал царь.

Поезд уже миновал веселые дачки платформы Саблино — приближалась станция Тосно. Джунковский решительным жестом отодвинул клинкет купе, в котором, сняв сапоги, сидел босой Григорий Ефимович и вел приятную беседу с попутчиком по дороге князем Тумановым, закручивая ему мозги «насчет святости».

Джунковский с приятной улыбочкой подтянул перчатки.

— Ну, поганое отродье, — сказал он почти сладострастно, — долго ли еще нам с тобою тут чикаться?

Рука генерала сжалась в стальной кулачок, бронированный скрипящей кожей, и нанесла святому обширное сокрушение в области глаза. Божий свет наполовину померк, расцвеченный удивительно красивыми искрами. Распутин вылетел в коридор и бойко побежал в конец вагона, подгоняемый сзади регулярными ударами генеральского сапога под то самое чувствительное место, из которого у доисторических предков Распутина произрастали хвосты... Тосно!

Платформа станции еще плыла назад, когда последовал хороший тумак по затылку, и Гришка кубарем выкатился на доски перрона. Вслед ему полетели шикарные перчатки генерала, которые брезгливый Джунковский уже не пожелал носить после осязания ими «святого старца». Он помахал рукой машинисту поезда — трогай! И царский экспресс помчался в благоуханную Ялту, а Распутин поднялся с перрона, еще не сознавая, что же такое случилось. Тут его взяли в кольцо агенты полиции.

— А вам... в село Покровское, — сказали они.

На станции Любань Джунковский прошел в помещение вокзала, попросил связать его с кабинетом премьера Коковцева.

— Владимир Николаевич, — доложил он, — все в порядке.

...Коковцев оказался решительнее Столыпина!

* * *

6 мая в новом дворце Ливадии собралась вся знать империи, чтобы принести поздравления императрице с днем ее тезоименитства. По очереди подходили министры, выражая в двух-трех словах свою «искреннюю радость по случаю» и т. д. Коковцев подошел тоже, но императрица, украшенная диадемой из огромных жемчужин Екатерины Великой, повернулась к нему... задом.

Да, да, читатель! Я не преувеличиваю.

Коковцев прямо в зад императрице тоже сказал два-три слова, выражая «искреннюю радость по случаю...», и тут он понял, что он, конечно, не Столыпин и отставка его неизбежна. Здесь же, в Ливадии, он узнал, что царская семья поджидает скорого приезда Распутина... Коковцев в недоумении развел руками:

— Ваше величество, как же так? Вы сами...

Последовал ответ царя — сакраментальный:

— Лучше уж один Распутин, нежели десять истерик на день.

Ну, вот и все! Осталось утешиться песенкой:

Я — Ко-ко-ко-ко-ко,
я — Ко-ко-ко-ковцев!

Финал четвертой части

В мае месяце 1912 года, когда Гришка пировал свою победу, Илиодор, сидя в темнице Флорищевой пустыни, закончил анализ своего прошлого — настало время устраивать будущее... Для начала он созвал монастырский синклит, начав речь перед ними, как гоголевский городничий в канун нашествия ревизора:

— Господа! Я собрал вас затем, чтобы сообщить пренеприятнейшую новость: бога нет. А потому я отныне уже не считаю себя связанным с церковью и слагаю с себя духовный сан. Исходя из того положения, что я заточен в тюрьму не гражданским судом, а уставами церкви, я теперь вправе покинуть эту тюрьму, ибо церковь для меня уже не храм, а просто обычное культовое строение...

Иеромонаха Илиодора не стало — появился крестьянин Сергей Труфанов! Это была сенсация, которую сразу же раздули газеты. Распутин отреагировал моментально: «Серьгу Труханова отступнека карать кол яму в задницу забить, анахтеми... Отступнека повесить чтоб у нево собаке язык на сторону Грегорий». Синод пребывал в панике. Как же так? Самый страшный мракобес, готовый за церковь разорвать глотку безбожникам, и вдруг открыто заявляет, что бог — это фикция, сан с себя слагает.

Газеты печатали интервью с бывшим монахом: «Если б был телефон на тот свет, я позвонил бы туда и обложил их всех! Почти год в баньке не был — не пушают сволочи! Говорят, будто я спятил. Хорошо! Согласен на врачебный осмотр. Но с одним условием — пусть осмотрят Саблера и всех педерастов из святейшего Синода, а тогда Русь узрит, что я-то как раз нормальный, а скотов из Синода и МВД надобно судить...»

Саблер слал во Флорищеву пустынь увещевателей.

Вот подлинный ответ им бывшего Илиодора: «Да постыдитесь! Ведь это похоже на то, как разбойник убьет человека, ограбит его карманы, а потом целует его закоченевший труп. Я мертв для вашей лжи! Отстаньте же от меня! И поскорее отлучайте формально от вашей компании. Чего медлите, толстопузые? Или писцов у Саблера мало? Или чернил не стало?..»

* * *

ПРОШЕНИЕ ИЕРОМОНАХА ИЛИОДОРА В СВЯТЕЙШИЙ СИНОД ОБ ОТРЕЧЕНИИ ЕГО ОТ ЦЕРКВИ (приводится в сокращении):

«Кто вы? Вы все — карьеристы... За звезды, за ордена, за золотые шапки, за бриллиантовые кресты, за панагии, усыпанные драгоценными камнями... Вы к начальству ласковы, смиренны, чтобы сохранить за собой земное благополучие. Бедных вы презираете, а с богатыми целуетесь! Вся жизнь ваша — сплошное удовольствие. Вы одеваетесь в роскошные шелковые рясы, ездите в дорогих каретах, спите на мягких постелях, услаждаетесь вкусными обедами, пьете прекрасное вино, копите много денег. Вы — горды, надменны, злы, мстительны... За расположение угнетателей народных вы готовы продать душу дьяволу. Под своими широкими мантиями вы скрываете всякую нечистоту и неправду... Вы ослепляете народ своей пышностью, а не даете ему жизни! Вы храмы обратили в полицейские участки, в торговые палаты и в постоялые дворы. И проклятьями, и пеплом, и огнем вечным заставляете бедных малодушных людей поклоняться вам и питать ваши ненасытные чрева!

Вас я презираю всюю силою души. С вами, поклонниками святого черта, грязного хлыста Гришки Распутина, я не хочу быть в духовном общении ни одной минуты более.

Поэтому скорее срывайте с меня рясу!

Отлучайте меня от своей церкви!

Вы должны это сделать!

Животные, упитанные кровью народной, доколе вы будете сидеть на шее народа?

Доколе будете прикрываться именем Божиим?»

Бритвою он полоснул себя по руке, кровью подписался: *СЕРГЕЙ ТРУФАНОВ*. А Распутин знай себе строчит царям: «Вот бес то Илиодор отступник проклятай. Надо бы его сделать ссума сошел докторов надо ато беда. Он пойдет играть в дудку беса. Григорий».

Бывшего монаха пытались силой затащить в храм, но из этого ничего не вышло. Серега взял железный дрын и сказал: «Вот только троньте меня... Всех порасшибаю».

На том веском основании, что Илиодор «усумнился в спасительном воскресении Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа», Саблер повелел монаха из духовного узилища изринуть! Распутин в ужасе от этого телеграфировал: «Ну пошел бес Серьга Труханов отступник. Анахтема. Таперича гуляет. Надо следить. Ато он смуту сделает полицию к нему. Пусть она ему зубы почистит. Акаянный. Да. Грегорий». Падкие до всяких скандалов, в Гороховец наехали журналисты столичных газет... Обступали толпой, спрашивали:

— Какие у вас теперь отношения с Распутиным?

— Замечательные! Он обещал мне живот распороть, а я ему обещаю все кишки на землю выпустить. Весь вопрос в том — кто из нас раньше схватится за ножик?

— Можно так и записать? — спрашивали журналисты.

— Да пиши. Мне-то что!

Весеннее солнышко припекало голову. Илиодор зашел в парикмахерскую, в последний раз он потрянул волною кудрей.

— Валяй стиги под корень... Отмонашился!

Был он одет в пиджачок с чужого плеча, в галошах на босую ногу, штаны — в пятнах дегтя. Журналисты прилипли к нему.

— Куда теперь едете, господин Труфанов?

— Домой, на тихий Дон. Буду землю пахать...

На вокзале во Владимире журналистов даже прибавилось. Подали состав. За минуту до отхода поезда Серега опустил на грязный перрон — принес перед публикой всенародное покаяние:

— Я прошу прощения у великой русской интеллигенции, которую я оскорблял. Я прошу всех евреев простить меня за то, что я их преследовал. Прошу простить меня родственников Льва Толстого, ныне мертвого, которого я оскорблял при жизни и в гробу. Наконец, и людей со слабым зрением, которые носили очки, я тоже прошу извинить меня за грубые мои нападки на них... Но людей с портфелями все-таки не люблю! Чего они там таскают?

Он вскочил с колен, его глаза блеснули зеленым ядовитым огнем, и в нем проснулся вдохновенный оратор. Под надрывные возгласы

вокзального гонга, вещавшего отбытие в иную жизнь, Труфанов чеканил слова, как афоризмы:

— Слушайте, слушайте! Говорю я вам, что в России нет царя, в России нет Синода, в России нет правительства, и нет в ней Думы народной... есть только великий гад Распутин, стервец и вор, который заменяет царя, Синод, Думу и все наше правительство!

Поезд тронулся — он вскочил на подножку вагона.

— Императору Григорию Первому я живот распа-а-арю-у-у!

* * *

Исторически будет справедливо, если покушение на Распутина произведет не мужчина, а женщина!

Царская семья держала Гришку в Ливадии почти на нелегальном положении; он проживал в ялтинской гостинице «Эдинбург» по паспорту на фамилию Никонов. Чтобы не раскрыть себя, он держался прилично — никаких скандалов, никаких оргий. Гришка не знал, что за ним все время следует одна женщина, имя которой — Хиония Гусева...

У меня есть фотография, где ей всего шестнадцать лет: круглое лицо крестьянской девушки, гладкая прическа, хороший и чистый взгляд, в руке у нее книга. Сейчас Хионии Гусевой было уже сорок три года. «Лицо ее сильно обезображено сифилитическими язвами, нос провалился совсем, веки покрыты струпьями» — так писали о ней журналисты.

Мне очень жаль эту несчастную женщину...

Гусева была проституткой.

Русская статистика подсчитала, что цифра заработка рабочей труженицы кончалась в России там, где начиналась цифра заработка проститутки. Самая лучшая портниха получала тридцать рублей в месяц, а самая паршивая проститутка выколачивала с «панели» сорок рублей. Зло таилось в неравноправии! Начало XX века подарило русским юристам казусные процессы о женщинах, носивших мужскую одежду и живших с мужским паспортом. Причина такого странного

самозванства — желание получить мужской заработок, ибо женщина была неравноправна.

Хиония Гусева видела в Распутине главный источник того зла, которое сгубило ее жизнь. Мало того, Распутин осквернил ее дочерей. Хиония Гусева — мстительница за все женские беды, за все бесчестья женского рода...

Под широким платьем она прятала длинный нож.

Глаза ее безошибочно выискивали Распутина в шуме приморских бульваров, в ароматной зелени ялтинских садов-шантанов. Лакеи гнали ее прочь — она уходила и снова возвращалась.

Так что Илиодор-Труфанов не бросал слов на ветер!

Этот парень знал, что неизбежное случится...

Часть пятая

ЗЛОВЕЩИЕ ТОРЖЕСТВА

(лето 1912-го — осень 1914-го)

*В сущности,
капризная судьба
послала Распутину
все, что было
необходимо для его
личного счастья:
много водки, много
вышитых рубах и
много (даже очень
много) женского
продовольствия.
Но за этой
идиллией
тобольского
мужика
скрывалась
подлинная
трагедия всея
России!*

*Александр
Яблоновский*

Прелюдия к пятой части

Опять Нижний Новгород, опять нам весело, опять у губернатора Хвостова полный короб удовольствий и неприятностей... Крутились пряничные кони, галдели пестрые балаганы, за Бетанкуровским каналом куролесили вертепы, куда на время торжищ съезжались не только шлюхи империи, но охотно гастролировали и парижские кокотки. Был жаркий сезон транжирства, непотребства, обжорства, солидной прибыли и убытков весьма ощутимых.

На банкете по случаю открытия ярмарки раблезианский желудок Хвостова объемно и натурно воспринимал все блага щедрой русской кухни, которые тут же исправно ополаскивались коньяками, шампанским, рябиновкой и ликерами. Взбодрившись до того состояния, в каком даже титулярная мелюзга мнит себя государственным мужем, Алексей Николаевич поехал в театр — слушать оперу. Какую давали оперу — для истории неважно; существенно, что из мрака губернаторской ложи Хвостову приглянулась одна артистка. Он долго не мог поймать ее в фокус бинокля, хотя и без бинокля было уже видно, что женщина пикантна, очаровательна, воздушна.

— Кто такая? — спросил он полицмейстера.

Тот сунулся в театральную афишку.

— Это... сейчас скажу... Ренэ Радина, сопрано!

— Мне плевать на ее сопрано, а бабец — что надо. В антракте поди и скажи ей, что я зову ее ужинать.

Ренэ Радина отвечала полицмейстеру уклончиво:

— Благодарю за честь, но сегодня первый спектакль в сезоне, он всегда напряженный, и я буду крайне утомлена.

Выслушав отказ, Хвостов разгонял комедию дальше:

— Поди и скажи ей, дуре, чтобы не артачилась.

Полицмейстер снова вернулся в ложу.

— Ваше превосходительство, госпожа Радина говорит, что не привыкла ужинать на ночь и не понимает, зачем нужна вам.

— Скажи ей, что напьемся, а потом спать ляжем...

Полицмейстер еще не потерял совести и не пошел в уборную к певице, а Хвостов, отъезжая из театра, наказал ему:

— Ренэ Радину арестовать и доставить ко мне...

Огни рампы погасли, а труппа актеров, дабы спасти честь актрисы, осталась в театре, репетируя оперу на завтрашний день. Полицмейстер согласился с доводами режиссера, что «репетиция завтрашнего спектакля — прямое продолжение спектакля сегодняшнего». Поняв так, что арестовать Радину он может только после окончания репетиции, полицмейстер из театра не уходил, шлялся в пустынном фойе. И вдруг он попятился... Прямо на него из боковой «променальи» шагал господин во фраке и при орденах.

— Честь имею, — сказал он. — Действительный статский советник и солист его императорского величества...

Это был Николай Николаевич Фигнер, краса и гордость русской оперной сцены, бывший офицер флота. После трагического, небывало обостренного разрыва с певицей Медеей Фигнер он блуждал по городам России как импресарио со своей собственной труппой. К этому хочу добавить, что избалованный славой артист, будучи братом знаменитой революционерки, оставался в душе монархистом и был вхож в царскую семью... Полицмейстер испытал трепетание, когда Фигнер вытянул руку и стал драть его за ухо.

— Так вот, милейший! — сказал певец. — Та особа, на которую обратил внимание твой хам губернатор, — *мояжена*...

Это была его третья жена — третья большая страсть в жизни великого артиста. Старше Радиной на много лет, Фигнер любил ее с болезненным надрывом, остро и мучительно. Полицмейстер сделал под козырек, когда артист выскочил из театра на темные улицы. По телеграфу он разослал телеграммы о безобразиях Хвостова: директору театров Теляковскому, министру внутренних дел Макарову, министру двора Фредериксу и многим влиятельным персонам. После чего вернулся в театр, и... репетиция длилась до утра!

До утра пировал и Хвостов; губернатор был уже здорово подшофе, когда перед ним положили телеграмму из МВД, в которой Хвостову указывали оставить в покое певицу Ренэ Радину. Рассвет уже сочился над раздольем волжским, золотя окна губернаторского дома. Нижегородский визирь был оскорблен.

— Заколотить в театре все двери досками. А в эм-вэ-дэ телеграфируйте, что в труппе Фигнера — политические преступники!

Театр, словно сарай, забили досками, а труппу Фигнера под конвоем погнали на вокзал. Фигнер собирался через день быть в столице, но Хвостов велел силой впихнуть артиста в одесский поезд. На прощание певец — заявил нижегородской полиции:

— За это я вашему Хвосту хвост выдерну!

Через несколько дней Макаров объявил Хвостову строгий выговор с занесением в чиновный формуляр. Фигнер, надев мундир и ордена, побывал в Царском Селе, где рассказал о сатрапских наклонностях губернатора. Николай II принял половинчатое решение, предлагая Хвостову самому сделать выбор — лишиться звания камергера или оставить пост губернатора... Вопрос сложный!

С ним он пришел, покорный, к своей жене.

— Катя, вот скажи, что мне из этого выбрать?

Жена заплакала, произнося с ненавистью:

— Уверена, что и тут не обошлось без какой-либо потаскухи! Посмотри на себя в зеркало: свинья свиньей... О боже, любой сапожник не ведет себя так, как ты... камергер, тьфу!

Хвостов мужественно выстоял под ливнем справедливой брани. Потом рассуждал: что оставить, от чего отказаться?

— Если откажусь от губернаторства, газеты повоюют и забудут. А если снять мундир камергера, тогда скандала не оберешься, ибо лишение камергерства всегда сопряжено с судом.

Хвостов подал в отставку с поста губернатора.

— А на что мы жить будем? — спросила его жена.

— Перестань, Катя! Я человек полный, и меня может хватить удар. Или ты хочешь, чтобы наши дети остались сиротами?

Над семейной сварой в доме Хвостовых мы тактично опустим занавес и обратимся к политике.

* * *

Крестьяне говорили, что депутатов в Думе кормят одним компотом — верх роскоши в простонародном понимании... Это не так! Кормились они сами — кто у Кюба, а кто на углу в забегаловке. Третья Дума отбарабанила пять сессий и разъехалась по домам, а теперь начиналась кампания по выборам «народных избранников» в четвертую Думу. Царизм мобилизовал все свои силы, чтобы Дума № 4, упаси бог, не сдвинулась влево. Из темной глухомани провинций правительство извлекало явных реакционеров, предпочтение на выборах отдавалось чиновникам, помещикам, духовенству. Удержав за собой ключ камергера, Хвостов сохранил право бывать при дворе. Теперь надо завоевать официальное положение.

— Катя, я решил баллотироваться в депутаты.

— Надо, чтоб тебя еще выбрали, — сказала жена.

— Если не меня, так кого же им еще надобно? Бывший губернатор меняет чиновную службу на общественную деятельность...

— Там же, в Думе, выступать надо... с речами.

— Ну и выступлю. Лишь бы тему нащупать.

— Речь — это тебе не тост в пьяной компании.

— Да один хороший тост лучше глупой речи...

Хвостов был помещиком орловским, а посему баллотироваться мог по Орловской губернии. Для начала он вызвал Борьку Ржевского, входившего в славу после интервью, взятого им у Илиодора; журналист явился в немислимых желтых гетрах, попахивая изо рта какой-то дрянью... Хвостов сказал ему — напрямик:

— Было время, я тебе помог. Теперь ты меня выручай! Оттени все, что знаешь обо мне хорошего. Знаешь ты хорошее?

— Знаю, — отвечал Борька (покладистый).

— Плохо знаешь. Я тебе составлю список всех добрых дел, какие я сделал... Вот посмотри на Америку!

— Зачем?

— А затем, что у них, паразитов, на все есть реклама. На людей и на пипифакс. Отрекламируй меня как зрелого мужа...

Жена, послушав их разговор, сказала:

— Боречка, ты напиши про него, что он бабник и пьяница, годится рекламой для любого борделя с нашей дивной ярмарки.

— Ты ее не слушай, — сказал Хвостов журналисту. — Завтра же махнем в Орел и там начнем крутить все гайки, какие есть.

Он проходил по выборам дворянской курии, которая хорошо знала обширную семью Хвостовых, и надо полагать, что чрево Алексея Николаевича, способное переварить массу рыбных и мучных закусок, внушало даже купцам немалое уважение. Ржевский купил по случаю подержанный «ремингтон», пальцем неумело тыкал в клавиши, слагая пышные дифирамбы новому триумфатору: «Орел ликует! На стогнах древнего русского града слышны призывы избрать достойных. И мы уже избрали. Всем своим патриотическим сердцем Орел устремлен на природного сына — А. Н. Хвостова! Что мы знаем о нем? Что можно добавить к тому, что уже было сказано?..» А так как добавлять было уже нечего, то Хвостов, естественно, проскочил в депутаты четвертой Думы... Сияющий, в чесучовом летнем костюме, он шагал к питерскому поезду. Сыпались цветы, и новые штиблеты депутата равнодушно давили нежные лепестки магнолий. Полиция осаживала толпу:

— Господа, не напирайте... ведь все же грамотные! Я говорю — куда лезешь? Ты посмотри, кто идет... сам народный избранник!

— Уррр-я-а-а...

* * *

Все дальнейшее поведение Хвостова обличает в нем изворотливый ум карьериста, который знает, где сесть, чтобы обедать ему подали первому. Но сначала он допустил промах! Зарегистрировав себя в канцелярии Думы как крайне правый, Хвостов и расселся среди крайне правых. Впрочем, умнику понадобилось немного времени, чтобы он сразу заметил свою нелепую ошибку. Крайне правые для правительства были так же неудобны и одиозны, как и крайне левые. Царизм никогда не рисковал черпать сановные кадры из числа крайне правых, которые при слове «царь» сразу же разевались в гимне: «Боже, царя храни...» Хвостов перекочевал в лагерь умеренно правых — прочно занял место в кругу тех людей, которые могли рассчитывать на правительственную карьеру. В партии правых, которой симпатизировал сам царь, Хвостов сознательно чуточку... полевел

(цвет его «партийных» штанов из черного стал темно-серым). Между прочим, он тишком расспрашивал в Думе о Распутине — где бывает, стервец, каковы привычки его, мерзавца? Пуришкевич подсказал ему:

— Я давно слежу за Гришкой, он проводит вечера на «Вилле Родэ», но сидит в кабинете, редко выходя в общий зал...

Хвостов повадился таскаться на «Виллу Родэ», несколько раз видел Распутина в зале. Гришка сразу же узнал его, но не обращал на депутата никакого внимания. Только однажды, пьяный, он толкнул столик Хвостова, и прорвало его старую обиду:

— Пьешь? Жрешь? А кады я приехал в Нижний, у меня гроша за душой не было... Сам к тебе на обед набивался, а ты, голопуп, рази накормил меня? Рази жену свою предъявил мне?

Хвостов не стал с ним спорить. Скромнейше сидел, в уголочке, терпеливо слушал, как с эстрады воеет старуха цыганка:

Обобью я гроб батистом,
А сама сбегу с артистом...

О политических деятелях иногда судят не по тому, что они говорят и делают, а по тому, что они не сказали и чего не сделали. Хвостов в Думе столь упорно отмалчивался, что за его молчанием грозно чуялось нечто из ряда вон выходящее. Сохраняя тупое реакционное молчание, он стал лидером фракции правых. Но человеку с такой утробой одного лидерства для пропитания маловато. Таким людям необходим портфель министра внутренних дел!..

1. Вербовка агентов

Побирушка так жил, так жил... гаже не придумать! Уже в наше время журнал «Вопросы истории» дал картинное описание этого бесподобного жития: «Его квартира была одновременно и часовней, и салоном, где встречались гомосексуалисты всего города... ели, пили и здесь ночевали по двое на одной кровати. Перебывало более тысячи молодежи, часто приводимой князем прямо с улицы. Андронников вел себя подозрительно, отлучаясь с кем-либо в ванную комнату». От себя дополню: по военным училищам Петербурга юнкерам был зачитан секретный приказ — избегать знакомства с князем М. М. Андронниковым (Побирушкой)! Но, как известно, государь «в высоконарекренном милосердии своем» покровительствовал педерастам. Стоял, так сказать, на страже их семейного очага! А в длинном списке имен, составленном царицей и Вырубовой, где все человечество разделялось на «наших» и «не наших», гомосексуалисты были причислены к таинственной секте «наших»... Иногда я думаю: комики, а не люди! После революции лакей князя, некто Кильтер, дал показания о средствах Побирушки: «Чуть ли не каждодневно брал из банка по тысяче. Вино белое и красное текло рекой. Как-то я купил в английском погребе тысячу бутылок вина, так едва хватило на две недели. Со стола не сходили икра, балык, анчоусы, торты, дорогие колбасы и прочее». Но с чего такая роскошь, читатель? На это можно ответить вторым вопросом: «А на кой же тогда черт существует славная русская кавалерия?» Конница всегда имеет падеж лошадей, а шкуры павших стоят недешево, иначе с чего бы обувь делали? Весной 1912 года Побирушка увязался в очередную командировку Сухомлинова в Туркестан, где они скупали по дешевке благодатные ферганские земли с хлопком и виноградниками, а продавали их налево по бешеным ценам... Теперь понятно, что Побирушка возле Пяти углов не стоял с озябшею, протянутой к прохожим рукой!

Однажды к нему на квартиру вдруг нагрянул директор департамента полиции Степан Белецкий... Нет, нет, читатель! Ты напрасно плохо подумал. Белецкий был вполне нормальный мужчина

— без декадентских выкрутасов, отличный семьянин. Ради какого беса его сюда занесло — я не знаю. Но все-таки занесло...

— Выпить хотите? — предложил Побирושка.

— Нельзя. Завтра доклад у министра...

Разговорились. Белецкий сказал:

— А ведь я упорно занимаюсь самообразованием.

— Вот как? — поразился Побирושка.

— Представьте! Именно только попав в департамент полиции, я начал усиленно просвещать себя. И знаете что читаю?

— Эдгара По?

— Пошел он... Я читаю серьезные монографии всемирно известных историков революций — от Карлейля до Альбера Вандалья. Не скрою, мне интересно знать, что в революциях бывает с такими людьми, как я... Жена говорит: «Степан, не лезь, ты погибнешь!» А я уже залез. И уже не выбраться. Сижусь по уши и вижу, как жернова крутятся... Из истории же видно, что конец будет один — повесят или расстреляют. Что лучше — не знаю. Но это меня настраивает на боевой лад, и я делаю все, чтобы затоптать искры...

— Наверное, устали, — посочувствовал Побирושка.

— Зверски! Едва ноги таскаю.

— Хотите?..

— Чего?

— Ну... этого.

— Не понял.

— Отдохнуть, говорю, хотите? Встряхнуться?

— Да не мешало бы... только — как?

Побирושка дал ему порошочек в аптечном фантике, провел в ванную комнату и запер там одного, крикнув ему через дверь:

— Вы понюхайте... весь мир прояснится.

Понюхав, Степан вылез в коридор с белым носом-пипочкой.

— А чем вы меня угостили? — любопытствовал.

— Кокаинчик. Первый сорт.

— Я ж не проститутка. Вы бы хоть предупредили...

— Жизнь тяжелая штука, — философски заметил князь.

— Столько возни, столько крутни, — огорчился Степан. — Мне уже сорок. А чего я видел в этой жизни хорошего?

— А вы думаете — я видел хорошее?

— Одни будни! А я все жду, когда праздник начнется...

— Да, вам тяжело. Вы заходите ко мне почаще.

— Спасибо. А кокаин и правда неплох — проясняет.

Побирушка проводил его до дверей.

— Я знаю одну гимназисточку. Сам-то я этим не интересуюсь, но люди знающие говорят — дым с копотью... даже кусается!

— Что вы, что вы! — испугался Белецкий. — Я человек прочных моральных устоев... У меня жена — сущее золото. Сам-то я сын бакалейного лавочника, а жена — дворянка из фамилии Дуропов, дочка генерала... Вы мне больше такого не предлагайте!

Дверь закрылась, но Побирушка по опыту жизни знал, что она еще не раз откроется перед Белецким. Женщин князь не выносил, и его бедлам навещала только Наталья Илларионовна Червинская.

* * *

Откуда она взялась? О-о, эта дама достойна внимания... Начнем с того, что она была двоюродной сестрой первого мужа Екатерины Викторовны Сухомлиновой. В бракоразводном процессе она сначала поддерживала своего брата Бутовича, но затем, оценив преимущества дружбы с министром, переменяла фронт — стала на сторону Сухомлиновых. По документам Червинская представляется мне дамой хитрой, желающей взять от жизни побольше и послаще, что характерно для мещанской натуры. Захудалая барынька из провинции, она была кривлякой и, подобно смолянке, яйца стыдливо именовала «куриными фруктами». Женщина уже в годах, много любившая (но мало любимая), она сохранила неутолимый, волчий аппетит к удовольствиям молодых лет.. На широком пиру разгильдяйства военного министерства ей не повезло, ибо Сухомлинов не нашел дамской должности, и Червинскую пристроил в свою контору Альтшуллер. Но этого, конечно, мало для стареющей женщины, жившей как на иголках, в тайном предчувствии, что где-то еще томится по ней сказочный принц, который падет к ее ногам и будет умолять о ночи любви. Одетая на подачки Альтшуллера с безвкусной

роскошью, мадам Червинская брала гитару с пышным бантом, и министерская квартира наполнялась пением тоскующей львицы из конотопского хутора по названию Утопы:

Ты едешь пьяная, ты едешь бледная,
по темным улицам — совсем одна,
тебе мерещится дощечка медная
и шторы синие его окна...

В поисках острых ощущений Червинская ринулась на Английский проспект, где в это время проживал Гришка Распутин. Что у них там было (и было ли вообще что-нибудь) — я выяснить не мог.^[15] Но генералу Сухомлинову женщина рассказывала так:

— Григорий понял, что я единственная женщина в мире, на которую он как мужчина не имеет никакого влияния. Однажды потерпев фиаско, он убрал свои лапы, и мы сели пить чай, как бесполое амебы... Хотите, я вас с ним познакомлю?

Сухомлинов в ужасе замахал руками:

— Что угодно, только не это чудовище...

* * *

Сухомлинов твердо отвергал все попытки Распутина установить с ним близкие отношения. Отдадим ему должное — он поступал как порядочный человек. Этой «ошибки» ему уже не исправить, и расплачиваться за нее станет его жена... Между тем Наталья Илларионовна Червинская, попав в столицу, хотела обойти все рестораны, побывать на всех гуляньях, прокатиться на всех трамваях, даже если один из маршрутов и завозил на городскую свалку! Странное дело: Петербург битком набит мужчинами, и ни один из них не бросился в ноги Червинской, умоляя о знойном счастье. Червинская (чтобы не быть совсем одной) таскала за собой племянника Колю Гошкевича, который тоже был устроен Сухомлиновым на теплое

местечко. Худосочный юноша с жиденьким галстуком, уже не голодный, но еще и не сытый, он, конечно, никак не мог украсить общество такой дамы, как его неутоленная тетушка.

Но... ладно! Пошли они в ночной ресторан «Аквариум» на Каменноостровском, ныне Кировском, проспекте, где размещается теперь киностудия «Ленфильм». Сели за столик. Коля Гошкевич оглядел высокие пальмы, увидел, какие роскошные королевы есть на свете, сразу же и бесповоротно осознал все свое ничтожество и надрался так, что через пять минут можно считать — вроде бы он есть, на самом же деле его нету. Оказавшись в таком невыгодном положении Наталья Илларионовна величественным взором конотопской Клеопатры окинула сверкающий зал и тут...

Читатель, прошу тебя сохранять хладнокровие!

Тут к ней подошел тот самый «принц», который ей снился в жарких снах. Интересный молодой человек, одетый, как на картинке журнала, пригласил ее к танцу. Это было бразильское танго, «танец, по тем временам считавшийся неприличным», и Червинская доказала его неприличие тем, что безбожно прилипла к своему кавалеру: пусть он знает — ему попалась не холодная рыба! Потом они оставили Колю Гошкевича погибать и дальше, а сами уселись в глубокую тень, где к ним на цыпочках, словно карманный вор, приблизился скрипач Долеско, и его скрипка пробуравила в сердце Червинской огромную кровоточащую рану. «Принц» вел себя идеально (еще бы!), а говорил именно те слова, которых Червинская так давно желала:

— Вы божество мое... Одну ночь любви... Умоляю!

При этом глаза его оставались ледяными, а тогда, в этот роковой вечер, они казались женщине демоническими. Пили какое-то вино, музыка ликовала, голова кружилась. В синем дыму папиросы, с лицом узким, как ликерная рюмка, «принц» шептал ей на ухо:

Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная. Прости меня!

Червинская поняла, что стоит на краю пропасти.

— Я твоя... Увези меня на край ночи, и там я окачу тебя с головы до пяток горячею волной неземной страсти!

«Принц» вывел ее из ресторана на улицу, где, как и подобает бульварным романам, его ждал «напиер» на шести цилиндрах в тридцать пять лошадиных сил с корпусом, особо модным в ту пору (типа «кароссери»). На темных улицах фары ослепляли редких прохожих. Червинская всю дорогу подражала главной героине нашумевшей недавно кинодрамы «Не подходите к ней с вопросами»: склоняя голову на грудь кавалера, она тихо подвывала — сквозь зубы:

А на диване — подушки алые,
Духи д'Орсей, коньяк «Мартель»,
Твои глаза — всегда усталые,
А губы пьяные — как хмель...

Приехали. Долго поднимались по лестнице. «Принц» открыл двери в пустую прохладную квартиру с очень богатым убранством.

— Мы выпьем за ночь любви, — деловито сказал он.

Червинская выпила, и... все! Больше она ничего не помнит. Утром проснулась и увидела, что возле окна, тихо беседуя, стоят три незнакомых мордастых господина в одинаковых пиджаках, в гуттаперчевых воротничках на багровых от полнокровия шеях. Заметив, что Червинская открыла глаза, все трое как по команде взяли за спинки венских стульев, поднесли их к самому дивану и сели на них разом, окружив лежавшую женщину.

— Доброе утро, — сказали они хором.

Червинская до глаз натянула на себя одеяло.

— Господи, где я?.. Кто вы такие?..

— Спокойно. Мы — контрразведка.

Чтобы раз и навсегда испугать эту организацию, дама дико завизжала, но удар пощечины ослепил ее, как вспышка молнии. Тогда она села на постели и стала плакать.

— Без истерик, — предупредили ее. — Вы должны отвечать на любой наш вопрос. Быстро. Не думая. Точно. Кратко.

В основном ее расспрашивали о конторе Альтшуллера.

Она рассказала все что знала, что видела.

— Можете одеваться, — сказали ей.

— Выйдите, — попросила она.

— Мадам, это само собой разумеется...

Червинская потом говорила жене Сухомлинова:

— Чтоб я треснула, если бы могла снова найти адрес этого дома, где была наша пылкая ночь любви... Ах, какой мужчина! Боже, он, кажется, из британского посольства. Сэр! Нет, лорд! Знаете, что он мне говорил? С ума можно сойти... Он так пылал. Я, конечно, отвергла все его попытки, хотя признаюсь, было нелегко устоять перед таким мужчиной. Он обещал мне позвонить.

И он действительно позвонил:

— Сегодня вечером в «Фантазии» на Разъезжей.

— Но я сегодня занята.

— Это нас не волнует. Будьте скромно одеты. Фасон вашего платья не имеет для встречи никакого значения.

На этот раз «принц» ограничил кутеж бутылкою вишневой воды и заказал для своей дамы мороженое с вафлями.

— Штабс-капитан Никитин... Если это вас интригует! Мы будем платить по сто рублей в месяц. Нас интересует контора Альтшуллера, где вы стучите на машинке, и... полковник Мясоедов.

— Но я Мясоедова видела только один раз.

— Повидайте второй, третий... Мы не спешим!

* * *

Мясоедов стоял на пороге кабинета Сухомлинова.

— Милости прошу. Что вас привело ко мне?

— Вы разве не узнали меня?

— Простите, — отвечал старик, — не упомянул.

Мясоедов ощутил неловкость своего появления:

— А я думал, что моя жена Клара Самуиловна...

— Ах, это ваша жена? — оживился Сухомлинов. — Ну, как же, как же... Теперь вспомнил! Так это с вашей супругой моя Катерина Викторовна проводила то дивное лето в Карлсбаде?

— Именно так.

— Прошу. Садитесь. Чем могу быть полезен?..

Итак, пора выводить на сцену Мясоедова, которому суждено быть повешенным. В судьбе этого полковника, как в слепой кишке, скопилась масса дрянных нечистот корпуса жандармов, и этот болезненный аппендикс вырежут под вопли всей русской армии.

2. Слепая кишка

Для начала приведу факт, ускользнувший от внимания историков... Волынь тогда кишмя кишела шпионами, а правление «Северо-Западного пароходства» давно подозревалось в шпионаже в пользу Германии. Служащий пароходства Моисей Капыльник был взят под стражу, дело его вел советник Квашнин-Самарин. Однажды в ресторане к нему подсел в штатском костюме Мясоедов, сказавший, что, как директор пароходства, он глубоко потрясен арестом своего сотрудника. Квашнин-Самарин понял, что корни этого «потрясения» уходят куда-то очень глубоко, иначе Мясоедов не стал бы тревожиться из-за мелкой конторской сошки. Юрист ответил, что подробности дела не помнит, а о политической стороне дела разумно умолчал. По поведению Мясоедова было видно, что он с облегчением распрямился. «Я вам чрезвычайно благодарен, — сказал он, — отныне я считаю Капыльника уволенным... Мне он уже не нужен!» Вскоре в виленскую тюрьму передали посылку с продуктами на имя Капыльника, который, покушав колбаски, тихонько умер. Квашнин-Самарин доложил «наверх» свои подозрения о Мясоедове, но это дело почему-то замяли... Писать о Мясоедове так же трудно, как о Богрове, ибо у Мясоедова, как и у Богрова, полно обвинителей, но еще не вывелись красноречивые адвокаты, мастера казуистики.

Романист имеет право на свою точку зрения...

Удар гонга! — пограничная станция Вержболово.

* * *

За этой станцией начинается Германская империя; здесь поезда делают остановку, работают погранохрана и таможня. Мясоедов был начальником Вержболовского жандармского отделения: пост очень важный! А в пятнадцати верстах от Вержболова находилось охотничье

имение кайзера «Роминтен», где Вильгельм II принимал у себя Мясоедова; однажды во время обеда, на котором присутствовали и берлинские министры, кайзер поднял бокал за здоровье «своего друга» жандарма Мясоедова! Русская контрразведка знала об этом, но... Германский император вправе допустить такую любезность. Генштаб беспокоило другое обстоятельство: образ жизни полковника. Время от времени, заскучав на перроне Вержболова, он совершал набеги на Вильно, где тогда был единственный кафешантан Шумана, и здесь «шампанское лилось рекой, золото сыпалось в карманы заморских див, подвизавшихся на подмостках шантана...». Мясоедов имел затяжную связь с некоей Столбиной, и лакеи кафешантана однажды слышали, как она, сильно пьяная, кричала:

— Ах, ты решил жениться? Хорош женишок... Я тебя как облупленного знаю! Я про тебя такое знаю, что с тебя не только погоны сорвут, но еще и тачку покатаешь на Сахалине...

Мясоедов нашел себе жену по другую сторону границы — в Германии; так в его жизни появилась Клара Самуиловна Гольдштейн, отец которой, кожевенный фабрикант, выехал в Россию, отвалив жениху чистоганом сто пятнадцать тысяч рублей. Скоро контрразведка докопалась, что Мясоедов берет взятки с таможи, тайком — на служебном автомобиле — он вывозит в Германию контрабандные товары, очень крупно спекулирует. Налаженные связи еврейской торговой агентуры обеспечивали Мясоедову полную безнаказанность, и поймать его, как ни старались, было невозможно, ибо полковник использовал «пантофельную» почту германских евреев. В 1907 году Столыпин приказал перевести Мясоедова во внутренние губернии страны «не ближе меридиана Самары» (чтобы оторвать полковника от немецкой клиентуры). Мясоедову было заявлено: «Вы — русский офицер, и это звание несовместимо с тем, чтобы вы заодно служили и экспедитором кайзеровских фирм...» Мясоедов от меридиана прусской границы оторваться не пожелал и подал в отставку, а в Вильно возникло акционерное общество «Русское Северо-Западное пароходство», председателем в котором стал Мясоедов — для вывески! На самом же деле пароходством управляли родственники Кларочки — Давид и Борис Фрейберги; конторою ведал русский барон Отто Гротгус, один из видных агентов германского генштаба. Фирма занималась исключительно вывозом евреев-эмигрантов из России и

Польша — для заселения «обетованной земли» в арабской Палестине! Контрразведка установила, что под русской вывеской отлично замаскировался филиал загадочной германской фирмы, связанной с генштабом Германии! Расследование отчетности пароходства МВД поручило Отто Фрейнату, который дал о Мясоедове самый блистательный отзыв (а позже Фрейната... повесили как крупного немецкого шпиона). Так и текла эта жизнь, время от времени прерываемая поездками в Германию или набегами на виленский шантан Шумана, где подле Мясоедова появлялась Столбина.

— Вот ты у меня где! — кричала пассия, показывая кулачок. — Надавлею раз, и... я ведь все про тебя знаю!

Встреча в Карлсбаде жены Сухомлинова с Кларой Самуиловной решила все остальное. Началось с перчаток германского производства, а кончилось тем, что мадам полковница явилась на Мойку в гости к госпоже министерше, имея такую дивную муфту...

— Боже, какое чудо! — ахнула Сухомлинова.

— Скажу по секрету, милочка: муфта стоит полторы тысячи рублей, а продается... всего за сотню.

После покупки муфты Мясоедов и предстал перед Сухомлиновым, просясь вновь определиться на воинскую службу.

— Хорошо. У вас, говорят, какие-то были темные пятна... Ну, да ничего! Я о вас поговорю с самим государем.

Через двадцать дней после убийства Столыпина (этого главного врага Мясоедова!) император подписал указ о принятии Мясоедова на службу. Сухомлинова сразу же навестили его собственные адъютанты.

— Ваше высокопревосходительство, если этот шахермахерщик станет вашим адъютантом, мы все подаем в отставку...

Тогда Сухомлинов, специально для Мясоедова, создал при министерстве особое бюро по борьбе с революционной пропагандой в армии и на флоте, куда и посадил Мясоедова — владычить! Полковник не пролез в адъютанты военного министра, а числился лишь «прикомандированным к военному министру». Заодно уж он собирал для Сухомлинова министерские сплетни, нашептывая на ухо старику: «А ваш помощник Поливанов... знаете, что он сказал?..» Был лишь один неприятный момент. Надо было пройти через горнило кабинета министра внутренних дел.

— Вот как? — удивился Макаров. — Странно мне видеть вас снова полковником... Как вам удалось определиться на службу?

— По личному повелению его величества.

— Значит, вы перепрыгнули через мою голову? Но теперь-то, надеюсь, вы — с погонами! — оставите прежние свои гешефты?..

Нет, не оставил. Макаров докладывал царю, что «Мясоедов связан с еврейским обществом, которое, нарушая русские законы, разоряет Русское государство». Один только человек в семье Сухомлиновых был настроен против Мясоедова и его Клары — это Наталья Червинская, которая выражала точку зрения контрразведки.

* * *

Угадывая желания царя, Сухомлинов делал вид, будто никакой Думы не существует, а поэтому докладчиком в Думе по военным делам был его помощник Поливанов... Гучков навестил Поливанова.

— Можете дать что-либо о Мясоедове?

— Кроме гадостей, о нем ничего более не знаю.

— Схарчим и гадость... Давайте!

Поливанов поехал на стрельбище Семеновского полка, где опробовали новое оружие. Автомобиль помощника министра нечаянно обогнал автомобиль самого министра. Поливанов потом сказал:

— Извините, я случайно перерезал вам дорогу.

Сухомлинов с небывалым раздражением отвечал:

— Хорошо, что перерезали только дорогу, а то ведь говорят, что вы и меня зарезать готовы, лишь бы сесть на мое место...

После стрельб Поливанов сел в «мотор» министра.

— Я требую сатисфакции по поводу оскорбления меня.

Сухомлинов извинился! А затем сказал, что получает теперь анонимки, отпечатанные на машинке, из коих явствует, что Поливанов не раз жаловался, будто он, Сухомлинов, свалил на него всю работу министерства, а сам катается в командировки, дабы рвать «жирные» прогоны — жене своей на тряпки.

— Говорили вы так... о тряпках?

Поливанов резко прервал разговор с Шантеклером:

— После недоверия, выраженного вами ко мне, я вынужден хлопотать о почетном уходе из военного министерства...

Сухомлинов, побывав в Ливадии, сообщил ему:

— Государь изволил меня спрашивать, почему Поливанов, назначенный в Совет, по-прежнему мне помощничает?

Все ясно — отставка. А в спину уходящему Поливанову министр еще крикнул, что не надо было ему соваться в чужие тряпки:

— Будете знать, как перерезать дорогу старшим!

Вскоре Гучков (со слов Поливанова) выступил в Думе против Сухомлинова, обвиняя его в устройстве при Военном министерстве «охранки» во главе с жандармом Мясоедовым. После этого, указывая Гучков с трибуны, «одна из соседних держав стала значительно осведомленнее о наших военных делах, чем раньше». Петербуржцы рвали из рук газеты — скандал, опять скандал, да еще какой! В кампанию против Сухомлинова и Мясоедова включился беспринципный любитель коньяков Борька Суворин, который развернул в своей «Вечерке» картину предательства в военных верхах... В паддоке столичного ипподрома подслеповатый Мясоедов, часто протирая пенсне, отыскал Суворина среди любителей скакового дерби.

— Это вы, сударь, писали, что я шпион? — спросил он издателя.
— В таком случае как дворянин предлагаю стреляться.

— Да иди ты к черту! — сказал ему Борька. — Или у меня дел больше нету, как только с тобой дуэлировать?

Мясоедов набил ему морду. После чего он послал секундантов на квартиру к Гучкову, а тот до дуэлей был сам не свой.

— Стреляться? Пожалуйста. Хоть сейчас.

Мясоедов целился тщательно и... промахнулся.

Гучков (отличный стрелок) выстрелил... в воздух.

Наталья Червинская говорила Сухомлинову за ужином:

— Ну, кто был прав? Я предупреждала. Теперь сами видите, что получился какой-то кишмиш на постном масле...

Сухомлинову позвонил по телефону Макаров.

— Владимир Александрович, — сказал министр внутренних дел министру военному, — должен вас предупредить, что Мясоедов — лошадка темная. Департамент давно имеет на него досье.

— Вы бы знали, как я устал от ваших фокусов!

— Хорошо, — ответил Макаров, — понимаю, что разговор явно не для телефонов, я напишу вам подробнейший доклад...

Пока Макаров писал донесение, Мясоедов по-прежнему околачивался при министре. Сухомлинов однажды вручил ему для передачи в Генштаб пакет со сверхсекретным протоколом военного соглашения с Фрцией. (Позже Сухомлинов оправдывался тем, что пакет был «хорошо заклеен», — как будто шпионы не умеют открывать заклеенных конвертов! Мясоедов был честнее министра и сознался, что конверт был «почти не заклеен».) Макаров закончил писать донесение, на которое Сухомлинов ответил ему опять-таки по телефону, — ответил так, что можно упасть в обморок:

— *Даже если ваши подозрения справедливы* и Мясоедов действительно шпион, то он у меня ничего не узнает...

Дураков не учат — дураков бьют! Но в МВД еще не знали, что секретное письмо Макарова, в котором он вскрыл подпольные связи Мясоедова с германской агентурой, — это письмо Сухомлинов дал прочесть самому Мясоедову. «Ну какая наглость!» — возмутился тот. А между тем «наглость» русской контрразведки была построена на железной логике. Вот как строилась схема германского шпионажа: Мясоедов и его паролодство — Давид Фрейберг — Фрейберг связан с германским евреем Каценеленбогеном — этот Каценеленбоген связан с евреем Ланцером — а сам Ланцер являлся старым германским разведчиком, давно работавшим против России, и эти сведения были трижды проверены!

— Вы будете меня защищать? — спросил Мясоедов.

— Извините, голубчик... трудно, — уклонился Сухомлинов. — На меня уже и так много разных собак навешали.

— Тогда подаю в отставку.

И уехал в Вильно, где гешефты продолжались...

* * *

Макаров, сухой полицейский педант, принял у себя группу контрразведчиков российского Генштаба.

— Господа, давайте разберемся... Его императорское величество указал нам не тревожить дурака Сухомлинова, а значит, мы не можем трогать и контору Альтшуллера на улице Гоголя...

— Но можно, — намекнули ему, — произвести в конторе такой «чистый» обыск, что даже пыль останется на своем месте.

— Война с Германией, — продолжал Макаров, — начнется через год. Граф Спанюки, австрийский военный атташе, попался на том, что за денежки купил наши секретные карты у барона Унгерн-Штернберга, служащего в фирме, возглавляемой Мясоедовым...

Контрразведчики напомнили ему, что этот Унгерн-Штернберг — ближайший родственник князя Андронникова-Побирушки. Макаров спросил: кто непосредственно держит связь с Альтшуллером?

— Корреспондентка немецких газет Одиллия Аурих.

— Какие связи с ней установлены?

— Видели ее с Мясоедовым... гуляли по Стрелке.

— Опять Мясоедов! — воскликнул Макаров. — Просто язва какая-то, куда ни плюнешь — попадешь в Мясоедова... Но вот вопрос: какова же та интимная тайна из личной или служебной жизни Сухомлинова, зная которую Альтшуллер держит министра в руках?

— Догадываемся, — отвечали контрразведчики. — Очевидно, это связано с отравлением второй жены Сухомлинова. Киевляне твердо убеждены, что, дав жене яд, он зажал ей рот, пока она яд не проглотила. Альтшуллер может его на этом шантажировать!

— Всем на орехи будет, — закруглил Макаров. — Диву даюсь, что вокруг российского Марса скопилось столько нечистот и выросло столько аппендиксов, которые предстоит удалять сразу же, как только прозвучит первый выстрел битвы с Германией.

— Вы забыли еще о Манасевиче-Мануйлове!

— Вот прорва! Спасибо, что напомнили...

Контрразведка выяснила, что Мясоедов заодно с провокатором Богровым добывал за границей фиктивные документы для развода Екатерины Викторовны с Бутовичем и для этого выезжал в Германию (не отсюда ли, я думаю, до наших дней тянется версия, что убийство Столыпина было задумано и оформлено в германском генштабе?). Было известно, что Альтшуллер имеет под Веной богатую виллу, на

которой гостили оба — Мясоедов и Сухомлинов. Наконец, поссорившись с министром, Мясоедов предложил несчастному Бутовичу купить за десять тысяч рублей секретные документы, компрометирующие военного министра (Бутович от сделки отказался)...

Гневный душитель революции, Макаров был въедливым и точным механиком потаенного сыска, и казалось, что у царя никогда не возникнет желания от него избавиться!

3. Медленное кровотечение

Казалось бы, что тут такого — царь приехал в Москву? А между тем придворная камарилья говорила: «Царь простил москвичей». Со времени московского восстания 1905 года Николай II первопрестольную вроде проклял; только в 1912 году, в юбилей Бородинской битвы, он впервые рискнул посетить столицу своих предков. Сто лет назад близ старой Смоленской дороги громыхала битва, отзвуки которой по сию пору слышны в каждом российском сердце. Бородинские торжества имели немало помпезности, дешевой сусальности. Из числа думских депутатов ехать в Бородино пожелали депутаты-крестьяне, но Родзянко сказал им:

— Как поедете? Билетов-то нам не прислали.

— Чего они там боятся? — спросили крестьяне.

— А черт их знает! Даже я билета не получил...

Родзянко еще раз просмотрел церемониал Бородинских торжеств и увидел, что его, председателя Думы, в церемонии тоже не учли. Сердитый, назло царю, он сел в поезд и приехал в Москву, где его сразу же осадил церемониймейстер барон Корф:

— Депутаты Думы не имеют права быть при дворе.

— Так что же здесь празднуют? — зарычал Родзянко. — Если Бородинские торжества, так это праздник не придворный, а всенародный. Кстати, церемониймейстеры не спасали тогда Россию...

Он писал: «На Бородинском поле государь, проходя очень близко от меня, мельком взглянул в мою сторону и не ответил мне на поклон». Царь был уверен, что «толстяка» не изберут в председатели четвертой Думы, а значит, не стоит ему и кланяться... На Бородинском поле среди местных крестьян нашлись ветхие старцы и старухи, свидетели Бородинской битвы. В торжестве принимали участие и французы — внуки наполеоновских гвардейцев; в суровом молчании, под мирные возгласы рокочущих барабанов французы возложили венки как на французские, так и на русские могилы.

Время стерло следы прежней вражды!

В это же время германский рейхстаг, под бурные овации кайзеру, вотировал новый закон об увеличении рейхсвера.

— Мы тоже... допингируем, — говорил Сухомлинов.

* * *

Николай II был достаточно воспитан, чтобы не выражать свою кровожадность открыто. Зато в охоте проявил себя настоящим убийцей! Кажется, он вступил в негласное соревнование с другим фанатиком уничтожения природы — эрц-герцогом Фердинандом, наследником австрийским... Бывали дни (только дни!), когда царь успевал набить тысячу четыреста штук дичи; в особом примечании Николай II записывал в дневнике — с садизмом: «Убил еще и кошку». Сколько уничтожено им редких животных — не поддается учету. Для него охота не была охотой, если число жертв не округлялось двумя нулями. А после кровопролития очень любил взгромоздиться с ружьем на еще теплые трупы животных, и тогда его фотографировали... После Бородинских торжеств царь со всем семейством отъехал в Польшу — в заповедное имение Спалу. Его сопровождал богатый арсенал орудий убийства и целый штат придворных палачей, готовых помочь царю в уничтожении природы. Был чудесный теплый октябрь, и Крулев ляс затрещал от выстрелов, быстро росла гора окровавленных трупов. В промежутке отдыха царская семья забавлялась, наблюдая за матросом Деревенько, который, обвешавшись шеvronами «за безупречную службу», носился бегом с наследником престола на сытом своем заливке...

Гемофилия сделала из ребенка калеку. Однажды в Спале катались по озеру, и, когда подгребли к берегу, мальчик не вытерпел — решил первым спрыгнуть на землю. При этом нечаянно ударился о борт лодки. Две недели спустя в паху у ребенка образовалась кровяная опухоль — гематома; в Спалу срочно вызвали лучших врачей — Федорова, Раухфуса, Боткина. В таких случаях необходимо вмешательство хирургии, но гемофилия не допускала применения скальпеля: резать его — значило тут же убить! 21 октября температура у Алексея подскочила до 39,8°. Федоров сказал царю, чтобы он с женою были готовы к самому худшему исходу.

Сразу возник вопрос о судьбах престола. «Условный регент» великий князь Михаил под именем графа Брасова околачивался за границей. Породить второго сына царица, в силу женских немощей, была уже не способна. А великие князья Владимировичи, Борис и Кирилл, уже таскались к Щегловитову, спрашивая, какие у них есть юридические права на престол. Ванька Каин ответил им, что прав у них нету, но права сразу появятся, если их мать из лютеранства перейдет в православие. Чтобы добыть права на престол забулдыгам-сыновьям, старая потаскуха Мария Павловна (из дома Мекленбург-Шверинского) разделась и полезла в купель, дабы воспринять веру византийскую. Говорят, что дядя Николаша сказал ей: «А чего ты раньше думала, дура старая?..» Об этом Щегловитов моментально сообщил в Спалу. В спальской церкви днем и ночью текли клубы ладана; царь телеграфировал Саблеру, чтобы перед Иверской иконой отслужили торжественную литургию; в столичном Казанском соборе круглосуточно совершали молебны о выздоровлении наследника...

— Можете ли спасти мне сына? — спросил царь врачей.

— Мы не боги, — ответил за всех старый Раухфус.

23 октября в Спалу приехал министр иностранных дел Сазонов; было очень раннее утро, в охотничьем шале все еще спали, министр пристроился возле камина, наслаждаясь теплом. Он привез царю доклад о положении на Балканах, о том, что схватка с германским милитаризмом близится... По лестнице, убранной рогами оленей, спустилась умиротворенная сияющая императрица.

— Вы улыбаетесь? Значит, наследнику лучше?

— Нет, — отвечала Алиса, — моему сыну хуже. Но я получила телеграмму от Распутина, который написал мне, что господь увидел мои слезы и теперь наследник останется жить.

Что тут можно сказать? Сазонов промолчал.

Днем температура пошла на убыль, а гематома медленно рассосалась. Если это чудо, то Распутин и в самом деле святой! Кровотечение наследника и прекращение его давно меня занимали. [\[16\]](#) Тропинка исторических подозрений заводит нас в клинику доктора Бадмаева... Шарлатан снабжал Вырубову странным китайским снадобьем, которое увеличивало любое кровотечение, не только гемофилическое. Вырубова незаметно подсыпала эту отраву в пищу ребенка, а потом, когда болезнь обострялась, в интригу активно

вторгался и сам Распутин, действуя «заговорами» или «божественной силой». Вырубова прекращала давать наследнику бадмаевские травы — наследник выздоравливал. В любом случае все трое имели выгоду: Распутин усиливал свою власть в царской семье, Вырубова держала в руках Распутина, а Бадмаев обретал право шантажировать обоих, что он очень тонко и делал!

Как бы то ни было, но Дума при известии о выздоровлении наследника дружно встала и пропела «Боже, царя храни...».

* * *

А когда петь закончили, Родзянко решил малость поправить свои отношения с Царским Селом — он сказал с трибуны:

— Государственная Дума четвертого созыва продолжает свои занятия с неизменным чувством незыблемой преданности своему венценосному вождю... Поручите мне передать государю императору чувство огромной верноподданнической радости по случаю чудесного выздоровления наследника-цесаревича!

С линзой в руках я обшарил всю громадную фотографию, на которой — в развороте амфитеатра Таврического дворца — открывается панорама четвертой Думы; я нашел того, кого искал. Вот он, заложив руки назад, с напряженным вниманием выслушивает речь председателя, а на лице застыла почтительная внимательность... Это Хвостов! «Избранники народа» домогались у Фредерикса «о счастья представиться государю императору», на что Фредерикс, переговорив с царем, дал благосклонное согласие. Естественно, что в эту депутацию вошел и лидер правых. Поверх камергерского мундира он укрепил пышный бант из трех национальных цветов имперского флага, а поверх банта нацепил... значок! Николай II, обходя шеренгу «умеренных», спросил Хвостова:

— Что это у вас за значок?

— Значок «Союза русского народа».

Согласно чиновному положению ношение значков при форменной одежде возбранялось, и царя покорило это афиширование

патриотизма. Неожиданно он повернул обратно, указал пальцем:

— Снимите... вот это!

Но, запомнив дерзость Хвостова, государь, конечно, теперь будет и помнить о самом Хвостове. В тамбуре дачного поезда, возвращаясь из Царского Села, Хвостов жадно курил, мрачно размышляя: «Черт! Неужели не стану министром внутренних дел?..»

* * *

Министр внутренних дел Макаров, загруженный ювелирными деталями тончайшего политического сыска, закончил свой очередной доклад императору... Был декабрь 1912 года.

— Благодарю за службу, — сказал царь, выслушав его, — а теперь, Александр Александрович, вы можете подавать в отставку.

— Простите, государь, я не ослышался?

Царь повторил. Макаров зарыдал.

— Голубчик мой, — говорил царь, утешая опричника, — да что вы так переживаете? Я ведь к вам зла не имею... Люблю вас!

— За что же... за что меня гоните?

— Ах, боже мой, да успокойтесь...

— Чем я не угодил вашему величеству?

— Всем! Всем угодили. Не надо плакать...

Непонятно, каковы же причины, по которым убрали Макарова. Субъективно рассуждая, этот старый полицейский волк был «на своем месте». Коковцев — за него! Царь тоже стоял за Макарова!

Тогда... почему же его бессовестно вышибали?

Макаров удалился, так и не осознав, что нельзя быть министром внутренних дел, не выказав основательного респекта Гришке Распутину. На место Макарова царь вызвал из Чернигова клоуна и имитатора Николая Алексеевича Маклакова, вошедшего в историю МВД под кличкую Влюбленная Пантера. В это же время Степан Белецкий лелеял в душе ту мысль, которая уязвляла и душу Хвостова: «Как посмотришь вокруг, так нет ничего слаще эм-вэ-дэ с его рептильными фондами... Неужели я недостоин?»

4. В канун торжества

Петербург пробуждался, весь в приятном снегу, тонкие дымы, будто сиреневые ветки, тянулись к ледяному солнцу, заглянувшему в спальню директора департамента полиции. Белецкий еще спал, и жена дожидалась, когда он откроет свои бесстыжие глаза...

— Степан, я давно хочу с тобою поговорить. Оставь все это. Ты уже достиг поднебесья. Просись обратно в губернию.

Поняв причину ее вечных страхов, он сказал:

— Губернаторы тоже причислены в эм-вэ-дэ.

— Пусть! Но перестань копать в этом навозе.

— С чего бы мы жили, если бы я не копался?

— Лучше сидеть на одной каше, но спать спокойно. Я же вижу, как полицейщина засасывает тебя, словно поганое болото...

Белецкий натянул штаны, пощелкал подтяжками.

— С чего ты завела это нытье с утра пораньше?

— Я завела... Да ведь мне жалко тебя, дурака! Погибнешь сам, и я погибну вместе с тобою... Пожалей хоть наших детей.

— Можно подумать, — фыркнул Белецкий, — что все служащие полиции обязаны кончить на эшафоте. Оставь заупокойню!

Жена заплакала.

— Об одном прошу, поклянись мне, что никогда не полезешь в дружбу с этим... Ну, ты знаешь, кого я имею в виду.

— Распутина? Так он мне не нужен...

Жена в одной нижней рубашке соскочила с кровати.

— Не так! — закричала она. — Встань к иконе! Пред богом, на коленях клянись мне, Степан, что Распутин тебе не нужен.

Он любил жену и встал на колени. Директор департамента полиции, широко крестясь, принес клятву перед богом и перед любимой женой, что никогда не станет искать выгод по службе через Гришку Распутина... Жена подняла с пола уроненную шпильку, воткнула в крепкий жгут волос на затылке.

— Смотри, Степан! Ты поклялся. Бог накажет тебя...

В прихожей он напялил пальтишко с вытертым барашковым воротником, надел немудреную шапчонку, сунул ноги в расхлябанные

фетровые боты. У подъезда его поджидал казенный «мотор».

— В департамент, — сказал, захлопывая дверцу...

«Ольга, как и все бабы, дура, — размышлял директор в дороге. — Где ей понять, что в таком деле, какое я задумал, без Гришки не обойтись, но я ей ничего не скажу... Господи, жить-то ведь надо! Или мало я киселя хлебал? О боже, великий и насущный, пойми раба своего Степана...» Шофер, распугивая зевак гудением рожка, гнал машину по заснеженным улицам столицы — прямо в чистилище сатаны! На Фонтанку — в департамент.

* * *

Ротмистр Франц Галле в шесть утра уже был в полицейском участке. «Много насобирали?» — спросил, зевая. Дежурный пристав доложил о задержанных с вечера: нищие, воры, налетчики, взломщики, наркоманы, барахольщики, хинесницы, проститутки... По опыту жизни Галле знал, что рабочий день следует начинать с легкой разминки на нищенствующим (это вроде физзарядки).

— Давайте в кабинет первого по списку, — указал он; вбросили к нему нищего, сгорбленного, в драной шинельке.

— Ах ты, сучий сын... Где побирался, мать твою так размать!

— На Знаменской... какое сейчас побирание!

— Почему не желаешь честно трудиться?

— Дык я б пошел. Да кому я нужен?

— Семья есть? — спросил Галле, еще раз зевая.

— А как же... чай, без бабы не протянешь.

— Дети?

— У-у-у... Мал мала меньше.

— Детей наделать ума хватило, а работать — так нет тебя? — Сорвав трубку телефона, Галле стал названивать в Общество трудолюбия на Обводном канале, чтобы прислали стражников. — Да, тут одного охламона надо пристроить...

Шмыгнув красным носом, нищий швырнул на стол ротмистру открытый спичечный коробок, из которого вдруг побежали в разные

стороны клопы, клопищи и клопики — еще детеныши.

— Я тебя в «Крестах» сгною! — орал Франц Галле, давя клопов громадным пресс-папье, и с кончиною каждого клопа кабинет его наполнялся особым, неповторимым ароматом...

— Честь имею! — сказал «нищий», распахивая на себе шинельку, под которой скрывался мундир. — Я министр внутренних дел Маклаков, а клопов сих набрался в твоём клоповнике... Ну, что? Не дать ли вам, ротмистр, несколько капель валерьянки?

Началась потеха: всех арестованных за ночь погнали из камер на «разбор» к самому министру... Одна бесстыжая краля, понимая, что в жизни еще не все потеряно, мигнула Маклакову.

— Слышь! — сказала. — Ты со мной покороче. Я ведь тебе не Зизька, которая по пятерке берет, а у самой такой триппер, что ахнуть можно... Я ведь честная, здоровая женщина!

— Ах, здоровая? Тогда проваливай...

Взломщики сочли Маклакова за своего парня. Он угостил их папиросами, душевно побеседовал о трудностях воровского мастерства. Несколько дней полиция Петербурга находилась в состоянии отупляющего шока. Боялись взять вора-домушника. Страшились поднять с панели пьяного... «Поднимешь, в зубы наkostenяешь, а потом окажется, что это сам министр». Маклаков, подлинный мистификатор, являлся в участки то под видом адъютанта градоначальника, то бабой-просительницей, то тренькал шпорами гусарского поручика. Гримировался — не узнаешь! Голос менял — артистически! Петербург хохотал над полицией, а сам автор этого фарса веселился больше всех. Озорная клоунада закончилась тем, что царь сказал Маклакову:

— Николай Алексеич, пошутили, и хватит... Я прошу вас (лично я прошу!), окажите влияние на газеты, чтобы впредь они больше не трепали имени Григория Ефимовича...

Обывателю не возбранялось подразумевать, что Распутин где-то существует, но он, как вышний промысел, всеобщему обсуждению не подлежит. Натянув на прессу намордник, Маклаков вызвал к себе Манасевича-Мануйлова, которого отлично и давно уже знал по общению с ним в подполье столичных гомосексуалистов.

— Ванечка, ты больше о Распутине не трепись, золотко.

— Коленька, ты за меня не волнуйся...

Влюбленная Пантера совершала немислимые прыжки и, покорная, ложилась возле ног императрицы, облизывая ей туфли. Царь отверг резолюцию Коковцева, который о Маклакове писал: «Недостаточно образован, малоопытен и не сумеет сыскать доверие в законодательных учреждениях и авторитет своего ведомства». Но что значит в этом мире резолюция? Бумажка...

* * *

Ванечка зашел на Невском, дом № 24/9, в парикмахерскую «Молле», владелица которой Клара Жюли сама делала ему маникюр. Между прочим, болтая с неглупой француженкой, Манасевич-Мануйлов краем уха внимательно слушал разговоры столичных дам:

— Теперь чулки прошивают золотыми пальетками, так что ноги кажутся пронизанными лучами утреннего солнца.

— Слава богу, наконец-то и до ног добрались! А то ведь раньше только и слышишь: глаза да глаза... Как будто, кроме глаз, у женщины больше ничего и нету.

— А Париж уже помешался на реверах из черного соболя.

— Ужас! Следует быть очень осторожной.

— Неужели опять обман?

— Да! От белой кошки берут шкуру, а от черной кошки берут хвост. Продается под видом *egalite* «под нутрию»!

— С ума можно сойти, как подумаешь... За какого-то зайца под белку я недавно отдала двадцать рублей.

— Вам еще повезло! А я за собаку под кошку — пятнадцать и была еще счастлива, что достала...

— Главное сейчас в жизни — это муфта.

— Да. В нашем жестоком веке без муфты засмеют!

— Мне один знакомый молодой человек (так, знаете, иногда встречаемся... как друзья!) рассказывал, что скоро в Сибири перестреляют всего соболя, и тогда мы будем ходить голыми.

— Уже ходят! Недавно княгиня Орлова, урожденная Белосельская-Белозерская (та самая, которую Валентин Серов писал

на диване, где она на себя пальчиком показывает), вернулась из Парижа... Вы не поверите — ну, чуть-чуть!

— Как это, Софочка, «чуть-чуть»?

— А так. Прикрыта. Но... просвечивает.

— Конечно, ей можно! У нее заводы на Урале, у нее золотые прииски в Сибири. А если у меня муж в отставке без пенсии, а любовник под судом, так тут при всем желании... не разденешься.

— Ну, я пошла. Всего хорошего. Человек!

— Чего изволите?

— Подними мою муфту. Еще раз — до свиданья.

— Счастливая! Вы заметили, какой у нее «пароди»?

— Это старо. Сейчас Париж помешался на «русских блузках». Конечно, в одной блузке на улицу не выйдешь. К скромной блузочке необходимо приложение. Хотя бы кулон от Фаберже!

— В моде сейчас крохотная голова и длинные ноги.

— Об этом давно говорят. А к очень маленькой голове нужен очень большой-«панаш» из перьев райских птиц... Человек!

— Чего изволите?

— Вынеси шляпу... не урони. Ремонт очень дорог...

Ванечка небрежным жестом оставил Кларе Жюли пять рублей за маникюр и помог одной даме надеть шубу (из кошки или из собаки — этого он определить не мог), прочтя ей четверостишие:

Последний звук последней речи
Я от нее поймать успел,
Ея сверкающие плечи
Я черным соболем одел.

Дама оказалась знающей и мгновенно парировала:

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем. И она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха...

Действуя по наитию, Ванечка подошел к телефону.

— Здравствуй, Григорий Ефимыч, — сказал приглушенно. — Не узнал? Это я — Маска... враг твой! Я прямо от Маклакова, он к тебе хорошо относится. За что? Не знаю. Он сказал: «Ванюшка, только не обижай моего друга Распутина...» Встретимся?

— Да я в баню собрался, — отвечал Распутин, явно обрадованный тем, что Маклаков к нему хорошо относится.

— Ну, пойдем в баню. Я тебе спину потру.

— Соображай, парень... Я же с бабами!

— Соображай сам: я уже столько раз бывал женщиной, что меня твое бабье нисколько не волнует. К тому же я еще и женат.

— Ладно. Приходи. Я моюсь в Ермаковских.

— Это где? Бывшие Егоровские?

— Они самые. В Казачьем переулке... у вокзала.

Распутина сопровождали семь женщин (четыре замужние, две овдовевшие и одна разведенная). Гришка тащил под локтем здоровущий веник, так что подвоха с его стороны не было. Пошли в баню с приятными легкими разговорами. Ванечка семенил сбоку, слушая. Неожиданно Распутин спихнул его с панели, сказав:

— А меня, брат, скоро укокошат... это уж так!

— Кто? — спросил Ванечка, испытав зуд журналиста.

— Да есть тут один такой... Ой и рожа у него! Не приведи бог... Я вчера с ним мадеру лакал. Человек острый...

Интересно было другое. На углу Казачьего переулка стояла грязная баба-нищенка, и Распутин окликнул ее дружески:

— Сестра Марефа, а я мыться иду... Не хошь ли?

— Рупь дашь, соколик, тогда уступлю — помоюсь.

— Трешку дам. Пива выпьем. Чего уж там! Причаливай...

Из соображений нравственного порядка я дальнейшие подробности опускаю, как не могущие заинтересовать нашего читателя. Но хочу сказать, что после бани Распутин платье баронессы Иксульффон-Гильденбрандт, пошитое в Париже на заказ, отдал нищенке, а знатную аристократку обрядил в отрепья сестры Марефы.

— Горда ты! — сказал ей. — Теперича смиришься...

При выходе из бани заранее был расставлен на треноге громадный ящик фотоаппарата, и Оцуп-Снарский (тогдашний фоторепортер Сувориных) щелкнул «грушей» всю компанию Гришки с дамами.

— Вот нахал Мишка! — сказал ему Распутин без обиды. — Доспел-таки меня... ну и жук ты! Пошли со мной мадеру хлебать...

* * *

Под видом интервью, якобы взятого у Распутина, Ванечка со всеми подробностями описал этот Гришкин поход в баню. Борька Суворин «интервью» напечатал в своей газете, за что, как и следовало ожидать, Ванечку потянули на Мойку — в МВД.

— Это же подло! — сказал ему Маклаков. — Я дал слово государю, что Распутина трогать не станут, ты дал слово мне, что не обидишь его, и вдруг... сходил и помылся! Ты меня, Ванька, знаешь: шуточки-улыбочки, но и в тюрьму могу засадить так прочно, словно гвоздь в стенку, — обратно уже будет не выдернуть.

— Ну что ж, — согласился Манасевич, — травлю Распутина я позже всех начал, мною эта кампания в печати и заканчивается...

Влюбленная Пантера проглядывал списки чиновников своего министерства и напоролся на имя князя М. М. Андронникова.

— Как? — воскликнул. — И этот здесь?

Самое странное, что ни один из столоначальников не мог подтвердить своего личного знакомства с Побирושкой.

— Знаем, — говорили они, — что такой тип существует в России, но упаси бог, чтобы мы когда-либо видели его на службе.

Маклакова (даже Маклакова!) это потрясло:

— Но он уже восемнадцать лет числится по эм-вэ-дэ. Мало того, все эти годы исправно получал жалованье... за что? Неужели только за то, что граф Витте когда-то внес его в список?

Стали проверять. Все так и есть: на протяжении восемнадцати лет казна автоматически начисляла Побирושке жалованье, а Побирושка получал его, ни разу даже не присев за казенный стол.

Маклаков велел явить жулика пред «грозные очи»:

— Чем занимаетесь помимо... этого самого?

— Открываю глаза, — отвечал Побирושка бестрепетно.

— Как это?

— А вот так. Если где увижу несправедливость, моя душа сразу начинает пылать, и я открываю глаза властям предержавшим на порядок... Я уже в готовности открыть глаза и вам!

Его выкинули. Побирושка кинулся к Сухомлинову.

— Маклаков лишил меня последнего куска хлеба. Если и ваше министерство не поддержит, мне останется умереть с голоду...

На этом мы пока с ними расстанемся.

5. Романовские торжества

Романовы-Кошкины-Захарьины-Голштейн-Готторпские...

Так исторически правильно они назывались! Было серенькое февральское утро 1613 года, когда возок с первым Романовым, ныряя в сугробах, под шум вороньего грая доставил его из Костромы в первопрестольную; болезненный и хилый отрок Михаил, плача от робости, водрузил на себя корону, которая теперь, три столетия спустя, сидела на голове его потомка Николая II... Триста лет — дата юбилейная, и Романовы весь могучий аппарат имперской пропаганды поставили на воспевание романовских торжеств, дабы в народе не иссякала вера в «добрых, премудрых и всемогущих царей-батюшек»! Ну, конечно, где торжества, где хорошие харчи с выпивкой, там без Гришки не обойтись...

В Казанском соборе совершал службу патриарх Антиохийский, когда Родзянко (под возгласы молебнов) лаялся с церемониймейстером Корфом на злободневную тему: кому где стоять — где Думе, а где Сенату? Председатель добился, чтобы Сенат задвинули в мышиную тень собора, а на свет божий вытаращились пластроновые манишки «народных избранников», причем Родзянко призвал депутатов «не сдавать занятую позицию». В подкрепление своих слов он вызвал полицию, оцепившую линию думского фронта. Но не успел Родзянко отереть пот с усталого чела, как подошел пристав.

— Там какой-то мужик с крестом прется вперед, уже встал перед думскими депутатами и ни в какую не уходит...

Распутин занял позицию перед Государственной Думой, перед Государственным Советом, перед Правительствующим Сенатом — в темно-малиновой рубахе из шелка, в лакированных сапогах, а поверх крестьянской поддевки красовался наперсный крест, болтавшийся на цепочке высокохудожественной выделки.

— А ты зачем тут? — зловеще прошипел Родзянко.

И получил хамский ответ:

— А тебе какое дело?

— Посмей мне «тыкать»! За бороду вытащу...

Родзянко вспоминал: «Распутин повернулся ко мне лицом и начал бегать по мне глазами: сначала по лицу, потом в области сердца... Так продолжалось несколько мгновений. Лично я совершенно не подвержен действию гипноза, испытал это много раз, но здесь я встретил непонятную мне силу огромного воздействия. Я почувствовал накипающую во мне чисто животную злобу, кровь отхлынула к сердцу, и я сознавал, что мало-помалу прихожу в состояние подлинного бешенства». На гипнотический сеанс мужика столбовой дворянин ответил своим гипнотическим сеансом, глядя на варнака с таким напряжением, что, казалось, глаза вылетят прочь и повиснут на ниточках нервов... И что же? Гипноз Родзянки оказался сильнее: Гришка съезжился и перешел на «вы»:

— Что вам угодно от меня? — спросил он тихо.

— Чтобы ты сейчас же убрался отсюда.

— У меня билет... от людей, которые повыше вас.

— Пошел вон... с билетом вместе!

«Распутин искоса взглянул на меня, звучно опустился на колени и начал отбивать земные поклоны. Возмущенный этой наглостью, я толкнул его в бок и сказал: „Довольно тебе ломаться!“ С глубоким вздохом и со словами: „О господи, прости его грех“, Распутин... направился к выходу». А там, на улице, оказывается, его, как важную персону, поджидал автомобиль из царского гаража, выездной лакей в императорской ливрее подал ему великолепную шубу из соболей, какой не мог бы справиться себе и Родзянко.

Распутин потом со смехом рассказывал:

— Я хорошую свинью подложил Родзянке, когда из собора ушел. Меня в собор сам царь звал. Спросит он: «А где ж Григорий?» А меня-то и нетути. Да его, скажут, Родзянко прочь вышиб... Вот смеху-то будет, коли Родзянку тоже домой погонят!

В этом году Распутин внял советам друзей и решил усилить свои гипнотические свойства. Тайком, скрываясь от филеров, он посещал кабинет Осипа Фельдмана, который давал ему уроки по влиянию на людей. Но обмануть департамент полиции не удалось, и Белецкий вскоре же установил, что Распутин оказался способным учеником Фельдмана, усилив свойственную ему силу внушения. Шила в мешке не утаишь; по столице стали блуждать слухи, что Распутин уже загипнотизировал царскую семью, теперь он вертит самодержцем как

хочет. Эта нелепая сплетня особенно подействовала на главара черносотенцев — доктора Дубровина, который спешно собрал съезд «союзников», где на высоком научном уровне обсуждался вопрос о «разгипнотизировании загипнотизированных их императорских величеств»! Был даже создан особый комитет, который ничем другим, кроме гипноза, не занимался. В качестве ведущего научного консультанта к работе привлекли ординатора психиатрической клиники приват-доцента В. Карпинского, который, встретясь с Дубровиным, сказал ему так:

— Всем вам обещаю бесплатное место в своей клинике...

«Разгипнотизирование загипнотизированных» Романовых-Кошкиных-Захарьиных-Голштейн-Готторпских черносотенцам не удалось!

* * *

А Европа была по-настоящему загипнотизирована событиями на Балканах, искры пожаров долетали до берегов Невы и Одера... Балканские войны 1912–1913 годов мы знаем «на троечку», а ведь наши дедушки и бабушки с невыразимой тревогой раскрывали тогда газеты. В Петербурге ошибочно полагали, что армии южных славян не сдержат натиска Турции; Россия будет вынуждена оказать им поддержку, а заодно откроет для себя и черноморские проливы. Турецкую армию обучали германские инструкторы, во главе ее стоял бравый «паша» фон дер Гольц; в канун войны кайзер вызвал его в Берлин и спросил — все ли готово, чтобы дать взбучку славянам? «Ganz niebel uns» (совсем как у нас), — ответил фон дер Гольц. Турция была вооружена устаревшим оружием — германским, славяне новейшим оружием — французским... Внешне построение балканских войск выглядело нелепо. Болгария, Греция, Сербия и Черногория (неожиданно для Петербурга!) вдрызг разнесли турецкую армию, и та панически бежала, оставляя европейские владения, Македонию и Албанию. Русская публика, приветствуя победы славян, пела на улицах «Шуми, Марица», а в Царском Селе не могли смириться с

мыслью, что болгарам достанется лакомый кусок турецкого пирога — Босфор, и потому казаки стегали на улицах публику, в восторге певшую «Шуми, Марица»! Первая Балканская война закончилась. Но не успели составить ружья в пирамиды, как сразу же — без передышки — возникла Вторая Балканская война: Сербия, Греция, Черногория и Румыния набросились теперь на Болгарию (вчерашнюю союзницу), а к ним примкнула и Турция (вчерашняя противница), — эта новая, неряшливо составленная коалиция извалтузила оставшуюся в одиночестве Болгарию. Русская дипломатия явно переоценила свое влияние на Балканах, а дух войны вырвался из повиновения мага Сазонова.

— В результате двух военных конфликтов, — рассуждал он, — возникли два политических результата: Румыния с королем, склонным к союзу с Германией, кажется, пойдет на союз с Россией, а Болгария, избитая до крови, отвернется от нас, уже примериваясь к неестественной для славян дружбе с Германией...

Довольных не было. Австрия потеряла надежду выйти к греческим Салоникам и нацелилась на захват Албании; Германия с тревогой наблюдала, как в синие воды Босфора рушились каменные быки пангерманского «моста», переброшенного от Берлина до Багдада. Пребывая в «настроении больного кота», кайзер вспоминал слова фон дер Гольца о том, что в Турции, разбитой славянами, «совсем как у нас»... Сложные узлы разрубают мечами!

В светлом пиджаке и при галстук-бабочке (что весьма легкомысленно для министра иностранных дел), Сергей Дмитриевич Сазонов не умел владеть ни лицом, ни голосом, ни жестом (что тоже не характерно для дипломата). Сейчас все его слова выдавали сильное волнение и смятение чувств, крах логики.

— Ощущение такое, — говорил он Коковцеву, — будто где-то под полом лежит «адская машина» и я слышу, как часики отщелкивают время, после чего... взрыв! Вся наша работа многих лет, все напряжение дней и бессонные ночи — все насмарку!

Коковцев, человек уравновешенный, отвечал:

— А в Берлине уже и не скрывают, что траншеи выкопаны. Но меня удивляет, что кайзер неизменно подчеркивает — война будет расовой: битва славянства с миром германцев. Мы присутствуем при завершении ужасающего процесса европейской истории...

— Где конец этого процесса?! — воскликнул Сазонов.

— Конца не ведаю, — невозмутимо сказал Коковцев, — но зато истоки процесса известны: это 1871 год, это разгром Франции бисмарковской Германией, это унижительное для французов провозглашение Германской империи в Зеркальном зале Версальского дворца, это... ошибки, сделанные лично нами, нашими отцами и нашими дедами еще со времен Венского конгресса!

Теперь кайзер утверждал: «Кто не за меня, тот против меня, а кто против меня, того я уничтожу». Россия три раза подряд уступала немцам, чтобы не вызвать всемирного пожара; уступила в 1909-м, в 1912-м, уступала и сейчас в 1913 году, но в 1914-м уступать будет уже нельзя. Из Берлина дошли слова кайзера: «Если войне суждено быть, то безразлично, кто ее объявит...»

— Могу ли я что-либо еще сделать? — спросил Сазонов.

— Милый Сергей Дмитриевич, вы уже никогда и ничего не сможете сделать. Вы просто не успеете отскочить в сторону, как эта пороховая бочка, сорвавшись с горы, расплющит вас.

— Значит... война?

Народы мира еще не хотели верить, что пролог уже отзвучал, — дипломатический оркестр торопливо перелистывал старые затерханные ноты, готовясь начать сумбурное вступление к первому акту великой человеческой трагедии, и безглазый дирижер, зажавшийся маэстро капитал, уже постучал по краю пюпитра: «Внимание... приготовьтесь... сейчас мы начинаем...»

* * *

В годы Балканских войн Распутин начал влезать в дела международной политики. Вернее, не он начал влезать, а его силком втаскивали в политику, заставляя разговаривать о ней... Бульварные газеты повадились брать у него интервью.

— Вот ведь, родной, — говорил Распутин, сидя на кровати, из-под которой торчал ночной горшок, — ты тока пойми! Была война там, на этих самых Балканах. Ну и стали всякие хамы орать: быть войне,

быть! А вот я спросил бы писателей: нешто хорошо это? Страсти бы укрощать, а не разжигать. Памятник бы поставить — да не Столыпину, какой в Киеве нонешней осенью отгрохали, — нет, поставить бы тому, кто Россию от войны избавил.

Репортер Разумовский перебил его:

— Я из газеты «Дым Отечества»... Вот вопрос: вы русский крестьянин, неужели же вам глубоко безразличны страдания ваших же братьев-славян от ига Австрии и Турции?

На что Распутин, погладив бороду, отвечал:

— А може, я не мене ихнего страдаю. А може, славянам твоим бог свыше дал испытание от турка. Бывал я в Турции, кады по святым местам ездил... А што? Чем плохо? Народец, глядишь, не шатается. Зато славяне твои обокрали меня на вокзале...

— Но ведь войны для чего-то существуют!

— А для чего? — спросил Распутин. — Скажи, какая мне выгода, ежели я тебя, мозглявого, чичас исковеркаю и свяжу, как в кутузке? Ведь опосля уснуть — не усну. А вдруг ты, паразит такой, ночью встанешь и меня ножиком пырнешь? Так и война! Победителю мира не видать: спи вполглаза да побежденного бойся. А мы, русские, не в Европу должны поглядывать (што нам ента Европа? Да задавись она!), а лучше в глубь самих себя посмотреть: такие ли уж мы хорошие, чтобы других учить разуму?..

Этот примитивный пацифизм Распутина объяснялся просто: внутренним чутьем он понимал, что вслед за войною придет революция — и неизбежный конец его приятной веселой жизни. Германии он не знал! Но когда ездил в Царицын к Илиодору, то часто посещал колонии немцев Поволжья, где его ошеломили чистота полов, фикусы до потолка и работа сельскохозяйственных машин германского производства. Но больше всего Гришку потрясло то, что немцы-крестьяне пили по утрам... кофе.

— Мать честная! — не раз восклицал он. — Утром встал, рожу ополоснул, а ему уже кофий ставят. Не чай, а кофий! Ну, где уж нам, сиволапым, с немаками тягаться? Живем, брат, из кулька в рогожку. А тут еще воевать хотим. Как можно германца победить, ежели он по утрам кофий дует? Соображай сам...

В конце 1913 года в Петербург прибыл болгарский царь Фердинанд (из династии Кобургских). Николай II не принял его. Тогда

царь Болгарии нагрянул с адъютантами прямо в квартиру Распутина на Английском проспекте, и Гришка даже не удивился:

— Чево надо? Папку повидать? Так иди. Повидаешь...

После этого император России принял царя Болгарии!

* * *

От внешней политики перейдем к сугубо внутренней, хорошо засекреченной. Чтобы иметь в доме «своего человека», Распутин выписал из Покровского племянницу Нюрку... Однажды в полдень эта девка разбудила его, крепко спавшего «после вчерашнего».

— Дядя Гриша, да встань ты... Машина-то звенит и звенит, уж я надсела — эдак страшно-то, что железки звенят...

Это звонил телефон! Календарь показывал декабрь 1913 года. В трубке Распутин услышал голос бывшей премьерши:

— Вас беспокоит Александра Ивановна Горемыкина... Сколько уж я спрашивала ваших знакомых, что вы любите больше всего, а они говорят: Григорий Ефимыч готов жить на одной картошке.

— Верно! — отозвался Гришка с охотой. — Картошку, да ежели ишо селедочку с молокой, да и лучку туда покрошить, так лучше закуски под мадеру и не придумаешь...

— Видно, что вы картофеля еще не ели! Я знаю десять способов его готовки. Вы сами скажете мне горячее спасибо.

Связываться со старухой из-за одной картошки не хотелось.

— А куды мне? Коль надо, так и в мундире наварим.

— Нет, нет, не отрицайте! Это чудо...

От старухи было никак не отлипнуть, а картошку она действительно варить умела. Гришка вскоре и сам привык, что картошка на столе должна быть только «горемычного» происхождения. Мадам Горемыкина брала таксомотор и с Моховой на Английский доставляла картофель еще горячим, пар шел! Заметив, что Распутин целует женщин, она тоже решила с ним «похристосоваться». Но Гришка грубейшим образом отпихнул ее с себя:

— Не лезь, карга старая! Картошку варишь — и вари! А ежели твоему дохляку-мужу чего и надобно, так скажи прямо...

В этом году синодальный официоз «Колокол» благовестил на всю Русь: «Благодаря святым старцам, направляющим русскую внешнюю политику, мы избежали войны и будем надеяться, что святые старцы и в будущем спасут нас от кровавого безумия...» С этой дурацкой статьей в руках оскорбленный Сазонов спрашивал царя:

— Разве я уже не министр иностранных дел? Какие такие старцы помогли нашей стране избежать в этом году войны?

— Сергей Дмитриевич, ну стоит ли обращать внимание?.. Ну их! Поберегите нервы. Сами знаете, написать все можно!

6. Горемычные истории

В истории всегда бывают случаи, которым суждено повторяться. Побирושка с утра пораньше ломился в двери горемыкинской квартиры, на улице трещал зверский мороз, был январь 1914 года.

— Откройте, это я... у меня замерзают фиалочки!

Мадам Горемыкина накрыла лысину париком.

— Опять вы, Мишель? Но мой Жано еще почивает...

Иван Логинович Горемыкин появился из спальни, словно старая моль из выдохшегося нафталина. Искал свою челюсть.

— Это вошмутительно. Не дадут пошпать шеловеку, который вштупил в девятый десяток шишни...

— Александр Иванович, — прослезился Побирושка, — вы даже не знаете, что вас ждет.

— Да ничего меня уже давно не ждет!

— Ошибаетесь — вас ждет Распутин и...

— Зачем мне этот ваш мужик Распутин?

— Ах, не порти мне настроения, — отвечала жена. — Я уже все сделала, что только можно, а ты спрашиваешь — зачем придет Распутин? Значит, так нужно! Мишель, скажите ему главное...

— Вы снова станете премьером, — объявил Побирושка.

— Какой я премьер? Одной камфарой держусь!

— Не притворяйся глупее, чем ты есть на самом деле, — возразила жена. — В конце концов, хотя бы ради уважения ко мне, согласишься еще разочек попремьерствовать. Тебе это даже полезно! Взбодрись. Знаю я тебя: еще к молоденьким побежишь...

— Если ветру не будет, — отвечал Горемыкин.

Побирושка вскоре привел Распутина для «смотрины» будущего визиря. Перед аудиенцией с чалдоном Горемыкин взбодрил себя инъекцией и был вполне доступен для понимания широкой публики. Разговора не было — как-то не получился. Но зато был конец свидания, когда Распутин старца по колену — хлоп-с!

— Ну, с богом! Валяй... сойдет.

Когда гости удалились, жена сказала:

— Вот и все. Это вроде укола. А потом приятно...

Горемыкин пребывал в некотором миноре.

— Опять я как старая лисья шуба, которую вынимают из нафталина лишь при дурной погоде... А куда они денут Коковцева?

* * *

С тех пор как Коковцев пожелал Гришке жить в Тюмени, а царица в Ливадии показала ему спину, премьер сознавал, что «сюрпризы» еще будут, и ничему больше не удивлялся. Владимир Николаевич зачитывал в Думе декларацию правительства, когда Пуришкевич встал и заявил, что ему осточертело словоблудие премьера. Потом, в разгар бюджетных прений, на «эстраду» вылез нетрезвый Марков-Валяй и, грозя Коковцеву пальцем, будто гимназисту, произнес с упреком: «А воровать нельзя...»

— Больше в Думу я не пойду, — сказал Коковцев жене. — Меня нарочно оскорбляют, чтобы я сорвался и наговорил нелепостей!

Атака на премьера велась одновременно с двух флангов, и за царским столом подал голос молодой и красивый капитан 1-го ранга Саблин, одинаково любезный с царем (с которым он выпивал) и с царицей (с которой он спал).

— Я недавно имел беседу с Петром Львовичем Барком, он сказал ясно: пора кончать с «пьяным бюджетом» Коковцева, нельзя вытягивать доход государства на одной водке.

— Это возмутительно! — поддержала его Алиса. — Ники, пора указать премьеру, чтобы прекратил спаивать верноподданных. О нас уже и так в Европе говорят небылицы, будто мы употребляем водку в сильную жару ради создания приятной прохлады в комнатах.

— Да, это скверно! — согласился царь.

— Барк очень разумно рассуждает об экономике государства, — добавил Саблин и, дополнив рюмку царя, пододвинул к императрице тарелку с жирным прусским угрем. — Если послушать Петра Львовича, то, вне всякого сомнения, Коковцев тянет нас в...

Вечером он тишком позвонил до дворцовому телефону:

— Игнатий Порфирьич, это я... Саблин. Как вы и просили, я сегодня завел разговор о Барке и разлил Коковцева.

— Муссируйте и дальше эти вопросы. Мне нужен Барк!

Саблин, беря деньги от Мануса, продолжал атаку:

— Барк желает национализации кредита, а Коковцев имеет наглость утверждать, что кредит космополитичен. Барк — лучший друг банкира Митьки Рубинштейна, а Митька свой человек в доме Горемыкиных, и вы знаете, что Митька сделает все, что ни попросит Григорий Ефимыч... Барк уже не раз помогал Распутину!

— Ники, ты слышишь? — спросила царица. — Подумай об этом Барке... Коковцев уже столько ласки получил от нас! Дай ему титул графа, и пусть он заберет свою водку и уходит от нас!

Саблин опять названивал Манусу:

— Кажется, они согласны отдать финансы Барку.

— Погодите, — отвечал Манус, — у меня есть еще одна кандидатура. Очевидно, вам предстоит теперь перемешать Барка с навозом и поддерживать того человека, которого я...

— Послушайте, — перебил его Саблин, — но я ведь не мальчик. Нельзя же с полного вперед реверсировать машиной назад!

В ближайшие дни Коковцев выслушал от царя массу демагогических слов о спаивании бедного народа казенной водкой.

— Скажите, — отвечал он, — будет ли бедняк пить меньше, если он узнает, что пьет не казенную, а частную водку? Не забывают, винную монополию изобрел все-таки не я, а граф Витте,^[17] проживающий в блаженстве, а все оплеухи за построение бюджета на «пьяном» фундаменте получаю за него я!

На докладе присутствовала и Алиса, листавшая английский журнал «The Ladies Field», в котором освещались помпезная жизнь великосветской женщины, курортный флирт, нравы Монако и Монте-Карло, игра в лаунтеннис, свадьбы принцев с принцессами и путешествия автоамазонок по Африке. Вздохнув, она из этого журнала извлекла прошение Саблина об отводе ему дорогих земель в Бессарабской губернии и протянула бумагу Коковцеву.

— Он очень беден, — сказала царица, а царь добавил, что хорошо бы помочь Саблину. — Подпишите его прошение...

Коковцев в нескольких словах, на основании законов империи, доказал, что эти казенные земли раздаче в частные руки не подлежат.

Императрица гневно порвала прошение.

— Когда прошу я (я!), то все мои просьбы незаконны.

Дома, снимая фрак, Коковцев сказал жене:

— Облава закончилась — я взят на мушку!

В среду 28 января премьер делал очередной доклад царю, в конце которого царь заглянул в календарь.

— Следующий ваш доклад в пятницу? Отлично...

А дома Коковцева ждало письмо Николая II, который начинал его ненужным сообщением, что «в стране намечается огромный экономический и промышленный подъем, страна начинает жить очень ярко выраженной жизнью», за что он, царь, особо благодарен Коковцеву, а в конце письма было сказано, что они *останутся хорошими друзьями*. В пятницу, как и было договорено, Коковцев сделал доклад. Царя было не узнать. Голова его тряслась, он прятал глаза. Неожиданно искренне расплакался, с губ императора срывались страшные, терзающие признания:

— Простите... меня загоняли... эти бабы... с утра до вечера... Одно и то же... Владимир Николаич, я ведь понимаю, что ни Барк, ни Горемыкин ни к черту не нужны мне... Простите, если можете... Я сам не знаю... как... это... случилось!

Самому же Коковцеву пришлось и утешать царя:

— Не отчаивайтесь! Я понимаю: тут не вы, а иные силы...

Был очень сильный мороз. С открытой головой, продолжая плакать, царь проводил Коковцева до крыльца, повторяя:

— Ко мне все-таки приставали... простите!

Воздух звенел от стужи, снежинки таяли на заплаканном лице императора, мешаясь с его слезами, и в этот момент Коковцев впервые за все эти годы увидел в нем просто человека. 20 января был опубликован указ, что Коковцев увольняется с поста председателя Совета Министров и заодно с поста министра финансов, «*нисходя к его просьбе*»... Жене Коковцев сказал:

— Люди прочтут и решат, что это я сам устроил! Министром финансов сделался ставленник Мануса банкир Барк, а премьером стал Горемыкин, который при знакомстве со своим секретариатом выдал свой первый убийственный афоризм: «Если хотите со мной разговаривать, вы должны молчать...»

Друг, не верь слепой надежде,
говорю тебе — не верь:
горе мыкали мы прежде,
горе мыкаем теперь.

* * *

Альтшуллер, сидя в своей конторе, собирал сведения о русской армии, а заодно, как он сам признался, «хотел заработать» на пушках с паршивым лафетом системы Депора. Тут история темная. Конная артиллерия готовилась получить пушки Шнейдера, но Сухомлинов заказ на эту пушку Путиловскому заводу притормозил, а на полигонных испытаниях он разругал ее, нахваливая пушки с лафетом Депора... Наталья Червинская, вся в модном крэп д'эшине, шпарила на машинке какие-то непонятные для нее бумаги, а на Невском уже начало пригревать мерзлые колдобины снега.

— Вы печатайте и дальше, — сказал ей Альтшуллер, — а я немножко пройду. Весна, знаете, она всегда волнует меня...

Он вышел и больше не вернулся. Альтшуллер был обнаружен в... Вене, а на самом видном месте его питерской конторы остался висеть портрет Сухомлинова с дарственной надписью «Лучшему другу, с которым никогда не приходится скучать!».

Военный министр даже обиделся на своего друга:

— Как же так? Уехал и забыл попрощаться...

Червинская оказалась в этом случае умнее его:

— Похоже, что скоро начнется война...

В эти дни Степану Белецкому доложили, что его желает видеть доцент Московского университета Михаил Хохловкин.

— Не знаю такого. Но пусть войдет, если пришел.

Перед ним предстал молодой смущенный человек.

— Я прямо из Вены, — сообщил он.

— Из Вены? А что вы там делали?

— Проходил научную стажировку в тамошнем университете, надеюсь в будущем занять кафедру в Москве по классу германской истории средневековья. Я ученик венского профессора Ганса Иберсбергера, который, в свою очередь, учился в Москве.

— Так, слушаю вас. Дальше.

— На днях я пришел, как обычно, к профессору Иберсбергеру, а он сказал мне: «Миша, занятия кончились. Вы, как военнообязанный, возвращаетесь домой в Россию, ибо скоро начнется большая война и вы должны явиться в полк...» Я думаю, — закончил доцент, — этот факт должен быть известен правительству!

Белецкий отпустил от себя наивного ученого и, сняв трубку телефона, долго думал — кому бы брякнуть? Решил, что генерал Поливанов лучше других отреагирует на это известие. Он ему рассказал о визите Хохловкина и получил ответ:

— Плохо, если война. Плохо! Мы к ней не готовы...

7. «МЫ ГОТОВЫ!»

Борька Ржевский, нижегородский голодранец, уже сидел однажды в тюрьме за «незаконное ношение формы». Вторично он был задержан полицией на перроне Николаевского вокзала, когда выперся из вагона в мундире офицера болгарской армии.

— Позвольте, позвольте, — возмутился он.

— Нет, это вы позвольте, — резонно отвечали ему.

— Но я не позволю хватать себя, офицера...

— Позвольте ваши документы!

Документы в порядке. Ржевский самым честным образом отгрохал все Балканские войны, получил от царя Фердинанда чин и право носить форму имел. В этой форме, с немыслимым орденом на груди (величиною с десертную тарелку) он без особого трения протерся в кабинет к военному министру Сухомлинову.

— Корреспондент «Нового времени», честь имею!

— Честь — это в наши дни то, на чем мы держимся.

— Так точно, — отвечала шмоль-голь перекатная...

Выяснилось, что министру он нужен. Именно он!

— В пору великого напряжения умов и накала страстей оголтелого германского милитаризма мы не отступим ни на шаг! — продекламировал Сухомлинов. — Мы должны дать достойный ответ берлинским поджигателям войны... в печати!

— Это мне по зубам, — сказал Борька.

— Тогда берите перо. Пишите...

Кто был автор статьи — никто не знает. Наверное, я так думаю, министр подкидывал идеи, как полешки в плохо горящую печку, а журналист брызгал на них керосином, чтобы ярче горели. Они заранее расписались в победе: «В будущих боях русской артиллерии *никогда* не придется жаловаться на недостаток снарядов... военно-автомобильная часть поставлена в России весьма высоко. Кто же не знает о великолепных результатах аппаратов Сикорского, этих воздушных дредноутах русской армии!» Два пижона, молодой и старый, заверяли русское общество, что арсеналы полны, солдат всем

обеспечен для боя, пусть только сунутся — мы их шапками закидаем... Щеголяя красными штанами, министр диктовал:

— Мы с гордостью можем сказать, что для России прошли времена угроз извне. России не страшны никакие окрики. Записали? Особо выделите фразу: Россия готова!.. Идея обороны отложена, русская армия будет активной. Всегда воевавшая только на чужой территории, она совершенно забудет понятие об обороне... Наша армия является сейчас лучшей и передовой армией в мире!

Статье придумали заглавие: «РОССИЯ ХОЧЕТ МИРА, НО ГОТОВА К ВОЙНЕ», и ее тут же опубликовали в газете «Биржевые ведомости», вызвав немалую сумятицу мнений в самой России и большой переполох среди недругов. По сути дела, Сухомлинов и Ржевский дали пикантный материал в руки германских шовинистов, и те ускорили гонку событий, доказывая в рейхстаге, что, если войне быть, так лучше ей быть сейчас, нежели позже... Ржевский выходил на большую дорогу журналистики! В Суворинском клубе, где сгущалась слякоть газетной богемы, некто Гейне приучил его к славе и кокаину, а потом... потом Борьку вызвал к себе Белецкий.

— Когда вас заахентурили?.. Что ж, польщен иметь ахента из классиков. Приятель ваш Гейне... что о нем скажете?

— Инженер из евреев. Кажется, врет, что потомок Гейне... того самого. Ну, пишет стихи. Ужасно бездарные!

— А зачем набаламутили, что «мы готовы»?

— При чем здесь я? Сухомлинов — голова...

— Ну ладно. Оставим классику. Кокаин есть?

Вместо «кокаин» Белецкий говорил «хохаин».

* * *

Петр Дурново, бывший министр внутренних дел, подавлявший революцию 1905 года, повидался с царем...

— Государь, — сказал он ему, ^[18] — в перспективе у нас война с Германией, и это очень страшно для нас. Наш нетрадиционный союз с

Францией и Англией противоестествен.

— Вилли уже не раз говорил мне.

— Кайзер прав! — подхватил Дурново. — Россия и Германия представляют в цивилизованном мире ярко консервативное начало, противоположное республиканскому. Наша война с немцами вызовет ослабление мирового консервативного режима.

— Понимаю и это, — тихо отвечал царь, — как понимает и Вилли, но обстоятельства сильнее нас. Нами движет рок!

Далее Дурново произнес пророческие слова:

— Сейчас уже безразлично, кто победит — Россия Германию или Германия Россию. Независимо от этого в побежденной стране неизбежно возникнет революция, но при этом социальная революция из побежденной страны обязательно перекинется в страну победившую, и потому-то, государь, не будет ни победителей, ни побежденных, как не будет и нас с вами. Но, — выделил Дурново, — любая революция в России выльется в социалистические формы!

Николай II пожал плечами. Дурново продолжал:

— Я много лет посвятил изучению социальной доктрины и говорю на основании антигосударственных учений. Германский кайзер отлично знаком с идеями социализма, и потому он столь часто напоминал вам, что военное единорство монархических держав, каковы наши, вызовет неизбежный крах обеих монархий... Так думаю не я один! Поговорите хотя бы со Штюмером.

— Я знать не желаю этого вора, — ответил царь.

— Вор, может быть. Но думает одинаково со мною.

— Штюмер — германofil!

— А почему вы не скажете этого же про меня?

— Вы, Петр Николаич, истинно русский.

Дурново даже засмеялся, довольный:

— Совершенно верно. Истинно русский дворянин, я *вынужден* стать отчаянным германofilом. Поверьте, что, страдая за сохранение вашего престола, я становлюсь еще при этом самым горячим поклонником Германии... А что мне еще остается делать?

Дурново нечаянно раскрыл секрет «германofilства» русских монархистов: не любовь к Германии двигала ими — страх перед грядущей революцией пролетариата, вот что заставляло их нежно взирать на Германию, грохочущую солдатскими сапогами.

— Не знаю, — сказал Дурново, поднимаясь, — убедил я вас или нет, но если имя графа Витте хоть что-нибудь для вас еще значит... он один из ярых противников войны с немцами.

Николай II неожиданно вспыхнул:

— Витте я никогда не позволял в своем присутствии выражать те мысли, которые я позволил выразить вам.

— Благодарю за доверие, государь. А жаль... Витте, правда, выступал против войны, но, в отличие от Дурново, граф был подлинным германофилом (уже без кавычек). Витте любил Россию, как столоначальник обожает свою канцелярию, где перед ним ходят на цыпочках, а он получает чины и награды. Германия нравилась Витте порядком, отсутствие которого в России графа всегда раздражало. Споры нет, немцы посыпают дорожки песочком, никто не справляет нужды в кустах, а германские ватеры вызывали у Витте чувство восхищения. Помимо сказочной виллы в Биаррице Витте — с помощью кайзера! — обрел в Германии большое имение, где и собирался провести остаток своих дней. Великий финансист не доверял своих денег даже Швейцарии — они лежали в банках Берлина, под надежной охраной кайзеровского «порядка». «Если возникнет война, — говорили ему русские, — кайзер все ваши деньги секвеструет». «Быть того не может, — отвечал Витте, — чтобы кайзер и наш император решились воевать между собой. Это было бы актом самоубийства не только двух монархий, но и двух миров, без которых жизнь человечества вообще немыслима...» Он читал немецкие газеты, где говорилось о «резком оживлении расового инстинкта» у славян; пангерманцы указывали, что грядущая битва будет расовой битвой, настала «пора всех славян выкупать в грязной луже позора и бессилия...».

Витте гулял по дорожкам, посыпанным чистым песочком.

В кустах никто не сидел!

* * *

«Новое оружие — новая тактика», — плох тот генерал, который забыл об этом... И десяти лет не прошло со времени войны с Японией, а густые колонны пехоты уже рассыпались в цепи, батареи скатились с высот и укрылись в низинах, кавалерийская лава с полного аллюра распалась на эскадроны, а над ними (все замечая и всему угрожая) поплыли рыбыны дирижаблей и закружились аэропланы. Вот-вот должен был родиться новый вид артиллерии — зенитной, а ко всем тревогам людской жизни XX век прибавлял еще и «воздушную тревогу». В океанах настойчиво стучали дизели подводных лодок, поглощая жидкое топливо, соляры и мазуты, турбинные агрегаты выводили корабли в долгие плавания...

Война стучалась в дверь, а Сухомлинову хотелось побыть в роли главнокомандующего, чтобы в Потсдаме поставить кайзера на колени. Дядю Николашу в угол он уже поставил — надо его теперь высечь! Еще в декабре 1910 года Сухомлинов затеял военную игру на тему «нападение Германии на Россию». Он запланировал ловушку для великого князя, чтобы тот при всех выявил свою бестолковость, но дядю Николашу предупредили о готовящейся каверзе, и царь тогда запретил играть.

Армия учится на маневрах. Генералы учатся побеждать во время военной игры — игры, похожей на шахматную, но построенной на твердом основании учета боевых возможностей, своих и противника. В апреле 1914 года Сухомлинов снова решился на игру, дабы всем стала ясна его мудрость как военачальника. Играли в Киеве, причем был создан весь цвет русского генералитета. Тема игры актуальная: война России с Германией и Австрией.

— Господа, начнем побеждать, — призвал министр.

Он выступал в роли русского главковерха, а против него играли за Австрию и Германию генштабисты Янушкевич и Алексеев, с «русской армией» Сухомлинова бились опытные вояки — Брусилов, Жилинский, Иванов, Гутор и прочие. В самый разгар игры «наступление» Сухомлинова было остановлено арбитрами:

— У вас больше нету снарядов. Стойте!

— Мои арсеналы, вы знаете, полны.

— Вы их исчерпали до последнего снаряда.

— Но заводы мои работают.

— Они не справляются с заказами фронта...

«Русскую армию» начали загонять в тылы России.

— Что вы на меня жмете, господа?

— Но у нас, — отвечали генералы, двигая фишки дивизий «противника», — арсеналы еще не иссякли. Наши заводы работают...

— Я не могу так играть! — отказался Сухомлинов.

Он запретил проводить разбор игры, и генералы разъезжались по своим округам в поганейшем настроении: игра показала неготовность России к войне с немцами. Министр вернулся в столицу, где сделал все, чтобы печальные результаты киевской игры не дошли до широкой публики... Тут его навел Побирушка.

— Как порядочный человек, я вижу цель жизни в том, чтобы открывать людям глаза на все несправедливости нашего мира...

— Превосходно! Благородно! Достоин подражания!

— И сейчас я хочу открыть глаза вам, — заявил Побирушка. — Я долго молчал, страдая, но больше молчать на стану. Знайте: ваша Екатерина Викторовна давно живет с Леоном Манташевым!

— Как живет?

— Плотски.

— Зачем?

— Не знаю.

— Не верю. Такой приятный человек, миллионер...

— Одно другому не мешает, — заверил его Побирушка.

Сухомлинов, кажется, прозрел:

— Благодарю... То-то я не раз замечал: даю сто рублей — жена тратит тысячу, даю тысячу — тратит десять тысяч.

— Вот именно! — подхватил Побирушка, указательным пальцем изображая в воздухе черту, которая должна стать итоговой...

Сухомлинов резко поднялся из кресла.

— Сейчас пойду и устрою ей страшный скандал!

Ушел. Из супружеских комнат слышались крики, женский плач, мольбы и клятвы (Побирушка наслаждался). Но тут появились оба — и к нему. Красный, как и его штаны, министр кричал:

— Как вам не стыдно порочить честную женщину? Катенька мне все сказала. Она и господин Манташев — добрые друзья... Вон!

— Вон! — повторила Екатерина Викторовна. — За все наше добро... ходил тут, ел, пил... Ноги чтоб вашей не было!

— Чтоб не было! — подхватил министр. — А еще князь... Потомок царей Кахетии... Непристойно! Возмутительно!..

Этого Побирושка никак не ожидал. Его выперли прочь из квартиры Сухомлинова, а точнее – от самого носа забрали жирную кормушку Военного министерства. «Вот после этого и открывай глаза людям!» Он вернулся домой едва не плача. Переживал страшно:

— Пропали мои лошадиные шкуры... Что делать? Говорят, на Кавказе обнаружены ценные залежи марганца. Может, заняться их разработкой? Ах, люди, люди... не любите вы правды!

Раздался спасительный звонок от Червинской, которая о скандале у Сухомлиновых уже знала в подробностях.

— Плюньте на все, — сказала она, — и приезжайте ко мне. У меня сейчас... хвост! Без шуток. Самый настоящий. Пушистый. Ласковый. И хочет напиться. Берите вино — приезжайте...

Побирושка приехал. На диване сидел толстый молодой человек без пиджака, с очень хитрым выражением лица. Наталья Илларионовна слишком интимно обращалась с этим господином.

— Вот это и есть мой хвостик... Знакомьтесь!

Побирושке выпал приятный случай представиться орловскому депутату, лидеру думской фракции правых — Хвостову.

— А почему вас в Думе не слышать? — спросил он.

— Да знаете, — помялся Хвостов, — просто нет желания трепаться напрасно. А темы для речи еще не нащупал...

Побирושка выставил бутылки с рейнвейном из портфеля.

— Бурда! — сказал Хвостов. — Колбасники нальют в бутылки воды из своего заплеванного Рейна и продают нам под видом рейнвейна.

— Вот и тема, — намекнул Побирושка. — Сейчас немцев ругать очень модно и выгодно... Выступите с трибуны Думы!

В бутылках была все-таки не вода, и Хвостов, опьянев, стал позволять себе нескромные поглаживания госпожи Червинской под столом, тогда она встала и заняла ему руки гитарой.

— У него хороший голос, вот послушай, — сказала она Побирושке, а Хвостов запел приятным баритоном:

Разбирая поблекшие карточки,
окроплю запоздалой слезой

гимназисточку в беленьком фартучке,
гимназисточку с русой косой...

В этот момент он был даже чем-то симпатичен и, казалось, заново переживал юность, наполненную еще не испохабленной лирикой провожания гимназистки в тихой провинции, где цветет скромная сирень, а на реке перекликаются колесные пароходы...

С остервенением Хвостов рванул зыбкие струны:

Все прошло! Кто теперь вас ревнует?
Только вряд ли сильнее меня.
Кто теперь ваши руки целует,
и целует ли так же, как я?..

Закончил и окунул лицо в растопыренные пальцы.

— Черт возьми, — сказал лидер правых, — жизнь летит, а еще ничего не сделано... для истории! Для нее, для проклятой!

Побирушка, расчувствовавшись, заметил Хвостову:

— Алексей Николаич, вы такой умный мужчина, с вами так приятно беседовать, слушайте, а почему бы вам не претендовать на высокий пост... скажем, в эм-вэ-дэ?

— Спросу на нас пока нету, но... *мы готовы!*

8. Герои сумерек

Сергей Труфанов (бывший Илиодор) выбрал в жены красивую девушку из крестьянок, и газеты Синода сразу забили в набат: вот зачем он отрекся от бога — чтобы бог ему блудить не мешал! Между тем Серега вел здоровый образ жизни, жену любил, вином не баловался, по весне поднимал на хуторе пашню. Газеты публиковали его фотографии, где он в пальто и в меховой шапке сидит возле избы, а подле него стоит ядреная молодуха в белом пуховом платке. В руке Сергея Труфанова — палка вечного странника, а узкие змеиные глаза полны злодейского очарования и хитрости...

Неожиданно, будто с луны свалился, притопал на Дон корреспондент американского журнала «Метрополитэн».

— Америка заплатит шесть тысяч долларов. Продайте нам свои мемуары о похождениях вместе с Гришкой Распутиным.

— Я не пишу мемуаров, — скромно отвечал Илиодор...

Он писал их по ночам, когда на полатях сладко спала юная жена. Изливая всю желчь против «святого черта», выплескивал на бумагу яростные брызги памяти. Заодно с Гришкой он крамольно изгадил и царя с царицей, а это грозило по меньшей мере сразу тремя статьями — 73, 74 и 103... Ночью в оконце избы постучали, из тьмы выступило безносое лицо Хионии Гусевой.

— Благослови, батюшка, — сказала она, показав длинный кинжал. — Есть ли грех в том, что заколю Гришку во славу божию, как пророк Илья заколол ложных пророков Вааловых?

— Греха в том нету, касатушка, — отвечал Серега.

Еще зимой он организовал женский заговор против Распутина, во главе заговора встала одна врачиха из радикальной интеллигенции, желавшая охолостить Гришку по всем правилам хирургии, но заговор был раскрыт полицией в самом начале, и по слухам Серега знал, что Распутин сделался малость осторожнее. Он дал Хионии денег, проводил убогую странницу до околицы.

— Кишки выпускай ему не в Питере, а в Покровском: дома он всегда чувствует себя в полной безопасности...

Гусева заехала на рудники сибирской каторги, где с 1905 года сидел ее брат-революционер, сосланный за убийство полицейского. Хиония раскрыла ему свои планы, и брат ответил:

— Жалко мне тебя, Хионюшка, бабье ль это дело — ножиком распутника резать? Но я знаю, ты ведь упрямая...

Она появилась в Покровском и стала выжидать Распутина. Русские газеты называли ее потом — «героиня наших сумерек».

* * *

Настало роковое лето 1914 года, душное и грозное.

Распутин, как солдат со службы, приехал на побывку в родное село, усердно высек сына Дмитрия, потаскал за волосы Парашку («чтоб себя не забывала»), потом остыл, и Хиония Гусева видела его едущим на телеге с давним приятелем монахом Мартьяном, причем Гришка сидел на мешке со свежими огурцами, а Мартьян держал на весу полное ведро с водкой, которая расплескивалась на ухабах, а Распутин при этом кричал: «Эх, мать-размать, гляди, добро льется...» Вечером, никому не давая уснуть, Распутин заводил сразу три граммофона, а потом пьяный вышел на двор, где рассказывал прибывшим из Питера филерам, как его любит Горемыкин, зато не любит великий князь Николай Николаевич. Дневник филерского наблюдения отметил приезд в Покровское жены синодского казначея Ленки Соловьевой — толстая коротышка, она скакала вокруг Гришки, крича: «Ах, отец... отец ты мой!» Распутин тоже прыгал вокруг коротышки, хлопая себя по бедрам, восклицая: «Ах, мать... мать ты моя!» Через несколько дней в далеком Петербурге Степан Белецкийзнакомился с подробностями:

«В 8 часов вечера Распутин вышел из дома с красным лицом, выпивший, с ним Соловьева, сели в экипаж и поехали далеко за деревню в лес; через час вернулись, причем Распутин был очень бледным... Приехала еще Патушинская, жена офицера. Соловьева и Патушинская, обхватив Распутина с двух сторон, повели его в лес, а он Патушинскую держал за... Обедал из одной тарелки с сыном, руками

доставал из тарелки капусту и клал ее себе в ложку, а потом отправлял в рот... Был дождь, в селе много грязи. Жена сказала, чтобы не шляется. Он послал ее к черту и долго шляется по грязи... Вечером вылез в окошко на двор, а Патушинская вылезла через другое окно, она подала ему знак рукою, после чего они оба удалились во мрак и до утра пропали...»

Случайно Распутин повстречал на улице села питерского репортера Абрама Давидсона, спросил — чего он здесь шныряет?

— Да так, Ефимыч, занесло к тебе в поисках темы. Не дашь ли мне сам матерьяльца похлеще?

— Я вот как дам тебе сейчас... Убирайся вон!

Давидсон не уехал, а засел в соседней избе возле окошка и все видел... Все! Распутину сказали, что пришла телеграмма. Он встал из-за стола в одной рубахе и пошел к воротам, где его поджидала Хиония Гусева, накрытая большим черным платком.

— Тебе чего, безноса, надоть? — спросил Гришка.

— Поддай милостыньку, — просипела Гусева.

Гришка достал кошелек из штанов, ковырялся в нем пальцем, отделяя медь от серебра. Вдруг черный платок слетел с Гусевой и накрыл его с головой. Последовал удар кинжалом прямо в живот, и Распутин со страшным криком побежал. Смахнув с себя платок, он увидел, что из распоротого живота волочатся кишки. Тогда, остановясь, он стал поспешно запихивать их в свою утробу.

— Нет, милый, не уйдешь! — настигла его Гусева.

Распутин схватил полено и одним мощным ударом выбил нож из ее руки. Тут набежали люди, Гусеву схватили и стали избивать насмерть. Давидсон спас женщину от самосуда и, придерживая Гришку за локоть, помог ему подняться на крыльцо.

— А-а, это ты, Абрашка! — узнал его Распутин. — Оно и ловко, что ты не уехал... Давай, стропали в газеты по всему миру, что меня хотели убить, но я выживу, выживу, выживу...

В царский дворец полетела телеграмма: КАКА ТА СТЕРВА ПРНУЛА В ЖИВОТ ГРЕГОРИЙ. Телеграф отстучал немедленный ответ: СКОРБИМ И МОЛИМСЯ АЛЕКСАНДРА... Гришку срочно отвезли в тюменскую больницу, а Хионию запихнули в одиночку тюменской тюрьмы. По рукам придворных дам ходила тогда фотография: Распутин в кальсонах сидит на больничной кровати,

низко опустив голову и уронив безвольные руки, из густой бороды торчит длинный унылый нос, а по низу карточки его рукой писано: НЕ-ВЕДАМО ЧТО С НАМИ УТРЕ ГРЕГОРИЙ. Врачи находили его положение серьезным, была сделана сложная операция. Распутин твердил:

— Выживу... выживу... выживу...

Газеты публиковали телеграммы-бюллетени о здоровье «нашего старца» в таких почтительных тонах, будто речь шла о драгоценном здравии государственного мужа. Николай II вызвал Влюбленную Пантеру и учинил разнос за это покушение:

— Чтобы впредь подобного никогда не было!

— Слушаюсь, ваше величество, — отвечал Маклаков...

Поправившись, Гришка со значением говорил:

— Безносая — дура, сама не знала, кого пыряет. Чую, что тут рука видна Илиодора... Серега-то, гад, гуляет! Опередил меня: не я ему, а он мне, анахтема, кишки выпустил...

Газеты тут же подхватили эти слова. Труфанов, ощутив опасность заранее, начал собираться в дальнюю дорогу. Первым делом он побрился, примерил на себя платье жены, повязался ее платком, и получилась баба... Не просто баба, а красивая баба!

* * *

Витте по обыкновению проводил летний сезон на германских курортах близ Наугейма. Уже пахивало порохом, и разговоры отдыхающих, естественно, вращались вокруг политики... Среди фланирующей публики Витте случайно встретил питерского чиновника из министерства земледелия — Осмоловского.

— Сейчас, — сказал ему Витте, — в России только один человек способен распутать сложную политическую обстановку.

— Кто же этот человек-гений?

— Распутин, — убежденно отвечал Витте.

Бедного человека даже зашатало, и он, горячась, стал доказывать графу, что это чепуха: если даже политики мира бессильны, то как

может предотвратить войну безграмотный мужик, едва умеющий читать по складам? Витте ответил ему так:

— Вы не знаете его большого ума. Он лучше нас с вами постиг Россию, ее дух и ее исторические стремления. Распутин знает все каким-то чутьем, но, к сожалению, он сейчас ранен, и его нет в Царском Селе...

Эти слова Витте насторожили наших историков. Они стали сверять и проверять. С некоторыми оговорками историки все же признали за истину, что, будь Распутин тогда в Петербурге, и *войны могло бы не быть!* Академик М. Н. Покровский писал: «Старец лучше понимал возможное роковое значение начинавшегося!» Я просматривал поденные записи филеров, ходивших за Распутиным по пятам, и под 1915 годом наткнулся на такую запись: «Год прошлый, — говорил Гришка филерам, — когда я лежал в больнице и слышно было, что скоро будет война, я просил государя не воевать и по этому случаю переслал ему штук двадцать телеграмм, одну послал очень серьезную, за которую хотели меня предать суду. Доложили об этом государю, а он ответил: „Это наши семейные дела, и суду они не подлежат...“!»

А наша «красивая баба» с узкими змеиными глазами, источавшими зло и лукавство, благополучно добралась до Петербурга, где с Николаевского вокзала на извозчике прокатилась до Финляндского, откуда утренний поезд повез «ее» дальше, минуя лесистые просторы прекрасной страны Суоми. Имея на руках подложный паспорт и два заряженных браунинга, «красивая баба» сошла с поезда в Улеборге, отсюда «она» пароходиком добралась до пограничного города Торнео... Ночью пограничник видел, как в четырех верстах выше таможи тень женщины метнулась к реке.

— Стой, зараза! Стрелять буду...

Но «баба» отвечала ему уже с другого берега:

— Эй, парень! Скажи своему начальству, что Серега Труфанов, бывший иеромонах Илиодор, благополучно пересек границу Российской империи, и теперь я плевать на всех вас хотел...

За пазухой он таил драгоценное сокровище — рукопись книги по названию «СВЯТОЙ ЧЕРТ, или ПРАВДА О ГРИШКЕ РАСПУТИНЕ».

* * *

А пока Гришка валялся в больнице, залечивая распоротый живот, в Сараеве грянул суматошный выстрел сербского гимназиста Гаврилы Принципа, который позже позволил Ярославу Гашеку начать роман о похождениях бравого солдата Швейка такими словами: «А Фердинанда-то ухлопали...»

Сейчас читать Гашека смешно. Но тогда люди не смеялись. Начинался кризис. Июльский. Трагический. Неповторимый.

9. Июльская лихорадка

С тех пор как существует история человечества, королей и герцогов резали, топили, прищемляли в воротах, травили словно крыс, и это было в порядке вещей. Но теперь в убийстве эрцгерцога Фердинанда германские политики увидели удобный *повод* для развязывания войны...

Впрочем, пока все было спокойно, и Сазонов лишь 18 июля вернулся с дачи; чиновники встретили его словами:

— Австрия ожесточилась на Сербию...

Сазонов повидался с германским послом Шурталесом.

— Если ваша союзница Вена желает возмутить мир, то ей предстоит считаться со всей Европой, а мы не будем спокойно взирать на унижение сербского народа... Еще раз подтверждаю, что Россия стоит за мир, но мирная политика не всегда пассивна!

20 июля ожидался приезд в Петербург французского президента Пуанкаре, и в Вене решили подождать с вручением ультиматума Белграду, чтобы вручить его лишь тогда, когда Пуанкаре будет находиться в пути на родину, оторванный от России и от самой Франции... Это был ловкий ход венской политики!

* * *

20 июля... Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов на реке Донец, о пожаре моста возле Симбирска, о судебном процессе г-жи Кайо, застрелившей редактора газеты за клевету на ее мужа. Николай II во флотском мундире поднялся на борт паровой яхты «Александрия»; с ним были жена и дочери. Подали завтрак, во время которого император много курил, бросая папиросы за борт. Французскому послу Палеологу он сказал:

— Говорят, у моего кузена Вилли что-то давно болит в ухе. Я думаю, не бросилось ли воспаление уже на мозг?

За кофе было доложено о подходе эскадры. Воды финского залива медленно утюжил громадный дредноут «Франс», за ним шел «Жан Барт», рыскали контрминоносцы эскорта. Кронштадт глухо проворчал, салютуя союзникам. Раймонд Пуанкаре подошел на катере, принятый у трапа самим царем. «Александрия» взяла курс на Петергоф, и дивная сказка открылась во всем великолепии. Обмывая золотые фигуры скульптур, фонтаны взметали к небу струи прохладной сверкающей воды, просвеченной лучезарным солнцем.

— Версаль, — сказал Пуанкаре. — Нет, Версаль хуже...

Вечером в старинном зале Елизаветы президента ошеломили выставкой придворного света. Женские плечи несли на себе полыхающий ливень алмазов, жемчугов, бериллов и топазов. Алиса ужинала подле Пуанкаре, одетая в белую парчу с глубоким декольте, которое было закинута бриллиантовой сеткой. «Каждую минуту, — отметил Палеолог, — она кусает себе губы, видимо, борется с истерическим припадком...» Пуанкаре произнес речь по вдохновению, а Николай II — по шпаргалке. Возвращаясь из Петергофа ночным поездом, Палеолог просмотрел свежие питерские газеты.

— Обратите внимание, — подсказал секретарь, — сегодня забастовали в столице заводы, работающие на военную мощь.

— Их подстрекают германские агенты, — ответил посол.

* * *

21 июля... Пуанкаре в Зимнем дворце принимал послов и посланников, аккредитованных в Петербурге. Первым подошел граф Пурталес, и президент задержал его руку в своей, расспрашивая немецкого посла о его французских предках. Палеолог подвел к президенту английского посла, сэра Джорджа Бьюкенена; это был спортивного вида старик с надушенными усами и с неизменной свастикой в брошке черного галстука. Пуанкаре заверил Бьюкенена в том, что русский царь не будет мешать англичанам в делах персидских.

Наконец, ему представили графа Сапари — посла австрийского, которому Пуанкаре выразил вежливое сочувствие по случаю убийства сербами герцога Фердинанда.

— Но случай в Сараеве не таков, чтобы его раздувать. Не забывайте, посол, что в России у сербов много друзей, а Россия издавна союзна Франции. Нам следует бояться осложнений!

Сапари откланялся молча, будто не имел языка.

Сербскому послу Спалайковичу Пуанкаре сказал:

— Я думаю, все обойдется...

Вечером французское посольство давало обед русской знати, а петербургская Дума угощала офицеров французской эскадры. Играли оркестры, дамы много танцевали, от изобилия свезенных корзин с розами и орхидеями было тяжело дышать... В этот день полиция провела массовые аресты среди рабочих, выступавших за мир. Берлин получил депешу Пурталеса, в которой тот докладывал кайзеру о беседе с Сазоновым: «Вы уже давно хотите уничтожения Сербии!» — говорил Сазонов. Возле этой фразы Вильгельм II сделал отметку: «Прекрасно! Это как раз то, что нам требуется».

* * *

22 июля... Страшная жара, а в Петергофе свежо звенят фонтаны. После завтрака Пуанкаре отбыл в Красное Село, где раскинули шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили войсками — вплотную. На трибунах полно было публики, белые платья дам казались купами цветущих азалий. Пуанкаре в коляске объезжал ряды солдат, рядом с ним скакал император. Потом был обед, который давал президенту Николай Николаевич — будущий главковерх. Палеолога за столом обсели по флангам две черногорки, Милица и Стана Николаевны, непрерывно трещавшие:

— Вы возьмете от немцев обратно Эльзас и Лотарингию, а наш папа, король Черногорский, пишет, что его армия соединится с русской и вашей в Берлине... Германию мы уничтожим! — Внезапно они

смокли, будто их мгновенно запечатали пробками. — Простите, посол, но... сюда смотрит императрица!

Палеолог посмотрел на Алису: она медленно покрывалась красными пятнами, и черногорки более уже не беспокоили посла.

Потом был балет (Кшесинская свела всех с ума)...

Русские войска сегодня маршировали перед Пуанкаре под звуки лотарингского марша, ибо президент был родом из Лотарингии, которую в 1871 году Бисмарк похитил у Франции.

* * *

23 июля... Прощальный обед на палубе дредноута «Франс»: над банкетными столами, простираясь в сизые хляби морей, вытянулись стальные хоботы башенных установок; короткий и теплый шквал растрепал цветочные клумбы на палубе корабля... Пуанкаре бросил последнюю фразу: «У наших стран один общий идеал мира!» После чего вместе с царем он поднялся на мостик, чтобы в тиши штурманских рубок обкатать последние сомнения перед решительным прыжком в пропасть. Императрица, сидя на палубе в кресле, указала Палеологу на соседнее, приглашая посла к беседе.

— Я ужасно боюсь грозы. Эта музыка...

«Со страдающим видом она указывает мне на оркестры эскадры, которые близ нас начинают яростное аллегро, подкрепляемое медными инструментами и барабанами». Палеолог велел капельмейстеру играть потише, но тот, не поняв, совсем остановил оркестр.

— Так лучше, — сказала императрица.

Взрослая дочь Ольга подошла к матери и учинила ей, кажется, выговор за бестактное поведение в гостях. Посол отметил «надутые губы» Алисы и завел пустую речь об удовольствии морских путешествий. С мостика, жестикулируя, спустились Николай II и Пуанкаре, оркестры снова заполнили рейды гимнами. Караул матросов, крепко шлепая ладонями по прикладам, отбил салютацию, президент стал прощаться... Тысячи людей проводили глазами эскадру, за которой низко над водою стлался бурый неприятный дым.

А когда эскадра растворилась в сумерках моря, Австрия вручила Сербии ультиматум — провокационный! Эту бумагу состряпали в Вене так, что, не имея Белград даже крупицы гордости, он все равно отказался бы принять венские условия. Принять такой ультиматум равносильно отказу Сербии от своей независимости... В этот же день кайзер очень крупно проболтался:

— Разве Сербия государство? Ведь это банда разбойников... Надо покрепче наступать на ноги всей этой славянской сволочи!

Сербские министры, прижатые к стенке, переслали ультиматум в Петербург, прося о помощи, а сами сели составлять ответную ноту, написание которой Вена отпустила им 48 часов.

* * *

24 июля... В полдень Сазонов посетил французское посольство, где за завтраком встретился с Палеологом и Бьюкеноном.

— Нам нужно быть твердыми, — сказал Палеолог.

— Твердая политика — война, — ответил Сазонов.

Бьюкенон дал понять, что Англия желала бы остаться нейтральной («Но мы постараемся сдерживать германские притязания»). В три часа дня в Елагином дворце собрался совет министров. Коллегиально решили: провести мобилизацию округов, направленных против Австрии, а Сербии дать отеческий совет — в случае вторжения австрийцев отступить, сразу призывая в арбитры великие державы. На крыльце Елагина дворца поджидал решения посол Спалайкович.

— Пока еще ничего не ясно, — сказал ему Сазонов, садясь в автомобиль. В министерстве у Певческого моста его ждал германский посол Пурталес с красным носом и слезящимися глазами. — А мы не оставим сербов в беде, — предупредил его Сазонов.

— А мы не оставим нашу союзницу Австрию.

— Ради чего? Ради ее балканских appetitов?

— Послушайте, — нервно заговорил Пурталес, — австрийскому императору Францу-Иосифу осталось жить совсем немного, и неужели

Петербург не даст ему умереть спокойно?

— Ради бога! — воскликнул Сазонов. — Пускай он помирает! Весь мир только и делает, что удивляется его долголетию.

— Вы, русские, просто не любите Австрии...

— А почему мы, русские, должны любить вашу Австрию, которая принесла нам зла больше, чем турки?

Сазонов отдал распоряжение, чтобы (втайне) срочно вычерпали 80 000 000 рублей, хранившихся в германских банках. В этот день германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе «неисчислимыми последствиями», вручали ноты, в которых было сказано: в конфликте пусть разбираются Вена с Белградом.

* * *

25 июля... Столичные вокзалы уже трещали; дачники метались как угорелые, не в силах решить, что им делать — отдыхать на дачах или трепыхаться в городском пекле; масса офицеров, загорелых и восторженных, скрипя новенькими портупелями, осаждали поезда дальнего следования, их провожали сородичи — с цветами, веселые, нервно-приподнятые. Никто ничего не знал, а пресса крупно выделила слова Сазонова: **АВСТРО-СЕРБСКИЙ КОНФЛИКТ НЕ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ РОССИЮ БЕЗУЧАСТНОЙ...** В Царском Селе было уже известно, что Германия проводит скрытую общую мобилизацию. Царь на общую не решился — он стоял за частичную. Тринадцать армейских корпусов против Австрии были подняты по тревоге. Но было еще не ясно туманное поведение туманного Альбиона...

Бьюкенену Сазонов сказал конкретно:

— Ваша четкая позиция, осуждающая Германию, способна предотвратить войну. Если вы заявите на весь мир, что поддержите нас и Францию, войны не будет. Если не сделаете этого сейчас, прольются реки крови, и вы, англичане, не думайте, что вам не придется плавать в этой крови... Решайтесь!

Лондон не сказал «нет». Лондон не сказал «да».

В это время сербский президент Пашич (точно в назначенный срок) вручил ответное послание на австрийский ультиматум венскому послу в Белграде — барону Гизлю. Сербское правительство выявило в своей ноте знание международных законов и кровью своего сердца, омытого слезами матерей, создало такой документ, который можно считать самым блистательным актом всей мировой дипломатии... Это был *подлинный шедевр!* Белград с тонкими оговорками принял девять пунктов ультиматума. И не принял только десятого пункта, в котором Вена требовала силами австрийских войск навести «порядок» на сербской территории. Венский посол мельком глянул на ноту, увидел, что там что-то не принято, и... потребовал паспорта. У них все уже было готово к отъезду: багаж увязан, архивы заранее упакованы. Вечером австрийская миссия покинула Белград, а это означало разрыв отношений...

Киевский, Одесский, Казанский и Московский военные округа вставали под ружье; по России катились грохочущие эшелоны.

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.

* * *

26 июля... Сазонов жаловался Палеологу:

— Неужели события уже вырвались из наших рук и мы, дипломаты, больше не можем управлять политикой? Петербург еще в силах уговорить австрийцев, но... подозреваю, что Германия обещала Вене слишком большой триумф самолюбия. Больше уступать нельзя! Уступив еще раз, Россия теряет титул великой державы и скатится в болото держав второстепенных... У нас тоже есть самолюбие!

В этот день царь вместе с дядей Николашей появился в Думе, дабы внушить стране мысль о своем единении с народом. Было много

речей, много слез и ликований. Но встала и покинула зал заседаний фракция социал-демократов, которая имела смелость по-ленински твердо выступить против войны. «Эта война, — говорили думцы-ленинцы в своей декларации, — окончательно раскроет глаза народным массам Европы на действительные источники насилий и угнетений, от которых они страдают, и... теперешняя вспышка варварства будет в то же время и последней вспышкой!»

* * *

27 июля... Сазонов так издергался, что от него остался один большой нос, уныло нависавший над галстуком-бабочкой. Он еще был способен предвидеть события. Но уже не мог управлять ими. Время виртуозных комбинаций, где не только одно междометие, но даже пауза в разговоре имели значение, — это золотое время дипломатии кончилось... В кабинет министра ломилась яростная толпа журналистов. «Что им сказать? Я уже сам ничего не знаю...»

Он долго кашлял, потом сказал:

— Можете метать стрелы и молнии в Австрию, но я вас умоляю не трогать пока в печати Германию — этим вы разрушите мою комбинацию, которая еще способна спасти нам мир.

Увы, никакой «комбинации» у него уже не было...

* * *

28 июля... Бьюкенен совещался с Сазоновым, а в приемной министра встретились Палеолог и Пурталес.

— Еще день-два, — сказал Палеолог немцу, — и, если конфликт не будет улажен, возникнет катастрофа, какой мир еще не ведал. Если

ваше правительство столь миролюбиво, как об этом оно не раз заявляло, так окажите воздействие на Австрию.

— Я призываю бога в свидетели, — отвечал Пурталес, зажмурившись, — что Германия всегда стояла на страже мира. Мы не злоупотребляли силой. История покажет, что Германия всегда права.

— Очевидно, — пикировал Палеолог, — положение очень дурное, если возникла необходимость уже взывать к суду истории...

Бьюкенен выходит от Сазонова, Пурталес входит к Сазонову, а в приемной министра появляется австрийский посол Сапари.

— Можете ли вы сообщить, что происходит?

— Коляска катится, — прищелкнул пальцами Сапари.

— Это уже из Апокалипсиса, — ответил ему Бьюкенен...

Сазонов признался Палеологу, что ему стало трудно сдерживать горячку Генштаба: там боятся опоздать с мобилизацией. Пуанкаре еще плыл во Францию на дредноуте, и Палеолог не имел с ним связи. Он, как и Бьюкенен, умолял Сазонова не давать повода Германии для активных действий.

— Немцы уже мобилизуются! — отвечал Сазонов. — А мы еще гуляем, сунув руки в карманы, и поплеываем, как франты...

Кайзер (с большим опозданием) ознакомился с ответом Сербии на венский ультиматум. Он был потрясен железной логикой и примирительным тоном. Белградская нота мешала кайзеру катить бочку с порохом дальше. Он крепко задумался и даже признал:

— Это вполне достойный ответ. Если б я получил такую ноту, я бы на месте Вены счел себя вполне удовлетворенным...

Вильгельм II посоветовал Вене ограничиться захватом Белграда и сразу же начать мирные переговоры с сербами. Белград в те времена лежал на самой черте границы с Австрией (его отделяла от Австрии только река Сава). Совет кайзера запоздал: австрийцы уже понаставили на берегу Савы батареи и по телеграфу передали сербам объявление войны... Но еще никто не верил, что война началась. Не верил и Николай II, отправивший кайзеру телеграмму, в которой умолял его помешать австрийцам «зайти слишком далеко».

29 июля... Пурталес пришел к Сазонову и зачитал ему наглое требование германского рейхсканцлера, чтобы Россия прекратила военные приготовления, иначе Германия, верная своей миролюбивой политике, ополчится против варварской агрессии России.

Сазонов вскочил из-за стола — весь в ярости:

— Теперь я понял, отчего Австрия так непримирима... Это вы! Вы стоите за ее спиной и подталкиваете на бойню...

В ответ Пурталес, натужно и хрипло, прокричал:

— Я протестую против неслыханного оскорбления...

На стол министра легла свежая телеграмма: австрийцы открыли огонь по Белграду, рушатся здания, в огне погибают жители.

— Первая кровь наша, славянская, — сказал Сазонов.

Янушкевич, начальник Генштаба, все же уговорил царя на всеобщую мобилизацию. Палеолога об этом предупредили: «Россия не может решиться на частичную мобилизацию, ибо наши дороги и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации сорвет планы общей, когда явится нужда в ее необходимости...» Вечером генерал Добrorольский прибыл на Главпочтамт, имея на руках указ царя о всеобщей мобилизации. Всю публику из здания попросили немедленно удалиться. В пустынном зале сидели притихшие телеграфистки, понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное. Добrorольский, поглядывая на часы, взволнованно гулял по каменному полу почтамта. Остались считанные минуты, и вся Россия оцетинится штыками... Звонок! Вызывали его к телефону. Говорил Сухомлинов:

— *Отставить передачу указа!* Государь император получил телеграмму от кайзера, который заверяет, что сделает все для улаживания конфликта... Мобилизация возможна лишь частичная!

Император принял это решение личной (самодержавной) властью. Он поверил, что Вильгельм II озабочен сохранением мира.

* * *

30 июля... «Не стройте крепостей — стройте железные дороги», — завещал Мольтке-старший своему племяннику Мольтке-младшему, который стоял сейчас во главе германской военной машины. Одно дело — мобилизация в России, другое — в Германии, где эшелоны катятся как по маслу. Утром встретились Сазонов, Сухомлинов и Янушкевич, удивленные, что царь так легко подпал под влияние Берлина. Но частичная мобилизация срывала план всеобщей — об этом и рассуждали... Сазонов сказал Шантеклеру:

— Владимир Александрович, позвоните государю.

Сухомлинов позвонил в Петергоф, но там ответили, что царь не желает разговаривать. Вторично барабанил туда Янушкевич.

— Ваше величество, я опять об отмене общей мобилизации, ибо ваше решение может стать губительным для России...

Николай II резко прервал его, отказываясь говорить.

— Не вешайте трубку... здесь и Сазонов!

Тихо свистнув в аппарат, царь сказал:

— Хорошо. Давайте мне Сазонова.

Сазонов настоял на срочной с ним аудиенции, царь согласился принять его. Но до отъезда в Петергоф он повидал Пурталеса, крайне растерянного и жалкого, который пробормотал ему:

— Я должен что-то сообщить Берлину, однако моя голова уже не работает. Весьма нелепо, но я прошу вас посоветовать мне, что я могу предложить своему правительству.

Это было даже смешно. Сазонов взял лист бумаги, быстро начертил ловкую формулу примирения, которая обтекала острые углы конфликта, как вода обтекает камни в горной реке: «ЕСЛИ АВСТРИЯ, ПРИЗНАВАЯ, ЧТО АВСТРО-СЕРБСКИЙ ВОПРОС ПРИНЯЛ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРАКТЕР, ОБЪЯВИТ СЕБЯ ГОТОВОЙ ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ СВОЕГО УЛЬТИМАТУМА ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТ УЩЕРБ СЕРБИИ, РОССИЯ ОБЯЗЫВАЕТСЯ ПРЕКРАТИТЬ ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ... Он вручил запись Пурталесу.

— Пожалуйста. Я всегда к вашим услугам.

— Благодарю, — с мрачным видом отвечал посол.

Потом министр отъехал в Петергоф, где его поджидал удрученный император. Сазонов стал доказывать, что приостановкой общей мобилизации расшатывается вся военная система, графики трещат,

военные округа запутаются. Война, говорил министр, вспыхнет не тогда, когда мы, русские, ее пожелаем, а лишь тогда, когда в Берлине кайзер нажмет кнопку... Николай II ответил ему:

— Вилли ввел меня вчера в заблуждение своим миролюбием. Но я получил от него еще одну телеграмму... угрожающую! Он пишет, что снимает с себя роль посредника в споре, и, — прочитал царь далее, — «вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны нести ответственность за войну или за мир»!

Сазонов разъяснил, что кайзер только затем и взял на себя роль посредника, дабы под шумок, пока мы тут с вами балаганим, закончить военные приготовления. В ответ на это царь спросил:

— А вы понимаете, Сергей Дмитриевич, какую страшную ответственность возлагаете вы сейчас на мои слабые плечи?

— Дипломатия свое дело сделала, — отвечал Сазонов.

Царь долго молчал, покуривая, потом расправил усы:

— Позвоните Янушкевичу... пусть будет общая!

Было ровно 4 часа дня. Сазонов передал приказ царя Янушкевичу из телефонной будки, что стояла в вестибюле дворца.

— Начинайте, — сказал он, и тот его понял...

Схватив телефон, Янушкевич вдребезги разнес его о радиатор парового отопления. Еще и поддал по аппарату сапогом.

— Это я сделал для того, чтобы царь, если он передумает, уже не мог бы повлиять на события. Меня нет — я умер!

Все телеграфы столицы прекратили частные передачи и до самого вечера выстукивали по городам и весям великой империи указ о всеобщей мобилизации. Россия входила в войну!

* * *

31 июля... На улицах, хотя еще никто и никого не победил, уже кричали «ура», а между Потсдамом и Петергофом продолжалась телеграфная перестрелка: «Мне технически невозможно остановить военные приготовления», — оправдывался Николай II, на что кайзер тут же ему отстукивал: «А я дошел до крайних пределов возможного в

моем старании сохранить мир...» День прошел в сумятице вздорных слухов, в нелепых ликованиях. Этот день имел ярчайшую историческую концовку. Часы в здании у Певческого моста готовились отбить колдовскую полночь, когда явился Пурталес.

Сазонов понял — важное сообщение. Он встал.

— Если к двенадцати часам дня первого августа Россия не демобилизуется, то Германия мобилизуется полностью, — сказал ему посол.

Сазонов вышел из-за стола. Гулял по мягким коврам.

— Означает ли это войну? — спросил небрежно.

— Нет. Но мы к ней близки...

Часы пробили полночь. Пурталес вздрогнул:

— Итак, завтра. Точнее, уже сегодня — в полдень!

Сазонов замер посреди кабинета. На пальце вращал ключ от бронированного сейфа с секретными документами. Думал.

— Я могу сказать вам одно, — заметил он спокойно. — Пока останется хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда и ни на кого не нападет... Агрессором будет тот, кто нападет на нас, а тогда мы будем защищаться! Спокойной ночи, посол.

10. «Побольше допинга!»

Настало 1 августа... Утром кайзер накинул поверх нижней рубашки шинель гренадера и в ней принял Мольтке («как солдат солдата»). Германские грузовики с запыленной пехотой в шлемах «фельдграу» уже мчались по цветущим дорогам нейтральных стран, где население никак их не ждало. Часы пробили полдень, но графа Пурталеса в кабинете Сазонова еще не было. Германский посол прибыл, когда телеграфы известили мир о том, что немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург и теперь войска кайзера готовы молнией пронизать Бельгию... Пурталес спросил:

— Прекращаете ли вы свою мобилизацию?

— Нет, — ответил Сазонов.

— Я еще раз спрашиваю вас об этом.

— Я еще раз отвечаю вам — нет...

— В таком случае я вынужден вручить вам ноту.

Нота, которой Германия объявила войну России, заканчивалась высокопарной фразой: «Его величество кайзер от имени своей империи принимает вызов...» Это было архиглупо!

— Можно подумать, — усмехнулся Сазонов, — мы бросали кайзеру перчатку до тех пор, пока он не снизошел до того, что вызов принял. Россия, вы знаете, не начинала войны. Нам она не нужна!

— Мы защищаем честь, — напыжился граф Пурталес.

— Простите, но в этих словах — пустота...

Только сейчас Сазонов заметил, что Пурталес, пребывая в волнении, вручил ему не одну ноту, а... две! За ночь Берлин успел снабдить посла двумя редакциями ноты для вручения Сазонову одной из них — в зависимости от того, что он скажет об отмене мобилизации. Черт знает что такое! Пурталес допустил чудовищный промах, какой дипломаты допускают *один раз в столетие*.

Объявив России войну, Пурталес сразу как-то ослабел и поплелся, шаркая, к окну, из которого был виден Зимний дворец. Неожиданно он стал клониться все ниже и ниже, пока его лоб не коснулся подоконника. Пурталеса буквально сотрясало в страшных рыданиях. Сазонов не сразу подошел к нему, хлопнул его по спине.

— Взбодритесь, граф. Нельзя же так отчаиваться.

Пурталес, горячо и пылко, заключил его в свои объятия.

— Мой дорогой коллега, что же теперь будет?

— Проклятие народов падет на Германию.

— Ах, оставьте... при чем здесь мы с вами?

На выходе из министерства Пурталеса поставили в известность, что для выезда его посольства завтра в 8 часов утра будет подан экстренный поезд к перрону Финляндского вокзала. Сборы были столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникальную коллекцию антиков... В четыре часа ночи его разбудил Сазонов, говоривший по телефону из министерства:

— Кажется, нам никак не расстаться. Дело вот в чем. Наш государь только что получил очередную телеграмму от вашего кайзера, который просит царя, чтобы русские войска ни в коем случае не переступали германской границы. Я никак не могу уложить в своем сознании: с одной стороны, Германия объявила нам войну, а с другой стороны, эта же Германия просит нас не переступать границы...

— Этого я вам объяснить не могу, — ответил Пурталес.

— В таком случае извините. Всего вам хорошего.

На этом они нежно (и навсегда) расстались...

В эти дни в Германии застрелился близкий друг детства кайзера — граф фон Швейниц. Он был таким же русофилом в Германии, каким П. Н. Дурново был германофилом в России. Самые умные монархисты Берлина и Петербурга отлично понимали, что в этой войне победителей не будет — всех сметут революции! В 1914 году все почему-то были уверены, что революция начнется в Германии...

* * *

— Побольше допинга! — восклицал Сухомлинов. — Германия — это лишь бронированный пузырь. Моя Катерина просто кипит! В доме сам черт ногу сломает! Лучшие питерские дамы устроили из моей квартиры фабрику. Щиплют корпию, режут бинты... Лозунг наших великих дней: все для фронта! Все для победы!

Ему с большим трудом удалось скрыть бешенство, когда стало известно, что все-таки не он, а дядя Николаша назначен верховным главнокомандующим. Петербург уже давно не ведал такой адской жарыщи, а Янушкевич уже завелся о валенках и полушубках.

— Помилуйте, с меня пот льет. Какие валенки?

— Еще подков с шипами. На случай гололедицы.

— Да мы через месяц будем в Берлине! — отвечал министр...

На Исаакиевской площади озверелая толпа громила германское посольство — уродливый храм «тевтонского духа», к проектировке которого приложил руку и сам кайзер, за все бравшийся. С крыши летели на панель бронзовые кони буцефалы, вздыбившие копыта над русской столицей. Толпа крушила убранство посольских покоев, рубила старинную мебель, под ломами дворников с хрустом погибала драгоценная коллекция антиков графа Пурталеса...

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью воды Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!»

Масса русских семейств, отдохавших на германских курортах, сразу оказалась в концлагерях, где их подвергали таким гнусным издевательствам, которые лучше не описывать. Берлин упивался тевтонской мощью, немецкие газеты предрекали, что это будет война «четырёх F» — frisher, frommer, fruchtlicher, freier (война освежающая, благочестивая, веселая и вольная).

Кайзер напутствовал гвардию на фронт словами:

— Еще до осеннего листопада вы вернетесь домой...

Сухомлинов, как и большинство военных того времени, тоже верил в молниеносность войны. Скоро из Берлина в составе русского посольства вернулся военный атташе полковник Базаров; в министерстве он попросил дать ему свои отчеты с 1911 по 1914 год.

— Читал ли их министр? Я не вижу пометок.

— Подшивали аккуратно. Но... не читали.

Базаров отшвырнул фолиант своих донесений.

— Это преступно! — закричал он, не выбирая выражений. — На кой же черт, спрашивается, я там шпионил, вынюхивал, подкупал, тратил тысячи? Я же предупреждал, что военный потенциал немцев превосходит наш и французский, вместе взятые...

Бравурная музыка лилась в открытые настежь окна. Маршировала русская гвардия — добры молодцы, кровь с молоком, косая сажень в плечах, — они были воспитаны на традициях погибать, но не сдаваться... Ах, как звучно громыхали полковые литавры!

И поистине светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны...

Сухомлинов названивал в Генштаб — Янушкевичу:

— Ради бога, побольше допинга! Екатерина моя кипит... Такие великие дни, что хочется рыдать от восторга. Я уже отдал приказ, чтобы курорты приготовились для приема раненых. Каждый защитник отечества хоть разочек в жизни проживет как Ротшильд.

— Владимир Александрыч, — отвечал Янушкевич, — люди по три-четыре дня не перевязаны, раненых не кормят по сорок восемь часов. Бардак развивается по всем правилам великороссийского разгильдяйства. Без петровской дубинки не обойтись! Пленные ведут себя хамски — требуют вина и пива, наших санитаров обзывают «ферфлюхте руссен»! А наша воздушная разведка...

— Ну что? Здорово наавиатили?

— А наша артиллерия...

— Небось наснарядили? Дали немчуре жару?

— Я кончаю разговор. Неотложные дела.

— Допингируйте, дорогой. Побольше допинга!

Империя вступала в войну под истошные вопли пьяниц, с ужасом узнавших из газет о введении сухого закона и спешивших напоследки надраться так, чтобы в маститой старости было что рассказать внукам: «А то вот помню, когда война началась... у-у, что тут было!» Мерно и четко шагала железная русская гвардия. Под грохот окованных сапог кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали...

Вздувается у площади за ротой рота,
У злящейся на лбу вздуваются вены.
Постойте, шашки о шелк кокоток
Вытрем, вытрем в бульварах Вены!

Из храмов выплескивало на улицы молебны Антанты:

— Господи, спаси императора Николая...

— Господи, спаси короля Британии...

— Господи, спаси Французскую Республику...

Литавры гремели не умолкая, и дождем хризантем покрывались брусчатые мостовые «парадиза» империи. Самое удивительное, что добрая половина людей, звавших сейчас солдат «на Берлин!», через три года будет кричать: «Долой войну!» А газетчики надрывались:

— Купите вечернюю! Страшные потери! Кайзер уже спятил! Наши войска захватили парадный мундир императора Франца-Иосифа...

Звонок.

«Что вы, мама?»

Белая-белая, как на гробе газет.

«Оставьте!

О нем это,

Об убитом телеграмма.

Ах, закройте,

Закройте глаза газет».

На пороге кабинета Сазонова уже стоял Палеолог:

— Умоляем... спасите честь Франции!

Август 1914 года. Битва на Марне. Немцы перли на Париж.

* * *

Август четырнадцатого — героическая тема нашей истории, если наше прошлое правильно понимать... Об этом писали, пишут и еще будут писать. Известно, что русская армия мобилизовывалась за сорок дней, а германская за семнадцать (это понятно, ибо русские просторы не сравнить с немецкими). Далее следует чистая арифметика:

$$40-17 = 23.$$

За эти двадцать три дня кайзер должен успеть, пройдя через Бельгию, поставить Францию на колени, а потом, используя прекрасно работающие дороги, перебросить все свои силы против русской армии, которая к тому времени только еще начнет собираться возле границ после мобилизации. Антанта потребовала от Петербурга введения в бой наших корпусов *раньше сроков мобилизации*, дабы могучий русский пластырь, приставленный к Пруссии, оттянул жар битвы на Марне в дикие болота Мазурии... Читателю ясна подоплека этого дела!

А речь идет о знаменитой армии Самсонова.

«Он умер совершенно одиноким, настолько одиноким, что о подробностях его последних минут никто ничего достоверного не знает». Наши энциклопедии подтверждают это: «Погиб при невыясненных обстоятельствах (по-видимому, застрелился)». Для начала мы разложим карту... Вот прусский Кенигсберг, а вот польская Варшава; если между ними провести линию, то как раз где-то посередине ее и находится то памятное место, где в августе 1914 года решалась судьба Парижа, судьба Франции, судьба всей войны.

11. Зато Париж был спасен

Александр Васильевич Самсонов был генерал-губернатором в Туркестане, где осваивал новые площади под посевы хлопка, бурил в пустынях артезианские колодцы, в Голодной степи проводил оросительный канал. Он был женат на красивой молодой женщине, имел двух маленьких детей. Летом 1914 года ему исполнилось пятьдесят пять лет. Вместе с семьей, спасаясь от ташкентской жары, генерал кавалерии Самсонов выехал в Пятигорск — здесь его и застала война...

Сухомлинов срочно вызвал его в Петербург:

— Немцы уже на подходах к Парижу, и французы взывают о помощи. Мы должны ударить по Пруссии, имея общую дирекцию — на Кенигсберг! Вам дается Вторая армия, которая от Польши пойдет южнее Мазурских болот, а Первая армия двинется на Пруссию, обходя Мазурию с севера. Командовать ею будет Павел Карлович Ренненкампф.

— Нехорошее соседство, — отвечал Самсонов. — Мы друг другу руки не подаем. В японской кампании, когда шли бои под Мукденом, я повел свою лаву в атаку, имея соседом Ренненкампфа. Я думал, он поддержит меня с фланга, но этот трус всю ночь просидел в гальюне и даже носа оттуда не выставил...

— Ну, это пустое, батенька вы мой!

— Не пустое... После атаки я пришел к отходу поезда на вокзал в Мукдене, когда Ренненкампф садился в вагон. В присутствии публики я исхлестал его нагайкой... Вряд ли он это позабыл!

Народные толпы осаждали редакции газет. Парижане ждали известия о наступлении русских, а берлинцы с минуты на минуту ожидали, что германская армия захватит Париж... Всю ночь стучал телеграф: французское посольство успокаивало Париж, что сейчас положение на Марне изменится — Россия двумя армиями сразу вторгается в пределы Восточной Пруссии!.. Россия не «задавила немцев количеством». Факты проверены: кайзеровских войск в Пруссии было в полтора раза больше, нежели русских. Немецкий генерал Притвиц, узнав, что корпус Франсуа вступил в бой, велел ему

отойти, но получил заносчивый ответ: «Отойду, когда русские будут разгромлены». Отойти не удалось — бежали, бросив всю артиллерию. Но перед этим Франсуа нахвастал по радио о своей будущей победе над русскими. «Ах, так?..» — и немецкие генералы погнали солдат в атаку «густыми толпами, со знаменами и пением». Немцы пишут: «Перед нами как бы разверзся ад... Врага не видно. Только огонь тысяч твинтовок, пулеметов и артиллерии». Это был день полного разгрома германской армии, а в летопись русской боевой славы вписывалась новая страница под названием ГУМБИНЕН! Черчилль признал: «Очень немногие слышали о Гумбинене, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа...» Зато эту победу как следует оценили в ставке кайзера Вильгельма II:

— Притвица и Франсуа в отставку, — повелел он.

Русские вступали в города, из которых немцы бежали, не успев закрыть двери квартир и магазинов; на плитах кухонь еще кипели кофейники. А стены домов украшали яркие олеографии, изображавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах, с пиками в руках; длинные волосы сбегали вдоль спин до копчика, из раскрытых пастей торчали клыки, будто кинжалы, а глаза — как два красных блюдца. Под картинками было написано: «Это русский! Питается сырым мясом германских младенцев»... На бивуаке в ночном лесу Самсонов проснулся оттого, что тишину прорезало дивное пение сильного мужского голоса. Конвойные казаки поднимались с шинелей.

— А поёт лихо. Пойтить да глянуть, што ли!

Светила луна, на поляне они увидели германского офицера с гладко бритым, как у актера, лицом, который хорошо поставленным голосом изливал свою душу в оперной арии.

— Оставьте его, беднягу, — велел Самсонов казакам. — Он, видимо, не перенес разгрома своей армии... Бог с ним!

Париж и Лондон умоляли Петербург — жать и жать на немцев, не переставая; из Польши в Пруссию, вздымая тучи пыли, носились автомобили; обвешанные аксельбантами генштабисты чуть ли не в спину толкали Самсонова: «Союзники требуют от нас — *вперед!*» Александр Васильевич уже ощутил свое одиночество: Ренненкампф после битвы при Гумбинене растворился где-то в лесах и замолк...

— Словно сдох! — выразился Самсонов. — Боюсь, как бы он не повторил со мной штуки, которую выкинул под Мукденом.

* * *

Оказывается, в германских штабах знали о столкновении двух генералов на перроне мукденского вокзала — и немцы учитывали даже этот пустяк. Сейчас на место смещенных Франсуа и Притвица кайзер подыскивал замену... Он говорил:

— Один нужен с нервами, другой совсем без нервов!

Людендорфа взяли прямо из окопов (с нервами), Гинденбурга из уныния отставки (без нервов). Армия Самсонова, оторвавшись от тылов, все дальше погрязала в гуще лесов и болот. Не хватало телеграфных проводов для наведения связи между дивизиями. Обозы безнадежно отстали. Узкая колея немецких железных дорог не могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. Из-за этого эшелоны с боеприпасами застряли где-то возле границы, образовав страшную пробку за Млавой.

— Если пробка, — сказал Самсонов, — пускай сбрасывают вагоны под откос, чтобы освободить пути под новые эшелоны...

Варшава отбила ему честный ответ, что за Млавой откоса не имеется. Солдаты шагали через глубокие пески — по двенадцать часов в день без привального роздыха. «Они измотаны, — докладывал Самсонов. — Территория опустошена, лошади давно не ели овса, продовольствия нет...» Армия заняла Сольдау: из окон пучками сыпались пули, старые прусские мегеры с балконов домов выплескивали на головы солдат крутой кипяток, а добропорядочные германские дети подбегали к павшим на мостовую раненым и камнями вышибали им глаза. Шпионаж у немцев был налажен превосходно! Отступая, они оставляли в своем тылу массу солдат, переодетых в пасторские сутаны, а чаще всего — в женское платье. Многих разоблачали. «Но еще больше не поймано, — докладывали в Генштаб из армии. — Ведь каждой женщине не станешь задира́ть юбки, чтобы проверить их пол...» Самсонов карманным фонарем освещал карту.

— Но где же этот Ренненкампф с его армией?

Первая армия не пошла на соединение со Второй армией; Людендорф с Гинденбургом сразу же отметили эту «непостижимую неподвижность» Ренненкампфа; Самсонов оказался один на один со всей германской военщиной, собранной в плотный кулак... Гинденбург с Людендорфом провели бессонную ночь в деревне Танненберг, слушая, как вдали гроыхает клубок боя. Им принесли радиogramму Самсонова, которую удалось раскодировать. Людендорф подсчитал:

— Самсонова от Ренненкампфа отделяет сто миль...

Немцы начали отсекалть фланговые корпуса от армии Самсонова, а Самсонов, не зная, что его фланги уже разбиты, продолжал выдвигать центр армии вперед — два его корпуса ступили на роковой путь! Армия замкнулась в четырехугольнике железных дорог, по которым войска Людендорфа и маневрировали, окружая ее. Правда, здесь еще не все ясно. Из Мазурских болот до нас дотянулись слухи, что поначалу Самсонова в окружении не было. Но, верный долгу, он верхом на лошади проскакал под пулями в «мешок» своей окруженной армии. При этом он якобы заявил штабистам: «Я буду там, где мои солдаты...»

Курсировавшие по рельсам бронеплатформы осыпали армию крупнокалиберными «чемоданами». Пруская полиция и местные жители, взяв на поводки доберман-пинчеров (натасканных на ловле преступников), рыскали по лесам, выискивая раненых. Очевидец сообщает: «Добивание раненых, стрельба по нашим санитарным отрядам и полевым лазаретам стали обычным явлением». В немецких лагерях появились первые пленные, которых немцы кормили бурдой из картофельной шелухи, а раненым по пять-шесть дней не меняли повязок. «Вообще, — вспоминал один солдат, — немцы с нами не церемонятся, а стараются избавиться сразу, добивая прикладами». Раненый офицер К., позже бежавший из плена, писал: «Пруссаки обращались со мной столь бережно, что — не помню уж как — сломали мне здоровую ногу... Во время пути они курили и рассуждали, что делать со мною. Один предлагал сразу пристрелить „русскую собаку“, другой — растоптать каблуками мою физиономию, третий — повесить...» Людендорф беседовал с пленными на чистом русском языке, а Гинденбург допрашивал их на ломаном русском языке:

— Где ваш генерал Самсонов?

— Он остался с армией.

— Но вашей армии уже не существует.

— Армия Самсонова еще сражается...

В лесах и болотах, простреленная на просеках пулеметами, на переправах встреченная броневиками, под огнем тяжелой крупновской артиллерии, русская армия не сдавалась — она шла на прорыв! Документы тех времен рисуют нам потрясающие картины мужества и героизма русских воинов... По ночам, пронизав тьму леса прожекторами, немцы прочесывали кусты разрывными пулями, рвавшимися даже от прикосновения к листьям. Это был кошмар! Гинденбург с Людендорфом (оба уже с нервами!) признали открыто, что русский солдат стоек необычайно. Германские газеты тогда писали: «Русский выдерживает любые потери и дерется даже тогда, когда смерть является для него уже неизбежной».

Самсонов, измученный приступом астмы, выходил из окружения пешком, спички давно кончились, и было нечем осветить картушку компаса; солдаты шли во мраке ночи, держа друг друга за руки, чтобы не потеряться; среди них шагал и Самсонов. «В час ночи он отполз от сосны, где было темнее. В тишине щелкнул выстрел. Офицеры штаба пытались найти его тело, но не смогли». Известие о гибели Самсонова не сразу дошло до народа; еще долго блуждали темные легенды, будто его видели в лагере военнопленных, где он, переодетый в гимнастерку, выдавал себя за солдата. Вдова его, Екатерина Александровна Самсонова, под флагом Красного Креста перешла линию фронта, и немцы (весьма любезно) показали ей, где могила мужа. Она узнала его лишь по медальону, внутри которого он хранил крохотные фотографии ее самой и своих детей. Самсонова вывезла останки мужа на родину. Александр Васильевич был погребен в селе Егоровка Херсонской губернии... В одной из первых советских книг, посвященных гибели его героической армии, сказано с предельной четкостью: «Над трупом павшего солдата принято молчать — таково требование воинской этики, и никто не может утверждать, что генерал Самсонов этой чести не заслужил!»

* * *

Задолго до начала этой войны Фридрих Энгельс пророчески предвидел ее. «И, наконец, для Пруссии-Германии невозможна уже теперь никакая иная война, кроме всемирной войны. И это была бы всемирная война невиданного раньше размера, невиданной силы. От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиства, как никогда еще не объедали тучи саранчи». Энгельс предсказывал, что в конце этой бойни короны цезарей покатыются по мостовым и уже не сыщется охотников их подбирать... Так оно и было: первая мировая война расшатала престолы — по мостовым Петербурга, Берлина и Вены, громяхая по булыжникам, катились короны Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов...

В битве народов, длившейся четыре года, один погибший приходился на 28 человек — во Франции, в Англии — на 57 человек, а Россия имела одного убитого на 107 человек. Прорыв армии Самсонова заранее определил поражение Германии, и те из немцев, кто умел здраво мыслить, уже тогда поняли, что Германия победить не сможет... Ныне гибель армии Самсонова брошена на весы беспристрастной истории: мужество наших солдат спасло Париж, спасло Францию от позора оккупации! Немцы проиграли войну не за столом Версаля в 1918 году, а в топях Мазурских болот — еще в августе 1914 года! Да, армия погибла. Да, она принесла себя в жертву. Сегодня наши историки пишут: «Восточнопрусская операция стала примером самопожертвования русской армии во имя обеспечения общесоюзнической победы...»

Так строится схема исторической справедливости.

Других мнений не может быть!

Финал пятой части

Концлагерь в Пруссии для военнопленных. Среди прочих, взятых в плен под Сольдау, находился и поручик Колаковский. С неба сыпал снежок, было зябко и постыло; на помойной яме ковырялись голодные солдаты и, хряпая кочерыжки турнепса, рассуждали:

— Это уж так! У нас дома помойка, так — мама дорогая, жить можно. А с немецкой помойки ворона и та с голодухи околет...

Колаковский шагнул к колючей проволоке.

— Я хочу видеть ваше немецкое начальство.

— Зачем? — спросил часовой.

— У меня важное сообщение...

Лагерному начальству он заявил, что по убеждениям является мазепинцем, ратуя за освобождение Украины от гнета москалей, верит в то, что Украина не только даст миру терриконы сала и цистерны горилки, но и снабдит Европу глубоким интеллектом Пелипенок и Федоренок. Лагерная машина увезла его в Аллештейн, где с Колаковским долго беседовал, прощупывая его, капитан германской армии Скопник (из галицийских украинцев). Убедясь, что ненависть Колаковского к русским не имеет предела, Скопник отправил мазепинца в Инстербург, а там его взял в обработку опытный агент германского генштаба Бауэрмейстер, который говорил по-русски, как мы с вами, читатель... Шнапс был берлинский, а сало на закуску, естественно, хохлацкое (толщиной в пять пальцев).

— Я коренной петербуржец, — сказал немец за выпивкой. — Мое ухо не выносит нового имени Петроград, от такого русифицирования столица лучше не станет. Моя мамочка умерла в Питере, а мой брат пал за будущее Германии и... вашей Хохландии!

— Прозит, — отвечал Колаковский, чокаясь.

Подвыпив, Бауэрмейстер с мазепинцем «спивали»:

Распрягайте, хлопцы, коней
та лягайте почивать,
а я пойду в сад зеленый,

в сад криниченьку копать...

Бауэрмейстер сказал, что свой глубокий интеллект Пелипенки и Федоренки могут развивать до нескончаемых пределов только под благодатной тенью, которую дает штык германского гренадера.

— Даже если вам удастся обрести автономию, вам без нашего брата Фрица делать не хера, ибо Россия сразу придушит вас!

— Какие могут быть сомнения? — отвечал Колаковский. — Я ведь не маленький, сам понимаю, что дважды два — четыре...

Договорились. Бауэрмейстер существенно дополнил:

— Много лет мы работаем ноздря в ноздю с одним вашим полковником — и ему хорошо, и нам не вредно... В Вильне есть такой шантанчик Шумана, где бывает (запомните!) мадам Столбина, любовница этого полковника... Там и встретитесь!

Поручик спросил, когда его переправят в Россию.

— Вы нужны не здесь, а в России, потому задержки не будет. Сейчас у нас готовят большую партию пленных для обмена на наших. Жаль, что у вас руки-ноги целы — отправили бы еще раньше...

Затем он развернул перед поручиком такую заманчивую картину жизни русского полковника, работавшего на кайзера, что Колаковскому стало не по себе. Доверясь пленному, Бауэрмейстер, дабы умалить его страхи перед расплатой, сказал:

— Чепуха! У меня мамочка до войны (даже мамочка!) не раз провозила из России в Германию важные секретные бумаги. Правда, что этот полковник, о котором я говорил, служил тогда как раз на границе в Вержболове жандармским начальником...

Был уже декабрь 1914 года, когда после длительного пути (морем в Швецию, оттуда через Финляндию) прибыла в Петербург большая партия пленных, в основном калеки — на костылях. Встреча их на Финляндском вокзале была небывало торжественная. Гремели духовые оркестры, произносились речи, дамы дарили цветы, инвалидов закармливали обедами в вокзальном ресторане. Колаковский, зажав под локтем небольшой пакетик с «личными вещами», прошел по Невскому, дивясь тому, что жизнь столицы шумела, как в мирные дни (только поубавилось пьяных). Возле подъезда Главного штаба он сказал дежурному офицеру:

— Я поручик Двадцать третьего Низовского пехотного полка Яков Колаковский, вырвался из плена германского, имею очень важное для страны сообщение... Доложите обо мне кому следует.

Офицер приветливо щелкнул каблуками: «Прошу вас...» Через лабиринт коридоров и лестниц Колаковский следовал в отдел контрразведки, которая сидела на горах ценных материалов и всякого хлама, не брезгуя иногда услугами даже таких подонков, как Манасевич-Мануйлов... Колаковского выслушали, но решили проверить:

— Повторите, пожалуйста, то место своих показаний, где вы рассказали о том, что брат Бауэрмейстера погиб на фронте.

Колаковский повторил. Его арестовали.

Питерскую квартиру Бауэрмейстеров во время войны берегла их гувернантка Сгунер; в эту же ночь к ней нагрянули с обыском. Нашли то, что надо. Бауэрмейстеры через шведскую почту известили гувернантку о том, что их третий брат пал смертью храбрых на русском фронте. Таким образом, подтвердилось показание Колаковского. За него взялся глава контрразведки генерал М. Л. Бонч-Бруевич (позже генерал-лейтенант Советской Армии, родной брат известного большевика-ленинца).

— Итак, — сказал он, — вы прибыли, чтобы взорвать мост под Варшавой и устроить покушение на главковерха. Нас больше интересует этот полковник... вам назвали его фамилию?

— *Мясоедов!* Я о нем до этого ничего не слышал, и Бауэрмейстер в разговоре даже упрекнул меня: «Что ж вы, газет не читаете? Такой шум был, Мясоедов даже с Гучковым стрелялся, а Борьке Суворину в скаковом паддоке ипподрома морду при всех намылили...»

— Значит, Мясоедов... Ну что ж. Превосходно.

* * *

Когда вдова Самсонова перешла через фронт, дабы узнать о судьбе мужа, вместе с нею увязался в эту рискованную поездку и Гучков, постоянно прилипавший ко всяким военным неприятностям.

Немцы, конечно, знали о роли Гучкова в Думе, и его переход линии фронта был обставлен должными формальностями. Возле проволочных заграждений лидера партии октябристов поджидал патруль во главе со штабным обер-лейтенантом... Морозило. Жестко скрипел снег. Обер-лейтенант неожиданно спросил по-русски:

— Александр Иванович, а вы меня не узнали?

— Нет. Я вас впервые вижу.

— Конечно, — сказал немец, — военная форма очень сильно изменяет облик человека. Но я вас знаю. Хорошо знаю.

Говорил он без тени акцента, как прирожденный русак, и Гучков спросил — жил ли он в России? Офицер засмеялся:

— Конечно же! Я состоял на службе в вашем эм-вэ-дэ.

— Кем же вы были?

— О-о! Я был в охране Гришки Распутина, и он-то, конечно, сразу же признал бы меня... даже в этой шинели. Я ведь частенько бывал и в Думе, помню ваше выступление в защиту немцев-колонистов Поволжья и Крыма... Мало того, мы с вами *лично* знакомы!

Гучков — хоть убей — никак не мог вспомнить.

— Простите, а кто же нас знакомил?

— Борис Владимирович Штюмер.

— Пожалуйста, напомните подробности.

Обер-лейтенант не стал делать из этого тайны:

— Это было в разгар июльского кризиса, на квартире Штюмера на Большой Конюшенной... У вас в Думе накануне было закрытое заседание комиссии по обороне. Вопрос касался, если не ошибаюсь, запаса снарядов для Брест-Литовской крепости. Штюмер представил меня вам как иностранного журналиста.

— Выходит, я при вас излагал секретные дела?

— Что поделаешь! — засмеялся немецкий офицер. — Вы же были уверены, что я русского языка не знаю, а Штюмеру, очевидно, было неловко выдавать меня за агента охраны Гришки Распутина...

Прощаясь с Гучковым, обер-лейтенант спросил:

— Вы будете публиковать о нашей беседе?

— Что вы! Не дай-то бог, если Россия узнает...

— Всего доброго, — протянул немец руку.

— И вам так же, — отвечал Гучков, пожимая ее.

Эта история все-таки была предана гласности!

* * *

Янушкевич, побывав в Ставке, навестил Сухомлинова.

— Порнографией не интересуетесь? — спросил он.

У самого носа министра очутилась карточка голой женщины, с бокалом вина лежащей в постели. Сухомлинов с радостью узнал свою знакомую — графиню Магдалину Павловну Ностиц.

— Подозревается в шпионаже, — облизнулся Янушкевич.

— Но почему она у вас голая?

— Другой фотографии в архивах не нашли. А эту отняли у... Впрочем, не буду называть. Важно, что он ее «употребил». А вчера на Суворовском (дом № 25) арестовали двух дамочек, которые принимали у себя гостей не ниже генерал-майора. Арестовывал их полковник, так они не хотели его даже пускать.

— Что они так разборчивы? — спросил Сухомлинов.

— Шпионки! Им сам бог велел разбираться в чинах.

— А к чему вы меня интригуете?

— Я не интриган, — сказал Янушкевич, интригуя. — Просто вам следует знать, если не как министру, то хотя бы как мужу...

— Ну... бейте! — отчаялся Сухомлинов.

— Арестованные дамы были подругами вашей Екатерины Викторовны, которая часто навещала их квартиру на Суворовском...

— Тьфу!

Янушкевич суетился не зря: креатура главковерха великого князя Николая Николаевича, он уже начал активную кампанию по смещению Сухомлинова с поста военного министра.

Уходя, он добавил:

— А ваш бывший адъютант опять отличился...

— Кто?

— Да этот пройдоха Мясоедов.

— А при чем здесь я? — возмутился Сухомлинов. — Сразу как началась война, он появился у меня с прошением. Мол, примите на службу. Готов пролить кровь. До последней капли. И так далее. Ну, я

сказал: обычным путем, голубчик... На этот раз устраивайтесь без моей протекции. Вот он и служит. А что с ним?

— У меня был корреспондент газеты «Таймс» Уилтон... Ехал он в Варшаву, в вагоне-ресторане к нему подсел какой-то полковник с пенсне на носу. Ну, ясное дело, разговорились. Полковник сразу стал крыть на все корки... кого бы вы думали?

— Не знаю.

— Вас.

— Меня?

— Да... Уилтон на первой же станции позвал с перрона жандарма и говорит, что один русский полковник — явно германский шпион, ибо русский не стал бы так лаять своего военного министра. Полковника арестовали, выяснилось — Мясоедов!

— Ну и что?

— А ничего. Извинились. И он поехал дальше.

Часть шестая

ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

(осень 1914-го — осень 1915-го)

*Хищники,
воры, предатели,
мародеры,
изменники,
развратники,
пьяницы... все
смешалось и
закружилось в ночи
русской
политической
реакции,
праздновавшей
свой последний
праздник перед
тем, как исчезнуть
с лица земли
русской.*

Леонид Андреев

Прелюдия к шестой части

В канун войны один наш историк сидел как-то в садике у Донона за обедом и «слышал за ближайшим трельяжем громкий смех и чей-то голос, принадлежавший по оборотам и акценту, очевидно, не только какому-то дремучему еврею, но и человеку явно неграмотному. Субъект этот, оказавшийся Аароном Симановичем, рассказывал историю своей жизни», не забывая держать напоказ оттопыренный палец, чтобы все видели в его перстне бриллиант в пятнадцать каратов.

— Что делать бедному еврею, если Россия начала войну с Японией? Я закрыл в Киеве лавку по скупке подержанных вещей и купил сразу два сундука карт. По дороге на войну, до самого Иркутска, я подбирал заблудших красавиц и на каждой крупной станции фотографировался с ними в элегантных позах. Что нужно воину на фронте? Водки он и сам себе добудет. Ему нужны карты и женщины. Я обеспечил господ офицеров покером, интересными открытками и хорошим борделем. Не скрою — разбогател... Но... дурак я был! Решил честно играть в «макаву» и спустил целый миллион.

— А чем же сейчас занимаетесь? — спросили его.

— Ювелир... придворный ювелир!

— Как же вы, еврей, проникли ко двору?

— Моя жена была подругой детства графини Матильды Витте, а царица покупает бриллианты только у меня... Как? А вот так. Допустим, камень у Фаберже стоит тысячу. Я продаю за девятьсот пятьдесят. Царица звонит по телефону Фаберже, а тот говорит, что Симанович продешевил... Ей приятно. Мне тоже.

— Какая же вам-то выгода?

— Навар большой. Вот царица. Вот бриллиант. Вот я...

— А на что же вы тогда живете, если камень обходится вам в тысячу, а продаете царице себе в убыток?

Симанович обмакнул губы в бокал с красным вином.

— Я играю... *наперекор судьбу!*

Это «наперекор судьбу» развеселило компанию, а историка поразила «полная атрофия возмущения» слушателей: в их присутствии оскорблялась русская армия, умиравшая на полях Маньчжурии, а

никто из них не догадался треснуть «поставщика ея величества» по его нахальной фарисейской роже... Лакей шепнул историку:

— Это секретарь и приятель Гришки Распутина.

Так эти два имени, имя Распутина и имя Симановича, прочно сцепились воедино. А что их соединяло?

* * *

Еврейский народ дал миру немало людей различной ценности — от Христа до Азефа, от Савонаролы до Троцкого, от Спинозы до Бен-Гуриона, от Ламброзо до Эйнштейна... Да, были среди евреев великие философы-свободолюбцы, и были среди них великие палачи-инквизиторы. Русское еврейство могло гордиться революционерами, художниками, врачами, учеными и артистами, имена которых стали нашим общим достоянием. Но это лишь одна сторона дела; в пресловутом «еврейском вопросе», который давно набил всем оскомину, была еще изнанка — сионизм, уже набиравший силу. Сионисты добивались не равноправия евреев с русским народом, а *исключительных* прав для евреев, чтобы — на хлебах России! — они жили своими законами, своими настроениями. Не гимназия была им нужна, а хедер; не университет, а субботний шабаш. Сионизм проповедовал, что евреям дарована «вечная жизнь», а другим народам — «вечный путь»; еврей всегда «у цели пути», а другие народы — лишь «в пути к цели». Раввины внушали в синагогах, что весь мир — это лестница, по которой евреи будут всходить к блаженству, а «гои» (неевреи) осуждены погибать в грязи и хламе под лестницей... Вот страшная философия! Сионизм, кстати, никогда не выступал против царизма, наоборот, старался оторвать евреев от участия в революции, и потому главные идеологи еврейства находили поддержку у царского правительства. Единственное, в чем царизм мешал еврейской буржуазии, так это воровать больше того, нежели они воровали. А воровать и спекулировать они были большие мастера, и тут можно признать за ними «исключительность»... Из поражения первой революции евреи вынесли очень тяжелый багаж: разрыв Бунда с

ленинской партией РСДРП(б), замкнутость и нетерпимость к неиудеям, кустарный подход к революции, ставка на свое «мессианство», кружки местечковой самообороны (та же «черная сотня», только еврейская!), масса жаргонной литературы и усиленная эмиграция. Царизм в эти годы был озабочен не столько тем, что евреи заполняют столичные города, сколько тем, что евреи активно и напористо захватывают банки, правления заводов, редакции газет и адвокатские конторы.

От взоров еврейской элиты, конечно же, не укрылось всерастущее влияние Распутина на царскую семью, и они поняли, что, управляя Распутиным, можно управлять мнением царя. Аарон Симанович вполне годился для того, чтобы стать главным рычагом управления: он признал израильскую программу Базельского конгресса, исправно платил подпольный налог — шекель и был полностью согласен с тем, что «этническая гениальность» евреев дает им право поработать другие народы. В этом же духе он воспитывал и своих сыновей; старший сын, Шима Симанович, учился в Технологическом институте и однажды проговорился среди студентов: «А мой папа фрак надел, с Распутиным опять в Царское Село поехал — чего-то насчет Думы хотят потрепаться...» Но студенты оказались не лишены чувства чести, как это случилось с публикой у Донона, и они надавали Шиме пощечин...

Недавно, в 1973 году, у нас писали: «Принято считать, будто царем и царицей управлял Распутин. Но это лишь половина правды. Правда же состоит в том, что очень часто Николаем II... управлял Симанович, а Симановичем — крупнейшие еврейские дельцы Гинцбург, Варшавский, Слиозберг, Бродский, Шалит, Гуревич, Мендель, Поляков. В этом сионистском кругу вершились дела, влиявшие на судьбу Российской империи». Знайте об этом!

* * *

Это было еще перед войной — Симановича призвали в кагал финансовой олигархии. Присутствовали миллионер Митька

Рубинштейн, Мозес Гинзбург, разжиревший в 1904 году на поставках угля нашей порт-артурской эскадре, были барон Альфред Гинцбург — золотопромышленник, видный юрист Слиозберг, сахарозаводчик Лев Бродский (друг Сухомлинова по Киеву), строители железных дорог Поляковы, держатели акций и ценных бумаг, раввины, издатели, банкиры и прочие воротилы. Сначала они спросили Симановича — как и при каких обстоятельствах он познакомился с Распутиным?

— Давно, еще в доме Милицы Николаевны, когда принес ей показать камни на продажу, Распутин был там... Потом встречался с ним в Киеве — как раз в дни убийства Столыпина.

— Как Распутин относится лично к тебе?

Симанович предъявил кагалу фотографию Распутина с его личной дарственной надписью «Лутшаму ис явреив».

— А как он относится к еврейскому вопросу?

— Он не понимает этого вопроса, но ему очень нравится, что мы всегда при деньгах. Он это уважает в людях!

Симановичу было сказано:

— Скоро будет война... Мы, иудеи, не имеем причин желать России победы в предстоящей войне с Германией, и чем позорнее будет поражение России, тем нам, иудеям, будет это приятнее. Мы сейчас затеваем великое дело, на которое нами жертвуются неслыханные суммы денег... Согласись помочь нам, и ты станешь богат, тебя запишут в еврейские памятные книги «пинкес», и твое имя да будет памятно во веки веков среди детей Израиля! Но ты можешь и погибнуть, — предупредили его. — Однако мы это предусмотрели. К тебе будет приставлена охрана из девяти вооруженных людей, которые станут сопровождать тебя всюду, где бы ты ни был, но они так ловки и опытни, что ты их даже никогда не заметишь...

Тут же было решено, что отныне Распутин тоже ставится под особую еврейскую охрану и все покушения на него должны отводиться сразу же, в чем должен помочь Симанович, которому вменялось неустанно следить за Гришкой и его окружением. Симанович запротоколировал слова барона Гинцбурга. «Ты имеешь прекрасные связи, — сказал он ему, — ты бываешь в таких местах, где еще никогда не ступала нога еврея. Бери же на помощь Распутина, с которым ты находишься в столь близких отношениях. Было бы грех не использовать такие обстоятельства. Возьмись за работу, и если ты

сделаешься жертвой своих стараний, то вместе с тобою погибнет и весь (?) еврейский народ...» Странная речь, не делающая чести уму барона! Симанович задал кагалу насущный вопрос:

— Что конкретно я могу Распутину обещать?

— Что он хочет... наши средства колоссальны. Если понадобится, то откроются банки Чикаго и Лондона, Женевы и Вены. А помимо денег ты обещаешь Распутину землю в Палестине и райскую жизнь до глубокой старости на средства нашей еврейской общины...

В конце совещания сионисты решили завлечь Распутина в гости, дабы выведать наглядно, не является ли Гришка замаскированным антисемитом. Такая встреча состоялась (еще до покушения Хионии Гусевой) в доме барона Гинцбурга, и если верить Симановичу, то при появлении Распутина все банкиры и адвокаты дружно плакали, жалуясь, что их, бедных (миллионеров!), притесняют. Ответные слова Гришки дошли до нас в такой форме:

— А вы куды смотрите? Ежели вас жмут, так подкупайте всех. Эвон, предки-то ваши: даже царей подкупали! Нешто мне вас умудазуму учить? А я помогу... Ништо!

«После конференции состоялся ужин. Распутин собирался сесть рядом с молодой и красивой женой Гинцбурга. Хозяин дома, который знал славу Распутина как бабника, очень просил меня, — вспоминал Симанович, — сесть между его женой и Распутиным... После встречи с еврейскими представителями Распутин уже не скрывал свое расположение к евреям». Спору нет, Гришка сионистом не стал, а его полемика с антисемитами отныне строилась на прочной зубоврачебной основе (весьма существенной, если учитывать, что Гришка всю жизнь страдал зубами); он заводил речь так:

— А ты пломбы ставил? Ты зубы лечил?

— Ну, ставил. Ну, лечил.

— Небось сверлили тебе?

— Сверлили... страшно вспоминать.

— Пломбы-то держатся? Не вываливаются?

— Ну, держатся. А при чем здесь жида?

— А кто тебе сверлил? А кто пломбу ставил? Вить ежели всех жидов перебить, так мы совсем без зубов останемся...

Сионисты начали с того, что бесплатно вставили Распутину полный набор искусственных зубов.

— Такой великий и умный человек, — внушал ему Симанович, — не должен думать о деньгах. Зачем отвлекаться от государственных проблем? Только скажите — и деньги будут.

— А где возьмешь?

— Это уж мое дело...

Судьбы международных капиталов вообще запутанны. Но они трижды запутаннее, когда проходят через руки сионистов. Ибо деньги в этих случаях выносит наружу в самых неожиданных местах, словно они прошли через фановые глубины канализации. Распутин скоро обнаглел! Он поступал с евреями-банкирами как грабитель со случайными прохожими. Стало уже правилом, что, встречаясь на улице с Гинзбургом или Гинцбургом, Гришка бесцеремонно распахивал на них шубы, забирал бумажник, дочиста обчищал карманы, не забывая при этом оставить ограбленным один полтинничек.

— Это тебе на извозчика, чтобы до дому добрался...

Рубинштейн вскоре открыл на Марсовом поле контору, назначения которой никто не знал. Она ведала финансовым снабжением не самого Распутина, а лишь обслуживанием его окружения. Если кто просил у Гришки денег, он отсылал таких на Марсово поле.

— Идите к Митьке... он умный... он даст!

1. Все ставки на ставку

После заживления распоротого живота Распутин лишь 12 сентября вернулся из Сибири в столицу, где очень легко убедил царицу, что умудрился выздороветь лишь благодаря «божественному попечению». По сути дела, все решено без него! Война объяла Россию, и он, который всегда войны боялся, в туманных выражениях давал понять, что страну ожидают большие несчастья. Однако сухой закон Гришка от души приветствовал, а на «Вилле Родэ» ему подавали водку в чайнике, искусно загримированную от полицейского надзора под колер крепкого чая. Хлебнув из стакана, в который предусмотрительно была опущена чайная ложечка, Гришка говорил:

— Это хорошо, что прижали нашего брата. А то бы мы, грешные, совсем спились. Эта война, погоди, ишо поправит нам мозги!

В стране возникло неудобство двоевластия: Ставка иногда брала верх в решениях, подавляя своим авторитетом правительство, а порой и царя. Сразу же после возвращения Распутина в столицу Алиса сообщила мужу, что черногорки Милица и Стана хотят сделать главковерха царем в Польше или в Галиции. «Григорий, — писала она, — ревниво любит тебя, и для него невыносимо, чтобы Н. играл какую-то роль...» Подначивать тоже надо уметь.

— Газетку нельзя раскрыть, — жаловался Распутин царице, — куды ни сунешься, везде «верховный», быдто на Николае свет клином сошелся. А царя опосля ево поминают...

Русская армия победно топала на Львовщину.

— Эка жмут! — говорил Распутин. — Похоже, что дядя Николаша и впрямь спешит стать царем галицийским...

Умом он понимал, что влияние Ставки на жизнь страны огромно, и телеграммой обратился к главковерху с просьбой разрешить ему побывать в Ставке; Николай Николаевич отбил ему ответ: «*Приезжай — выпорю*». Распутин не хотел верить, что его могут выпороть; он дал вторичную телеграмму, а главковерх вторично отвечал ему: «*Приезжай — повешу*»... И повесил бы! В Ставке размещался эшафот с виселицей, никогда не пустовавшей. Вешали без суда и следствия

пойманных с поличным спекулянтов, мародеров, аферистов-поставщиков, интендантов, шпионов, дезертиров.

— Начну с маленьких, — говорил верховный, — авось и до главного упыря доберусь. Но прежде линчевания я буду лично пороть Распутина в столице на Марсовом поле, чтобы при этом непременно играл оркестр балалаечников Андреева, а синодского жида Саблера заставлю распевать при народе «аллилуйя»...

Большой силой в Петербурге стали посольства Англии и Франции — с их послами, влияние их отзывалось на оперативных планах русской армии. Гришка решил дать «руководящие указания» Палеологу, как следует вести себя Франции во время войны. Палеолог получил от него листок бумаги, угол которой был оборван; листок украшала абракадабра каких-то прерывистых линий.

— Расшифруйте, — сказал посол, — а заодно отдайте бумагу на анализ: я хочу знать, что здесь было оторвано...

Лаборатория посольства дала ответ: писано на бланке царского дворца, оторван угол с императорским гербом, из чего следует, что происхождение письма из Царского Села решили скрыть. Вскоре секретарь закончил работу, и Палеологу был предъявлен внятно изложенный текст распутинского поучения:

Давай бох по примеру жить ресси
Оне укоризна страны
На примерь
нестожества
сей минут евит бох евление
силу увидите рать силу небес победа
с вами и вас роспутин

После сложнейшей обработки текста с помощью словарей и психиатров дипломаты выяснили, что Распутин хотел сказать следующее: «Дай вам бог жить по примеру России, а не критикой нашей страны. Скоро бог явит силу. Французская армия победит».

— Сдайте в архив посольства, — велел Палеолог. — И уже пора заводить на Распутина досье...

В этом году за Гришкой установил пристальное наблюдение и российский Генштаб, анализируя его окружение, исследуя потаенные каналы его связей. Теперь Гришка был просвечен со всех сторон, словно вражеский дреднот, плывущий в гуде битвы под ослепительным блеском неприятельских прожекторов... Плыл в гибель!

* * *

В декабре военная мощь России стала замедлять ход, как усталый локомотив, из которого выпустили пар и воду. Военная игра в Киеве отрепетировала поражение Сухомлинова: воевать без патронов и снарядов нельзя — стой, армия! Зато, боже мой, как танцевала Малечка Кшесинская: тридцать два fouette подряд — без передышки... Читатель удивлен таким резким переходом от снарядного голода на фронте к балету, но я и сам удивлен не меньше. Дело в том, что артиллерией ведал великий князь Сергей Михайлович, точнее — Кшесинская, которая с ним сожительствовала (а заодно уж и с великим князем Андреем Владимировичем — менее чем с двумя «великими» не стоило ей и возиться!). Даже царица была возмущена. «Скоро ли Сергей будет смещен со своего поста? — писала она мужу. — Кшесинская опять в этом замешана — она вела себя, как m-me Сух., — брала взятки и вмешивалась в артиллерийское управление...» Сухомлинов, невзирая на ненависть, которую питал к нему главковерх, сидел на боевых доспехах нерушимо — как идол. Но царица (женщина неглупая) поняла: «В сущности, — писала она, — он там сидит также для того, чтобы спасти Кшесинскую и Сергея Михайловича...» Сухомлинов позвонил в главное артиллерийское управление и нарвался на генерала Кузьмина-Караваева, которому стал жаловаться, что на фронте пушкари «расснарядили» все арсеналы, а заводы не справляются с требованиями фронта. Подскажите, что нам делать? Ответ ученого генерала Кузьмина-Караваева можно было бы высечь на его надгробном памятнике.

— *Заклучайте мир, дураки!* — отвечал он министру...

На что Сухомлинов дал ответ — из области анекдотов:

— Вот бы мою Катерину назначить к вам начальником: снарядов и патронов было бы у нас — хоть всю жизнь стреляй...

Артиллерия в один день войны пожирала 45 000 снарядов (только в обороне), а заводы давали в день самое большее 13 000 снарядов. Скоро навалилась новая беда: нет винтовок, а у кого есть винтовка, нет патронов. Янушкевич докладывал министру из Ставки: «Волосы дыбом при мысли, что по недостатку патронов и винтовок придется покориться Вильгельму... Много людей без сапог отмораживают ноги... Там, где перебиты офицеры, начались массовые сдачи в плен». На фронт срочно отъехала жена Сухомлинова с «царскими подарками», в раздаче которых ей доблестно помогал патриотически настроенный Манташев... Сухомлинов рассказывал Николаю II:

— Жена, государь, честно скажу, взбодрила меня. Сейчас врачи уложили ее в постель, но она снова рвется на фронт... вместе с патриотом Манташевым! Теперь очередь за «теплыми подарками». Катерина в восторге ото всего, что ей показали на фронте...

Ставка ему сообщала, что 900 000 мобилизованных (почти миллион человек!) сидят в бараках на казенной каше, но отправить на фронт их нельзя, ибо не во что обмундировать; запасных отправляли на передовую в гражданской одежде, прикрыв ее сверху шинелями, ратники ехали с палками — ехали под германские пулеметы.

К министру явился гневно пыхтящий Родзянко.

— Владимир Александрыч, на фронте нечем стрелять.

— Патроны... просто жрут их! Но меры уже приняты.

Родзянко сказал — заранее продуманное:

— Мне кажется, общественность России будет приветствовать ваш добровольный уход в отставку.

— У нас все кипит, — отвечал Сухомлинов совсем непродуманно. — Как я могу оставить министерство в такой момент, когда все кипит? Вы посмотрите, что у меня на столе творится...

Шантеклер бодренько докладывал в Ставку: «Мое дамское начальство, на удивление всем, показывает пример энергии и кипучей деятельности. Вчера жена опять помчалась в Москву: чего-то здесь нельзя достать, ну и покатила...» От себя добавлю, что ее сопровождал миллионер Манташев, жертвующий для победы тысячу валенок. Пессимисты тогда говорили:

— Ну вот! Опять выяснилось, что мы были не готовы.

Оптимисты отвечали им — даже с бравадой:

— А что вы удивляетесь, машер? Быть неготовым — это же извечное состояние нашей империи... Вы только не волнуйтесь: еще годик-два-три, и, глядишь, все завертится как надо. Что вы? Или истории не знаете? Так было всегда. На этом мы и держимся!

* * *

Главная квартира Ставки — в Барановичах... В тупик железнодорожных путей загнали штабные вагоны; несколько бараков, шатер походной церкви, все ограждено высоченным забором. Две безбожно декольтированные дамы, неизвестно откуда свалившиеся, служили пикантным соусом к завтраку дяди Николаши. Сухой закон, зверюга страшный, рычал и здесь — главковерх ограничил себя бутылкой шартреза, да и ту не допил — на доньшке осталось. Потом вместо утренней физзарядки было деловое битье морды полковнику и бравый энергичный «лещ» какому-то генерал-майору:

— Расстреливать за отступление! Ни шагу назад...

Кумир московской буржуазии, идеал мужчины в розовых сумерках первогильдийских спален, Николай Николаевич как полководец неинтересен, ибо работу за него проводили ученые генштабисты. Но его железная воля, «укрепленная» частым употреблением коньяков и морфия, помогала ему безжалостно задраивать пробоины фронта живым человеческим материалом. А германские самолеты, словно глумясь над людскими страданиями, забрасывали русских солдат почтовыми открытками. Каждая из них была разделена на две части. В левой части изображался подтянутый кайзер. С метром в руках он деловито измерял калибр германского снаряда. В правой части открытки был представлен стоящий на коленях унылый царь. С аршином в руках он измерял Гришке Распутину ту важную деталь, на которую с кровельными ножницами покушался Митька Блаженный... В Берлине решили использовать семейную распрю Романовых — борьбу между дядей и племянником

за должность главнокомандующего. На русских солдат хлынул с неба ливень немецких листовок:

«СОЛДАТЫ. В самых трудных минутах своей жизни обращается к вам, солдатам, ваш царь.

Возникла сия несчастная война против воли моей: она вызвана интригами великого князя Николая Николаевича... я не согласился бы на объявление войны, зная наперед ее печальный исход для матушки-России...

Солдаты! Отказывайтесь повиноваться вашим вероломным генералам, обращайтесь оружие на всех, кто угрожает жизни и свободе вашего царя, безопасности и прочности дорогой Родины.

Несчастный ваш царь — НИКОЛАЙ».

Ставку навестил генерал Джунковский, у которого в сознании был небольшой вывих — относительно Распутина.

— Гришка — это сложнее, нежели мы думаем, — сказал он главноверху. — Это орудие тайного масонского сообщества, которое использует Распутин в целях разрушения нашего государства. Перед войной в Брюсселе состоялся международный конгресс масонов, а в резолюции съезда один пункт был целиком посвящен Распутину, и сказано: вполне пригоден для целей свержения цезарей...

Николай Николаевич ответил Джунковскому:

— Чепуха! При чем здесь масоны? Я сам виноват. Во время революции, когда мы все, чего греха таить, растерялись, я решил, что царю полезно слышать «глас божий — глас народный»... Вот и втащил жулика в Александрию. Теперь же, сколько ни бубню царю, что Гришку надо убрать, получаю непроницаемый взгляд и сухой ответ: «Я все знаю, но не надо вмешиваться в мои семейные дела...»

* * *

2 января 1915 года, время — 17.20... Ударил гонг, и дачный поезд из Царского Села тронулся в столицу. Вырубова ехала в первом от паровоза вагоне, до Петербурга оставалось шесть верст... «Вдруг раздался страшный грохот, и я почувствовала, что проваливаюсь куда-

то вниз головою и ударюсь о землю, ноги же запутались, вероятно, в трубы отопления, и я чувствовала, как они с хрустом переломились». Вырубовой не повезло — под нею провалился пол вагона, и, пока поезд не остановили, женщину волокно между колес по шпалам. С помощью казаков ее высвободили из обломков. Вырубову рвало кровью. Она просила позвонить царице и родителям... Первой ее навестила надменная княгиня Орлова, облаченная в костюм сестры милосердия. Аристократка приложила к глазам лорнетку, сказала: «Отбегалась, матушка!» — и ушла. Любимая врачиха царицы, княгиня Гейдройц, ложкой раздвигала губы Вырубовой, проливая мимо рта дорогой коньяк и грубо орала:

— Да разожмите свои зубы, черт бы вас побрал!

Студенты-санитары запихнули искалеченную в теплушку, где ее с трудом отыскал генерал Джунковский; он сказал, что царица с дочерьми найдут минутку (!), чтобы с ней проститься (!).

— Вам камфару давали? — спросил он.

— Умираю... дайте святого причастия.

— Ну, я не священник, — ответил Джунковский...

В больнице ей ампутировали ступню. Предупредили, что если не поможет, то отхватят и выше — до колена. Но почему не придет Распутин, который, аки Христос, избавит ее от страданий? По ночам она орала: «Отец, отец... помоги... помолись за меня!» Гришка пришел однажды в палату, и Вырубова выпалила ему в лицо, что он обманщик: если б мог, то положил бы предел ее боли...

— Жить будешь, — посулил Распутин, — но калекой!

Гришке было сейчас не до нее: он хотел поставить императора во главе Ставки, пусть царь застрянет в делах военных, а тогда он с царицей приберет к рукам все внутренние дела империи. Всюду теперь Распутин трубил: «Коль немца нам не осилить, знать, Николаша богу неугоден...» Ставка тоже не дремала, и среди генералов уже не раз возникала мысль устранить Гришку самым конкретным способом — пулей! С фронта прибыл ротмистр Образцов, который и засел на «Вилле Родэ», подкарауливая Распутина в общем зале ресторана... Но револьвер дал осечку, свора охранников накинута на Образцова, офицер встал в дверях ресторана и, прощелкав полный барабан нагана, заявил спокойно:

— Убью любого, кто шевельнется... не подходить!

Он накиннул шинель и отбыл на фронт — в окопы.
— Осечка? — говорил Распутин. — Это не осечка. Меня сам бог бережет... Ерунда все... Напузырь-ка мне заварки из чайника!

2. Штаб-квартира империи

В начале войны Гришка прочно обосновался на Гороховой улице (дом № 64, квартира № 20), и обычная питерская квартира стала «штаб-квартирой империи». Легче было выяснить, что думает сейчас Сухомлинов, нежели узнать номер телефона Распутина — 646?46, который не указывался в городских справочниках, да и сам адрес Гришки был засекречен. Чтобы замаскировать его от излишнего любопытства публики, царь изменил ему фамилию — по паспорту он Новый. Распутинское жилище выдавало лишь особое оживление шпиков, несколько автомобилей возле подъезда да усиленная охрана дома, которую узнавали по серым тужуркам, по кепкам особой формы... Понимая, что целостность его шкуры во многом зависит от Степана Белецкого, он сам позвонил ему однажды.

— Слышь, хватит встречаться то у Мануса, то у Побирушки, давай сповидаемся как следоваит — в ресторане.

— Я не могу. У меня сын болен, — отвечал Белецкий.

— А я помолюсь. Глядишь, и поправится...

Рядом, округлив глаза, стояла жена Белецкого.

— Вешай трубку, — приказала она.

Степан повесил трубку, начал перед ней оправдываться:

— Не думай обо мне так... Я же знаю, какая это гадина! Через мои руки ежедневно проходят филерные листки — день за днем, час за часом. А я ведь, Ольга, клялся тебе перед богом...

Начался 1915 год; филеры шли за Гришкою по пятам, точно фиксируя его шаги, слова, обеды, выпивки, встречи:

Распутин на 50 минут посетил бани в д. № 3 по 4-й Рождественской ул., но был ли один или с кем-либо, наблюдение не установило.

Распутину принесли 1000 рублей от поставщика угля на флот Мозеса Гинзбурга.

Аарон Симанович принес Распутину несколько бутылок вина. В этот вечер был вечер в честь каких-то евреев, освобожденных Распутиным из тюрьмы, пели песни, плясали и кому-то аплодировали.

Фон-Бок с неизвестным привез Распутину ящик вина.

Распутин с неизвестной женщиной проведен в д. № 15/17 по Троицкой улице к кн. Андронникову (Побирушке). Выхода его не видели, в 4 с половиной утра пришел домой в компании 6 пьяных мужчин (с гитарой), которые пробыли до 6 утра, пели и плясали. Утром никого не принимал, так как спал.

Распутин вышел из д. № 1 по Спасской ул. от Соловьевых с двумя дамами и на таксомоторе уехал от наблюдения.

Приходила Е. К. Ежова просить его содействия по устройству ей подряда по поставке белья для армии на 2 млн. рублей. Около часу ночи... компания пела песни, плясала, стучала, и все пьяные вышли с Распутиным и отправились неизвестно куда.

Распутин встречен на Гороховой и проведен нами до дома № 8 по Пушкинской улице к проститутке Трегубовой, а оттуда в баню.

Еврей Поган принес ему икону и кружку для установки в прихожей Распутина для сбора пожертвований в пользу фронта.

Распутин в 1 час ночи привел к себе женщину... Распутин проведен в дом № 18 по Садовой улице к окончившему курс Московского университета кандидату наук А. С. Филиппову.

Около 10 часов вечера стали собираться к Распутину. Пришел Митька Рубинштейн с бабой. Была слышна игра на гитаре и пляска, они кому-то аплодировали.

Было слышно, что Распутина вызывают в Царское Село. Но так как он еще не проспался после вчерашнего, то гости не советовали ему в таком неудобном виде ехать, между собой вели разговоры: «Что-то наш царь последнее время избаловался!»

Распутин посылал швейцариху к массажистке, но та отказалась. Тогда пошел к портнихе Кате (18 лет), обещал ей дать 50 рублей.

Распутин послал телеграмму Саблеру: «Милай дорогой вчера беседовал о тебе с Мамой...» Привел к себе на квартиру проститутку и запер в комнате, но прислуга (Нюрка?) ее выпустила.

Инженер Мендель Нейман просил Распутина устроить ему высочайшее помилование за подкуп в укрывательстве от воинской повинности.

Распутин с проституткой Трегубовой приехал домой на моторе И. П. Мануса пьяный. Страстно целовал Трегубову, а затем жену швейцара опять посылал за портнихой Катей (18 лет), но ее дома не

было. Ломился в квартиру массажистки, но там ему не открыли и через дверь кричали, что позовут полицию...

К этому добавлю, что вдовая царица Мария Федоровна, проживая в Киеве, тоже подключилась к шпионажу. Похаживая по квартире в кальсонах, Распутин никогда бы не подумал, что прекрасная княжна Шервашидзе с длинными ногтями, покрытыми перламутровым лаком, не только чистит для него на кухне селедку — она еще и является тайным агентом императрицы Гневной! А за все годы войны Распутин ни копейки не истратил на еду и питье. Он сам и вся его семейка совершенно не знали, сколько стоит хлеб или керосин. Паразиты не ведали, как это бегать в лавку за продуктами, стоять в очередях. Было заведено, что гости должны нести в дом Распутина кто что может — вот и тащили, начиная от кислой капусты и огурцов до анчоусов и ананасов. Это был официальный паразитизм.

* * *

Навестим и мы, читатель, «штаб-квартиру империи».

— Эй-эй! Вы к кому? — спрашивают нас филеры в подъезде.

— Мы-то? А мы к Григорию Ефимычу.

— А-а-а... Третий этаж.

Дверь нам открывает Нюрка — племянница Распутина. «А вам назначено?» — задает она вопрос, будто мы явились на прием к врачу. Сядем же в сторонке на продавленный диван, обтянутый коричневым кретоном, и оглядимся. Общество в основном дамское. Мунька Головина, покуривая папиросу, кажется здесь самой скромной, самой тихой и самой бледной. Но в ней поражает отсутствие лифа, ибо ее повелитель не терпит «титишников» (как в простонародье назывались тогда бюстгальтеры). Трепещут складки модного креп д'эшина на платьях дам, мерцают соболя и шиншиллы, горят бриллианты самой чистой воды, в прическах колышутся тонкие эгретки. А разговоры странные — о концессиях на Мурманскую железную дорогу!

Оставим дам. Очень интересен стол. Громадный самоварище клокочет паром. Распутин каждой бабе кладет в стакан по два куса рафинаду. Дамы тянут к нему свои стаканы, ибо считается, что от перстов Гришки проистекает благодать. Звенят ложечки, слышен смех. На столе — кавардак: початый торт, возле него миска с кислой капустой, грудой навалены обкусанные баранки и черные сухари. Много вареной картошки. А рядом с нею, словно принцесса на бандитском пиру, затаилась свежая клубника от Елисеева. Распутин восседает чин по чину во главе стола, на нем крестьянский армяк на подкладке из алой парчи. После чаепития все дамы, как по команде, хватают со стола посуду, тащат ее на кухню и начинают мыть, показывая свое усердие. Нюрка при этом не моет — она лишь указывает графиням и княгиням, как надо мыть! Спрашивается, зачем же тогда сама Нюрка? В основном она предназначена для снятия трубки телефона, звонящего непрерывно. Нюрка с этой машинкой уже освоилась и сердито кричит в трубку:

— Эта хто? Хенерал? А вам назначено? Нету, — врет она, — и кады придет — не знаю... Говорю вам, что нету его!

С лестницы квартиру оглашает звенящий голос:

— Спаситель ждет ли возлюбленную свою?

У Распутина сразу портится хорошее настроение:

— Вот зараза... Говорил, чтоб ноги ее не было!

Вваливается Ольга Лохтина в платье из мешковины, на голове клобук, а на шее — двенадцать Евангелиев, как вериги, которые висят на скорбном вервии, шелестя прочитанными страницами.

— Гляди! — завопила она, вздымая над собой коробку с тортом. — Гляди, что принесла: сверху беленько, а снизу черненько...

— Чтоб ты треснула, — с надрывом произносит Распутин, объясняя окружающим: — Ну, никак не отвязаться! Сама, стерва, к Илиодору липнула, а теперь меня облипает.

Лохтина ползла на коленях, хватала его за рубаху.

— Бородусик мой... херувимчик сладенький... освяти!

Распутин рвал из ее пальцев подол рубахи.

— Ой, не гневи... отстань, сатана!

— Брильянтовый... душечка моя... освяти!

— Ух, курва, не доводи до греха. А то, видит бог, я так тебе врежу, что домой опять с синяком поспеешь.

— Алмазик мой... драгоценный!

В данной ситуации я целиком на стороне Распутина — терпеть можно, но... до каких пор! Гришка развернулся и шмякнул дуру об печку. Все двенадцать Евангелиев, порхая страницами, как крылья райских птичек, прошелестели по комнате вроде божьего дуновения... Раздался смачный треск — это Лохтина приложилась затылком к изразцам печи, прожаренной так, что плюнь — зашипит. Распутин заправлял за поясок раздерганный подол рубахи.

— И завсегда так? — говорил с обидой. — Все хорошо, но энта вот дура притащится, и у меня нервиев уже на нее не хватает... Сколь я лупил ее, суку, страшно подумать! Нет, лезет, стерва, будто я весь липовым медом намазан...

Явился семинарский учитель из провинции, которого далее прихожей Нюрка не пустила. Шепотком, часто всхлипывая, рассказывал о своих обидах, просил защиты. Распутин выслушал кое-как, широко взмахнув лиловыми рукавами шелковой рубахи.

— Ох, не люблю я просвещениев разных... Ну, ладно. — Шаркая шлепанцами, прошел к себе в кабинет, где основу мебели составляли два необходимых предмета — здоровущая кровать и жиденский столик. Присев, накомстил по бумаге палок и крючков, вынес «пратецю» к учителю. — Ступай к Саблеру... Он все знает. — При этом сунул еще и пятерку. — Вижу, что худ ты. Держи.

— Что вы, что вы! Как можно...

— Держи, коли я говорю... и больше не ходи!

Только разобрался с «просвещением», как вдруг двери настежь: вкатилась, очевидно, прямо с поезда, какая-то деревенская баба с мешком за плечами и сразу — в ноги к нему бултых:

— Помоги, батюшка, в уборную мне попасть.

— Эва! — отвечал Распутин, призывая гостей в свидетели. — Совсем рехнулась... в каку таку тебе уборную?

— В абнакнавенну, — отвечала та, бия поклоны.

Распутин к ее желаниям отнесся вполне философски:

— Коль прижало, так по коридору налево — ступай...

Подкинув на спине мешок, бабка поднялась.

— Да мне ину надобно. На вокзале чтоб. Слышал ли?

— Так што? За руку мне отводить тебя?

— Мне бы... подкормиться, родима-ай.

Выяснилось: заела бабку нужда в деревне, а одна ее землячка устроилась в городе на хорошем месте — прислужницей при вокзальной уборной, и вот бабка нагрязнула — за протекцией.

— Где адрес мой взяла? — спросил Гришка.

— Священник, дай ему боженька здоровьица.

— Горе мне с вами, — отвечал Распутин, вручая бабке «пратецу» к начальнику Николаевского вокзала: «Милай дарагой не откажис прозьба бедную уборная можешь устрой Грегорий». — Иди, шалыва! — сказал он, выставляя бабку с мешком за двери.

А вот уже и новый проситель. Стоял перед ним старичок в вицмундире, боязливо помаргивая.

— Что? Небось и тебе приспичило?

— Батюшка, мне бы в сенаторы... Бывал я губернатором в западных областях, да злые люди, подчиненные, оклеветали меня.

— И верно! Воровал. Не спорь — по глазам вижу.

— Оклеветали... Помози, кормилец. Замолвь словечко.

— Не! За тебя не стану. Не понравился ты мне. Проваливай!

Снова звонок. Нюрка побежала отворять двери. Дамы видели, что в прихожей, не раздеваясь, ходят, словно хищники в клетке, очень важные гости: блестит изморозь на енотовых шубах, стучат в руках трости, а голоса — крепкие, здоровые, настоятельные.

— Дядь Гриша, — вбежала Нюрка, — это тебя...

— Да не пойду я с ними, — заартачился Распутин.

В двери просунулась квадратная голова Мануса, он блеснул золотыми коронками зубов, сказал тихо, но уверенно:

— Григорий Ефимыч. Таксомотор. Ждет. Отдельный. Кабинет. Заказан. Разговор. Предстоит. Серьезный. А певички будут...

Распутин оглянулся на своих дам.

— Да у меня ж гости, ядрена вошь...

Нюрка, имевшая с этого дела, кажется, свою личную выгоду, грубо схватила всемогущего дядю за подол, выпихнула его в переднюю. Нахлобучила на него бобровую шапку. Распутин безвольно растопырил руки, девка напялила на него роскошную шубу, приговаривая:

— Нет, пойдешь, коль обещал. Да чтобы мне дома ночевал! Матри, не загуляй, как нонеча. Тады опять Федоровне нажалуюсь...

Какой Федоровне? Жене — Прасковье Федоровне? Или царице — Александре Федоровне? Распутин ушел, а дамы стали посматривать на часы, говоря одна другой, что в связи с этой войной у них столько дел... вообще тяжело! А по комнатам, задрав хвосты, разгуливали серые, рыжие, белые, черные кошки — любимицы Распутина, и время от времени кошки шипели, чем-то недовольные.

Парашка приезжала в Петербург не чаще чем один раз в году, да и то не задерживалась. При жене Распутин себя ни в чем не стеснял, продолжая вести обычный образ жизни. Жена не обращала на это никакого внимания и даже не раз говорила при гостях: «С него на всех хватит и мне кусочек останется». В последний свой приезд она оставила в Питере подросших дочерей — Матрену и Варвару; гостил и сын Дмитрий, о котором Распутин говорил: «От бога он дурачок: палец покажи — смеется!» На Гороховой быт Распутина окончательно оформился, а Мунька Головина (министр его внутренних дел) посильно помогала ему. Заметив неуступчивость какой-либо дамы, Мунька иногда отзывала ее в сторонку.

— Предупреждаю по-дружески, что Григорий Ефимыч ваши просьбы исполнить не может. Без любви нет у него силы, а без силы нет удачи. Понимаю, что боитесь изменить мужу, но поймите, что старец не грязнит, а лишь освящает тело... Уж я-то знаю: все мужчины в этот момент думают только о себе, а наш старец думает о боге. Откройтесь ему и познаете великую тайну!

* * *

Но бывала на Гороховой пожилая дама, на которую Гришка не кричал «пошто без декольты пришла?». Она появлялась неизменно с черного хода, со стороны кухни, и не сразу поднимала с лица плотную сетку непроницаемой вуали. «Посторонних нету?» — спрашивала... Это была графиня Матильда Витте, жена экс-премьера. В один из дней она позвонила Симановичу, чтобы он навестил ее мужа. Витте уже превратился в мешок из дряблой кожи, внутри которого загнивали

неможные суставы и сухожилия, но еще интриговал, желая вернуть себе власть над громадной страной.

— У меня созрел план, который вас заинтересует, — сказал он Симановичу, — а еврейский вопрос, сами знаете, всегда был для меня очень дорог. Я хочу нейтрализовать влияние газеты «Новое Время», устройте мне тайное свидание с Григорием Ефимовичем!

«Новое Время», верная заветам А. С. Суворина, ругала не только евреев, но и самого графа. «При этом, — вспоминал Симанович, — Витте должен был обещать мне, что, если нам удастся провести его опять к управлению государственным кораблем, он будет сотрудничать с нами (читай — сионистами)... Он согласился еврейский вопрос поставить на первый план!» Симанович уговорил Вульфа Хайта съехать с квартиры, а ключ от хайтовской квартиры переслал графу. В определенный день, в условиях глубокой тайны, здесь встретились трое. Из уха его сиятельства торчал клочок ваты.

— Воспаление, — пожаловался граф. — Не дает покоя...

Сразу перешли к делам. Витте сказал, что немилость двора к нему сейчас сильно возросла, ибо он всюду открыто вещает о глупости этой войны. Распутин — через стол — поцеловал графа.

— Вишь ты, — сказал, — я тоже войны боюсь. Но что делать? Папа не меня, а других слухал. Каго же нам, как не тебя, Виття, наверх вздымать, чтобы войны не стало?..

Витте завел речь о «Новом Времени»:

— Самая популярная газета в России и самая вредная. Она травила меня и евреев, а сейчас призывает народ отдать все силы войне... Необходимо ее обезвредить! Положение семьи Сувориных в финансовом смысле сейчас затруднительно. Мне известно, что они уже ходили к Барку и хлопотали о выдаче им правительственной ссуды под залог суворинских акций.

— Я в этих акцах ни шиша не смыслю, Виття.

— Вы только поддержите нас, — ответил Витте загробным голосом, — а уж с акциями Сувориных мы сами разберемся... Вы можете собрать шекель с евреев? — спросил он Симановича.

— Хоть завтра. Деньги будут. Сколько угодно.

— Отлично. Завтра же начинаю... потихоньку.

План был прост. Витте станет подпольным хозяином газеты, которая превратится в рупор банкиров-сионистов. А так как «Новое

Время» читала вся Россия (от царя до дворника), то следовало ожидать, что скоро евреи научат тетю Дашу, как выпекать мацу, а дяде Васе они подскажут, как ему лучше всего веселиться на празднике йом-кипур... Но Распутин никак не мог вытянуть Витте из затяжной отставки! «Если я уберу Горемыкина и назначу Витте, — говорил Николай II, — это для всего мира прозвучит как сигнал военной слабости России... как мирное предложение Германии! Меня убьют мои же генералы, убьют вместе с женой, как убили в свое время сербского короля Александра с его Драгой!»

На Гороховой у Распутина собрались дельцы сионистского мира, они притащили с собой скульптора Наума Аронсона, который с большим пылом взялся увековечить нетленные черты старца.

— Кошельки-то вы пошире разиньте, — сказал Распутин. — Вам же польза будет. Эвон, мне Сазонов Егорка сказывал: в Америке ваш брат уже все газетки скупил, оттого евреи что хотят, то и делают... Сенаторы тамошни знай себе поворачиваются!

За кулисами русской политики Витте действовал так энергично, будто ему еще жить да жить. Но вскоре понял, что дни его сочтены, и суворинские акции уступил Митьке Рубинштейну (о чем семья Сувориных, конечно, не знала). Жестоко отомстив газете за ругань, граф Витте умер от воспаления уха, перешедшего в менингит. «Новое Время» юридически уже находилось в сионистских руках, но Рубинштейн еще не знал, как приступить к делу практически. Пока что он принюхивался к газете через своего давнего агента Манасевича-Мануйлова, который, кстати, информировал и Степана Белецкого, а тот... молчал, потому что уже получил анонимку: «Делай, что хочешь, сажай, кого хочешь, а нас не трогай. Иначе измордуем и оплюем». Это была мафия...

3. Убиение «невинных» младенцев

Оставив терзать Францию, весь 1915 год Германия посвятила перемалыванию русских фронтов. Немцы пустили «рвотные» газы, австрийцы вели подлый огонь разрывными пулями. От таких пуль раны (я их видел) страшные. Теперь, если брали в плен австрияка, в подсумке которого лежали пачки «дум-дум», его расстреливали на месте. Вена объявила, что за каждого австрийца будут убиты два русских пленных. В феврале 1915 года Николай Николаевич издал приказ: за каждого убитого в Австрии пленного он будет вешать четырех, благо «у нас австрийских пленных на это хватит». Чтобы спасти положение, верховный мотался по фронтам, страшно материл офицеров, срывал погоны с плеч генеральских, револьвером гнал людей в бесплодные атаки. Про него рассказывали, что вечером он с бычьим хлыстом в руке залетел в ресторан Варшавы, где кутили «окопники», и ударами хлыста всех офицеров, словно собак, разогнал по своим частям... Неосвященные промерзлые вагоны вывозили с фронта искалеченных, в теплушках лежали гробы с мертвыми офицерами, а на гробах сидели денщики, дело которых — доставить «его благородие» родственникам для захоронения.

Пятый день
в простреленной голове
поезда выкручивают за изгибом изгиб.
В гниющем вагоне
на сорок человек —
четыре ноги.

Нехорошо кричал паровоз, слышен был разговор:
— Самое страшное — это когда горело кладбище. Не верите?..
Целое кладбище, и горят кресты, объятые пламенем. Горят страшно.
Пламя облизывает на крестах имена и фамилии, когда родился, когда умер... Мне казалось, что горят сами покойники.
— Где это вы видели, поручик?

— Это в Польше, господа, в селе Бяла Кавень... Немцы подожгли сначала костел, а потом запыхало и кладбище.

— Не там ли вас и ранило?

— Да нет, не там. И сам не знаю, как уцелел. Я из корпуса Булгакова... Все полегли под Августовом в лесах Мазурии.

Был февраль, когда немецкая армия перешла в атаку на Августов, на Вержболово, на Сувалки; Берлин готовил «мешок» для нашей 10-й армии, но корпус генерала Булгакова встал на пути Гинденбурга словно каменный, и, выбитый весь без остатка, он позволил армии выйти из окружения, а линия фронта застыла на линии Ковно — Осовец... В рядах этой 10-й армии служил и Мясоедов.

Черного кобеля не отмоешь добела. Это я говорю адвокатам Мясоедова, которые не убедили меня своим красноречием. Но даже если зачеркнуть все подозрения в шпионаже, то все равно (я убежден в этом!) полковник Мясоедов достоин только одного — чтобы его повесить за шею и чтобы он, высунув язык, болтался в петле до тех пор, пока веревка не сгниет, и пусть он рухнет...

* * *

Генерал-лейтенант Советской Армии М. Л. Бонч-Бруевич перед смертью вспоминал: «Я приказал контрразведке произвести негласную проверку и, раздобыв необходимые улики, арестовать изменника». В документальной книге «250 дней в Царской Ставке» большевик Михаил Лемке писал: «Дело Мясоедова поднято и ведено главным образом благодаря настойчивости Бонч-Бруевича, а помогал Батюшин» (это тот самый генерал Батюшин, который на маневрах германской армии вытащил из кармана Вильгельма II записную книжку, моментально сфотографировал ее и вложил обратно в карман кайзера, который так ничего и не заметил).

Мясоедов сам напросился в 10-ю армию, которая держала позиции близ пограничного Вержболова; он служил в армейской разведке. В основном же, хорошо зная богатые прусские усадьбы, занимался мародерством. Грузовиками и вагонами вывозил посуду и

картины, книги и фарфор, полковник-жандарм не гнушался сдирать даже занавески с окон. Раскатывая вдоль фронта на автомобиле, Мясоедов не догадывался, что шофер и два солдата, служившие ему, — это офицеры контрразведки, обладавшие большой физической силой... На крыше дома мясоедовского тестя Самуила Гольдштейна обнаружили нацеленные на Германию радиоантенны, а вскоре Бонч-Бруевич вскрыл перехваченное письмо от «преданного Бориса». Мясоедову писал родственник его жены Борис Фрейдберг, прося срочно выехать в Ригу, телеграфируя о своем выезде на либавский адрес. Мясоедов стал поговаривать, что ему надо бы заглянуть в Дембову-Руду под Вильной, где размещался штаб новых воинских формирований. Завели мотор и поехали... Было ясно, что Мясоедов готовит пакет сведений для «Бориса». На одной из литовских мыз Мясоедов «был пойман на месте преступления. Пока владелец мызы разглядывал переданные полковником секретные документы, один из переодетых офицеров как бы нечаянно вошел в комнату и схватил Мясоедова за руки. Назвав себя, офицер объявил изменнику об аресте...» Сразу же были взяты под стражу его родственники и сообщники по службе в «Северо-Западном пароходстве» — этом гнезде шпионажа; контрразведка вывезла с квартиры Мясоедова целых три телеги бумаг.. Мясоедов все отрицал! Он не думал, что идет к трагической развязке, и держался нагло, не давая точных объяснений о своем подполье. Лишь когда ему называли богатых евреев из Германии, связанных с фирмой его тестя, полковник начинал путаться, ссылаясь на плохую память, и от него часто слышали: «Можно ли верить жидовским рассказам?..» Следователи не обратили внимания на сцепление некоторых обстоятельств. Мясоедов, оказывается, не раз навещал Распутина — на Гороховой (и на Английском проспекте, где тот жил раньше), а вся свора его помощников, арестованная вместе с ним, была идейно связана с финансовым окружением Распутина; если при этом вспомнить, что в охране Распутина служили германские агенты, то подозрения еще больше усиливаются...

Дело о предателе передали в Варшавский окружной суд, но тут вмешался главноверх, велевший судить мерзавца военно-полевым судом — без канители! Ставку запросили — будет ли верховный утверждать приговор? Николай Николаевич отвечал, чтобы вешали без его санкции. На суде Мясоедов сознался в мародерстве (но только в

этом). Хотя и тут он нашел себе оправдание: «Не один я так делал — все хватали что видели...»

Суд вынес приговор — смерть через повешение. Мясоедов попросился в уборную. Там он разбил пенсне и осколком стекла перерезал сонную артерию. Его наскоро перевязали и всего в бинтах, залитого кровью, потащили на виселицу. «Не винова-а-ат!» — кричал Мясоедов; его повесили, а за компанию с ним вздернули и его друзей-приятелей. Пресса оповестила:

«Соучастники казненных государственных преступников Мясоедова Борис Фрейдберг, Шлиома и Аарон Зальцманы, Отто Ригерт, Давид Френберг, Роберт Фальк, Матеуш Микулис приговорены военным судом к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение... Жена казненного Мясоедова, Клара Мясоедова, осуждена к ссылке на поселение».

Берлин заявил, что обвинения Мясоедова придуманы русской Ставкой, чтобы свалить Сухомлинова! А сионисты утверждали, что генералы-антисемиты обвинили Мясоедова с единой целью — дабы иметь большое удовольствие повесить бедных евреев.

* * *

Распутина срочно вызвали на квартиру юриста Слиозберга, где собрался весь «цвет» денежной верхушки еврейского капитала и петербургские раввины — Эйзенштадт и Фридман. Распутина сионисты буквально оглушили стенаниями и звонкой бранью, сыпавшейся на головы русского верховного главнокомандования.

— Нас уже стали вешать! — кричали они.

— Что могу, то я сделаю, — отвечал им Распутин...

Симанович писал: «Делегаты продолжали свои жалобы против Николая Николаевича и просили Распутина избавить еврейство от его преследования... Распутин встал и перекрестился. Это означало, что он дал клятву помочь нам. В глубоком волнении объяснил он, что Николай Николаевич будет отстранен от должности вождя русской армии... „Тогда царь возьмет на себя командование армией, и мы

сможем сделать что-либо для евреев“, — сказал он. Все присутствующие были потрясены этим обещанием». Аарон Симанович тут же выступил перед собранием с дельным предложением:

— Евреи, кладите сто тысяч для нашего друга!

«На другой же день Мозес Гинзбург внес в один из банков на имена дочерей Распутина по 50 000 рублей». Казнь Мясоедова имела глубокий подтекст. Если даже Николай Николаевич и повесил Мясоедова едино ради устранения Сухомлинова, то ядро, запущенное им в министра, рикошетом должно поразить и самого верховного. Против командования русской армии сразу ополчилась темная сила, в которой воедино совместились царь с царицей, Распутин с сионистами... Симанович деньги-то давал, но при этом держал Гришку за глотку, требуя от него «сдачи». Распутин знал, что с коровой, которая дает молоко, надо быть ласковым. При его содействии сионисты образовали в городе Луге (под Петербургом) особый центр по призыву евреев в армию. «Все члены комиссии, — писал Симанович, — были назначены по указанию Распутина, и если к ним попадался призываемый, на бумагах которого имелся мой условный знак, то такого обязательно освобождали». Но этого им показалось мало — в Петербурге заработала подпольная фабрика по изготовлению фальшивых дипломов на звание зубных врачей; владелец такой бумаги, по тогдашним законам, не подлежал призыву! А в карман Распутину текли деньги... В этом году он заявил, что старшую дочку Матрену отдаст только за еврея, и вскоре на Гороховой появился жених Абрам Давидсон — тот самый репортер, что был в Покровском при покушении Хионии Гусевой. Но, как выяснилось, он сватался лишь ради сенсации, чтобы подзаработать на ней, и тогда Распутин, верный своим догмам философии жизни, набил ему кулаком морду и спустил вниз по лестнице, где жених угодил в лапы филеров, которые ему еще добавили... Это было, так сказать, богатое приданое за дочкой Распутина!

Душно. Хочется глотка чистого воздуха...

* * *

Историки пишут с заглавных букв — Великое Отступление!

Гинденбургам и людендорфам не удалось поколебать удивляющую весь мир железную стойкость российского воина-солдата...

Под белым флагом парламентаря в крепость Осовец явился германский офицер и сказал генералу М. С. Свечникову:

— Мы даем вам полмиллиона имперских марок за сдачу фортов. Поверьте, это не взятка и не подкуп — это простой подсчет, что при штурме Осовца мы истратим снарядов на полмиллиона марок. Нам выгоднее истратить стоимость снарядов, но зато сохранить сами снаряды. Не сдадите крепость — обещаю вам, через сорок восемь часов Осовец как таковой перестанет существовать!

Свечников ответил парламентарю вежливо:

— Предлагаю вам остаться со мною. Если через сорок восемь часов Осовец будет стоять, я вас повешу. Если Осовец будет сдан, пожалуйста, будьте так добры, повесьте меня. А денег не возьмем!

Немцы подвезли осадные мортиры, глотки которых имели в радиусе 42 сантиметра. Осовец стал похож на работающий вулкан, из его амбразур высвистывало длинные языки огня, от нестерпимого жара в округе крепости пересохли болота, из возникших воронок диаметром в 12 метров вдруг забили родники, разбужированные сотрясением почвы. Целые рощи деревьев взлетали кверху... Немцы выпустили 200 000 снарядов по «пятакчу», но Осовец выстоял, а высокий дух гарнизона не поколебался. Тогда немцы закутали крепость в плотное облако газа — это был хлор с примесью брома, мощное средство поражения. Все живое на много миль в округе пало замертво. В муках умерли волки и лоси, не стало в лесах косуль и зайцев, даже воробышек нигде не чирикнет. Но солдаты геройского Осовца (даже без противогазов!) выстояли в ядовитой отраве, укрываясь от газа в складках старинных стен и прячась в подземелье фортов... Их доблестный командир М. С. Свечников — это будущий профессор Военной академии имени Фрунзе в Москве, солдаты же его — это отцы тех, что держали оборону Бреста в 1941 году! Героизм всегда преемствен: из ничего ничего и не рождается. А многие из

кавалеров солдатского Георгия в 1945 году дошагали до Берлина
кавалерами ордена солдатской Славы...

4. Поклонение святым мощам

Маклаков пожелал видеть Джунковского.

— Владимир Федорович, эм-вэ-дэ получило агентурные данные, что жена хулигана Илиодора-Труфанова собирается вслед за ним за границу. Кажется, она везет дополнительные материалы о Распутине... Ее надо задержать, обыскать, все изъять!

— Хорошо, — согласился Джунковский. Шеф корпуса жандармов, он имел неограниченные возможности. Когда его собственная агентура доложила, что жена С. Труфанова благополучно миновала границу, он обманул Маклакова. — К сожалению, мы опоздали. Наблюдение не сработало, и эта баба проскочила под шлагбаум.

— Жаль! В этом была заинтересована императрица...

В начале весны Распутин поделился с царицей:

— Кады Илиодоркина дура пырнула меня ножиком, я в больнице обещал богу, что коли кишки срастутся, так я поеду до Москвы да в Кремле поклонюсь мощам святого патриарха Гермогена.

Соврал ты, Гришенька! Не мощи, а громадный барыш от поставок нательного белья для армии манили тебя в Москву. Я нарочно не писал о безобразиях Распутина, приберегая силы для этой главы. Прогрепевший на всю Россию скандал у «Яра» в московских Сокольниках имел большое значение для дальнейших событий...

* * *

Уведомившись, что старец прибывает в первопрестольную, дабы коснуться мощей угодников, московский градоначальник, генерал свиты Адрианов, спал отныне вполглаза. Полиция находилась в состоянии беспокойства и нервотрепки. Наконец купец Тарарыкин (владелец ресторана «Прага», что на Арбате) доложил

градоначальнику по телефону, что Распутин уже осчастливил его своим посещением, нафурил большую лужу в гардеробе, но в основном вел себя достойно всяческого подражания.

— Однако Ефимыч ни за что не платил, а счет за ужин велел переслать на ваше имя, — сказал ресторатор.

— Нахал! — ответил Адрианов, но счет оплатил...

Распутин повидался с нужными людьми. Это был редактор сплетничкой газетки «Новости Сезона» Семен Лазаревич Кагульский и забулдыга из дворян — Коля Соедов, автор горячих и актуальных репортажей о случаях воровства в магазинах и драках в пивных. Распутин сказал этим подонкам, что в высших сферах устроит им хороший чистоган с поставок белья, но... «Меня не забывайте!» — заметил он. Кагульский сразу сунул ему в карман тыщонку.

— Григорий Ефимыч, такое дельце надо sprysnut'.

— Не без этого, — захапал деньги Распутин.

Семен Лазаревич звал ехать к «Яру», владелец которого Судаков обещал ему отвести для Распутина отдельный кабинет.

— А я, — сказал Соедов, — напишу статью о похвальных действиях московской полиции и лично градоначальника Адрианова.

— Это зачем же тебе? — спросил Распутин.

— Пускай всем нам будет приятно.

— А-а... ну, тады валяй. Пиши! — разрешил Распутин.

Компанию поставщиков белья украсили женщины, среди которых была аристократка (имя ее полиция в своих донесениях скрыла), дряблая купчиха Анисья Решетникова, две еще какие-то крали и Гришкина любовница Елена Францевна Джанумова, вступившая с ним в связь, чтобы он помог вытянуть из Сибири ее родителей, сосланных за шпионаж в пользу Германии.

Заняли кабинет — честь честью. Как порядочные.

Распутин, облапив Джанумову, жаловался:

— Вот жистя настала! В сутки часика два еще ничего. А потом опять плохо. И с чего это мне так скушно бывает?..

Семен Лазаревич подлил ему винца и запел:

Выпьем мы за Гришу,
Гришу дорогого.

Присутствующие с большим желанием подхватили:

Свет еще не видел
Милого такого!

Распутин поцеловал Джанумову в нос и сказал:

— За «величальную» вам спасибочко. Выпьем...

Аристократка (имя которой неизвестно) без улыбки на лице наблюдала за ним. Распутин сказал ей, что завтра придет к ней.

— Пожалуйста, — тихо отвечала женщина.

Соедов проявил волнение, свойственное алкоголикам:

— Что-то мы мало пьем. Что-то мало едим.

Распутин воткнул в рот бутылку, высосал до дна.

— Давай вторую, — и второй не стало.

На закуску ему послужил поцелуй Франтика, как он называл Джанумову. Анисья Решетникова, нелюдимая и мрачная, налегала на еду. Кагульский, не жалея штиблет, плясал модный кэк-уок. Аристократка, раскурив тонкую папиросу, окуталась вуалью сиреневого дыма. Наступила полночь, кабинет уже показался Распутину тесен для разгула, он спихнул с колена Франтика и встал.

— А чего тут сидеть? Пошли к народу...

Кагульский и Соедов вывели его в общий зал, держа под локотки, как патриарха, который является к своей пастве со словом святого откровения. Публика в ресторане оживилась:

— Распутин... Вон этот... с бородой... ах!

Оценив внимание к своей особе, Гришка выхватил из кармана штанов пачку денег, быстро раскидал червонцы в хор балалаечников, сотенные бумажки с хохотом ловили цыганские певички. Он стал шляться между столиками ресторана, хвастаясь:

— Рубаха на мне... вишь? Сама царицка вышивала. А поясок-то, вишь, какой? У меня сапоги на два размера больше царского...

Балалаечники исполняли национальные мотивы:

Выйду ль я на реченьку,
Погляжу ль на быстрюю...

Здесь я в смягченной форме передаю подлинные фразы Распутина, которые тут же фиксировались агентами тайной полиции. Вскоре аристократка, не выдержав, подозвала к себе лакея.

— Быстро выпишите счет.

— За весь кабинет? — спросил он.

— Да, за весь...

Почуяв, что женщина пренебрегает им, Распутин, «взбешенный, шатаясь, произвел неприличный жест рукой... Светская дама бросила на стол пачку денег, далеко превышавшую итог счета, и поспешно вышла. Цыганки вышли вслед за нею» (из протокола полиции). Так поступают умные люди. А глупые радуются, и нашлись дураки, которые даже забрались на пальмы, как обезьяны, чтобы лучше видеть все безобразия. При этом, как докладывала агентура, хозяин ресторана Судаков, желая избежать скандала, стал азартно (и не к месту) уверять публику, что это не Распутин, а какой-то самозванец... Гришка сразу взревел от горчайшей обиды:

— Это я-то не Распутин? Да я самый настоящий...

А чем Распутин мог доказать, что он Распутин? Полицейский отчет гласит, что Гришка «обнажил половые органы и в таком виде продолжал вести беседы с певичками, раздавая некоторым из них записки с надписями „люби бес корыстно“. На замечание хора о непристойности поведения Распутин возразил, что он всегда так и держит себя перед женщинами; при этом, чтобы ему поверили, он „называл по фамилиям женщин, которые ему отдавались, сообщая о каждой какую-либо деталь, смешную или скабрзную...“. Франтик (у которой в биографии не все было чисто) быстро смылась в уборную. Соедов активно уговаривал Распутина еще „дернуть по маленькой“, а издатель газеты Кагульский предпринял попытку застегнуть на Распутине штаны, но потерпел в этом фиаско...

...Судаков позвонил Адрианову.

— Был он у меня. Страшно рассказывать.

— По счету уплатил? — забеспокоился градоначальник.

— Я бы сам, — отвечал Судаков, — заплатил ему в десять раз больше, только бы он не бывал у моего «Яра»...

Проломив рогатки цензуры и не щадя нравственности читателей, газеты опубликовали смачные подробности скандала у «Яра», а в Петербург полетели доношения под грифом «сов. секретно».

Поклонение московским мощам пошло все-таки на пользу Распутину, и, заработав на поставках белья для фронта, он впер к себе на третий этаж рояль. С удовольствием разглядел свою персону в отражении черной лакированной крышки. Сказал:

— Это вам, доченьки! Мотри, как батька-то для вас старается. Последнее готов с себя снять, чтобы вам хорошо сделать...

* * *

Все документы о скандале сконцентрировались в сейфе шефа жандармов Джунковского; с докладом к царю он прошел в приемную императора, где случайно напоролся на Распутина.

— А-а, ты здесь... Тебя-то мне и надобно!

Нервный генерал по всем правилам бокса нанес острый хук в подвздошину. Распутин от боли открыл рот, но... безмолвствовал. Свинг в челюсть склонил его голову на левое плечо. Джунковский прямым снизу поправил ее — и она повисла на правом плече. Последовал заключительный апперкот — Распутин мешком осел на пол. В англоязычной свите царя оценили все по достоинству:

— Поздравляем. Нокаут.

В подробном докладе царю Джунковский сознательно выделил в нем те места скандала, где Распутин похвалялся своим влиянием на царицу и на придворных дам. Николай II сказал:

— Прощу вас, пусть это останется между нами...

Джунковский закончил речь обычными рассуждениями о том, что за спиной Распутина стоит некое таинственное сообщество «жидо-масонского» толка (это был пункт его помешательства).

— Я все это проверю, — обещал ему царь...

Степан Белецкий оживил эту картину: «По словам Распутина, государь после этого долго не пускал его к себе на глаза, и поэтому Распутин не мог слышать или говорить спокойно о генерале Джунковском до конца своей жизни». Но, никому не веря, Николай II поручил Саблину разобраться в докладе Джунковского.

— Я знаю, Григория не любят. Где ложь, где правда?

Саблин, опытный арбитр в семейных делах Романовых, нашел в себе смелость подтвердить правоту доклада Джунковского:

— Государь, Григорий Ефимыч у «Яра» *превозмог сам себя*...

Императрица пожелала видеть Саблина, и, сочно поцеловав его в губы, она врезала ему оскорбительную пощечину.

— Дурачок, что ты там наболтал моему дураку?

Вечером Саблину влетело еще и от Мануса.

— Вы сделали большую глупость, — сказал капиталист. — Как можно отзываться о Распутине дурственно, если...

— А ну вас всех к черту! — вспылил офицер «Штандарта».

Опираясь на костыли, притащилась Вырубова.

— Ты подумай, Аня, — расплакалась царица, — опять целый воз грязи навезли к нашему порогу. Конечно, кто спорит, у «Яра» и бабы были, не без этого, но... при чем же здесь Григорий?

— Это была нечистая сила, — заверила ее Вырубова.

— Конечно! Любой другой, попади он к «Яру», не ушел бы оттуда живым, и только божественный промысел помог Григорию спастись... Я даже знаю, кто подстроил ему эту ловушку!

— Кто? — оживилась Вырубова, гремя костылями.

— Московский градоначальник Адрианов.

— Ах, так? Ну, он у нас еще попрыгает. Он еще у нас попляшет. Аксельбант свиты царской ему теперь лишь во сне приснится.

* * *

Петербург в это время был потрясен страшным взрывом на Пороховых, так что даже в Царском Селе вздрогнул дворец; санитары долго собирали обезображенные трупы; Алиса рассылала семьям погибших рабочих иконки. Затем 9 мая взорвался эшелон с боеприпасами в Гатчине, причем разнесло все дачи возле путей, и тут вспомнили, что эшелон несколько раз загорался еще в столице — перед отправкой. Наконец, грянул третий взрыв — на Охтенском заводе, опять кровь и жертвы... Все понимали, что немецкая агентура творит в Питере что хочет. Распутин дал царице совет: «Скажи папе,

чтобы газеты не ругали немцев за эти взрывы. Война столько зла принесла, так на што это зло усиливать? Ну, рвануло. Ну, отскочить не успеешь. Ну, сдохли. Ну и бог с ними...» Он подарил царице икону с колокольчиком: «Коль дурной человек явится, сразу звон услыхаешь». А царю он подарил палку, купленную на Афоне: «Носи! Эту дубину я благословил...»

5. Открытые семафоры

Немцы, немцы, немцы — они так обжили государственное правление, что высшая власть казалась уже немислимой без приставки «фон-цур». Знаю, что среди обладателей немецких фамилий были светлые одаренные личности, любившие Россию не меньше русских, которых порою даже угнетало их немецкое происхождение, тянувшееся от предков, выехавших на Русь с незапамятных времен. Но была и мутная накипь, гнилая мякина, от которой не знали как избавиться... Что долго говорить! Вот, пожалуйста: министр императорского двора граф Фредерикс! От слабоумия путал окна с дверями. Однажды он уже сделал шаг.. в окно (успели перехватить за фалды мундира). А недавно он опять отличился. Подошел к самому императору и свысока потрепал его по плечу, спрашивая:

— А тебя тоже пригласили к столу царскому?..

Николай II в этом случае показал себя либералом:

— Куда ж мне его деть, дурака? Он так предан мне...

* * *

Никто в Думе не ожидал, что Хвостов распечатает свои уста, но лидер правых заставил всех невольно вздрогнуть:

— Народ ропщет: «Сами продались и нас продали!» Я говорю о немецком засилье в стране, о германском шпионаже в России... Доколе же? — Хвостов не был голословен и бил точно по цели — по немецким банкам, по промышленным синдикатам, в тени которых затаилось мурло германских капиталистов. Основной удар он обрушил на электротехническую промышленность, издавна бывшую в подчинении немецкого капитала: «Сименс и Шуккерт», «Сименс и Гальске», «Всеобщая компания электричества», «Общество электроэнергии 1886 года» — ни один выстрел Хвостова не пролетел

мимо «яблочка». — Мы включаем в квартире свет, мы покупаем билет в трамвае и даже не сознаем, что этими безобидными действиями мы невольно оплачиваем рабскую дань Германии... Народ прав, наши верхи предали сами и нас предали! — открыто возвестил Хвостов. — Но чтобы народ не устроил самосуда, правительство должно возглавить борьбу против германских хищников — капиталистов и банкиров... Почему, черт побери, акции «Общества 1886 года» не котируются на русской бирже? Почему эти акции всегда котировались на биржах Берлина? Электричество — будущая кровь нашей империи, и мы не позволим, чтобы рубильник великороссийских моторов включали в конторе «Дойчес Банка» рукою проклятого кровавого кайзера!

Хвостову удалось нащупать и самое больное место в артиллерии: электрофирмы выполняли заказы для фронта (дистанционные трубки и запальники для снарядов, которых как раз больше всего и не хватало!). Он понимал, что эта дерзкая речь заставит Царское Село обратить внимание на самого оратора, а поездки на «Виллу Родэ» отлакируют общую картину его правого патриотизма. Весь мокрый от пота, под грохот аплодисментов, Хвостов спустился с трибуны — дело сделано! Из гостевой ложи спустилась в вестибюль дворца нарядная, как кукла, Наталья Червинская (кажется, эта конотопская Клеопатра все-таки нашла своего Антония).

— Слушай, Лешка, — сказала она, — ты даже не представляешь, как тебя сейчас попрет... выше, выше. Ты у меня молодец.

Депутаты подходили к нему, пожимали руку:

— Великолепно! Проникновенно! Потрясающе!

— Это моя тема, — скромно отзывался Хвостов. — Довольно нам, русским, поклоняться Германии... морду в кровь расхлещем!

Червинская предложила ему встретиться вечером.

— Я позову и Побирушку... не спорь, от этого князьинки с его портфелем, набитым пипифаксом, очень многое зависит.

Пуришкевич тоже подошел к Хвостову, спросил:

— О чем, мой друг, будет ваша следующая речь?

Хвостов (карьеристски точно) наметил верную цель:

— *О дороговизне...* О том, что в столице появились у магазинов очереди, которые шутники стали называть «хвостами»!

Вечером дома у Червинской сидели на тахте многопудовые Хвостов и Побирушка; извилистая тропинка уводила их в трепетные кущи МВД; Червинская просила их пересесть на стулья:

— Слезайте с тахты! Вы мне все пружины продавите...

Через несколько деньков пассажиры дачного поезда видели, как два толстяка ехали в Царское Село, и по столице пошли разговоры: «Побирушка таскал Хвост за собою — скоро что-то будет...» А самое смешное в том, что Побирушка как раз и был акционером «Общества электроэнергетики 1886 года». Хвостов своей речью в Думе наносил удар по карману Побирушки. Спрашивается: какая же корысть Побирушке выдвигать Хвостова с его антинемецкой пропагандой? Но в том-то и дело, что, выдвигая Хвостова, Побирушка надеялся потом — через того же Хвостова! — пресечь все нападки на электротехническую индустрию, бывшую в немецких руках...

Ничего сложного нет — все просто в мире капитализма!

* * *

Сложнее объяснить немецкий погром в Москве... Веселее всего было на 1-й Мещанской, где вино лилось рекой — до колена, а пожарные крючьями изымали из подвалов упившихся. Громил «Шварца» на Кузнецком мосту — из магазинов хирургических инструментов вылетали операционные приборы. Все это вершилось не в суровом молчании, а с возгласами: «Бей немчуру поганую, да здравствует Россия!» Музыкальная фирма «Циммерман» еще не ведала такой какофонии: на мостовую, крутясь ножками, вылетали рояли и пианолы, клавиши скакали по бульжникам, похожие на суставы пальцев от высохшего скелета. А вот и оптический «Мюллер»: витрины распались со звоном, хрупкие линзы для очков разной диоптрии давились под ухающими сапогами биндюжников. Вдрызг разнесли похоронного «Гринбаума»: каждый имел возможность на всю жизнь запастись гробами! Дворничихи растаскивали по дворам длинные покойницкие саваны, из которых получались хорошие простыни. Зато гробовые подушки не нашли применения, ибо спать на

них жестко, — их сложили в костер, и вокруг пожара плясали если не «Карманьолу», то, во всяком случае, «Барыню» — вприсядку! Было и зловеще печальное в этой истории. Пострадало издательство И. Н. Кнебеля, выпускавшее очень хорошие книги по русскому искусству. В погромном огне безвозвратно сгинули 200 картин русских живописцев, масса негативов и ценных клише (Игорь Грабарь тогда же потерял тираж своего издания «История русского искусства» — и даже прервал писание монографии). Всего было разгромлено в Москве 732 фирмы, убытки составили сумму более 50 миллионов рублей. Но в чисто национальном погроме вдруг обнаружилась и политическая подкладка. «На знаменитой Красной площади, видевшей столько исторических сцен, толпа бранила царских особ, требуя пострижения императрицы в монахини, отречения императора, передачи престола великому князю Николаю Николаевичу, повешения Распутина и прочее... Эти известия вызвали ужас в Царском Селе». Войскам в Москве дали приказ — применять оружие, и последние искры антинемецкого погрома были затоптаны. Теперь надо искать виноватых, а такие всегда сыщутся...

— Градоначальник Адрианов! — сказала царица. — Когда скандал был у «Яра», Адрианов палец о палец не ударил, чтобы помочь святому старцу выбраться из этой гнусной ловушки...

По высочайшему повелению Адрианова обвинили в «бездействии власти» и с его груди сорвали аксельбант свитского генерала. Общипанный курам на смех, генерал сразу поехал в Петербург.

Адрес ему известен: Гороховая, 64, кв. 20.

— Ах, мать твою размать... — еще с порога начал Адрианов. Распутин оценил героический пролог к серьезному разговору и посоветовал не стесняться. — Не дурак, понимаю, что дело не в погроме. Когда ты без штанов у «Яра» гулял, я тебе не мешал?

— Не мешал, — согласился Распутин.

— А теперь на меня твоих же собак вешают...

— Ты умный, — сказал ему Распутин. — Вот тебе бумажка, вот тебе вставочка с перышком... Садись, хенерал, и пиши всю правду царю. Пиши как есть. Без штанов я не гулял и вообще вел себя у «Яра», аки голубь небесный. Напиши так, чтобы государь поверил тебе, а не этому гаду Джунковскому.

— На чье имя писать? — деловито спросил Адрианов.

— Анютке пиши... Вырубовой.

Адрианов сочинил обширную справку на тему о Гришкиной благопристойности, из коей явствовало, что в ресторане у «Яра» все сидели без штанов, но Распутин к этому безобразию непричастен. Адрианов снова украсил свою грудь аксельбантом, а теперь... «Теперь дело за Джунковским», — сказала царица. Николай II вызвал Джунковского к себе и, поправляя усы, сказал, что прежнего доверия к нему он не испытывает — можно снимать аксельбант. Джунковский снятым аксельбантом хлопыстнул по столу, как плеткой.

— На фронт хочу... Дайте мне дивизию!

Командуя дивизией, он вместе с дивизией вошел в революцию как генерал-фронтовик; один хороший нокаут, сделанный им Гришке, решил его судьбу, и в 1926 году, провожая Джунковского на курорт, знаменитый А. Ф. Кони напутствовал его словами: «Будущий историк оценит ваше отважное выступление против Распутина...»

* * *

Екатерина Великая (посмертной славе которой так завидовала Алиса) имела при себе камер-фрау Марью Саввишну Перекусихину; эта дама с большим знанием дела опробовала кандидатов в фавориты, после чего следовал ее доклад: «Петька слаб, а Сенька дюж, Сенька гожд, матушка!» Нечто подобное происходило и сейчас: кандидат на пост министра, прежде чем попасть пред светлые очи государыни, должен побывать на царскосельской дачке Анютки Вырубовой, которая оценивала его — «наш» или «не наш»?.. Хвостов уже пил чай на даче Вырубовой, но понравился ей, увы, напрасно! Обстоятельства сложились так, что царь временно выпал из-под контроля жены. Возмущение в народе против царской семьи, угрозы скинуть «Николашку» с престола, а царицу заточить в монастырь подействовали на царя. Надо было как-то спасти положение, произведя смену министров, чтобы на время притушить недовольство в стране. Но царь понимал, что, пока он в Царском Селе, ни жена, ни Вырубова, ни Распутин не дадут ему это сделать. А потому он спешно

отбыл в Ставку... Императорский салон-вагон въехал через ворота в заборе и остановился напротив штабного вагона дяди Николаши, который помог племяннику спрыгнуть с высокой подножки.

— Здесь, — сказал ему царь, — в тихой деловой обстановке, без баб и истерик, я приму очень ответственные решения...

Первым делом надо было задобрить Думу, которую крайне раздражала Влюбленная Пантера — Маклаков. Родзянко уже не раз настаивал на удалении Сухомлинова, Саблера и Щегловитова; в обществе перетирали на зубах вопрос о трагической нехватке снарядов на фронте, всюду лаяли Малечку Кшесинскую, за которой стоял великий князь Сергей Михайлович... Маклаков был вызван в Ставку.

— Я, — сказал ему царь, — целиком солидарен с вами, что Думу надо бы закрыть на замок, а Родзянко ведет себя хамски, принимая на себя почести, будто он глава государства. Но...

За этим царским «но» Маклаков хлопнулся в обморок.

Его оживили. Влюбленная Пантера рыдала:

— Чем же я не угодил вашему величеству?

— Вы угодили мне, но я вынужден считаться с тем мнением, которое у нас неостроумно прозвали общественным...

Маклаков с трудом пришел в себя.

— Говорят, на мое место прочат Алешку Хвостова?

— Ставка желает князя Щербатова...

Николай Борисович Щербатов занимал должность начальника государственного коннозаводства — лошадь по-прежнему играла в России колоссальную роль (особенно сейчас, когда пулеметы косили нашу славную кавалерию), и, влюбленный в гиппологию, князь сказал:

— Помилуйте, но я ни в какие ворота не лезу! Какое я могу иметь отношение к эм-вэ-дэ? Прошу, оставьте меня с лошадьми...

Николай II настаивал на занятии князем поста министра внутренних дел, ибо Щербатов — человек с конюшни, неизвестный для широкой публики; он был сейчас выгоден для царя, как обтекаемая незначительная фигура, к которой трудно придаться.

— Я не стану мучить вас работой, а моя просьба в военное время не дает вам права отказываться от занятия поста...

Щербатов даже прослезился — в прострации.

— Странное дело! — заметил царь. — Увольняя министра — он ревет как белуга. Назначаю министром — тоже плачут. Николай

Борисыч, я вас прошу — наведите порядок в государстве.

— Я знаю только один порядок — как в конюшне!

— Согласен даже на такой, — отвечал Николай П...

А в Царском Селе творилось невообразимое: Алиса заламывала руки, Анютка готова была рвать на себе волосенки, Гришка ходил мрачный, как сыч, — царь принимал в Ставке самостоятельные решения, а они, бессильные, не могут подсунуть ему «нашего». Распутин вяло мямлил: «Как же так? Без моего божьего благословения?» Положение на фронте было отчаянное, и в Ставке решили срочно призвать на службу ратников 2-го разряда.

* * *

Нюрка открыла двери — на пороге стоял хожалый из полицейского участка, держа под локтем замызганный портфель из парусины.

— Новых-Распутин Дмитрий Григорьев здесь проживает?

Речь шла о сыне Распутина — о Митьке.

— Ну, здесь. Так што? — спросил Гришка.

Хожалый раскрыл портфелишко, поплевал на пальцы.

— Числится он ратником второго разряда и подлежит призыву в армию по месту его жительства... в Тюмени.

— Это по какому же праву? — осатанел Распутин.

— А по такому... Кажинный русский человек обязан свое отечество грудью защищать. Так какие ж еще тебе права надобны?..

До этого война проходила стороной и только сейчас дошла до самого сердца Распутина. Он завыл:

— Митьку берут... кровинушку мою! А я не дам ево... Это што ж получается? Под пули, выходит, соваться? А за што?

Миллионы русских митек, ванек и петек месили грязь окопов, били вшей на бинтах, умирали, унизав собой спирали колючей проволоки, стонали в землянках, изувеченные огнем, ослепленные газами, а эта вот поганая сволочь в шелковой рубахе и бархатных штанах металась по комнатам, опрокидывая стулья, и вопила:

— Не дам! По какому праву? Это ж мое дите...

Я долго ждал этого момента, чтобы поведать тебе, читатель, самое гнусное злодеяние Гришки Распутина: ради спасения своего паршивого щенка он решил отменить в стране мобилизацию ратников 2-го разряда, лишь бы чад его не пропало в этой серо-красной мешанине, что зовется солдатчиной... Собранный и строгий, он явился к царице с темными кругами под глазами. Его шатало будто пьяного, но он был абсолютно трезв.

— Какую ночь молюсь! — заявил. — Было мне видение яркое. Голос свыше протрубил мне — не надо призыва ратников...

В барановичскую Ставку полетели истошные вопли царицы; она заклинала мужа: «Прошу тебя, мой ангел... не разрешай призыва 2-го разряда. Отложи это как можно дольше. Они должны работать на полях, фабриках, пароходах и т. д. Тогда уж скорее призови следующий год. Пожалуйста, слушайся ЕГО совета, когда говорится так серьезно, ОН из-за этого столько ночей не спал! Из-за одной ошибки мы все можем поплатиться... Он тебя настоятельно просит поскорее приказать, чтобы в один определенный день по всей стране был устроен всеросс. крестный ход с молением о даровании победы...»

Призыв не состоялся. Но молебны были. Пополнение на фронт в нужный срок не прибыло, и германская армия развивала свое наступление... Зато Митька остался сидеть дома!

Комментарии даже не требуются — любой поймет.

6. «А нам наплевать!»

Зарывшись глубоко в землю, союзные армии вели отныне лишь позиционную войну, предоставив Германии возможность раздельваться с безоружной Россией, а сами весь 1915 год посвятили исключительно наращиванию военного потенциала. Ллойд-Джордж писал: «История предъявит счет военному командованию Франции и Англии, которое в своем эгоистическом упрямстве обрекло своих русских товарищей по оружию на гибель...» Кайзер запланировал выбить Россию из войны, а уж потом обрушиться на Запад!

Последний на штык насажен.
Наши отходят на Ковно.
На сажень
Человечьего мяса нашинковано.

Русские крейсера, подвывая в рассветном дыму сиренам покинули родную уютную Либаву — с ее пляжами, с ее танцплощадками, с милыми цукернями; после отхода кораблей волна еще долго качала под пирсами намокшие обрывки центральных газет с призывами «Война до победного конца!». Во всем этом успокаивает нас одно: русская армия и флот могут иногда потерпеть поражение, но Россия побежденной никогда не бывала и не будет...

Ветер разметывал на улицах плакаты Маяковского:

У Вильгельма Гогенцоллерна
Размалюем рожу колерно!

* * *

Янушкевич 6 июня докладывал Сухомлинову: «Кадры тают, а пополнения получают винтовки в день боя. Просто волосы дыбом! Приходится отходить... Но будь проклятые снаряды — отбросили бы немцев сразу. Когда батарея, вопреки приказу, выпускает сразу все снаряды — успех! Брусиллов тоже начал отход... Отовсюду кричат и грозят нам гидрой революции...»

Звонок по телефону прервал чтение письма:

— У аппарата военный министр, слушаю.

Наталья Червинская спросила Сухомлинова:

— Это правда, что у вас ночью был обыск?

— Что за чушь! Кто посмел так думать?

— Но в городе ходят слухи, что...

Сухомлинов повесил трубку. Вечером, придя домой, он сделал выговор жене за то, что она много тратит денег.

— Ты знаешь, золотко, мне для тебя ничего не жалко. Но нельзя же покупать все, что продается в магазинах.

Жена обиделась. Ночью он звонил в министерство:

— Львов сдали?

— Еще нет. Но армия откатывается.

Утром его навестил Сазонов, совершенно поблекший.

— Как ведающий иностранными делами, я поставлен вами в неловкое положение. Мы же не одни — мы члены коалиции, и коалиция спрашивает меня, а я вынужден вопрос Антанты перепоручить вам лично — когда же наша армия перестанет отступать?

— Тут немало соображений. Сейчас выравниваем линию фронта, в которой образовались опасные выступы и завалы, вредящие планомерной и четкой стратегии. Боюсь, вам этого не понять!

Но это Сазонов — дипломат, с ним легче. Зато стало плохо, когда на пороге выросла громоздкая фигура Родзянки, которого в столице за его сипение и звучный голос называли то «самоваром», то «барабаном». Родзянко начал без подготовки:

— Государственная Дума пришла к выводу, что дальнейшее ваше пребывание на посту министра является губительным для нашей армии. Уйдите сами, иначе вам предстоит уходить... по суду!

Сухомлинова взорвало:

— Не меня судить за поражения на фронте, а Гучкова и ему подобных болтунов, подрывающих веру народа в победу!

Раздалось астматическое сипение «самовара».

— Я вам говорю об отступлении армии, а вы мне толкуете о том, что в огороде бузина... Ну, при чем же здесь Гучков?

— Именно критиканство разлагает нашу доблестную армию, бужиря ее пошлыми инсинуациями, будто я развалил аппарат министерства, будто я разворовал обмундирование и расхитил арсеналы.

— А ведь вы развалили! — загромыхал «барабан». — А ведь ваши друзья все растащили... Но перед этим вы еще залепили публике глаза своим бахвальством в статье «Мы готовы!».

— Она не подписана моим именем.

— Но статья-то вышла из вашего кабинета...

Сухомлинов в волнении пересек кабинет по диагонали.

— Я не понимаю, чего вы от меня хотите?

— Это не я, а Россия желает, чтобы вы ушли отсюда...

После этого Родзянко совершил один шаг, непозволительный с точки зрения светской этики, — он нагрязнул в особняк Кшесинской, застав приму русской Терпсихоры в грибницах, где она срезала с грядок белые грибы; в стеклянных оранжереях произрастал дивный тропический сад, в ароматной духоте пели диковинные птицы... Родзянко сказал женщине, чтобы она не совалась в дела артиллерийского ведомства... Кшесинская издала шипение, словно кошечка: «Пшш... Пшшш... пшшшш...» — и прогнала его. Родзянко навестил ее покровителя, великого князя Сергея Михайловича, владычившего в русской артиллерии. В ответ на попреки тот сказал, что производство снарядов увеличить невозможно, ибо нет станков для выделки дистанционных трубок. Родзянко задал ему вопрос:

— Тысяча станков на первое время устроит вас?

— Откуда они, милый вы мой?

— Добровольцы объехали ремесленные училища, где отыскивали станки, пригодные для выделки трубок... Вы говорите, что совсем нет трубок? А между тем они валяются у вас под ногами.

— Как так?

— А так. Полтора миллиона (!) дистанционных трубок нашли здесь же — в арсенале столицы, и вы об этом не знали?

— Не знал.

— Вы должны уйти, — пробарабанил Родзянко.

— Я понимаю, — согласился великий князь.

— Вы уйдете сами? Или...

— Уйду сам... по болезни. Должен принести вам извинения за шипение Малечки, она нервная... артистка!

— Ничего. На меня все шипят... не только артистки.

Галиция была оставлена. 12 июня состоялось собрание Совета министров под председательством Горемыкина, который был убежден, что «война его не касается». С утра старый рамолик еще был внятен, иногда даже отпускал остроумные шутки, но к полудню действие морфия подходило к концу: Горемыкин тускнел и засыпал, а если спрашивали — порол глупости... В самый разгар заседания из Ставки прибыл курьер с пакетом.

— Лично от государя, — сказал он Сухомлинову; прежде чем устранить любимца, царь его ласково облизал.

«Владимир Александрович, — писал он. — После долгого раздумывания я пришел к заключению, что в интересах России и армии ваш уход необходим... Мне очень тяжело сказать вам об этом... Сколько лет мы с вами работали, и никогда между нами не было недоразумений. Благодарю вас, что вы положили столько труда и сил на благо нашей родной армии.

Беспристрастная история будет более снисходительной, чем осуждение современников.

Господь с вами. Уважающий вас НИКОЛАЙ».

Горемыкин очнулся от скрипа отодвигаемого стула.

— Владимир Александрыч, куда это вы так поспешно сорвались, или у вас в министерстве опять все... кипит?

Сухомлинов помахал письмом императора.

— Отставка! — сказал и быстро вышел...

Дома при этом известии бурно разрыдалась жена.

— Ну, вот и конец... Ах, я несчастная!

Побирушка бегал по городу, всюду возвещая:

— Имею сведения: Сухомлинов — немецкий шпион...

Пришлось оставить казенную квартиру на Мойке — Сухомлиновы перетащили мебель в новое жилье на Торговой улице. Затем они отъехали в Курскую губернию, где экс-министр с упоением предавался рыбной ловле, вкладывая в это дурацкое занятие всю свою душу — без остатка! Для историков будущего он записывал в дневнике генеральные события своей беспрецедентной жизни: «Пытался поймать щуку, но не удалось. Погода чудная, газет не читаю...» А сколько дивных волнений испытал он, лирически вдохновенный, когда копал червей на берегу тихого Сейма. Подумать только — накопал целую банку, но пришла на бережок Екатерина Викторовна и так поддала туфелькой, что все черви по сторонам разлетелись.

— Довольно! Мне противно видеть, что ты как дурачок часами сидишь и смотришь на этот идиотский поплавок...

Она удалялась от реки, стройная и красивая, а в сиреневых кущах пели волшебные курские соловьи. Роняя удочки и давя червяков, Сухомлинов трусил по тропочке за своим сокровищем.

— Катенька, постой... но что же мне делать?

Она резко обернулась, поддернув юбки.

— Здесь ничего не сделаешь — надо возвращаться!

Приехали в столицу, которая сразу наполнилась анонимками. В них писалось, что Берлин после отставки Сухомлинова празднично ликует, что теперь-то уж немцы точно уверены в победе над Россией, что кайзер истратил множество миллионов марок на устранение Сухомлинова с поста министра. Заодно в анонимках было сказано, что Родзянко, Гучков, Поливанов и прочие критиканы не пожалели золота, дабы лишить русский народ сухомлиновского гения...

— На этом можно поставить точку! — сказал М. Л. Бонч-Бруевич, аккуратно подшивая все анонимки в одну папку. — Под анонимками не хватает только литературного псевдонима Сухомлинова — имени Остапа Бондаренко, якобы живущего в отставке на хуторе.

Теперь разгильдяй, оправдываясь, честно писал, что Россия не была готова к войне, и отпуская комплименты Германии, которая к войне была отлично подготовлена. Государственная Дума 345

голосами (из числа 375 голосовавших) предложила правительству предать Сухомлинова и его сообщников суду. Бюрократия капитулировала, и была создана особая комиссия для расследования преступлений военного министра... Екатерина Викторовна рыдала.

— Черт бы их всех побрал! Сегодня в магазине Броккара какая-то стерва прошипела мне в спину: «Шшшшши-онка...»

— Бедная Россия, — вздыхал Сухомлинов.

Жена долго вспоминала казенную квартиру на Мойке.

— Там остались такие обои, ну, так бы и ободрала их все со стенок... Совершенно не понимаю — как жить дальше?

* * *

На пост военного министра заступил генерал А. А. Поливанов, не скрывавший от царя, что будет работать в контакте с общественностью. Полетел и министр юстиции Щегловитов (Ванька Каин); Николай II долго колебался, но все же выбросил из Синода и Саблера, назначив на его место культурного москвича Самарина.

— Распутина не потерплю! — твердо объявил Самарин...

Читать письма царицы за это время — одно удовольствие: видно, как она корчится от ярости, клеветца, запугивая мужа гибелью, ссылаясь на пророчества «нашего Друга». Лишь в конце июня Николай II вернулся в резиденцию, где на него обрушилась горячая лава истерик, воплей, слез и причитаний:

— Ники, что ты наделал? Ты разломал свой титул на куски и расшвырял эти куски по сторонам... Почему Поливанов? Где ты откопал дурака Самарина? Они же тебя погубят... Разве эти люди, идущие против Григория, способны принести успокоение? Теперь жди, что все покатится кувырком... Тебе совсем не жаль меня!

Полиция докладывала Белецкому, что Распутин начал ходить озираясь, незнакомых сторонился, а филерам он жаловался, что теперь его обязательно ухлопают, укокошат, придавят, отравят, погубят, изведут, зарежут и прочее. Страх был велик... В эти дни Горемыкин (даже Горемыкин!) решился высказать прямо в глаза императрице, что

в народе зреет недовольство, что в окопах солдаты и офицеры открыто матерят лично ее и Распутина, на что Алиса отвечала премьеру империи короткою русской фразою:

— А нам наплевать!

7. Мелочи жизни

Как писать о Распутине, если цензура не разрешает? Русский читатель отлично постиг эзоповский язык и потому данные о дурной погоде воспринимал с политическим оттенком:

Дождь. Ненастье. Лужица.
Где же тут распутица?..

Наконец, была еще одна доходчивая форма изложения. Например, в газетах сказано: «Вчера жилец дома № 64 по Гороховой улице опять скандалил пьяный. Постовому городовому он дал сначала в лицо, а потом дал 5 руб., чтобы тот не жаловался... Редакция спрашивает: можно ли терпеть дальше?» Редактора тащили к цензору.

— Вот этот жилец на Гороховой... кто это?

— Да есть там один. Неисправимый забулдыга.

— А вы конкретнее... на кого намекаете?

— Известно на кого — на чиновника Благовещенского.

Проверили по адресной книге — точно: Благовещенский жил как раз на той площадке лестницы, на какой была и квартира Распутина. Был ли чиновник пьян «вчера» — это уж дело десятое... Сменивший Маклакова князь Щербатов (по наивности или нарочно?) открыл клапан того котла, в котором яростно бурлил кипяток возмущения против Распутина, — струя грязного пара со свистом вырвалась в атмосферу. Поход против Гришки начали «Биржевые Ведомости», другие газеты подхватили лакомую тему, и царица теперь читала документальные рассказы о кражах Распутина, о разврате его и хлыстовстве, о взяткобрании и прочих милых утехах.

— Прогони Щербатова! — взывала она к мужу.

Николай II не раз авторитетно расписывался в своем безволии, часто даже подчеркивая это свойство своего характера. Но бывали моменты, когда он буквально сатанел от изобилия поправок, вносимых в его решения Распутиным и всем этим «бабьем».

— Не забывай, — напомнил он жене, — что наш друг может говорить что хочет, но ответственность несую только я. А я не в силах взять Щербатова и тут же его выгнать...

Щербатов откровенно скучал по лошадям, не представляя, что ему свершить в МВД, но вскоре нашел себе дело — в тридцать четыре часа, без предварительной подготовки, со службы полетели вверх тормашками все губернаторы и чиновники с немецкими фамилиями. Вой стоял по империи страшный... А Распутин, потеряв голову от страха, курсировал теперь между Тюменью и Петербургом: слабость цензуры припекала его так, будто Щербатов посадил его на раскаленную конфорку. Царю он переслал свою гребенку, и Алиса наказала мужу, чтобы перед принятием важных решений не забывал ею расчесываться. По настоянию царицы Горемыкин устроил нагоняй Поливанову.

— Почему в печать просачиваются суждения противоположительного характера? — брюзжаще спросил он.

— Ничего подобного, — отвечал военный министр.

— А клевета на Григория Ефимыча?

— Впервые слышу, что Распутин — наше правительство...

Горемыкин и сам почувствовал неудобство.

— Алексей Андреич, я не знаю, кто там и что там... Я лишь передал вам высочайшую волю, а дальше — сами разбирайтесь.

Тайком, смиренный и робеющий, Распутин вернулся в столицу, где на вокзале его встретил синодский казначей Н. В. Соловьев в черных очках, похожий на слепца-нищего, и его толстая коротышка жена, которая плясала на перроне от восторга:

— Ах, отец... отец приехал... отец ты мой!

— Ах, мать, — приплясывал Гришка, — ах, мать ты моя!

Он боялся ехать к себе на Гороховую и укрылся в квартире Соловьевых... Обер-прокурор Самарин тут же повидался с царем.

— Государь, заступая на свой пост, я ведь ставил непременно условием, чтобы Распутина в столице никогда не было...

Гришка все же успел побывать в Царском Селе, после чего филеры зарегистрировали, что на автомобиле Вырубовой он был подвезен ею к вокзалу, сел в вагон (филеры тоже сели!) и поехал обратно в Покровское... Распутин охране угрожал:

— Это вы донесли, что меня Соловьев встречал?

— Наше дело маленькое, — отвечали филеры.

— Маленькое, да языки у вас отросли большие. Вот, погодите, уж я окрепну, так языки-то вам поганые оборву...

Подвыпив, он познакомился в поезде с двумя дамами, которые сошли в Камышлове; явно скучая, притащился в купе к филерам.

— А я царя тоже видел, — проболтался Гришка по пьянке. — Папа и указал мне, что это вы, суки, донесли о моем приезде. Папа мне отдельный вагон давал, но я отказался, потому как одному в пустом вагоне ехать скушно. А я теперь перемен жду...

Терехов спросил — какие ж тут перемены?

— Теперича не до жиру — быть бы живу...

— Э-э, дурак! — отмахнулся Распутин. — Скоро из Ставки дядю Николашу попрут, а Щербатова и Самарина тоже не станет...

В Тюмени он сел на пароход, который вез новобранцев. Дал им пятнадцать рублей и пел с ними песни. Был пьян и все время пил, забегая в каюту (в иллюминатор одна за другой вылетали опустошенные бутылки). Проспавшись, он полез на солдат в драку, крича, что они украли у него из кармана три тысячи рублей. Получив по зубам, Гришка стал приставать к буфетчику, будто тот обворовал его каюту, и подбил парню глаз. Капитан сказал, что выбросит Распутина за борт. «Распутин, — записывали филеры, — опять удалился в каюту и у открытого окна, положив голову на столик, что-то обиженно бормотал, а публика им любовалась. Из публики было слышно: „Распутин, вечная тебе память как святому!“ Другие говорили: „Надо его машинкой оболванить, обрить начисто“... Когда пароход причаливал к пристани села Покровского, Гришка валялся в каюте мертвецки пьян, матросы выкинули его на берег, словно мешок с отрубями, — так и шмякнулся! А там его встречали с телегой дочери, которые с большим трудом взвалили батьку на подводку, повезли кормильца домой... Следом за телегой шагали по зыбкому песку филеры департамента полиции, рассуждавшие:

— И когда эта мука кончится? Сколь годков прошло — из-за этой сволочи покоя не видим. Пришить бы его, паразита...

Утром Распутин вышел на двор, спрашивал филеров:

— Эй, робяты, а сколь я вчера выпил?

— Не знаем. Нас ты не угощал...

С помощью записки от царицы он пристроил своего Митьку на службу в 7-ю роту тюменского гарнизона — подальше от фронта. И сказал сыну: «Терпи! Скоро я учну мир с немцами заключать...» Потом Распутин дрался со своими родственниками, они ему расквасили в кровь всю харю, при этом без стыда горланили по селу:

— Мы тя знаем! Тебе бы тока Ньюрку за... держать!

Министр внутренних дел князь Щербатов руки имел длинные, и по его настоянию тобольский губернатор А. А. Станкевич велел арестовать Распутина с заключением в тюрьму на три месяца за беспробудное пьянство и неприличное приставање к женщинам... Гришка спешно бежал из Покровского, опять тянулась по песку телега, а за телегой ползли скучные усталые филеры.

— И когда ж это кончится?

* * *

На квартире Бадмаева, где он решил укрыться, сидел Курлов, распевая блатные песни. Это удивительно, что человек, всю жизнь сажавший других по тюрьмам, обожал тюремную лирику... Закрыв глаза, жандармский генерал с большим чувством выводил:

Централка — и ночи, полные огня,
Централка — зачем сгубила ты меня,
Централка — я твой последний арестант,
Па-агибли юность и талант
В стена-а-ах тва-а-аих...

— А-а, друг, и ты здесь? — обрадовался Распутин.

Курлов глянул косо. Жандарму не везло. С началом войны получил права генерал-губернатора в Риге, где полно баранов и баронов, шпику и марципанов. Немцы наступали, бароны кричали «хох!», баранов зарезали, шпик и марципаны исчезли из продажи...

— А теперь меня под суд отдают, — сообщил Курлов.

— За што, мила-ай?

— В основном инкриминируют мне потворство курляндским баронам и саботаж в эвакуации рижских заводов... Спасибо Бадмаеву: принял на постой, как старого мерина. Живу на его счет. А у меня ведь, знаешь, семья. Жену взял у одного идиота, уже с детьми, да еще, дурак такой, своих кучу понаделал... Вот кручусь!

— А кто, скажи, при Столыпине меня охранял?

— Я.

— Мать честная! — засмеялся Гришка.

— А чем тебе плохо было со мной?

— Да не жалуясь — с тобою жить было можно. — Он спросил, дома ли Бадмаев. — Я у него приютиться хочу. На Гороховой что-то боязно. Газеты лаются. От сыщиков Белецкого нет отбою...

Курлов сказал, что Бадмаев здесь, но занят: у него сейчас депутат Протопопов, товарищ Курлову по службе в Конногренадерском полку, друг его невинной младости. Протопопов, взвинченный от габыря и цветков черного лотоса, появился в дверях кабинета.

— Григорий Ефимыч, — заговорил он, — вы должны, вы обязательно должны представить меня императрице...

— На кой ты сдался ей, сифилисный?

— У меня нет слов, чтобы выразить свой восторг перед ее неземной красотой. Вы ничего не понимаете! Императрица у нас — богиня. У нее торс, как у античной Венеры. А посмотрите на ее профиль — чеканный, строгий, повелевающий. Я без ума...

— Сашка, — велел ему Курлов, — сядь и не дури!

Бадмаев отозвал Распутина в уголок, зашептал:

— А какие у вас отношения с Хвостом?

— Да пошел он в задницу?

— Напрасно, — сказал Бадмаев. — Вы присмотритесь к этому человеку — за ним очень большое и громкое будущее...

Протопопов цапал Гришку за пояс.

— Вы должны это сделать... Я не знаю, что со мной происходит, но я преклоняюсь перед нашей мраморной Афродитой в короне!

Отстать от маньяка было невозможно, и Распутин устроил Протопопову тайное свидание с императрицей, причем, дабы все шло гладко, без сучка и задоринки, он при сем и присутствовал. Алиса

сидела за столиком и вязала мужу перчатки, когда член партии октябристов вдруг пополз к ней на коленях, восклицая:

— Богиня... красавица... я ваш! Ваше величество, позвольте мне, рабу, умереть возле ваших божественных ног.

— Что с ним? — спросила царица у Гришки.

— Накатило, — отвечал тот.

— Нет! Я не имею права дышать в вашем присутствии, — заливался Протопопов. — Позвольте мне, несчастному рабу любви...

Тут Распутин кликнул из детской матроса Деревенько; два здоровых мужика, они подхватили влюбленного октябриста за локти, и, скрюченный в любовном экстазе, Протопопов был просто вынесен из кабинета, как мебель. Свидание продолжалось считанные минуты, но императрица запомнила Протопопова; ей, женщине уже немолодой, матери многих детей, было по-женски приятно, что она способна внушить мужчине столь сильное чувство даже на расстоянии...

Вырубова зарегистрировала Протопопова в графу «наших».

Немцы уже подходили к Барановичам, и Николай Николаевич велел перевести Ставку в Могилев... Но выбить Россию из войны германская военщина не могла — русский солдат крепок! Если глянуть на карту, то видно, что наша армия в самый тяжелый период натиска уступила врагу ничтожную частицу русской земли. Однако великая Россия привыкла воевать только на чужой территории, и потому каждый городишко, каждый шаг армии назад очень болезненно воспринимался в сердцах россиян... Маяковский писал:

Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна...

Жители Петербурга-Петрограда уже давно отвыкли видеть царскую чету. Под осень же 1915 года по улицам столицы начал ползать придворный «паккард», в двух пассажирах которого прохожие угадывали притихших царя и царицу. Без конвоя (!), внутренне очень напряженные, супруги Романовы объезжали столичные храмы, в каждом истово, почти остервенело молились...

Сазонов предупредил Палеолога:

— Прошу сохранить в тайне — наш государь решил возложить на себя бремя верховного главнокомандования, и мне известно, что он не позволит никому обсуждение этого вопроса. — Палеолог осторожно дал понять, что царь в чине полковника и командовал в жизни только батальоном. — Это фикция! — успокоил его Сазонов. — Государь и сам понимает, что неспособен руководить войною, за него командовать фронтами будет Михаил Васильевич Алексеев.

— Так не проще ли Алексеева и сделать главным?

— Я предпочитаю не знать до конца всех крайне осложненных мотивов, которыми руководствуется мой государь, — ответил Сазонов, ловко ускользая от прямого ответа.

Палеолог тут же получил приглашение на обед от княгини Палей, морганатической супруги великого князя Павла Александровича, родного дяди царя. В разговоре с послом по телефону женщина особо отметила, что предстоит нужная беседа... За обеденным столом Палеолог увидел великого князя Дмитрия Павловича (пасынка княгини Палей), здесь же была и Вырубова, хлебавшая ложкой суп с зеленью, возле ее стула был прислонен костыль. Когда подали кофе, Вырубова (она приходилась родней хозяйке дома) немедленно залучила посла Франции в соседнюю комнату.

— Вы, наверное, знаете о решении государя стать во главе армии? — Палеолог молчал (чтобы не выдать Сазонова), и она сама решила помочь ему. — Его величество, — сказала Анютка, — сам же и попросил меня узнать ваше мнение об этом.

— Решение его величества окончательно?

— Да.

— Тогда мои возражения окажутся запоздалыми...

По глазам Вырубовой посол заметил, что она, напрягшись, пытается дословно запомнить его последнюю фразу. Потом к Палеологу подсел Дмитрий Павлович, еще молодой офицер, похожий на необстрелянного юнкера, в узком мундире, с толстой сигарой меж длинных бледных пальцев. Он сразу заговорил — с напором:

— Я только что из Ставки... с экстренным поездом. Был у царя, чтобы отговорить его от этой неумной бравады. Последствия могут быть роковыми. Не только для него, но и для всей России! Мы все погибнем. Это не царь! Это не он придумал! Видели эту калеку

Вырубову? Это она с царицей, это царица с Гришкой — это они заставили царя решиться на захват Ставки... Им все мало! Хотят влезть и в дела фронтов, которые трещат. Я знаю, что именно эти злобные люди будут творить судьбы войны... даже там, в Ставке! Этот чалдон! Этот варнак! Эта скотина... Вешать!

Палеолог дал юноше выговориться. Мачеха молодого Дмитрия, княгиня Палей, в гостинной потом тихо спросила посла:

— Каковы ваши заключения?

— Мистицизм заменил императору государственный разум, и отныне уже ничего нельзя в русской жизни предвидеть заранее...

Дмитрий Павлович провожал Палеолога до самого вестибюля, где мраморный пол был выстелен шкурами белых медведей, где в руках темно-зеленобронзовых наяд горели трепетные светильники.

— Я так любил дядю Колю, — говорил он послу, — я так любил и тетю Алису. Но вот я вырос, уже не мальчик. Конфеты и апельсины значения теперь не имеют. Озираюсь и вижу мрак... Что творится? Распутин всех нас толкает в пропасть. Неужели дядя Коля сам не понимает, что возникло дикое положение. Уже не собака вертит хвостом, а сам хвост крутит собаку во все стороны...

Палеолог притворился к молодому человеку и сказал:

— Не пойму, почему с ним так долго возятся? В вашей стране убивали не только министров, но даже царей, и... И почему-то никак не могут избавиться от одного мужика! В чем дело?

Дмитрий Павлович ответил послу Франции:

— Об этом упущении нам следует подумать...

Палеолог пожал руку будущему убийце. В этом году придворный поэт Мятлев писал обличительно:

Мы не скорбим от поражений
и не ликуем от побед.
Источник наших настроений —
дадут нам водки или нет?

Зачем нам шумные победы?
Нам нужен мир и тишина,
Интриги, сплетни и обеды
с приправой женщин и вина.

Нам надо знать, кто будет завтра
министром тех иль этих дел,
Кто с кем уехал из театра?
Кто у Кюба к кому подсел?

Не надо ль нового святого?
Распутин в милости иль нет?
И как Кшесинская — здорова?
А у Донона как обед?

Ах, если б нас из цеппелина
скорее немец бы огрел!

8. Кесарю — кесарево

Блуждали слухи, будто Горемыкина хотят заместить Родзянко, но премьер оставался невозмутим: его карьера покоилась на прочном картофельном фундаменте — мадам Горемыкина неустанно выпекала для Гришки картошку в разных видах, а после выпивки, как известно, нет ничего лучше закусить селедочкой с горячей картошкой. Так что с этого фланга напасть на него не посмеют. Не знаю, хотел ли Родзянко стать премьером (может, и хотел), но сейчас он развил бурную деятельность, чтобы помешать царю стать во главе армии. Его дальняя родственница, княгиня Зина Юсупова, отбыла в Киев, где с императрицей Гневной они пытались сообща воздействовать на Николая II, дабы кесарь не мешался во фронтовые дела. Вообще в практике дома Романовых не было принято, чтобы царь вставал во главе вооруженных сил. Только Петр I тянул эту лямку до конца, но Александр I сдал командование Голенищеву-Кутузову, а в 1877 году жезл полководца выпал из руки императора Александра II... Об этом и говорил Родзянко в Царском Селе:

— Сейчас, когда на фронте неудачи, можно судить вашего дядю. Но если армия будет по-прежнему отступать, то кого же судить, если вы будете стоять во главе отступающей армии?

— Пусть погибну, но я спасу Россию, — отвечал царь; он взял со стола американскую винтовку, загнал в нее патрон и выстрелил в окно. — Видите? — сказал. — Заокеанский винчестер, а как ловко в Сестрорецке подогнали к нему нашу российскую обойму...

Дома с Родзянкой приключился сердечный приступ. Поливанов отправился в Могилев — подготовить Николая Николаевича к сдаче дел его величеству, после чего великому князю предстояло ехать на Кавказ — для войны с турецкой армией. Верховный набулькал в рюмки шартреза, выпил с Поливановым и хлестанул себя арапником по голенищу высокого гусарского сапога.

— Племянник до этого сам бы не додумался! Это все она... Не вижу, чтобы между ними была пылкая любовь. Будь я на месте Ники, так выставил бы ее в Дармштадт со всеми чемоданами... Пускай и Гришку утаскивает на радость Гессена!

Съехавшись в Царском Селе, министры горячо доказывали Николаю II, что он величавым жестом бросает спичку в бочку с керосином: общество России напряжено до предела — и отступлением армии, и дороговизною продуктов питания, и пропагандой неизбежности революции. Царь отвечал общими фразами: «Внутренний голос твердит мне... До сих пор чувство меня не обманывало... Сердце царево в руке божией...» В заключение он заявил, что остается при своем решении, и получил за это благодарность от жены в письменном виде: «Ты, наконец, показываешь себя государем, настоящим *самодержцем*, без которого Россия не может существовать... Молитвы нашего Друга денно и ночью возносятся за тебя к небесам... Это начало славы твоего царствования!» В августе министры собрались на квартире Сазонова — всей кооптацией, кроме Горемыкина. Сообща составили продуманное письмо к царю с мольбою — не брать на себя главнокомандование. Письмо заканчивалось словами: «Находясь в таких условиях, мы теряем веру в возможность с сознанием пользы служить вам и родине». Писал обер-прокурор Самарин, а подписался весь кабинет, кроме военного и морского министров. «Сейчас война, вам не стоит», — отговорили их. 22 августа в Белом зале Зимнего дворца состоялось совещание по вопросам войны и снабжения. Присутствовали царская чета и члены Думы; наблюдательный Поливанов заметил, что Алиса сама (!) подошла к Протопопову и очень любезно, трогая его за рукав, беседовала...

Николай II вскользь заметил министрам:

— Господа! Я уже привык, что бастуют рабочие. На этот раз мне объявил забастовку весь кабинет министров...

Стало ясно: судьба тех, кто подписался под письмом, уже отмечена выходом на пенсию. Выставят за дверь, как нашкодивших щенков. Только один Горемыкин раздувал усы, ко всему равнодушный.

— Оставьте меня с этой войной! — бубнил он. — Какое я могу иметь к ней отношение? Это меня не касается... бог с ней.

Кесарь отбыл в Ставку — за долей кесаря.

* * *

Он так и застрял в Могилеве, а дела империи стала прибирать к своим рукам императрица. Распутин сразу перестал мотаться между Тюменью и столицей — прибыл на Гороховую, куда выписал и дочек, дабы образовать из них светских барышень, а Митьку устроил в санитарный поезд, над которым шефствовала сама императрица... Тишина и порядок. Теперь можно и погулять!

Не каждая его поклонница была его любовницей, и не каждая любовница была его поклонницей. Распутин резко разделял женщин на две группы: поклонницам отдавал должное, не больше того, а любовницам отдавал и... деньги. Симановичу он не раз горько жаловался, что его «обдирает», как липку на лапти, цыганка Клава из хора, певшего по ночам на «Вилле Родэ». Судя по всему, эта Клава была женщиной очень серьезной и если не получала аванс из расчета тысячу пятьсот рублей за один визит, то можно было сдохнуть возле ее ног — она оставалась холодна, как полярный лед.

Сегодня Распутин наскреб из карманов штанов и армяка тысячу двести рублей, а остальные обещал занести завтра. Клава сказала:

— Вот ты, с бородой, положи мне целеньки, тогда и лезь ко мне сколько вздумается, а сейчас... в рожу двину!

Старый цыган, регент хора, добавил:

— Фимыч, ты нас знашь-понимаешь, мы чавалы честные, чужого не возьмем, а свое — только тронь. Уговор был — исполняй. А ежели Клавку тронешь — кости все переломаем, что не встанешь! Ты ж не первый день здесь гуляешь, знашь-понимаешь... пшел!

В поганом настроении Гришка прошел в общий зал «Виллы Родэ», стал хлестать водку из чайника, закусывая заливной осетриной с листочками петрушки. Темный взор его ненадолго задержался на Хвостове, что сиживал неподалеку. На эстраду вылезла старая костлявая цыганка и, качнув громадными колесами серег, пропела низким грудным басом, словно душу из себя выматывала:

Распылила молодость я среди степей,
И лошадушек не слышен перезвон,
Только мчится пара диких лошадей,

Пара таборных лошадушек, как сон.

За ней, пыля длинными шалами и вибрируя плечами, пошли гулять по сцене другие — помоложе, звенящие монистами:

Серьги, табор, кольца, бубенцы,
Мчатся кони, кони-сорванцы
В голубую даль степей... эх!

Распутину сегодня угодить они не могли.

— Што разнылись-то, клячи? Рази ж так поют?

Он вперился взором в Хвостова, который, сидя подле Натальи Червинской, обсасывал жирный огузок, возле них стояли чайник (с коньяком) и кофейник (с ликером). Рыжий перст Гришки вытянулся в сторону лидера думской фракции правых.

— Покажь племени фараонову, как поют на Руси!

Ресторан замер. Червинская шепнула:

— Алешка, люди свои... не стесняйся.

Хвостов глотнул коньяку прямо из горлышка чайника, потом он встал — глыба! — и запел приятным задушевым баритоном:

Среди долины ровныя,
На гладком бережке
Сидит бедняжка, охая,
С бумажкой в руке.

Хлопнул в ладони (белые и сочные, как оладьи), с неожиданной для толстяка легкостью прошелся игриво, приплясывая по полу.

Дядя Вася свою женку
В сени выведет и бьет,
И спокойно он при этом
Песню чудную поет:
«Ах вы, сени мои, сени,
Сени новые мои,

Сени новые, кленовые...»

— Во как надоть! — одобрил его Распутин.

Опрокинув стул, он тронул себя за поясок лазоревой рубахи и начал откаблучивать — тяжело и яростно, так что вздрагивала трухлявая, насквозь прогнившая «Вилла Родэ». А рядом с ним, жилистым и крепким, приседал и выпрямлялся, словно пузырь, из которого то выпускали воздух, то вновь его наполняли воздухом, Хвостов — камергер и депутат парламента. Со лба Гришки Распутина, словно тяжелые бусины, отлетали пахучие капли острого мужицкого пота, каблучки обоих стучали, — пели:

Со святыми упокой (да упокой!),
Человек я был такой (да такой!),
Любил выпить-закусить (закусить!)
Да другую попросить (попросить!).

Выдохлись оба — обнялись, и Гришка сказал:

— А ты парень-хват... сгодишься квашню мешать.

В переписке с мужем царица сразу упомянула Хвостова: «Тебе нужен энергичный министр внутренних дел... Если ты его берешь, то телеграфируй мне: хвост (thail) годится, и я пойму». Проницательный Пуришкевич, обладавший нюхом ищейки, мгновенно учуял запах распутинского притона и тогда же выступил в Думе:

— Господа, мы переживаем такое странное время, когда кандидаты в министры, вместо сдачи экзамена по государственному праву, должны выдерживать экзамен по классу сольного пения...

Все засмеялись, аплодируя остроте Пуришкевича, но при этом Хвостов громче всех хохотал, громче всех аплодировал — так, будто речь шла не о нем... В Думе снова поднимали старое дело с запросом о Распутине, но Хвостов подписаться не пожелал.

— Или у нас нету более важных дел, кроме Гришки?

* * *

По опыту прежних свиданий с Вырубовой он уже знал, что эта бабенка ограничена, необразованна, мстительна, и Побирושка еще раз напомнил Хвостову, что «тупость Вырубовой может привести в отчаяние». Сегодня два толстяка опять тащились от царскосельского вокзала на Церковную улицу, Побирושка говорил:

— Что императрица нашла хорошего в этой дуре — никто этого не знает. Ее, поверьте, ничем не заинтересовать. Это особый сорт дубья — дубья придворного! Будьте готовы, что через минуту она уже станет зевать. Не удивляйтесь, если за время вашего присутствия раза два-три прибегут из дворца — принесут ей от царицы записку, грибов, цветы или банку варенья.

Хвостов завел с Вырубовой речь о... кино:

— Вы смотрите, Анна Александровна: публика так и валит на «Отдай мне ночь», «Кровавую драму жизни», бежит на «Любовь на краю пропасти». Кино обладает удивительно сильным воздействием на народные массы. Щербатов, будь умнее, заставил бы киноателье истратить версты пленки на съемки царствующей семьи. Как приятно было бы увидеть на экране царя-батюшку, который курит папиросу, выпивает за наше здоровье чарку или прикалывает крест к груди умирающего героя. А разве наша императрица плоха была бы на экране? Ого! Народ повалил бы в кинематографы толпами... В трудные моменты надо уметь использовать все!

Вечером царица уже строчила в Ставку: «А. только что видела Андр. и Хвост. — последний произвел на нее прекрасное впечатление... Щербатов не может оставаться... Сазонов ходит и хнычет — дурак... Министры — дураки! Я ему сказала, что все министры — трусы... Надеюсь, ты разгонишь Думу?» Она похвалила Хвостова и перед Горемыкиным, который дал ей неожиданный отпор:

— В том-то и беда, ваше величество, что Хвостов чересчур энергичен, хотя комплекция и располагает его к мешкотности. Простите, если скажу правду: Хвостов нрава очень игривого и человек неверный, это уж поверьте моему жизненному опыту!

Но интригующий киноэкран, столь ловко растянутый Хвостовым на дачке Вырубовой, заслонил старца Горемыкина с его невнятным

брюзжанием, и Хвостов получил у императрицы аудиенцию. Осеннее солнце припекало веранду дворца, над старинными парками Екатерины Великой кружили «нюпоры», а на пасторальных берегах прудов виднелись дула зениток, недавно закупленных в Англии для охраны царизма от воздушных налетов. Хвостов к месту и деликатно (без излишнего Ю нажима) напомнил Алисе, что имеет честь принадлежать к орловскому дворянству, которое на коронацию поднесло ей небывалый в мире подарок — манто, сшитое из одних только шеек орловских селезней, зрелище удивительное! Царица уже знала, что Хвостов отказался в Думе подписать запрос о Распутине.

— Но вы перед Григорием безгрешны... Расскажите мне о Гучкове! Наверное, я буду плохо спать, но... вытерплю.

Хвостов был наслышан о ее ненависти к Гучкову, а потому он поведал об этом господине «одни ужасы». Вырубова заранее доставила в кабинет Алисы пачку речей Хвостова о немецком засилье в электропромышленности, о дороговизне мяса и нехватке дров.

— Зачем вы поднимали эти большиеопросы?

— А как же! — отвечал Хвостов. — Уже назрел момент, когда эти же вопросы будут подняты левыми. Я схватил их буквально у них с языка, опередив левых, чтобы не давать им в руки такое опасное оружие. Ну, а когда правительство критикую я, — кстати улыбнулся Хвостов, — тогда это не критика, а нежная ласка...

— Горемыкин не согласен видеть вас в эм-вэ-дэ. Он назвал вас даже слишком... игривым. Это правда?

Хвостов, отличный актер, изобразил отчаяние:

— Господи! Да кто ж без греха? Вот и мой ближайший друг Григорий Ефимович, он тоже вам скажет: кто безгрешен?

— Ну, а все-таки, — сказала императрица, полистав речи Хвостова, — что же нам делать с мясом? с дровами?

— Нам нужны не мясо и не дрова, а человек, который достанет нам и дров, и мяса сколько угодно. Будьте уверены, Русь не оскудела. В ней еще есть люди, подобные героям античного мира!

При этом он (скромно) не показал на себя...

Царица докладывала мужу: «Как было бы хорошо, если бы ты мог повидать Хвостова... Когда рассчитываешь заглянуть сюда? Я спрашиваю об этом, имея в виду смену Щербатова, а также

необходимость пощелкать министров... Нежнейшие поцелуи, родной мой Ники, шлет тебе твоя старая *Солнышко*».

В эти дни она придумала новую шутку:

— Ей-богу, я чувствую, что у меня вырастает хвост...

Предвосхищая события, столичные остряки говорили теперь так:

— ГОРЕМЫЧная Русь испроХВОСТИлась и РАСПУТную стала!

* * *

Чтобы впредь не возникало разговоров об его «игривости», Хвостов вызвал из Орла жену, повадился посещать приличные рестораны, и там — трезвый! — он ковырял вилкой одинокую котлету для диетиков. Кто бы мог подумать! В его бумажнике уже хранился четкий план: захватить МВД, сбросить Горемыкина, самому стать премьером. Но главное — использовать Распутина в своих целях, а потом безжалостно его растерзать... В это сумбурное лето (лето 1915 года), когда семья Белецкого жила на даче, в своей пустынной квартире, где мебель была бережно затянута полосатым тиком, Степан — тайком от жены! — принимал у себя Распутина, накачивая его мадерой. В планах Белецкого было: допустить Хвостова до министерства, но затем искалечить его так, чтобы он уже не поднялся, самому сесть на его место, а потом... потом сделаться премьером империи! Куда делся скромный «сын народа» из Самары, поджимавший под себя ноги, не смея взглянуть на высокого покровителя Столыпина! Зверь вырос — весь во вздыбленной на загривке шерсти, когти и клыки наготове, отточенные!

Кесарю — кесарево, а каждому из них — свое...

9. Мафия — в поте лица

Распутин очень любил черные сухари.

— Что русскому человеку надобно? — рассуждал он. — Ежели у него сухарь есть, того и довольно. Я так полагаю, что кажинному солдату по два сухаря на день дать — он до Берлина добежит...

Программа заманчивая! Дело за исполнением ее.

Авторитет черных сухарей в глазах столичного света казался непогрешимым. В самом деле, сухарь не пирожное, его трудно критиковать, ибо он прост, как прост русский солдат. Двух поставщиков сухарей в Ставке уже повесили, но Распутин грыз сухари сам и жаловал ими знакомых расфуфыренных дам.

— От них вся моя сила, — убежденно заявлял он...

* * *

Кажется, только Аарон Симановичи знал, откуда в столице вдруг объявилась чета баронов Миклосов — он и она! Барон (если он барон) мало что выражал собою, служа лишь бесплатным приложением к своей супруге (если это его супруга). Зато баронесса Миклос — красавица, каких редко встретишь. Дело было поставлено на широкую ногу: отдельный особняк, швейцар и прислуга, открытый дом, полно гостей. Здесь же и Гришка Распутин, которому Миклос отдалась сразу же, о чем моментально известила Симановича, сказавшего: «Теперь наши сухари не подгорят...»

В роскошном особняке Миклосов возникла главная база по снабжению героической русской армии черными сухарями... Как это делалось? Настолько просто, что с трудом верится. По утрам в квартиру Распутина набивались просители. Здесь же, руководя приемами, словно гофмаршал высочайшего двора, присутствовал и Симанович, носивший титул «секретаря старца». Распутин выписывал

«пратеци». Писал на клочках бумаги, без указания имени просителя, часто даже без подписи. Симанович через своих агентов, карауливших внизу лестницы, перекупал эти «пратеци». А в них, как правило, стереотипная фраза: «Милай дарагой помоги дамочку бедная роспутин». С такой писулькой можешь идти хоть к премьеру. О чем его просить — твое дело... «Пратеци» Распутина — сотнями! — попадали в руки баронессы Миклос. Аферистка проникла к главному интенданту русской армии генералу Дмитрию Савельевичу Шуваеву, вполне порядочному и честному человеку, который был просто ошарашен ее красотой.

— Я, — сказала она ему, — не ради своей выгоды, но душа истрадалась о нуждах фронта... Почему Распутин? Ах, боже мой, у меня и в мыслях ничего дурного не было. Но одна приятельница посоветовала, что для начала лучше всего обратиться к нему...

Историк пишет: «Судя по заключенным интендантством многочисленным контрактам на поставку сухарей, можно было заключить, что весь Петербург состоит из одних специалистов по выделке сухарей». Чтобы в этом деле не был виноватым один Симанович, я выдам его сообщника — это Побирушка! Не стоит описывать всей механики этой аферы, лишь скажу, что, вычерпав из казны миллионы, мазурики не дали солдату ни одного сухаря... Степан Белецкий, одетый бедненько, в кепочке на голове (нос пипочкой), прошлялся мимо особняка Миклосов, сказал швейцару:

— Приятель, а пекарь случайно не нужен?

— На ча?

— Да ведь здесь же сухарная пекарня.

— С ума ты сошел, што ли? — отвечал швейцар. — У нас в доме ажно печек нетути... Мои бароны у каминов греются!

А ведь согласно законам «подрядчики обязаны указать место изготовления сухарей, т. е. пекарни и сушильни для них». Красавица Миклос и указала — свой особняк... Белецкий говорил жандармскому генералу Климовичу, что дело настолько темное, что лучше его не трогать, ибо хлопот потом не оберешься.

— Царское Село? — намекнул Климович.

— Нет, там не станут заниматься сухарями. Но это одна и та же шайка-лейка, которая всегда найдет поддержку в Царском Селе. А я вот, знаете, решил навестить салон баронессы Женечки Розен.

— Тот самый салон, где царят страшные оргии?

— Эх, если бы только оргии...

Они заговорили о массовом производстве в синагогах фальшивых дипломов на звание зубных врачей. Климович спросил:

— А не пора ли всем этим дантистам зубы выбить?

— Осиное гнездо... Только тронь — навалятся.

— Но дальше терпеть нельзя. Я буду их брать...

Белецкий вызвал к себе Манасевича-Мануйлова.

— Ванечка, ты давно не мазал Гришку в печати, прошлое забылось, не мешало бы тебе входить в контакт с Распутиным...

Манасевич подумал, как это удобнее сделать.

— У меня приятель — фоторепортер Оцуп-Снарский, которого любит Распутин... устроим! Но мне Гришку уже не догнать.

— Как не догнать?

— А так... за ним присылают авто из Царского, у которых мощные моторы. Дайте мне «бенц» на восемь цилиндров.

— У нас в департаменте только три машины, способные обгонять царские автомобили... Ладно, игра стоит свеч: дам!

К полуночи Белецкий нагрнулся в салон Женечки Розен (адрес: Можайская, 39). Никто даже имени у него не спросил, но винца поднесли и кокаинчику дали понюхать. Здесь он увидел за столом полураздетых богинь столичного света и полусвета, в ряд с ними сидели «бобры» — тусклые и жирные, они посверкивали в потемках перстнями и вставными зубами. Великий князь Дмитрий таскал по комнатам, будто знамя, дамский лифчик на палке, а княгиня Стефания Долгорукая (испанка происхождением) кричала ему на всю квартиру: «Митька, черт... рассупонил!» Белецкого поразило, что возле Борьки Ржевского сидел генерал Беляев (по кличке Мертвая Голова), помощник военного министра Поливанова. Ближе к ночи прибыл Распутин, но вел себя очень скованно и все позыркивал на Белецкого, который предложил ему пройтись в туалет, где Степан спустил воду из бачка, чтобы их не могли подслушать.

— Скажи, твой сынок помер? — спросил Распутин.

— Умер, — под шум воды отвечал отец.

Сердечный разговор велся в грязном нужнике.

— Вот видишь! А принял бы ты меня в семье как положено, я помолился б — и сыночек твой жил бы на радость мамочке...

- Ефимыч, кончай эту мороку с сухарями.
- С какими?
- Я все знаю, и если твой Побирושка не прекратит...
- Да он не сухари — он бязевое белье поставляет!
- И если твоя задрыга, баронесса Миклос...

— Сука она! Если хошь, сажай! Слова не скажу. — Распутин (за неимением иконы) перекрестился на водонапорный бачок, который с урчанием наполнялся водою. — Вот те крест святой, говорю тебе истину — копейки ломаной с сухарей не имел!

Гришка не врал: его именем только прикрывались, а «сахарная Панама» обогащала других. Связанный с подпольем мафии, он имел совсем другие источники доходов, о которых Белецкий не знал...

* * *

Климович в одну ночь арестовал свыше двухсот жуликов, которые при всей ее первобытной местечковой безграмотности имели на руках дипломы дантистов. Возник громкий по тем временам процесс — липовых «зубодеров» приговорили к ссылке в Сибирь на поселение (до конца войны). Для Симановича это было как гром среди ясного неба — сионисты пребывали в нервном состоянии «шухера», обвиняя судей в закоренелом антисемитизме.

Симанович кинулся к Распутину, а тот сказал, что сделать ничего не может, благо министр юстиции приговор утвердил.

- Ты с наших зубодеров навар имел?
- Ну, имел, — сознался Распутин.
- Тогда... вали министра юстиции.
- А нового-то из кармана не вынешь...

Когда стало известно, что царь вернулся из Ставки, они поехали на дачу Вырубовой — к завтраку. Передаю слово Симановичу:

«Все шло по программе. На завтрак явился также царь со всей семьей... Вырубова была посвящена в наш план и хотела нам помочь. После завтрака она сказала царю:

- Симанович также здесь...

Он (царь) вышел ко мне и спросил: «Что ты хочешь?» Скрывая волнение, я сказал, что имею бриллиант в сто каратов и желаю его продать. Я уже предлагал этот бриллиант царице, но она находит его слишком дорогим.

— Я не могу во время войны покупать бриллианты, — ответил он.
— Ты, наверное, имеешь другое дело. Говори.

В этот момент к нам подошел Распутин.

— Ты угадал, — сказал он ему.

Царь... уже предчувствовал, к чему дело сводилось.

— Сколько там евреев? — спросил он.

— Двести, — ответил Распутин...

Я передал царю прошение, которое он просмотрел.

— Ах, это зубодеры! — сказал он. — Но министр юстиции и слышать не хочет об их помиловании...

Распутин ударил кулаком по столу и вскричал:

— Как он смеет не повиноваться тебе?..

Дантисты были помилованы. Они устроили денежный сбор, собрали восемьсот рублей, и на эти деньги была поднесена Распутину соболья шуба. Я же получил от них еврейский медовый пирог, бутылку красного вина и серебряный еврейский кубок».

Жрец «макавы», игравший «наперекор судьбу», в этом месте так наврал, что читать тошно. Мне известно, что Степан Белецкий с хохотом рассказывал генералу Климовичу:

— Гришка наш, уж такой жох, а тут его облапошили! Симанович содрал с «дантистов» за помилование сто тысяч рублей, а Гришке евреи дали шубу; с шапкой... Продешевил! А видел я его вчера на Невском: едет в моторе Вырубовой, довольный такой... барин.

— Но так же работать дальше нельзя! — в бешенстве заорал Климович. — Беззаконие уже вышло за пределы разума!

Ответ Белецкого был вполне академичен:

— В этой погани два главных фактора должны волновать нас. Первый — охрана погани. Второй — наблюдение за поганью. Все это затруднено, ибо Гришка, не хуже Бориса Савинкова, поднаторел в конспирации, и порою он просто уже неуловим для наблюдения. Сейчас я пристегиваю к нему Манасевича-Мануйлова!

— Распутин же страшно зол на Ваньку.

— Это не беда... выпьют... помирятся.

* * *

Терехов, Свистунов, Попов, Иванов — филеры наружного наблюдения на площадке внизу лестницы по Гороховой, 64; им скучно, и на подоконнике с утра до ночи они режутся в подкидного.

Был осенний день. В подъезд вошла женщина.

— Скажите, где Распутин живет?

— Здесь. Третий этаж, — сказали ей...

Скоро она спустилась — вся в слезах.

— Чего там стряслось? — спросили филеры.

Рассказ женщины документален:

— У меня муж прапорщик, ранили его, лежит в лазарете на Серпуховской. Говорят, в Ярославль отправляют. А я здешняя, дети... Вот и пришла: просить. Чтобы не отправляли. Впустила меня какая-то девочка. Потом и Распутин вышел (впервой его вижу). И сказал: «Раздевайся, заходи сюда». Тут сама не знаю, что со мною... Без стыда разделась и пошла. Иду и рассказываю о муже. Чтобы не отправляли! А он стал хватать меня... и говорит, чтобы легла. Тут я словно очнулась. Как треснула его! Он записку свою порвал и говорит: «Так негоже, на добро добром платят...»

Старший филер Терехов сказал просительнице:

— А что у тебя, мозгов нет? Не знаешь, куда суешься?

— Да я думала, ежели женщина в таком горе...

— Э-э-э, нашла у кого жалости искать!

Попов черкнул что-то в блокноте, протянул листок.

— Ты вот что! — сказал. — Сюда больше не ходи. Честным бабам здесь не место. У меня свояк в эвакупункте служит. Душа-мужик! Сунь ему завтра бутылку чистого денатурата. Он тебе устроит...

— Спасибо вам, век не забуду!

Ушла, а филеры жались друг к другу, мерзнущие.

— Хоть бы убили его, гада, поскорее! Какой год уже хуже собак дрогодем... Сдохни он, так на венок бы ему не пожалели!

Старший филер Терехов подул в озябшие ладони.

— Убить и мы можем. Вынь «шпалер» — и крой, пока в барабане пусто не станет. Только в Сибирь идти неохота... Я думаю, что он свое отгулял. Пришьют его как миленького. И без нас!

— Вообще-то он *зажился*... Кто даст папироску?

10. Практика без теории

Белецкий оказался обманутым: машины департамента полиции не могли уследить за черным «бенцем» на восьми цилиндрах, за рулем которого сидел Манасевич-Мануйлов, делавший что хотел, поплеывая на всех белецких... Тормоза провизжали возле дома № 36 по Бассейной улице. Ванечка не спеша осмотрелся, юркнул в подворотню. Сейчас он скрывался не только от начальства, но и от жены — Надежды Доренговской. Там, где в наши дни находится Ленинградская Музкомедия, тогда был Паллас-театр, и актриса труппы этого театра Екатерина Лерма-Орлова не оставила следов в русском искусстве, но зато оставила глубокие шрамы в сердце Манасевича-Мануйлова... Рокамболь раскис от, кажется, любви!

На квартире актрисы Ванечка, как опытный полицейский агент, по окуркам в пепельнице и по грязной посуде в кухонной раковине пытался установить признаки мужского присутствия. Дело в том, что Лерма была неверна и (под видом уроков верховой езды) безбожно путалась с молодым берейтором Борисом Петцем... Обойдя все комнаты, Ванечка элегантно поцеловал ручку актрисы.

— Прощу тебя — будь достойна моей небывалой любви.

— Не лезь ко мне! Когда бросишь свою старуху?

Речь шла о Доренговской, к которой Манасевич-Мануйлов был слишком привязан, и потому он даже покривился.

— Не пойму, чем она тебе мешает? — Еще раз он подцепил из пепельницы подозрительный окурочек, на котором отпечатался прикус крепких мужских зубов. — Опять принимала кобылятника?

Опереточная дива закатила ему прекрасную оплеуху.

— Это еще что за выражения! — возмутилась она.

Ванечка неожиданно зарыдал, становясь жалким.

— Я понимаю... он молод, а я... не мучай меня...

— Ты деньги принес? — обострила актриса трагедию.

Ванечка, стыдясь, протянул ей сотенную.

— Извини, что мало... Двести за мной.

— Когда принесешь?

— На днях. Кстати, у меня к тебе дело...

— Провались ты к черту со своими делами!
— Позволь, я использую твою квартиру для свидания...
— Кого и с кем?
— Распутина... ты его знаешь?
— Еще бы!
— И... Штюрмера, которого ты тоже знаешь.
— Представь, не знаю.
— Ну, я потом расскажу тебе об этом типе. Пока!
Лерма проводила его до дверей со словами:
— Чтоб завтра же принес деньги. Иначе — не пущу...
Вот это любовь, вот это страсть! Бррр...

* * *

Со всею страстью он залетел в кабинет Белецкого.
— Степан Петрович, у меня большое личное горе. Не поверите! Человек я осторожный и, смею думать, неглупый, а тут втюрился в молодую чертовку и... терплю даже ее любовника!
— Ну и что? — зевнул Белецкий. — Все терпят.
— Арестуйте его... это берейтор Борис Петц.
— Имей же совесть, — резонно отвечал Белецкий. — Снюхался с какой-то шлюхой из «Палласа», знал ведь, что не тебя она полюбила, а кошелек твой... И вдруг я, директор полиции, должен ради твоих красивых глаз хватать ее хахаля. А по какой статье?
— По сто восьмой — за измену Родине.
— Много ты, братец, знаешь. А докажи!
— Лаптей плести я не умею, это верно. Но руководство к плетению лаптей сочинить сумею. Издам его. И гонорар получу...
Ночью Ванечка долго не мог уснуть. Ворочался.
— Опять лирика? — всплакнула Доренговская. — Опять пароксизмы страсти к этой опереточной блуднице?
— Хуже, — отвечал Ванечка. — Обдумываю комбинацию. Пришла пора обеспечить себя на всю жизнь. Время паршивое.

Революция неизбежна. Предстоит бежать. А солидный счет в банке не помешает никогда... Так что спи спокойно — я тебя обеспечу!

— Каким же образом, если не секрет?

— Я решил поставить для России своего премьера... Побирושка сейчас втаскивает Хвостова в министры внутренних дел, так почему бы, спрашивается, мне не сделать премьером Штюрмера?

Жена включила лампу, села на постели, долго шарила под кроватью далеко задвинутые шлепанцы.

— Я не знаю всех твоих дел и делишек, но, судя по газетам, Штюрмер не пройдет... Во-первых, немецкая фамилия.

— Я заставлю его изменить фамилию на Панина.

— Во-вторых, он попался на воровстве.

— А кто из нас не попадался?

— В-третьих, у Штюрмера, неясное происхождение...

— На этом я его и поймал! По законам империи, Штюрмер не имеет права занимать в России то положение, какое занимает. Штюрмер подделал документы. Он сын австрийского раввина, а выдает себя за потомка православной святой Анны Кашинской. Ему удалось сделать подчистку в бумагах, по которым дата рождения неверна. Он везде пишет 1848 год, чтобы доказать свое рождение на русской земле. А между тем он родился раньше, когда еще жил в Австрии...

Он погасил свет. Во мраке спальни жена спросила:

— А сколько лет Горемыкину?

— Кажется, восемьдесят семь.

— Но Горемыкин прочно сидит на своем месте.

— Нет, он уже стал мешать: в Царском Селе рады бы от этого балбеса отвязаться. А других кандидатов пока нет...

— Как же ты не боишься Распутина? — снова заговорила жена. — После твоей статьи о том, как он водил аристократок в баню, Распутин был в ярости, он грозил, что сошлет тебя...

Ванечка не ответил — он уже спал. Ему снилась рулетка и красивый берейтор Петц, сажающий в седло хохочущую Лерму-Орлову. К началу войны в банке у Манасевича лежало всего 4 рубля и 38 копеек, но «войну я закончу миллионером» — утверждал он всюду.

Это нетрудно! Надо лишь поставить своего премьера.

В пору распада государственных организмов мелкие, ничтожные личности иногда играют немалую роль... Что такое Лерма-Орлова? Певичка и танцорка. А что такое Мишка Оцуп-Снарский? Маленький фоторепортер... Он позвонил Манасевичу-Мануйлову:

— Приезжай к ночи — будет Гришка!

Снарский жил в глухом Казачьем переулке, в самом изгибе колена этой странной и таинственной улочки, изогнутой углом и выходящей на Гороховую — почти напротив того дома, в котором проживал Распутин; в полночь сюда подъехал Манасевич; квартира фоторепортера была натискана добром (Оцуп неплохо зарабатывал с тех пор, как начал фотографировать Гришку). Стол ломился от яств, но Ванечка, давно пресыщенный жизнью, с ленцой и без аппетита обозревал роскошное убранство, непостижимое в дни войны, когда на столицу надвигался царь-голод. Распутин явился с друзьями — Абрамом Боберманом и инженером Гейне (приятелем Борьки Ржевского, не знавшего, что Гейне — тайный агент шайки Аарона Симановича). С мужчинами прибыли и дамы: разбитная княгиня Стефания Долгорукая, жена камер-юнкера, и очень красивая Мария Гиль, жена капитана броневых сил петроградского гарнизона.

— Вот забота! — гудел в прихожей Распутин. — Одну стерву из «Астории» вез, а за другой машину на Кронверкский гонял... — Увидев Манасевича, сразу осекся: — А энтот гувняк на што?

— Кашу маслом не испортишь, — отвечал Оцуп.

Ванечка по-лакейски ловко разоблачил Распутина от шубы и, дурачась, поцеловал его в нос. Гришка грубо отпихнул его:

— Иди, иди ты... Ты уже не раз меня продал!

Боберман с Гейне встали между ними.

— Только без скандалов, умоляем вас.

Разволновались и потаскухи:

— Мужчины, ведите себя прилично... без драки!

— Прилично, — повторил Распутин, проходя к столу и нервно одергивая на себе рубаху. — С эвтакими гнидами лучше не

связываться. Вот и Побирושка в душу залез... Тоже нет веры! Скользкие вы людишки, — погрозил он Ванечке, — противны вы мне.

Манасевич даже ухом не повел и откупорил бутылку.

— Тебе чего налить? Мадеры?

— Я сам налью себе, — сказал Распутин, выхватывая у него бутылку. — А то ведь ты, жандарм, еще яду подсыпешь...

Подвыпив, он размяк. Но оставался мрачен.

— Не думал тебя встретить, — произнес через стол.

— А теперь встреч не миновать, — отвечал Ванечка.

— На што ты мне сдался? Иуда такой...

Заметив настороженный блеск в глазах инженера Гейне, Манасевич предложил Распутину выйти в коридор; там он ему сказал:

— Орешь много! А жить на белом свете хочется?

Этим он словно ткнул Гришку в наболевшее место.

— Знаешь, — шепнул тот, — меня скоро ухлопают.

— Кто?

— У них уже все готово, — передернуло Распутина; сразу съезжившись, он шлепнул себя по коленям, потом, потирая руки, прогулялся вдоль темного коридора оцуповской квартиры...

Манасевич-Мануйлов ответил ему спокойно:

— Чепуху-то не городи. Твоя драгоценная житуха отныне в моих руках. На днях Белецкий поручил мне твою охрану...

На Распутина это произвело ужасное впечатление:

— То Курлов, то Белецкий, теперь еще ты, будто клоп, с потолка упал. Поделить меня не можете? Взорвать бы вас всех к едреной Фене! У семи нянек дитя без глазу... Ой, чую, провороните вы меня, прокакаете. А на кого же детки мое останутся?

Ванечка застегнул пуговку на его рубаше.

— Тебя хочет видеть Штюрмер... Знаешь такого?

— Хосподи! — отвечал Распутин. — Да он со своей старой шваброй ко мне на пятый этаж без лифта сколько раз приползал, кады я ишо на Английском жил... Чего ему, нудиле, надоть?

— Поговорить.

— А ну его! Пра-ативный он...

— Не блещет приятностью, — согласился Ванечка, разглядывая обои в коридоре Оцупа. — Но дело не в этом. Борис Владимирыч к

тебе относится замечательно. Если ты будешь умным, так ты его, как котенка, на бантике уведешь... Понял?

— На што он мне сдался? Я их всех на бантике...

— Не спеши. Возможны перемены... там — наверху!

— Ой, надоело, — отмахнулся Распутин.

— Мне тоже, — кивнул Ванечка. — Но что делать? Не вешаться же нам с тобой. Жить как-то ведь надо...

— Тады пущай на Гороховую придет.

— Сейчас Штюрмеру невыгодно бывать на Гороховой, начнут все трепаться, будто ты его проводишь... Лучше вот тебе адресок: Бассейная, тридцать шесть, там и повидаемся.

— А кто живет на Бассейной?

— Моя хахальница... актриса. А за жизнь свою не волнуйся. Пока я тебя охраняю, с тобой ничего не случится.

В дверях показались Боберман и Гейне:

— Что же вы, господа? Наши дамы скучают...

Ванечка сильно треснул Распутина по спине.

— Пошли, старче! Выпьем. Я тебе худого не хочу...

Устроив свинство, разбрелись в шестом часу утра. Белецкий был прав: выпили — помирились. Но возникли некоторые узелки.

* * *

В биографии Манасевича-Мануйлова был один факт, о котором он болтать не любил. Еще молодым чиновником МВД он служил в тюремном управлении Ярославской губернии, когда губернатором был Штюрмер, — отсюда и знакомство их давнее...

Да, это верно, Штюрмер симпатичностью не блистал:

Он недаром с виду шельма,
Шерсть рыжа, как у лисы,
И совсем как у Вильгельма
Закрутил свои усы!

Прошлое этого «практика» (как он себя величал) было отлакировано кровью и ложью. Население губерний ему подвластных он облагал особым налогом — в свою пользу. В деле воровства Штюрмер не повершил петербургского градоначальника Клейгельса, который ухитрился стащить с набережной Невы целый «речной трамвай», позже и обнаруженный плавающим по озеру — в его имени. Штюрмер как хапуга был мельче: отнимал у крестьян коров, свиноматок и даже цыплят у бабок. Все стаскивалось на его усадьбу, лопавшуюся от грабежа. Историк пишет: «А тех крестьян, у которых за бедностью и взять было нечего, сгоняли на барский двор и жестоко истязали». Нечаянная ревизия Госконтроля раскрыла преступления Штюрмера, и на секретном докладе по его делу Николай II собственноручно наложил очень резкую резолюцию: «Убрать этого вора в 24 минуты». После этого десять лет о воре было не слышать, и вот он вновь пробуждался к активной жизни, подчеркнуто русифицированный, с бородищей и прибаутками, чтобы, упаси бог, не заподозрили в нем нерусского... Манасевич взял на себя тяжелую задачу, ибо Штюрмер, тупой и безграмотный подхалим, меньше всех годился в премьеры великого и могучего государства...

Ванечка решил заручиться поддержкою сионистов.

— Не нужен ли вам старый ворюга-практик? — цинично (но зато удивительно честно) спросил он Аарона Симановича. — Если нужен, тогда хватайте за яблочки Штюрмера... он даст вам фору!

«В первую очередь, — признался Симанович, — мы искали людей, согласных на заключение сепаратного мира с Германией. Со Штюрмером мы долго торговались. Только тогда, когда нам показалось, что он достаточно подготовлен, последовало его назначение. Я выступал за него потому, что он был еврейского происхождения». Уповая на германофила Штюрмера, сионизм рассчитывал вывести Россию из войны с Германией до того, как в России (или в Германии) вспыхнет революция! Ради целей удушения революции из мерзкой кучи имперского разложения выползали, противно шевелясь и кровотока, самые гнусные, самые жирные черви безглазой реакции. А Симанович не уставал подогревать в Распутине надежды:

— Не волнуйся и живи спокойно. Мы следим за обстановкой, и, если революция начнется, мы сразу же секретно переправим тебя в

Палестину, где будешь жить как у Христа за пазухой...

В своей книге «Распутин и евреи» он привел аргументы, которыми воздействовал на сознание Распутина: «Если нам удалось бы добиться разрешения еврейского вопроса, то я получил бы от американских евреев столько денег, что мы, — говорил он Гришке, — были бы обеспечены на всю жизнь...» В этом году Распутин обзавелся участком земли на территории нынешнего Израиля — именно там (!) мыслил он смежить свои усталые очи.

* * *

Но Сазонов никогда бы не допустил сепаратного мира!

Сегодня его навестил английский посол сэра Джордж Бьюкенен с неизменной свастикой в галстучной броши. Сазонов улыбнулся ему одними глазами, спросил — есть ли новости в политике?

— Одна есть, — ответил Бьюкенен. — Негде купить угля или дров, нечем топить посольство. А уже наступают холода...

Рука министра потянулась к аппарату телефона.

— Дрова тоже иногда делают большую политику. Придется мне, российскому канцлеру, побыть и в роли дворника...

Не только дров — не было муки, не было мыла и масла, керосин завозили редко. Впервые в истории России русский человек узнал, что такое «карточка» (на сахар были введены особые талоны). Возле продуктовых лавок с ночи выстраивались длинные очереди — хвосты! Бюрократия не могла спасти положение. Всюду возникали призрачные комиссии и подкомиссии, созданные, кажется, только из зависти к похоронным бюро, чтобы любое начинание похоронить по первому разряду — с траурмейстерами и погребальными маршами. В эти дни Распутин дал царице практический совет.

— Опять же беспорядок, — говорил он. — Один без хлеба входит в магазин, а другой, хлеба добыв, выбегает. В дверях сталкиваются как два барана и дороги не уступят, хоть ты их режь! Надо так сделать, чтобы в магазин только впускали. А выпускать всех с черного хода — прямо на двор: иди, родима-ай...

В Царском Селе заговорили о том, что нужна «твердая власть». Нужна не теория, а практика. Там, где хотят видеть «твердую власть», обычно рассчитывают на произвол власти. Вот сейчас самое время появиться «практикам» — Хвостову и Штюмеру.

Грядущий день наш сер и смутен.
Конца распутью нет как нет, —
Вот почему один Распутин
Нам заменяет кабинет!

11. Заготовка дров

— Дрова — это ерунда, — сказал Хвостов царице.

— Но там еще мука, хлеб, сахар, керосин...

— Ваше величество, развяжите мне руки. Как поют в опере: «О дайте, дайте мне свободы!» Немножко бы власти и чуточку времени — я протолкнул бы на Петроград тысячи эшелонов...

Императрица отписывала мужу: «Приезжай как можно скорее и произведи смены (министров), а то они продолжают подкапываться под нашего Друга, а это большой грех... Хвостов меня освежил, я жаждала, наконец, увидеть *человека*, а тут я его видела и слышала. Вы оба вместе поддерживали бы друг друга. Благословляю тебя. Да хранит тебя господь, мой ангел, и пречистая дева! Осыпаю тебя нежными поцелуями... Никто не знает, что я его (Хвостова) принимала». На следующий день она совершила на Ставку еще один артналет: «Я с удовольствием вспоминаю разговор с Хвостовым и жалею, что ты его не слышал, — это человек, а не баба, и такой, который *не позволит никому* нас тронуть, и сделает все, что в его силах, чтобы остановить нападки на нашего Друга...»

Вырубова добавила о Хвостове:

— Тело его так огромно, а душа чистая и высокая!

26 сентября царь свалил в отставку синодского обер-прокурора Самарина, а «лошадиный» князь Щербатов сдал дела Алексею Николаевичу Хвостову. Это случилось как раз в тот период, когда Щербатов чем-то опять сильно напугал Гришку и тот затаился в Покровском, а потому назначение Хвостова прошло мимо него...

Шесть настольных телефонов звонили непрерывно.

— Вы не знаете, что такое эм-вэ-дэ, — сказал на прощание Щербатов. — Это ни минуты покоя... Звонки, телеграммы, запросы и справки. Все — немедленно! Все — секретно! И так далее...

Хвостов велел секретарю МВД Яблонскому допустить фоторепортеров. Они расставили вокруг стола аппараты, сказали «Внимание — снимаем!» — и он вошел в историю, похожий на сытого балованного кота, с улыбкой Сатира глядя на мир поверх батареи служебных телефонов. Очень широкий снизу, Хвостов сидел на двух

стульях сразу — буквально и небуквально (как министр и как депутат парламента). Русская столица наполнилась анонимными стихами:

Сидеть меж стульев двух — дилемма,
Не стоит ломаного су:
Малейший сдвиг — и вся система
Трещит, а ж... на весу!
Но все ж, назначенный указом
На самый видный из постов,
Уселся на два стула разом
Огромной задницей Хвостов!

На пороге уже стоял Степан Белецкий.
— Царское Село зовет нас... обоих сразу.

* * *

Он недооценил хитрость этой женщины, а она оказалась гораздо расчетливее, нежели он о ней думал.

— Я очень рада, что ваше назначение состоялось. Но вы еще несведущи в делах сыска и охраны. А мы с мужем должны быть спокойны. Нам будет приятно, если охрана доверена опытному человеку. Такой человек сидит рядом с вами... Я одобряю ваше назначение, — повторила Алиса, — но при обязательном условии, что вашим товарищем министра будет Степан Петрович Белецкий!

Степан, заранее нанюхавшись кокаину, не шелохнулся, а бедный толстяк Хвостов испытал то самое чувство, какое дано испытать блудливому коту, когда ему связали лапы и поволокли на стол — для кастрации! Об этом крайне остром моменте в его биографии ваша печать недавно сообщала: «У Хвостова был вырван главный нерв министерства внутренних дел, потому что, по образному выражению самого Хвостова, министр без департамента полиции все равно, что „кот без яиц“!» Императрица, чтоб ее черти съели, сразу же взяла под

контроль Хвостова, и после свидания с нею пути Хвостова и Белецкого навсегда разошлись, хотя внешне они маскировали свои истинные чувства и намерения... Когда эти бугаи вернулись на Фонтанку, в «желтом доме» МВД их поджидала телеграмма: Распутин срочно выезжал из Покровского в столицу!

Белецкий по этому поводу сказал:

— Недавно мне попало интересное дело о членовредительстве среди питерских цыган. У них так: коли ссора, муж хватает за ноги сына, мать хватает дочку — и бьются своими ребятами. Боюсь, чтобы некто, более сильный, не схватил и нас за ноги да не стал бы драться нами, выясняя свои семейные отношения...

Хвостов его понял. Ребром ладони провел по шее.

— Гришка... вот уже где! Побороть его можно лишь в том случае, если станем помогать один другому.

Ну что ж! Составили план. Сначала — проникнуть в доверие к Распутину, обезоружить его деньгами и доброжелательством.

— Без Побирušки не обойтись, — причмокнул Степан.

— Без Червинской тоже, — добавил Хвостов...

Он отбыл в Москву, где на путях застыли верстовые эшелоны с продовольствием для голодающего Петрограда. Наорав на перепуганное начальство, министр сам расталкивал составы по запасным путям, освобождая дорогу к столице. Пробка рассосалась, но теперь не было людей для загрузки вагонов. Хвостов по тревоге поднял гарнизон, солдаты работали днем и ночью — Петроград начал принимать продовольствие, «хвосты» возле булочных и мясных лавок исчезли, а газеты восторженно приветствовали нового заправила: «Наконец-то у нас в России появился человек, который не хнычет и не болтает, а не брезгует никакой работой...» Вернувшись в столицу, Хвостов переоделся попроще, взял у швейцара веник и пошел париться в общественные бани. Сидя на верхней полке, весь красный, с прилипшими к телу банными листьями, министр внутренних дел — голый среди голых — вел крамольные разговоры о том, что Гришка Распутин зарвался, хорошо бы его проучить. В облаке душного пара, под свистящий перехлест веников, Хвостову отвечали, что дело не только в Гришке — надо бы кое-кого и повыше потряхнуть так, чтобы у них мозги вылетели... Чистенький и розовый, как поросенок, Хвостов называл Червинской:

— Душа моя, сразу же, как только этот варнак появится в столице, уговори его на свидание со мной и Степаном... За это ты получишь от меня карточки на сахар. Я отрежу тебе столько карточек, что твоя сладкая жизнь будет продолжаться до полной и окончательной победы над оголтелым германским милитаризмом!

Червинская получила от него карточки на сахар и, когда дома развернула их, громадный лист накрыл весь стол, будто нарядная скатерть, — Антоний заботился о своей Клеопатре.

* * *

Мотор подан. Сели и поехали. Был вечер. Побирושка назвал шоферу свой адрес: Фонтанка, дом № 54... Белецкий спросил:

— У тебя новый адрес? Ты ведь жил на Троицкой.

— Вышибли! Хозяйка дома, княгиня Гагарина, с полицией меня выселяла. Говорила, что не потерпит, и все такое прочее...

Хвостов, подняв воротник пальто, сумрачно оглядывал темные улицы столицы, с шорохом убежавшие под колеса автомобиля.

— Не завернуть ли к Елисееву? — сказал он.

Выехали на Невский. Побывали у самого Елисеева.

— Нам нужно бы вина... побольше.

— Сухой закон. Помилуйте, какое уж тут вино.

Хвостов с Белецким сказали, что им можно продать: один — министр внутренних дел, другой — товарищ министра внутренних дел и этим признанием только напугали владельца магазина: «Что вы! Я законы империи соблюдаю свято...»

Вышли на улицу. У входа в магазин, в подворотне, мальчишки торговали соблазнительным денатуратом — чистым, как слезы невинного младенца. Министр понюхал из одной бутылки, сказал Степану:

— Я бы и ханжу выпил! Пьют же люди, и ничего... Да ведь эта скотина Распутин не станет — ему мадеры подавай, барину!

Побирושка разругал министра и товарища министра:

— Кто ж так делает? Это надо с черного хода...

Дожидались его в автомобиле. Хвостов спросил:

— Достанет ли он? Трепач страшный!

Белецкий в потемках что-то страстно нюхал.

— Побирושка? Эге... Раскаленную печку голыми руками вынесет и даже не обожжется. Вы его еще не знаете, но скоро узнаете.

Князь уже тащил корзину с вином и фруктами.

— Едем. Расходы прошу оплатить по счету.

— Ладно. Садись. За эм-вэ-дэ не пропадет...

Приехали. Червинская уже была здесь.

— Сейчас от Кюба принесут уху, — сообщила она.

— Это любимое блюдо Распутина? — спросил Хвостов.

— У него не поймешь... Свинья все сожрет!

Червинская недавно окончательно порвала отношения с Сухомлиновыми и заодно с Побирושкой копала под бывшим министром глубокую яму (именно от них общество столицы насыщалось сплетнями о мнимой измене Сухомлинова). Раздался звонок — лакей доставил от Кюба горячую уху. Не успели с ним расквитаться, как ввалился и Распутин... Белецкий вспоминал, что не только он, но «даже Андронников и Червинская были поражены некоторою в нем переменою: в нем не было более апломба и уверенности в себе». Это объяснялось одним: Распутин был угнетен, что не он, а Побирושка провел Хвостова в министры... Расселись. Червинская, как хозяйка, стала черпать из золоченой «тюрины» ароматную уху. Надо было разрядить обстановку, и Хвостов отказался есть:

— Пока отец Григорий не благословит...

Распутин, входя в роль, широким мановением руки перекрестил уху и тарелки с закусками. Отдельно осенил все бутылки.

— Позволь? — сказал Хвостов, берясь за мадеру.

— Лей, — отвечал Распутин, потом обернулся к Побирושке.

— Не князь, а мразь! Што ты у меня под ногами-то выкручиваешься?

— Тихо, тихо, не шуметь, — вступилась Червинская.

Побирושка повел себя неглупо:

— Чего ты орешь? Смотри, встретили честь честью. Алексей Николаич и Степан Петрович едят уху, которую ты благословил. Мы старались, к Елисееву заезжали, чтобы тебе же мадера была...

Все так, и Распутин взялся за ложку, ворча:

— Ладно. Каша сварена. Хоша и без меня...

Хвостов умело вошел в разговор:

— Григорий Ефимыч, мы собрались здесь не для того, чтобы лаяться, а чтобы раз и навсегда договориться о нашей совместной работе. Твои советы и поддержка твоя окажут, безусловно, самое благотворное влияние на исход грядущих событий...

Распутин поздравил Хвостова, но с упреком:

— Ты бы уже тогда, при убийстве Столыпина, мог бы в министерствах бегать, да прошлепал. Надо было меня еще в Нижнем Новгороде кормить. Я к тебе тады с перепоею пришел, а ты...

Белецкий не дал ему излить былые обиды:

— Уха отличная! Григорий Ефимыч, заверяю тебя, что охрана твоя в надежных руках. За это ты не волнуйся.

— Мне твои сыщики осточертели, — отвечал Распутин. — Бывало, в нужник на улице забежишь, так они и тамо подглядывают. Не дадут посидеть с полным уважением.

— Это их служба! Но зато теперь покушений на тебя, как при Маклакове да Джунковском, не будет... Спи крепко.

Сами не заметили — когда и как, а восьми бутылок уже не было: пустые, их отставили в сторону. Хвостов поцеловал Гришке руку.

— Родной ты мой, знаешь, как я тебя люблю?

— Ври мне! Рази же собака палку любит?

— Любит.

— Врешь!

— Честно скажу: видел пса, лизавшего палку.

— Так это ее салом намазали. А пес-то — дурак, обрадовался, что вкусно пахнет, и давай ее нализовать...

Их оставили за столом объясняться в любви, а Белецкий вышел в соседнюю комнату, где передал Побирушке пять тысяч рублей:

— Не давай ему все сразу — пропьет и забудет, что брал. Вручай по тысчонке, чтобы иметь поводы с ним видеться...

Побирушка малость погодя залучил Распутина в спальню, оставив дверь приоткрытой, чтобы Белецкий видел, как он отсчитывает сотенные бумажки. Распутин сложил их вдвое, задрал рубаху и сунул деньги в брючный карман. Порядок! Вернулись за стол. Все уже распоясались, покраснелись, мужчины скинули пиджаки, а

Побирушка, по настоятельной просьбе Червинской, залез к ней под платье и, не скрывая своего крайнего отвращения к женскому телу, расстегнул ей пуговицу на лифчике... Мадам снова воспрянула.

— Фу! А то уже дышать не могла... Такая вкусная уха. Господа, а вы совсем не ухаживаете за своей единственной дамой...

Мужикам было не до нее: они обгладывали вопрос о проведении в обер-прокуроры Синода чиновника Волжина.

— А ён гадить в карман не станет? — беспокоился Гришка.

— Прекрасный человек! — отвечал Хвостов, уже пьяный.

— Если что — приструним, — посулил Степан...

Когда пришло время расходиться, все перецеловались с особым упоением. Со стороны, глядя на них, можно было подумать, что такие ребята, как Степан и Алешка, пойдут на смерть друг за друга. Хвостов остался ночевать у Побирушки, в постель к нему перебралась Червинская; расчувствовавшись, он ей признался:

— Гришка у меня долго не погуляет... Степан тоже!

— Ты это серьезно?

— Кровь брызнет... всех распихаю...

Горемыкин прав: Хвостов — слишком «игривый» мужчина!

* * *

Симанович велел инженеру Гейне усилить наблюдение за Борькой Ржевским, лицом, близким к Хвостову, дабы выявить планы нового министра. Хвостов оказался «просвечен» с неожиданной для него стороны. В конце 1915 года завязался клубок, в котором трудно разобраться, но в котором даже сама путаница была вполне логична... Манасевич-Мануйлов вскоре шепнул Белецкому:

— Хвостов долго не протянет, свернет шею... Ну кто же из нас, служа в эм-вэ-дэ, произносит вслух то, что думает?

— Затычка ему не помешала бы, — отвечал Белецкий. — Но если он не вставил ее себе сам, так я за него вставлять не буду!

Финал шестой части

И опять история ломает каноны литературы! Мыслимое ли это дело — под конец романа вводить нового героя, который в романе почти не будет действовать? Однако появление героя необходимо, ибо он станет *последним* ставленником распутинской шайки и займет пост министра юстиции на другой день после убийства Гришки Распутина... Сейчас главное — с чего о нем начинать?

* * *

Жил да был бедный студент, каких на Руси тысячи.
Николай Александрович Добровольский — из дворян.
Наука — бог с ней, а вот где бы подзанять деньжонок?
Это было в Киеве, где он учился на юриста в университете. Помощи от разоренных родителей хватило лишь на то, чтобы справить к мундиру подкладку из белого шелка. Не зная, как выкарабкаться из бедности, студент нанялся в любовники к одной старой даме, но она заразила его, и тем закончилась недолгая карьера альфонса. В поисках верных путей в жизни Добровольский спустился в игорный притон, где поставил десять копеек, а выиграл десять рублей. Это решило судьбу — раз и навсегда! Ради одного «маза» в шалмане он мог забыть о свидании с барышней. Ради приятных слов «ваша карта бита» он был готов на любую подлость. Но ему в игре не везло... Однажды, когда Добровольский, вконец продувшись, изнывал в буфете игорного клуба, к нему подошел И. М. Маршак — владелец ювелирного магазина на Крещатике.

— Страдаете, молодой человек? — и дал в долг...

Маршак оказался щедрым человеком — молодой юрист много лет играл и кутил на его подачки. А когда Добровольский отбывал военный ценз в кавалергардах, Маршак и там не оставлял его своим

вниманием. В письмах он с добродушным юмором напоминал, что стоит ему предъявить векселя к оплате и Добровольский вылетит из полка в чем мама родила — на всю жизнь опозоренный! Отслужив в полку, Добровольский чиновничал в судебном ведомстве, женился на княжне Друцкой-Соколинской, у которой было триста десятин земли на Смоленщине, но игра пожирала все доходы от имения и службы. Наконец он достиг положения прокурора в Киеве, и тут к нему в кабинет затесался незнакомый юркий человек с громадным перстнем на оттопыренном мизинце.

— Вы мне очень много должны, — сказал он прокурору.

Это был Аарон Симанович, державший в Киеве лавку подержанных вещей, где со стороны двора он перекупал ворованные драгоценности. Добровольский пришел в ужас, когда увидел в его руках векселя, данные в свое время ювелиру Маршаку.

— Маршак умер, — сообщил Симанович, — а перед смертью, любя меня, как сына, завещал ваши векселя мне...

Капкан захлопнулся! Далее отношения развивались по всем правилам кредитной науки: Симанович давал, как раньше давал Маршак, прокурор брал у него, как раньше у Маршака, а за это покрывал аферы своего кредитора. Добровольского перевели в Гродно вице-губернаторствовать, но неутомимый маклер тронулся следом за должником, как лиса по следу робкого зайца. Здесь, в Гродно, губернатор (стыдно сказать!) носил штаны в заплатках: не было денег на покупку новых — все забирала игра. Отличный знаток бухгалтерского учета, Добровольский много лет успешно подделывал губернские сметы, пока не схватили за руку. Что делают цари, если губернаторы проворовываются? Они сдают губернаторов на вечное хранение в Сенат, словно закладывают в ломбард вещи, вышедшие из моды, и там они лежат, пока не понадобятся...

Сенатор! Чести много, а денег мало. Симанович сказал, что в одну минуту сделает его богатым. Он привел к Добровольскому некоего дворянина Нахимова, просившего закрепить за ним нефтеносный участок на Кавказе, который он бурить не собирается, а продаст его англичанам — деньги поделят поровну. «На троих!» — не забыл напомнить Симанович... Англичане навезли королевской техники, стали просверливать Кавказ, но нефти — кот наплакал. Не понимавшие всех тягот сенаторской жизни англичане (экие подлецы!)

подняли шум. Нахимову дали три года каторги на Сахалине, Симановичу ничего не дали, а Добровольскому дали по шапке — он был изгнан из прокуроров 1-го департамента. Все затихло... Но денег-то опять не было! Годы скользили, как вода по клеенке, состарилась жена, так и не увидев счастья, выросли у Добровольского дочери, стыдившиеся бедных платьев, а он, муж и отец, все играл, все ставил, все просаживал... Подрастали сынишки и у Симановича, который предъявил должнику своего старшего Шиму.

— Гениальный ребенок! — аттестовал он. — Мальчик чрезвычайных способностей, но вы же сами знаете, какие страшные антисемиты эти профессора Технологического института...

По благу с министерством просвещения Добровольский пропихнул в институт «гениального ребенка», а Симановичу сказал:

— Ты когда-нибудь от меня отвяжешься или нет?

— Отвяжусь, когда получу с вас по вексям...

Добровольский протер свои последние штаны и, сильно сгорбленный, пошел на последнее средство — видели, как, подняв воротник пальто, он крался, словно вор, по черной лестнице дома № 64 по Гороховой улице... Что ж, естественный финал! О Распутине ходит много легенд, и среди них — одна, будто он был очень добрым человеком. Правда, что широким жестом Гришка давал нищенке пять рублей, на свои кровные мог насмерть упоить оркестр балалаечников. Но добрым он никогда не был! Опутанный массой невидимых финансовых пут, он черпал деньги из различных источников и скоро, будучи не в ладах с арифметикой, уже ничего не понимал в своей загадочной бухгалтерии. Множество дельцов, окружавших его, конечно, грабили Гришку со всех сторон, действуя при этом секретно друг от друга и аккуратно поддерживая в Распутине постоянное чувство подозрительности. («Распутин, — писал Белецкий перед расстрелом, — зорко следил за охраною материальных интересов, он производил подробный сыск о тех, кого подозревал в обмане, и затем публично их разоблачал, не стесняясь формой выражений...»)

Добровольский и стал главбухом Распутина?

Служил, аки пес служит за мозговую кость.

Для верного пса нужна хорошая будка, чтобы сверху не протекало, а сбоку не поддувало. Распутин посадил сенатора в чулане своей квартиры, где валялись дрова и старые корыта и куда никто из

гостей заглядывать не отваживался. Там, вооружась счетами, Добровольский подводил баланс грандиозных афер, ревизовал доходы и уличал не Распутина, а тех, кто залезал в карман к Распутину... Униженный нищетой и проигрышами в ночных клубах, Добровольский опускал свои очи все ниже, а Распутину это в людях никогда не нравилось.

— Ты, счетовод, чего в глаза не глядишь? Не украл ли ты?

О присутствии Добровольского в Гришкиных делах знали очень немногие (знала и Вырубова). До «будки», где сидел верный распутинский Трезор, добрался тот же Аарон Симанович.

— А-а, вот вы где! Ну, не ожидал...

Пристыженный низким падением высокого дворянского престижа, Добровольский имел неосторожность, на основании точной бухгалтерии, припугнуть своего кровососа... Тот сказал ему:

— Вы очень много стали знать обо мне. — И Симанович вытолкал сенатора из «будки», а Распутин даже не возражал.

— Вроде бы и ничего мужик, да в глаза не смотрит!

* * *

Распутин чувствовал, что эта сладкая жизнь горько кончится, и всю войну (после покушения Гусевой) «зажимал деньгу», рачительно складывая деньги в кучки и кучи, которые потом старательно прятал по углам и щелям... Интересно бы знать — из чего он сложил свои грязные миллионы? Симанович не открыл, а лишь приоткрыл занавес: «Я доставал Распутину деньги из *особых* источников, которые, чтобы не повредить моим единоверцам, *я никогда не выдам!*» Может, тайна вообще непрошибаема, как стенка? Не закрыть ли нам глаза, отступив в бессилии?..

Нет, в этой уголовщине стоит нам покопаться!

Когда Симанович впервые появился в Петербурге, имея зашитыми в пиджаке несколько ворованных бриллиантов, мечты его были вполне скромными: иметь свой публичный дом — вот крайний потолок его фантазии. Но у него, как и у Добровольского, была страсть — карты.

Великолепный шулер, почти фокусник, умевший из девятки делать туза, а из дамы валета, он иногда по странной прихоти каприза разрешал себе играть «наперекор судьбу» (т. е. играл честно и мгновенно продувался догола). Но знание жизни ночной столицы и обширный круг знакомств привели его перед войной к мысли — пустить в финансовый оборот человеческие пороки. Белецкий знал, что на руках Симановича постоянно имелось двести тысяч рублей, которые он давал в рост под большие проценты кутящим людям. Но Белецкий не знал главного!..

Да и вообще мало кто догадывался, что «секретарь старца» возглавлял громадный подпольный синдикат по обслуживанию людской порочности. Рубинштейны и Гинцбурги вложили немало средств в процветание многочисленных клубов, которые работали без вывесок, открываясь сразу, как над столицей опускался царственный вечер. Это и была та золотиносная жила, которую Симанович, в купе с Распутиным, старательно разрабатывал. Внешне все выглядело благопристойно. Президентами клубов избирались графы и князья — почтенные люди громких исторических фамилий, которые никогда не думали, что их титулами прикрывается низкое мошенничество. Симанович действовал осторожно: сначала в клубе ставились картежные столики, начинал приторговывать буфет, а потом уже появлялись и странные гибкие женщины, с глазами, как ложки, расширенными от кокаина. Когда клуб превращался в свинарник, солидные учредители его с возмущением уходили. Но устав клуба, заверенный в полиции, оставался прежним, а Симанович оказывался на положении клубного распорядителя... Вот он, главный источник обогащения мафии, пайщиком в которой состоял и Распутин, имевший колоссальный барыш с игровых клубов и публичных домов. МВД выплачивало ему по пять тысяч рублей в месяц, но это... разве же это деньги для Гришки! С войною работа синдиката сразу оживилась, ибо в столицу с фронта наезжали отпускные офицеры, которые, ценя жизнь в копейку, рублей тоже не щадили. Когда во главе Ставки находился Николай Николаевич, его агентура, следившая за подвигами старца, все-таки докопалась, что пайщиком в делах шантана «Аполло» является сам «возжигатель царских лампад». Генералы не стали разводить китайских церемоний — шантан прикрыли! Распутин тогда же поклялся сионистам, что он дядю Николашу сожрет с костями, — и

кажется, что в этот момент Гришка не столько страдал за еврейский вопрос, сколько от потери своих доходов... Симанович в деле с «Аполло» подозревал Добровольского:

— Это не вы ли сделали донос в Ставку?

Сенатор, действуя через Вырубову, с большим трудом оправдался перед Распутиным, но глаз так и не поднял, чтобы смело заглянуть в ясные очи праведного старца Григория Ефимовича.

— Что ты за человек — не пойму! — говорил Распутин.

* * *

— Григорий, — сказала царица осенью 1915 года, — мне нужен свой человек, заведомо преданный, который бы втайне ото всего мира перевел большие суммы денег в... Германию.

— Эге, — сказал Распутин, задумавшись.

— Но этот человек должен действовать настолько точно, чтобы, как говорят русские, комар носу не подточил.

Задача невыполнимая — в разгар войны из России, ведущей войну с Германией, перекачать русское золото в немецкие банки!

— Есть у меня умный банкир, — начал Распутин...

«Умный банкир» — так он называл Рубинштейна.

— Вам все шуточки, — отвечал Митька, когда ему предложили эту аферу. — А вы забыли, что существует комиссия генерала Батюшина, что за мной давно следит контрразведка Бонч-Бруевича... Если меня схватят, то веревка уже намылена.

Симанович на это сказал:

— Зато нам предоставляется удобнейший случай использовать интригу императрицы, чтобы потом крутить самой императрицей в целях нашего великого иудейского дела...

— Вешать-то будут не наше дело, а меня!

— А на что тогда Распутин? Он не даст повесить...

В книге «Весь Петербург» Митька Рубинштейн, крупнейший капиталист-выжига, был представлен набором титулов, занимавших семнадцать строчек петитом. А дело пахло статьей № 108 Уголовного

кодекса (государственная измена!). Еще не пойманный, Митька давно преступил эту статью, переведя русские процентные бумаги через германские банки. Подумав, банкир решил помочь императрице и вызвал к себе Манасевича-Мануйлова, который давно состоял его тайным агентом (о чем Белецкий не догадывался, считая его своим преданным шпионом). Митька сказал Ванечке прямо:

— Теперь ты будешь получать от меня сколько хочешь, но за это обязан прикрыть меня своим телом, когда я попаду под обстрел. Ничего больше не спрашивай. Пока вокруг сплошная темнота.

— А ты не волнуйся, — успокоил его Ванечка. — Когда ты будешь орать от страха, — окажусь рядом с тобой...

Он сдержал слово, и, когда Рубинштейн пойдет в тюрьму, обыск в его квартире станет проводить сам неустрашимый Ванечка! Рубинштейн повел себя осторожно, переводя деньги как будто не для Германии, а для... гессендармштадтских родственников императрицы (что, впрочем, одно и то же). Операция не отличалась особой сложностью. Акции русского общества «Якорь» он переправил в Швецию на имя финансового агента Виста, который тут же перевел акции в наличные деньги, незаметно уплывшие в Германию.

Пока было тихо... Рубинштейн предупредил:

— Я сделал, как просила меня государыня, но в обеспечение своей безопасности я ставлю условия — чтобы премьером стал Штюмер, а в министры юстиции посадили нашего человека.

— Такой уже есть! — заверил его Симанович...

Если Побирушка делал Хвостова министром внутренних дел, а Манасевич-Мануйлов проводил в премьеры Штюмера, то почему бы, спрашивается, жрецу «макавы» не позаботиться о своем собственном министре юстиции?..

Симанович дал понять Распутину:

— Не мешало бы нам Добровольского запихнуть в юстицию, и пускай он там посиживает, пока мы тут хозяйничаем.

— Хорош министр, что в глаза не глядит! Как иметь дело с ним, ежели ты ему, беспортошному, сказки сказываешь, а он, будто украл что, под ногами у меня половицы пересчитывает...

— Это плевать, что он в глаза не смотрит, зато он сделает для нас все, что мы ему прикажем. А без хорошей юстиции, подумай сам, мы все ноги протянем...

Распутин отрезал себе большой кусок торта.

— Ну-к што. Не спорю. Тоже верно. Юстицка, она штука такая. Есть она — плохо. А нет ее — и без юстицки в тюрьме навоеешься!

* * *

В октябре 1915 года Болгария на стороне Германии выступила против России. Манифест болгарского царя Фердинанда начинался чудовищными словами: «*Распутинская клика объявила нам войну...*»

Генерал М. В. Алексеев (седенький, косоглазый, тихий, умный, кропотливый, делавший за царя в Ставке всю работу верховного) боялся показать этот позорный манифест Николаю II.

Германские газеты отзывались о Распутине с преднамеренной похвалой, рисуя его в воображении немцев вроде сказочно-могучего витязя, ведущего династию Романовых на край пропасти.

В преддверии холодов русские самолеты разбрасывали над позициями немцев отлично исполненные художественные открытки с видами картин Верещагина, в которых был отображен весь морозный ужас зимы 1812 года, — запугать хотели, что ли?

Часть седьмая

ХВОСТОВЩИНА С ХВОСТАМИ

(осень 1915-го — осень 1916-го)

*Отдельные
кабинеты,
дамочки, рюмочки,
секретная
агентура,
растраты, подлоги
и опять дамочки,
взяточки,
рюмочки... Такого
общее
впечатление.*

*Газеты — об
А. Н. Хвостове*

*Вы знаете
меня — я человек
без
задерживающих
центров. Я люблю
эту игру, и для
меня все равно —
что водки выпить,
что придавить
Гришку Распутина!*

*А. Н. Хвостов —
для газет*

Прелюдия к седьмой части

Хвостов ведал графиком движения царского поезда, курсировавшего между Ставкой и фронтами; ответственность была велика, ибо достаточно одной бомбы с немецкого «альбатроса», чтобы в династии Романовых все перевернулось вверх тормашками! Секретность маршрутов очевидна, и Хвостов никак не мог разумать, почему в Берлине всегда знают, в какое время на какую станцию прибудет литерный с самим царем и наследником престола. Кого можно подозревать, если почасовики расписаний министр скрывал ото всех сослуживцев, доверяя их одной императрице... Алиса успокаивала мужа, что Хвостов «привез мне твои *секретные* маршруты, и я *никому ни слова об этом не скажу, только нашему Другу*, чтобы Он тебя всюду охранял». В ноябре, когда царский поезд отошел от станции Сарны, разведка задержала его движение — навстречу летели немецкие самолеты, неся бомбы... Распутин всегда имел копию маршрута, дабы обращать свои молитвы за царя и наследника соответственно их географическому положению. Будучи трезв, Гришка помалкивал. Но стоило «заложить за галстук», как он начинал трезвонить направо и налево все, что знал, дабы показать свою осведомленность в делах государства. Каждую субботу Распутина призывал на уху Игнатий Манус, усиленно потчует его мадерой первого сорта. В союзных посольствах были убеждены, что именно из квартиры Мануса сведения о делах Ставки струятся в лоно германского генштаба. Николай II в письмах к жене подробнейшим образом описывал обстановку на фронте и планы будущих операций, [\[19\]](#) не забывая при этом напомнить: «Прошу, любовь моя, не сообщай этих деталей никому, я написал их только тебе»... Только тебе — это значит, что будет знать и Распутин! Сама императрица в военных делах не разбиралась, но зато чутко воспринимала распутинские директивы, рождавшиеся в его голове после тяжкого похмелья. В ноябре она диктовала мужу: «Теперь, чтобы не забыть, я должна передать тебе поручение от нашего Друга, вызванное Его ночным сновидением. Он просит тебя приказать начать *наступление возле Риги...*» В результате была страшная ночная атака у озера Бабитэ,

шрапнель косила стрелков; обратно ползли по окопам, словно крабы, боясь поднять головы... Вот так! А вывод тошнотворный: в одном случае наступление не состоялось, ибо Распутин, пожалев своего сыночка, сорвал призыв ратников; в другом случае наступление состоялось только потому, что Гришка видел приятный сон...

В конце года Ставку посетили премьер Горемыкин и генерал Рузский, начальник Северо-Западного фронта, прикрывающего столицу от немцев под Ригой и Двинском. Они предупредили Николая II об угрожающем положении в Петрограде.

— Возможны беспорядки, — сообщил Рузский.

— Ваше дело, генерал, войсками своего фронта подавить беспорядки, если таковые возникнут, — заметил Горемыкин.

— А я такого приказа не дам.

— Почему? — спросил царь.

— Приказы можно отдавать, когда уверен в их исполнении. Но я знаю, что сейчас не пятый год, и солдаты не станут стрелять в народ, как бы энергично я ни приказывал.

— Не пугайте меня гидрой революции, — ответил царь.

Этот диалог тоже стал известен в Берлине, он обсуждался в нашем посольстве в Стокгольме, а Рузского скоро сместили!

* * *

Дочери царя превратились в смешливых барышень, весьма критически относившихся к родителям. Сестры отлично владели английским, хуже французским, а по-русски говорили неграмотно, употребляя такие выражения, как «ашо», «нетути», «гляньте», «аль не знаешь». Царица выдавала им «на булавки» по пятнадцати рублей в месяц, они ходили в ситцевых платьях, спали на железных кроватях под серыми суконными одеялами, будто солдаты. Надо отдать справедливость, что воспитаны они были без зазнайства: если старик лакей ронял что-либо на пол, все четыре великие княжны сразу же бросались поднимать... Заводилой и главным критиком своих венценосных родителей была Ольга, самостоятельная, начитанная в

русской истории, тайком от семьи писавшая стихи. Все четыре царские дочери были по-девичьи несчастны. Причиной несчастья являлся Распутин, ибо газеты Европы писали о быте Царского Села страшные вещи, и потому богатейшие невесты мира совсем не имели женихов. Правда, незадолго до войны Ольгу возили напоказ в Румынию, были все шансы для того, чтобы она стала румынской королевой, но Ольга, вернувшись домой, долго бродила по царскосельским паркам, а потом заявила, что жениху отказывает, ибо не может представить себе жизни без России. Ее женихом стал великий князь Дмитрий Павлович, которого Николай II выделял среди своей родни, еще не зная, что он станет убийцей Распутина. Ольга безумно влюбилась в Дмитрия, но роман закончился катастрофой...

Четыре барышни оказались на положении «вечных невест», и Ольга, девица с характером, возненавидела Распутина — лютейше и страстно. По вечерам в гостиной Александрии стрекотал киноаппарат, царская семья очень любила просматривать хроникальные фильмы о себе, снятые практичным Хвостовым. Тишком от матери сестры подшучивали над дрыгающими на экране фигурами родителей, а когда экран заполнял Распутин, рассказывающий сказки наследнику Алексею, Ольга открыто фыркала, возмущаясь:

— Опять этот... нет сил выносить его!

— Он молится за всех нас, — возражала мать.

Наконец, выступая от имени всех сестер, Ольга устроила матери крупный семейный скандал.

— К нам уже никто не ходит, мы живем хуже пещерных дикарей и всего боимся. Только один Распутин шляется к нам, когда ему вздумается! Иногда, мама, стоит послушать, что говорят в госпитале солдаты... Мне все противно, и я лучше уеду на фронт санитаркой, только б не видеть твоего любимца? Боже, где у тебя глаза? Неужели ты сама не видишь, что над нами все смеются...

Распутин узнал об этом и отомстил Ольге — столь паскудно, что нормальный человек даже не может придумать такой подлости. Скоро до Белецкого дошли его слова, записанные филерами: «Мне царицка надоела — я теперь с дочкой ее, с Ольгой... ничего девка!» Белецкий велел усилить наблюдение, доложил Хвостову.

— Надо брать, — отвечал министр.

— А вдруг это и в самом деле дочь его величества?

— Ну что ж — возьмем и отпустим.

Вскоре с «Виллы Родэ» позвонили агенты:

— Темный здесь. Гуляет вовсю. Денег много. Сейчас послал автомобиль за великой княжной Николаевной.

— Берите ее, но... деликатно.

Через полчаса — новый звонок:

— Она приехала. Пошла в общий зал. Там сейчас дым коромыслом. А как брать? Это и правда великая княжна Ольга.

— Все равно брать и сразу на Фонтанку...

Притащили красотку! Точная копия великой княжны. Даже шубка на ней точно такая же, какие носили одинаково одетые дочери царя. «Ольга» закурила папиросу, выпустила дым в Белецкого.

— А ты знаешь, что тебе за меня будет?

Белецкий позвал Хвостова, а тот, человек решительный, закатил «ея высочеству» звончайшую оплеуху — вмах.

— Кто у нас проституцией ведает? Пусть придет.

Явился чиновник Протасьев, знавший ночной быт столицы и все его тайны. С укором посмотрел на «Ольгу» и сказал:

— Ах, Муська! Ни стыда, ни совести... Твоя ли это клиентура — Распутин-то? Сшибай бобров на Глазовой улице... Брысь!

Девке дали раза три по шее и выгнали на улицу.

— Несмешное дело! — сказал Белецкий. — Мы вопрос выяснили, но ведь публика на «Вилле Родэ» так и останется в уверенности, что Распутин живет не только с царицей, но и с ее дочерьми.

— Обычно, — отвечал Хвостов, — в культурных странах дают через газеты опровержение. А мы некультурные — промолчим!

* * *

Филеры порою даже боялись записывать все рассказы Распутина, иногда похабные, иногда звучавшие крамольно... Но один рассказ все-таки запечатлели: «Приезжаю я в Царское, папашка грустный сидит. Я его по головке: чего тоскуешь-то? А он говорит: сапог нет, ружей нет, противогазов нет, надо бы наступать, а наступать нельзя. Вот, говорю,

безобразив сколько! Папашка рассказал, что смотр делал. Прошел полк — в новых сапогах. За ним — второй. Тоже в новых. Третий идет — блестят сапоги у них. Он и скажи Косте Нилову, чтобы тот за пригорок сбегал. А там, за горюшкой-то, один полк скидает сапоги — другой надевает. Так и ходят перед ним... Я его спрашиваю: как же ты наступать-то будешь? А он чуть не плачет: сам не знаю... англичане сулили ружей дать через два месяца!»

Пока во главе Ставки находился дядя Николаша, фронт влияния распутинщины не знал. При Николае II положение изменилось. Конечно, запускать немытые пальцы в стратегию штабов Распутин не осмеливался. Но советы его подавались под видом «пророчеств», «откровений» и «сновидений». А Хвостов сейчас обдумывал, как лучше дискредитировать Распутина в глазах царской семьи. Уведомившись, что Гришка пребывает в состоянии скотского опьянения, министр уже не раз устраивал ему срочные вызовы в Царское Село; филеры втаскивали Гришку в купе, словно мертвый балласт, но, когда поезд прибывал в резиденцию, Распутин выходил на перрон трезвым — не качнется, говорит здраво...

— Напрасно стараетесь, — сказал Белецкий, — Гришка обладает поразительной способностью очень быстро трезветь.

— Побольше денег! — отвечал Хвостов. — Подсаживайте к нему компании, я сделаю из него законченного алкоголика...

Задача увлекательная. Паче того, Распутин, напиваясь с большой охотой, кажется, сам шел навстречу желаниям министра. Беспробудное пьянство началось в ноябре 1915 года, и Хвостов с удовольствием анализировал филерские листки:

Распутин на моторе уехал в Царское Село и вернулся с Вырубовой, перекрестил Вырубову, и та уехала. Распутин с Абрамом Боберманом уехали на моторе и вернулись через 6 часов, причем Распутин был выпивший и на прощание целовался с Боберманом. А когда шел в квартиру, то спросил: «Кто у меня есть?» Ему сказали, что ждут две дамы. «А красивые?» Ему сказали: «Да, очень красивые». «Ну, хорошо, такие мне и нужны». Около 7 вечера он вышел из дома, не проспавшись, бормотал непонятное, стуча палкой.

Распутин пришел с Т. Шаховскою очень пьяный. Вернулся и сейчас же ушли. Вернулся домой в 2 часа ночи совершенно пьяный.

Секретарь Распутина А. Симанович принес корзину и сказал, что тут 6 бутылок мадеры, икра и сыр.

Распутин вернулся домой, неся в каждой руке по две бутылки вина. Был очень пьян.

Уйдя вчера вечером, Распутин вернулся только сегодня в 5 часов утра, совершенно пьяный, каким давно его не видели.

У Распутина ночевала артистка Варварова. Распутин с кн. Долгорукой приехал на моторе к ней в «Асторию» в 3 с половиной ночи и остался до утра. Вернулся нетрезвый.

Распутин вернулся пьяный... Пришла содержанка сенатора Мамонтова — Воскобойникова, которой Распутин предложил зайти к нему в час ночи. Она пришла пьяная.

Распутин вернулся в 3 часа ночи пьяный. Распутин вернулся в 5 утра пьян. К Распутину на моторе приехал еврей Рабинович, и отправились в «Донон» (Мойка, 24)... привезли в ресторан Джанумову и Филиппову, после обеда Распутин поехал с дамами...

Распутин вернулся пьяный домой в 9 час. 50 мин. утра... вероятно, ночевал у актрисы Варваровой.

Распутин на моторе отправился в ресторан «Вилла Родэ», куда за поздним временем не пускали. Тогда он стал бить двери и рвать звонки, а городовому дал 5 рублей, чтобы не мешал... На ночь ездил в Царское Село.

Распутин с двумя неизвестными дамами отправились на моторе в ресторан «Вилла Родэ» и в 2 часа ночи наблюдением оставлены.

Хвостов захлопнул папку, в которую день за днем подшивались филерские листки. Сказал удрученно:

— Не спивается! Необходимо крутое решение...

— А мы проморгали одну штуку, — подсказал Белецкий. — Оказывается, в Петербург приехал долгогривый Питирим, экзарх Грузии, и тихо поживает на Васильевском острове. У него темные связи с Распутиным, и надо ожидать изменений в Синоде.

— То-то Вырубова меня на днях спрашивала: как я отношусь к Питириму? А какие данные о нем имеете?

— Из латышей. Сын священника церкви Кокенгаузена. Как и все высшее духовенство, — рапортовал Белецкий, — Питирим содомник, секретарем при нем — Осипенко, бывший учитель пения в гимназии.

Ясно, что экзарх — креатура Распутина, но Питирима по ночам конспиративно навещает еще и... Штюрмер!

— Я должен взорвать этот альянс! — воскликнул Хвостов, с хрустом переломив пополам ручку с жестким перышком «рондо».

1. Мышиная возня

Днем и ночью по Николаевской дороге громыхали товарные составы, везущие на берега Невы продовольствие и топливо, — Хвостов работать умел. Министр не учел только одного: насыщая Петроград, он оставлял на голодном пайке Москву, и теперь надо было срочно толкать эшелоны из Сибири, Поволжья и Средней Азии; москвичи мерзли в «хвостах», а ломовые извозчики Петрограда свозили мясные туши на мыловаренные заводы — тоннами! Газеты обвиняли в этом безобразии владельцев складов и боен, которые доказывали, что мясо давно сгнило и годится только на мыло. «Если оно сгнило, — рассуждали в печати, — значит, оно завалилось на складах в то время, когда население голодало. Вывод один: спекулянты нарочно придерживали продукты, чтобы нагнать на них цену...» Россия уже привыкла к тому, что гладко никогда не бывает, но война обнажила самые гнусные язвы бюрократии и капитализма. Народ (как и сам Хвостов) еще не знал, что банкир Митька Рубинштейн стоит во главе подпольного синдиката, который через нейтральные страны перекачивает в Германию русские запасы продовольствия... Кстати уж — Манус однажды обиделся на Распутина:

— Я столько сделал для развития русской промышленности, а чин действительного статского советника ты устроил не мне, а Митьке Рубинштейну... за какие, спрошу тебя, доблести?

За те же самые «доблести» Манус тоже получил чин; теперь два явных изменника были приравнены по табели о рангах к званию генерал-майора. А это уже 4-й класс — элита общества!.. И никогда еще богатые люди не ели так вкусно, не пили таких вин, как в это время. В моду вошли гомерические застолья, на которых процветали нравы периода упадка Византийской империи, в этих пирах чуялось что-то жуткое — из легенд об оргиях Сарданапала, и голые красавицы в одних чулках и туфельках, подаваемые в конце ужина на золотом блюде в виде десерта, — это лишь слабенький мазок, не способный точно воспроизвести жирную и сочную картину тогдашнего разврата буржуазии, жрущей, пьющей и сыто рыгающей.

Одетый в желтую кофту, еще молодой и красивый, Маяковский запустил в это стадо, как бомбу, свое знаменитое «Вам»:

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться бы лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова-поручика?..

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре б... буду
подавать ананасную воду.

* * *

Клерикальная элита России в канун революции настолько исподличалась, духовенство обросло такой грязью, что я отказался от описания многих интересных фактов распутинщины только по причинам морального порядка. С тех пор как убрали Саблера, обер-прокурором в Синоде сидел Волжин, стол которого был завален делами о растлении епископами малолетних девочек, о мужеложстве столпов высшей иерархии русской церкви... Он позвонил Хвостову.

— В какой-то степени, — сказал Волжин, — я попал в Синод по вашей милости, так помогите мне! Я чувствую, что появление Питирима — это сигнальный звонок к моему изгнанию.

— Вы можете разгадать предстоящую аферу?

— Я же не сыщик. Но догадываюсь, что сначала надобно вскрыть нелегальные связи Питирима с Распутинным...

В паршивом настроении Хвостов заглянул в кабинет своего товарища и спросил Белецкого, что делается со стороны МВД, дабы проникнуть в планы Питирима... Степан сознался:

— Ничего! Правда, я уже сунул взятку его «жене» Ивану Осипенко, который ведет себя как капризная любовница Ротшильда. Заодно я пристегнул к Осипенко нашего Манасевича... Пока что Питирим блажит на всех перекрестках, что Распутина и знать не знает.

Хвостов решил идти напролом, чтобы уличить Питирима как распутинского ставленника, метящего на пост первоприсутствующего члена в Синоде; Белецкий пытался его отговорить:

— Не связывайтесь с этой духовной шпаной. Вы бессильны, если Осипенко уже лакает чай на даче Вырубовой...

— Чувствую, что этот продырявленный учитель пения становится великим государственным мужем. Но куда же мы катимся?

— Куда надо, туда и катимся...

В ноябре долгогривый Питирим переехал жить в Лавру: он стал членом Синода; распутинская комбинация завершения не получила, — Волжин на коленях умолил царя, чтобы не утверждал Питирима в первоприсутствующих, и Николай II согласился с мнением, что во главе иерархов церкви неудобно ставить гомосексуалиста.

Хвостов вызвал генерала жандармерии Комиссарова.

— Михаила Степаныч, переоденьтесь в статское. Распутин сейчас в Царском, дождитесь его и тащите прямо к Питириму.

Комиссаров сказал, что не знает Питирима в лицо.

— Сейчас узнаете. — Хвостов показал ему фотографию из фондов тайной полиции: Питирим сидел на одном стуле с Осипенко, обняв его со всей нежностью, на какую был способен. — Снимок с наших новобрачных. Так сказать, их медовый месяц...

На Гороховой, шляясь возле дома № 64, генерал дождался, когда из Царского прикатил автомобиль, в котором сидели сам Распутин, его дочери, неизвестная сестра милосердия с мышеловкой, в которой скрючилась озябшая мышь, и Осипенко с экземой на лице. Комиссаров действовал решительно, как при аресте преступника.

— Пересесть на извозчика, — велел он Распутину.

— На ча?

— Не разговаривать. Быстро... залезай!

Жандармы высоких рангов отлично освоили характер Распутина: этот хам и нахал становился как тряпка, если с ним говорили непререкаемым тоном. Распутин, побледнев, сел в коляску; за ним

полезли незваные сестра милосердия с мышеловкой и Осипенко с экземой. Генерал вышвырнул их обратно — на мостовую.

— Гони прямо! — крикнул извозчику.

Вся компания кинулась вдогонку, Осипенко завопил:

— Ой, Гриша, завезут к антихристу... прыгай!

— Я тебе прыгну, — помахал кулаком жандарм.

Вот и Александро-Невская лавра, где они вылезли из коляски. Комиссаров не знал здешних ходов и выходов, а Распутин тут как дома и хотел сразу же смыться. Но генерал схватил его за воротник шубы и велел чинно следовать в покои Питирима, где их появления уже поджидал министр. Попивая синодский ликер, Хвостов с улыбкой пронаблюдал, как Распутин полез целовать Питирима.

— О-о... вы старые друзья? Теперь мне понятно, ваше святейшество, каковы потаенные норы, через которые вы добрались до бочонка с этим великолепным синодским ликерчиком...

Питирим был в ярости оттого, что разоблачен.

— Это ты... — заревел он на Комиссарова. — Недаром в газетах пишут, что все жандармы — провокаторы!

Распутин тоже был недоволен ловушкой.

— Негоже так-то, — строго выговорил Хвостову, — я тебя по-божески в дела унутренние благословил, а ты шкодишь...

Хвостов, не глядя на Питирима, приказал Гришке:

— Не раздевайся! Поедешь со мной.

— Зачем?

— Там узнаешь.

— А куда?

— Там увидишь...

Приехали на Итальянскую, где была конспиративная квартира МВД; Хвостов открыл ее своим ключом, сказал Распутину:

— Кончай дурака валять! С Питиримом тебе номер удался, но ты не надейся, что протащишь на себе к власти Штюрмера...

Распутин, перекрестясь, заверил Хвостова, что к Штюрмеру никакого отношения не имеет, а в премьеры будет проталкивать его — Хвостова, и по этому случаю они как следует выпили. Но даже в пьяном состоянии министр постоянно ощущал, что взгляд Распутина обволакивает его целиком, будто трясина, из которой не выбраться («Несомненно, — признавался он, — Распутин был один из самых

сильных гипнотизеров... Я ощущал полную подавленность»). В потрясенной и разрушающейся стране два человека жаждали премьерского трона. Кто будет тем горластым петухом, что с торжественным криком взберется на самую вершину дымящейся навозной кучи?

* * *

Манасевич-Мануйлов навестил Питирима в Лавре; он задавал ему вопросы, но ответы получал от Осипенко; опытный демагог, Ванечка очень ловко заставил их сказать то, что ему нужно слышать:

— Говорят, что Штюрмер готовится в премьеры...

— А вам, владыка, — подхватил Ванечка, — следует активнее вторгаться в общественную жизнь. — При этих словах он протянул Осипенко адрес Лермы-Орловой, прося заходить запросто.

— Запросто не можем, — сознался Питирим. — За нами хвостовские жандармы следят, как коты за бедными мышами.

— Не беспокойтесь. У меня автомобиль, который не может догнать никакой мотор из департамента полиции...

Ближе к ночи из кабины мощного «бенца» он проследил, как берейтор Петц вкрался в подъезд дома № 36 по Бассейной улице (смелый цирковой наездник, он был паршивый конспиратор). Ванечка дождался, когда в спальне Лермы-Орловой погас свет, и казенный автомобиль медленно, словно в похоронной процессии, отвез его... к жене! А утром он валялся в ногах Белецкого, умоляя избавить его от жестокой ревности, умоляя арестовать Петца.

— Что угодно для вас сделаю... из шкуры вывернусь!

Поводом для ареста он выдвинул версию, что Петц продавал лошадей в Швецию, откуда они поступали в Германию. Белецкий обрисовал перед Хвостовым положение с Петцем и сказал, что Россия не рухнет в пропасть, если они этого Петца посадят.

— Сажая Петца в тюрьму, мы сажаем Манасевича на цепочку. Он что-то уже знает, но... молчит. Может, и проболтается?

— Черт с ним, — сказал Хвостов, ковыряя в носу.

Петца посадили, а Манасевич-Мануйлов водворился на Бассейной, где устроил серию тайных свиданий Распутина со Штюрмером. Лерма-Орлова была фатально потрясена значимостью своего Ванечки в государственных сферах, и она быстро забыла про Петца, попавшего за решетку только потому, что он был моложе и красивее Ванечки. Скоро актриса увидела в своей квартире и долгогривого Питирима, который очень боялся, как бы его здесь не накрыл Хвостов с жандармами. Въедаясь в политику, будто клоп в паршивую перину, Питирим ласково выведывал у Штюрмера, как он будет относиться к Осипенко, которого владыка скромно именовал своим воспитанником. Распутин заранее натаскивал Штюрмера на покорность:

— Ежели ты, старикашка, захошь рыпаться, я вить тебя под самый стол запиною... Штобы — ни-ни? Штобы — на веревочке...

Штюрмер хватал руку Гришки, прижимал ее к сердцу.

— Григорий Ефимович, в этот великий миг, который уже вписывается на скрижали русской истории, я торжественно заверяю вас и всю великую мать-Россию, что без вашего благословения...

Питирим, вздрагивая при каждом звуке с улицы, осенял их крестным знаменем — как дело святое, богоугодное. Осипенко при этом брезгливо ковырялся вилкой в салате и говорил:

— Ну, что это такое? Разве это салат? Одна картошка... А где же мяско? Где же рыбка? У меня же диета...

Ночью Лерма-Орлова допытывалась у Ванечки:

— А что мне с этих свиданий будет?

— То же, что и мне, — отвечал он. — Заграничный паспорт в зубы и приятные сновидения на русские национальные темы...

* * *

Белецкий зашел к Хвостову, посмеиваясь:

— А мы оказались правы, что посадили Петца... Сейчас у меня был Манасевич, и, чувствительно благодарный за то, что мы избавили

его от ревности, он продал нам хороший товар. Он дал понять, что Распутин с Питиримом скоро вытащат наверх Штюрмера...

— Гришка предал меня! — закричал Хвостов.

Люстра под потолком кабинета поехала куда-то вбок и погасла. Весь мир стал коричневым и отвратно-суконным. Хвостов чуть не выпал из кресла. Опомнился. Быстро взял себя в руки.

— Честно говоря, — сознался с откровенностью (какая ему была присуща и которая его губила), — я ведь и сам метил на место Горемыкина... Значит, Гришка решил поводить меня за нос!

В чем соль? А в том, что товарищ министра страдал сейчас в унисон со своим министром. Займи Хвостов пост Горемыкина — тогда Белецкий сядет на место Хвостова, но с появлением Штюрмера эта проекция разваливалась. Хвостов, однако, не проболтался, что в его арсеналах хранится мощное секретное оружие против Распутина. Из великосветских будуаров он извлек черногорца-монаха Мардария, мужчину красоты небывалой, который уже два года без передышки «монашил» в спальнях аристократок. Мардарий был типичный альфонс, и потому Хвостов (сам циник!) говорил начистоту:

— Денег не дам — получи с бабья. Но я решил устроить тебе карьеру... Возьми-ка, братец, да прижми Вырубову. Она, правда, на костылях, но это даже оригинально...

Мардарий вскоре доложил, что Вырубова пала.

— Теперь задирай рясу да жми прямо на царицу!..

Это был удар, способный сразить Распутина наповал. Мардарий успешно проник в покои Алисы, но в истории мирового фаворитизма он своего имени не оставил. Царица, как-никак, все же была «доктор философских наук», и она, естественно, возмутилась четкой оперативностью монаха, который действовал так стремительно, будто опаздывал на поезд... Хвостов прогнал монаха с руганью, заодно устроил и нагоняй своему товарищу — Белецкому:

— Тут что-то не так! У меня создается впечатление, что вы, сударь, заодно с Гришкой начали играть против меня.

Белецкому сейчас было невыгодно лишаться дружбы с Распутинным, но коли к стенке прижали...

— Я устрою ему... мордобой, — обещал он Хвостову.

— Это мне ничего не даст, — отвечал министр. — Помимо шикарного мордобоя, мне нужен еще скандал вокруг имени Распутина,

обязательно с составлением полицейского протокола... Вы можете, не сходя с места, разработать точную стратегию скандала?

— Я использую близость к Распутину фоторепортера Оцупа-Снарского, который состоит при нем вроде флигель-адъютанта.

— Пардон, откуда вы знаете Оцупа-Снарского?

Хвостов не заметил, что Белецкий смутился.

— Совсем не знаю. Но он — приятель Манасевича,

— Действуйте. Вот деньги... сколько угодно!

На конспиративной квартире МВД, которую Хвостов использовал в личных целях, он сказал Наталье Червинской:

— Я успокоюсь, когда увижу труп Распутина...

Если раньше министры боролись с Распутиным вполне *легально*, добиваясь лишь его устранения, то Хвостов вступил в *нелегальную* борьбу, желая физического уничтожения Распутина!

2. Бей дубьем и рублем

Историки уже давно заметили, что «хвостовщину» с полным правом можно отнести к разряду бульварных романов... Итак, решено: Распутина станут калечить! Впрочем, конокраду не привыкать.

Эх, раз,
еще раз,
еще много,
много раз!

Комиссаров пришел к Хвостову в недоумении.

— По-моему, — сказал он, — если уж вы решили Гришку трепать, так надо растрепать его так, чтобы не встал.

— Конечно. Какие могут быть сомнения?

— А Белецкий велел мне предупредить агентов, чтобы они Распутина кулаками пригладили, но костей бы ему не ломали.

— Я перестал понимать Степана! — ответил Хвостов. — От моего имени выдайте агентам бандитские кастеты...

Задумано было искалечить Распутина после вечеринки у Оцупа, когда Гришка выйдет из его дома и пошляется по глухому Казачьему переулку; деньги для кутежа МВД дало Манасевичу-Мануйлову с тем, чтобы он вручил их хозяину квартиры. Назначенные для избиения агенты были хорошо загримированы и переодеты под ночных гуляк; для быстрого бегства за поворотом переулка их должна ожидать автомашина с опущенным верхом. Хвостов сказал Комиссарову:

— Гришку прямо с панели надо сразу запихнуть в нашу машину и отвезти сначала в полицию для составления акта, а только потом уже везти к хирургам... Самое главное — побольше шума!

Вот и полночь миновала. Волшебное трио в составе Хвостова, Белецкого и Комиссарова уселось в служебную машину и дважды на малой скорости проехало Гороховую, вертясь в изгибах Казачьего

переулка. Видели заgrimированных агентов, но в окнах квартиры Оцупа-Снарского почему-то не было света.

— Странно, — нахмурился Хвостов.

— Проедем еще раз, — сказал Белецкий шоферу.

— Опять темно, — глянул на окна Комиссаров...

Наездились всласть! Хвостов, замерзнув, велел шоферу развозить всех по домам, но при этом он выговорил своим коллегам:

— Вот вам анекдот! Я — министр внутренних дел, Степан Петрович — мой товарищ, а вы, Михаила Степаныч, — генерал-майор корпуса жандармов. Кажется, не последние людишки в империи, а вынуждены жулиться на морозе, чтобы подловить чалдона, который недостойн даже того, чтобы развязывать нам шнурки на ботинках.

— К чему вы это сказали? — спросил Белецкий.

— А к тому, что кто-то из нас предупредил Гришку.

— Только не я, — сразу же отперся Комиссаров.

— Про меня тоже не подумаешь, — сказал Хвостов.

— Выходит, на меня шишки падают? — спросил Степан...

Агенты с кастетами дрогли на морозе всю ночь, но Гришку не дождалось. Стало известно, что деньги, выданные на гульбу из кассы МВД, были в ту же ночь дружно пропиты в отдельном кабинете «Палласа», причем пропивал их сам Распутин, а помогали ему Манасевич и Оцуп-Снарский (с ними была и Лерма-Орлова). Белецкий явился к министру с извинениями, вроде бы не понимая, кто их предал, кто завалил операцию — Манасевич или Оцуп-Снарский.

— Я знаю не их, а вас, — отвечал Хвостов.

— В чем вы меня можете подозревать?

— В том, что вы, обязанный по долгу службы охранять Распутина от покушений, действительно уберегли его от покушения. Ваше поведение не всегда бывает достойно звания дворянина.

— А я не дворянин! Я сын бакалейного лавочника.

— Вот вы и устроили мне из министерства лавочку...

Хвостов погодя созвонился с Побирושкой:

— Слушай, князь, ты вхож в дом Гришки, скажи, что он любит больше всего, помимо баб, денег, рубашек и мадеры?

— В кино ходит с дочками и племянницей Нюркой.

— Это ерунда, пускай ходит. А еще что?

— Обожает кошатин... их у него полно. Тут сенатор Мамонтов однажды кошке хвост в дверях прищемил, так Распутин его чуть из Сената не выставил. Кошки — это его страсть!

— Моя тоже, — отвечал Хвостов, — но за кошек мне трудно зацепиться. А я знавал по Вологде игумена Мартемьяна, которого сослали в Тюмень, а теперь он крутится в Питере около Гришки.

— Так это его ближайший сибирский друг!

— Ладно, — сказал Хвостов, — будь здоров...

* * *

Штюрмер медленно поднимался все выше, и Хвостов, встревоженный его возвышением, развил не свойственную толстым людям бурную активность. Для начала он вызвал из Вологды, где когда-то вице-губернаторствовал, своего бывшего собутыльника Алексина, полицейского исправника, готового идти за ним в огонь и в воду.

— Вот что! Я поставлю тебя вице-губернатором в Тобольск, а за это ты должен приклепнуть Распутина... Согласен?

— Это нам раз плюнуть, — согласился Алексин.

Комбинацию убийства Хвостов решил укрепить с другого фланга и вызвал к себе Мартемьяна, который в Вологде выдавал себя за юродивого, а жил с того, что предсказывал купцам пожары и свадьбы. Хвостов заранее перелистал филерские листки за прошлые годы, убедившись, что Мартемьян близкий к Распутину человек, в Тюмени они вместе бражничают и пакостят. При входе игумена в кабинет Хвостов, учитывая фактор психологии, треснул его в ухо.

— Ты знаешь, кто я? — спросил он рухнувшего монаха.

— Откель знать-то, сударь? Я вот игумен, человек божий, и я шибко сумлеваюсь, чтобы меня при встрече бить надо было...

Хвостов напомнил монаху все его былые художества и пройдошества, спокойно добавив, что ссылает его на Сахалин:

— Тачечку покатаешь лет десять — станешь умным.

Мартемьян, упав на колени, целовал ноги министра.

— Отпустите меня. Ну, был грех... Рабом стану!

Хвостов выложил на стол тысячу пятьсот рублей и кинжал.

— Возьми себе... аванс. А этим ножиком зарежь мне Гришку на пароходе, когда будете плыть из Тюмени в Покровское.

К удивлению Хвостова, игумен алчно схватил «аванс» и забрал кинжал, причем вполне искренно (!) заверил министра, что и сам давненько подумывал, как бы сгубить Распутина. После этого Хвостов, уже в союзе с Мартемьяном, уговаривал Гришку, что хватит ему чревобесничать, пора навестить монастыри в Сибири, чтобы газеты отметили его молитвенные настроения. Распутин согласился на поездку, в которой его должны прирезать, но поставил условия:

— Чтобы губернатором в Тобольск назначили Орловского, а то Станкевич зубы мне кажет. И еще пять тысконок прошу.

Орловский был его креатурой, отчего замысел Хвостова начал потрескивать, но министр уповал на Алексина с Мартемьяном, а просимые Распутиным пять тысяч рублей тут же выдал.

— Это все? Если не все, то клянчай сразу.

Гришка подумал, что бы еще выцыганить с министра?

— Я тут буфетчику на пароходе морду набил, а он, дурак, взял да обиделся и на меня в суд подал. Суд был. Он просил пять тыщ, а суд закобенился и оценил его морду в три тысконок... Ну?

Хвостов, не прекословя, выплатил ему еще три тысячи рублей и заметил, как широко раздулись от денег карманы штанов Распутина.

— Итак, договорились? Поедешь и помолишься.

— Ясно. Поеду и... помолюсь.

Но вскоре сообщил, что ему лень ехать, и Хвостов остался у разбитого корыта. По сути дела, министр страшно проиграл — из Тобольска смещен губернатор Станкевич, враг Распутина, а на его место посажен Орловский, друг Распутина; Гришка просто так, за здорово живешь, хапнул из рептильного фонда восемь тысяч рублей. Но теперь, без опоры на Алексина, надо бояться и игумена Мартемьяна, который в любую минуту мог открыть Распутину планы Хвостова... Министр позвонил в Синод — обер-прокурору Волжину:

— Александр Николаич, мне очень нужно, чтобы игумен Мартемьян был с повышением переведен из Тюмени в другую европейскую епархию... Можете сделать это? Лично для меня. Прошу!

Волжин так удивился, что дал Мартемьяну архимандритство в Тверской епархии, и Хвостов еще раз подумал, что Гришка выиграл.

— А я проиграл! До чего же, кажется, легко угробить человека. А вот попробуй скovyрни в могилу Гришку... черта с два!

Поразмыслив, он повидался с Белецким.

— Соберите мне досье на маклера и шулера Аарона Симановича, который не вылезает из квартиры Распутина.

— Слушаюсь. А... зачем он вам?

— Хочется знать, отчего нет такого уголовного дела, которое не могло бы решиться не в пользу Симановича. Отчего этот жид столь велик? Почему он вхож к министрам... знаете?

— Не знаю, — тихо сознался Белецкий.

— А ведется ли наблюдение за домом на Бассейной, где проживает эта дрыгалка из оперетты — Лерма-Орлова?

— Да.

— Что наблюдение дало?

— Штюрмер и Питирим... Питирим и Распутин...

— Понял. Можете не продолжать. Работайте!

Потом он залучил к себе генерала Комиссарова, аккуратной грудой сложил перед ним на столе сто тысяч рублей... Красиво!

— Это вам, — деньги он придвинул к жандарму.

— За что? — естественно, любопытствовал тот.

— Вам придется пожить в Европе... эмигрантом.

— Простите, не понимаю.

— Я тоже многого не понимаю в этой собачьей жизни, — вдался в лирику Хвостов. — Убейте мне Распутина, а потом удирайте.

— Но я ведь не наемный убийца, — фыркнул генерал.

— Здесь ровно сто тысяч. Проверьте.

— И проверять не стану. Зачем мне это?

— Вам, конечно, не нужно. Но это нужно мне.

— Так заколите борова сами.

— Не умею. Еще никого не резал.

— А я вам что? Профессиональный разбойник?

— Ну, все-таки... генерал жандармский. Крови не боитесь. Я вас очень прошу, голубчик! Поверьте, пройдет месячишко, и я сделаю все, чтобы вызволить вас из-за границы обратно домой.

Комиссаров резко отказался. Хвостов спрятал деньги.

— Понимаете, — сказал он, — я бы, конечно, поднатужась, и сам пришил Гришку в темном переулке, но... как-никак, я министр внутренних дел. Ежели попадусь по «мокрому» делу, что тогда станут писать в газетах Европы?

— А надо уметь не попадаться.

— Оно и так, — вздохнул Хвостов, — но сейчас я боюсь рисковать, ибо затеваю большое дело: выборы в 5-ю Государственную Думу... Сейчас, как никогда, мне надобно иметь чистые руки!

Комиссаров тут же попросил отставки:

— Потому что я вижу — ваша возня с Гришкой добром не кончится, а я человек семейный, мне о детях подумать надо.

Хвостов отставки ему не дал:

— С кем же я останусь? С одним Степаном?..

Комиссаров понял, что надо уносить ноги, пока не отрезали голову. А потому он добыл отставку сам. Подвыпив, нагрязнул к Распутину, когда там сидели Вырубова и прочие паскудницы; генерал обложил их всех одним словом, которое издревле пишется на кривых заборах, и стал поджидать реакции Царского Села... Его взяли за шкуру и вышвырнули в Ростов-на-Дону — до свиданья!

* * *

Хвостов знал, что по «общественному сознанию надо бить не дубьем, а рублем...». Он так и заявил царице — откровенно:

— Ваше величество, слов нет, сам морщусь, но поймите меня правильно: выборы в Пятую Думу возможны только подкупом... Не скрою от вас, что выборы депутатов будут фальсифицированы, но зато я обещаю обеспечить вам крайне правое большинство!

Он умел открывать сердца и кошельки. Царица заверила мужа: «Хвостов это устроит. Он удивительно умен — не беда, что немного самоуверен, это не бросается в глаза, — он энергичный, преданный человек, который жаждет помочь тебе и твоему Отечеству». Срок полномочий нынешней 4-й Думы истекал осенью 1917 года, а о том, чтобы склеить благополучное будущее, монархисты тревожились

заранее. «В ноябре семнадцатого, — обещал царице Хвостов, — я создам вам послушный общественный аппарат, могучий и патриотический...» О-о, если бы они знали, что будет в ноябре 1917 года! Но не ведали, что творят. И царь ассигновал на подготовку выборов колоссальную сумму в восемь миллионов рублей. Самое удивительное, что этих денег никто не видел. Как раз в 1917 году, когда Хвостов собирался обеспечить царице «крайне правое большинство», его таскали на допросы из камеры Петропавловской крепости и спрашивали:

— Кстати, а вот эти ассигнования, что были отпущены вам на кампанию по выборам в Пятую Думу... Не могли бы вы, Алексей Николаевич, прояснить нам этот очень темный вопрос?

Хвостов ничего не прояснил. Отчаянно импровизируя, он правду о миллионах унес в могилу. В конце концов, чего придирааться? Дамочки, рестораны, рюмочки... Тут никаких миллионов не хватит! Но я иногда думаю: случись так, что революция грянула бы позже, тогда на какие шиши он проводил бы в стране выборы?

3. Наша Маша привезла мир

Декабрь был — синие бураны заметывали трупы убитых, повиснувших еще с осени на витках колючей проволоки. В германских винтовках замерзала смазка. Немцы стаскивали в блиндажи живых коров, ночные горшки и даже рояли, надеясь зимовать прочно и уютно. Шестая армия Северо-Западного фронта в жестокие холода повела наступление в Прибалтике, чтобы выбить противника с подступов к Риге и Петрограду — в районах Шлока, Иксуль и Двинска.^[20] В цепи латышских стрелков (будущих стражей революции) шагали в бушлатах, трепеща лентами бескозырок, матросы-штрафники — те самые ребята, которым через два года греметь на митингах и на арплощадках большевистских бронепоездов... А во французском посольстве тихо курились старомодные свечи. Морис Палеолог принимал одного из своих информаторов о делах в России, известного финансиста А. И. Путилова, который, служа мамоне, служил и Антанте; будучи неглупым пессимистом, он предрекал лишь мрачное:

— Война закончится, как последний акт в опере Мусоргского «Борис Годунов»... Помните? Царь теряет рассудок и умирает. Попы возносят к нему погребальные молитвы. Народ восстает. Появляется самозванец. Толпа вводит его в Кремль, а одинокий старик, юродивый, остается на пустынной сцене, провозглашая: «Плачь, святая Русь православная, плачь, ибо во мрак ты вступаешь...»

— А выход из этого каков?

— Выход — это выход из войны. Если мир с Германией опередит революцию, тогда мы спасены, если нет — тогда погибнем. Надеюсь, что в Берлине тоже понимают это...

Звонок по телефону прервал их беседу.

— Господин посол, — сообщил Сазонов, — у меня есть кое-какие новости. Не навестите ли меня завтра?

В Германии царил не просто голод, а (по выражению Ленина) «блестяще организованный голод». Продуктовая карточка — вот ирония судьбы! — стала генеральной картой, на которой разыгрывалось поражение Германии... Немец получал на день двести граммов картофельного хлеба. Грудные младенцы ничего не получали, высасывая из груди матери последние капли посиневшего молока. Детям старше года выдавали по сто граммов хлеба. Гигиенисты пришли к выводу о реформации германской кухни. Яйца были отнесены к предметам роскоши — вроде бриллиантов, место которым на витринах ювелирных магазинов. Сливки сочли вредным для могучего тевтонского организма; рабочим рекомендовали употреблять «тощий» сыр (из снятого молока), богатый белками. Долой вредную привычку чистить картофель (теряется пятнадцать процентов веса)! Мужчины, забудьте о жестких воротничках и манжетах, ибо на изготовление крахмала расходуется картофель. Запретить до полной победы переклейку обоев в помещениях, ибо клейстер тоже делается из крахмала. Преступны хозяйки, часто стирающие белье (мыло готовится из жиров). Лаборатория профессора Эльцбахера выяснила, что ежедневно на каждого берлинца вылетает в трубу до двадцати граммов жиров. Это потому, что сало ополаскивается с тарелок и сковородок горячей водой. Не мешало бы отучить германца от дурной привычки — мыть посуду после еды... Экономика тесно сопряжена с политикой. Кайзеровское правительство понимало настроения Путиловых, в Берлине предугадывали тайные вожеления Романовых — выходом из войны избежать наступления революции! Вскоре Родзянко получил письмо, которое занес в Таврический дворец господин, пожелавший остаться неизвестным. На конверте не было марки, не было и штемпеля почтовых отправлений. Писано по-русски, но с такими оборотами речи, будто переводили с немецкого. Родзянку призывали способствовать заключению мира с Германией, и он отнес это загадочное письмо в здание у Певческого моста.

— Вот что я получил, — показал Саонову.

Министр иностранных дел сделал попытку улыбнуться.

— Не вы один! Я имею точ такое же предложение. Всего распространено семь подобных посланий. Мало того, министр императорского двора Фредерикс получил письмо от графа Эйленбурга, с которым дружит целых тридцать лет. Эйленбург —

обергофмаршал кайзера, и понятно, кто ему советовал писать Фредериксу. Эйленбург призывает наш двор к заключению мира.

— Выходит, немцам стало кисло? — спросил Родзянко.

— А нам разве сладко? — отвечал Сазонов...

2 декабря на фронте под Ригой был сильный мороз, в сиреневом рассвете медленно протекали к небу тонкие струйки дыма из немецких и русских землянок. Ленивая перестрелка заглохла сама собой. В линии передовых постов заметили, что с немецкой стороны, проваливаясь в снежные сугробы, идет в русскую сторону пожилая дама в богатой шубе и с пышной муфтой в руках, поверх шляпы ее голова была замотана косынкой... Это и была «наша Маша»!

Генерал М. Д. Бонч-Бруевич спешно телеграфировал в Ставку, что линию фронта перешла прибывшая из Австрии фрейлина Мария Александровна Васильчикова. «По ее словам, она имеет около Вены имение Глогниц, где и была задержана с начала войны... В случае, если она не вернется, имение ее будет конфисковано». Царя в это время не было в Ставке, его замещал косоглазый Алексеев, который советовал Бонч-Бруевичу вещам Васильчиковой обыска не учинять. Кажется, что Ставка уже знала: «наша Маша» везет важные сообщения из Берлина! Николай II с сыном находился в пути на Южный фронт. Совершенно неожиданно у Алексея началось обильное кровотечение из носа, которое никак было не остановить. Матрос Деревенько держал мальчика на руках, профессор Федоров закладывал в нос ребенка тампоны, врач Нагорный следил за температурой — сильно повышенной. Наконец, у цесаревича было два глубоких обморока, все думали, что он уже умер... Николай II из Витебска телеграфировал жене, что возвращается в Царское Село; он писал, что и сам «несколько изумлен, зачем мы едем домой». Эту фразу трудно расшифровать. Но все-таки можно. В поезде находились лучшие врачи, и он ехал домой не потому, что у сына возник острый приступ гемофилии. Он ехал в столицу и не затем, чтобы повидать жену. Царя влекло в столицу, ибо там его поджидала Васильчикова с письмами! По указанию Алисы для «нашей Маши» забронировали комнаты в «Астории»; здесь она оказалась в полной изоляции — никто из общества не пожелал с нею видаться, так как Васильчикова, ради обладания имением в Австрии, изменила своей Отчизне. Но — тайно!

— она съездила в Царское Село, где ее приняли очень радушно, и Алиса этот визит тщательно скрывала...

Палеолог явился в министерство у Певческого моста, и Сазонов поведал послу Франции о тайной миссии Васильчиковой:

— Она была и у меня — сразу же по приезде. Вручила мне нечто вроде ноты от имени Германии. Я высказал ей свое недовольствие тем, что она, русская княжна старой фамилии, взяла на себя роль дипкурьера. Государь уже в Царском, Хвостов — тоже!

— Какова же роль Хвостова в этой ситуации?

— Он склонен обыскать и арестовать Васильчикову. Все зависит от того, сумеет ли он переломить настроения в Царском...

Палеологу пришлось собрать всю свою волю, дабы скрыть от Сазонова волнение: выйди Россия из войны, и Франция осталась бы почти один на один с германской мощью. Пусть оборванный, с последним патроном в обойме, сытый одним сухарем в сутки, но этот русский солдат непобедим, вынослив, упрям и настырен в атаках; без русского солдата Европа не мыслила себе победы над германской агрессией... Палеолог осторожно спросил — какой реакции следует ожидать от государя? Сазонов подумал.

— Трудно ответить. Но мы вас не оставим!

* * *

Из окон «Астории» виднелась заснеженная Мариинская площадь, вздыбленный клодтовский конь под кирасиром Николаем I да мрачная храмина заброшенного германского посольства. Лакей из ресторана, элегантный француз (и явный осведомитель посла Палеолога) развернул перед Васильчиковой карточку меню, украшенную портретом мсье Тэрье, тогдашнего владельца гостиницы. Фрейлина надела очки, вчитываясь в гастрономическое изобилие столичной кухни.

— У вас есть и шампиньоны? — удивилась она.

— Какой вам угодно к ним соус?

— Нет, шампиньонов не нужно. Я хочу что-либо сугубо русское. Блины с икрой и творожники. А стерлядка у вас свежая?

— Еще вчера она резвилась в низовьях Волги.

— Быть того не может! Как же при строгих графиках движения воинских эшелонов вы успеваете доставлять свежую стерлядь?

— Это секрет фирмы нашей славной гостиницы.

— Тогда... уху. Расстегаи с рябчиком. А в Берлине газеты пишут, будто по улицам Санкт-Петербурга бродят толпы голодных зачумленных людей с флагами, на которых написано: «Хлеба!»

— Это нас не касается, — отвечал француз...

Он ушел, обещая вскоре вернуться с обедом. Васильчикова снова подошла к окну, разглядывая прохожих, вереницу лакированных колясок и автомобилей, катившихся, как и прежде, между сугробами... Послышался стук в дверь. «Прошу», — отозвалась фрейлина. В номер вошли господа — непонятные, один из них сказал:

— Я министр внутренних дел Хвостов, а это мой товарищ Белецкий, мы прибыли, княжна, дабы исполнить одну неприятную для вас процедуру. Позвольте провести у вас обыск...

Белецкого он взял с собою по особому настоянию царя, и, зорко надзирая за агентами, потрошившими вещи княжны, Хвостов при этом мило беседовал с «нашей Машей», ловко строя вопросы:

— Ну, как вам понравилось в русской столице?

Васильчикова охотно с ним разговаривала:

— Меня больше всего поразило, что в трамваях появились кондукторы-женщины. Наконец, это новейшее выражение — дворничиха! Мне было так смешно увидеть бабу с бляхою дворника.

— А в Германии, я слышал, женщин привлекают даже к службе почтальонами и полицейскими... Наверное, сплетни?

— Нет, это похоже на правду.

— Говорят, вам дозволили из Берлина посетить гигантские лагеря для русских военнопленных... Не расскажете?

— Очень впечатлительная сцена! Наши пленные имели счастливый и сытый вид, все хорошо одеты, они просили меня передать самый горячий привет своему государю императору.

— А больше они вас ничего не просили передать?

— Н-нет... н-ничего.

— А я слышал, что до них не доходят посылки Красного Креста; до англичан и французов доходят, а когда посылки идут из России, немцы тут же драконят их и сразу пожирают...

Васильчиковой пришлось сознаться, что немцы любезно провели ее на склад Красного Креста, до потолка заваленный посылками для пленных англичан и французов, а русские посылочки едва-едва занимали одну полочку. Фрейлина объяснила это тем, что по дороге из России продукты портятся, и немцы (удивительно гигиеничная нация!) подвергают их массовому уничтожению в крематориях.

— Ясно, — сказал Хвостов. — Мы, русские, до такой чистоплотности, конечно, еще не доросли и дорастем не скоро.

— Мне не понять вашей иронии, если это ирония.

— Какая уж тут ирония! — Хвостов спросил ее в упор, словно выстрелил в женщину: — Когда вы видели кайзера Вильгельма?

Васильчикова даже отшатнулась.

— Бог с вами! В чем вы меня подозреваете?

— В измене Отечеству.

— Мне вчера сам госуадрь целовал руку...

— А позавчера руку вам целовал сам кайзер?

Белецкий шлепнул перед ним пачку пакетов. Ого! Письма самого германского императора, письмо к царю Франца-Иосифа, наконец, семейная переписка Эрни Гессенского со своей родной сестрой — русской царицей. Дверь открылась — вошел лакей с подносами.

— Обед, — сказал он. — Куда прикажете поставить?

— Вы пообедайте, — посоветовал Хвостов женщине, — а вечером кормить вас ужином буду уже я...

— Что это значит, сударь?

— Как это ни прискорбно, вы арестованы.

— Я не буду обедать, — распорядилась Васильчикова.

— Унеси, братец, — сказал Белецкий лакею.

Хвостов подал княжне пышную шубу, из карманов которой уже было извлечено все, вплоть до носового платка, чтобы подвергнуть химической обработке — на случай шифрописи. Министр с ретивой живостью сам же и ухаживал за арестованной.

— Ваши перчатки. Прошу. Муфта. Сегодня холодно...

В автомобиле Васильчикова ему призналась:

— Я вам скажу честно: да, я видела кайзера, я имела беседу и с Францем-Иосифом... Там рассчитывали, что вас обрадует предложение мира. И, конечно, я могла думать что угодно, но только не то, что буду арестована в русской столице.

— Как жизнь в Германии?

— Германия стонет.

— А что наши пленные?

— Они говорят, что верховное командование погубило их, царь послал на убой, а цели войны для них неясны...

— Это уже точнее! — констатировал Хвостов.

* * *

Васильчикова сама и виновата, что миссия ее закончилась ничем. Действуй она более конспиративно, опираясь только на царя и царицу, неизвестно еще, как бы повел себя тогда Николай II! Но Васильчикова действовала бестактно, бомбардируя письмами членов кабинета, писала, что во всем виновата «подлая англичанка», что немцы любят русских так же, как русские обожают немцев. Вслед за этим последовала мгновенная и бурная реакция союзных посольств... Васильчикову лишили звания фрейлины, и было объявлено, что она сослана. Ее заставили уехать в черниговские поместья своей сестры, графини Милорадович, где она продолжала сеять семена «сепаратности» и «пораженчества».

1915 год заканчивался. Фронт закутал морозный туман, мешавший боевым действиям. Распутин разлаял Вырубову за то, что та ничего не сказала ему о тумане. Царица писала мужу в Ставку: «Наш Друг все молится и думает о войне. Он говорит, чтоб мы Ему тотчас же говорили, как только случается что-нибудь особенное... говорит, что туманы больше не будут мешать». Скоро попало и верховному главнокомандующему — царю, который осмелился издать приказ о наступлении, не предупредив о том Гришку Распутина.

— На што ж я молюсь за вас? — обиделся он. — Так, мама, дело не пойдет. Плохо ты за папашкой следишь... Спроси он меня, и я бы

ему сказал, что наступать рано. А крови было уже много.
Мир вызревал — в лоне страха перед революцией.

4. «Навыи чары»

От сифилиса очень помогает «цветок черного лотоса» — это видно на примере Протопопова, который заболел еще в гвардейской юности, а сейчас ему уже сорок девять лет и до сих пор еще не помер. Правда, иногда он много плакал и нес явную чепуху, но на эти слабости старались не обращать внимания. Родзянко, отлично изучивший Протопопова, рассказывал: «У него была мания величия; он считал себя ясновидящим; он видел, что к нему приближается власть, что он может спасти царя и Россию. Он как закатит глаза — делается будто токующий глухарь и ничего больше не видит и не слышит...» При ненормальной экзальтации чувств Протопопов не был и помешанным, каким его иногда — по традиции! — принято представлять, и он часто проявлял разумное понимание серьезных вещей...

В это время те личности, которых Побирושка водил к себе на квартиру, обворовали князинушку так, что одни голые стенки остались. На этой почве (почве сострадания к ближнему своему) Протопопов сошелся с Побирושкой, а свел их Белецкий, обладавший удивительной способностью — создавать такие ситуации интриг, последствия которых трудно было предвидеть (даже самому Белецкому!).

— Вы мне нужны, — сказал Протопопов, — как один из могикан русской прессы. Издавать газеты — это, наверное, трудно?

— Страшно! — отвечал Побирושка. — Я издавал «Голос Руси», так половину газеты сам от руки строчил с утра до ночи.

— Не найти сотрудников?

— Капризные! — морщился Побирושка. — Еще ничего не сочинил, а уже аванс требует. Аванс пропьет и ничего не напишет.

— Я тоже стану издавать газету. Хочу привлечь лучшие литературные силы — от Плеханова до Короленко, от Горького до Потаненко, от Бунина до Эффи, от Дорошевича до Аверченко.

— Все разбегутся, — напроорочил Побирושка и снова заговорил, какие подлые люди пошли на Руси. — Я их к себе как порядочных позвал переночевать, а они... даже стулья вынесли!

— А вы бы — в полицию, — посоветовал Протопопов.

— Да обращался... А в полиции, знаете, как? Если не прописаны, значит, и спрос короткий. Что ж я, спрашивается, каждого молодого человека прописывать у себя буду? Мне тогда не только квартиры — целого квартала домов не хватит...

Протопопов верил в некие «навыи чары», управляющие людскими судьбами. Незадолго перед войной он узнал из газет, что в «Гранд-отеле» поселился заезжий хиромант Карл Перрен, берущий за один сеанс «магнетической концентрации» двести рубликов. Протопопов пошел! Его встретил дородный еврей, говоривший только по-немецки, но выдававший себя за гражданина США. Он сразу же схватил Протопопова за руку, через линзу глянул на извилины линий.

— У вас будет репутация не только национальная, но даже международная. Больше ничего не скажу. Страшно! Но вижу, что ваша кровь несвободно переливается по артериям.

— Что же мне делать? — приуныл Протопопов.

— Сильная астральная концентрация сама сделает все за вас! А вы должны лишь повиноваться судьбе... Влюблены?

— Безнадёжно.

— Замужняя дама?

— О да!

— Кто ее муж?

— Царь.

— Так и надо! — воскликнул Перрен. — Вы проходите под знаком Венеры, затмевающей свет Юпитера... В политической карьере следуйте лишь первому импульсу, который у вас всегда верен!

В 1915 году Перрен снова появился в Петрограде.

— Вам предстоит функциональный взлет! Больше ничего не скажу. Но под вашим правлением возникнет новая, могущественная держава — счастливая и открыто дерзающая. Но... не ждите роз!

Перрен был зачислен в «7-й контрольный список», в который заносили всех подозреваемых в шпионаже, на основании чего его выслали в Швецию, а вслед за тем Протопопов был избран в товарищи к Родзянке. Взлет, о котором накаркал Перрен, состоялся, и Александр Дмитриевич с особой силой уверовал в «навыи чары» той предопределенности судьбы, которая отольет его немощь в бронзу и водрузит для России нового Протопопова — на брусчатке Красной площади в Москве (напротив Минина и князя Пожарского). С

сознанием своего будущего величия он потащился к Бадмаеву, чтобы подлечить застарелый сифилис.

— Опять черный лотос? — спросил с надеждой.

— Сегодня габырь, — отвечал Бадмаев.

В клинике посиживал неприкаянный Курлов, кляня свою судьбу, которая издевалась над ним: даст власть и тут же отнимет.

— Паша, — сказал ему Протопопов, — когда я взлечу высоко, я сделаю тебя своим главным заместителем.

Курлов с усмешкой глянул и ответил дружески:

— Слушай, Сашка, когда ты у меня поумнеешь?..

Между прочим, Протопопов узнавал от Родзянки все, с чем он идет на доклад к царю, и сообщал об этом Степану Белецкому!

* * *

Штюрмер в «навьи чары» не верил. Он верил в чары Гришки Распутина и его любовницы — фрейлины Лидии Никитиной, дочери коменданта Петропавловской крепости. С портретов тех времен на меня глядит стройная молодая стерва в благородном костюме сестры милосердия. Фредерикс недавно запретил ей появляться при дворе. Причин тут две. Первая — она красила губы (чего порядочные женщины тогда не делали); вторая — это бешеная эротомания Никитиной, которая становилась как сумасшедшая, если видела мужчину, будь то даже арап, отворяющий царские двери. Распутин справедливо называл Лидочку сучкой, и на этом веском основании она пользовалась особым его доверием... Конечно, среди петербуржцев не было любителей совершать моцион внутри Петропавловской крепости, и потому ночные набеги Штюрмера на русскую Бастилию, где жила фрейлина Никитина, были мало кем замечены. Между ними установились удивительно прочные отношения, и только возраст Штюрмера не позволял думать, что их отношения были интимными.

Чего они хотели — старый бес и молодая чертовка?

По ночам в крепость приезжал и сам Распутин, обутый в высокие валенки сибирского крестьянина, он пил комендантский чай,

истреблял сухари и баранки. Никитина была посредницей между ним и Штюрмером, а где-то в потемках зимней ночи вращались шестеренки машины, которую двигали Питирим и Манасевич-Мануйлов... Каша! Штюрмер, набивая себе цену, не забывал напомнить Гришке, что его руки в бархатных перчатках, но они железные: задушат любого! На деле он был вроде футляра, в котором затаился дремотный обыватель, жаждущий на старости лет выгод и почестей. Именно здесь, в каменной цитадели великороссийского мученичества, Распутин строго-настроено напыхивал Штюрмера:

— Гляди, старикашка! Чтоб без меня не прыгать...

По-иезуитски расчетливо и подло Штюрмер зачастил в гости к старикам Горемыкиным, чтобы у премьера не возникло никаких подозрений. Там он обмасливал любезностями старую мадам Горемыкину, подавал ночные тапочки старику премьеру и вообще был «друг семьи». От Горемыкиных Штюрмер ехал на Бассейную — к актрисе Лерме-Орловой, где обмусоливал будущее России с педерастом Осипенкой, который от величия раздулся, как пузырь, и брал уже не меньше чем тысячу рублей. К этому хочу прибавить, что фрейлина Никитина часто бывала на Конюшенной, в доме Штюрмера, и там женщина рылась в его бумагах, делая из них выписки, что-то сличала и куда-то все передавала... Куда? Можно только догадываться, что она следила за деятельностью Манасевича-Мануйлова... Зачем? А сам Манасевич, как агент Белецкого, следил за фрейлиной Никитиной... С какой целью? Распутин стоял на страже Лидочки Никитиной, а Манасевич был охраняем самой Вырубовой, в доверие к которой вошел прочно, и это было не очень-то приятно Распутину, тем более что Ванечка отчего-то побаивался Никитиной... На даче Вырубовой в Царском Селе однажды случайно столкнулись Степан Белецкий и Никитина; при этом они оба испытали страшную неловкость... Отчего? В запутанном клубке прибавились еще две подозрительные нити. Но мертвые молчат, и мы никогда не узнаем хитроумной подоплеки тех «навьих чар», под влиянием которых находились эти люди и людишки, решавшие судьбы России вкривь и вкось, как им хотелось бы... Я пишу это, а сам думаю: «Неужели они сами-то не запутывались в этой вермишели?» Нет, выкарабкивались. Наверное, им, паразитам, такая работа даже нравилась...

* * *

«Навыи чары» мадам Сухомлиновой уже ни на кого не действовали в той мере, в какой они были испепеляющи в ту пору, когда она звалась штучкой или госпожой министершей. Что делать? Так всегда: пока мы счастливы и богаты, не знаешь, куда гостей рассадить, а стоит хрустнуть судьбе — калачом не заманишь. Екатерина Викторовна стойко и мужественно трудилась на санитарном складе, который оборудовала в своей квартире. Ее по-прежнему окружали дамы-добровольцы, и экс-министерше не раз приходилось платить фоторепортерам, чтобы снимками в газетах напомнить русскому читателю о своем бодром существовании... Да! Пусть знают все — девиз ее жизни прежний: «Все для фронта, все для победы!» Эти снимки поучительны для истории: в обществе петербургских дам, занятых работой, Екатерина Викторовна (скромная белая блузочка, длинная черная юбка) всегда занимает центральное место, вроде генерала в штабе... Иногда в мастерскую по обслуживанию госпиталей бинтами и ватой спускался в короткой тужурке сильно поблекший муженек, надтреснуто провозглашая:

— Побольше допинга, мои дамы! Вижу, что работа у вас кипит и... до победы недалеко. Катенька, — обращался он к жене уже на пониженных тонах, — а когда же мы будем обедать?

— Ты же сам видишь — у меня нет свободной минуты...

А комиссия по расследованию преступной халатности Сухомлинова работала, росли горы бухгалтерских отчетов и доносов. Показания против Сухомлинова (самые оскорбительные для него) дала Червинская, знавшая всю подноготную министра как родственница его жены. Беспощадно топил бывшего министра и Побирушка...

Сухомлинов как-то сказал супруге:

— Вот, Катенька, учись видеть жизнь без розовых очков. Господин Манташев — друг нашей семьи, а... где он теперь?

Екатерина Викторовна промолчала; за последнее время молодая женщина раздалась вширь, узкая юбка мешала при ходьбе, прошлогодние блузки стали уже тесны для располневшей груди.

— Скажи, — резко спросила она, — ты как рыцарь способен сделать что-либо, чтобы мое имя не трепали рядом с твоим?

— Мне это больно, поверь. Но мы, Катенька, сами и виноваты, что все эти годы вокруг нас кружилась разная мошकारа...

Следствие подходило к концу, и Сухомлинову становилось страшно при мысли, что его могут лишить права ношения мундира.

— Столько лет служил... Неужто все прахом?

— Но ведь от того, что ты плачешь, ничто не исправится, — внушала жена. — Надобно изыскивать способы.

— Какие?

— Ах, боже мой! Сними трубку телефона и скажи: «Григорий Ефимыч, здравствуйте, это я — генерал от кавалерии Сухомлинов!»

— Нет, нет, нет, — торопливо отказался старик. — За все время службы я всячески избегал общения с этой мразью.

— Неужели Побирушка или Червинская не мразь? Однако ты сидел с ними за одним столом. А чем Распутин хуже их?

— Я не могу, — покраснев, отвечал муж.

— Не можешь? Ну, так я смогу...

Твердым голосом она назвала барышне номер распутинского телефона — 646-46 (видно, узнала его заранее). На другом конце провода трубку снял сам Распутин.

— Ну? — спросил сонным голосом. — Чево надо-то?

— Григорий Ефимович, здравствуйте, — сказала Екатерина Викторовна, — это я, госпожа Сухомлинова... министерша.

Распутин долго-долго молчал, ошарашенный.

— Вот вить как бывает! Ране-то, покеда муженек твой в министрах бегал, ты от меня нос воротила на сторону. Конечно, я тебе не дурак Манташев, тряпок не стал бы тебе покупать. Гордые вы! Видать, приспичило, язва, что до меня звонишься?

В гостиную от телефона она вернулась плачущей.

— Катенька, он тебя оскорбил, этот изверг?

— Хуже — он повесил трубку...

Сухомлинов искренно страдал, качаясь над столом.

— Какой позор... до чего я дожил!

Но это еще не позор. Весь позор впереди. Под лампою абажура жирно лоснилась его гладкая большая голова.

5. Мои любимые дохлые кошки

Распутин, скучая, завел граммофон и, поставив на круг пластинку с бразильским танго, задумчиво расчесывал бороду. Под жгучие всплески нездешней музыки отворилась дверь в его спальню — на пороге стояла... мадам Сухомлинова. Я бы ее сейчас не узнал. Она была в блеске красоты и женского здоровья. Одевалась с вызывающим шиком. Напялила все лучшее, что нашла в гардеробе. Подвела брови... Распутин в полной мере оценил ее женскую храбрость.

— Чего ты хочешь? — спросил без приветствия.

— Избавьте мужа... от позора.

Танго закончилось, пластинка, шипя, бегала по кругу.

— Раздевайся, — велел Распутин.

— Как раздеваться? — пролепетала она.

— А так... быдто ты в баньку пришла.

Закрывая локтями груди, мелко переступая длинными ногами по лоскутному половику, вся зябко вздрагивая, она пошла на постель. В этой постели предстояло разрешить первый юридический казус. За шесть лет правления военным министерством Сухомлинов получил от казны жалованья двести семьдесят тысяч рублей, а сейчас в банке на его имя лежали семьсот две тысячи двести тридцать семь рублей. Откуда они взялись — в этом Сухомлинов не мог дать отчета следователям, ссылаясь на свою бережливость. Распутин обещал Екатерине Викторовне разобраться в «фунансах» ее мужа. Но со своей протекцией не спешил по той причине, что он... влюбился. Историкам известно его признание: «Только две бабы в мире украли мое сердце — это Вырубова и Сухомлинова».

— Задела ты меня, задела, — говорил он Сухомлиновой, сам себе удивляясь. Распутин и любовь — вещи несовместимые, но случилось невероятное: весь конец его жизни прошел под знаком любви к Сухомлиновой, которую он не скрывал от людей, откровенно трепался по городу: — Хороша бабенка была у военного старикашки. Как куснешь, так уснешь. Вскочишь — опять захочешь... Ох, задела она!

В один из визитов к Распутину женщина случайно — через раскрытую дверь — увидела, что здесь же отирается и Побирушка.

— Григорий, — сказала Сухомлинова с содроганием, — как же ты, знаток людских душ, можешь пускать в свой дом Побирušку? Это же сущий Каин... Он тебя предаст, как и нас предал. Такой негодяй способен даже яду подсыпать!

* * *

Хвостов никак не ожидал, что Белецкий его спросит:

— А каково происхождение тех двухсот тысяч рублей, что вы предлагали Комиссарову за убийство Распутина?

Стало ясно, что Комиссаров (перед отбытием в Ростов) проболтался о делах министра. Хвостов даже смутился:

— Не двести я давал, а только сто тысяч.

— Это все равно. Сумма где-либо заприходована?

Степан хватал его за глотку. Хвостов вывернулся.

— Товарищ министра — товарищ министру, но министр — не товарищ товарищу министра... Удовлетворитесь пока этим!

Теперь уже не Белецкий, а я (автор!) ставлю вопрос — откуда он черпал деньги? Может, транжирил ассигнования, отпущенные на предвыборную кампанию осени 1917 года? Впрочем, к его услугам была распахнута гигантская мошна — личный кошелек княгини Зины Юсуповой, графини Сумароковой-Эльстон, богатства которой неисчерпаемы. Хвостов уже вошел в конфиденцию с этой женщиной, умной и очаровательной; его планы встретили в Москве поддержку тамошней аристократии. Сразу не ответив на вопрос Белецкого, Алексей Николаевич придумал ответ чуть позже:

— Я держу в провинции большое свиноматочное хозяйство. Отсюда и те денежки, что я предлагал Комиссарову...

Белецкий, будь он на месте Хвостова, наверное, тоже пытался бы придавить Гришку в кривом переулке. Но сейчас все силы мрачной, уязвленной честолюбием души Степан направлял исключительно на то, чтобы спихнуть Хвостова и самому занять его кресло. А в такой ситуации Распутин, несомненно, был ему *очень нужен*, — товарищ министра оберегал Распутина от покушений министра!

Хвостов, кажется, так и не раскусил до конца, какая обильная власть была вручена ему — он скользил по поверхности, тиранствуя даже с юмором, словно МВД — это забавная игрушка. Играл он Нижегородской губернией, теперь баловался министерством... Зато Белецкий знал полноту власти во всем ее беспредельном объеме и эту власть всегда использовал в своих целях... Исподтишка он, между прочим, собрал все антисемитские высказывания Хвостова в одну папочку и передал ее Симановичу. Тот принял с большой благодарностью и спросил — что нужно? «Сами знаете, чего хочет товарищ министра... чтобы у него был товарищ министра!» Симанович обещал, что вся распутинская машина, смазанная деньгами, будет работать для возвышения Белецкого, а досье на антисемитизм Хвостова подбросили в Думу, где оно попало в руки Керенского, и в печати вокруг имени Хвостова возник если не шум, то, во всяком случае, неприятный для него шумок... Тут и Комиссаров проболтался некстати! Теперь Хвостову ничего не оставалось, кроме вовлечения Белецкого в свои криминальные планы.

— Подготовьте мне схему ликвидации Распутина...

Белецкий, затягивая время, накидал ему на стол сразу несколько вариантов убийства — один другого романтичнее.

— Но мы же не в карты играем — давайте яд! Вы же знаете, что я хочу спасти Россию от этого грязного мужика... Надо делать это скорее, пока сидим на чердаке, а пожар бушует еще в подвалах!

Тут надо остановиться, читатель. Не Россию хотел он спасти от Распутина, а в первую очередь *спасал сам себя* от распутинщины. Хвостов сознавал: пока Гришка стоит у кормила власти, он, Хвостов, будет напрасно цепляться за штурвал управления страной — штурвал выбьют из его рук... Белецкий, утомленный, сказал:

— Вы не верите мне? Хорошо, я вам докажу... У меня в Саратове есть знакомый провизор. Через него я достану сильный яд. Гришку мы отравим, насыпав яду в бутылки с его любимой мадерой.

Хвостов проявлял страшное нетерпение (и это закономерно, ибо Штюмер ползал уже где-то по верхушкам власти, удобряя их):

— Но почему в Саратов, черт побери! Неужели мы, всемогущие чиновники эм-вэ-дэ, не можем достать циана в столице?

— Нельзя здесь! Вызовет подозрения...

Вскоре он доложил, что яд прибыл. Хвостов спросил:

— А как вы мыслите забабахать его в бутылки?

— Распутин получает мадеру от евреев, с которыми снюхался. Я решил отравить мадеру от Митьки Рубинштейна... Заодно уж я испорчу биографию этому банкиру, которого терпеть не могу!

— Я тоже. Работайте, — воодушевил его министр.

Но через день Белецкий сказал:

— Нельзя травить мадеру от Митьки! Распутин, получив ящик с вином, наверняка позвонит Митьке по телефону, чтобы поблагодарить за подношение. А тот скажет: «Какая мадера? Я не посылал...» — и наш отличный план сразу же рухнет.

— Так что вы предлагаете? Пусть Гришка живет?

— Я сам, — отвечал Белецкий, — подсыплю ему яду...

Далее он живописал, что на кухне МВД давно крутится приبلудный кот-бродяга, и он сегодня дал коту яд, а этот кот страшно вертелся, помирая, и Хвостов был очень доволен рассказом.

— Вот и Гришка... завертится, как этот кот.

Белецкий позже показал: «Свидания наши с Распутиным на конспиративной квартире продолжались, но А. Н. Хвостов начал часто уходить в соседнюю комнату под видом отдыха, прося меня говорить с Распутиным по поводу его кандидатуры на пост председателя Совета (министров), с сохранением портфеля МВД, и в целях проверки меня настолько подозрительно громко храпел, что Распутин заметил притворство А. Н. Хвостова, и мне на это он указал...» Волк волку — не товарищ, но волки всегда живут среди волков!

* * *

В канун покушения Белецкий спрашивал Хвостова:

— Может, подождем с отравлением Гришки? Пусть он сначала проведет вас в премьеры, а тогда уж мы его закопаем поглубже.

Хвостов отвечал страстно:

— Сначала труп, а потом премьерство!

Белецкий сам принес мадеру на Гороховую. «Сегодня угощаю я», — сказал он Распутину; здесь уже сидел Побирושка, участвуя в общем

разговоре. Хвостов был бы очень доволен, если бы увидел, как его «товарищ» налил Распутину полную рюмку отравленного вина. Но Хвостов был бы немало удивлен, когда Белецкий того же самого винца налил и... Побирушке. Наконец, Хвостов на стенку бы полез, если бы увидел, что Белецкий плеснул вина с ядом и... себе!

— Ваше здоровье, господа, — сказал Степан.

Дружно выпили. Распутин оживился:

— А мадера — первый сорт. Где взял?

Побирушка при этом прочел Гришке лекцию на тему, как делают мадеру на острове Мадера, после чего «отравились» вторично.

— Ну, мне надо идти, — заторопился Белецкий.

— Да посиди, — уговаривал Распутин.

— Некогда. И жена жалуется, что дома не бываю...

В прихожей, где стояли миски для кормления распутинских кошек, Белецкий насыпал в молоко порошок белого цвета (кажется, это был фенацетин). Побирушка вскоре тоже покинул Распутину, который в одиночестве употребил шесть бутылок мадеры, отравленной, по мнению Хвостова, цианистым калием.

Кончилось все это ужасно — вбежала Нюрка.

— Дядь Гриша, гляди-кось, кошки у нас не ворочаются.

— Как не ворочаются? Кис-кис-кис, — позвал он.

— Полакали молочка и легли себе...

Распутин с матюгами бралдохлых кошек за хвосты, рядом укладывал их на диване — черных, белых, рыжих и серых.

— Мои любимые кисаньки. Отыгрались вы, роди-ма-аи...

О кошачьей погибели он оповестил Сухомлинову.

— А кто у тебя был сегодня? — спросила она.

— Да все порядочные люди! Белецкий — так не станет же он травить моих кисок, на што ему? Ну, и Побирушка был.

— Вот он и отравил, — сказала Сухомлинова.

— Да какая ему выгода сдохлых кошек?

— Ах, Григорий, как ты не понимаешь! Этот негодяй принес яд, чтобы подсыпать тебе. Но присутствие Белецкого помешало ему свершить гнусное злодейство, и тогда он решил отравить кошек, зная, какую глубокую сердечную рану это тебе нанесет...

Логично! Распутин с плачем звонил Вырубовой.

— Побирушка, гад, кисок сгубил. Ну, держись...

Ночью Побирушка был арестован... Белецким!

— По указу ея императорского величества, — объявил он, — вы, князь Андронников, ссылаетесь из Петрограда в Рязань.

— А за что? — обалдел тот, ничего не понимая...

Колеса закрутились — поехал! Таким образом, Побирушке на себе довелось испытать, что значит в чужом пиру похмелье. В семнадцатом году он дал чистосердечные показания. «Меня особенно возмущало, что меня приплели в эту историю, будто я отправил на тот свет распутинских кошек...» Подлаживаясь под характер революции, Побирушка уверял судей, что является всего-навсего «жертвой гнусного режима угнетения малых народностей» (он был гибрид от связи потомка кахетинских царей с курляндско-немецкой баронессой).

* * *

Хвостов, свирепея, спустился в подвалы обширной кухни МВД.

— Говорят, у вас кот недавно помер? — спросил министр.

— Кис-кис-кис, — позвал мальчишка-мясорез.

Хвостову предъявили кота — ершистого, желтоглазого.

— И давно он у вас на кухне?

— Почитай, с прошлой осени. Как приبلудился, так и не выжить.

А зовут его превосходительство — Ерофеич!

— Сволочь, — сказал Хвостов.

— Это верно. Стоит отвернуться, как обязательно печенку в окно сдует — и поминай как звали...

Хвостов повернул на выход из кухонь.

— Я не о коте — я об одном своем товарище!

6. Ахтунг — Штюрмер!

Питирим влезал в политику, как вор-домушник влезает в чужое жилище через чердачное окошко. Он явился на квартиру Родзянки.

— Почтеннейший старец Горемыкин, — сказал он, — протянет недолго. Я думаю, место его займет... Штюрмер.

— Тоже почтеннейший? — съязвил Родзянко.

В обществе упорно держались слухи, что Горемыкин, уже «набивший руку на закрывании Думы», желает нанести парламенту последний решающий удар. Этот вопрос — быть Думе или не быть? — волновал умы и союзных послов. «Надо было, — писал Родзянко, — придумать что-либо, чтобы рассеять эти слухи, поднять настроение в стране и успокоить общество. Необходимо было, как я считал, *убедить государя посетить Думу...*»

— Одного старца, — ворчал Родзянко, — заменяют другим. Горемыкин хоть был русский дворянин, а Штюрмер таскает такую фамилию, которая невольно оскорбляет слух каждого россиянина.

Питирим быстро сказал:

— Фамилия — ерунда! Штюрмера сделают Паниным.

— Опять нелепость. Саблер стал Десятовским, Ирман — Ирмановым, Гурлянд — Гурьевым... Кого хотят обмануть? А вы, — закончил Родзянко, — ставленник грязного Гришки Распутина и ведете нечистую игру... Я не желаю вас видеть. Уходите прочь, владыка!

* * *

Хвостов говорил: «Штюрмер пришел (к власти) с фирмой определенной и ясной. Мне хотелось, кроме фирмы, каких-либо доказательств принадлежности его к немецкой или иудейской партии... Прежде, говорят, он был вхож к немецкому послу!» Штюрмер создал в обществе легенду, будто его дед был австрийским комиссаром на

острове Святой Елены во время пребывания там Наполеона; согласно второй легенде, которую он тоже поддерживал, его происхождение шло от канонизированной в православии Анны Кашинской, — ахинея, какую трудно придумать. Но в синагогах хорошо знали подлинную родословную Штюрмера... Образовался мощный толкач, подпиравший Штюрмера, чтобы он не падал: от Распутина до царицы, от сионистского кагала до православного Синода! Многим уже тогда было ясно, что Штюрмер станет только премьером, но управлять делами будет Манасевич-Мануйлов. Союзные посольства Антанты спешно собирали материалы о Штюрмере, заодно подшивались дела и на «русского Рокамболя». Впрочем, посольство Франции уже давно имело Ванечку в числе своих тайных осведомителей. Ванечка для Палеолога был даже интересен, как «странная смесь Панурга, Жиль Блаза, Казановы, Робера Макэра и Видока, а вообще — милейший человек!».

Сегодня заявился он — осанист и напомажен.

— Чего может ожидать страна со ставосьмидесятимиллионным населением от правления Штюрмера? — спросил его посол.

— Трудно сказать что-либо определенное, но Штюрмер мечтает воскресить славные времена Нессельроде и Горчакова.

— Этих имен, — отвечал Палеолог, — никогда нельзя объединять. Они как противоположные полюса. Нессельроде шел на поводу венского кабинета Меттерниха, а князь Горчаков, разрушив систему Нессельроде, подготовил Россию к союзу с Францией...

— Существует немало способов оставить глубокий след в истории, — невозмутимо высказал Ванечка. — Нужно ли говорить, как этого желаю я? Поверьте, Россия сейчас на правильном пути.

Конечно, во французском посольстве Манасевич умолчал о том, что Штюрмер — вор и жулик. Но жулик проснулся в нем самом, когда он, глянув на часы, стал прощаться с графом Палеологом.

— На всякий случай запомните — если вам что-либо понадобится, обращайтесь ко мне, а мне Штюрмер ни в чем не откажет...

Палеолог записал: «Долго не забуду выражение его глаз в эту минуту, его взгляда, увертливого и жестокого, циничного и хитрого. Я видел перед собой олицетворение всей мерзости охранного отделения». Палеолог попросил секретаря принести из архивов

секретное досье на того же Ванечку. Там была отражена одна слишком интимная деталь его биографии: в 1905 году он — выкрест! — был одним из организаторов еврейских погромов в Киеве и Одессе...

Палеолог не мог при этом не рассмеяться:

— А вообще — милейший человек! С ним забавно...

* * *

Горемыкину исполнилось 87 лет, Штюмеру — уже 67, а Хвостову стукнуло 43 годочка, отчего в Царском Селе его сочли слишком «молоденьким»; премьерства он не получит, а Штюмер, выпестованный в канцеляриях Плеве, отлично сознавал всеобъемлющую силу аппарата МВД, и вряд ли он удовольствуется одним только премьерством («Нет, — размышлял Степан Белецкий, — наложит он лапу и на портфель Хвостова...»).

Белецкий осторожно переговорил с Ванечкой:

— Как ты думаешь, кто свернет шею раньше?

— Штюмер тих и вьедлив, а Хвостов — трепач.

— Верно, что служенье муз не терпит суеты, как писал наш великий поэт Некрасов... Особенно это относится к эм-вэ-дэ!

— Какой еще Некрасов! Это же Пушкин, — поправил его Манасевич, не понимавший, как можно служить в МВД без суеты.

— Плевать на обоих, важно другое. Передай Борису Владимировичу, что я буду информировать его о делах... Хвостова.

Ванечка сообщил Белецкому, что Питирим на днях выезжает в Ставку — везет речь, которую и произнесет царю, о том, что лучше Штюмера еще не бывало человека на свете. Белецкий распорядился, чтобы для Питирима и его «жены» дали отдельный вагон, назначил жандармов для сопровождения владыки. Через несколько дней Манасевич-Мануйлов известил его по телефону:

— Все в порядке! Смена премьера произойдет по возвращении государя из Ставки в Царское Село...

Белецкий поехал на Моховую — к Горемыкиным, чтобы пронюхать обстановку, и Горемыкин сказал, что недавно видел

государя:

— И он меня так лобызал, так он меня лобызал...

Ну, если царь кого лобызал, тому — крышка!

* * *

«Мой родной, — писала царица мужу, — опять тепло и идет снег. Сегодня именины нашего Друга. Я рада, что благодаря принятым мерам все в Москве и Петрограде прошло спокойно и забастовщики вели себя прилично (здесь она намекала мужу на кровавый „юбилей 9 января“). Слава богу, видна разница между Белецким и Джунковским...» Николай II заранее предупредил ее, что назначение Штюрмера произведет в стране впечатление «громового удара». Она утешала его, что поболтают, а потом привыкнут к немецкой фамилии. Распутин вообще был против изменения «Штюрмера» на «Панина»:

— Что брито, что стрижено — какая разница? А старикашка ничего. Мы с ним поцеловались... Он даже заплакал.

На радостях, что все так хорошо, Распутин принес со своего стола бутылку мадеры. Из кармана затхлых штанов он извлек сильно измятый ландыш и сунул его в руку императрицы.

— Вот, понюхай... — К ландышу он приложил корку черствого хлеба. — А это — папашке! Перешли с мадерцей и корочку, чтобы закусил, когда выпьет. Я энти предметы благословил...

С выражением восторженного благолепия Алиса и Вырубова приложились к бутылке, сделав из нее по глоточку, будто это святое причастие. Царица захлопнула бутылку пробкой: срочно — в Ставку! «...Вылей в стакан, — наказывала она мужу, — и выпей разом за Его здоровье. Ландыш и корочка также от Него, мой милый ангел. Говорят, у Него перебивала масса народу, и Он был прекрасен». Телеграф Ставки отстучал решительный и мужественный ответ самодержца: «Я выпил вино прямо из бутылки за Его здоровье и благополучие. Выпил все — до последней капли» (через горлышко; жаль, что при этом он не стоял в подворотне!). Штюрмер заступил на пост премьер-министра 20 января 1916 года. Белецкий не ошибся в своих догадках — Штюрмер сразу

вызвал Степана к себе, обласкал, как мог, и просил держать его в курсе относительно всех дел «хвостовщины».

— Хвостов слишком молод... мальчишка! Кстати, — спросил он, — а сколько вы дали *вступных* Распутину и Осипенке?

Белецкий сознался: Гришке побольше, Осипенке поменьше.

— Дайте им от моего имени еще по две тысячи! («Ой как жидко для них», — подумал Степан.) А теперь я хотел бы сделать что-либо приятное моему другу и сподвижнику Манасевичу-Мануйлову. Это такой удивительный человек, что от денег отказывается...

— ?

— Да, — разливался Штюрмер, — Манасевич вместо денег желал бы ведать моей премьерской канцелярией...

Ванечка уже полностью покорила Осипенко своим апломбом и знанием парижской кухни, а Питирим, угождая капризам своей «жены», даже не подозревал, что отныне исполняет волю Манасевича. Одной канцелярии Штюрмера ему показалось мало — он смело вторгся в дела Распутина, решив придать им некоторый оттенок государственности. На Гороховой появились аксессуары бюрократизма — пишущая машинка и кудрявая машинистка. Сунув отогнутый палец в кармашек жилета, Ванечка с важным видом статс-секретаря империи диктовал бумаги, угодные Штюрмеру и Питириму (точнее — самому Ванечке!), после чего тексты попадали в спальню Распутина, вверху каждой бумаги Гришка ставил знак «+». Он называл это «крестом Иисусовым», а Ванечка, как материалист, именовал «плюсом». Проплюсованные бумаги Нюрка тащила в автомобиль, который доставлял их в Царское Село, оттуда курьеры везли их дальше — в Ставку...

Распутину канцелярщина пришлась по вкусу.

— Мусолиться не надо. Крест поставил — и гуляй себе...

В один из дней Ванечка конфиденциально сообщил Белецкому, что «Штюрмер не считает А. Н. Хвостова отвечающим занимаемому им положению министра и с каждым днем убеждается в необходимости... сосредоточить, по примеру Столыпина, в своих руках и власть министра внутренних дел». Теперь Белецкому, чтобы добыть престол министра, надо валить в могилу не только Хвостова, но и... Штюрмера? «Сын народа» уже сточил себе зубы, яростно подгрызая ножки кресла, в котором нежился его тучный визирь.... Сейчас, как

никогда, Белецкому был нужен крупный просчет Хвостова! В «желтом доме» на Фонтанке уже вскипали, булькая зловонными пузырями, такие поганые помои, от которых даже свинья бы отвернулась.

* * *

Горемыкин исправно демонстрировал свое геройское равнодушие к делам на фронте: «Война меня не касается», — всюду вещал он... Штюрмер, напротив, из кожи лез вон, дабы убедить окружающих, как ему близки страдания воюющей Родины. На военных совещаниях он, словно гимназист на уроке, тянул руку: «Позвольте и мне высказать свое мнение?» Поливанов с презрением разрешал: «Пожалуйста! Один ум хорошо, а полтора еще лучше...» Штюрмер был явный германofil (не вынужденный, как Дурново, а убежденный, как Витте), о чем в Берлине хорошо знали. Возвышение его кайзер расценил правильно — как предлог для переговоров о мире.^[21]

Первое, что сделал Штюрмер, заняв высокий пост, это... посеял секретные коды, а потом долго скрывал их пропажу. Факт ужасающий — русская армия, русский флот и русская дипломатия продолжали пользоваться шифрами, местонахождение которых было неизвестно. Потом Штюрмер начал перепахивать завалы бумаг на своем рабочем столе. «Помню, коды вот тут лежали... Лидочка, ты не брала их?» Никитина с возмущением отвернулась. Я не поручусь за Штюрмера, не поручусь и за эту фрейлину с накрашенными губами. Как бы то ни было, а дело споровено. Кем — не знаю! А смена кодов даже в мирное время обходится государству в бешеные суммы...

После истории с отравлением кошек Хвостов уже не доверялся Белецкому, решил действовать без него и вспомнил:

— Боже праведный, а ведь я совсем забыл об Илиодоре! — Он вызвал в кабинет секретаря Яблонского. — Мне нужен заграничный адрес Сергея Труфанова и... Борька Ржевский.

Разговор прервал телефонный звонок от Штюрмера:

— Передаю вам, Алексей Николаич, волю ея величества — отныне Распутина следует охранять как высочайшую особу...

Хвостов, повесив трубку, сболтнул Яблонскому:

— Эту «высочайшую особу» я сейчас ухайдакаю...

В ближайшее свидание с министром царица напомнила ему, что Распутина следует беречь «как особу императорской фамилии». Желтые рысьи глазки Хвостова блеснули юмором.

— Конечно! — сказал он. — Но прошу ваше императорское величество выдать мне указание об этом в письменном виде...

Алиса фыркнула, но такой «справки» ему не дала!

7. Хвост в капкане

Сергея Труфанов, бывший Илиодор, на птичьих правах проживал в норвежской Христиании, (в нынешнем Осло). Сейчас он был озабочен изданием своих мемуаров. По сути дела, Труфанов создал книгу не пером — привычно взял квач, окунул его в деготь и вымазал похабную рожу Распутина, не пощадив при этом и царя с царицей. Надежд на возвращение в Россию не было, а для оседлой жизни за границей нужно продать мемуары как можно выгоднее... Его навестил заокеанский издатель журнала «American Magazine», который недавно купил у Илиодора для публикации интимные письма императрицы.

— Сколько вы хотите за вашу книгу? — спросил он.

Ответ был обдуман заранее:

— Два миллиона долларов и паспорт гражданина США...

— Слов нет, ваши записки о Распутине стоят двух миллионов. Но только не наших долларов, а... русских копеек. Насколько я понял, ваш герой Распутин вышел из небогатых сибирских фермеров. Не дурак выпить. Нравов далеко не пуританских. Боюсь, что этого наш здравый американский читатель не поймет.

— Чего не поймет ваш здравый читатель?

— Не поймет, за какие достоинства Распутин пришел к управлению министрами и почему он стал близок царской семье.

— Как же вы не разобрались! Да спросите любого русского, кто ему всего гаже и ненавистнее, и любой ответит — Распутин!

— Согласны дать вам одну тысячу долларов за... сборник веселых русских анекдотов, в которых героем является Распутин. Ваша книга «Святой черт» не лишена живости, наш читатель посмеется.

— Мы, русские, плачем! — воскликнул Труфанов.

— Плачьте. А мы будем смеяться.

— Ну, хоть один миллион! — взмолился автор.

— Ни центом больше...

В дело о покупке мемуаров о Распутине вступился знаменитый автомобильный Форд, предложивший Труфанову восемь тысяч долларов. В убогом жилище бывшего иеромонаха толкались разные пресс-агенты. Желая выкачать из книги непременно два миллиона,

Труфанов решил расторгнуть «Святого черта» по частям, отрезая по куску всем, кто ни попросит... В разгар купли-продажи пришло письмо из России — от Хвостова: министр просил никому не продавать мемуаров, ибо русское МВД согласно купить их за любую сумму! Хвостов вовремя вспомнил об Илиодоре. С помощью его мемуаров можно как следует пошантажировать Царское Село — это раз! С помощью же самого автора мемуаров можно убить Распутина — это два! Сейчас главное — сосвататься с Илиодором, и «сват» уже имеется: это бравший у него интервью журналист Борька Ржевский...

— Садись, бродяга, — сказал ему Хвостов и начал выгружать на стол пачки денег. — Это тебе... тебе... тебе, сукину сыну! — Заметив на лбу журналиста пять глубоких царапин, идущих вдоль лица одна к другой, словно четкие линии в хорошей гравюре большого мастера, он спросил: — Боречка, кто это тебя так?

— Неудачно наступил на кошку.

— Как зовут? — спросил Хвостов.

— Кого?

— Ну, эту... кошку.

— Галина, — сознался Ржевский.

Министр начал издали своим певучим баритоном:

— Понимаешь, куда ни поеду, куда ни пойду, везде вляпаюсь в Гришку. Надоел, прохвост! Никак не отвязаться... Своих забот полон рот. А он барышню шлет с запиской: помоги бедненькой. Ну, дашь сотенную. Еще записка. На храм просит. Даю на храм. Теперь возмечтал он на вокзале в Тюмени создать общественный нужник — вроде Акрополя с колоннами! Дабы тюменский мещанин Забердяев, присев для отдыха, думал: сию не где-нибудь, а в нужнике имени знаменитого Григория Распутина... Честолюбие непомерное!

Прелюдия закончилась. Пора к делу.

— Ладно, — сказал Хвостов, — скоро все это кончится. Сейчас оформим тебе поездку якобы от Суворинского клуба... за шведской мебелью. Под таким видом из Швеции махнешь в Христианию, где живет Илиодор, и скажешь ему от моего имени, чтобы поднимал на ноги своих царицынских громил. Отвезешь ему талон на сто тысяч... золотом! Убийство произойдет с той стороны, с какой его никто не ожидает. По зигзагу: Петроград — Христиания — Царицын!

Хвостов держал при себе Ржевского на роли информатора о настроениях той литературной слякоти, что вечерами толпилась возле буфетной стойки Суворинского клуба (даже швейцары не считали этих господ писателями, называя их «шушерой»). Хвостов платил Борьке аккордно. Зато Белецкий платил ему постоянно — по шесть тысяч рублей, и Ржевский не всегда понимал, за что ему платят... Но в авантюру заговора мгновенно подключились другие силы!

* * *

Инженер Гейне официально числился как «специалист клубного дела» (это и понятно, ибо он прошел выучку в притонах мафии Симановича). Сейчас он звонил в квартиру дома № 45/7 по улице Жуковского; дверь открыла Галина с громадным синяком под глазом.

— Душечка, что с вами? — спросил инженер.

— Неудачно взяла аккорд на гитаре... ерунда!

— Боренька дома?

— Ушлялся... марафету ищет понюхать.

Ржевский скоро явился в немалом возбуждении, молча вытряхивал из карманов пачку за пачкой — деньги, деньги, деньги.

— Ого! — сказала Галина. — Никак выиграл?

— Я выиграл судьбу... Вся жизнь впереди!

Галина, дама очень сообразительная, сразу раскрыла свой потрепанный ридикюль, сгребла в него деньги, деньги, деньги.

— Постой, — остановил ее сожитель. — Чего это ты так заторопилась? Допусти на одну минуту, что это деньги казенные.

— Какие б ни были, но пропить их не дам!

Буквально через секунду Гейне оказался в самом центре бурного извержения семейных страстей. Незаконные сожители умудрились каким-то непостижимым образом разбить даже люстру под потолком, и бедный инженер был осыпан, как горохом, осколками стеклянных бусин. Гейне в страхе забился под диван, но в тот же момент ножки дивана подкосились, и Гейне испытал примерно то, что испытывали русские князья, когда на них пировали Мамаевы ханы. Драка в стиле

бравурного крещендо продолжалась уже поверх дивана, при этом Галина, которую Борька душил за глотку, орала:

— Инженер, мать твою так, где же ты? Разве не видишь, что несчастную женщину на твоих глазах убивают...

Потасовка кончилась удивительно мягко и лирично. Из шестидесяти тысяч хвостовского аванса пять тысяч попали в карман Гейне, успевшего подхватить их с полу. Тысяч около сорока отвоевал себе Ржевский, остальные взяла Галина, которая и закрыла дверь за мужчинами.

— Я тебя еще выведу на чистую воду! — выпалила она. — Не побоюсь сказать при образованном человеке (это она о Гейне), что я дура, что с таким поганым «бобром» связалась...

Инженер с журналистом выкатились на улицу.

— Видишь, какая у меня жизнь, — сказал Боря.

— Послушай, а откуда у тебя столько денег?

Ржевский нашептал по секрету, что Хвостов задумал непременно покончить с Распутиным, но никому уже не доверяет, и потому давить Гришку должны царицынские громилы Илиодора.

— Еду, брат, в Христианию... от Суворинского клуба.

— Ну, поздравляю! — сказал на это Гейне; проводив Ржевского до игорного клуба, он сразу же позвонил на квартиру Симановича: — Аарон, надо срочно спасать нашего друга Григория...

Симанович велел инженеру отправляться обратно на Жуковскую и заблокировать в квартире Галину, выпытав у нее все, что она знает о Борьке. Затем Симанович созвонился с правлением «Франко-Русского банка», вызвав к телефону директора — Митьку Рубинштейна. Банкир, грудью вставая на защиту Распутина, впредь ни под какие проценты (!) не оплачивал счетов, на которых было написано: «По приказу мин-ра вн. дел»! Таким образом, сионисты сразу перекрыли для Хвостова шлюзы, ведущие к денежным фондам... Где-то на бегу Симанович перехватил Манасевича-Мануйлова.

— На нашего друга замышляется убийство.

— Старо, как мир.

— На этот раз очень ново! Григория я уже предупредил, чтобы, пока все не выяснится, на улицу не высывался...

Из рассказа ювелира Ванечка понял, что Хвостов, используя мемуары Илиодора, хотел бы устроить небывалый скандал, замешав в него императрицу, дабы потом у царской семьи не стало смелости держать Распутина в столице. Хвостов в мемуарах Илиодора видел некий талисман, могущий избавить страну от Распутина, но вслед за падением Распутина последует падение с Олимпа всех богов земных — заодно со Штюрмером кувыркнется и он, Ванечка! Манасевич срочно информировал о заговоре Штюрмера, на что тот отвечал: «Это фантазия... Вероятно, какие-нибудь жидовские происки и шантаж против Хвостова, который ненавидит жидов...» Ванечка никак не ожидал, что Штюрмер снимет трубку и позвонит самому Хвостову:

— Алексей Николаич, а какие у вас альянсы с Илиодором?

Ответ Хвостова был крайне неожиданным:

— Ежемесячно я выплачиваю ему по пять тысяч.

— За что? — спросил глава государства.

— За то, чтобы он не печатал своих мемуаров.

— Безобразие — швырять казенные деньги в печку.

— А хорошо горят, — отвечал Хвостов. — А чтобы вам стало жарче, я сообщаю: немцы тоже замешаны в покупке мемуаров.

— Так и пускай тратят свою валюту!

— Вижу, что вам еще не жарко, — засмеялся Хвостов. — Тогда подкину дровишек... Немцы хотят выбрать из книги Илиодора самые похабные места, фрагменты будут отпечатаны на листовках, которые разбросают с аэропланов над позициями наших войск. Ну, как?

Штюрмер повесил трубку, посмотрел на Манасевича.

— Хвостов... пьян, — сказал он. — Сегодня я ночью на даче Анны Александровны и скажу ей в глаза, что дальше никак нельзя терпеть, чтобы во главе эм-вэ-дэ стоял этот... гопник!

Манасевич завел свой «бенц» на восьми цилиндрах.

— Поехали к Галочке, — сказал Симановичу.

По дороге купили букет фиалок — все-таки дама!

— Этим бы букетом — да по морде ее, по морде...

Галину сторожил Гейне; женщина хвасталась, что знает Борьку как облупленного, но... не выдала. В таком деле нужен человек более опытный, вроде Ванечки; он присмотрелся к квартире, увидел немало добра, какого с писания статей в газете не наживешь, и вдруг ему стало... дурно!

— Извините, — сказал, — где у вас ванна?

Закрывшись в ванной, моментально обнаружил тайник, в котором лежало немало денег, спичечный коробочек с необработанными алмазами и много огнестрельного оружия. Ванечка сказал Галине:

— Чутьочку стало легче. Знаете, у меня диабет. Маленький сахарный заводик по обслуживанию одной персоны... Кстати, нужны ли вам карточки на сахар? Могу. А отчего я вас раньше не видел? Вы так шикарны, мадам... Поверьте, этот очаровательный синяк даже идет вам. Он напоминает мне солнечное пятно с картин французских импрессионистов... Ах, Париж, Париж! Где ты?..

Между болтовней он ловко выудил из Галины, что Борька Ржевский как уполномоченный Красного Креста торгует на вокзалах столицы правом внеочередной отправки вагонов. Если фронту позарез нужны гаубицы, то фронт может подождать — вагоны отдавались под шоколад фирмы Жоржа Бормана! Ванечка поцеловал Галине ручку.

— Мадам, вы произвели на меня впечатление...

Не отпуская от себя Симановича, он поехал на квартиру к Степану Белецкому, который прижал палец к губам, давая понять, что имя Распутина в его доме не произносится. Вкратце Манасевич обрисовал положение с замыслами министра: Хвостов сам залезал в капкан! Все эти дни шел перезвон между Белецким и царицей, между Вырубовой и Распутиным, который боялся выставить нос на улицу. Наконец внутренняя агентура доложила, что Ржевский берет в полиции фиктивный паспорт на имя Артемьева, и Белецкий почувствовал себя стоящим у финиша... Притопывая ногой и прищелкивая пальцами, он позвонил на станцию Белоостров, оттуда ему ответили, что граница Российской империи слушает.

— Вот что, — сказал в телефон Белецкий, — позовите-ка к аппарату начальника погрантаможзаставы станции Белоостров.

— Полковник Тюфяев у аппарата, — доложили ему.

— Это ты, Владимир Александрыч? Здравствуй, полковник... Ну, как у вас там? Снегу за ночь много навалило?

— По пояс. Сейчас на перроне дворники сгребают.

— У меня к тебе дело... Есть такой Ржевский, нововременец и почетный банкомет Суворинского клуба, кокаинист отчаянный! Сейчас смазывает пятки. Когда появится в Белоострове, ты...

Белоостров. Все граждане империи трясут здесь свои чемоданы, предъявляют документы, чтобы (в преддверии зарубежной жизни) проехать в пределы Великого Княжества Финляндского... Ржевский решительным шагом мужчины, знающего, что ему нужно, отправился в станционный буфет. В дверях зала ожидания он грудь в грудь напоролся на осанистого жандарма (это был Тюфяев). Полковник, недолго думая, громадным сапожищем придавил носок писательского штиблета. Ржевский заорал от боли. Последовал официальный запрос:

— Какое вы имеете право орать на полковника корпуса погранохраны, находящегося при исполнении служебных обязанностей?

На официальный вопрос последовал болезненный ответ:

— Вам бы так! Вы ж мне на ногу...

— По какому праву осмеливаетесь делать замечания?

— Вы на ногу...

— Прекратите безобразить, — отвечал Тюфяев. — Господа, — обратился он к публике (среди которой были переодетые филеры), — прошу пройти для писания протокола об оскорблении.

— Мне в буфет надо. Вы же мне сами на ногу...

— Ничего не знаю. Пройдемте...

Ржевского втянули на второй этаж вокзала, где размещался штаб жандармской службы. Тюфяев позвонил Белецкому и сказал, что фрукт уже в корзине, с чем его шамать? Белецкий из Петрограда велел Тюфяеву заставить Ржевского разболтаться, а протокол о задержании переслать ему. Тюфяев взял у Боречки паспорт.

— Бумажка-то липовая, господин... Артемьев?

Ржевский решил запугать Тюфяева именем Хвостова.

— Смотри! — показал свои бумаги. — Кем подписано?..

В ответ получил по зубам и заплакал. Из подкладки его шубы опытные таможенники выпороли секретное письмо Хвостова к Илиодору. Потом, грубо третируя близость журналиста к МВД, Ржевского стали избивать. Он кричал только одно: «Кокаину мне!

Кокаину...» Тюфяев снова оповестил Белецкого, что «протокол составлен».

— Ржевский сознался, что едет от Хвостова?

— Все размолотил. У меня пять страниц.

Хвост министра уже прищемлен в капкане, а теперь, дабы усугубить его вину перед Царским Селом, Белецкий велел Тюфяеву:

— Пропусти Ржевского со всеми деньгами и письмами за границу.

А когда будет возвращаться — арестовать...

Распутин был извещен им о заговоре.

— Хвостов — убийца, а ты, Степа, — друг, век того не забуду! Я царице скажу, какого змия на груди своей мы сами вырастили... Все министры — жулье страшное! Что унутренний, что наружный, что просвещенный, что по финансам, — их, бесов, надо в пястке зажать и не выпускать, иначе они совсем у меня избалуются...

8. Когда отдыхают мозги

Если дрова не колоть, их можно ломать. Разъярясь окончательно, Хвостов арестовал Симановича, которого доставили в охранное отделение, где его поджидал сам министр в замызганном пальтишке и демократической кепочке — набекрень. Ювелира запихнули в камеру, и в приятной беседе без свидетелей Хвостов бил его в морду.

— Ты передавал в Царское письма Штюрмера и Питирима? Отвечай, что еще задумала ваша шайка? Какие у тебя связи с Белецким?..

Шестнадцать суток аферист высидел в секретной камере МВД на воде и хлебе, но не скучал, ибо знал, что хвостовщина обречена на поражение, а Распутин вскоре станет велик и всемогущ, как никогда. Шима Симанович, старший сынок его, надел мундир студента-технолога, поехал в Царское Село. Вырубова провела его к императрице. Выслушав рассказ проворного студента, как его папочку уволокли агенты Хвостова, Алиса глупейше воскликнула:

— Это уже революция! Хвостов — предатель.

— С жиру взбесился, — уточнила Вырубова.

Штюрмер названивал на Фонтанку — к Хвостову:

— Не вешайте трубку! Куда делся Симанович?

— Хам с ним... воздух чище.

Штюрмер говорил Манасевичу-Мануйлову:

— Невозможно разговаривать... Он опять пьян!

Хвостов был трезв. Симанович уже ехал в Нарым, а галдящий табор его ближайших и дальних родственников изгонялся из столицы без права проживания в крупных городах. Манасевич тоже видел себя в зеркале со свернутой шеей... Обычно он беседовал с премьером от 6 до 8 часов утра («потом я его видел в 4 и в 5 часов. Это был совершенно конченный человек, он при мне засыпал несколько раз... Он как-то умственно очень понизился, но это был очень хитрый человек!»). Ванечка позвонил в Петропавловскую крепость — Лидочке Никитиной, чтобы приехала со шприцем и морфием. После инъекции Штюрмер малость прояснился в сознании.

— Ржевский, — доложил ему Ванечка, — уже арестован, а Хвостов, кажется, избивает его в своем кабинете, потом передаст Степану Белецкому, а тот выкинет какой-нибудь неожиданный фортель!

— Так что же мне делать? — спросил Штюрмер.

— Забирайте портфель внутренних дел.

— Но там же Степан Белецкий... он тоже...

— Да ну его к черту! — обозлился Ванечка.

Утром 7 февраля состоялась завершающая эту историю встреча министра и товарища министра — Хвостова с Белецким.

— Итак, — сказал министр, — при аресте Ржевского было обнаружено мое письмо. Естественный вопрос: где оно?

Белецкий пошел на разрыв.

— Если мне не изменяет память, в молодости вы были прокурором («Да, вы изучили мою биографию», — вставил Хвостов, чиркая спички), и вы, таким образом, знаете, что в местностях на военном положении жандармы обладают правами судебных следователей...

— Жандармы? — сказал Хвостов, забавляясь игрой огня. — Но я ведь не только министр, я еще и шеф корпуса жандармов его величества. Итак, вторично спрашиваю — где мое письмо?

— Подшили к делу.

— Ах, портняжка! Чей лапсердак вы шьете?

— Шьем самое примитивное дело: о преступлениях Ржевского на товарных станциях столицы и взятках, которые он брал.

— Вот куда я влип! Но мое-то письмо зачем вам?

— До свиданья, — сказал Белецкий, хлопая дверью...

На прощание Хвостов тоже решил трахнуть дверьми министерства внутренних дел с такой силой, чтобы в Царском Селе вздрогнули все бабы. Одним махом он убрал с Гороховой охрану, что насмерть перепугало Распутина, и он скрылся (по некоторым сведениям, варнак эти дни прятался на даче у Вырубовой).

— Мои мозги здесь отдыхают, — часто говорил в Ставке царь, и это правда, ибо всю работу за него проводили генералы, а делами империи занималась жена... Николай II проживал в доме могилевского губернатора. На первом этаже размещалась охрана, вежливо, но твердо предлагавшая всем проходящим сдать огнестрельное и холодное оружие. В один из дней к дому подкатил автомобиль, за рулем которого сидела красивая женщина, одетая в дорогие серебристые меха. Следом за мотором скакала на рысях сотня Дикой дивизии — отчаянных головорезов в драных черкесках, обвешанных оружием времен Шамиля. Из кабины легко выпрыгнул худосочный генерал в бешмете, с кинжалом у пояса. При входе в дом его задержали.

— Будьте любезны, сдайте кинжал и револьвер.

— Прочь руки! Я брат царя — великий князь Михаил...

Да, это был Мишка, которого на время войны брат-царь келейно простил; теперь он командовал необузданной Дикой дивизией, наводившей ужас на немецкую кавалерию. Братья скупно облобызались. Михаил сбросил лохматую папаху, показал на заиндевелое окно:

— Наталья в моторе. Можно ей подняться сюда?

Николай II расправил рыжеватые усы.

— Дд-а-а... Но лучше пусть едет в гостиницу.

— Но так же нельзя! Пойми, что я люблю эту женщину. Если ты боишься Аликс, так я обещаю не проговориться об этом визите.

Император круто изменил тему разговора:

— Как дивизия? Джигиты не мародерствуют?

— Да нет, не очень... А ты постарел. Говорят, вдали от Аликс крепко попиваешь? Смотри, какие мешки под глазами.

— Пью не больше, чем другие. У меня много неприятностей, — сознался царь. — Не только фронтовых, но и внутренних.

Автомобиль с Натальей тронулся по заснеженной улице Могилева в сторону вокзала, за ним с воем и визгом поскакала «дикая» конвойная сотня. Михаил сказал брату, что надо гнать Распутина.

— Я не вмешиваюсь в твои личные дела (хоть ты не стыдишься вмешиваться в мои), но послушай, что говорят в народе... Даже мои джигиты уже понимают, что добром это не кончится, и среди них появились большевики. Война ведется глупо и неумело. В тылу у тебя — бестолочь, разруха. Поезда не столько едут, сколько простаивают на

разъездах. Надо ввести карточную систему на все продукты, как это сделано у Вилли. А у нас один обжирается в три горла, а другой не знает, где ему купить хлеба...

— Мне все это знакомо, — отвечал царь.

— Так делай что-нибудь! Это раньше Распутин был лишь анекдотом, а теперь это уже громадная язва, от нее надо избавиться.

— Миша, ты ничего не понимаешь.

— Объясни, если я не понимаю.

— У меня роковая судьба...

— Мама тоже говорит, что ты обречен. Пойми, что мне плевать на шапку Мономаха, я потерял на нее права после женитьбы на Наталье, но, как брат брату, я хочу сказать... *уступи!*

— *Уступать не буду. А рок есть рок.*

Михаил нервно подвытянул кинжал из ножен, рывком задвинул его обратно. Прошелся. Длинный бешмет хлестал его по ногам.

— Ты мне часто говорил, что надо уметь идти против течения. А видел ли ты, как в степях останавливают табун диких лошадей? Это страшная картина! Когда несется табун, горе тому, кто решится встать на его пути. Но умные люди выскакивают на скакунах в голову табуна и уводят его за собой куда им нужно... Мудрость правителя в том и заключается, чтобы не биться лбом о стенку, а скакать впереди событий, стараясь даже обогнать их.

— Это красиво, но... — Николай II полистал важные бумаги. — Не знаю, что делать, — произнес тихо. — Надобно утвердить государственный бюджет на шестнадцатый год, уже февраль шестнадцатого. А для этого необходимо созывать Думу.

— Так созови.

— Не хотелось бы... Родзянко снова начнет учить меня, как надо жить. Левые раскричатся о предательстве в верхах. Даже правые сейчас стараются испортить мне настроение...

— Скажи, зачем ты назначил Штюрмера?

— Владимир Борисыч — хороший человек.

— Но этого слишком мало для представительства державы. Обыватель рассуждает: что это, глупость или измена?

— Пойдем обедать, — сказал царь, ставя точку.

Ставка считалась «на походе», и посуда была только металлическая (серебро и золото). Царских лакеев приодели в

солдатские гимнастерки. Никто из генералов не спешил к буфету, пока к водке не приложился его величество. Николай II трепетною рукой наполнил водкой платиновый стаканчик, вызолоченный изнутри. Выпил на «гвардейский манер», как принято пить в русской гвардии, — залпом, не морщась. И, соблюдая правила хорошего офицерского тона, он не сразу потянулся к обильной серии закусок. После царя к водке подошел Мишка, за ним потянулись генералы. Справа от царя сел брат, слева Алексеев. Подумав о Наталье, которая одиночничает в гостинице, Мишка дернулся прочь из-за стола.

— Я, пожалуй, тебя покину, — сказал он.

— Передай привет жене, — ответил царь. — И не спеши отъезжать на фронт. Вопрос о созыве Думы еще не решен, а ты можешь мне понадобиться... Вечером приходи. Поболтаем.

Вечером его удержала Наталья:

— Зачем тебе лишний раз перед ним унижаться? Побудь со мною. Ты бы слышал, что недавно говорил мне Сазонов. Он в ужасном настроении, и поверь, такое же настроение у всех честных людей. Сазонов сказал, что царица у нас явно сумасшедшая, она ведет к гибели не только Россию, но и свое семейство...

Здесь, в Ставке, великий князь узнал одну некрасивую историю. Николай II был настолько затюкан своей женой, что однажды при появлении Алисы он, как мальчишка, спрятался под стол. «Пьян был?» — не поверил Мишка. «Да нет, — ответили ему, — абсолютно трезвый». Император дал брату прочесть последние письма жены. «Будь стоек — будь властелином, — приказывала она. — Покажи всем, что ты *властелин, и твоя воля будет исполнена...* Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом — сокруши их всех... Будь львом в битве против маленькой кучки негодяев и республиканцев!»

Михаил решил заговорить о другом:

— А мама состарилась. Так же красится и румянится, но глаза уже потускнели, ходит медленно... Годы!

— Мы тоже не молоды, — согласился царь.

— Наверное, нас что-то всех ждет... ужасное.

— Я верю в это, — отвечал Николай II спокойно. — Но я не изменю мотивам самодержавия до конца, каким бы он ни был!

Императрица велела срочно вернуть Симановича с дороги в Нарым, а Белецкий сразу же возродил в подъезде дома № 64 по Гороховой улице службу охраны и наблюдения. Гришка вернулся на свою квартиру... Первым делом он учинил выговор филерам:

— Кой пес из вас написал, будто я дам на колени себе сажал? Ваше дело — не болтать, а беречь меня аки зеницу ока...

Митька Рубинштейн подарил ему «просто так» триста тысяч рублей, Гришка загулял, пел на улице песни и плясал перед прохожими, чую победу. Филерские списки показывают, что Симанович с Гейне таскались на Гороховую до пяти раз в день. Таскались сами и таскали к Распутину каких-то молоденьких евреек... Однажды, поднимаясь по лестнице, Распутин неопределенно сообщил филерам:

— Там вот наследили, теперь подтирать будем...

Он имел в виду заговор Хвостова и его связь с Илиодором. Вино носили на квартиру в эти дни ящиками и корзинами. В один из дней, когда филеры мерзли в подворотне, сверху их окликнул зычный голос Распутина: «Эй, ребята! Валяй ко мне чай пить». Филеры не отказались. На столе пофыркивал громадный самовар. Уселись, дуя на замерзшие пальцы. Озирались косо.

— Собачья у вас жистя, — пожалел их Распутин.

— Да уж хужей не придумать, — отвечал за всех старший Терехов. — Ты бы, Ефимыч, хоть к полуночи домой прибрехал... Жди тебя! У нас ведь тоже семьи, детишки от рук отбились, отцов не видят.

— Ну, будет скулить. Чай, в окопах на фронте солдатам еще хуже, чем вам на Гороховой... Чего сахар-то не кладете?

— Боимся, как бы не обидеть тебя, — отвечал младший Свистунов. — Нонеча сахарок по карточкам... Оно всем кусается!

— Клади, — щедро размахнулся Распутин. — Меня трудно обидеть. Я карточек сроду не видывал и, даст бог, так и околею, не повидав, каки оне таки, эти самые карточки...

Все время трещал телефон. Распутин орал:

— Нюрка! Скажи, что меня дома нетути...

Был он в состоянии серьезного похмелья, и в разговоре с ним телохранители вежливо спросили:

— Чего ты, Ефимыч, кислый сегодня?

— Покоя не вижу, — отвечал Распутин. — Велено мне свыше подумать, как быть с этой занюханной Думой. Клопы там... Пахнет! А бюджет без Думы не зафунансишь. Ты о Думе что кумекаешь?

Терехов, лакая чаек, отвечал добропорядочно:

— Ежели я о таких материях стану кумекать, так мне от начальства по шапке наладут, так что без пенсии останусь.

— Я здесь хозяин, вот и ответь как на духу.

Терехов поставил блюдце и вытер мокрые усы.

— Ну-к, ладно, скажу, как думаю... *Пошли-ка ты самого царя в Думу* — вот и пусть сам с нею разбирается.

— Башка! — похвалил филера Распутин. — Тебе в министерствах ходить. Я так и сделаю: папка, скажу, валяй в Думу...

Мнение филера сыграло решающее государственное значение — Штюрмер моментально явился в Думу, сообщив Родзянке: «Государь прямо из Ставки едет сюда...» Хвостов, знавший о разговоре филеров с Распутиным, немало хохотал, когда прослышал, что кадетские лидеры приезд царя в Думу приписывали своему влиянию. Николай II, прихватив из Ставки брата Михаила, на автомобиле — прямо с вокзала! — прибыл в Таврический дворец «под несмолкаемые крики „ура“ и приложился к кресту. Государь был очень бледен, и от волнения у него тряслись руки...». Политически появление в Думе царя не имело никакого значения, ибо забастовки, потрясавшие страну, уже определяли будущее страны. Обойдя помещение Думы, царь перекинулся с депутатами незначительными словами, сел в автомобиль и поехал к жене. Зато Мишка остался на заседании, когда Штюрмер зачитал пустопорожнюю декларацию правительства, представ перед обществом как политическое ничтожество. В ответ выступил язвительный Пуришкевич, сравнивший Штюрмера с гоголевским Чичиковым, который всех в губернии уже объехал, не знал, куда бы еще нагрязнеть, и решил — черт с ним, заодно уж заверну и в Думу...

Михаил навестил Родзянку в его председательском кабинете.

— Что же дальше-то у нас будет? — спросил он.

— Паршиво будет, ваше высочество... Садитесь.

— Благодарю, — сказал великий князь, присаживаясь. — Вы бы как председатель Думы поговорили с моим братцем.

— Поговорили бы вы как брат с братом. Вам это легче!

— Я пробовал. Но все бесполезно.

— А я не только пробовал, я ему даже талдычил, что страна скатывается в хаос, нас ждут небывалые потрясения, надо спасти монархию, но... увы! Женское влияние сильнее моего.

— Я с этой женщиной, — отвечал Мишка, имея в виду императрицу, — дел никаких не имею. Как будто ее не существует.

— А я ее даже побаиваюсь, — сознался Родзянко...

Вечерняя мгла закутывала высокие окна Таврического дворца, на улицах неслышно кружился снег. Зазвонил телефон — Родзянко выслушал, и было видно, как он внутренне помертвел.

— Поздравляю! — сказал, бросая трубку. — Вот только что убили Распутина... Убил какой-то граф... на «Вилле Родэ»!

Великий князь и председатель Думы заключили друг друга в крепкие объятия; Родзянко, не скрывая чувств, даже прослезился на радостях, оба повернулись к иконе — благодарили всевышнего.

— Я позвоню на «Виллу Родэ», — сказал Мишка.

Владелец шантана Адолий Родэ сказал ему, что час назад была колоссальная драка, посуды и стекол набили кучу, сейчас здесь сидит полиция, пишет протоколы. Распутина в основном бил граф Орлов-Денисов, но драка носила локальный характер — из-за какой-то пошлой хористки.

— Так он разве жив? — в отчаянии спросил Мишка.

— Распутин вырвался и убежал...

При свидании с Родзянко царь неожиданно согласился с ним, что атмосфера в столице слишком накалена, надо дать ей чуточку остыть. 27 февраля Николай II (выдержав истерику жены и рыдания Вырубовой) распорядился выслать Распутина на его родину. Газеты при этом обязались хранить вежливое молчание — никаких комментариев... Они и молчали! Только никому не известный журнал «Божия Коровка» проявил гражданскую смелость. Он опубликовал странный рисунок, изображавший оципанную птицу с длинным носом, в зад которой воткнуто пышное павлинье перо. Лишь очень опытный глаз мог в этой «птице» угадать Распутина, и рисунок без помех прошел цензуру. Одновременно с рисунком «Божия Коровка»

поместила сообщение: «По дошедшим до редакции слухам, недавно из Петрограда в Сибирь экстренно выслан вагон с битой птицей». А через несколько дней царица велела срочно вернуть Распутина, и старательная «Божия Коровка», тихо ползая меж цензурных рогаток, дала такое объявление: «Редакции журнала стало известно, что на днях из Сибири в Петроград возвращен вагон с битой птицей...» Распутин в богатейшей шубе, купленной на деньги Рубинштейна, снова появился на улицах столицы, с высоким цилиндром на голове, похожий на купца-старообрядца, гневно стучал всюду палкой. «А ваш Хвостов убивец, — твердил он филерам на лестнице, — зато Степа — парень хошь куды!» Он велел дворнику соорудить лавку для сидения филеров — пожалел, что они сутками маются на ногах. Сидя на этой лавке, сунув носы в воротники пальто, филеры горько оплакивали свою незавидную судьбу:

— Сколь били его, сколь калечили — и хоть бы что! Неужто не найдется героя, который бы приклепнул его раз и навсегда? Так и сдохнем мы возле этой двадцатой квартиры...

* * *

Из рязанской ссылки вернулся и Побирושка!

9. Торт от «Квисисаны»

Заговор Хвостова воедино сплотил всю распутинскую когорту, и теперь симановичи, гейне, рубинштейны, манасевичи (и Белецкий!) стали для Царского Села дороже любого министра. Февраль 1916 года целиком посвящен небывалому движению автомобилей, сновавших от Гороховой до Александрии: то Симанович визитировал Штюрмера, то Гейне навещал Вырубову... Ощувив приступ творческого вдохновения, Белецкий рискнул пойти на подлог, чтобы сразу и навсегда отделаться от Хвостова. Материалы о заговоре против Распутина он подкинул в «Биржевые Ведомости», а когда газета их опубликовала, он, дабы замести свои следы, дурно пахнущие, напечатал в «Новом Времени» письменный протест против публикации, делая вид, будто эти материалы у него выкрали... Он умел «шить дела», но на этот раз сшил белыми нитками! Справедлива народная поговорка — на каждого мудреца бывает довольно простоты. В «желтом доме» на Фонтанке раздался страшный хруст — это сломали шею Белецкому. Увлечшись добиванием соперника, он не рассчитал одного — публикация обнажила перед обществом всю гниль и разврат в верхах, и распутинская мафия разом набросилась на него же — на Белецкого. Его ободрали как липку: лишили прав товарища министра внутренних дел, велели ехать в Иркутск и там потихоньку губернаторствовать... Хвостов не удержался — поздравил его по телефону:

— Ну что, Степан? Вырыл ты могилу для меня глубокую, а угодил в нее сам... со женою и со чадами! Езжай, соколик. Сибирские волки давно подвывают, желая обглодать твои бранные кости.

— Не я, так другие, — в ледяной ярости отвечал Белецкий, — но столкнут тебя, супостата, в могилу — поглубже моей!

— А я не такой дурак, как ты обо мне думаешь, — сказал ему Хвостов и... объявил пресс-конференцию для журналистов.

Может, он сошел с ума? Министр внутренних дел (в дни войны!) решил допустить прессу в потаенное средоточие всей государственной скверны. Хвостовщина выписывала одну из сложнейших синусоид реакционного взлета и падения. Да! Я вынужден признать, что этот толстомясый аферист не боялся доводить

воду до крайних градусов кипения, чтобы с кастрюль срывало крышки. Кроме головы, ему уже нечего было терять, и Хвостов на прощание устроил фееричное цирковое представление... Его кабинет заполнили журналисты.

— Не смотрите на меня так трагически, — сказал им Хвостов, искрясь весельем, — тут надо смотреть с юмором, не иначе...

Для начала он поведал то, чего не знали другие. Царица устроила для Распутина новогоднюю елку, но Гришка всю ночь кутил с грязными девками, прибыл домой пьян-распьян, забыв про елку, а утром его будили агенты... Хвостов описал эту картину:

— Вставай, говорят, сучий сын, тебя елка с игрушками ждет! Сунули в нос ему нашатырь — вздыбнули на ноги. Стоит. Не падает. Можете представить, в каком виде тащили его на поезд. Но там (!) мерзавец мгновенно преображается. Всю ночь не спал, а молился. Я же знаю. Бадмаев ему дает какой-то дряни, чтобы зажевать дурной запах во рту... Они, — сказал Хвостов о царях, — сами виноваты, что Распутин играет такую роль... Дикость, мистицизм, отсутствие разума, потеря интеллекта. Возвращаемся к средневековью.

Стуча кулаком, Хвостов кричал, что, пока он сидит на троне МВД, он будет портить кровь распутинскому отродью, он будет арестовывать и обыскивать распутинскую нечисть. Когда его спросили об особом уважении к Белецкому, Хвостов захохотал.

— Гришка это раньше трепался, что Степа хороший, а я ни к черту не гожусь. Теперь и Степан испортился... Я много наговорил лишнего, — сказал Хвостов в конце интервью, — но не боюсь: бог не выдаст — свинья не съест!

Он не просто загасил папиросу в пепельнице — он растер окурочок в труху с такой ненавистью, будто уничтожал самого Распутина. Ему было обидно, что цензура зарезала его интервью сразу же, и оно появилось в печати только после Октябрьской революции, когда песенка Хвостова была уже спета — его повели на расстрел...

* * *

Чтобы ощутить себя полновластным владыкой в делах русской церкви, Распутин замыслил создание на Руси патриаршества, уничтоженного Петром I, а в патриархи, с помощью Осипенко, карабкался долгогривый Питирим. «Верить ли в это?» — спрашивали обыватели. «А почему бы и нет? Мы живем как в сказке...» Как в сказке в Суворинском клубе работал тотализатор — позорище, какое трудно придумать. Юркие журналисты делали ставки на министров падающих, на министров возникающих.

— Добровольский проскочит в министры юстиции.

— Добровольский? А кто это такой?

— Неважно! Ставлю один против десяти, что министр иностранных дел Сазонов падет неслышно, аки лист осенью.

— Сазонов никогда не падет, ибо он начал эту войну, все договоры в его руках, к нему привыкли послы Антанты.

— Ты ничего не понимаешь! Сазонов вслух высказывает страшные вещи. Он говорит, что Россия более не великая держава...

— Ставлю, что Хвостов вылетит из МВД завтра же!

— Имею сведения — через три дня.

— Почему так поздно?

— Не знают, кого назначить на его место...

Да, не знали. Царь повидал Распутина.

— От меня требуют жертвы, Григорий, — сказал он ему. — Дума встает на дыбы — главным злодеем считают Сухомлинова.

— Нешто старикашку обидишь?

— Жертва времени... пойми ты, — скорбно ответил царь...

— Зачем ты начинал войну? — спросил Распутин (мрачно).

— Я не начинал. Она началась сама по себе... — Потом Николай II произнес чувствительные слова: — Что бы ни случилось, Григорий, как бы ни клеветали на всех нас, я с тобой не расстанусь.

Каждая клятва нуждается в подтверждении делом, и царь протянул ему бумагу — указ об отставке Хвостова! Распутин, обратясь к иконам, крестился, а царь спросил — кого поставить в министры внутренних дел? Один раз на Хвостове обожглись — вторично промашки делать нельзя... Распутин прикинул и так и эдак. Ничего не получалось. Из кармана министра не вынешь.

— А на што новых-то плодить? — сказал он царю. — Старикашка в примерах сидит, пушай и будет унутренным.

— Белецкий тоже хочет, — сказал император. — Говорят, даже с казенной квартиры не выезжает... ждет падения Хвостова.

— Степан, — отвечал Распутин, — если меня и не убивал, то, видит бог, убить может... Ну его! А на Штюмера почила благодать божия. Старикашка послушный. Спать любит. Признак здоровья.

— Штюмера все ненавидят, — заметил Николай II.

— А меня — што? Рази навидят? То-то...

Когда автомобиль с Распутиным, возвращавшимся из Царского Села, проезжал окраинами столицы, могуче, будто раненые звери, трубили в сумерках гигантские заводы — рабочие бастовали. К экономическим требованиям путиловцы теперь прибавили лозунги и политические... Впрочем, все это Белецкого уже не касалось: ему определили оклад в пятьдесят четыре тысячи рублей, и надо было ехать в Иркутск, но Побирושка ходил за ним по пятам, божился, что проведет его в сенаторы, а потом... потом и в министры внутренних дел.

— Не покидайте казенной квартиры! — взывал Побирושка.

Белецкий заглянул в кондитерскую «Квисисана» на Невском проспекте, где владелец кафе Генрик Сартори любезно проводил его в отдел срочных заказов. Контора благоухала мускатом, имбирем и корицей. Приятная барышня в чистом передничке раскрыла блокнот.

— Итак, мсье, что вам угодно от «Квисисаны»?

— Торт.

— В какую цену?

— Сколько бы ни стоил.

— Именинный? Юбилейный? Даме или мужчине?

— Одному... *хаму*, — сказал Белецкий.

Барышня несколько не удивилась:

— Хам останется доволен. Как исполнить?

Фантазия жандарма работала превосходно:

— Сделайте торт в виде кладбища с крестами из чистого бразильского шоколада... Кстати, есть у вас шоколад?

— «Квисисана» живет еще довоенными запасами.

— Отлично! — потер руки Белецкий. — Взбейте крем цвета навоза, а внутри торта выкопайте глубокую могилу, чтобы на дне ее сидели лягушки и... ждали.

— Из чего сделать лягушек? — спросила барышня.

— Из мыла, — ответил Степан, недолго думая. — Возле могилы пусть кондитер поставит гроб из противного желе, которое прошу уснастить горчайшей хиной. А по краям торта, вроде узора, изобразите поучительную надпись: ВОТ ТВОЯ МОГИЛА. Хорошо если бы вместо сахарной пудры вы посыпали кладбище стрихнином... вроде выпал легкий снежок. Нельзя? Ядов не держите? Жаль...

— По какому адресу отправить этот торт?

Белецкий оставил ей адрес квартиры Хвостова.

* * *

Бывший министр снял крышку с великолепного торта.

— Какая дивная работа... узнаю мастера Степана! Бывшему министру от бывшего товарища министра... Приятно посмотреть!

Позвонила Червинская — почти шепотом:

— Алексей, сразу уничтожай все, что имеешь.

Клеопатра решила спасти своего Антония.

— Прости, — ответил Хвостов, — в двери звонят...

В министерскую квартиру ввалились двое: Манасевич-Мануйлов и Аарон Симанович — в пальто нараспашку. Ванечка как опытный шпик сразу же схватил телефонную трубку:

— Итак, я слушаю... продолжайте.

По его лицу было видно, что связь Хвостова с Червинской явилась для Ванечки неприятным сюрпризом.

— Опоздала ваша знакомая, — сказал он, вешая трубку.

Хвостов не сдержал приступа лютого антисемитизма:

— Два жида в три ряда... Ну, ладно, Ванька! Тебя-то я хоть знаю. А зачем ты привел сюда этого пархатого?

— Алексей Николаевич, не я же этого жида придумал! Таково желание государыни императрицы, чтобы Симанович, как ранее пострадавший от вашего произвола, присутствовал при обыске.

— Что-о? У меня? У меня и... обыск?

— Вот письмо от Штюрмера, — передал ему Ванечка.

Штюрмер писал, что по приказу императора Хвостов обязан снять с себя все ордена и отправляться в ссылку. Золотой ключ камергера у него отобрали вместе с футляром. Симанович уже рылся в ящиках стола, выгребая из них на пол секретные бумаги. Манасевич сам растопил камин и каждую бумагу, в которой встречалось имя Распутина или царицы, бросал в огонь. Хвостов остолбенело наблюдал за уничтожением ценнейшего архива, который он собрал на посту министра, чтобы историки будущего имели материал о действиях распутинской мафии...

— Вы скорпионы! — кричал он. — Вы шакалы!

Аарон Симанович наслаждался местью.

— Против кого ты вздумал идти? Против Григория Ефимыча? Против нас? Измордуем и оплюем... Ты уже не встанешь!

— Ванька, — заорал Хвостов, берясь за канделябр, — убери эту гнусь, или я за себя не отвечаю... разнесу ему череп!

В кабинет вошла жена, удивительно спокойная.

— Что ты, Леша, возмущаешься? — сказала она. — Ты сам хотел грязи как можно больше. И ты нашел самую нечистую яму — министерство внутренних дел... Так успокойся: все в порядке вещей.

Хвостов выпустил канделябр и зарыдал.

— Меня, столбового русского дворянина... Я не могу!

— Тебе, — отвечала жена, — было очень приятно взлетать. Так имей же мужество падать низко. Все пройдет в этом мире, как и мы с тобой, и ничто в этом мире не вечно. Были мы — будут другие! Такие же свиньи, как и ты, дорогой, и как вот эти... господа, что тебя сейчас оскорбляют. Встань выше этого!

Под конвоем филеров Хвостова доставили на вокзал, посадили в вагон, и... он поехал в историю. Убийцы Распутина из него не получилось, а получился самый обычный «бульварный романчик» с дамочками, рюмочками, взяточками, растраточками... Между тем в кулуарах Думы бродил подлинный убийца — это лысый, очкастый и вертлявый Пуришкевич, писавший в эти дни о министерской чехарде:

Их жизни срок сейчас минутен,
Уйдут, оставив серный дым,
А прочен лишь один Распутин

Да долгогривый Питирим...

Черносотенец был поэтом, но своих стихов никогда не печатал — это ни к чему, да и цензура их не пропустит! Он явился в кабинет Родзянки и сказал ему, отчаянно жестикулируя:

— Разве так убивают? Гришку надо убивать, как режут свинью... без экивоков. Просто взял ножик — пырь в бок, и готово! Согласен, что противно. Будут кровь, всякая слизь, и потечет гнилая сукровица, а волосы перемешаются с мозгами. Но если это надобно ради спасения драгоценной монархии и кристальных идей нашего самодержавия, то поверьте, я... готов!

— Вы больше никому этого не говорите, — сказал Родзянко.

— Упаси бог! — отвечал Пуришкевич. — Только одному вам как председателю всероссийского парламента.

* * *

Революция несентиментальна! Двух заклятых врагов, Хвостова и Белецкого, поставили к одной стенке, и под прицелом равнодушных винтовок, за секунду до залпа, они в последний раз могли плюнуть в глаза друг другу, могли сказать последнее «прости»!

10. «МЫ ПЛОХО КОНЧИМ...»

Палеолог второпях записывал: «С тех пор, как Штюрмер стоит у власти, влияние Распутина очень возросло. Кучка еврейских финансистов и грязных спекулянтов, Рубинштейн, Манус и др., заключили с ним союз и щедро его вознаграждают за содействие им... Если дело особенно важно, то он непосредственно воздействует на царицу, и она сейчас же отдает распоряжение, не подозревая, что работает на Рубинштейна и Мануса, которые, в свою очередь, стараются для Германии... Императрица переживает очень тяжелую полосу. Усиленные молитвы, посты, аскетические подвиги, волнения, бессонница. Она все больше утверждает в восторженной мысли, что ей суждено спасти святую православную Русь и что покровительство Распутина необходимо ей для успеха...»

Палеолога снова навестил Путилов — хмуро пророчил:

— Дни царской власти уже сочтены, а эта власть — основа, на которой создана вся архисложная система управления государством. Отныне нужен только повод, чтобы революция вспыхнула. В русских условиях она может быть только всенародной, но сигнал к ней, безусловно, дадут интеллигенты, не теряющие надежд спасти Россию одними словами. Однако, — веско договорил Путилов, — от буржуазной революции мы тотчас же перейдем к пролетарской...

Затем в посольство пришел молодой композитор Сережа Прокофьев, проигравший Палеологу отрывки из своей сюиты «Сарказмы», что посол тоже включил в число важных событий: «Изобилие мыслей, но они заглушаются погоней за переливами и неожиданными созвучиями... Верховная комиссия для расследования дела генерала Сухомлинова закончила свою работу». Вечером посол отъехал в театр, где слушал Шаляпина в «Борисе Годунове», и ему было даже страшно от обилия чувств и насилий, от потрясающих сцен раскаяния царя. Палеолог сидел в ложе рядом с княгиней Салтыковой, и под перезвоны колоколов женщина сказала послу с легким вздохом:

— Вот это — мы... Вот это мы, русские!

Посол поцеловал ей руку, пахнущую жасмином, и женщина, слегка колыхая прекрасный веер, внезапно призналась:

— Мы принадлежим к породе людей, обожающих зрелища. В русском народе много артистического, слишком много воображения и музыкальности... *Мы плохо кончим*, — тихо заключила она.

«Она задумчиво смолкает, — записал посол этот разговор, — в ее больших светлых глазах — выражение ужаса...» Во тьме слабого зимнего рассвета стонали путиловские заводы. Было что-то удивительное и грандиозное в этой обильной и сложной русской жизни, в которой капиталист Путилов рассуждал о пролетарской революции, гениальный мужик Шаляпин изображал царя так, словно родился в чертогах Кремля, а рабочие бастовали на окраинах «парадиза» великой империи... Это было как раз время боев под Верденом! Чтобы помочь солдатам Франции, солдаты России перешли в наступление на Двинском фронте, платя за каждую версту кровавый налог — по десять тысяч жизней (такова стабильная цена Вердена для России!). А в Могилеве состоялся примечательный разговор царя с Родзянко:

— Михаил Владимирович, как вы мыслите, чем закончится эта война? Благополучно ли для нас?

— *Победа уже невозможна*, — ответил Родзянко.

Царь подумал и сказал равнодушно:

— Благодарю вас. Больше не смею задерживать...

Странное дело: весной 1916 года Романовы знали что-то такое, что давало им право планировать заключение мира на осень. Во всяком случае, Николай II и его жена были твердо уверены, что осенью война закончится, — штыки армии можно развернуть внутрь России, дабы подавить все растущее движение пролетариата.

* * *

Штюрмер медленно отравлялся собственной мочой, которая скапливалась в его организме. Борода клином лежала поверх расшитого золотом мундира церемониймейстера. Штюрмер не спал. Стол его был завален грудями книг о внешней политике России.

— Вот, — сказал он Манасевичу-Мануйлову, — изучил все, что можно, и вижу, что Сазонов ведет Россию не туда, куда ей надо. К тому же... попустительствует... всяким! А сейчас, милейший Иван Федорыч, необходим кулак. Диктатура! Железная, и никаких гвоздей. Потому и не сплю — думаю... исстрадался...

Манасевич вполне искренне (не всегда же он врал!) отвечал эксценцу, что никакая диктатура не спасет положения:

— Бульон уже закипает, осталось бросить в него щепотку соли — и революция начнется: прошу к столу! Вольно же вам читать трактаты и труды Мартенса. А вы бы послушали, что говорят в казармах и на заводах... Продовольственный вопрос — самое главное сейчас. Если он не будет разрешен, все полетит кошкам под хвост.

— Гениальная мысль!

— Тем более что автор этой мысли — гений Григорий Распутин, а он, кстати, недоволен вами. Говорит, что вы сорвались с бантика. Решили резвиться сами, а на него — нуль внимания.

— Помилуйте, к чему угрозы? Я ведь, слава богу, покушений на Распутина не устраивал... Не пойму, о чем он хлопочет?

— Гришка, как конокрад, лучше нас чувствует опасность... шкурой! И я узнал нечто удивительное. Вдруг он стал устраивать свои капиталы, Осипенко и Симанович трудятся вовсю, распихивая Гришкины клады по каким-то банкам, каким-то адресам и «малинам»... Тут и Питирим замешан — тоже взял кое-что на хранение от Гришки! Но больше всего Распутин доверяет свои «фунансы» Симановичу.

— Разве Григорий Ефимыч собрался нас покинуть?

— Никуда он не удерет, — со знанием дела отвечал Ванечка. — Все кости Распутина останутся на этой грешной русской земле, которую он столь значительно удобрил своими отходами... Но, между прочим, — шепнул Манасевич, — Распутин обязал меня обратиться к вам: не возьмете ли и вы от него на хранение? Так, ерунда разная: бриллианты... золотишко... какие-то крестики да иконки...

— Конечно! Григорию Ефимычу я не откажу.

Штюрмер отправился на заседание Государственного Совета, где на него накричал военный министр Поливанов:

— Агентура Генштаба доложила, что при возникновении скандалов в злочных местах, где главным героем является Распутин,

неожиданно подкатывает автомобиль, Гришку хватают за воротник и увозят прочь от скандала... Мне известно, — чеканил Поливанов, — автомобиль этот военного ведомства, а номер его записан за канцелярией премьера государства... За вами, господин Штюрмер! И это безобразие творится, когда на фронте не хватает автомашин.

— Не знаю я никаких авто, — отрекся Штюрмер.

— Разве не Манасевич ведает вашим автопарком?

— Манасевич? — переспросил Штюрмер. — Но, позвольте, я, да, слышал, что такой существует, но... дел с ним не имею.

Он бесстыже отказался от знакомства с начальником своей канцелярии — дальше этого идти уже некуда! Поливанов вернулся в министерство, в кабинете его поджидал с делами начальник Генштаба генерал Беляев (по кличке Мертвая Голова).

— Меня скоро скинут. — Поливанов прошелся по коврам в отчаянно скрипящих сапожках. — Что у вас ко мне?

— Нет колючей проволоки. Оцинкованной.

— Так поставляйте фронту неоцинкованную. Заржавеет — ну и бог с ней! Не на века же создаются проволочные заграждения. А как идет выработка кинжалов для рукопашных схваток в окопах?

— Прекрасно. На нехватку снарядов жалоб уже нет.

— Вот видите! — сказал Поливанов, усаживаясь за стол. — Кое-что я все-таки сделал. Если меня и прогонят, я уйду с чистой совестью. — Беляев заговорил о катастрофической убыли офицеров. — Сами виноваты! — отвечал ему Поливанов. — Начиная с кадетского корпуса мы воспитываем браваду. Папиросу в зубы — и в атаку. А за ним — солдаты. Пулеметы внесли поправку в место офицера на фронте. Будь умнее: пропусти солдата вперед, а сам следуй за ним, как заведено у немцев. У нас же так: первая пуля — бац в офицера! Вот и навалили их штабелями. А ведь еще сиятельный Потемкин говорил, что для выделки солдата нужны мужик с бабой да ночка потемней. Для офицера же — давай время, деньги, знания...

После этой беседы с Беляевым в кабинет военного министра вплыла красавица, каких Поливанов давненько уже не видывал.

— Баронесса Миклос, — представилась она.

— Очень приятно, — буркнул Поливанов, испытывая желание полистать справочник департамента герольдии, ибо что-то никогда не приходилось ему слышать о таких баронах на Руси...

Миклос, сияя зубами, поведала этому черствому педанту, что беспокоится не за себя. Дело в том, что для победы нашей дорогой Родины пропадает очень ценное секретное изобретение.

— Я в этом ничего не смыслю, — говорила Миклос, раскрывая ридикюль, — но уяснила лишь одно. Там главная деталь — дырочка, которая обеспечит России скорейшую победу над Германией.

— Значит, все дело в дырке? — спросил министр.

— Вы меня поняли сразу! Такая маленькая симпатичная дыруся, через которую вы, не выходя из этого кабинета, можете видеть все, что творится в ставке кайзера, этого оголтелого врага человечества. Не дайте же погибнуть столь ценному изобретению дырочки!

— Ни в коем случае... не дам, — согласился Поливанов.

Она протянула ему записку от Распутина, и министр с удивлением прочел: «Милай дарагой послушь дедушку у няво бедный нужда пришла». Поливанов вернул записку красавице.

— Но здесь речь о дедушке, а вы... бабушка?

— Ах! — вспыхнула Миклос. — Извините, я случайно не ту достала... Там, понимаете, все зависит от этой милой дыруси!

Снова сунулась в ридикюль — извлекла нужное: «Милай дарагой послушь дамочку бедная она ей помочь роспутин».

— Вот что! — сказал Поливанов, не вставая. — Сейчас же убирайтесь отсюда вместе со своей вульгарной дыркой или дырусей...

Баронессу будто ветром сдуло. Поливанов позвонил в комендатуру министерства на первом этаже здания.

— Сейчас мимо вас на цыпочках проследует удивительно элегантная и красивая лахудра. Арестуйте ее... — После чего министр соединил себя с Сазоновым. — Добрый день, Сергей Дмитриевич, ну, как ваш грипп? Легче? Слава богу... Вы знаете, я сейчас начинаю жалеть даже о Горемыкине! С этим рамолисментом хотя бы до девяти утра можно было о чем-то разговаривать. Он хамил, отказывал, издевался, но это была правда... самая махровая, самая реакционная, но все-таки правда! А я сегодня схватился со Штюрмером, теперь жду, когда меня подцепят на лопату и перебросят через забор.

— Мой милый, — задушевно отозвался с Певческого моста министр дел иностранных, — у меня точно такое же положение. Сейчас возник вопрос о самостоятельности Польши, и здесь я со Штюрмером на ножах... Вся нечисть встает стенкой!

— Сергей Дмитрич, как же дальше-то жить?

— А мы не будем жить. Вы напрасно волнуетесь.

— Почему так?

— Потому что Россия уже не великая держава...

Только успел повесить трубку — звонок от Беляева.

— У меня, — доложил тот, — сейчас был странный разговор. Из Царского позвонила Вырубова, потом к аппарату подошла сама императрица, которая просила меня как начальника Генштаба приложить максимум усилий для защиты Распутина от покушений...

— Это чума! — отвечал Поливанов. — Сейчас на охрану Распутина поставлено семь автомобилей, а если пересчитать всю громадную свору агентов, берегущих его жизнь, то можно составить батальон, способный прорвать линию фронта... Как забастовки?

— Путиловский завод — главная язва. А вот и новость: видели Сухомлинова на перроне Царскосельского вокзала... с женой! Оба были веселые, он ходил гоголем, отчаянно допингируя.

— Это ясно, — сказал Поливанов. — Шантеклер со своей курочкой ездил клевать крупички милостей. Но его все равно посадят!

Потом, сцепив пальцы, министр думал: «Нет ли тут какой-либо игры Беляева? Кажется, нет...» Но игра была! Распутин рассказывал: «Вот Беляев — хороший министр был бы, что там папашка смотрит! Я маме сказал, что бог его желает, а папашка уперся...»

* * *

Авангард пролетариата, путиловские рабочие, бастовали, и забастовка стала главной темой для закрытого совещания. Министерские верхи были встревожены — стачка Путиловского завода могла явиться сигналом для всеобщей забастовки в стране. России хотели заткнуть уши, чтобы она не услышала рева путиловских цехов... Штюрмер униженно просил Поливанова: «Умоляю вас в Совете по государственной обороне даже не касаться этого вопроса... Ужасно неприятно!» Поливанов поступил наоборот: отчеты о закрытом заседании он предал печатной гласности, «что, —

докладывал Штюрмер царю, — при существующей общей политической обстановке и наблюдаемом в рабочей среде весьма серьезном брожении не может не быть признано чрезвычайно опасным». Алиса истошно взывала к мужу: «Обещай мне, что ты сразу сменишь министра военного — ради самого себя, твоего сына и России!» Распутин продолжал зудить о Поливанове: «Гордый он... все сапогами скрипит, на нервия действует. Нашел чем хвастать! Да у меня сапоги громчей евонных...»

В кабинете военного министра отзвонили старинные часы, еще помнившие времена Кутузова, Барклая, Аракчеева и Ермолова. Вот и письмо от царя: «Алексей Андреевич. К сожалению, я пришел к заключению, что мне нужно с вами расстаться...» По заведенной традиции, рескрипт должен сопровождаться высочайшей благодарностью. Царь отщелкал ответ: «Объявление благодарности отменяю!» Это было уже чистое хамство... Поливанов принял министерство от Сухомлинова в состоянии развала, когда фронты трещали. Он взялся за дела в пору суматошной эвакуации промышленности на Восток, он сумел заново вооружить армию, при нем стабилизировалась линия фронта, — и теперь Россия, заполнив арсеналы, готова к неслыханному наступлению, которое войдет в историю под названием Брусиловский прорыв. Надев шинель и скрипя сапожками, Поливанов удалился — *без благодарности*, как оплеванный...

Выпивая рюмку ежевичной и расправив усы большим и средним пальцами (жест весьма неизящный), Николай II сказал:

— Постный куверт передвиньте к моему куверту...

Постничал в Ставке только один генерал — главный полевой интендант Дмитрий Савельевич Шуваев, честный, старательный работяга. Старик не понимал, за что ему выпала такая честь — сидеть подле самого императора. Царь огорошил его словами:

— Сегодня вы уже мой военный министр...

Постный груздь скатился с вилки на скатерть.

— Ваше величество, — взмолился Шуваев, — да помилуйте, какой же я министр? Сын солдата, иностранных языков не знаю, даже за вашим столом сидеть не умею. Вот служил верой и правдой по разным медвежьим углам да ни одной всеобщей не пропустил со своей старухой... Ну какой я, к черту, министр!

— Не спорьте со мною, — отвечал царь. — В том, что армия стала одета и накормлена, ваша заслуга. Вы искоренили взяточничество и умеете разговаривать с простым народом...

Очевидец записал: «Шуваев так же вышел в нахлобученной на уши папахе, руки в карманы, животом вперед — и пошел себе домой, как ходил всегда». Верный себе, он обладал простонародной честностью. Когда рука самодержца выводила слова «по высочайшему повелению», Шуваев дерзко останавливал императорскую длань:

— Так нельзя! Я пришел к вам, изложил свои мысли, а вы вдруг — «высочайшее повеление». Да откуда ж оно взялось? Правильнее вам писать так: «По мнению генерала Шуваева...»

Царя коробило от бестактности, но ничего не поделаешь — сам выбрал «постника». Шуваев, размахивая рукой, доказывал:

— Опирается на армию, чтобы противодействовать течению жизни народа, нельзя. Да и вообще, ваше величество, какая у нас, к черту, армия? Возьмут мужика от сохи или рабочего от станка, завернут их в шинель, покажут, как надо стрелять, и вот — в окопы. Это не армия — милиция какая-то... ополчение!

Кажется, царь уже пожалел, что взял богомола Шуваева, а не Беляева с его «мертвой головой». Прибыв в столицу, новый военный министр должен был неизбежно столкнуться с Распутиным...

— Шуваев у аппарата, — сказал он, снимая трубку.

— Это я, — прогудело, — я... Распутин...

— Чего тебе от меня надо?

— Помолиться бы мне за тебя надобно.

— Больше меня тебе не намолиться.

— Поговорить бы... Все мы человеки.

— Приемные дни по четвергам. Запишись, как положено, у адъютанта. Что надо — доложи. Станешь болтать — вышибу. Будь здоров!

Шуваев велел допустить столичных журналистов.

— Могу сказать одно: дела военного министерства я принял в идеальном порядке, в чем немалая заслуга моего талантливого предшественника — Алексея Андреевича Поливанова...

Солдатский сын оказался благороднее царя!

Была весна, Сухомлинова везли в Петропавловскую крепость — на отсидку. Нельзя узникам спать на домашней перине — ему

позволили, нельзя узникам сидеть в мягком кресле — ему привезли кресло. Вместо обычных тридцати минут он гулял по два часа в сутки. Распутин ввел в кабинет царицы рыдавшую Екатерину Викторовну.

— Был чудный теплый вечер, — начала она, — и ничто не предвещало беды. Мой первый муж (негодяй, как выяснилось) абонировал ложу в киевской опере, а мой второй муж (этот дивный человек!) как раз тогда овдовел. Альтшуллер сказал моему второму мужу, что в Киеве появилась красавица, рот которой — точная копия рта второй жены моего второго мужа. Эта красавица с таким ртом была я! В театре он подошел ко мне, и мы сразу вспыхнули друг к другу. Это была чистая любовь. Боже, сколько грязи потом нанесли к нашему порогу. И вот он... в крепости. За что?!

Алиса взяла платочек для утирания слез.

— Понимаю вас. Я сама извела черную людскую ненависть. Меня, как и вас, тоже называют германской шпионкой...

Екатерина Викторовна, вся в глубоком трауре, протянула ей жалобу от мужа. Дело в том, что в камере № 43, где сидел Сухомлинов, был замечен ползущий по стенке... клоп-с!

— Это ужасное животное, — содрогнулась императрица.

— И кипятком не выведешь, — подал голос Распутин. — Я, бывалоча, в деревне из чайника их шпарил, шпарил... Живучи, окаянные! За што энтим ученым деньги платят? Всякую хреновину выдумывают, а клопа истребить неспособны. Ну, скажем, телефон — оно понятно. Без него — не жисть. А на што трамвай? На што нам всем ликтричества разные? Ох, грехи наши... А старикашка мается!

11. Война или мир?

Конечно, если Россию нельзя из войны выбить, то ее можно из войны вывести. Германская дипломатия передоверила вопрос о мире магнатам промышленности. В канун брусилковского наступления знаменитый капиталист Гуго Стиннес, стоявший у маховика германского военного Молоха, встретился в Стокгольме с японским послом:

— Кажется, пришел момент смены политических настроений. Я думаю, у японцев нет желания продлевать войну с нами, а что касается русских, то в Берлине стало точно известно: двор царя в Петербурге, как никогда, склонен к мирному диалогу.

Япония, которая вдали от решающих событий Европы под шумок стряпала свои колониальные делишки на Дальнем Востоке, была совсем не заинтересована в мире, означавшем конец грабежа Кореи и Китая, а потому посол отвечал Стиннесу, что «Япония не нуждается в скороспелом мире». Стиннес ответил ему:

— Но ведь кто-то из воюющих должен первым сказать роковое «альфа»; если никто из нас не возьмет на себя инициативы в делах войны и мира, то мир вообще станет невозможен до тех пор, пока не будет убит последний в мире солдат... Мы надеемся, — заключил Стиннес, — что содержание этой беседы останется в глубокой тайне.

В чем японский посол горячо его и заверил. А когда Стиннес удалился, он снял трубку телефона и позвонил в русское посольство, которое сразу же известилось о германских предложениях мира. Теперь любопытно, как будет развиваться эта политическая интрига далее, — каналы ведь очень глубокие, туннели ведь очень темные. Кто осмелится говорить с немцами о мире?.. Из клиники Бадмаева Протопопов выходил в широкий мир, веря в чарующую силу «цветка черного лотоса», веря в астральные пророчества хироманта Перрена, включенного в «7-й контрольный список» немецких шпионов!

Верден — это символ героизма народов Франции...

Итальянцы не имели своих «верденов», и, полностью разгромленные в битве при Трентино, они истерично зывали к России о помощи, иначе — угрожал Рим! — Италия пойдет на заключение сепаратного мира. На конференции в Шантийи союзники договорились, что Россия ударит всей мощью фронтов в июне месяце. Но итальянцы драпали столь быстро, что в Могилеве решились нанести удар по врагу раньше сроков... Императрица знала, что среди генералитета она крайне непопулярна, и потому навевдалась в Могилев чрезвычайно редко. Но в канун Брусиловского прорыва Алиса зачастила к мужу. Главный же в Ставке, конечно, не ее муж, а этот вот неопрятный косоглазый старик с усами в стрелку — генерал Алексеев. После обеда Алиса взяла старикана под руку и сказала ему:

— Погуляйте со мной по саду. Я так люблю природу...

Когда цари о чем-либо просят, понимай так, что они приказывают. В саду губернаторского дома они любовались панорамой зелени на обывательских огородах, дышали и ароматом зацветающих деревьев, в которых попискивали могилевские птахи. Алиса возбужденно заговорила, что люди не правы. Люди вообще всегда не правы, но в данном случае они клеветают на Распутина, считая его первоклассным негодяем.

— Старец — чудный и святой человек, он горячо привязан к нам, а его посещение Ставки принесет крупный успех в войне...

Алексеев за время службы при царе немало кривил душой, и не всегда была чиста его воинская совесть. Но в этот момент старый русский генштабист решил быть честным — он сухо ответил:

— Ваше величество, допускаю, что Распутин горячо к вам привязан, но, ежели он появится в Ставке, я немедленно оставляю пост начальника верховного штаба при вашем венценосном супруге.

Императрица никак не ожидала такого ответа.

— Это, генерал, ваше окончательное решение?

— Несомненно, — ответил ей Алексеев...

Чтобы он не слишком-то косился в сторону «бабья» и Распутина, из Царского Села ему привезли в подарок дорогую икону, и царица

сказала Алексееву, что это дар самого старца.

— Икону от Григория он принял, — рассказала она мужу, — а значит, бог благословит его штабную работу... Ники, почему ты стыдишься? Не бойся открыто афишировать имя Григория, гордись, что тебя любит такой великий человек. Если же Алексеев посмеет рыпаться, укажи ему на божественную мудрость нашего друга...

Брусилов прибыл в Ставку, где встретился с Алексеевым; он решил «торпедировать» Австрию немедленно и, отступая от шаблонов, задумал прорыв фронта в пяти пунктах сразу, чтобы запутать противника, чтобы Вена, будучи не в силах разгадать направление главного удара русских, не могла маневрировать своими резервами.

— Но, — сказал Алексеев, — государь император счел за благо отсрочить прорыв на две недели, и... планы меняются.

— Войска уже на исходных позициях. Где государь?

— Главковерх... спит.

— Разбудите! — потребовал нервный Брусилов.

— Я достаточно смел, чтобы разбудить главнокомандующего, но у меня не хватит храбрости будить самого императора...

Под храпение верховного Брусилов, на свой страх и риск, пошел ставить Австрию на колени. Он потерял в этой битве шестьсот тысяч солдат, но Габсбурги потеряли их полтора миллиона, а еще полмиллиона неряшливыми колоннами вытекали из дубрав Галиции и Буковины — сдавались в плен; эшелонами их вывозили в глубину русских провинций, где чехи, словаки, хорваты и сербы встретили самый радушный прием у населения... Кажется, что в истории Брусиловского прорыва все уже давно ясно! Но стоит коснуться его подоплеки, как сразу начинаются какие-то тайны. Эти тайны, я уверен, сопряжены с тем, что весной 1916 года Романовы были убеждены в скором наступлении мира. А потому геройский натиск армий Брусилова был сейчас крайне невыгоден царизму. Подозрительно, что остальные фронты не поддержали прорыва войск Юго-Западного фронта... Алиса снова прикатила в Могилев — к мужу.

— Аня передала мне слова нашего друга, он просит тебя, чтобы ты задержал наступление на севере. Григорий сказал, что если наступаем на юге, то зачем же наступать и на севере? Наш друг сказал, что видел на севере окровавленные трупы, много трупов!

Царь спросил — это опять «ночное видение»?

— Нет, на этот раз просто разумный совет...

Видя, что Брусилова не схватить за хлястик, царица из резерва вызвала могучее подкрепление в лице Анютки Вырубовой, явившейся в Ставку на костылях и с фурункулом на шее. Если верить Алисе, то Вырубова «тоже принесла счастье нашим войскам»!

— Не спеши, — уговаривала мужа царица, — не надо наступать так настойчиво. Что тебе это даст? Зачем ты трясешь дерево? Подожди осени, и созревший плод сам упадет тебе в руки...

От внушений она переходила к истерике:

— Скажи ты Брусилову, чтобы он, дурак такой, не вздумал залезать на Карпаты... Этого не хочет наш друг, и это — божье! А еще хочу спросить какой раз: когда ты избавишь нас от Сазонова?

И все время, пока русская армия наступала, Распутин был не в духе, он материл нашу армию, а царя крыл на все корки:

— Во орясина! Мир бы делать, а он поперся...

«Ах, отдай приказание Брусилову остановить эту бесполезную бойню, — взывала в письмах императрица, — наш Друг волнуется!» Брусилов не внял их советам — нажимал. Под его командованием русская армия доказала миру, что она способна творить чудеса. В результате Россия, будто мощным насосом, откачала из Франции одиннадцать германских дивизий, а из Италии вытянула на Восток шесть дивизий австро-венгерских: коалиция Антанты вздохнула с облегчением. Легенда о «русском паровом катке», способном в тонкий блин раскатать всю Европу, словно хороший блюминг, — эта легенда живуча...

* * *

Корней Чуковский, молодой и обаятельный, открыл дорогу в Англию, где его чествовали как достойного представителя российской интеллигенции (с ним были Набоков и Немирович-Данченко). Переводчик Уитмена и Оскара Уайльда, друг Ильи Репина и Маяковского, писатель острого глаза, он отметил, что «Англию

захлестнуло книгами о России, о русском народе. Даже „Слово о полку Игореве“ переведено на английский...». Британцы, подобно немцам, были экономны в расходах; газеты пестрели объявлениями — как из старой шляпы соорудить новую, как из газетной бумаги свернуть матрац и одеяло. Английская дама не шила себе туалета, ибо туалет равен стоимости четырех снарядов калибра в 152 мм. Дэнди не рисковал выпивать бутылку шампанского, цена которой — пять винтовочных обойм. Корней Чуковский записывал на ходу: «Проходите по улице и видите вывеску: „Фабрика швейных машин“. Не верьте — здесь уже давно собирают пулеметы. Вот другая вывеска: „Венские стулья“... Не верьте и ей — тут фабрикуют ручные гранаты...» После делегации русской интеллигенции британское правительство пригласило и парламентскую. Засим началась политика — довольно-таки кривобокая, ибо, едва ступив на берег Альбиона, профессор истории Милюков не придумал ничего умнее, как заявить англичанам: «Мы не оппозиция его величеству — мы лишь оппозиция его величества...» Бей нас, если мы такие глупые! А возглавлял парламентскую делегацию Протопопов — отсюда он финишировал в историю...

Английский парламент и его нравы потрясли русских думцев. Впереди спикера бежали герольды, согласно древней традиции кричавшие: «Пусть иностранцы уходят! Пусть они уйдут...» Хвост черной мантии спикера несли пажи, на головах секретарей качались седые букли париков времен Кромвеля. Спикер садился на мешок с шерстью, а депутаты располагались на длинных скамьях, говоря свои речи — без вставания. И никто не кричал ораторам: «Федька, кончай трепаться... Ты опять выпил!» На все запросы парламента был готовый ответ правительства, и невольно вспоминался Штюрмер, ходивший в павильоне Таврического дворца по стеночке, крадучись, будто кому-то должен, но вернуть долг не в состоянии. Министры, отвечая парламенту, опирались на ящик, в котором лежали Евангелие и клятва говорить правду, только правду, еще раз правду! А вечером, напомним легенды старого Лондона с ужасами убийств и грабежей, прошли по коридорам солидные привратники, выкрикивая старинный вопрос: «Кто идет домой? Кого проводить до дому?..»

Английские министры спрашивали Протопопова:

— Как могло случиться, что ваша страна, в которой все есть, ничего не имеет и постоянно содрогается в конвульсиях?

— Это наша вина, — отвечал Протопопов. — Мы сами не знаем, чего хотим. Уверен, что все русские в душе жаждут снова иметь на своих шеях Столыпина... Мы нежно тоскуем о диктатуре!

Семь тысяч жирных десятин земли, суконные фабрики, дворянское происхождение, общественное положение и, наконец, блестящее знание английского языка — этот комплекс преимуществ заметно выделял Протопопова среди прочих думцев. Но вдумайтесь: всю жизнь человек провел за кулисами активной жизни, изображая только «голос певца за сценой», и никак не удавалось дать сольный концерт в заглавной роли души-тенора... Парламентская делегация России вернулась в Петроград 17 июня, а Протопопов задержался по дороге в Стокгольме, и здесь историки ошупью пробираются под покровом занавеса, опущенного над свиданием Протопопова с немецким дипломатом Варбургом. «Навыи чары» заманивали октябриста в туманные дебри войны и мира... На самом деле все было просто!

Шведский банкир Ашберг сказал Протопопову:

— Вас желает видеть представитель германского посольства Варбург, и мы обеспечим тайну этого свидания...

Свидание подготовили три капиталиста: Ашберг — шведский банкир, Гуревич — русский коммерсант, Полляк — нефтепромышленник из Баку (все трое — сионисты!). В стокгольмском «Гранд-отеле» состоялась встреча Протопопова с Варбургом.

— Вы, — начал Варбург, — имели неосторожность поместить в английской прессе статью, что у вас появился новый союзник — голод в Германии. Это не совсем так. Да, у нас карточная система. Но мы рискнули на ограничение продуктов не потому, что испытываем голод. Просто мы, немцы, привыкли все приводить в систему. Мы не пресекаем события, мы их предупреждаем... — При этом Варбург с умом не коснулся карточной системы на сахар в России, ибо он наверняка знал, что как раз в это время Брусиллов хотел повесить киевских сахарозаводчиков Бродского и Цейтлина (за то, что они продавали в Германию украинский сахар!). — Война, — продолжал Варбург, — потребует еще немало крови, однако никакой выгоды

нашим странам не принесет. Общие очертания границ останутся прежними, но Курляндия должна принадлежать Германии, а не России, к которой она привязана слишком искусственно.

— Латыши не привязаны к нам искусственно, — справедливо заметил Протопопов. — Их давнее тяготение к России известно.

— Латыши, — отвечал Варбург, — это... мелочь!

— Но поляки-то уже не мелочь.

— Верно, — согласился Варбург, — и Польша должна стать самостоятельной... в этнографических границах.

Протопопов отвечал на это весьма толково:

— Если вы обеспокоены созданием Польши в ее этнографических границах, тогда вы сами понимаете, что в состав польского государства войдут и те области Германии, которые населены исключительно поляками... Хотя бы промышленная Силезия!

Варбург сделал крайне изумленное лицо:

— Но в рейхе нет поляков! Поляки есть только в России и в Австрии, а германские поляки, спроси любого из них — и они скажут, что счастливы принадлежать к великой германской нации...

Гнусная ложь! Из-под маски учтвого немецкого дипломата вдруг проступило клыкастое мурло «высшей расы». Далее коснулись Эльзаса и Лотарингии; сербов и бельгийцев Варбург даже чуточку пожалел, а в заключение он бурно ополчился против Англии:

— Эту бойню вызвала к жизни политика лондонского кабинета. Если бы в июле четырнадцатого Англия твердо определила свою позицию — войны бы не было (в чем Варбург отчасти прав). Лондон заварил это гнусное пиво, от которого бурчит в животе у меня и у вас. Так не лучше ли вам, русским, отвернуться от вероломной Англии и обратиться к нам с открытым забралом?..

Нащупывая скользкую тропинку к миру, беседу вели два видных капиталиста — Протопопов с его ситцевыми фабриками и Варбург, гамбургский банкир, который до войны обслуживал германские интересы в Русско-Азиатском банке. Скреплял же их рукопожатие Лев Соломонович Полляк — директор правления нефтепромышленного общества «Кавказ», он же директор московского филиала нефтепромышленного общества «Мазут» (нефть и мазут — кровь XX века!).

В бадмаевской клинике его встретил Распутин.

— А ты с башкой! — похвалил он Протопопова.

— Пациент очень дельный, — согласился Бадмаев.

А большой знаток тюремного быта и любитель блатных песен, «безработный» генерал Курлов хрипло пропел Протопопову:

Эх, будешь ходить ты — вся золотом шитая,
спать на парче да меху!

Эх, буду ходить я — вся морда разбитая,
спать на параше в углу!

— Сашка, — сказал он потом, — ты имеешь на руках такие козыри, что будешь полным кретином, если сейчас продуешься...

— Я мечтаю о министерстве торговли и промышленности, и я уверен, что Дума и Родзянко поддержат мою кандидатуру.

— Дерьмо, а не министерство. Нашел о чем мечтать! Пуды-то да фунты мерить? Пойми: эм-вэ-дэ — это пупок всей власти...

«Голос певца за сценой» приближался. Боже мой, как он исполнит свою арию! Самое удивительное, что Протопопов не сфальшивит.

* * *

Распутин был такой пьяный, что когда Вырубова звонила ему из Царского Села, спрашивая о том думце, что ездил в Англию и задержался проездом в Стокгольме, — тогда Гришка, не будучи опохмелен, все перепутал и переврал фамилию Протопопова:

— Калинин, кажись, хрен его знает!

Царю так и доложили, что с Варбургом беседовал Калинин.

— Калинин? — удивился царь. — Но я такого не знаю...

Об этом Протопопову поведал огорченный Бадмаев:

— Напился, свинья... Даже фамилию друга забыл. Сколько раз я ему твердил: не пей — сам погибнешь и всех нас погубишь.

Протопопов, громко рыдая, звонил на Гороховую:

— Как вы могли? Меня, дворянина, мало того, предводителя дворянства, и вдруг... так подло извратили мою фамилию!

— Да не серчай... Стока народу крутится, рази всех тут упомнишь! А чем тебе, дураку, плохо быть Калининым?

Под этой кличкой он и был зашифрован в Царском Селе.

12. Голоса певцов за сценой

— У меня был Распутин и, кристально трезвый, сказал, что его «осенило» в отношении вас. Он сейчас недоволен автономностью Штюмерера, а вы... Почему бы вам не стать премьером?

— Господи! — отвечал Протопопов. — Что так много обо мне разговоров? Мне светит звезда министра торговли.

— Слушайте Пашу: хватайтесь за эм-вэ-дэ...

В этом тоже была подоплека. За время «безработицы» Курлов так много задолжал Бадмаеву, что тот был в отчаянии. Провести жандарма в МВД врач не мог, но зато можно провести Протопопова, Сашка потянет за собой Пашку, и тогда Курлов вернет долги... Логика железная! А по законам Российской империи, человек, не оплативший векселей, не вправе занять пост министра. «Протопопов — наша последняя карта». Именно так было решено в кругу сионистов, и они сразу же, без промедления, схватили его за жабры. Симанович, скромно именовавший себя «евреем без портфеля», нагло заявил кандидату в министры внутренних дел, что в любой момент они могут объявить его несостоятельным должником.

— Ваши векселя у меня, — сказал ювелир.

Николай II как раз вызывал Протопопова в Ставку, все складывалось столь удачно, и вдруг... эти векселя! «Навьи чары» скользили за окном, оплывая, словно воск старинных свечей.

— Дайте мне сто пятьдесят тысяч, — взмолился Протопопов.

— Дадим! Но вы же не погасили прежних долгов.

— О боже! — закатил глаза Протопопов. — Сразу, как я стану министром, я верну вам все... все-все, даже с лихвою!

Свидания Протопопова с еврейской мафией происходили тайно в доме № 44 по Лиговке, где жила княгиня Мария Мышецкая, урожденная Мусина-Пушкина (двоюродная сестра Протопопова). Сионисты уже поддели на крючок запутавшегося в долгах Добровольского, теперь зацепили за кошелек и Протопопова... Симанович писал: «Мы взяли с него обещание что-нибудь сделать для евреев. Мы заверили его, что почва в этом отношении уже подготовлена нами и дальнейший успех зависит исключительно от его

ловкости и умелости...» Протопопов сказал, что в разговоре с царем хотел бы в первую очередь коснуться злободневного «продовольственного вопроса», но Симанович грубо пресек его:

— Сначала — евреи, а жратва — потом...

«Еврейский вопрос — это выдумка! Российскую империю населяло множество угнетенных народов, так или иначе бесправных. Если вникнуть в суть дела, то якуты имели еще больше прав на выдвижение якутского вопроса, таджики могли поставить свой — таджикский, армяне — армянский, а чукчи — чукотский... Да и о каком, спрашивается, „бесправии“ могли толковать рубинштейны и манусы, гинцбург и симановичи, владевшие банками, державшие конторы на Невском, хозяева редакций и универсальных магазинов? Может, их беспокоила трагическая нужда сапожника Ицека Хаймовича из заштатной Хацепетовки? Или они тревожились за бердичевского портного Мойшу Шнеерзона, сгорбленного над перелицовкой задрипанных штанов? Леонид Утесов, сын одесского еврея, описал нам только одну ночь своего отца, проведенную им без права жительства на скамейке в садах Петербурга, — и это действительно страшно! Но подлинно бесправные евреи-труженики никогда и не были сионистами: напротив, все свои надежды на равноправие они возлагали на единение с русским народом, который сокрушит систему угнетения множества больших и малых народов империи.

Звонком по телефону Штюрман объявил Протопопову, что сегодня вагон будет подан — можно ехать. Протопопов накануне не выспался, так как всю ночь провел в салоне госпожи Рубинштейн, страстной спиритки, и сообща они вызывали могучий дух Столыпина, который под утро явился к ним и произнес в утешение одно коротенькое слово из трех букв, на что банкирша сказала: «Это он... Как же я сразу не догадалась?» Александр Дмитриевич, изможденный, заснул на плюшевых диванах купе, разбудил его визг тормозов.

— Ставка! — объявили ему...

Протопопов не стал умываться, а сразу нацепил пенсне. Могилев встречал его клубами паровозного дыма из распахнутых ворот депо, серыми досками перрона, рыхлыми заколоченными дачами на огородных окраинах... Вот первый вопрос императора:

— Вы видели английского короля Георга Пятого? Скажите, так ли я похож на него лицом, как это все говорят мне?

— Ваше величество, — отвечал Протопопов, — это не вы похожи на него, это он старается походить на вас...

Царю такая лесть показалась приличной (хотя Протопопов украл острогу у Виктора Гюго). Позже он дал показания: «У меня был довольно долгий разговор с государем... после обеда он мне сказал: „А теперь мы поговорим“. Я ему подробно говорил о еврейском вопросе... потому что я его довольно широко поставил!»! Конечно, если бы Протопопов заострил не еврейский, а половой вопрос, царь все равно, как человек воспитанный, и этот вопрос выслушал бы с пониманием общей сути дела. Сейчас его больше волновало свидание Протопопова с Варбургом, но коли уж завели разговор о евреях, Николай II поддержал эту тему, не догадываясь, что в данном случае он, император, оплачивает те самые векселя, которые были учтены Ароном Симановичем и его компанией... Протопопов сумел произвести на государя приятное впечатление, ибо помнил слова Курлова о козырях, которые попадают в руки игрока не так уж часто. На прощание государь сложил руку дощечкой и протянул ее:

— Александр Дмитриевич, благодарю вас от души. А вы уже посетили госпиталь моей супруги? Как он вам показался?

Тут Протопопов понял, что хоть сам без штанов оставайся, но сто тысяч рублей надобно подарить государыне, а это значило, что предстоит и дальше залезать в долги к Симановичу...

1 июня Штюрмер был назначен *диктатором*! Указ об этом ордонансе русской истории царь уже заготовил, но опубликовать его не решился. Выжидал. А генералы в Ставке выковывали свою диктатуру — военную, замышляя свержение Николая II и заточение его жены, чтобы передать власть русской буржуазии. Самодержавие еще существовало, но в преисподней царизма уже вызревали будущие режимы корниловщины, деникинщины и колчаковщины... Лето 1916 года — жаркое, удушливое, бурные теплые ливни не освежали земли.

* * *

Люди, близко знавшие Николая II, писали, что царь вообще никого (кроме сына) не любил. Он имел собутыльников, но друзей — никогда! Вокруг него было много убежденных монархистов, но мало кто из них уважал самого монарха. Двор, как это ни странно, стоял в глухой оппозиции к царскому семейству. А родственник клан Романовых, великие князья и княгини, с показной нарочитостью подчеркивал свою обособленность от Царского Села. Престолонаследник, мальчик Алексей, однажды спрашивал у матери:

— Почему у всех есть бабушки, а у меня нету?

— Не болтай глупостей, — отвечала императрица. — Твоя бабушка не любит нас, и ты ей не нужен...

Алиса обладала особым талантом — она умела вызывать к себе ненависть людей, даже любящих ее. Великая княгиня Елизавета Федоровна (Элла Гессенская) навестила как-то Царское Село и сказала сестре, что ее, императрицу, очень не любит вся Россия.

— Я тоже так думала, — отвечала Алиса. — Но теперь убедилась в обратном. Вот целая пачка писем от простых русских людей, которые видят лишь свет моих очей, уповая на одну лишь меня... А ненависть я испытываю только от столичного общества!

Правда, она не знала, что Штюрмер сам писал такие восторженные письма, якобы от имени простонародья, и через охранку рассылал их по почте на имя царицы, а она захлеб читала: «О, мудрейшая мать Отечества... о, наша богиня-хранительница...»

— Лучше б я не приезжала, — сказала Элла.

— И уезжай с первым же поездом, — ответила ей сестра...

В этом году с треском проваливалась монархическая кинопропаганда, затеянная Хвостовым. Едва лишь на экране показывалось царское семейство, как в зале раздавались смешки:

— Царь — с Георгием, а царица — с Григорием...

Сначала на кинозрителей напустили полицию. В зале вспыхивал свет и следовал грозный окрик:

— Кто посмел отзываться неуважительно?

Молчание. Гас свет. На экране снова возникали фигуры царя и царицы. И темноту опять оживлял людской говор:

— Царь-то — с Георгием, а царица — с Григорием...

Кинохронику пришлось зарезать! Лето 1916 года было для царя временем вялым, пассивным, пьянственным. Лето 1916 года было для

его жены периодом активным, деятельным, настырным. Словно челнок в ткацкой машине, Алиса ерзала между Царским Селом и Ставкой в Могилеве, интригуя отчаянно (шла сортировка людей на «наших» и «не наших»). Распутин утешал императрицу, что на случай революции у них есть верное средство: «Откроем фронт перед немцами, и пушай кайзер сюды придет и порядок учинит. Немцы, они люди строгие... не балуют!» Спасти могло и заключение мира. «Сазонов мне надоел, надоел, надоел!» — восклицала царица. Николай II вполне разумно доказывал ей, что отставку Сазонова трудно объяснить союзникам по коалиции. Министр иностранных дел сейчас столкнулся со Штюмером! Штюмер был против автономии Польши, а Сазонов стоял на том, что после войны Польша должна стать самостоятельным государством, и он все-таки вырвал у царя манифест о «братских чувствах русского народа к народу польскому». Торжествуя, Сазонов отъехал в Финляндию, чтобы послушать шум водопадов и успокоить свои нервы. «Я хочу выспаться», — говорил он...

Друг российских фармазонов,
Проклиная Петроград,
Удалился лорд Сазонов
На финляндский водопад.
Нас спасает от кошмаров,
Болтовни и лишних нот
Ныне Бурхард Вольдемаров
Штюмер — русский патриот...

А Распутин все бубнил и бубнил о Сухомлинове:
— Старикашка-то за што клопов кормить обязан? Ежели всех стариков сажать, так кудыть придем?

Алиса призвала к себе министра юстиции Александра Александровича Хвостова, который был родным дядей бывшего министра внутренних дел («убивца»!). Два часа подряд она размусоливала ему о невинности Сухомлинова, потом, возвысив до предела свой голос, требовала: «le veux, j'exiga quit soit libere» (Я хочу,

я требую, чтобы он был освобожден). Хвостов не соглашался: суд был, суд приговор вынес, а он не может освободить преступника.

— Почему не можете? — кричала царица. — Вы не хотите освободить, ибо об этом прошу вас я! Вы просто не любите меня.

— Но ведь у меня тоже есть моральные убеждения.

— Не нуждаюсь в них. Вы освободите Сухомлинова?

— Нет.

— Ох! Я устала от всех вас...

На место нового министра юстиции она посадила А. А. Макарова, что был министром внутренних дел сразу после убийства Столыпина. Макарову о его назначении сообщил Побирюшка, которому анекдотическая ссылка в Рязань пошла на пользу: он еще больше растолстел.

— Вы вот спите, — упрекнул его Побирюшка, — а я кое-где словечко замолвил, и — пожалуйста: правосудие России спасено!

— Удивляюсь, — отвечал Макаров. — Ведь я знаю, что в самом грязном хлеву империи уже откармливают на сало хорошего поросенка — Добровольского, и он во сне уже видит перед собой обширное корыто с невыносимым пойлом... Как ошиблась императрица! А куда смотрел Распутин, которого я ненавижу всеми фибрами души?

— Распутин, кажется, проморгал...

Узнав о назначении Макарова в министры юстиции, Гришка заревел, как бык, которого хватили обухом между рогами:

— Какая же стерва обошла здесь меня?

Макарова провели в юстицию Штюрмер с царицею, словно забыв, что этот человек — враг Распутина! Гришка слег в постель, велел Нюрке набулькать в кухонный таз мадеры и стал пить, пить, пить... Один таз опорожнил — велел наполнить второй.

— Да вить лопнешь, дядя! — сказала племянница.

— Лей... дура. Много ты понимаешь!

До себя он допустил только Сухомлинову.

— Вишь, как стряслось! — сказал, лежа на кровати в новой рубахе и разглядывая яркие носки сапог. — Я бы твоего старичка из крепости выдернул. Да тута Макаров, анахтема, влез в юстицку, быдто червь в яблоко, а я, глупый, Добровольского-то уже намылил, штобы проскочил без задержки... Эхма, сорвалось!

Между Царским Селом и царскою Ставкой шло как бы негласное состязание — кто кого пересилит? Императрица свергла из юстиции А. А. Хвостова и провела в юстицию А. А. Макарова. Тогда генералы взяли уволенного А. А. Хвостова и сделали его министром внутренних дел. Игра шла, как в шашки: «Ах, ты сюда сходила? Ну, так мы сюда пойдем...» Распутин в эти дни сказал:

— Ша! Боле переменок не допущу. Папашка глупостей там наделает. Его, как ребенка малого, без призору одного оставить нельзя. Завтрева же мамашку настропалю и пушай в Могилев катит. Днем-то он порыпается, а ночью, кады в постель лягут, она ему как муха взудит в уши все, что надо...

Было два часа ночи — на квартире Манасевича-Мануйлова зазвонил телефон. Ванечка неохотно снял трубку.

— Кой черт меня будит?

— Не лайся. Это я. Распутин.

— А что у тебя?

— Приезжай.

— Ты один?

— Нет, тут Софка Лунц, ее завтра в больницу кладут.

— А что с нею?

— Не знаю. По женской части.

— Ладно. Приеду.

Сухомлиновой не было — ее заменяла Софья Лунц, красивая пожилая еврейка, жившая с того, что Распутин оплачивал ее любовь рублями — как уличной потаскухе.

— Что случилось? — спросил Ванечка, входя.

— У нас дикие неприятности, — сообщила Лунц.

Ванечка еще никогда не видел Гришку таким растерянным, его глаза призрачно блуждали, движения были вялыми.

— Хоть беги, — сказал он. — Такие дела... Глаза б мои не глядели! Макарова без меня провели — он и насобачил. Борька Суворин стрельбу на Невском открыл, а юстицка эта вшива взяла да арестовала — кого б ты думал? — самого умного банкира...

Был арестован банкир царицы Митька Рубинштейн!

— А тут еще Софку в больницу кладут...

— Ну, со мною-то все обойдется, — сказала Лунц, закуривая. — Одно-два прижигания, и я снова здоровая. А вот с Митькой

Рубинштейном предстоит повозиться. Шум будет страшный...

Софья Лунц легла в больницу, куда к ней повадился шляться и Распутин. По стремянке он влезал в палату второго этажа через окно. Откуда такое пылкое нетерпение — не понимаю! Но врачи накрыли их в темноте, и санитары, мужики здоровущие, Распутина вышибли в окно, а болящую даму спустили по летнице... Эта мадам Лунц должна — по планам Симановича — начать действовать лишь тогда, когда в министры пройдет Протопопов...

Граф Витте уже второй год лежал в могилке, а бомба замедленного действия, подложенная им под «Новое Время», сработала только сейчас. Лунц не ошиблась: шум был страшный... Прохожие на Невском проспекте слышали звон разбитых стекол — это вылетели окна в клубе журналистов и на подоконнике показалась фигура Борьки Суворина в клетчатых брюках лондонского фасона. Прохожие шарахнулись в разные стороны, когда отважный издатель открыл трескучую канонаду из револьвера, крича при этом?

— Люди русские! У меня нет другого выхода, как иначе привлечь внимание передовой русской общественности... Жидовня поганая захватила мою газету! Слушайте, слушайте, слушайте...

Закрутилась машина полицейского сыска, и Макаров удивился, когда узнал, что акции «Нового Времени» — в руках Рубинштейна. Подпольные связи сионистов уводили очень далеко — вплоть до Берлина... Вскормленный с острия юридического копья, пеленутый в протоколы полицейских дознаний, Макаров ткнул в букву закона:

— Вот! Немедленно арестовать Рубинштейна с братьями, взять под стражу его агента, журналиста Лазаря Стембо из «Биржевых Ведомостей», который служит секретарем в германофильском салоне графини Клейнмихель, урожденной графини Келлер...

«Это дело вызвало внимание всей России, — писал Аарон Симанович. — Все евреи были очень встревожены. Еврейство устраивало непрерывные совещания, на которых говорилось о преследованиях евреев... Я должен был добиться прекращения дела Рубинштейна, так как оно для еврейского дела могло оказаться вредным». Первым делом Симанович подцепил под локоток жену Рубинштейна и привел ее на Гороховую, где миллионерша горько рыдала, расписывая все ужасы гонений на ее бедного мужа... Она говорила:

— Страшный антисемитизм! Такого не было и при Столыпине.

— Едем! — крикнул Распутин, хватая шапку.

Царица приняла их в лазарете, еще ничего не зная. А когда узнала, что Рубинштейн арестован, у нее перекошило рот. Военная комиссия генерала Батюшина взяла дело Рубинштейна в свои руки, контрразведка Генштаба могла вытряхнуть из банкира всю душу, и тогда откроется, как она, императрица, переводила через Митьку капиталы во враждебную Германию... Запахло изменой и судами!

— Я еду в Ставку, — сказала она жене Рубинштейна. — Обещаю вам сделать все, чтобы пресечь антисемитские злодеяния...

А Макаров и Батюшин уже докопались, что Рубинштейн через банки нейтральных государств выплачивал деньги кредиторам, состоявшим в германском подданстве. Он очень ловко спекулировал хлебом на Волге, искусственно создавая голод в больших городах России, он играл на международной бирже на понижение курса русских ценных бумаг, он продавал — через Персию — русские продукты в Германию, он закупал продукты в нейтральных странах и кормил ими немецкую армию... Лязгнули запоры камеры — Митька Рубинштейн встал, когда увидел входившего к нему министра юстиции.

— Александр Александрович, — сказал он Макарову, — я же ведь директор «Русско-Французского банка», и Россия просто не сможет воевать без меня... Я — тончайший нерв этой войны.

— Вы... грыжа, которую надо вырезать.

— Но в Царском Селе широко известна моя благотворительная деятельность на пользу солдатских сироток. Наконец...

— Наконец, — перебил его Макаров, — сидеть в столице вы не будете. Я запираю вас в псковской каторжной тюрьме!

Макаров, сам того не ведая, нанес по распутинской банде такой удар, от которого трещали кости у самой императрицы. Она приехала в Могилев возбужденная; вот ее подлинные слова: «Конечно, у Митьки были некрасивые денежные дела, но... у кого их нету? Будет лучше, Ники, если ты сошлешь Рубинштейна в Сибирь, но потихоньку, чтобы не оставлять его в столице для раздражения евреев... А знаешь, кто его посадил? Это же так легко догадаться — Гучков (!), которого я так страстно желала бы повесить...»

Дался ж ей этот Гучков, которого она видела не сидящим, не лежащим, а непременно повешенным. Как же ей, хозяйке земли Русской, освободить Сухомлинова и Рубинштейна? Распутин сказал:

— Чепуха! Сменим Макарова — поставим Добровольского... А что? Выкручиваться как-то ведь надо. Юстицка — это юстицка...

* * *

Сазонов отдыхал в Финляндии, когда Палеолог навестил министерство иностранных дел; посла принял товарищ министра Нератов, человек недалекий и крайне осторожный. Тем более было странно слышать от этого сдержанного чиновника несдержанное признание:

— Кажется, мы потеряем Сазонова...

Был зван на помощь и английский посол Бьюкенен.

— Я и Палеолог, — сказал он, — что могли бы сделать мы лично, дабы предупредить отставку Сазонова?

— Вы ничего не сделаете, — отвечал им Нератов, — ибо одно лицо, близкое к верхам, информировало меня о том, что проект указа об отставке Сергея Дмитриевича уже заготовлен.

— Какова же причина будет указана?

— Кажется, мигрень и... бессонница Сазонова.

Дипломатический мир Антанты пребывал в тревоге, которую легко объяснить. Сазонов был вроде сиделки при родах войны, Сазонову же предстояло, казалось бы, устранить ее грязный послед...

Нератов предупредил послов:

— На место Сазонова готовится... Штюрмер!

«Ах, грядущий день неведом!» —
Мыслит, сумрачен и строг,
Светских дам кормя обедом,
Господин Палеолог.
«Здесь случилось очень быстро
Много странных перемен» —

Так про нового министра
Пишет в Лондон Брюкенен.

Штюрмер встретил Палеолога на улице, восклицая:

— Никакой пощады злейшему врагу человечества! Никакой милости Германии! Моя горячо любимая, моя православная Русь вся, как один человек, грудью встает на борьбу с вандализмом кайзера...

Фразеология вредна. А патриотизм, как и юношеская любовь — чувство крайне стыдливое. О любви не кричат на улицах.

13. «Про то попка ведает...»

Когда портфель с иностранными делами оказался в руках Штюрмера, германская пресса взвыла от восторга — царизм помахал Берлину белым флагом. Но кого угодно, а Штюрмера Антанта переварить не могла. С берегов Невы радиостанция «Новая Голландия» пронизывала эфир импульсами срочных депеш, которые подхватывала антенна Эйфелевой башни в Париже. Под страшным напряжением политики гудел электрокабель, брошенный англичанами в древние илы океанских грунтов — от барачного поселка Романов-на-Мурмане (будущий Мурманск) до респектабельного Лондона...

Сазонов воспринял отставку спокойно. Бьюкенен отправил в здание у Певческого моста письмо — угрожающее:

«Если император будет продолжать слушаться своих нынешних реакционных советчиков, то революция, боюсь, является неизбежной. Гражданскому населению надоела административная система, которая в столь богатой естественными ресурсами стране, как Россия, сделала затруднительным для населения... добывание многих предметов первой необходимости даже по голодным ценам».

Летом 1916 года на полях России вызревал неслыханный урожай, какой бывает один раз в столетие. Этот урожай соберут весь — до зернышка! Бабы, мальчишки и старики. Но вот куда он денется — черт его знает... Костлявые пальцы голода уже примеривались удушать детей в младенческих колыбелях.

* * *

Осознав мощное закулисное влияние Распутина на министерскую чехарду, англичане, верные своей практике, посадили к нему шпиона. Это была изящная леди Карруп, прибывшая в русскую столицу с мольбертом и кистями, имея задание от Интеллидженс сервис

написать с Гришки портрет. Всегда падкий на любую славу, Распутин охотно позировал, а леди, орудуя кистью, занималась «промыиванием» Гришкиных мозгов. Слово за слово — и политическое кредо Распутина прояснилось. Он обогатил сознание леди известием, что все русские министры — жулье страшное, что царь — из-за угла пыльным мешком трахнутый, что «царица — баба с гвоздем», а России надобно выйти из войны и устраивать внутренние проблемы.

— Чтобы народец не закочевряжился! — сказал Гришка.

Леди Карруп не мечтала о славе Виже-Лебрэн или Анжелики Кауфман — портрет писался ею сознательно долго — до тех пор, пока Распутин не выбросил художницу на лестницу со словами: «Я вижу, стерва, чего ты хочешь! Да посмотри на рыло свое — кожа да кости...» Портрет остался неокончен, и заодно с бюстом Распутина работы Наума Аронсона он дополнил небогатую иконографию Григория Ефимовича. Но это все может скорее заинтересовать искусствоведов, а мы пишем роман политический...

Мунька Головина с папирсой в зубах исполнила для Гришки мещанский романс, аккомпанируя себе на раздрызганном рояле:

Одинок стоит домик-крошечка,
Он на всех глядит в три окошечка,
На одном из них — занавесочка,
А за ней висит с птичкой клеточка,
Чья-то ручка там держит леечку,
Знать, водой поит канареечку.
Много раз сулил мне блаженство ты,
Но как рок сулил — не сбылись мечты...

— Тары-бары-растабары, — сказал Распутин. — Что делать со Штюрмером, ядри его лапоть, ума не приложу. Избаловался. С бантика сорвался. Козелком решил прыгать... без меня травку щиплет!

— Господи, — вздохнула Мунька, — так сбрось его.

С отчетливым стуком хлопнула крышка рояля.

— Протопопова надо скорей вздымать, — решил Гришка. — Правда, мозги у него крутятся, ажно страшно бывает. Но я его, сукина сыночка, так взнуздаю, что он света божьего не взвидит...

Были первые числа августа. Расстановка имперских сил не радовала распутинского сердца. Штюрмер — премьер и «наружный». Макаров правит в юстиции, на место «внутреннего» посадили дядю Хвостова, смещенного с юстиции, а генерал Алексеев (чтоб он костью подавился!) иконку от Распутина поцеловал, но никаких серьезных выводов для себя не сделал... Так дальше дело не пойдет.

— Клопы все. Кусачие. Чешусь я, хосподи...

До самой осени русская Ставка не ведала стратегических «сновидений» от Распутина — он был целиком поглощен делами своими, делами Сухомлинова и Рубинштейна; лишь иногда царица долбила царя по темени, чтобы он задержал Брусилова: «Ах, мой муженек, останови это бесполезное кровопролитие, почему они лезут словно на стенку?» Карпаты, утверждала она, нам ни к чему, генералы сошли с ума, министры дураки, а косоглазый Алексеев вступил в тайную переписку с Гучковым, которого давно надо повесить. В письмах царицы часто мелькали буквы — П., Р. и Б. (Протопопов, Распутин и Бадмаев); ея величество высочайше изволили подсчитать, что Гучков ровно в 40 000 000 раз хуже любого разбойника...

Математика — наука точная! Неужели?

* * *

Макаров говорил, что подкуплен был единожды в жизни — Побирушкой, устроившим его сына в институт. Министр юстиции полагал, что темные нечистые силы влияния на него не оказывают. Во всяком случае, посадив в тюрьму Митьку Рубинштейна, он нацелил свое недреманное полицейское око на Манасевича-Мануйлова.

— Мне попалось досье на вас, милейший Иван Федорович, а вас давно требуют выдать правительства Италии и Франции.

— За что?

— За мошенничества.

— Если давно требуют, так чего ж давно не выдали?

— А я вот возьму да выдам.

— Кому — Италии или Франции?

— Попролам разорву, как тряпку...

Обыски и аресты были обычны; посадить человека стало так легко, будто прикурить от спички. Манасевич пребывал сейчас в азарте накопления. Война — удобное время для наживы, а «бараны, — говорил Ванечка, не стесняясь, — на то и существуют, чтобы их стригли». Меньше двадцати пяти тысяч рублей он не брал. Счета в банке росли, как квашня на дрожжах. Посредничая между мафией и банками, между Штюрмером и Распутиным, между Синодом и кагалом, он скоро зарвался. Как и все крупные аферисты, Манасевич попался на ерунде! Он и раньше шантажировал банки, откупавшиеся от него плотными пакетами. Сейчас он провоцировал Московский банк, который взятку ему дал, но — по совету Макарова! — записал номера кредитных билетов. Ванечку арестовали на улице Жуковского, когда он с Осипенко выходил из подъезда своего дома. Загнали обратно в квартиру, учинили обыск и нашли пачку крупных купюр с уличающей нумерацией... Отвертеться трудно — повели в тюрьму! Штюрмера в это время не было в столице. Ванечка один глаз открыл пошире, а другой плотно зажмурил, симулируя приближение «удара» (так называли тогда современный инфаркт). Арест и следствие проводили военные власти под наблюдением министерства юстиции... Распутин в ярости называл в Царское Село — Вырубовой:

— Макаров, анахтема, погубить меня удумал! Ведь Ванька-то моей охраной ведал... Как же я теперь на улице покажусь? Ведь пришибут меня, как котенка. Ой, жулье... Ну, жульё!

Манасевич сел крепко, и царица кричала:

— Боже мой, что делается! По улицам безнаказанно бродят тысячи мерзавцев, а лучших и преданных людей сажают...

Манасевич прикрывал аферы Рубинштейна, он страховал царицу из самых глубоких тылов — из недр полиции, из туннелей охраны, скажи он слово — и все лопнет... Распутин был подавлен.

— Ну нет! — сказала ему императрица. — Пока Макаров в юстиции, я вижу, что помереть спокойно мне не дадут.

— Вот вишь, — отвечал Гришка, — что случается, кады министеров ты, мамка, без моего благословения ставишь...

Алиса придвинула к себе лист бумаги: «Макарова можно отлично сместить — он не за нас... Распутин умоляет, чтобы скорее сместили Макарова, и я вполне с ним согласна». Алиса рекомендовала мужу

подумать над кандидатурой Добровольского, за которого Симанович ручается, как за себя; на это царь отвечал, что Добровольского знает — это вор и взяточник, каких еще поискать надо.

— Ах, господи! — волновалась царица. — Когда это было, а сейчас Добровольский живет на одном подаянии. Вор и взяточник? Но, помилуйте, фамилия Добровольских очень распространенная... Может, вор и взяточник его однофамилец?

Царь проверил и отвечал — нет, это тот самый!

Положение осложнялось. Распутин негодовал:

— Ну и жистя настала! Хотел в Покровское съездить, так не могу — дела держут. Пока Сухомлинова, Митьку да Ваньку из-за решетки не вытяну, домой не поеду... Буду страдать!

Из Ставки вернулся в столицу Штюрмер и не обнаружил начальника своей канцелярии. Лидочка Никитина сказала:

— Закоптел Ванечка... увели его мыться.

— Кто посмел?

— Старый Хвостов указал, а Макаров схватил...

Штюрмер срочно смотался обратно в Ставку, вернулся радостный, сразу же позвонил А. А. Хвостову-дяде.

— Вы имели удовольствие арестовать моего любимого и незаменимого чиновника — Манасевича-Мануйлова, а теперь я имею удовольствие довести до вас мнение его величества, что вы больше не министр внутренних дел... Ну, что скажете?

Телефон долго молчал. Потом донес вздох Хвостова:

— Да тут, знаете, двух мнений быть не может. Я верный слуга его величества, и если мне говорят «убирайся», я не спорю, надеваю пальто, говорю «до свиданья», и меня больше нету...

Потом Штюрмер позвонил на квартиру Протопопова.

— Александр Дмитрич, я имел с государем приятную беседу о вас... Подтянитесь, приготовьтесь. Вас ждут великие дела! — В ответ — молчание. — Алло, алло! — взывал Штюрмер.

Трубку переняла жена Протопопова.

— Извините, он упал в обморок. Что вы ему сказали.

— Я хотел только сказать, что он — эм-вэ-дэ!

— С моим мужем нельзя так шутить.

— Мадам, такими вещами не шутят...

Манасевич-Мануйлов на суде тоже не шутил.

— У кого в жизни не бывало ошибок? — защищался он. — Меня обрисовали здесь хищником и злодеем. Но моя жизнь сложилась так, что, служа охранке, я больше всех и страдал от этой охранки...

Суд присяжных заседателей признал его виновным по всем пунктам обвинения, в результате — получи, дорогой, полтора года арестантских работ и не обижайся. Ванечка зажмурил и второй глаз, симулировал «удар». Из суда его вынесли санитары на носилках... «На деле Мануйлова, — диктовала царица в Ставку, — прошу тебя написать ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО...» Вырубовой она сказала:

— Просто я не хочу неприятных разговоров в Петрограде, о нас и так уже много разной чепухи болтают в народе...

...Манасевича-Мануйлова освободит Протопопов!

* * *

Из показаний Протопопова: «Распутин, которого я видел у Бадмаева, сказал, что его „за меня благодарили“... все дело случая отношений моих к Бадмаеву и Распутина к нему же, а затем к Курлову и ко мне. В это же время я услышал от Распутина фамилию Добровольского как министра юстиции. Вскоре я уехал в Москву и в деревню; приблизительно через недели три, около 1 сентября 1916 года, получил депешу от Курлова: „Приезжай скорее“.

Курлов сам и встречал Протопопова на вокзале.

— Венерикам всегда везет — езжай в Ставку.

— Паша, я боюсь... Мне так страшно!

— Не валяй дурака, — отвечал Курлов.

В вокзальном буфете октябрист взял стаканчик сметаны и булочку с кремом. Подле него сидел с унылым носом «король русского фельетона» Власий Дорошевич, похмелявший свое естество шипучими водами; он сравнил Протопопова с бильярдным шаром:

— Сейчас вас загонят в крайний правый угол.

— Но я никогда и не считал себя левым.

— Тогда все в порядке: вам будет легко помирать...

При свидании с царем Протопопов увидел всю Россию у своих ног, и Николай II утвердил его в этом святом убеждении.

— Я вручаю вам свою царскую власть — эм-вэ-дэ!

Правительство давно мучили кошмары «хвостов» — длинные очереди (хлебные, мучные, мясные, мыльные, керосинные). На первое место вставал продовольственный вопрос, удушавший бюрократство. Протопопов с темы голода все время перескакивал на евреев, но на этот раз царю было не до них — он упрямо гнул свою линию.

— Ваши связи в промышленных кругах, — говорил он, — помогут вам возродить доверие фабрикантов лично ко мне. Я вижу в вашем назначении приятное сочетание внутренней и биржевой политики. А ваша горячность меня растрогала!

— Все так неожиданно... — бормотал Протопопов.

— А как вы относитесь к Распутину? — спросил царь.

— Дай бог всем нам побольше таких Распутиных...

Эти слова были пропуском через все кордоны. Николай II умел очаровывать людей, а Протопопов очаровал царя — своей восторженностью, будто он — мальчик, получивший красивую игрушку на рождество, свечечки на елке уже зажжены, и сейчас ему, как примерному паиньке, подадут сладкое... Возвратившись из Ставки в Петроград, он на перроне вокзала возвестил журналистам:

— Все свои силы я отдаю охранению самодержавия...

Ни одной фальшивой ноты в его голосе не прозвучало; слова Протопопова — не декларация, это естественный крик души, желавшей подпереть шатающийся трон Романовых. Затем он сделал заявление, что никакой своей политики вести не намерен — лишь будет следовать в фарватере политики кабинета Штюмера.

— Жизни своей не пощажу, — искренно рыдал Протопопов, — но я спасу древний институт русской монархии!

В «желтом доме» на Фонтанке, где министры мелькали, как разноцветные стеклышки в калейдоскопе, царил невообразимый кавардак. Никто не знал, где что лежит. Стопы неразобранных дел росли под потолок — будто сталагмиты в доисторических пещерах. Протопопов первым делом позвонил в клинику Бадмаева:

— Петр Александрыч, а Паша у вас?.. Паша, здравствуй, это я, Сашка! Слушай, не дай погибнуть — спасай меня...

Курлов явился в МВД — властвовать! При нем Протопопов начал барабанить в Таврический дворец — председателю Думы Родзянке:

— Поздравьте! Я уже здесь! Я звоню с чистым сердцем! Так я рад, что стал министром внутренних дел... — Потом он обалдело сказал Курлову: — Ты знаешь, что мне этот гужбан ответил? Он ответил: «У меня нет времени для разговоров с вами...»

— Короче, — спросил Курлов, — что ты мне предлагаешь?

— Пост товарища...

— Мы и так товарищи.

Теперь Курлов может вернуть долги Бадмаеву.

— Паша, возьмишь на себя и департамент полиции?

— Давай, — согласился Курлов. — А ты не боишься, что за мои назначения Дума тебе все зубы выломает?

— Мне на них наплевать! Кстати, Паша, подскажи мне хорошего портного. Хочу сшить себе узкий в талии жандармский мундир...

Помимо мундира, его заботило издание собственной газеты «Русская Воля». Плеханов, Короленко и Максим Горький сразу отказались сотрудничать с ним, из «китов» остались только Амфитеатров и Леонид Андреев. Первый номер протопоповской газеты целиком был посвящен ругательствам по адресу самого же создателя этой газеты. Протопоповская газета смешала с дерьмом... Протопопова!

— Амфитеатрова выслать, — распорядился министр. [\[22\]](#)

— Это глупо, — вмешался Курлов. — Вот Столыпин, бери с него пример... Когда на него нападали в печати, он отмалчивался. И никогда не пытался мстить. А если его подчиненные делали это за него, он бранил подхалимов и защищал своего обидчика.

— Столыпин передо мною — пешка!

Курлов даже оторопел:

— Сашка, ты на стенку лезь, но на потолок не залезай...

«Когда после моего назначения Распутин сказал мне по телефону, что теперь мне негоже водиться с мужичонком, я ему ответил, что он увидит — я не зазнаюсь. Но ставленником его себя не чувствовал, продолжая с ним встречаться у Бадмаева, как прежде; чужой при дворе, не имея никаких связей, какие были у других, я не заметил, что моею связью был Распутин (а значит, Вырубова и царица), пока царь... не почувствовал, что я стал любить его как человека, так как среди

большого гонения я встречал у него защиту и ласку; он на мне „уперся“, как он раз выразился мне. Он говорил, что я его *личный выбор*: мое знакомство с Распутиным он поощрял. Бадмаев и Курлов звали меня на эти свидания (с Распутиным), и я ездил не задумываясь — я знал, что его (Распутина) видят многие великие люди» — так писал о себе Протопопов... Но, признав влияние Распутина, он никогда не сознался, что Симанович держал на руках его векселя, которые надо оплачивать. Протопопов устраивал обмен пленными — за одного еврея, попавшего в немецкий плен, выдавал трех немецких солдат! В этот абсурд трудно поверить, но так и было. Протопопов надоел царю со своим постоянным нытьем о «страданиях умной и бедной нации», из кабинетов МВД было не выжить еврейские делегации, раввины и банкиры наперебой рассказывали, как им трудно живется среди антисемитов...

Курлов орал на министра, как на сопливого мальчишку:

— Дурак! Что ты опять глаза-то свои закатил? Посмотри хоть разок на улицы — там в очередях готовы разодрать тебя за ноги. Пойми, что пришло время крови. Пока не поздно, уничтожь «хвосты» возле лавок... Надо наделить крестьян землей, хотя бы для этого пришлось пожертвовать ущемлением прав дворянства. (О, как далеко пошел Курлов в страхе своем!) Перестань ковыряться с жидами, а срочно уравний права всех народов России. (Смотрите, как он зашагал!) Иначе нас с тобой разложат и высекут... Или ты не видишь, что разгорается пожар революции?

А в кулуарах Таврического дворца, поблескивая лысиной и стеклами пенсне, бродил язвительный сатир Пуришкевич, отзывая под сень торжественной колоннады то одного, то другого депутата, и, завывая, читал им свои новые стишки — о Протопопове:

Да будет с ним святой Георгий!
Но интереснее всего —
Какую сумму взял Григорий
За назначение его?

Это поклеп! Протопопов был, пожалуй, единственным министром, который был проведен Распутиным бескорыстно — без

обычной мзды. Сейчас он подсчитал, что подавление революции будущего обойдется государственной казне всего в четыреста тысяч рублей...

— Так дешево? — не поверил царь.

— Ни копейки больше, — отвечал Протопопов.

Придворные называли его, как попугая, Протопопкой, а серьезные академические генералы в Ставке — балаболкой.

По рукам публики блуждали тогда анонимные стихи:

Ах, у нас в империи от большого штата
Много фанаберии — мало результата:
Гришка проповедует, Аннушка гадает...
Про то Попка ведает, про то Попка знает!

Бадмаев в это время подкармливал Протопопова каким-то одуряющим «любовным фильтром» (что это такое — я не мог выяснить), и министр валялся в ногах царицы, глядя на нее сумасшедшими глазами старого потрепанного Дон-Жуана, потом он бросался к роялю и — великолепный пианист! — проигрывал перед женщиной скрябинские «Экстазы», рвущие ей нервы...

* * *

Из камеры Петропавловской крепости царь перевел Сухомлинова в палату психиатрической больницы, откуда было легче отдать его «под домашний арест». Генерал Алексеев сказал государю:

— Ваше величество, а вы не боитесь, что толпа с улицы ворвется в квартиру и растерзает бывшего министра?

— К нему будет приставлен караул...

В жилище Сухомлиновых вперлисвечером сразу девять солдат с винтовками, попросили стакан и дружно хлестали сырую воду из-под крана. Екатерина Викторовна с презрением сказала:

— Что вы мне тут водопой устроили, как лошади?

Солдаты неграмотно, но вежливо объяснили:

— Войди в наше положение. Вечером крупы тебе насыплют доверху. Трескаешь, ажно в башке гудеж. Оно ж понятно — пишшия-то не домашня, казенна. Без воды у нас все засохнет и кишки склеятся!

Сухомлинова позвонила в МВД Протопопову.

— Это выше моих сил! — сказала она. — Всю квартиру завоняли махоркой и портянками... Неужели мой супруг убежит?

Протопопов лично навестил арестанта, наговорил ему любезностей и выставил караул на лестницу, чтобы не мешал жить. Когда министр удалился, чета Сухомлиновых в строгом молчании пила чай, и абажур отпечатал на скатерти розовый круг. Екатерина Викторовна, поджав губы, тонкими пальцами с крашеными ногтями положила себе в чашечку два куска сахара.

— Я забыла сказать, — с расстановкой произнесла она, хмуря густые брови, — за то, что ты сидишь со мною и пьешь чай не в крепости, а дома, за это ты должен благодарить Распутина.

Старик тихо и жалко заплакал: он все понял.

— Боже мой, — бормотал, — какой позор... Ах, Катя!

Жена следила, как тают в чашке куски рафинада.

— Ты, — сказала она, не глядя мужу в глаза, — должен хотя бы позвонить Распутину и в двух словах... поблагодарить.

— Избавь! Этого я никогда не сделаю...

Распутин говорил в эти дни: «Осталось Рубинштейна вызволить, тады и отдохнуть можно, а то юстицка замотала меня!» До его слуха уже долетали возгласы с улиц: «Долой Штюрмера, долой Протопопова!» Штюрмера свалить было нетрудно, пихни — и брякнется, а Протопопова уже невозможно... Пока Екатерина Викторовна пила чай со старым оскорбленным мужем, Гришка хлебал чай с Софьей Лунц; он долго молчал, что-то думал, потом показал ей кулак:

— Вот ёна, Рассея-то, где! И не пикнет...

Финал седьмой части

Русская военная сила к осени 1916 года уже не имела гвардии — весь ее цвет погиб под шрапнелью, был вырезан под корень дробными германскими пулеметами; славная гвардия полегла в болотах Мазурии непогребенной, она приняла смерть в желтых облаках хлористых газов. Не только пролетариат — армия тоже волновалась, в окопах бродила закваска мятежа, а на страну надвигался голод. Впрочем, не будем упрощенно думать, что Россия обеднела продуктами — и хлеб, и мясо водились по-прежнему в гомерическом изобилии, но Петроград и Москва уже давно сидели на скудном пайке, ибо неразбериха на транспорте путала графики доставки провизии. Вопрос о голоде в городах — это был тот каверзный оселок, на котором царское правительство наглядно оттачивало свое бюрократическое бессилие...

Время испытания массам надоело,
Дело пропитания — внутреннее дело.
Сытно кто обедает или голодает —
Про то Попка ведает, про то Попка знает.

Стихи требуют комментариев: Протопопов заверил царя, что разрешение продовольственного кризиса он берет на себя, как частное дело своего министерства. Не в меру словоточащий министр бросил в публику, словно камень в нищего, страшное откровенное признание: лозунг *«Все для войны!»* обратился в лозунг *«Ничего для тыла!»*. Протопопов замышлял величественную схему продовольственной диктатуры — иллюзию, каких у него было немало, но высшую власть империи уже охватывал паралич... Власть! Она отвергла Протопопова, как выскочку. С осени 1916 года министры начали саботаж, и все решения Протопопова (пусть даже разумные) погибали в закорючках возражений, пунктов, циркуляров и объяснительных записок. Новоявленный диктатор оказался трусливым зайцем, а министры скоро почували, что этот суконный фабрикант боится их громоздких кабинетов, он готов встать навтыжку перед тайным советником в

позлащенном мундире гофмаршала. Протопопов уже не вылезал из-под жестокого обстрела печати, он превратился в удобную мишень для насмешек. Наконец, в думских кругах извлекли на свет божий и свидание Протопопова с Варбургом в Стокгольме; имя министра внутренних дел отныне ставилось в один ряд с именами Распутина, Манасевича-Мануйлова, Питирима и Штюрмера... До царя дошли слухи о недовольстве в Думе назначением Протопопова; Николай II заметил вполне резонно:

— Вот пойми их! Сами же выдвигали Протопопова, он был товарищем председателя Родзянки, который прочил его на пост министра торговли и промышленности. А теперь, когда я возвысил Протопопова, они от него воротятся... Эти господа во фраках сами не ведают, кого им нужно на свою шею!

Протопопов горько плакал перед царем в Ставке:

— Государь, я оплеван уже с ног до головы...

За кулисами правительства он выработал каверзный ход, одобренный в домике Вырубовой, и явился к Родзянке:

— По секрету скажу: есть предположение сделать вас министром иностранных дел и... премьером государства.

Эх, чудить так чудить! Родзянко на это согласился.

— Но, — сказал, — передайте государю, что, став премьером, я прошу его не вмешиваться в назначения мною министров. Каждого я назначаю сроком не меньше трех лет, чтобы не было больше чехарды. Императрица не должна касаться государственных дел. Я сошлю ее в Ливадию, где до конца войны стану ее держать под надзором полиции. А всех великих князей я разгоню...

Задобрить Думу не удалось, и тогда Протопопов решил ее напугать. Он появился в Таврическом дворце, с вызовом бравирюя перед депутатами новенькой жандармской формой, узкой в талии.

— Зачем вам этот цирк? — спросил его Родзянко.

— Как шеф жандармов, я имею право на ношение формы.

— Но, помимо права, существует еще и мораль...

Потом, наедине с Родзянкой, министр сказал:

— Вы бы знали, какая у нас императрица красивая, энергичная, умная и самостоятельная... Почему вы не можете подружиться?

Родзянко тронул октябриста-жандарма за пульс.

— А где вы вчера обедали?

Протопопов сознался, что гостил у Вырубовой.

— А ужинали у Штюмера?

— Откуда вы это узнали? — вырвалось у Протопопова.

— В ближайшие дни Дума потребует у вас объяснений...

* * *

Публичное оплевывание диктатора состоялось 19 октября на квартире Родзянки... Протопопов, как токующий глухарь, часто закатывал глаза к потолку и бормотал:

— Поверьте, товарищи, что я способен спасти Россию, я чувствую, что только я (!) еще могу спасти ее, матушку...

Думский депутат Шингарев, врач по профессии, толкнул хозяина в бок и шепнул:

— Начинается... прогрессивный паралич.

— Вы думаете, это не транс?

— Нет, сифилитический приступ... Потом это пройдет, но сейчас общение с ним затруднено. Я таких уже встречал...

Стенограмма беседы рисует картину того, как торжественно происходило оплевывание. Милюков начал повышенным тоном:

— Вы просите нас говорить как товарищей. Но человек, который вошел в кабинет Штюмера, при котором освобождены Сухомлинов и Манасевич-Мануйлов, человек, преследующий свободу печати и дружащий с Распутиным, нашим товарищем быть не может!

— О Распутине я хотел бы ответить, но это секрет, — шепнул Протопопов. — Я хотел столкнуться с Думой, но вижу ваше враждебное отношение... Что ж, пойду своим путем!

— Вы заняли место старика Хвостова, ^[23] — заметил Шингарев, — место человека, который при всей его реакционности не пожелал освободить Сухомлинова... Вы явились к нам не в скромном сюртуке, как того требует приличие, а в мундире жандарма. К товарищам так не ходят! Вы хотите, чтобы мы испугались вас?

— Я личный кандидат государя, которого я узнал и полюбил. Но я не могу рассказывать об интимной стороне этого дела...

Не забыли и Курлова! Протопопову напомнили о его роли в убийстве Столыпина, на что министр огрызнулся — Курлов никого не убивал. Тогда в разговор вклинился националист Шульгин:

— Я доставлю вам несколько тяжелых минут. Мы не знали, как думать: вы или мученик, пошедший туда (Шульгин показал на потолок пальцем), чтобы сделать что-либо для страны нужное, или просто честолюбец? Ваш кредит очень низко пал...

Протопопов — в раздражении:

— Если здесь говорят, что меня больше не уважают, то на это может быть дан ответ с пистолетом в руках... Туда (он тоже показал пальцем на потолок) приходит масса обездоленных, и никто еще от меня не уходил, не облепив души и сердца... Я исполняю желания моего государя. Я всегда считал себя монархистом. Вы хотите потрясений? Но этого вы не добьетесь. Зато вот я на посту министра внутренних дел могу кое-что для России сделать!

Ему сказали, что сейчас страна в таком состоянии, что «кое-что» сделать — лишь усугубить положение. Лучше уж не делать!

— Это недолго — уйти, — реагировал Протопопов. — Но кому передать власть? Вижу одного твердого человека — это Трепов.

Вновь заговорил профессор истории Милюков:

— Сердце теперь должно молчать. Мы здесь не добрые знакомые, а лица с определенным политическим весом. Протопопов отныне для меня — министр, а я — представитель партии, приученный ею к политической ответственности... Уместно вспомнить не старика, а молодого Хвостова, бывшего нашего коллегу и тоже ставшего эм-вэ-дэ! Почему же назначение Протопопова не похоже на назначение Хвостова? Хвостов принадлежал к самому краю правизны, которая вообще не считалась с мнением общества. А на вас, Александр Дмитриевич, падал отблеск партии октябристов. За границей вы тоже говорили, что монархист. Мы все здесь монархисты...

— Да, — вскричал Протопопов, — я всегда был монархистом. А теперь узнал царя ближе и полюбил его... Как и он меня!

Нервное состояние министра стало внушать депутатам серьезные опасения, и граф Капнист поднес ему стакан с водою.

— Не волнуйтесь, — записаны в стенограмме слова графа.

Выхлебав воду, Протопопов отвечал — с надрывом:

— Да, вам-то хорошо сидеть, а каково мне? У вас графский титул и хорошее состояние, есть связи. А я...

— А я еще не кончил, — продолжал Милюков. — Когда был назначен Хвостов, терпение нашего народа не истощилось окончательно. Для меня Распутин не самый главный государственный вопрос... Мы дошли до момента, когда терпение в стране истощено...

Спокойным голосом завел речь врач Шингарев:

— Вы назвали себя монархистом. Но, кроме царя, есть еще и Родина! А если царь ошибается, то ваша обязанность, как монархиста, любящего этого царя, сказать ему, в чем он ошибается.

— Доклады царю не для печати, их и цензура не пропустит!

Опять влез в разговор историк Милюков:

— Я по поводу того, что вам некому передать свою власть. Вы назвали тут Трепова! Нужна не смена лиц, а перемена режима.

Наконец-то врезался в беседу и сам Родзянко:

— Согласен, что нужна перемена всего режима...

Протопопов разрыл портфельные недра, извлек оттуда записку сенатора Ковалевского о продовольственном кризисе. Снова закатывая глаза, подобно ясновидящему, министр сообщил:

— Меня! Лично меня государь просил уладить вопрос с едой. Я положу свою жизнь, дабы вырвать Россию из этого хаоса...

Он с выражением, словно гимназист на уроке словесности, читал вслух чужую записку, часто напоминая: «Господа, это государственная тайна», на что каждый раз Милюков глухо ворчал: «Об этой вашей тайне я еще на прошлой неделе свободно читал в газетах». Вид министра был ужасен, и граф Капнист забеспокоился:

— Александр Дмитрич, откажитесь от своего поста. Нельзя же в вашем состоянии управляться с такой державой.

— И не ведите на гибель нас, — добавил Милюков.

Стенограмма фиксирует общий возглас депутатов:

— Идите спать и как следует выспитесь.

Шингарев настаивал на принятии дозы снотворного. Все разошлись, только Протопопов еще сидел у Родзянки. Это было невежливо, ибо семья давно спала, хозяин дома зевал с таким откровением, словно спрашивал: «Когда же ты уберешься?» Но Протопопова было никак не выжить. Часы уже показывали

полчетвертого ночи, когда Родзянко буквально вытолкнул гостя за дверь.

— Все уже ясно. Чего же тут высидивать?

* * *

Сунув озябшие руки в неряшливо отвислые карманы пальто, под которым затаился изящный мундир шефа корпуса жандармов, министр внутренних дел, шаркая ногами, плелся через лужи домой...

«Обидели, — бормотал он, — не понимают... Изгадили и оплевали лучшие мои чувства и надежды. Неужели я такой уж скверный? Паша-то Курлов прав: завидуют, сволочи, что не их, а меня (меня!) полюбил государь император...»

Фонари светили тускло. Сыпал осенний дождик.

Девочка-проститутка шагнула к нему из подворотни.

— Эй, дядечка, прикурить не сыщется?

Глухо и слепо министр прошел мимо, поглощенный мыслями о той вековой бронзе, в которую он воплотится, чтобы навсегда замереть на брусчатке площади — в центре России, как раз напротив Минина и Пожарского. «Они спасли Русь — и я спасу!» Но это произойдет лишь в том исключительном случае, если Протопопову удастся разрешить два поганых вопроса — еврейский (с его векселями) и продовольственный (с его «хвостами»).

Александр Дмитриевич, шли бы вы спать!

Ну что вы тут шляетесь по лужам?

Наконец, и ваша жена... она ведь тоже волнуется.

Спокойной вам ночи.

Часть последняя
СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ
(Осень 1916-го — февраль 1917-го)

*Свершилось
то, чего народ
давно ждал.
Гнойник вскрыт,
первая гадина
раздавлена. Гришки
нет — остался
зловонный труп. Но
далеко еще не все
сделано. Много еще
темных сил,
причастных к
Распутину,
гнездится на Руси в
лице Николая II,
царицы и прочих
отбросов и
выродков...*

*Из письма рабочих
Нижнего
Новгорода*

*от 3 января 1917
года*

*к князю Феликсу
Юсупову*

Прелюдия к последней части

Я не пишу детективный роман, в котором автору надо бояться, как бы читатель не догадался, что случится в конце, — и потому смело описываю события, возникшие после смерти Распутина...

* * *

— Это уж точно — ухлопали мово парнишечку! Юбочки да стаканчики гранены никого до добра не доводили, — рассуждала Парашка Распутина в те дни, когда столичная полиция с ног сбилась, занятая романтикой поисков трупа ее мужа. В отличие от императрицы Парашка никогда не считала своего суженого святым, она была женщиной практичного ума и потому энергично вскрыла полы, разнесла по кирпичику все печки, ободрала со стенок квартиры зеленые обои. — Где ж он, треклятый, деньжищи-то упрятал? Сам сдох, а нас без грошика оставил. На што ж мы жить станем?

Паразиты засыпали в тревоге. Доходов не предвиделось, а работать... об этом страшно подумать! Миллионы протекли, как вода, между пальцев Распутина, но еще многие миллионы рассовал он по тайным «зачкам». Боясь газетной огласки, Распутин мог хранить свои сбережения в банках лишь на подставных лиц...

Мунька Головина подсказала:

— Требуйте от Симановича, он ведал всей кассой.

Аарон Симанович отрекся:

— Распутин? Да я от него копеечки не видывал...

— Звоните Штюрмеру, — точно наметила цель Мунька. — Я знаю, что Григорий Ефимыч сдавал ему на хранение саквояж, а там не только деньги... кое-что еще подороже денег!

Штюрмер сонно спросил в телефон Прасковью:

— А какой Григорий Ефимыч? Распутин? Но я не знаю такого и прошу вас более не тревожить меня по пустякам...

— Звоните в Лавру — Питириму! — скомандовала Мунька.

К телефону подошел его секретарь Осипенко:

— Кто просит владыку и что вам угодно?

— Да я ж прошу, Параскева Распутина, верните камушки...

— Какие камушки?

— Драгоценные, вестимо. Аль не знаете, какие владыка камушки брал от мово муженька на сбережение?

В Александро-Невской лавре повесили трубку. Потом и сама Мунька куда-то провалилась. Раньше квартира от гостей трещала, дым стоял коромыслом, телефон спать не давал с утра до глубокой ночи, а теперь... тишина. На кухне сидела вдовица Распутина с дочками — лакали они чай гольем (без сахару!).

— Вот дождем, что в дому осталось, и зубы сложим на полку. И на што я за него, охвостника, выходила? А уж какие бывали у меня ухажеры-то... у-у-у! Один купец в Тобольске (как сейчас помню) дело скобяное имел. С гвоздей жил! Уж как он молил меня за него иттить... ы-ы-ы! Дура я, дура. Жила б припеваючи...

Население столицы было столь озлоблено против Распутина, что семья временщика побоялась оставаться на Гороховой: собрав манатки, они тишком переехали на Коломенскую в дом № 9, где императрица сняла для них квартиру. Но и оттуда, не вынеся ненависти соседей, вскоре бежали на Озерки — в пустошь запурженных снегом дач, куда и добраться-то можно только поездом... Императрица вызвала дочек Распутина в Царское Село.

— Со временем, — сказала она им, — квартира вашего отца на Гороховой будет превращена в музей-часовню, куда, я верю, хлынут народные толпы. Навещайте меня когда захотите...

В утешение девицам она заказала для них модные меховые пальто. Но, верная традициям гессен-дармштадтского крохоборства, коронованная скряга приобрела пальто... в рассрочку (будто захудалая чиновница, у которой муж-забудыга пропивает все жалованье). В канун февральской революции Алиса дала Распутиным совет пережить смутное время на родине. Тронулись они в Сибирь, а вслед по проводам телеграфа летела «благая весть», что царь «взыскует их милостью» и впредь будущее Распутиных обеспечено: из

«кабинетных» денег им назначена пенсия, какая и генералу не приснится... Только приехали в Покровское, еще и языка обсушить не успели, как в дом к ним — шась! — староста Белов:

— А ну, суки, вытряхайся... Вон из села!

— Окстись, в уме ль ты? Куды ж денемся-то?

— Хватит, Парашка, заливать тута мне. Добром не уйдешь — подпалим тебя ночью, тады нагишом по сугробам усигаешь отсель...

Поселились они в Тобольске; тут и революция грянула, царя-кормильца не стало, защиты искать негде. Гарнизонные солдаты повадились стекла в окошках им выбивать. Били и кричали:

— Верни мильён, лахудра ты старая!

Между осколков стекол Парашка высывала на мороз острый носишко и визгливо вопила во мрак жутких, погибельных улиц:

— Самой жрать неча! Где я тебе мильёна достану?

— Где хошь, там и бери, ведьма! — отвечала ей мрачная тобольская темнота. — Коли награбились с народа, так вертай обратно, или мы твою хату сейчас по бревнышку ко всем псам раскатаем...

Это ночью. А днем тобольские газеты писали, что благородные граждане-сибиряки не потерпят, чтобы их город оскверняла распутинская семейка. Какие-то люди часто приходили с обыском и даже удивлялись, что у Распутиных только то, что на себе.

— За што ж вы нас тираните, супостаты окаянные?

На это Парашка получала обычный ответ:

— Про это самое ты у мужа должна бы спрашивать, как он с царем Николашкой всю Россию истиранствовал... А кто от кайзера мешок с золотом огреб за мир сепаратный? Это твой Гришка, нам точно известно! Небось под сарафан себе запихачила мильёна два-три, а теперь сидишь на них... греешья!

От подобных бед Распутины скрылись где-то в чащобной глухомани Сибири и, казалось, навсегда потеряны для истории. Адмирал Колчак, начавший поход на Советскую страну, воскресил Распутиных из небытия; после пребывания в его стане вдова с дочками драпали потом по шпалам аж до самого Владивостока, ахая,плыли морем в Японию, и вдруг оказались в Европе! Стало ясно, что денежки у них, и правда, в загашнике шевелились. Иначе не жили бы в Бадене, где, куда ни плюнь, везде платить надо. А откуда у них деньги? Об этом можно догадываться. Был такой прапорщик Борис Соловьев (уже

третий Соловьев в нашем романе), сын синодального чиновника. Он ухлестывал за старшей дочерью Распутина, за Матреной, и, аферист отчаянный, устроил заговор с целью освобождения Романовых из ссылки. Царя с царицей он не освободил, но зато как следует подчистил их шкатулки. А там ведь были и очень ценные бриллианты! Правда, Соловьев с Матреной, бежавшие от Красной Армии, угодили прямо в лапы к живодеру Семенову, атаман здорово их обкорнал, но кое-что у них все-таки осталось. Проживая потом в Париже, Матрена Распутина подала в суд на князя Ф. Ф. Юсупова, требуя с него «возмещения убытков», возникших после убийства отца, но французский суд не внял иску Мотри и отказался разбирать это дикое дело...

Одна моя знакомая, старая рижанка, рассказывала:

— В тридцатых годах в Ригу приезжала Матрена Распутина, я была тогда молодой и видела ее в цирке.

— А что она там делала, в цирке? — спросил я.

— Как что? Матрена была укротительницей тигров. Ходила по манежу в брюках и щелкала кнутом. Удивительно мужеподобная и неприятная особа с ухватками городского. А голос грубый... Шли в цирк не потому, что ее номер был интересным, а просто рижанам было любопытно глянуть на дочку самого Распутина!

Этот рассказ нашел подтверждение в недавней публикации дневников балетмейстера В. Д. Тихомирова, который в 1932 году гастролировал в Риге; правда, моя знакомая говорила об укрощении тигров, а Тихомиров писал, что Распутина выступала с белыми лошадьми, но это расхождение несущественное. Младшая же дочь Варвара, опустившись в самые низы эмигрантской жизни, «вечеряла в темных кафешантанах, что-то выплясывая, что-то выпевая...». Вот так! Если сейчас и скитаются за рубежом внуки Распутина, то они не представляют для нас никакого интереса. Я понимаю азарт историка, согласного мчаться хоть в Патагонию, чтобы повидать потомка Пушкина, хранящего одну страничку стихов великого поэта, но... что могут сказать нам потомки Распутина?

Аарона Симановича арестовали сами евреи (я подчеркиваю это обстоятельство, как чрезвычайно важное)!

— Монечка, — сказал Симанович студенту Бухману, — не я ли устроил тебе роскошный блат, чтобы ты, как порядочный, учился на юридическом? А ты меня тащишь?

— Давай топай, — отвечали ему...

Это случилось в первые же дни февральской революции. Симановича впахнули в кузов грузовика, где вибрировали от страха еще двое — долгогривый Питирим и скорбящий Штюрмер. Повезли... Симанович сразу обжаловал свой арест: «Я подписал составленную Слиозбергом на имя Керенского телеграмму, в которой говорилось, что я занимался *только еврейскими делами...*» После этого жреца «макавы» Керенский отделил от министров и жандармов, из крепости его перевезли в камеру «Крестов». Адвокат Файтельсон сделал так, что имя Симановича не было внесено в списки заключенных. Помощник присяжного поверенного А. Канегиссер (будущий убийца большевика-ленинца М. С. Урицкого) сказал Симановичу, что у него хорошие защитники: «Вам осталось только выйти из тюрьмы...»

Он и вышел, горько жалуясь, что «охранка» Керенского сделала его нищим. Согласен, что его малость повытрясли при аресте, но еще больше драгоценностей у него осталось. Близился Октябрьский переворот, и надо было бежать от гнева народного, от гнева праведного. Симанович предвосхитил сюжет нашей кинокомедии «Бриллиантовая рука». «Лутший из явреив», как именовал своего секретаря Распутин, добыл себе справку о переломе руки. Загипсовав ее, Симанович укрыл в повязке тысячу каратов бриллиантов и миллион золотом. Поверх загипсованной конечности болталась бирка, заверенная врачами, что снять повязку можно не раньше такого-то числа. Изображая на лице глубокое страдание, стонущий Симанович при поддержке многочисленных родственников был помещен в поезд — и... прощай, прошлое!

В Киеве настроение его все время портил Пуришкевич; убийца Распутина с револьвером в руках гонялся за секретарем Распутина. От гнева черносотенца Симанович спасался в объятиях белогвардейской

охранки, которая выразила ему солидный респект, как придворному ювелиру. С помощью «охранки» Симанович открыл на Крещатике офицерское казино, дававшее ему каждый день по десять тысяч дохода (в английских фунтах). С богатых евреев Симанович собрал шесть миллионов рублей в пользу белой гвардии. Удивительное дело: белогвардейцы устраивали еврейские погромы, а сионисты жертвовали миллионы на поддержку погромщиков... Когда в Киев вошли чубатые петлюровские коши, Симанович бежал в Одессу, где стал ближайшим другом знаменитого бандита Мишки Япончика, при котором состоял вроде секретаря наш старый знакомец Борька Ржевский, — содружество дополняли еще три приятеля Симановича: генералы Мамонтов, Шкуро и Бермонт-Авалов (последний скрывал свое еврейское происхождение). Эти головорезы помогали Симановичу обогащаться на людских страданиях: богатых беженцев доставляли на квартиру Симановича, и он задарма скупал у них фамильные ценности. Мамонтов и Шкуро имели от грабежа не чемоданы, а вагоны с золотыми изделиями, с богатой церковной утварью. Симанович сделался финансовым секретарем атаманов-мародеров. Белогвардейцы ценили в нем опытного «доставалу», способного даже в чистом поле раздобыть коньяку, икры, колоду карт и вполне доступных барышень с гитарой, повязанной роскошным бантом...

Но всему есть предел! Пароход «Продуголь», на борту которого (при невыносимой давке) Симановичу выделили пятьдесят мест, вышел в море из Новороссийска под вопли сирены и дикие возгласы пассажиров: «Бей жидов — спасай Россию!» Симанович скрылся в каюте атамана Шкуро, которого сопровождала в эмиграцию румынская капелла под управлением славного скрипача Долеско, ранее подвизавшегося в ресторане у Донона.

А. С. Симанович в эмиграции выпустил книгу «Распутин и евреи», в которой, не удержавшись, растрепал множество тайн сионистской шайки. Боясь разоблачений, сионисты, где только видели эту книгу, сразу ее уничтожали, и потому она стала библиографической редкостью... Из всей обширной распутинины книга «Распутин и евреи» — самая мерзкая, самая нечистоплотная!

* * *

Грянул исторический выстрел «Авроры», и в первую же ночь Октябрьской революции, давшей власть народу, по Литейному проспекту бежал человек, в котором можно было признать сумасшедшего... Дико растерзанный, в немыслимом халате, в тапочках, спадающих с ног, развевая штрипками от кальсон, он бежал и вопил:

— Долой временных! Вся власть Советам!

Трудно догадаться, что это был Манасевич-Мануйлов, улизнувший под шумок из тюрьмы. Как судившийся при царском режиме, как осужденный во время диктатуры Керенского, он вообразил, что Советская власть распахнет перед ним объятия. ВЧК, созданная для борьбы с контрреволюцией, показалась Ванечке такой же «охранкой», что раньше боролась с революцией. Он предложил большевикам свой колоссальный опыт русского и зарубежного сыска, богатейшие знания тайн аристократического Петербурга, дерзкую готовность к любой провокации... Его отвергли!

Подделав мандат сотрудника ВЧК, Ванечка решил, что проживет неплохо. Петербург ломился от сокровищ древней аристократии, а Манасевич хотел заработать на страхе перед чекистами. Являлся в дом какого-либо князя, говорил интимно, что вот, мол, обстоятельства заставили его служить в большевистской «живодерне», но, благородный человек, памятуя о заслугах князя перед короной, желаю, мол, предупредить обыск. Да, ему точно известно, когда придут, обчистят и арестуют. Что делать потомку Рюрика? Возьми что видишь, только, будь другом, чтобы не было обыска и ареста. Ванечка брал... на «хранение до лучших времен»! А на тех, кто, не доверяя ему, говорил слишком смело: «Пусть приходят и обыскивают, я не украл!», на таких Ванечка посылал в ВЧК анонимные доносы: мол, на квартире такого-то собираются заговорщики по свержению нашей любимой народной власти...

Рокамболь на полицейской подкладке не учел лишь одного — что ВЧК установило за ним наблюдение, и он, тертый жизнью калач, учуял опасность заранее. Чекисты пришли его арестовывать, но квартира на

улице Жуковского была уже пуста... В пасмурный денечек 1918 года на станцию Белоостров прибыл состав из Петрограда; здесь проходила граница с Финляндией, здесь работал «фильтр», через который процеживался поток бегущих от революции людей, будущих эмигрантов. Солидный господинчик с круглым кошачьим лицом и очень большим темным ртом предъявил контролю иностранные документы. «Порядок! Можно ехать». Хлеща мокрыми клешами по загаженным перронам, прошлялся мимо матрос.

— Вот ты и в дамках, — сказал он этому господину. — Год назад караулил я тебя, гниду, в крепости. Сидел ты на крючке крепко, и не пойму, как с крючка сорвался...

«Иностранец» сделал вид, что русской речи не понимает. Контроль верил его документам, еще вчера подписанным в одном иностранном консульстве, и матросу велели не придирааться. Шлагбаум открылся... Но тут, в самый неподходящий момент, возникла актриса Надежда Доренговская — пожилая матрона с гордым и красивым лицом, с ног до головы обструенная соболями.

— Ванечка! — сорвался с ее губ радостный возглас.

Радостный, он стал и предательским. Матрос передернул на живот деревянную кобуру, извлек из нее громадный маузер.

— Вот и шлепнем тебя в самую патоку...

Манасевича-Мануйлова вывели на черту границы, разделявшей два враждующих мира, и на этом роковом для него рубеже Рокамболь с громким плачем начал рвать с пальцев драгоценные перстни... Захлебываясь слезами, он кричал:

— Ах, я несчастный! Как все глупо... теперь все пропало! А как жил, как жил... Боже, какая дивная была жизнь!

Винтовочный залп сбил его с ног, как пулеметная очередь. Он так и зарылся в серый истоптанный снег, а вокруг него, броско и вызывающе, сверкали бриллианты. Не поддельные, а самые настоящие... Доренговской вернули документы.

— Вас, мадам, не держим. Поезжайте в Европу.

Актриса сыграла свою последнюю роль.

— В Европу? — рассмеялась она. — Одна, без Рокамболя? Да я там в первый же день подохну под забором...

И, даже не всплакнув, покатила обратно в голодный Петроград, ждавший ее пустой нетопленной квартирой. Людские судьбы иногда

пишутся вкривь и вкось, но все же они пишутся...

* * *

А теперь, читатель, вернемся в осень 1916 года.

Издалека, от линии фронта, на столицу катил санитарный поезд, наполненный ранеными; работу этого поезда возглавлял думский депутат Владимир Митрофанович Пуришкевич; сейчас он ехал в столицу на открытие осенней сессии Думы...

Под ним надсадно визжало истертое железо путей, и в этом скрежете колес о ржавчину рельсов Пуришкевичу казалось, что он слышит чьи-то голоса, то отрицающие, то утверждающие:

«Убийца нужен?.. Или не нужен?.. Нужен?.. Не нужен?.. Нужен-нужен-нужен!» — голосило железо.

Пуришкевич чистил свой любимый револьвер «соваж».

1. Браво, Пуришкевич, bravo!

Прямой внук императора Николая I великий князь Николай Михайлович среди многочисленной романовской родни занимал особое положение. Это был ученый историк и знаток русской миниатюры, оставивший после себя немало научных трудов, в которых не пощадил коронованных предков, разоблачая многие тайны дома Романовых; он был фрондером, наружно выказывая признаки оппозиции к царствованию Николая II, который доводился ему внучатым племянником.^[24] Этот историк называл царицу одним словом — стерва (не слишком-то почтительно). Николай Михайлович так и говорил:

— *Она торжествует, но долго ли еще, стерва, удержится? А он мне глубоко противен, но я его все-таки люблю...*

Дневнику историк поверял свои мысли: «Зачатки непримиримого социализма все растут и растут, а когда подумаешь о том, что делается у берегов Невы, в Царском Селе — Распутины... всякие немцы и плеяда русских, им сочувствующих, — то на душе становится жутко». Николай Михайлович — это принц Эгалите, только на российской закваске; в нем не было, как у Филиппа Эгалите, крайней левизны, но была шаткость. Осталось уже недолго ждать, когда его высочество, ученик профессора Бильбасова, станет другом Керенского, ежедневно с ним завтракавшего, а в петлице сюртука «принца Эгалите» скоро вспыхнет красная ленточка революции...

Но сейчас первые числа ноября 1916 года! Дума потребовала срочной отставки Штюрмера; Пуришкевич навестил историка в его дворце близ Мошкова переулка, где великий князь проживал сибаритствующим холостяком среди колоссальных коллекций миниатюр, которые не умещались в палатах и были развешаны даже в ароматизированных туалетах... На вопрос Николая Михайловича — что же будет дальше, Пуришкевич ответил:

— А что? Уже много сделано, чтобы всем нам быть повешенными, но толку никакого. Никто из нас не собирается строить баррикады, а следовательно, не станем призывать на баррикады и

других. Дума — лишь клапан, выпускающий избыток пара в атмосферу.

— Штюрмер слетит, — сказал Николай Михайлович. — По секрету сообщаю: вся наша когорта Романовых на днях переслала государю коллективное письмо, прося его величество устранить свою жену от участия в государственных делах.

— Вы тоже один из авторов этого письма?

— Я даже не подписался под этой чушью.

— Почему? — спросил Пуришкевич, протирая пенсне.

— Семейной болтовни было достаточно...

Два человека, по-своему умных и страстных, сидели друг против друга, один прямой внук Николая I, другой внук крестьянина, их объединяло общее беспокойство. Николай Михайлович признался, что составил свою собственную записку для императора. «Боюсь, — сказал он ему, — что после этой записки ты арестуешь меня». — «Разве так страшно? — спросил Николай II. — Ну что ж, будем надеяться, все обойдется мирно...»

— Он прочел мое письмо, и теперь я в опале! — Историк открыл шифоньер, извлек из него свою записку. — Я возил ее в Киев для прочтения вдовствующей императрице Марии, здесь вы можете видеть ее три слова по-французски: «Браво, браво, браво! Мария».

Он дал записку Пуришкевичу, и тот прочел:

«Где кроется корень зла?.. Пока производимый тобою выбор министров был известен только ограниченному кругу лиц, дело еще могло идти. Но раз способ стал известен всем и каждому и о твоих методах распространилось во всех слоях общества, так дальше управлять Россией невыносимо. Неоднократно ты мне сказывал, что тебя... *обманывают*. Если это так, то же явление должно повториться и с твоею супругой... благодаря злостному сплошному обману окружающей ее среды. Ты веришь Александре Федоровне! Оно и понятно. Но что исходит из ее уст, есть *результат ловкой подтасовки*... огради себя от ее нашептываний...

Ты находишься накануне эры новых волнений.

Скажу больше — *накануне эры крушений*».

— Как реагировал на это царь? — спросил Пуришкевич.

— Обычно. Теперь за мною по пятам шляются сыщики. Ваш визит ко мне, будьте покойны, тоже станет известен царю. Недавно я

видел Палеолога, он сказал мне: «До сих пор мы имели дело с русским правительством. Но отныне у вас в верхах такая дикая неразбериха, что мы, французы, иногда уже перестаем понимать, с кем же имеем дело...»

Пуришкевич поведал, что всю долгую дорогу, пока его поезд шел с фронта, он не сомкнул глаз — мучился:

— Я не могу покинуть ряды правых, ибо я есть правый и горбатого могила исправит. Но бывают моменты (вы как историк это знаете лучше меня), когда нельзя говорить со своей уездной колокольни. Надобно бить в набат с Ивана Великого.

— Вы хотите выступить в Думе?

— Да. Поверьте, — сказал Пуришкевич, — моя речь не будет даже криком души. Это будет блевотина, которую неспособен сдержать в себе человек, выпивший самогонки больше, чем нужно...

* * *

Ноябрь 1916 года — это обширное предисловие к февралю 1917 года. Россия даже пропустила мимо ушей сообщение газет о том, что австрийский император Франц-Иосиф, достигнув возраста 97 лет, пребывает в агонии... Бог с ним! Внутри государства происходили вещи более интересные. Распутин до предела упростил роль русского самодержца. Штюмер и сам не заметил, когда и как Гришка задвинул его за шкаф, а все дела империи решал с царицей, которая стала вроде промежуточной инстанции, передававшей мужу указания старца. Николай II не обижался! Зато был недоволен Штюмер, имевший от могущества непомерной власти один кукиш. Положение в стране создалось явно ненормальное. Пересылая в Ставку список распоряжений, царица наказывала мужу: «Держи эту бумажку всегда перед собой... Если б у нас не было Распутина, все было бы давно кончено!» Штюмер висел на тонком волоске, а думские речи о его «измене» обрезали этот волосок, как ножницы. С непомерных высот величия Штюмер рухнул в скоропостижную отставку. Подумать только! За короткий срок супостат успел побыть президентом великой

страны, владычил над народом в министерстве внутренних дел, наконец, таскал портфель министра дел иностранных... Один хороший пинок — и упорхнул! В утешение любимцу царь пожаловал ключ камергера, носимый, как известно, висящим над ягодицей, о чем и сказано в придворных стихах:

Не обижайся, мир сановный,
что ключ алмазный на холопе!
Нельзя ж особе столь чиновной
другим предметом дать по ж...

На место Штюмера вылезал в премьеры генерал А. Ф. Трепов — мрачный и жестокий сатана, умудрявшийся в *одном* слове из *трех* букв делать *четыре* ошибки (вместо «еще» Трепов писал «исчо»). Распутина никак не устраивало назначение и Трепова.

— Как можно его в примеры брать? — возмущался он. — Да спроси любого: фамилия Треповых всегда была несчастливой, при Треповых кровушка лилась, будто дождичек...

Под диктовку Бадмаева он составил резкие, почти хамские телеграммы к царю. В бадмаевской же клинике генерал Мосолов, состоявший при Трепове, и разыскал Гришку Распутина, пившего какую-то возбуждающую микстуру.

— Слушай, ты, падаль! — заявил ему генерал безо всякого почтения. — Хочу предупредить, что если станешь мешать...

— А чо? Чо ты мне сделаешь? — заорал Распутин.

— Шлепну, и все, — сказал треповский генерал...

Морис Палеолог записывал: «Штюмер так удручен опалой, что покинул министерство, даже не простившись с союзными послами... Сегодня днем, проезжая вдоль Мойки на автомобиле, я заметил его у придворных конюшен. Он с трудом продвигается пешком против ветра и снега, сгорбив спину, устремив взгляд в землю... Сходя с тротуара, чтобы перейти набережную, он чуть не падает». Трепов накануне своего назначения повидался с Коковцевым.

— Я, кажется, единственный за последние годы председатель Совета министров, который прошел сам — без Распутина... Владимир Николаич, подскажите, что я могу сделать для Родины?

— Гришка уже все сделал на сто лет вперед, — отвечал бывший премьер. — Я просто не вижу, Александр Федорыч, что бы вы еще могли добавить к тому, что уже сделано...

Трепов, вступая в должность, сказал царю прямо:

— Только уберите прочь дурака Протопопова!

Царь убрал со стола письмо жены, в котором она советовала повесить Трепова на одном суку с Родзянкой и Гучковым.

— Не вижу причин убирать Протопопова, — ответил царь.

Трепов, человек жесткий, вызвал к себе Распутина.

Бестрепетно выложил перед ним двести тысяч рублей.

— Забирай, и чтобы я больше тебя в столице не видел! Я не позволю мужику вмешиваться в государственные дела.

Мужик низко-низко поклонился премьеру России.

— Хорошо, генерал. Согласен взять твои денежки. Тока вот есть у меня один человек... С ним прежде посоветуюсь.

Через несколько дней Гришка явился к Трепову.

— Переговорил я со своим человечком. Сказал он мне — не бери денег от Трепова, я тебе, Григорий, еще больше дам!

Трепов спросил, кто этот «человечек».

— А царь наш, — сказал Распутин и вышел.

...Трепов продержался только один месяц!

* * *

Теперь, когда Штюрмера не стало, кричали так: «Протопопова — в больницу, а Трепова — на свалку!» Перед Царским Селом встала задача взорвать Думу изнутри, и царица имела платного агента, который за десять тысяч рублей, взятых им у Протопопова, брался это сделать. Грудью вставая на защиту Распутина, депутат Марков-Валяй низвергал с думской трибуны такие ругательства, что Родзянко лишил его слова. Тогда Марков сунул к носу Родзянко кулак и произнес несколько раз — со сладострастием:

— Мерзавец ты, мерзавец ты, мерзавец и болван!

«Он рассчитывал, — писал Родзянко, — что я не сумею сдержаться, пушу в него графином, и по поводу этого скандала можно будет сказать, что Государственную Думу держать нельзя и надо ее распустить... Графин такой славный был, полный воды, но я сдержался!» Дабы утешить оскорбленного Родзянку, его избрали почетным членом университета, а посол Франции украсил его сюртук орденом Почетного легиона (одновременно Палеолог вручил орден и Трепову за то, что тот потребовал удаления Протопопова). Но вот настал день 19 ноября — на трибуну поднялся Пуришкевич.

— Ночи последние не могу спать, — начал он, — даю вам честное слово. Лежу с открытыми глазами, и мне представляется ряд телеграмм... чаще всего к Протопопову. Зло идет от темных сил, которые потаенно двигают к власти разных лиц...

Над лысиной оратора сразу брякнул колокольчик.

— Прошу не развивать этой темы, — сказал Родзянко.

— Да исчезнут, — возвысил голос Пуришкевич, — Андронников-Побирушка и Манасевич, все те господа, составляющие позор русской жизни. Верьте мне, я знаю, что моими словами говорит вся Россия, стоящая на страже своих великодержавных задач и не способная мириться с картинами государственной разрухи...

— Владимир Митрофаныч, не увлекайтесь!

— В былые столетья, — вырыдывал Пуришкевич, — Гришке Отрепьеву удалось поколебать основы нашей державы. Гришка Отрепьев снова воскрес теперь во образе Гришки Распутина, но этот Гришка, живущий в условиях XX века, гораздо опаснее своего пращура. Да не будет впредь Гришка руководителем русской внутренней и общественной жизни...

Гостевые ложи заполняла публика, было множество дам, все аплодировали. Завтра его речь (если ее не зарежет думская цензура) появится в печати. Он был смят и оглушен выкриками:

— Браво, Пуришкевич, браво!

В числе прочих дам Пуришкевича обласкала и баронесса Варвара Ивановна Иксуль-фон-Гильденбрандт (известная репинская «Дама под вуалью»); чтобы сразу нейтрализовать это горячее выступление, баронесса, кокетничая, предложила Пуришкевичу:

— Умоляю... немедленно... мотор на площади... едем к Григорию Ефимычу! Он так любит все оригинальное...

Пуришкевич не попался на эту удочку и поехал на трамвае домой, чтобы впервые за много дней как следует выспаться. На следующий день его одолевали телефонные звонки. Пуришкевич не хотел ни с кем разговаривать, но вечером жена настояла:

— Тебе что-то хочет сказать князь Феликс Юсупов, а это, Володя, лицо значительное, отказывать ему не стоит...

Юсупов сказал, что сейчас он сдает экстерном экзамены в Пажеском корпусе, а потому 19 ноября не мог лично приветствовать оратора, ибо, нарушив уставы корпуса, посетил бы Думу в штатском.

— Владимир Митрофанович, я хочу с вами побеседовать, но разговор не для телефона. Когда вы можете меня принять?

— Завтра, в девять утра.

Юсупов прибыл на квартиру Пуришкевича и, как родственник императорской семьи, сообщил последнюю придворную новость:

— Моя тетька (царица) грызет ковры от злости. А вы знакомы с Митей? Я имею в виду великого князя Дмитрия Павловича... Он прочел вашу речь и сказал, что вы ошибаетесь. Вам кажется, что если открыть глаза царю, то этим вы спасете Россию.

— А как же иначе? — отвечал Пуришкевич.

— Этого мало, — с милой улыбкой сказал Феликс.

2. Анкета на убийц

Замешанных в заговоре на жизнь Распутина было много (даже больше, чем нужно), но главных убийц было трое. О них и поведаем в порядке — согласно их титулованию.

* * *

*ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ — великий князь
(1891–1942)*

Единственный сын великого князя Павла Александровича, родного брата покойного Александра III, и, таким образом, двоюродный брат Николая II, который был на двадцать три года его старше и называл кузена запросто — Митей... Мать его была греческой королевной. Отец же известен сложностью матримониальных отношений. Когда его брат, гомосексуалист Сергей, женился на Элле Гессенской (сестре Алисы), Павел поспешил исправить ошибку природы, совершая набег на пустующий альков своего брата. Гречанка не вынесла измен мужа и, родив Дмитрия, сразу же приняла сильную дозу яда. Павел Александрович, овдовев, утешил себя тем, что стал выступать в качестве актера на любительской сцене.

Митя с сестренкой Машей росли в Москве, отданные на воспитание тете Элле, овдовевшей после взрыва бомбы эсера Каляева. По утрам брат с сестричкой, взявшись за руки, ходили в гимназию, одетые по-простецки — в валенки и тулупчики, подпоясанные красными кушаками. Митя освоил привычки уличных мальчишек, и полиция не раз снимала великого князя с «колбасы» уличной конки. Сестра его Маша была силком выдана за принца Зюдерманландского, от которого бежала, оставив в Швеции ребенка, и вышла по страстной любви за офицера Путятинна (которого с такой же страстью и бросила). О ней много пишет А. А. Игнатъев в

своей книге «50 лет в строю»... Дмитрий прошел курс офицерской кавалерийской школы, начав службу корнетом в конной лейб-гвардии, позже был шефом 11-го гренадерского Фанагорийского полка. Сиротское положение без отца и матери, общение с патриархальным бытом Москвы сделали Дмитрия очень простым в обращении с людьми, он никогда не заносился своим происхождением. Красивый и стройный юноша, умеющий носить мундир и смокинг, Митя пользовался популярностью на вечеринках гвардейской молодежи. Храбро участвовал в боях, став штабс-ротмистром и флигель-адъютантом.

В семье Николая II его считали «нашим». Дмитрий подписывал свои письма к императору не совсем прилично: «Мокро и слюняво амбрасирую твоих детей. Тебя же заключаю не без некоторого уважения в свои объятия. Твой всем сердцем и телом, конечно, кроме ж..., преданный Дмитрий! Возьми это послание с собой, когда пойдешь с... — соедини приятное с полезным!» В него пылко влюбилась старшая дочь царя Ольга, и в 1912 году они были помолвлены. Брак был предрешен интересами династии: в случае смерти гемофилитика Алексея эта молодая пара должна занять российский престол. Но Распутин резко восстал против этого брака, доказывая царю, что «Митька болен такой скверной, что ему и руки подать страшно» (это была ложь!). Через великих князей из клана Владимировичей, давно рвавшихся к престолу, Распутин свел Дмитрия с известной московской куртизанкой г-жой М., которая очень ловко вовлекла юношу в серию грязных кутежей, и Ольга, узнав об этом, отказала своему жениху...

К мысли об убийстве Распутина Дмитрий пришел сознательно, желая, как он писал, «дать возможность государю открыто переменить курс, беря на себя ответственность за устранение этого человека... Аликс ему этого бы не дала сделать!». После революции Дмитрий говорил: «Наша родина не могла быть управляема ставленниками по безграмотным запискам конокрада, грязного и распутного мужика... Старый строй должен был неминуемо привести Романовых к катастрофе».

Белоэмигрантские круги в Париже не раз выдвигали Дмитрия в претенденты на русский престол, но великий князь старался держаться в тени. Женился на очень богатой американке,

получившей титул графини Ильинской. В годы Великой Отечественной войны, проживая частным лицом в Швейцарии, выступал против гитлеризма и приветствовал Советскую Армию, веря в ее победу.

Умер в марте 1942 года — от туберкулеза.

* * *

*Князь Ф. Ф. ЮСУПОВ, граф СУМАРОКОВ-ЭЛЬСТОН
(1887–1967)*

Родился от брака генерала графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстон с последней княжной Зинаидой Юсуповой, — отсюда и возникла его тройная фамилия. По матери наследник колоссальных юсуповских богатств, остатки которых сейчас в СССР представляют известные музеи-заповедники, наполненные сокровищами искусства. Главной фигурой в семье была его мать, очень умная и стойкая женщина. Валентин Серов оставил нам облик этих людей на портретах (отца — с лошадью, матери — со шпирцем, а самого Феликса изобразил с английским догом).

Молодой Юсупов окончил Оксфордский университет, имел тяготение к литературе. Был кумиром золотой молодежи, имел прозвище русский Дориан Грей, а непомерное почитание Оскара Уайльда привело его к извращению вкусов. К Распутину в 1911 году Феликса привело не любопытство (как он писал), а то, что Распутин взялся излечить его от «уайльдовщины». Гришка лечил так: раскладывал жертву на пороге комнаты и порол ремнем до тех пор, пока наш Дориан Грей не молил о пощаде. (Протокол следствия по делу Ф. Ф. Юсупова донес до нас слова Распутина, сказанные им князю: «Мы тебя совсем поправим, только еще нужно съездить к цыганам, там ты увидишь хорошеньких женщин, и болезнь совсем пройдет».) Историк Н. М. Романов, знавший тайны высшего света, писал: «Убежден, что были какие-либо физические излияния дружбы в форме поцелуев, взаимного оцупывания и возможно... еще более циничного. Насколько велико было плотское извращение у Феликса,

мне еще мало понятно, хотя слухи о его похотях были распространены».

В 1914 году Ф. Ф. Юсупов сделал предложение великой княжне Ирине; племянница царя, девушка удивительной красоты, до безумия влюбилась в Юсупова, а ее родители дали согласие на брак. Но Распутин опять вмешался, противореча: «Нельзя, — говорил он, — Феликсу на Иринке жениться, потому как он мужеложник поганый и детей не будет у них». Однако богатства Юсуповых были значительнее богатств Романовых, и это решило судьбу. Из своей самой крупной в мире коллекции драгоценных камней Феликс выбрал для невесты диадему и кольцо, каких не было даже у императрицы; подарки жениха занимали несколько стендов, напоминая ювелирный магазин, а потому Романовы искренно считали, что Ирина сделала выгодную партию, о какой только можно мечтать... Женувшись, Феликс забыл свои скверные привычки, стал хорошим отцом и мужем, а Распутина с тех пор он лютейше возненавидел и до осени 1916 года больше с ним не встречался.

После революции, оставив в России все свои несметные богатства, Юсуповы поначалу эмигрировали в Рим, где открыли белошвейную мастерскую. Отец так ничего и не понял, продолжая бубнить: «Я говорил государю: мол, немцам народ не верит, окружите себя русскими, а он... Ну и началась кутерьма!» А княгиня Зинаида Юсупова восприняла перемену жизни как закономерное явление диалектики и никогда не порицала случившееся на родине. «Мы сами и виноваты», — говорила она. Влияние матери сказалось и на сыне: Феликс отказался вступить в белую гвардию, не стал участвовать в гражданской войне. В эмиграции он часто нуждался: так, например, в Париже он с женою ходил обедать в ресторан, съедая пулярку по-юсуповски, которую — ради рекламы! — им подавали даром. Скоро в нем проявился недюжинный талант живописца, и Феликс писал странные, но оригинальные картины. Издал два тома мемуаров — «До изгнания» и «В изгнании» (отрывки из них печатались в советской прессе). До самых преклонных лет князь сохранил небывалую живость и юношескую стройность, он румянился и подкрашивал губы, любил принимать живописные позы (очевидно, не мог изжить в себе юношеские повадки Дориана Грея).

Когда разразилась война и Гитлер напал на СССР, Юсупову пришлось выдержать очень серьезный экзамен на мужество и доказать, что он действительно любит свою Родину. Фашисты активно заманивали его к себе на службу. Юсупов с отвращением (которого даже не скрывал) отказался! Немцы обещали ему, жившему впроголодь, вернуть уникальную драгоценность рода Юсуповых — черную жемчужину, стоившую миллионы долларов, которая хранилась в берлинских банках. Юсупов отказался и от жемчужины! Наконец, гитлеровцы предложили Юсупову... российскую корону, но и в этом случае Феликс не согласился служить врагам Отчизны.

После войны он с Ириной поселился в заброшенной конюшне Парижа, на улице Пьер-Жерен, 38-бис; крыша текла, и старики спали, растворив над собою зонтики. Феликс был по-прежнему строен, как юноша, только у него болели глаза, и он стал носить дымчатые очки. Конюшню князь своими руками превратил в уютный жилой дом, украсив его стены портретами своих предков... Феликсу Феликсовичу было уже семьдесят восемь лет, когда его навестили советские журналисты, которым он заявил, что еще не потерял надежды побывать в гостях на любимой Родине. Кстати, он спросил, что сейчас находится в его бывшем дворце на Мойке, где он убивал Гришку Распутина.

— Дом ленинградского учителя, — ответили ему...

Осенью 1967 года советские газеты известили читателей о смерти князя Ф. Ф. Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон в возрасте восьмидесяти лет. Этот знак внимания оказан князю, очевидно, как патриоту, который, сохранив достоинство аристократа, никогда не унизил себя до того, чтобы вмешиваться в заговоры против своей Отчизны... Мир праху его!

** * **

*Владимир Митрофанович ПУРИШКЕВИЧ
(1870–1920)*

За этим человеком не числилось громких титулов, но за ним стояла поддержка думских кругов и страшная сила черносотенного аппарата. Это был оригинальный и яркий мракобес реакции! О нем следует говорить спокойно, чтобы не впасть в грубообличительный тон, — грамотный советский читатель сам сделает выводы.

Пуришкевич — внук крестьянина, сын протоиерея, уроженец Бессарабии, мелкий землевладелец. Учился в университете, окончил историко-филологический факультет. Писал остроумные пародии, всегда был склонен к иронизированию серьезных вещей. Служил мелким чинушей в МВД (при хозяйственном департаменте), являлся идейным основателем «Союза русского народа», а когда в нем произошел раскол, он образовал свою партию — «Палату архангела Гавриила». Избирался депутатом в Думу трижды и, выходя на трибуну, выворачивал перед обществом свое реакционное нутро без маскировки, никогда не притворяясь передовой и светлой личностью. Его речи никогда не отвечали запросам русского общества, но зато имели острый характер и потому привлекали к себе внимание. По-своему (на монархический лад) Пуришкевич глубоко и надрывно любил Россию, он искренне страдал за неудачи русского народа, в его поступках никак нельзя отнимать мотивов «духа и сердца» (карьеристом он никогда не был!).

Убежденный враг народной демократии, он был также страстным врагом и левобуржуазных партий. Своих реакционных взглядов не скрывал, видимо, не считая эти взгляды «дурной болезнью», которой следует стыдиться. А сам болел этой болезнью и много лет подряд лечился сальварсаном... Впрочем, был женат, имел двух сыновей, выпивал в меру, считался хорошим семьянином. О нем вспоминали потом, что «он обладал громадной инициативой, чрезвычайно обширным и разносторонним образованием и начитанностью в истории и классической литературе, большим ораторским талантом, обнаруживал на всех поприщах не совсем обычную для русских неутомимую деятельность...». С началом войны Пуришкевич заявил, что, пока льется кровь, он отказывается от политической борьбы. На свои личные деньги основал санитарный поезд, работу которого и возглавлял, спасая жизнь раненных на фронте. Среди военной публики Пуришкевич пользовался заслуженным

уважением. При пенсне и лысине, он был отличным стрелком из револьвера, что и сыграло большую роль в сцене убийства Распутина.

Февральскую встретил враждебно, выступая за свержение Керенского, за реставрацию монархии. Скрываясь от ищущих, сбрил усы и бороду, сделавшись неузнаваемым. Керенский велел арестовать его как «врага народа». Когда охранники явились на Шпалерную, дом № 32, Пуришкевич сам же открыл им двери.

— Пуришкевича ищете? Нет его, каналы поганого...

И сам, со свечкою в руках, водил агентов Керенского по квартире, говоря, что негодяй Пуришкевич смылся. А когда охранники спускались по лестнице, он не выдержал (в нем проснулся юморист, желающий повеселиться над людской глупостью):

— Дураки, ведь я и есть тот самый Пуришкевич!

— Не морочь голову, Пуришкевич-то с бородой...

— А для чего же тогда существуют парикмахерские?

Со словами «там разберутся» его схватили. Керенский держал Пуришкевича в тюрьме, как своего личного врага, а Октябрьская революция отворила перед ним двери тюрьмы. Пуришкевич с борьбы против Временного правительства мгновенно переключился на борьбу с Советской властью. В ноябре был раскрыт обширный заговор, возглавляемый Пуришкевичем, и открытый суд Петроградского ревтрибунала приговорил его к четырем годам принудительных работ. Но 1 мая 1918 года Пуришкевич был освобожден^[25] и тут же отъехал на юг страны, где в Ростове-на-Дону стал издавать черносотенную газету «Благовест». Одновременно он выпустил свою нашумевшую книгу об убийстве Распутина и продавал ее за пятнадцать рублей. Часть тиража книги он сдал на хранение в кафешантан Фишона (где пела Иза Кремер и где убили Борьку Ржевского). Сионисты, нежно припавшие к трупу Распутина, гонялись за книжкой Пуришкевича, чтобы облить ее керосином и сжечь. Симанович в кабаре Фишона уничтожил массу экземпляров. Пуришкевич открыл по нему огонь из револьвера на улице. Но «лутший ис явреив» имел свою охрану из девяти человек, и нападение было отбито. Деникинская контрразведка, как это ни странно, всегда была на стороне Симановича, а Пуришкевича за покушение выслали...

Вскоре он объявился в Новороссийске с целой серией публичных докладов на тему о «грядущем жидовском царстве». Сионисты,

чтобы сорвать доклад, напустили на него лжематроса Баткина, колчаковского агента, о котором я уже писал в романе «Моонзунд» и повторяться не буду. Лекция была сорвана, а на другой день Пуришкевич опять стрелял в «лутшаго ис явреив». Симанович бежал, ища спасения у белогвардейского коменданта города.

Пуришкевич заболел тифом... и тут произошло необъяснимое. Его отвезли лечиться в еврейский госпиталь. «Врачебный персонал лазарета состоял исключительно из евреев, поэтому принятие в него Пуришкевича вызвало много толков... В лазарете, — писал Симанович, — раздавались замечания, что не стоит о нем заботиться». К удивлению врачей, Пуришкевич очень быстро пошел на поправку, удивляясь тому, что угодил в самый центр того «царства», против которого выступал. Но выздороветь ему не дали! Пуришкевичу был поднесен бокал шампанского, от которого он тут же скончался. «Признаться, — заключил Симанович, — известие о его смерти я принял с большим облегчением». После Пуришкевича остались две книги. Судьба жены и детей неизвестна.

* * *

Когда анкета на убийц заполнена, я скажу главное: к этому времени уже окончательно вызрел заговор. Был задуман тронный переворот, каких уже немало знала история русской династии.

Убийство Распутина стояло в первом параграфе заговора! А затем на Царское Село должны двинуться четыре гвардейских полка, чтобы силой штыков заставить царя отречься от престола. Если откажется — убить! Алису упрятать в монастырское заточение. Царем объявить наследника Алексея (под регентством дяди Николаши).

Буржуазия, рвавшаяся к власти, была извещена о перевороте. Военная хунта выдвигала в регенты царского брата Михаила с его женою Натальей Брасовой.

Монархистам из этого плана удалось исполнить лишь пункт № 1, но до последнего они так и не добрались: две революции подряд

разломали самодержавие, и его обломки оказались разбросаны по всему миру.

3. «Не спрашивай, не пытай, левконой...»

Феликсу мать внушала, что «теперь поздно, без скандала уже не обойтись», от царя надо потребовать «удаления управляющего (так она звала Распутина) на все время войны и невмешательства Валиде (это про царицу) в государственные вопросы. И теперь я повторяю, что, пока эти два вопроса не будут ликвидированы, *ничего не выйдет мирным путем*, скажи это медведю Мишке (то есть Родзянке) от меня...». Мать дала понять сыну, чтобы крови он не боялся! Я склонен думать, что сильный моральный нажим со стороны княгини Зинаиды сыграл решающую роль; если при этом вспомнить, что княгиня уже давно замышляла убийство Распутина, щедро раскрыв свой кошелек перед А. Н. Хвостовым, то справедливо считать, что она же и толкнула сына на мысль о физическом истреблении «управляющего»... Это на нее похоже! Зинаида Юсупова до самой смерти гордилась, что ее сын убивал Распутина.

Речь Пуришкевича, прозвучавшая 19 ноября, была лишь отправной точкой для перехода к действию. Однако еще задолго до этого Феликс начал искать пути к сердцу Распутина, снова установив с ним приятельские отношения; при этом он действовал через Муньку Головину, которая была рада возвращению князя в распутинскую компанию. Помирившись с Гришкой, Феликс направил свои аристократические стопы к «общественности», пытаясь в ее среде найти поддержку своим криминальным планам.

Он повидался с думским кадетом В. А. Маклаковым (братом бывшего министра внутренних дел Н. А. Маклакова) и напрямик сказал ему, что согласен отдать миллион, не задумываясь, любому типу, который согласится ужокошить Распутина.

— Неужели, — спросил Юсупов, — нельзя найти очень хорошего убийцу, вполне надежного и благородного человека?

— Простите, князь, но я никогда не держал бюро по найму убийц, — отвечал Маклаков. — А как юрист могу сказать одно: убийство — вещь простая, зато возня с трупом — вещь сложная. Такие дела не так делаются! Наемные убийцы миллион от вас загребут, а за полтинник на пиво продадут вас полиции.

Разговор происходил на квартире Маклакова.

— Я бы и сам, — признался Феликс, — охотно угробил Гришку, но тут, понимаете, выпала экзаменационная сессия. Сдаю экзамены в Пажеском, приходится много зубрить... Просто некогда!

Маклакова стала мучить «гражданская совесть».

— Мне так неловко, что я отказываюсь от участия в замышляемом вами подвиге на благо Отечества. Чтобы вы не подумали обо мне скверно, я внесу достойный вклад в великое дело устранения с земли русской этой гнусной личности — Распутина!

Сказав так, юрист подарил Юсупову гимнастическую гирию в несколько фунтов весом, отлитую из чистого каучука.

— Простите, Василий Алексеич, а... зачем она мне?

— Как зачем? — возмутился блюститель закона. — Да такой гире цены нет! Вы берете ее вот так (Маклаков показал), размахиваетесь и со всей силы трескаете Гришку по кумполу... Бац! Еще удар, третий — и перед вами уже не Гришка, а его хладный труп! Как видите, убийство дело простое, но я еще раз подчеркиваю, что предстоит утомительная возня с кадавром убитого...

Юсупов гирию взял, не сыскав более весомой поддержки в среде «общественности». Маклаков раскрыл лицо подлинного либерала: показал, как надо убивать, даже вручил оружие убийства, но сам, опытный юрист, от кровопролития уклонился.

Пуришкевич же не боялся замарать руки!

* * *

Санитарный поезд Пуришкевича стоял в тупике товарной станции Варшавского вокзала, загружаясь по мере сил медикаментами и продуктами, чтобы в исходе декабря снова отправиться за партией раненых в Яссы... Юсупов сдавал экзамены, а Пуришкевич был занят беготней по всяким хлопотам. Однако они находили время для встреч, взаимно дополняя друг друга (Юсупов был собран и сдержан, а Пуришкевич горяч и быстро загорался). Феликс тихим голосом

говорил, что время речевой терапии кончилось — пришел момент братья за хирургический нож...

21 ноября Пуришкевич вечером посетил Юсупова в его дворце на Мойке, и хозяин предупредил его, что квартира Распутина — мало подходящее место для расправы с ним:

— Толчется уйма народу, лучше убивать у меня.

Пуришкевич заметил, что напротив дворца, за каналом Мойки, виднелось здание полицейского участка:

— Услышат драконы выстрелы и сразу сбегутся.

— Нужен яд, — ответил Юсупов, после чего они спустились в подвальное помещение дворца. — А здесь можно стрелять...

Подвал был необжит, и Пуришкевич сказал, что нельзя же Распутина принимать в подвале: он сразу почует неладное.

— Не волнуйтесь, — мило улыбнулся князь, — я уже нанял мастеров, и скоро этот подвал они превратят в роскошные апартаменты... Здесь я дам Гришке последний ночной раут!

Во дворец на Мойке прибыл стремительный, румяный с мороза Дмитрий Павлович, явился и капитан Сухотин, внешне неповоротливый, серьезный офицер, недавно вышедший из госпиталя после тяжелого ранения. Пуришкевич сказал им, что у него в поезде служит приятель, который тоже пойдет на убийство Распутина.

— Это доктор Станислав Лазоверт, поляк и хороший человек, получил за храбрость два Георгия, отличный автомобилист.

Юсупов стал развивать план убийства.

— Распутин относится ко мне хорошо и любит, когда я бываю у него, ему нравится, как я пою романсы под гитару. Я ему сказал, что моя жена Ирина хотела бы с ним познакомиться, и он сразу загорелся... Ирины нет в Питере и не будет! Она с нашей маленькой доченькой дышит кислородом в Крыму, где собралась сейчас вся моя родня. Но я уже сказал Распутину, что Ирина скоро приедет и тогда они могут повидаться.

Великий князь Дмитрий заговорил об охране:

— Ее не проведешь! Помимо Ваньки Манасевича, который крутится на Гороховой, Гришку, как мне удалось выяснить от полиции, ежедневно берегут двадцать четыре агента.

Юсупов напомнил, что Распутина охраняют еще и «банковские» агенты. Он, кажется, спутал. Не банковские агенты, а тайная агентура

Симановича, который из сионистского подполья берег Распутина, — как зеницу ока... Пуришкевич закрепил общий разговор, предложив всем встретиться 24 ноября:

— В десять вечера в моем вагоне...

За эти дни он вовлек в заговор доктора Лазоверта, и тот охотно согласился устранить Гришку с помощью цианистого калия. В вагоне-библиотеке, опустив на окна плотные шторы, Пуришкевич принял заговорщиков, и два часа подряд они обсуждали предстоящее убийство — в деталях. Выяснилось, что Маклаков был прав, когда говорил, что возня с трупом — дело сложное. Сообща решили, что вода все грехи кроет: Распутина лучше всего засунуть под лед. Но для этого надо отыскать прорубь.

— Он же всплыть может, — говорил Пуришкевич, — значит, необходимы гири и цепи... Впрочем, я это беру на себя. А у вас, князь, как подвигается дело с ремонтом подвала?

— Монтеры уже налаживают электропроводку.

— Гришку, — сказал Дмитрий Павлович, — так ведь просто в воду не швырнешь. Надо во что-то завернуть, антихриста!

— Не пожалею даже любимого ковра, — согласился Юсупов и передал Лазоверту цианистый калий (часть яда была в кристаллах, а частично яд был уже разведен во флаконе).

— Откуда он у вас? — любопытно спросил врач.

— Это еще один щедрый дар конституционно-демократической партии: Маклаков отдался сначала гирей, теперь ядом.

Расходились, как и положено убийцам, ровно в полночь. Следующую встречу назначили на 1 декабря; Пуришкевич обещал все-таки втянуть Маклакова в заговор, а Юсупов хотел поговорить на эту же тему с Родзянкой:

— Дядя Миша, как-никак, мой родственник...

28 ноября Пуришкевич снова заехал к Юсупову на Мойку, чтобы осмотреть работы в подвале. Войдя во дворец с главного подъезда, он был поражен громадной свитой княжеской челяди.

— Вы что? И Гришку так же встречать будете?

— Да нет, — засмеялся Юсупов, — я всех холопов разгоню к чертовой матери, оставлю лишь двух дежурных солдат.

Осмотрев подвал, Пуришкевич спросил о Родзянке — согласен ли думский «медведь» ломать Гришкины кости?

— Дядя Миша от души благословил всех нас, сказал, что рад бы и сам удушить Гришку, но уже староват для этого дела.

— Ладно, а я сегодня нажму на Маклакова. Одной только гирей и ядом он от меня не отделается...

Пуришкевич посетил Таврический дворец, где усадил Маклакова под бюст царя-освободителя Александра II и долго втолковывал кадету, какая благородная задача стоит перед ними:

— Спасти Русь от этого чалдона... вы согласны?

Маклаков сложил ладони, как католик на молитве.

— Владимир Митрофаныч, душа вы моя! Обещаю дам, что, когда вас схватят, я все свои юридические познания и весь опыт адвоката приложу к тому, чтобы вытащить вас из петли. Но убивать я... не умею! И очень прошу: сразу после убийства Гришки дайте шифрованную телеграмму из двух слов «когда приезжаете», тогда я пойму, что Гришка — ау, и смогу вздохнуть свободно...

Пуришкевич обругал кадета «кадетом»! Огорченный, он гулял с папиросой по Екатерининскому залу, когда его остановил националист Шульгин, попросивший у него прикурить.

— А вот новость! — сказал он. — Вашу речь от 19 ноября в Царском сочли крамольной и сейчас выпирают со службы сановников, которые отозвались о ней положительно...

Пуришкевич пытался и Шульгина втянуть в заговор, но Шульгин сказал вещиные слова:

— Разве корень зла только в Распутине? Какой смысл убивать змею, которая давно ужалила? Яд распутинщины уже всосался в кровь нашей империи, и монархию ничто не спасет. Допускаю, что вы убьете Распутина, но разве в России станет лучше? Поздно вы схватились за топоры... Надо было еще в пятом!

В эти дни Юсупов, ведя оживленную переписку с сородичами, сообщил Ирине о намерении убить Распутина, и жена одобрила его замысел (она отвечала ему из Кореиза: «Главное — гадость, что ты решил все без меня. Не вижу, как я могу теперь участвовать, раз все уже устроено. По-моему, это дикое свинство...»). Ночью, ложась спать, Пуришкевич о том же поведал своей супруге:

— Тебе, дорогая, в ночь убийства предстоит не спать. Ты должна как можно жарче истопить печку в вагоне, привезут одежду Распутина, которую ты испепелишь во прах...

Утром доктор Лазоверт завел на морозе один из автомобилей санитарного поезда, которые обычно возились на платформах, и отвез Пуришкевичей на Александровский рынок, где супруги купили гири и цепи. Потом Пуришкевич с Лазовертом колесили по городу, высматривая проруби в реках и каналах. Стоял жестокий мороз, оба продрогли в машине и еле отогрелись коньяком. Они отыскивали лишь два места для сокрытия трупа: одно на Средней Невке возле моста, перекинутого на острова, другое — слабо освещенный по вечерам Введенский канал, идущий от Фонтанки к Обводному, мимо Царскосельского вокзала... При сильном морозе только там чудом уцелели незамерзшие проруби!

Хотя в тайну заговора было посвящено немало посторонних лиц, никто из них не проболтался. Болтуном оказался сам... Пуришкевич, у которого наблюдалось «отсутствие задерживающих умственных центров». Аарон Симанович пишет, что заговор от самого начала раскрыл его тайный агент Евсей Бухштаб, который был «дружен с одним врачом по венерологическим болезням, фамилию которого я не хочу называть.^[26] ...он имел клинику на Невском проспекте. Пуришкевич у него лечился сальварсаном». После речи в Думе 19 ноября сионисты были очень встревожены; Бухштаб поручил венерологу Файнштейну узнать — ограничится ли Пуришкевич речью или перейдет к активным действиям? После очередного вливания сальварсана Пуришкевич прилег на кушетку, а Файнштейн умышленно завел разговор о Распутине; экспансивный и взрывчатый Пуришкевич тут же намолотил, что он устранил Распутина, а вся Дума, во главе с Родзянкой, с ним солидарна.

— А скоро ли это случится? — спросил венеролог.

— Очень скоро, — заверил его Пуришкевич...

Симанович сразу созвонился с Вырубовой, прося ее передать царю, чтобы в Ставку вызвали Файнштейна, который и доложит подробности; он поехал потом на Гороховую, где сказал Распутину такие слова: «Поезжай немедленно к царице и расскажи, что затевается переворот. Заговорщики хотят убить тебя, а затем очередь за царем и царицей... Скажи папе и маме, чтобы дали тебе миллион английских фунтов, тогда мы сможем оставить Россию и переселиться в Палестину, там можем жить спокойно. Я тоже опасаясь за свою

жизнь. Ради тебя, — закончил речь Симанович, — я обрел много врагов. Но я тоже хочу жить!»

Распутин, думая, выпил две бутылки мадеры.

— Еще рано, — сказал, — пятки салом мазать. Погожу и царей тревожить. Ежели наши растократы на меня ополчатся, я сделаю так, что весь фронт развалится за одну неделю... Вот те крест святой: завтра немцы будут гулять по Невскому!

Но Пуришкевич, проболтавшись о заговоре, не раскрыл участников его — и это спасло все последующие события.

* * *

Юсупов сознательно зачастил в гости к Распутину, а тот, доверяя ему, вполне искренно говорил:

— Министером тебе бы! Хошь, сделаю?..

В белой блузочке, покуривая папирасы, в уголке дивана сидела, поджав ноги, Мунька Головина — слушала мужской разговор. Феликс осторожно выведывал у Распутина — каковы цели того подполья, которое им управляет; выяснилось, что людей, работающих на пользу сепаратного мира, Гришка называет зелеными:

— А живут энти зеленые в Швеции.

— У нас на Руси тоже есть зеленые? — спросил князь.

Распутин подпустил загадочного туману:

— Зеленых нет, а зеленоватых полно. У меня, брат, друзья не тока дома. За границей тоже людишки с башками водятся...

Он просил Юсупова петь под гитару, и князь пел:

К мысу радости, к скалам печали ли,
К островам ли сиреневых птиц,
Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц...

Муньке нравилось, а Распутин кривился:

— Не по-нашенски... нам бы чего попроще!
В угоду ему Феликс заводил мещанское занудство:

Вечер вечерееет. Приказчицы идут.
Маруся отравилась — в больницу повезут.
В больницу отвозили и клали на кровать,
Два доктора, сестрички пытались жизнь спасать.
Спасайте не спасайте, мне жизнь не дорога!
Я милого любила — такого подлеца...

— Вот это — наша! — радовался Распутин.
Наманикюренные тонкие пальцы потомка Магомета и поклонника
Оскара Уайльда брызнули по струнам.

Маруся ты, Маруся! Открой свои глаза,
А доктор отвечает: «Давно уж померла».
Пришел ее любезный, хотел он навестить,
А доктор отвечает: «В часовенке лежит».
Кого-то полюбила, чего-то испила,
Любовь тем доказала — от яду померла...

Бывая на Гороховой, князь внимательно изучал расстановку шпиков департамента полиции, интересовался, насколько точно они информированы об отлучках Распутина из дома. Вскоре Гришка начал проявлять горячее нетерпение:

— Слушь, Маленький! (Так он называл Юсупова.) А когда-сь Иринка-то из Крыма приедет? Говорят, красовитая стала. Обабилась, как дочку-то родила. Ну вот... устрой!

1 декабря заговорщики еще раз встретились в поезде Пуришкевича; князь Феликс сказал, что надо кончать с Распутиным поскорее, ибо он сам торопит события, и если дело затянется, то это наведет его на подозрения. Пуришкевич настаивал на том, что пора назначить точную дату убийства. Но тут великий князь Дмитрий, полистав записную книжку, извинился:

— Я ведь человек светский, а значит, сам себе не принадлежу. До шестнадцатого декабря у меня все вечера уже расписаны.

Юсупов приятельски взглянул в его книжку.

— Митя, а вот пирушка... можно отказаться?

— Да никак! Встреча с товарищами по фронту.

— Итак, остается шестнадцатого декабря? — спросил Владимир Митрофанович. — Ну что ж. Давайте так. За эти дни надо успеть многое еще сделать. Шестнадцатого я нарочно приглашу членов Думы осмотреть мой поезд — для отвода глаз. А вы, князь, не забудьте поставить граммофон, который бы заглушал лишние шумы... Кстати, есть у Распутина любимая пластинка?

— Есть. Вы удивитесь — «Янки дудль дэнди».

— Отлично. Собираемся по звонку. В телефон надо сказать пароль: «Ваня приехал». А сейчас, господа, мы прощаемся...

В канун убийства доктор Лазоверт перекрасил автомобиль санпоезда, замазав на его бортах личный девиз Пуришкевича «Semper idem» («Всегда тот же»). Пуришкевич съездил в тир лейб-гвардии Семеновского полка, где из своего испытанного «соважа» выбил десять очков из десяти возможных по малозаметным подвижным целям.

Вечером, вернувшись в вагон-библиотеку, он заварил чай покрепче и примерил на руку стальной кастет. Подумал вслух:

— На худой конец можно и горшок ему расколоть...

Перед сном он читал оды Горация (в подлиннике), со вкусом декламируя по-латыни: «Не спрашивай, не выпытывай, Левконоя, нам знать не дано, какой конец уготовили тебе и мне боги...»

За стенкой вагона свирепел лютейший мороз.

4. До шестнадцатого

В канун своей гибели Распутин добился того, чего не всегда удавалось добиться даже многим столбовым дворянам: его младшая дочь Варька была помещена императрицей в Институт благородных девиц (так назывался тогда Смольный институт); по екатерининскому статусу института смолянками могли стать лишь девицы благородного происхождения, деды и прадеды которых отличились по службе или на полях сражений. Слухи об этом небывалом ордонансе шокировали русское общество, вызвав возмущение не только среди столичной аристократии, но и среди всех мало-мальски мыслящих людей... Вскоре Варька приехала к отцу, жалуясь, что в Смольном кормят очень плохо, она голодная, кругом болтают по-французски, передник носить велят, но сморкаться в него не позволяют, подруг нету, все смолянки воротятся, говорят; что от нее пахнет свеженарубленной капустой...

Отец дал дочери разумный совет:

— Ежели они там все такие благородные, так и ты, Варюшка, будь благородной. Слюней во рте поднакопи да харкни в рожу энтим подруженькам, чтоб оне, стервы, тебя зауважали!

Кажется, совет имел практическое применение, после чего начался стихийный отлив смолянок из института. С утра до ночи подъезжали кареты и коляски — родители спешили забрать дочерей из благородного заведения, которое стало распутинским. В эти дни на квартире Распутина отчетливо прозвучал выстрел — это покончил с собой жених Варвары, офицер Гиго Пхакадзе; причина самоубийства осталась невыясненной.

— Неприятная штука, — рассказывал Распутин. — Сижу себе, кум королю, ни хрена не думаю, вдруг — тресь! Пожалте. Я даже не сразу допер, что стряслось. Вышел. Он лежит... дурак! Нет того, чтобы на улицу выйтить. Нашел место, где пуляться...

Вплоть до 16 декабря он жил как обычно. Следил за нравственностью своих поклонниц, требуя от них, чтобы не носили корсетов и бюстгалтеров. Съедал по дюжине круто сваренных яиц, а скорлупу дамы разбирали по ридикюлям, считая ее божественной. Вырубова подавала на ломте хлеба соленый огурец, от которого старец лишь откусывал и отдавал ей обратно. Аннушка доедала огурец с невыразимым выражением восторженного благоговения на лице — круглом, как суповая тарелка. Если же дамы становились слишком навязчивы, Распутин не стеснялся с ними:

— Отстань от меня, тварь паршивая! Расшибу...

Дамы-эмансипэ несколько не обижались. Мунька Головина и Анюта Вырубова, как министры Распутина, занимали на Гороховой почти официальное чиновное положение, и на них (давно к ним привыкнув) он не обращал мужского внимания. Сейчас, после Сухомлиновой, в его сердце (а точнее, в постели) пригрелась очень ловкая авантюристка Софья Лунц, на которую падает подозрение в распространении тех фальшивых русских денег, что фабриковались в империи кайзера. Эта верткая дама, поддержанная Распутиным, мертвой хваткой уже вцепилась в Протопопова; Лунц желала сущей ерунды — возглавить в России «общественную разведку» по сбору информации о настроениях в публике, и Распутин горячо одобрял эту идею... Софья Лунц — самая темная из любовниц Гришки! С ее помощью шайка Симановича влезала в потаенное чрево тайного сыска, а Протопопов не понимал, что сионисты подбирали ключи к секретным сейфам МВД, чтобы потом подчинить своим планам весь аппарат министерства — самого влиятельного!

С декабря, путем немислимых интриг и настойчивости императрицы, из тюрьмы был выпущен Митька Рубинштейн, который сразу же подарил Распутину за хлопоты пятьсот тысяч рублей. Алиса не удержалась и, роняя престиж своего самодержавного положения, лично отправила телеграмму: «СИМАНОВИЧ, ПОЗДРАВЛЯЮ — НАШ БАНКИР СВОБОДЕН. АЛЕКСАНДРА».

Распутин велел Митьке Рубинштейну дать взятку и Добровольскому...

В этот же день Мунька Головина позвонила Добровольскому, приглашая его на Гороховую. Тот явился, как приказано, испытывая робкое дрожание всех членов.

— Вот что, паренек, — сказал Гришка сенатору, — бери ноги в руки и мотай в Царское, я из тебя человека сделаю.

Скороход царицы встретил «паренька» на перроне вокзала, сопроводил на дачу Вырубовой. «А сбоку, — рассказывал Добровольский, — стояла ширмочка. Из-за этой ширмочки вдруг встает сестра милосердия, и я узнаю императрицу...» Тут старый вор и картежник узнал, что его ожидает пост министра юстиции. Столица наполнялась слухами — самыми мрачными, самыми фантастическими. Всюду открыто муссировалась последняя телеграмма Распутина, которую он послал императрице: *«ПОКА ДУМА ДУМАЕТ, У БОГА ВСЕ ГОТОВО: ПЕРВЫМ БУДЕТ ИВАН, ВТОРЫМ НАЗНАЧИМ СТЕПАНА»*. Из отставки поднимались тени диктаторов — Ивана Щегловитова — в премьеры, а Степана Белецкого — в главные инквизиторы империи. Добровольский и Протопопов проводили ночи у мадам Рубинштейн; отчаянные спириты, они выведывали на том свете, что им делать на этом свете. А императрица слала отчаянные телеграммы в Ставку, чтобы муж срочно спихнул министра юстиции Макарова, ибо Добровольский уже взопрел на распутинских дрожжах и квашня лезла через края кадушки... «Действуй!» — заклинала она.

Действовал и Манасевич-Мануйлов; хотя Протопопов из тюрьмы его освободил, но министр юстиции Макаров, верный букве закона, продолжал под Ванечку подкопы, и это пугало Распутина:

— Коль тебя ковыряют, так и до меня, гляди, доковыряются. А я, брат, сплетен не люблю... ну их!

К заветной цели Ванечка избрал косвенный путь. Возле магазина золотых вещей Симановича остановился придворный автомобиль, из него вылезла, опираясь на палку, хромающая Вырубова, за нею — Ванечка в богатой шубе нараспашку.

— Нам нужен бриллиант, — сказала Анютка.

Аарон Симанович — это не Шарль Фаберже; я уверен, что Симанович не смастерил бы паршивой брошечки, он был только скупщик и перекупщик, ценивший бриллианты не за игру света в ракурсах призмовых граней, а лишь за количество каратов, с которыми он обращался, как дворник с дровами, распиленными и расколотыми на продажу... Вырубова сама, не доверяя вкусу ювелира, выбрала бриллиант, а Ванечка уплатил за него пятьдесят тысяч рублей.

— Для жены или для Лермы? — спросил его Симанович.

— Бери выше, — отвечал тот, довольный...

Этот бриллиант он торжественно вручил старшей дочери Распутина — Матрене, и подарок оценили как надо. 14 декабря Николай II военным засекреченным шифром передал свой приказ Макарову: «*ПОВЕЛЕВАЮ ВАМ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО О МАНУЙЛОВЕ И НЕ ДОПУСТИТЬ ЕГО СУДА. НИКОЛАЙ*». Министр юстиции при этом заметил:

— Если дело дошло до того, что мне отрубают руки, протянутые к заведомым уголовникам, значит, империя доживает последние дни... По сути дела, империи уже нет — империя умерла!

* * *

В подъезде распутинского дома охрана дулась в карты.

— Бью маза... у тебя шестерка? Пики!

Очередь просителей на прием к Распутину иногда начиналась от подъезда и тянулась до его квартиры на третьем этаже, просители забивали прихожую. Распутин, покрываясь бисерным потом, с матюгами, лая всех, карябал «пратеци». Иногда же филеры еще внизу лестницы предупреждали просителей:

— Сегодня приема нет — пьян в доску!

— Когда же он проспится?

— А черт его знает! Заходи завтра.

— Вы уверены, что он будет трезвым?

— Мы уже давно ни в чем не уверены... Пики!

Синодальный чиновник Благовещенский не оставил по себе следов в русской истории. Но он был, увы, соседом Распутина по квартире, и, так как ему постоянно мешали шум, крики пьяных и вопли цыганских оркестров, то он решил отомстить Распутину... опять же в истории! Окно его кухни выходило как раз на окна распутинской квартиры, что давало возможность Благовещенскому наблюдать быт Распутина, так сказать, изнутри. Придя со службы, чиновник занимал свой пост возле окна и дотошно, как полицейский шпик, фиксировал

на бумаге хронику распутинской жизни. Автор хроники давно канул в Лету, а дело его осталось:

«...веселое общество. Пляска, смех. К 12 ночи пришел струнный оркестр, человек 10–12. Играли и пели опереточные мотивы. Неоднократно пропеты грузинские песни. Повторена после шумных оваций „Песнь о вещем Олеге“ с выкриками „Здравия желаем, ваше превосходительство!“. Распутин разошелся вовсю и плясал соло. Прибегали на кухню за закусками, фруктами, бутылками вина и морсом гости, большие дамы и барышни, очень оживленные, развязно-веселые.

...кутеж. Приглашен хор цыган, 40 человек. Пели и плясали до трех ночи, к концу были все пьяны. Распутин выбегал на двор, приставал к женщинам, лез с поцелуями. Дамы, кстати, элегантно одеты, последний крик моды, не совсем уже молодые, так, в бальзаковском возрасте, но есть очень много свеженьких миловидных барышень, вид которых меня всегда поражал тем, что они слишком серьезны, когда идут к нему по двору или поднимаются по лестнице, как будто они идут на что-то серьезное.

...обычный день. Распутин обедал с семьей на кухне. Едят суп из одной все миски деревянными ложками. Очень много у них фруктов — апельсины, яблоки, земляника...»

15 декабря Юсупов повидал Распутина.

— Моя жена только что приехала из Крыма, хочет поговорить с тобой в интимной обстановке. Приходи завтра... Ирина только просит, чтобы ты пришел попозже, никак не раньше двенадцати. У нас будут обедать теща и другие дамы...

Юсупов писал: «Распутин поставил мне единственным условием, что я сам заеду за ним и привезу его обратно, и посоветовал мне подняться по черной лестнице... С изумлением и ужасом я констатировал, как легко он на все соглашался и сам устранял возможные осложнения». Распутин охотно шел в западню!

* * *

Между 1 и 16 декабря на квартире Распутина раздался телефонный звонок. Мелодичный женский голос спросил:

— Простите, это квартира господина Распутина?

— Евонная. А што надо?

— Вы не можете сообщить мне, когда состоится отпевание тела покойного Григория Ефимовича?

Распутин даже опешил. Оправившись от неожиданности, он покрыл женский голос виртуозным матом и повесил трубку.

Кто эта женщина? Зачем звонила? Я этого не знаю. А профессор Милюков был прав, когда говорил, что вся эта авантюра с убийством Распутина была замыслена и исполнена «не по-европейски, а по-византийски»!

5. Последний день мессии

Можно ли восстановить почасовой график последнего дня жизни Распутина? Да, можно. Я берусь это сделать, полагаясь на показания его домашних, дворников, швейцаров и городских...

* * *

Свой последний день Гришка начал с того, что, не вылезая из дому, в дымину напился. Около полудня приехала Мунька Головина и на многочисленные звонки по телефону отвечала, что сегодня приема не будет. Она пробыла на Гороховой до самого вечера, лишь ненадолго отлучаясь по своим делам. При ней Распутин начал сборы в баню, говоря, что ему надо «очиститься паром». Но при этом он никак не мог выбраться из постели.

— Вставай, хватит валяться, — тормошила его Мунька.

— Погодь. Сама торопиться и людей спешишь.

— Ты будешь сегодня дома?

— Ишь, верткая какая! Все тебе знать надобно...

Нюрка собрала ему бельишко, выдала банный веник.

— Ты, дядь, хоша бы из баньки трезвым приди.

— Ладно, — отвечал Гришка, — не липни ко мне...

По черной лестнице, чтобы избежать встреч с просителями, филерами и корреспондентами, он вышел из дома. Швейцариха М. В. Журавлева показала потом в полиции, что из бани Распутин возвратился еще пьянее (видать, «пивком побаловался»).

— А я сегодня поеду, — вдруг сознался он Муньке...

На вопрос, куда же он поедет, Гришка ответил: «Не скажу». В показаниях М. Е. Головиной зафиксировано: «Я ответила, что все равно я почувствую это, на что Григорий Ефимович сказал: „Почувствуешь, но меня не сыщешь“. Весь этот разговор происходил в

шутливым тоне, поэтому я никакого значения ему не придавала...» Очевидно, в момент отсутствия Муньки на Гороховой появилась Вырубова, привезшая ему в дар от царицы новгородскую икону. «Я, — писала Вырубова уже в эмиграции, — оставалась у него минут 15, слышала от него, что он собирается поздно вечером ехать к Феликсу Юсупову знакомиться с его женою... Хотя я знала, что Распутин часто видался с Феликсом, однако мне показалось странным, что он едет к ним так поздно, но он ответил, что Феликс не хочет, чтобы об этом узнали его родители. Когда я уезжала, Григорий сказал мне странную фразу: *«Что тебе еще нужно от меня? Ты уже все получила...»* Я рассказала государыне, что Распутин собирается к Юсуповым знакомиться с Ириной. *«Должно быть, какая-то ошибка, —* ответила государыня, — так как Ирина в Крыму, а родителей Юсуповых нет в городе...»

Потом Распутин завалился дрыхнуть и, очевидно, проснулся только около семи часов. Мотря с Варькой нафуфырились, собираясь идти в гости. Кажется, именно здесь он сказал дочерям, что ночью едет к Юсупову, но просил Муньке об этом не говорить («Отец мне разъяснил, что Головина может увязаться за ним, а Юсупов не хотел, чтобы она приезжала...»). Ближе к вечеру Распутина навестила какая-то женщина, пробывшая у него до 11 часов. Протокол свидетельствует: «Приметы этой дамы — блондинка, лет 25, выше среднего роста, средней полноты. Одета в пальто клеш темно-коричневое, такого же цвета ботинки, на голове черная шляпа без вуали».

Это была последняя женщина в жизни Распутина!

Она удалилась, надо полагать, как раз в то время, когда из гостей вернулись его дочери. Муньки уже не было, а дочери попили чаю, и Распутин велел им ложиться спать. Около полуночи в доме все затихло. Племянница Нюрка тоже завалилась в постель. В нашем распоряжении остался только один свидетель. Это Катя Печеркина, вывезенная из Покровского в помощь Нюрке на роль прислуги — старая деревенская пассия Гришки, которую он развратил еще смолоду... Именно-то при ней Распутин и начал готовиться к визиту во дворец князей Юсуповых!

Пуришкевич запомнил шелковую рубаху кремового цвета. Я больше верю Кате Печеркиной, которая сама его обряжала. Распутин надел голубую рубаху, расшитую васильками, «но, — показывала

Печеркина в полиции, — не мог застегнуть все пуговицы на вороту и пришел ко мне на кухню, я ему пуговицы застегнула». При этом Гришка повертел шеей в тугом воротнике: «Фу, тесно-то как! Зажирел я, быдто боров какой...» Затем он натянул узкие хромовые сапоги, собрал их в гармошку — для шика! Рубаху подпоясал шелковым шнурком малинового цвета с золотыми кистями. Таков он был в эту ночь — в последнюю ночь своей жизни.

Одевшись, Гришка в сапогах завалился на кровать, велел Кате Печеркиной спать, но она засела на кухне, бодрствуя. Часы пробили полночь — Россия вступила в ночь на 17 декабря 1916 года, и эта ночь была, в своем роде, ночью исторической...

Далее, читатель, следуем показаниям дворника Ф. А. Коршунова, который во втором часу ночи, дежуря возле ворот, видел автомобиль «защитного цвета с брезентовым верхом и окнами из небьющегося стекла, сзади была прикреплена запасная шина». Автомобиль приехал со стороны Фонтанки и, ловко развернувшись, замер возле подъезда. Дворник запомнил, что шоферу около тридцати пяти лет, он был усат, в пальто с барашковым воротником, руки в длинных перчатках ярко-красного цвета (это он описал доктора Станислава Лазоверта). Из автомобиля вышел неизвестный для дворника господин — князь Феликс Юсупов.

На вопрос дворника «к кому?» Юсупов ответил: «К Распутину» — и добавил, что парадный вход открывать не надо, он пройдет по черной лестнице. Ф. А. Коршунов показал: «По всему было видно, что этот человек очень хорошо знал расположение дома». А черная лестница и была черной — на всех этажах не горело ни единой лампочки. Юсупов ошупью, часто чиркая спички, поднимался все выше — на третий этаж, из-под ног с фырканием выскочила гулящая кошка... Вот и нужная дверь!

Феликс еще раз чиркнул спичкой...

* * *

Пуришкевич этот день провел в своем поезде, не вылезая из купе, где читал, читал, читал... древних авторов! Только к вечеру, в половине девятого, он на дребезжащем от старости трамвае приехал не в Думу, а в городскую думу на Невском (известное ленинградцам здание с каланчой), где собирался убить время на пустопорожнем заседании по какому-то вопросу, не имеющему к Пуришкевичу никакого касательства. С ним был стальной кастет и револьвер системы «соваж». Зал думы не был освещен, швейцар сказал, что господа разошлись, заседание не состоялось за малую явкой депутатов. Пуришкевич взмолился, чтобы тот пустил его в кабинет, где он зажег настольную лампу и стал писать письма.

В эту ночь думец был облачен в форму офицера.

Покончив с письмами и глянув на часы, он не знал, что ему делать, и решил позвонить Шульгину... Сказал веско:

— Запомните шестнадцатое декабря.

Шульгин понял, в чем соль этих слов, и ответил:

— Владимир Митрофаныч, не делайте вы этого!

— Как не делать? — оторопел Пуришкевич. — Согласен, что дело грязное. Но кто-то в истории человечества вынужден стирать грязное чужое белье, а вы, Василий Витальевич... белоручка!

— Может, и так. Но я не верю в его влияние. Все это вздор. Влиятелен не он сам, влиятельны те люди, за спинами которых он прячется... Что это вам даст — не понимаю!

Ровно в 11.50 Лазоверт подвел машину к зданию Думы, Пуришкевич уселся в кабину; развернувшись у Казанского собора, они долго ехали вдоль темной Мойки. Часы показывали первые минуты 17 декабря, когда доктор вкатил автомобиль на условленное место — внутрь двора юсуповского дворца, затормозив возле малого подъезда, через который Феликс должен будет провести Распутина в подвал. Сам хозяин дома, великий князь Дмитрий и капитан Сухотин встретили Пуришкевича и врача радостным возгласом:

— Вот и вы! А то ведь мы просто измучились...

Из верхней гостиной все пятеро спустились через тамбур по витой лестнице в подвал, который теперь никто бы не осмелился так назвать. За несколько дней рабочие превратили низы дворца в сказочное жилище принца. Пуришкевич был просто потрясен, не узнавая прежнего захламленного погреба, каким он был совсем

недавно. Помещение разделялось сводами как бы на две комнаты. Неподалеку находилась дверь, ведущая на двор. По стенам висели портьеры, каменные плиты пола устилали драгоценные ковры и шкуры медведей. Старинная, удивительной выделки парча покрывала стол, вокруг которого сдвинулись черные кресла с высокими готическими спинками. На шифоньере красовалась дивная чаша из слоновой кости. Привлекал внимание шкафчик черного дерева — с инкрустациями, зеркалами и массой потайных ящичков. Над этим шкафчиком, трагически и скорбно, возвышалось драгоценное распятие — целиком из горного хрусталя с тончайшей чеканкой по серебру (работы итальянского мастера XVI века).

— Располагайтесь, господа, — радушно предложил Феликс, и все без церемоний, запросто расселись вокруг стола.

Юсупов вспоминал: «На столе уже пытел самовар. Кругом были расставлены вазы с пирожными и любимыми распутинскими лакомствами. Старинные фонари с цветными стеклами освещали комнаты сверху. Тяжелые красные штофные занавеси были опущены. Казалось, что мы отгорожены от всего мира. И, что бы ни произошло здесь ночью, все будет похоронено за толщею этих капитальных стен...» Доктор Лазоверт щелкнул крышкой часов:

— Не пора ли все отравить? Уже время...

Юсупов сказал, что еще успеется, и предложил:

— Пока не отравлено, давайте, господа, выпьем по рюмочке и закусим этими очаровательными птифурами.

В каминах с треском разгорались дрова. Рюмки были из тяжелого, как свинец, богемского хрусталя. В бутылках — марсала, херес, мадера, крымское. Юсупов сказал, что Распутин будет ждать его с черной лестницы, дабы обмануть шпикиов, следящих за парадным ходом. Дмитрий спросил его — спокоен ли Распутин?

— Нет причин волноваться. Мы с ним целуемся, как отец с сыном, и он верит, что еще проведет меня в «министеры».

— Ты его не спрашивал — в какие министры?

— Это безразлично... Господа, — попросил Феликс, — прошу вас насвинячить на столе, ибо у Распутина глаз очень острый, а я предупредил его, что у меня сегодня гости...

Пуришкевич накрошил вокруг кусков кекса, надкусил пирожное да так его и оставил. («Все это, — писал он, — необходимо было,

дабы, войдя, Распутин почувствовал, что он напугал дамское общество, которое поднялось из столовой в гостиную вверх»). Настала торжественная минута... Лазоверт со скрипом натянул тонкие резиновые перчатки, растер в порошок кристаллы цианистого калия. Птифуры были двух сортов — с розовым и шоколадным кремом. Приподымая ножом их красивые сочные верхушки, доктор щедро и густо насыщал внутренности пирожных страшным ядом.

— Достаточно ли? — усомнился капитан Сухотин.

— Один такой птифурчик, — отвечал Лазоверт, — способен в считанные мгновения убить всю нашу конфиденцию...

Закончив возню с ядами, он бросил перчатки в камин. Растворенный яд решили наливать в бокалы перед самым приездом Распутина, чтобы сила циана не улетучилась. Юсупов сказал:

— Два бокала оставьте чистыми — для меня.

Сухотин задал ему естественный вопрос:

— А вы, князь, не боитесь перепутать бокалы?

Феликс со значением отвечал офицеру:

— Капитан, *со мною* этого никогда не случится...

Лазоверт облачился в шоферские доспехи; Феликс, под стать своим высоким охотничьим сапогам, накинул на себя длинную оленью доху шерстью наружу. Он посмотрел на часы.

— Я думаю, — сказал, — минут эдак через двадцать вы можете уже заводить граммофон. Не забудьте про «Янки дудль дэнди»!

Когда шум отъехавшего мотора затих, Пуришкевич отметил время: 00.35. Все покинули подвальное помещение, собрались в гостиной бельэтажа, капитан Сухотин уже копался в пластинках, отыскивая бравурную — с мелодией «Янки дудль дэнди» (пускай распутинская душа возликует!). Без четверти час сообщники снова спустились в подвал и аккуратно наполнили ядом бокалы.

Великий князь, закулив сигару, бросил спичку в камин.

— Итак, с розовым кремом отравлены, а Феликс уже знает, в какие бокалы налит нами цианистый калий.

Пуришкевич сказал — выдержат ли у Феликса нервы?

— Он у нас англоман, а у настоящих джентльменов нет нервов. Такие люди ничего не делают сгоряча, их поступки продуманны...

Сухотин спустился к ним — с гитарой в руках.

— Мы забыли об этой штуке, — сказал он, кладя гитару на тахту.
— А вдруг Гришка захочет, чтобы ему сыграли?

* * *

Феликс еще раз чиркнул спичкой, осветив ободранную клеенку на дверях распутинской квартиры. Тихо, но внятно постучал.

— Кто там? — послышался голос.

— Это я... откройте.

Громыкнули запоры, Дориан Грей крепко обнял Распутина и поцеловал его — радостно. Гришка, вроде шутя, сказал ему:

— Мастак целоваться... Не иудин ли поцелуй твой?

С византийским коварством Юсупов еще раз горячо облобызал свою жертву и сказал, что машина подана... Все, кто видел Феликса в этот день, хорошо запомнили, что глаза князя были окантованы страшною синевой. На кухне «было темно, и мне казалось, что кто-то следит за мной из соседней комнаты. Я еще выше поднял воротник и надвинул шапку. „Чего ты так прячешься? — спросил меня Распутин...“ Нервные ощущения Юсупова не подвели его: в этот момент он действительно уже находился под негласным наблюдением.

Из показаний Кати Печеркиной: «Распутин сам открыл дверь. Входящий спросил: „Что, никого нет?“, на что Григорий Ефимович ответил: „Никого нет, и дети спят“. Оба прошли по кухне мимо меня в комнаты, а я находилась за перегородкой кухни и, отодвинув занавеску, видела, что прошел Маленький, это муж Ирины Александровны» (считайте, что убийца уже известен полиции!)

Юсупова, когда он прошел в комнаты, стало колотить, зубы невольно отбили дробь, и Распутин, заметив, что с князем не все в порядке, предложил ему успокоительных капель:

— Бадмаевские! Хошь, накапаю?

— Ну, давай. Накапай.

— Ччас. Как рукой все сымет. Хорошие капли...

Комичность этой сцены очевидна: жертва недрогнувшей рукой подносила успокоительную микстуру своему палачу, чтобы тот не

волновался перед актом убийства. Юсупов жадно проглотил густую пахучую жидкость. Немного освоился, даже подал Распутину шубу; в передней Гришка нацепил на свои сапоги большущие резиновые боты № 10 фирмы «Треугольник». Покинули квартиру тем же черным ходом, минуя кухню, где их проводили все замечавшие глаза Печеркиной. На лестнице Гришка вцепился в руку Юсупова.

— Дай-козь я тебя сам поведу... Темно-то как! Во где убивать людей хорошо. Не хошь ли, я тебя угроблю?

— Что за глупые шутки! — возмутился князь.

— Ха-ха-ха... Осторожней. Здесь ступенька...

Бадмаевские капли подействовали, и далее, до какой-то определенной черты, Юсупов сохранял воистину спартанское спокойствие. Лазоверт завел мотор, велел пассажирам плотное захлопнуть дверцы кабины, и автомобиль поплыл между сугробов вдоль заснеженной улицы, подмигивая редким прохожим желтыми совиными глазами фар... Распутин устроился поудобнее и начал:

— Иринку-то покажешь?

— Покажу.

— А не боишься? — с бесовской вежливостью спросил Гришка, хихикнув, и больно пихнул Юсупова в бок. — Сам ведь знаешь, каки слухи-то обо мне ходят... Мой грех — бабье люблю.

Здесь же, в машине, он признался:

— А ко мне тут Протопопов заезжал. Говорит, меня убить кто-то хочет. Но этот номер у них не пройдет. Я ему так и сказал — руки коротки!

6. Великосветский раут

Заранее предупреждаю: следственное дело об убийстве Распутина сожжено лично Николаем II сразу же после революции, а само убийство, несмотря на кажущееся изобилие материалов, до сих пор полностью еще не раскрыто, будучи отлично замаскировано самими же убийцами. Меня не покидает ощущение, что, помимо пяти участников убийства, в юсуповском дворце был кто-то еще. Кто они? Об этом убийцы сохранили мертвое молчание. В литературе имеется намек, будто в задних комнатах дворца сидел сам А. Н. Хвостов, бывший министр внутренних дел. Мало того, полиция зафиксировала женские крики, но имен этих женщин раскрыть уже не удастся. Во всяком случае, там не было знаменитой красавицы Веры Каралли, а слухи упорно держались, что не Ирина, а именно она, звезда русского киноэкрана, послужила главной приманкой для вожделений Распутина. Я пришел к выводу, что заговор раскинулся гораздо шире, нежели о нем принято думать. Глухая тропинка домыслов заводит меня даже в крымский Ай-Тодор, где проживала императрица Мария Федоровна. Гневная, несомненно, была поставлена в известность, что Распутин будет устранен с горизонта русской действительности...

Итак, продолжим отбор фактов! Пуришкевич сказал:

— Едут. Капитан, ставьте «Янки дудль дэнди».

На дворе хлопнула дверца автомобиля, послышался топот распутинских ног, отряхивающих снег с ботов, и — голос:

— Кудыть идти-то мне, мила-ай?

— Вот сюда, — мелодично ответил Юсупов.

Пуришкевич продел пальцы в дырки кастета.

* * *

Музыка и голоса сразу привлекли его внимание.

— Никак гости у тебя?

— Это у жены. Скоро уйдут...

Гришка с любопытством ребенка обошел помещение, разглядывая убранство. «Шкафчик с инкрустациями особенно заинтересовал его. Он, как дитя, забавлялся тем, что выдвигал и задвигал многочисленные ящички». Юсупов далее пишет, что в этот момент он сделал последнюю попытку уговорить его покинуть столицу, но я не верю в это, — не ради отъезда Распутина был составлен заговор! Феликс придвинул пирожные, взялся за бутылку.

— Хорошее крымское из моих имений... попробуй.

— Не, — сказал Распутин, — У меня ишо опосля вчерашнего гудит все. Давеча уже похмелял себя... Не буду пить!

«Но я твердо решил, — писал Юсупов, — что он ни при каких обстоятельствах живым отсюда не выйдет».

— Пирожные вот... угощайся.

— А ну их... Сладкие? Что я, не маленький.

Делать нечего. Надо заводить беседу.

— Так зачем к тебе заезжал Протопопов?

— Все об этом... быдто меня умертвить хотят. — Распутин вдруг треснул кулаком по столу, так что рюмки вздрогнули; поблескивая глазами, заговорил напористо: — Ничего со мной не случится! Нет таких мазуриков, которых бы я боялся. Уж скока раз хотели меня продырявить, но господь всегда разрушал козни нечистого. Погибнет тот, кто руку на меня вздымет!

Юсупову от этих слов стало не по себе, но князь успокоился, когда Гришка вполне ровным голосом попросил дать чаю.

Феликс поднялся, сказал невозмутимо:

— Будет и чай. Я на минутку отлучусь...

Он поднялся наверх, где маялись заговорщики.

— Что делать? Эта зажавшаяся скотина ото всего отказывается. Вина не хочет. От пирожных воротится.

— А как его настроение? — был задан вопрос.

— Н-нева-ажное, — с заминкою произнес Феликс. — Похоже, он о чем-то догадывается... намекает!

Дмитрий Павлович горячо заговорил:

— Феликс, не оставляй его одного. А вдруг он, привлеченный граммофоном, пожелает подняться сюда...

— Веселое дело, — буркнул Пуришкевич, — если он здесь увидит его высочество с револьвером и мое ничтожество с кастетом!

— Надо без шума, — добавил Лазоверт.

Юсупов спустился вниз — к Распутину.

— Чаю подожди. Все-таки давай выпьем...

Гришка согласился: «А! Налей». Хлопнула пробка, и этот звук был услышан наверху («Пьют, — шепнул Дмитрий, — теперь ждать осталось недолго...»). Но Юсупов по причине, которая и самому была непонятной, наполнил вином те бокалы, в которых не было яда. Распутин с удовольствием выпил.

— А вон мадерца, — узрел он. — Плесни-ка мадерцы.

Юсупов, чтобы исправить свою ошибку, хотел наливать мадеру в бокал с ядом, но Распутин неожиданно заартачился:

— Лей в эту, из которой я уже пил.

— Да ведь нельзя мешать крымское с мадерой.

— Лей, говорю. Ты ни хрена не понимаешь.

Феликс доказал, что нервы у него крепкие. Одно неверное движение, и бокал, из которого пил Распутин, упал и разбился.

— Ну вот, — заворчал Гришка, — ты хуже коровы...

Мадеру с цианистым калием он пил с особенным удовольствием, причмокивая, похваливал. Потом сказал:

— Чего ж это Иринка твоя не идет? Я, знаешь, брат, ждать не привык. Даже царицка меня ждать не заставляет.

— Погоди. Придет.

— Налей-ка еще, — протянул Распутин бокал...

С неохотой съел пирожное с ядом. Понравилось — потянулся за вторым. Юсупов внутренне напрягся, готовый увидеть перед собой труп. Но Распутин жевал, жевал... Он спокойно доедал восьмой птифур. И, поднося руку к горлу, массировал его.

— Что с тобою? — спросил Юсупов в надежде.

— Да так... першит что-то.

«Распутин преспокойно расхаживал по комнате. Тогда я взял второй бокал с ядом, наполнил его вином и протянул Распутину. Тот выпил его с тем же результатом... Внезапно его лицо исказилось яростью. Ни разу я не видел его таким страшным. Он вперил в меня взгляд, полный сатанинской злобы... Между нами как будто шла безмолвная, таинственная и беспощадная борьба».

— Чаю подавать? — спросил Юсупов.

— Давай. Жажда началась... мучает...

Увидев на тахте гитару, он попросил спеть ему. «Мне нелегко было петь в такую минуту, однако я взял гитару и запел:

Все пташки-канарейки так жалобно поют,
А нам с тобой, мой милый, разлуку подают.
Разлука ты, разлука, чужая сторона,
Никто нас не разлучит, одна сыра земля.
Подайте мне карету да сорок лошадей,
Я сяду и поеду к разлучнице своей...»

В это время наверху Пуришкевич сказал:

— Ничего не понимаю... При чем здесь песни?

— Я тоже, — поддержал Дмитрий, — не могу уяснить, что там творится. Если Распутин мертв, то не сошел же Феликс с ума, чтобы распевать над покойником дурацкие песни. А если Распутин жив, тогда для меня остается загадкой назначение цианистого калия... Ничего не поделаешь — надо сидеть и ждать.

Часы отмечали половину третьего. Юсупов уже стал бояться, что заговорщики, не выдержав напряжения, ворвутся в подвал.

— Я схожу посмотрю, что там у моей жены...

Капитан Сухотин держался молодцом, а доктор Лазоверт скис. Сначала он нервно мотался по комнатам, пересаживаясь из одного кресла в другое, потом осунулся и стал белым-белым.

— Господа, мне дурно, — сознался он. — Никогда не думал, что могу быть такой тряпкой. Стыжусь... простите меня...

Два Георгия украшали грудь этого врача, не раз смотревшего в лицо смерти. Но одно дело — война и фронт, другое — убийство. Пуришкевич посоветовал ему выйти на двор, умыться снегом. Лазоверт спустился к автомобилю, где упал в обморок и долго лежал на снегу. Юсупов тем временем поднялся наверх.

— Что-нибудь одно: или наш Распутин действительно святой или... Будь проклят Маклаков, давший нам калий! Яд беспомощен. Гришка выпил и сожрал все, что отравлено. Но только рыгает и появилось сильное слюнотечение... Нужно решать скорее, ибо скотина

выражает крайнее нетерпение, отчего Ирина не приходит, и он измучил меня вопросами... Даже подозревать стал...

Великий князь сказал, даже с облегчением:

— Видать, не судьба! Отпустим Гришку с миром... Будем искать случая расправиться с ним в ином месте.

— Тогда зачем же вся эта комедия? — вспыхнул Сухотин.

— Отпустить? — забушевал Пуришкевич. — Ни в коем случае! Если животное загнали на бойню, значит, надо выпустить кровь... Второй раз его так удачно не заманишь... зверь хитрый. А живым он отсюда выйти не должен!

— Но как же быть? — растерянно спросил Митя.

— Я его расстреляю. Я разможу ему череп кастетом...

Со двора пришел Лазоверт, малость очухавшийся от холода, и ему вручили каучуковую гирию — дар Маклакова.

— Доктор, вы будете бить его этой штукой.

— Благодарю за доверие. Я постараюсь...

Дмитрий прокрутил барабан револьвера. То же сделал и капитан Сухотин. Юсупов сунул в карман браунинг. Пуришкевич с кастетом и «соважем» возглавлял процессию убийц, которую замыкал доктор Лазоверт, торжественно несущий над собой дурацкую гирию для гимнастических упражнений... Внизу громко рыгал Гришка.

Пуришкевич писал: «Мы гуськом (со мною во главе) осторожно двинулись к лестнице и уже спустились было к пятой ступеньке», когда Юсупов задержал это комическое шествие, здраво сказав:

— Господа, для этого хватит и одного человека...

Он вернулся в погреб. Распутин тяжело дышал.

— Как самочувствие? — любезно осведомился хозяин.

— Жжет что-то... першит... изжога...

Очевидно, яд все-таки подействовал на этого зверя.

Но Юсупов недоумевал, как великий провидец не мог заметить браунинг в его руке, заложенной за спину. Он сказал:

— Гости ушли. Ирина сейчас спустится к нам...

Обдумывал, куда целить — в висок или в сердце?

— А ты еще не смотрел хрустальное распятие?

— Какое?

— А вот это... — показал ему князь.

Распутин охотно склонился над распятием.

Выстрел!

Юсупов стрелял несколько сверху, и пуля, войдя в Распутина, прошла через легкое, едва не задев сердце, после чего застряла в печени.^[27] Гришка издал протяжный рев, но продолжал стоять на ногах. Феликс толкнул его — он упал на медвежьи шкуры. Заговорщики, услышав выстрел, почти кубарем ссыпались вниз по лестнице. При этом кто-то из них плечом задел штепсель — электричество погасло, впотьмах Лазоверт налетел на князя и громко вскрикнул («Я не шевелился, — писал Юсупов, — боюсь наступить на труп...»).

— Да зажгите же свет, черт вас побери! — велел он.

— Сейчас, сейчас, — отвечал ему голос Дмитрия.

Ярко вспыхнул свет, и они увидели Распутина, лежавшего на спине поперек шкуры. По лицу его пробегала судорога, одной рукой он закрывал себе глаза, а пальцы другой были сведены в крепкий кулак. Крови не было! Над Гришкой, сжимая браунинг, стоял Юсупов, и заговорщики были восхищены его удивительным спокойствием.

— Надо перетащить со шкуры, — сказал он, — чтобы на ней не оставалось никаких пятен...

Пуришкевич взялся за плечи, великий князь за ноги, вдвоем они перенесли Гришку на плиты каменного пола. Ползая на коленях, над ним склонился врач Лазоверт, щупал пульс:

— Агония. Но минуты две-три еще будет жить...

— Подождем, пока не сдох окончательно!

Лазоверт произнес два роковых слова: «*Он мертв*», — и тогда заговорщики вышли из погреба, последний из них погасил за собою свет. Все собрались наверху, стали дружно чокаться бокалами, Лазоверт порозовел, говоря:

— Противная это штука — убийство...

— Ах, доктор, доктор! Сейчас не до лирики.

— Господа, — спросил Митя, — а вы заметили, какая у него борода? Она лоснится от каких-то дорогих парижских специй...

— Однако, — заметил Сухотин, — уже четвертый!

Да. Следовало поторопиться. Согласно плану Дмитрий и Лазоверт должны отвезти старца домой, а роль Распутина взялся сыграть Сухотин, который уже напялил распутинскую шубу и его шапку. На случай, если тайная полиция их выследила, они должны завернуть на

Гороховую, после чего ехать на Варшавский вокзал, там оставят машину санитарного поезда, возьмут извозчика и, заехав во дворец Дмитрия, на его автомобиле вернутся обратно — за телом Распутина... Все ясно!

Пуришкевич напомнил Сухотину:

— На вокзале вас встретит моя жена, вы отдайте все вещи Распутина, и она сразу же приступит к их сжиганию.

Они уехали, во дворце остались Юсупов и Пуришкевич.

— Да оставьте вы свой «соваж», — сказал Феликс.

Пуришкевич положил свое оружие на письменный стол. Юсупов переоделся в офицерскую тужурку с погонами генерал-адъютанта. Дворец был пустынен, и в нем было тихо, как в гробу. Говорить не хотелось. Молодой князь с синяками под глазами сидел в кресле, покуривая египетскую сигарету. Пуришкевич напротив него помаленьку, но часто подливал себе французского коньяку.

— Редко приходится выпивать, — жаловался он...

Напряженная нота звучала в мертвой тишине ночного дворца. Внизу (они постоянно помнили об этом!) лежал убитый Распутин. Что-то неуловимое и острое коснулось сердца каждого... Юсупов и Пуришкевич *одновременно испытали психический толчок*.

Юсупов вспоминал об этом моменте кратко: «Вдруг меня охватила непонятная тревога». Пуришкевич писал: «Твердо помню, что какая-то внутренняя сила толкнула меня к письменному столу Юсупова, на котором лежал вынутый из кармана мой „соваж“, как я взял его и положил обратно, в правый карман брюк...»

Феликс размял в пепельнице ароматную сигарету.

— Я спущусь вниз, — сказал он.

— Хорошо, — ответил Пуришкевич и, запустив руку в карман брюк, он переставил оружие на «feu» (открытие огня).

* * *

Юсупов включил свет в подвале. Распутин лежал в той же позе, в какой его оставили. Ни малейшего биения пульса не прощупывалось в

его запястье. «Сам не знаю почему, — писал Юсупов, — я вдруг схватил труп обеими руками и сильно встряхнул его. Он наклонился на бок и снова упал. Я уже собрался уйти...»

Итак, все кончено. Распутин мертв.

7. «Византийская» ночь

Распутин не был мертв... Он открыл сначала один глаз, потом второй, и под упорным взглядом его князь Юсупов невольно оцепенел. Очень хотелось бежать, но отказывались служить ноги. Распутин долго смотрел на своего убийцу. Потом четко сказал:

— А ведь завтра, Феликс, ты будешь повешен...

Юсупов молчал, замороженный. И вдруг одним резким движением Распутин вскочил на ноги («Он был страшен: пена на губах, руки судорожно бьют по воздуху»). Он часто повторял:

— Феликс... Феликс... Феликс... Феликс...

Кинулся на Юсупова и вцепился ему в горло.

Завязалась страшная, драматическая борьба.

Отбиваясь от Распутина, повисшего на нем, Феликс вытащил его на себе в тамбур, как водолаз вытаскивает из мрачной бездны противно облепившего его осьминога. Князю удалось расцепить Гришкины пальцы, в замок сведенные на его шее. При этом в руке Распутина остался тужурочный погон с вензелем Николая II.

— Пуришкевич, скорее сюда! — взмолился Юсупов.

— Феликс, Феликс... повесят! — завывал Распутин.

«Ползя на животе и на коленях, хрипя и рыча, как дикий зверь, Распутин быстро взбирался по ступеням. Весь подобравшись, он сделал прыжок и очутился возле потайной двери, ведущей во двор...» Здесь начинается какая-то мистика! Выходная дверь была закрыта, а ключ от нее лежал в кармане Юсупова.

Распутин толкнул ее, и она... отворилась. [\[28\]](#)

Распутин шагнул на мороз, во мрак и... пропал.

Юсупов, взбежав наверх, рухнул на диван.

— Скорее туда... стреляйте! Он жив... жив...

Пуришкевич увидел закатившиеся глаза князя. Молодой тридцатилетний мужчина лежал в глубоком обмороке. Что делать? Приводить в чувство Юсупова или гнаться за Гришкой? Пуришкевич бросил князя, а сам — та-та-та-та! — по лестнице: вниз.

Через раскрытую дверь в тамбур вливались клубы морозного пара. «То, что я увидел внизу, могло бы показаться сном, если бы не

было ужасной действительностью: Григорий Распутин, которого я полчаса тому назад созерцал при последнем издыхании, переваливаясь с боку на бок, быстро бежал по рыхлому снегу во дворе дворца вдоль железной решетки, выходящей на улицу...» До ушей Пуришкевича долетал истошный вопль убежавшего:

— Феликс, Феликс, завтра все расскажу царице...

Пуришкевич для начала выпалил в небо (просто так, для разрядки напряжения). Он настигал Распутина, попадая ботинками в его же следы на снегу. Заметив погоню, Гришка припустил быстрее. Дистанция — двадцать шагов. Стоп.

Прицел. Бой. Выстрел. Отдача в локте. Мимо.

— Что за черт! Не узнаю я сам себя...

Распутин уже был в воротах, выходящих на улицу.

Выстрел — опять мимо. «Или он правда заговорен?»

Пуришкевич больно укусил себя за кисть левой руки, чтобы сосредоточиться. Гром выстрела — точно в спину. Распутин воздел над собой руки и остановился, глядя в небо, осыпанное алмазами.

— Спокойно, — сказал не ему, а себе Пуришкевич.

Еще выстрел — точно в голову. Распутин волчком закружился на снегу, резко мотал головой, словно выбрался из воды после купания, и при этом опускался все ниже и ниже. Наконец тяжело рухнул в снег, но еще продолжал дергать головою. Пуришкевич, подбежав к нему, с размаху треснул Гришку носком ботинка в висок. Распутин скреб мерзлый наст, делая попытки отползти к воротам, и страшно скрежетал зубами. Пуришкевич не ушел от него до тех пор, пока тот не умер... [\[29\]](#)

С уверенностью человека, сделавшего нужное дело, Владимир Митрофанович невозмутимо зашагал обратно во дворец. Его смущало только одно обстоятельство: во время стрельбы — боковым зрением! — он заметил, как за решеткой дворца шарахнулись с панели прохожие, а где-то вдалеке уже бухали сапоги городских.

Юсупов на правах генерал-адъютанта царя держал при главном подъезде дворца двух солдат (вроде денщиков). Пуришкевич знал об этом и направился прямо к ним. Сказал:

— Ребята, я сейчас угробил Гришку Распутина.

— Слава богу! Нет более супостата.

— Сумеете ли вы молчать об этом?

— Мы люди простые — трепаться не наше дело...

Пуришкевич попросил их втащить Распутина в тамбур дворца. Сам поднялся наверх. Юсупова на диване не было. А из туалета раздавались булькающие звуки. Пуришкевич прошел в ярко освещенную уборную. Русский Дориан Грей внаклонку стоял над унитазом, его мучительно рвало. Пуришкевич сказал ему, что Распутин больше нет — тело его сейчас притащат солдаты...

Глядя поверх унитаза, Юсупов бубнил:

— Феликс, Феликс... бедный мой Феликс!

«Очевидно, — писал Пуришкевич, — что-то произошло между ним и Распутиным в те короткие мгновения, когда он спустился к мнимому мертвецу в столовую, и это сильно запечатлелось в его мозгу». Понемногу князь пришел в себя, они спустились в тамбур как раз в тот момент, когда солдаты втаскивали со двора труп Распутина. Здесь произошло что-то непонятное и дикое! Юсупов с криком взлетел по лестнице обратно в гостиную и тут же вернулся с каучуковой гирей в руках.

— *Он жив!* — провозгласил Феликс, вздымая гирию.

Пуришкевич и солдаты в ужасе отпрянули, увидев, что Распутин начал шевелиться. «Перевернутый лицом вверх, он хрипел, и мне совершенно ясно было видно, как у него закатился зрачок правого, открытого глаза...» Неожиданно зубы убитого громко лякнули, как у собаки, готовой кинуться на врага. При этом Распутин начал вставать на карачки. Полновесный удар гирей в висок прикончил его попытку оживления. Придя в бурное неистовство, Юсупов теперь регулярно вздымал над собой и ритмично, как молотобоец, опускал на голову Распутина каучуковую гирию. С противным хряском расплющился нос Распутина, хрустнувший череп окрасился кровью, а вся борода сделалась ярко-красной... Пуришкевич опомнился первым:

— Ребята, да оттащите же вы его поскорее!

Солдаты схватили генерал-адъютанта сзади. Князь в каком-то трансе продолжал взмахивать гирей и кричал:

— Все... Феликс... повешен... Феликс... Феликс!

Юсупов, как мясник на бойне, с ног до головы был в крови, а солдаты, не искушенные в науке криминалистики, завалили его на диван, отчего и вся обивка дивана оказалась испачкана распутинской кровью. Пуришкевич взбодрил себя рюмкой коньяку, сорвал с окон

красные штофные занавеси. С помощью солдат он туго пеленал Гришку для его последней колыбели. Распутина вязали столь плотно, что коленки его задрались к подбородку, потом куль с трупом солдаты стянули веревками и, довольные, сказали:

— А хоть багажом до деревни... не рассыплется!

— Сейчас за ним приедут. Это уже наше дело...

Кровь была на лестнице, на стенах, кровь струилась из-под трупа, Пуришкевич тоже весь измарался в крови.

— Там во дворе бегают какая-то собака, — неожиданно сказал Юсупов. — Надо бы ее пристрелить и проволочить по снегу...

Убитую собаку протащили вдоль следов Гришки Распутина — в направлении ворот, и кровь собачья перемешалась с Гришкиной. Городовой Степан Власюк, дежуривший в эту ночь на углу Прачешного и Максимилиановского переулков, пришел справиться о причине выстрелов. Пуришкевич показал ему на Юсупова:

— Служивый, знаешь ли ты этого человека?

— Ыхние сясества все знают.

— А меня знаешь?

— Извиняйте на досуге — не встречал.

Пуришкевич (уже не кристально трезвый) назвал себя и обрисовал городовому свое общественное положение, после чего сказал: если тот любит Россию и царя-батюшку, то должен молчать.

— Мы только что убили собаку! — сообщил он.

— Какую собаку? — удивился городовой.

— Распутина! — брякнул Пуришкевич...

Власюк обещал доложить по инстанции только об убийстве собаки, но ежели начальство спросит о Распутине, тогда, верный присяге, он вынужден будет сказать не только о собаке. Городовой удалился, а во двор, ослепляя окна дворца фарами, вполз автомобиль Дмитрия Павловича... Юсупова решили пощадить — его оставили дома, вместо князя попросили ехать одного из солдат. Распутина с трудом запихнули в кабину, Лазоверта сменил на руле великий князь, который на полной скорости и погнал машину к Малой Невке. На неизбежных ухабах отчаянно громыхали цепи и чугунные гири, взятые для потопления трупа. Пуришкевич с удивлением обнаружил у себя под ногами шубу Распутина, шапку и боты.

— Как же так? — возмутился. — Почему не сожгли?

— Вы уж меня извините, — ответил великий князь, — но я сейчас на вокзале поругался с вашей женой. Она ни в какую не брала от нас шубу Распутина на том основании, что шуба в печку не залезет, а пороть ее по швам и резать — работы до утра...

— Так что же она взяла от вас?

— Только перчатки Распутина.

— Ну, я покажу ей...

Свет фар выхватил из мрака будку, в которой безмятежным сном праведника отчетливо дрыхнул страж Б.-Петровского моста. Дмитрий не стал выключать мотор: «Быстро, господа, быстро!» Четверо сильных мужчин, раскачав узел с трупом, швырнули его с моста вниз, где темнела прорубь. Тихо всплеснула черная стылая вода, и Пуришкевич издал слабый стон:

— Боже мой, какие же мы все идиоты...

— Что еще случилось? — спросил Сухотин.

— Надо ведь было прежде обмотать его цепями и привесить гири... Нет, профессиональных убийц из нас не получится!

Второпях побросали гири вслед Распутину; кое-как обмотали цепями шубу — тоже зашвырнули ее в окно проруби. Лазоверт, обшарив автомобиль, извлек один бот и отправил его за поручни моста. Пуришкевич спросил, где второй бот.

— А откуда я знаю, — отвечал доктор.

— Плохо, коллега, что вы этого не знаете...

— Поехали! — скомандовал Дмитрий.

Пуришкевич долго молчал, потом сказал:

— Видал разных дураков, но таких, как мы, господа, еще поискать надо! Отправив Распутина под лед, мы совершили чудовищную ошибку. Надо было оставить труп где-либо на виду, чтобы полиция его сразу обнаружила. А тайное захоронение Распутина грозит России тем, что могут появиться лжераспутины.

Сухотин буркнул:

— Да кому охота быть Распутиным?

— Не говорите так, капитан, — с умом ответил Пуришкевич, — это ведь дело прибыльное, дающее немало выгод...

Во дворе дворца Сергея Александровича (на Невском, возле Аничкова моста) осветили кабину — нашли второй бот Распутина и заметили, что вся кабина изнутри окрашена Гришкиной кровью.

— И я в крови, — сказал Дмитрий, снегом оттирая шинель. — Где это я умудрился вляпаться?

Все хотели лечь спать, но Лазоверт сказал:

— А не лучше ли нам сразу во всем сознаться?

Это наивное предложение было поддержано единогласно. Дмитрий как член императорской фамилии стал названивать на квартиру министра юстиции А. А. Макарова, но дежурный курьер, сидевший возле аппарата, неизменно отвечал:

— Посмотрите на часы — всего пять утра.

Трубку перенял у Дмитрия сам Пуришкевич, строгим тоном велел курьеру разбудить Макарова, которому и сказал:

— Ваше высокопревосходительство, случилось событие величайшей важности, имеющее государственное значение... это не для телефона! Мы должны приехать к вам для доклада.

Макаров, зевая в трубку, сказал, чтобы приезжали к нему на Итальянскую. Министр встретил их посреди большого кабинета. Было шесть утра. Макаров не садился (и все стояли). После слов разной монархической чепухи Пуришкевич сообщил главное:

— ...с заранее обдуманном намерением мы совершили убийство мерзавца и подлеца Гришки Распутина, который с неслыханным цинизмом дискредитировал идею русского самодержавия!

Сонный министр сразу встрепенулся:

— То есть не пойму — как это... убили?

— А так... убили, и все тут.

— Простите, господа, а где же кадавр?

— Не волнуйтесь. Труп мы уничтожили.

— Садитесь, — сказал Макаров и тоже сел.

За окном кружился снежок, юстиция долго думала, потом Макаров (чиновная душа) велел писать на его имя докладную записку по всей форме со всеми «приличествующими» титулами.

— Не забудьте указать звание Распутина — крестьянин! — Прочтя докладную, он наложил на нее резолюцию об «отобрании подписки о невыезде. А. М.». — Теперь, господа, распишитесь... вот здесь!

Расписались. Бюрократическая волокита закончилась. Макаров, продолжая раздумывать, приподнял на столе толстое казенное сукно и сунул под него докладную записку об убийстве Распутина.

— Не стоит нам горячиться, — сказал он. — Я предоставляю вам время обдумать свое дальнейшее поведение...

Убийцы отвесили министру юстиции церемонные поклоны и удалились. Все отправились спать. Пуришкевич еще заехал на телеграф, отправив депешу на имя Н. А. Маклакова из двух слов: «Когда приезжаете?» (что означало: Распутин мертв!).

* * *

Теперь подведем итоги этой волшебной «византийской» ночи. Распутин выжрал с вином и пирожными целых десять центigramмов цианистого калия, отчего у него «запершило» в горле; во время раута его как следует угостили пулями; на десерт неоднократно подавали каучуковую грушу, которой можно свалить и быка. Но сердце конокрада продолжало стучать и под водой — в проруби... Великий князь Николай Михайлович отметил участие в убийстве Дмитрия и Феликса такими словами: «Не могу еще разобраться в психике молодых людей. Безусловно, они — невропаты, какие-то вычурные эстеты, а все, что они свершили, — полумера, так как надо обязательно покончить со стервой императрицей...» За серией убийств и арестов к власти над страной должна была прийти военная генеральская хунта!

8. Семейная революция

Утром 17 декабря филеры как ни в чем не бывало заняли свои посты — внизу лестницы дома № 64 по Гороховой улице. Им сказали, что Распутин дома не ночевал и его до сих пор нету.

— Велика беда! — отвечали филеры. — Проспится и вернется как миленький... первый раз, что ли? Знаем мы его, паршивца... У кого дама? Я сдаю. Нет, ты сдаешь... бита. Пики!

Катя Печеркина сказала дочкам Распутина:

— Батька-то ваш загулял, да как бы греха не было! Видела я ночью, как за ним Юсупов приходил... Уж такой он страшный, так они целовались... Не к добру!

Девицы стали названивать Муньке Головиной: мол, князь Юсупов забрал нашего папу, и папа до сих пор не пришел. Головина успокаивала их, говоря, что нет причин для тревоги:

— Они давно собирались вместе ехать к цыганам...

Ее обеспокоил следующий звонок — от самого Юсупова, который между прочим, как бы вскользь сказал Муньке:

— А мне ночью откуда-то звонил Григорий Ефимович... от цыган! Звал приезжать к нему. В телефоне были слышны музыка и визжание женщин. Но я не поехал — у меня были гости.

— Странно! А прислуга утверждает, что ты ночью был с черного хода и забрал Григория с собою.

— Чепуха какая-то, — ответил Феликс, вешая трубку.

Было 11 часов дня, когда Мунька явилась на Гороховую, где царили уныние и растерянность. Квартиру наполняли встревоженные дамы, говорившие шепотом. Крутился здесь и Симанович, без которого нигде черти гороха не молотят.

— Подозреваю недоброе, — сказал он Муньке.

— А ну вас! Не каркайте...

Чтобы не привлекать внимания гостей, она с Матреной сбегала до угла Гороховой, где размещалась фруктовая лавка с телефоном. Отсюда звонила к Юсупову, но из дворца сказали, что князя нет. Ровно в полдень Феликс позвонил сам — прямо на Гороховую, и Мунька говорила с ним по-английски. Теперь — жестко:

— Куда ты дел нашего Григория Ефимыча?

— А разве он еще не пришел? — отвечал Юсупов...

Мунька заплакала и ушла. Дочери Распутина через час приехали к ней на дом, где застали Муньку с матерью — рыдающих... В это же время Аарон Симанович уже проник к Протопопову, прося министра внутренних дел поднять на ноги всю полицию.

— Я же заклинал Распутина, чтобы все эти дни он не вылезал из дома, и Распутин обещал мне, что носа не высунет.

— Потому и ушел тайно, — подсказал Симанович...

В два часа дня рабочие, проходя через Б.-Петровский мост на Малой Невке, потрясли будку сторожа.

— Дрыхнешь, кукла чертова! — сказали они смотрителю Ф. К. Кузьмину. — А там все перила в кровище... видать, кого-то убивали ночью... Иди глянь! Проспишь царствие небесное...

Из показаний Ф. К. Кузьмина: «Я пошел с ними и увидел, что на панели и на брусу перил, а также на одном устое имеются кровавые пятна; кроме того, на льду лежала калоша темно-коричневого цвета...» С поста возле дома № 8 по Петровскому проспекту был вызван городской В. Ф. Кордюков (бляха № 1876), который пришел и, осмотрев кровь на мосту, высморкался.

— Кого-то пришили... Ну-ка, братец, достань калошу!

О том, что Распутин дома не ночевал, в Царском Селе знали еще с утра, но не придали этому значения: так бывало не раз. Царицу напугал звонок Протопопова, который сообщил, что ночью в саду юсуповского дворца гремели чьи-то выстрелы.

— А что делает Феликс? — спросила императрица.

— Собрался ехать в Крым к жене.

— Задержите его, Калинин! — указала Алиса...

Нарушив законы империи, царица наложила арест на Феликса и на Дмитрия. Потом князь Юсупов был допрошен жандармским генералом Григорьевым, который, прибыв во дворец на Мойке, имел под локтем газетный сверток, словно собирался зайти в баню.

— Не воображайте себя Шерлоком Холмсом, — сказал генералу Феликс. — Я до сих пор не могу опомниться от того, что лишился в эту ночь своей лучшей собаки. Этот дурак...

— О каком дураке изволите говорить, князь?

— Да об этом его высочестве — о Митьке! Спяна вылез на двор и открыл пальбу, застрелив собаку.

Григорьев плыл верными каналами — к истине:

— Позвольте, а как же тогда понимать слова Пуришкевича, сказанные им городовому Власюку об убийстве Распутина?

Юсупов был актер и отразил на лице недоумение.

— Боже меня упаси! — сказал он. — При чем здесь Распутин? Вот видите, как бывает: городской не понял Пуришкевича, а мне грозят неприятности... Не надо было пить Пуришкевичу! Вы бы видели, как, измученный «сухим законом», он сосал мой коньяк...

— Однако вот показания городского Власюка.

— Невероятно! — отвечал Юсупов, ознакомясь с протоколом допроса. — Я помню, что Пуришкевич спяна что-то порол об убитой собаке и сожалел, что под пулю угодила собака, а не Распутин. Городской — дурак, как ему и положено по уставу, а потому он перепутал собаку с Распутиным, но ошибка вполне допустима.

Григорьев развернул газетный сверток — в нем оказалась калоша-ботик мужского фасона № 10 фирмы «Треугольник».

— Этот предмет вам знаком? — спросил генерал.

Феликс сразу узнал бот с ноги Распутина.

— Завтра мне предстоит экзамен в Пажеском корпусе по тактике войн античной древности, а вы... суете мне галошу!

Генерал показал ему справку полицейского дознания, из коей следовало, что вышеозначенный бот № 10 уже предъявлен дочерям Распутина, ныне разыскиваемого полицией, и Симановичу, — все они признали бот за принадлежащий господину Г. Е. Распутину.

— Значит, это изделие «Треугольника» вам незнакомо?

— Простите, генерал, я знаком со многими принцами владетельных домов в Европе, но я не удосужился иметь честь быть представленным галошам с чужой ноги...

Впрочем, в Царском Селе еще надеялись, что старец, находясь под особым божьим милосердием, погибнуть не может. Карандашом императрица писала мужу: «Мы сидим все вместе — ты можешь себе представить наши чувства, мысли — наш Друг исчез. Вчера А. (то есть Вырубова) видела Его, и Он ей сказал, что Феликс просил Его приехать к нему ночью... Сегодня ночью огромный скандал в юсуповском доме — Дмитрий, Пуришкевич и т. д. — все пьяные.

Полиция слышала выстрелы. Пуришкевич выбежал, крича полиции, что наш Друг убит...» Это письмо не было ею отправлено, а события получили мощный заряд энергии от звонка Протопопова:

— Убивали Феликс и Дмитрий... Ради бога, приютите в своем дворце страдалицу нашу Анну Александровну Вырубову! Убийцы имеют проскрипционные списки. Распутин был первым номером, Вырубова — вторым, а вы, ваше величество, — третья!

Вслед за этим в Ставку полетели телеграммы, чтобы царь срочно выезжал в столицу, где жить стало страшно. «Если наш Друг жив, — причитала Вырубова, — он где-то в тиши молится за нас!» Великий князь Дмитрий нахально позвонил императрице, прося у нее разрешения к пяти часам приехать на чашку чая. Алиса отказала ему — без комментариев. Потом звонил и Феликс, испрашивая позволения приехать для объяснений, но нарвался на Вырубову, которая сказала, что объяснения он может изложить письменно. А на улицах столицы творилось нечто невообразимое: узнав о гибели варнака, незнакомые люди обнимались и шли ставить свечи в Казанский собор — перед иконой св. Дмитрия (намек на убийцу Дмитрия Павловича!). В длинных очередях возле бакалейных лавок слышалось: «Дождался... Собаке — собачья смерть!»

* * *

Я никогда не осмелюсь назвать убийство Распутина трагедией, но зато все дальнейшее напоминает мне забавный скетч...

Замышляя расправу, князь Юсупов сочинил нечто вроде благородного сценария в духе Оскара Уайльда, — Распутина хотели убить «по-английски» (чисто, без шума и полиции — одним ядом). А получилась какая-то мерзкая бойня, и пришлось скоблить стены и полы от крови... Юсупов велел слугам сжечь свою пропитанную кровью одежду, только пожалел сапоги:

— Я их разносил. Очень удобно сидят на ноге...

Полиция нашла ту собаку, на которую ссылались убийцы. С пульей в голове несчастная дворняжка (Феликс почему-то счел за благо

выдать ее за породистую), конечно, не могла дать такого избытка крови. Но полиция еще не ставила вопроса об убийстве Распутина — речь шла пока об исчезновении Распутина!

Пуришкевич весь день крутился по своим делам, готовя санитарный поезд к отправке под Яссы, автомобили уже загрузили на платформы, — тут его перехватил капитан Сухотин.

— Вас просит его высочество Дмитрий Павлович...

Пуришкевич приехал во дворец на Невском, где, кроме хозяина, сидел и Юсупов с такими синяками под глазами, что страшно смотреть. Оба еще не ложились спать. Перед ними кипел турецкий кофейник, стояли початые бутылки с коньяками — они дружно пили то коньяк, то кофе... Пуришкевич присел рядом.

— Заваривается кутерьма по первому рангу, — сообщил ему великий князь. — Распутина выдать за собаку не удалось. Но самое неприятное, что подозрения падают на нас.

Пуришкевич задал не совсем умный вопрос:

— Интересно, кто же нас предал?

— Мунька Головина! — ответил Митя (тоже без ума).

— О-о, это такая гадина, доложу я вам, — добавил Феликс, — я бы даже на необитаемом острове с ней не общался... Сейчас сюда едет государь, который станет снимать самые жирные пенки с очень тощей простокваши. У меня хуже!

— Что же еще может быть хуже? — спросил Пуришкевич.

За Юсупова ответил Дмитрий Павлович:

— У него экзамены в Пажеском, но где же тут успеть подготовиться? А профессура — звери, это вам не Кэмбридж...

Пуришкевич заметил на столе черновик письма.

— Мое сочинение, — горько засмеялся Феликс. — Пишу здесь императрице, заклиная ее честью древнего рода Юсуповых, ведущих происхождение от брата Магомета, что я, их потомок, собаки не убивал... Приходится мобилизовать фантазию!

По тому, как он сморщился лицом, Пуришкевичу стало понятно, что князь врет в письме крепко — на потеху историкам.

— Ну что ж, господа, давайте прощаться...

Санитарный поезд отправился на фронт. В тесном купе, примостившись у столика, Пуришкевич писал стихи — как всегда, саркастические. Худородный думец, он отделался гораздо легче,

нежели его титулованные сообщники. Царская власть побоялась тронуть Пуришкевича, ибо за ним высилась думская говорильня, над его лысиной мрачно реяли знамена черной сотни...

Под перестуки колес Пуришкевич сочинял:

Твердят газеты без конца
насчет известного лица.
С известным в обществе лицом
пять лиц сидело за винцом.
Пустил в присутствии лица
в лицо лицу заряд свинца.
Пропажа с лицами лица
лиц огорчила без конца.
Но все ж лицо перед лицом
в грязь не ударило лицом...

Но, право, можно быть глупцом
от лиц в истории с лицом!

Соль этих стихов в том, что газеты, задавленные цензурой, оповещали читателей об убийстве Распутина в зашифрованном виде: «Вчера тремя неизвестными лицами убито известное лицо — жилец дома № 64 по Гороховой улице». Обыватель глухой провинции, прочтя столичную газету, мог прийти к трагическому выводу:

— Вот до чего в Питере докатились! Какие-то неизвестные уже и жильцов убивать стали... Подумать только!

* * *

Бросив фронтовые дела, царь вернулся в Петроград, где жена предупредила его, чтобы он не сердился на нее:

— Я твоею волей велела кое-кого арестовать...

Документальный ответ царя таков:

— Мне стыдно перед православной Русью, что руки моих ближайших родственников обгарены мужицкою кровью...

Макаров покинул пост министра юстиции сразу же после убийства Распутина и, кажется, нарочно не дал ходу ночному заявлению убийц. Добровольский заместил его скорее не по надобности, а лишь по инерции, какую ему придал Распутин.

Царь спросил Добровольского об убийцах:

— Неужели в моем доме завелись декабристы?

На глупый вопрос последовал идиотский ответ:

— Не декабристы, а патриоты-милитаристы!

Попробуй догадайся, что они хотели этим сказать.

Премьер Трепов навестил экс-премьера Коковцева.

— Вы не поверите, Владимир Николаевич, но я ничего не знаю, что там стряслось с этим... Распутиным! Императрица поручила следствие Степану Белецкому, и для нее нет сейчас человека ближе и роднее. Она сама говорит: «Степан — единственный, кому я верю, все остальные жулики». А я извещен достаточно, что Белецкий кокаину нанюхается, и его... несет!

— Как выглядит государь по возвращении из Ставки?

— Ужасен! — охотно отвечал Трепов. — Под глазами мешки, словно неделю из кабака не выходил, щеки ввалились, голос тихий, а глаза недобрые, как у собаки, которую много бьют и мало кормят... Открыто обещает завинтить все гайки до упора!

— А что наша императрица?

— Замкнута. Собранна. Холодна. Сдержанна.

— Распутина-то нашли хоть?

— Я же вам говорю, что не извещен. Я премьер, а не могу знать. Кто его поймет... Может, как у Чехова в рассказе «Шведская спичка», пока мы тут крутимся, он напился до синевы и сейчас отсыпается у какой-нибудь стервы... Ищут, ищут, ищут!

— А вот слухи, будто бы Юсупов и Дмитрий...

— Да что вы! — перебил Трепов. — Сливки нашего общества, голубая кровь и белая кость, не унижат себя до убийства.

— Как знать, — хмыкнул Коковцев...

Вскоре царь приказал Трепову добиться от Юсупова признания и выдать всех убийц. Феликс был доставлен к премьеру под

вооруженным конвоем, как преступник. Трепов извинился перед князем за эту строгую меру и сказал, что вынужден исполнить высочайшее повеление... Феликс спросил его:

— Следовательно, все, что я скажу, будет известно государю?

— Да, черт побери, да! — выкрикнул Трепов.

Юсупов понял, что грубиян находится сейчас в таком гиблом настроении, когда готов воспринять любую истину. Феликс начал свою речь, словно заплетал хитроумные кружева:

— Вы, конечно, понимаете, что я не сознаюсь в убийстве Распутина. Но если даже допустить, что убил я и я же выдам своих сообщников, то... не воображайте, что я вам сознался! Передайте моему государю, — закручивал Феликс, до предела напрягая скудный разум Трепова, — что убившие Распутина действовали не потому, чтобы испортить ему настроение, а в его же интересах. Пусть он поймет: катастрофа неизбежна, если самым радикальным образом не изменить весь образ правления государством!

Словесная казуистика Юсупова работала сейчас и на царя и против царя. Трепов понял князя правильно.

— Я поставлю к вашему дому караул с оружием, — сказал он. — Это необходимо, ибо возможно покушение лично на вас.

— Но у меня уже стоит караул, — ответил Феликс.

— Это от царицы, и он может убить вас. А теперь — от меня, который будет охранять вас от караула нашей государыни...

Подобным признанием Трепов обнаружил свою оппозицию к Царскому Селу; молодой князь глянул на часы.

— Пусть караул отведет меня для сдачи экзаменов...

Феликс получил высший аттестационный балл. Синяки вокруг его глаз еще больше увеличились, но, паля свечку с двух концов, он после сдачи экзамена не лег спать. Нет! Он вечером еще устроил концерт с исполнением цыганских романсов под гитару. Дамы осыпали солиста цветами, а мужчины качали, как триумфатора, который еще вчера убивал Распутина, а сегодня сдал экзамен — без подготовки, и дал концерт — без репетиций... Вот пойми ж ты этого человека!

Наконец в два часа ночи великого князя Дмитрия посадили на поезд и отправили в Персию, а князь Феликс ссылался в село Ракитино Курской губернии, «которое (вспоминал он) должно было служить местом моего заключения. Мой поезд уходил в двенадцать ночи...

Охрана получила приказ от Протопопова держать меня в полной изоляции. Вокзал охранялся сильным отрядом полиции, и публика не была допущена на платформу. Раздался третий звонок, паровоз резко засвистел, в зимней мгле исчезла дорогая столица... Поезд совершал свой одинокий путь по дремлющим полям».

* * *

Великий князь Павел Александрович (отец Дмитрия) и великий князь Александр Михайлович (отец Ирины Юсуповой) навестили царя и спросили, на каком основании его жена, не имея на то юридических прав, арестовала Дмитрия и Феликса. Николай II, выручая Алису, стал нагло врать, что это был его личный приказ.

— Вот телефон, — показали ему родственники, — позвони же в полицию, и пусть они снимут арест.

— Дядя Паша, и ты, дядя Сандро, — отвечал царь с оглядкой на двери, — но что же тогда скажет Аликс? И как я вообще смогу объяснить ей, о чем мы в данный момент разговаривали?

— Скажи, что мы говорили об успехах русской авиации. В самом деле, летающие дредноуты Сикорского — самая модная тема.

— Она не поверит. До авиации ли нам сейчас!..

Романовы собрались вместе — сочиняли протест против преследования убийц Распутина; под протестом подписались семнадцать человек, и первой стояла подпись греческой королевы Ольги (родной тетки Николая II и бабушки великого князя Дмитрия). Прочтя это письмо, императрица была крайне возмущена:

— Ники, это же... революция в доме Романовых!

Николай II наложил на протест резолюцию: «УБИВАТЬ НИКОМУ НЕ ДАНО ПРАВО». Это случилось, когда распоряжение о ссылке Дмитрия и Юсупова уже состоялось. Великий князь Павел Александрович пришел к царю-племяннику — о милости для своего сына Дмитрия.

— Убивать никому не дано право! — повторил царь.

Эти слова в устах обагренного кровью царя прозвучали столь цинично, что Павел Александрович не выдержал.

— Да, — закричал он, разрыдавшись, — убивать никому не дано право, кроме тебя, помазанника божия, который тысячами подмахивал смертные приговоры между выпивкой и игрой на бильярде! Кто бы другой говорил об этом, но тебе лучше молчать!

В конце декабря историк Николай Михайлович посетил Яхт-клуб на Морской улице, самый аристократический и чопорный клуб столицы, где засел за партию в безик. Язык у царственного историка был совсем без костей, и он молотил вполне свободно:

— Первого января, как и заведено, все Романовы по традиции должны собраться в Зимнем дворце, где происходит акт целования руки императрицы. Меня там не будет в году семнадцатом! Пусть ручки этой стервы целуют рубинштейны и протопоповы... Вообще, господа, я, как историк, мыслю иными масштабами. Более крупными! Чувствую, что эта самая гидра, о которой столько болтали, но ее никогда не видели, уже дышит мне прямо в задницу...

Партнером его за игрой был любовник царицы — Саблин; через день историка вызвал министр двора граф Фредерикс:

— Передаю вам волю его величества. Если вам, как говорите, стало противно целовать руку ея императорского величества, то вам в столице более нечего делать... Возвращайтесь домой и ждите фельдъегеря с приказом ехать в ссылку.

— На какой же срок меня ссылают?

— На два месяца. Исторически — пустяк.

— Я вернусь в столицу раньше, — отвечал Н. М. Романов, — ибо и двух месяцев не пройдет, как престол, пардон, кувырнется.

— Откуда у вас такая уверенность?

— Из опыта истории, граф. Вам этого не понять...

В вагоне поезда он встретил думского Шульгина и Терещенко, элегантного миллионера с клоком седых волос на лбу.

— Скоро все лопнет, — сказал Шульгин.

— Цареубийство неотвратимо, — добавил Терещенко.

— Но я люблю этого сукина сына... царя! — воскликнул историк, отправленный царем в ссылку. — Очевидно, люблю только по рикошету за то, что у него умная и хорошая мать...

В Киеве он повидался с нею. Гневная сказала:

— Глупцы! Начали хорошо, а потом бросили. Надо докончить истребление всех, кто окружает моего сына. Я не умру спокойно, пока не увижу Ники в разводе с этой гессенской психопаткой, место которой в келье... в темнице... за решеткой!

* * *

...После революции Николай Михайлович, уже с красным бантом поверх сюртука, первым делом посетил тот погреб в юсуповском дворце, где убивали Распутина; он никак не ожидал встретить здесь молодых супругов Юсуповых — Ирину и Феликса, которые как ни в чем не бывало обедали среди антуража, еще хранившего следы плохо замытой крови.

— Феликс, а тебе никогда не снится Распутин?

— Нет, — ответил князь, а Ирина добавила:

— Господи, еще чего не хватало нам, так это видеть Распутина во сне... У нас с Феликсом немало других мотивов для ночных сновидений.

Они обедали с прекрасным молодым аппетитом, и оба были красивые энергичные люди, вполне довольные своей жизнью.

9. Трупное дело

Мы забыли про Курлова! А он сказал Белецкому:

— Не так пляшешь, Степан: танцевать нужно от Малой Невки, а ты уперся во дворец Юсуповых как баран в новые ворота...

Мостовой сторож в ночь на 17 декабря дрых в будке как суслик, и Курлов дал ему по зубам — в аванс на будущее, чтобы впредь по ночам не спал, а неустрашимо бодрствовал. Искать свидетелей негде. Возле Б.-Петровского моста — Старый Петровский дворец, напротив — дворец князей Белосельских-Белозерских, куда с наганом тоже не сунешься... Выручил случай! Неподалеку находилось убежище для престарелых служителей русской сцены, и ветеран муз, некто Струйский, издавна страдавший бессонницей, в ночь на 17 декабря сидел возле окна, бесцельно глядя на мост, и видел, как неизвестные сбросили с моста большой узел. Курлов нагрянул в дом ветеранов сцены со сворой прокуроров, сыщиков и жандармов; из несчастного свидетеля вытрясли душу, и он вспомнил все, вплоть до того, с какой стороны светила тогда луна... Наблюдения старого актера в сочетании с кровью на перилах моста подсказали Курлову, что делать дальше. Утром въезд и выезд моста перетянули веревками, нагнали массу городских с пешнями, речная полиция с помощью невских рыбаков забрасывала в полыньи под мостом невод, приносивший наверх свежую корюшку, но зацепить сетью Распутина не могли. Тогда под воду ушли флотские водолазы, которые долго ползали по грунту, потом сказали:

— Кой хрен! Ежели здесь кого и утопили, так течение — не приведи бог, его прямо в море будто щепку вынесло...

Разломать лед от стрелки Васильевского острова до самого Кронштадта царь не решился (хотя слухи об этом ходили). Распутина нашли случайно и даже не там, где искали. Один городской, отойдя в сторону от моста сажень на тридцать, заметил торчащий из-под снега мех; потянул — рукав шубы. Здесь же, возле шубы, нашли и Распутина, которого из проруби течением подогнало под лед, в толщу этого льда он и врос — намертво! Курлов велел вырубить его изо льда — одной глыбой, внутри которой он и виднелся, словно

доисторическая муха, застывшая в куске древнего янтаря. Потом эту глыбу льда городские аккуратно обкалывали со всех сторон, словно скульпторы, приступающие к первичной обработке камня. В присутствии полицейского врача Тувима убитого освободили от штофных занавесей, в которые он был завернут.

Курлов снял с головы папаху и сказал:

— Ну вот, Ефимыч, и повидались... мое почтеннице!

* * *

Распутин был страшен... Помимо множества ран на теле, череп его был разрушен гирей, один глаз вытек, нос всмятку, борода примерзла к груди. К тому же он так заоченел, что буквально позванивал на морозе как стекляшка. Между тем слух об этой находке уже распространился среди его поклонниц, к берегу Малой Невки стали спускаться дамы с кувшинами и бутылками, чтобы зачерпнуть воды, которая, обмыв в себе Распутина, сделалась «освященной»... Возле моста собралась масса карет и автомобилей столичной знати, которую даже близко не подпускали. Курлов допустил к Распутину лишь полицейских фоторепортеров, которые нащелкали с трупа множество снимков (сначала в одежде, потом голого). Курлов из рядов оцепления отобрал четырех солдат с оружием, которым — наедине — строжайше внушил:

— Если проболтаетесь о том, что увидите, пусть даже родной матери, пусть даже начальству, все четверо будете преданы военно-полевому суду... Расстрел! — заключил он, с подозрением поглядывая на одного из солдат, и верный глаз жандарма не обманул Курлова (это был доброволец из студентов по фамилий Пирамидов, который позже и рассказал многие подробности)...

Обо всем происходящем возле моста Курлов телефонировал в Царское Село, а действовал лишь по указаниям императрицы. Сейчас он медлил, явно затягивая время. Только с наступлением сумерек подали грузовик, в кузов зачихнули два узла — один с Распутиным и его вещами, в другом была куча задубенелых от мороза тулупов,

присланных из Царского Села для отогревания. Курлов переоделся в шинель солдата, взял в руки винтовку, а шоферу указал запутанный маршрут, дабы избежать проезда по многолюдным улицам. Было совсем уже темно, когда грузовик тронулся, а куда ехали — никто не знал. Курлов уселся на один из узлов, но тут же спохватился: «У черт! Прямо на Гришку сел...» Жандарм перебрался на второй узел. А когда машина, миновав триумфальные Московские ворота, развернулась в сторону Инвалидного дома, студент Пирамидов (только тогда!) мстительно сказал генералу:

— Поздравляю: хорошо прокатились на Распутине.

— Быть того не может. Я нарочно и пересел.

— Нет, вы первый раз сели правильно...

Да, верно. Курлов узлы перепутал, и, пока машина пересчитывала ухабы, жандарм, подпрыгивая на узле, мощно трамбовал под собой своего ближайшего сподвижника. Ну ладно! Это не беда, а Гришке теперь уже не до того, кто там уселся на него сверху. Они прибыли на зловещее и унылое место в пяти верстах от столицы по дороге на Царское Село; здесь высился Чесменский дворец (при Екатерине II назывался «Кекерекексинен», что в переводе с чухонского означает: «Лягушачье болото», и лягушка фигурировала здесь в разных видах, украшая даже тарелки и туфли императрицы); теперь в этом замке размещалась богадельня для старых инвалидов... Грузовик остановился напротив часовни; на столе в покойнице лежал старец инвалид с медалью «За сидение на Шипке»; Курлов смахнул его со стола, как мусор, и велел:

— Тащи сюда нашего праведника... клади!

По распоряжению МВД печи в часовне были заранее прожарены — для оттаивания трупа. Распутину распрямили ноги, развели в стороны скрюченные руки. Неожиданно Протопопов вызвал Курлова к телефону и сказал, что в Царском Селе решительно протестуют против анатомического вскрытия.

— Сашка, — отвечал Курлов, — если в Царском дуры, так не будь и ты идиотом. Вскрытие необходимо для ведения судебного следствия, так и передай всем бабам!

Дочери покойного ломились в часовню снаружи.

— Пустите нас! Нам бы папочку поглядеть.

— Гнать в три шеи, — распорядился Курлов.

— Мы ему белье привезли, — неслось из-за двери.

— Белье пускай просунут, а сами не входят...

Вскрытие производил профессор судебной медицины Д. П. Косоротов, ассистировал ему полицейский врач Трант. Столичные жители твердо верили, что Распутин был спущен под лед *еще живым*. А люди религиозные придавали этому факту громадное значение, ибо — по русскому поверью — утопленник не может быть причислен к лику святых русской церкви. Императрица же потому и не хотела патологоанатомического вскрытия, чтобы анализ медиков не мешал ей в скором будущем канонизировать Распутина в «святости». Таким образом, от вскрытия зависело очень многое. Но под ножом хирурга из легких Распутина брызнула невяская вода.

— Все ясно, — сказал профессор Косоротов. — Он еще под водой продолжал дышать, а это значит — *святым ему не бывать*.

— Сколько он мог жить под водой? — спросил Трант.

— Судя по сердцу, минут около семи...

Это сердце, стучавшее под водой, было вложено в серебряный сосуд, за которым из Царского Села примчалась машина придворного гаража. После вскрытия начался процесс обмывания и одевания, причем нижнее белье взяли от семьи, а верхнее прислали от царицы. «Всем церемониалом заведовала прибывшая из Царского Села дама в костюме сестры милосердия — высокая, полная шатенка лет сорока...» Кто это был — я не знаю. Но эта дама наполнила раны Распутина драгоценными благовониями, умаслила его волосы, зашпаклевала страшные кровоподтеки на лице. Распутин был облачен в парчовую рубаху из тканого серебра, черные вельветовые брюки и носки. Только потом в часовню были допущены дочери Распутина, которых сопровождала высокая худошавая дама в глубоком трауре и под плотной вуалью, полностью скрывавшей черты лица... Это была сама императрица, которая, уходя, вложила в пальцы Гришки Распутина свое последнее к нему письмо:

«Мой дорогой мученик, дай мне твое благословение, чтобы оно постоянно было со мной на скорбном пути, который остается мне пройти здесь на земле. И помяни нас на небесах в твоих святых молитвах.

Александра».

После этого из часовни всех удалили, а Курлов дал солдатам по два рубля и еще раз пригрозил, что перестреляет всех четырех, если они станут болтать... Начиналось тайное дело Романовых! Гришку уложили в свинцовый гроб со стеклянным иллюминатором напротив его лица, этот гроб завинтили на шурупы и вложили в другой гроб — деревянный. Теперь все кончено! Не выпьет, страдалец наш, два кухонных таза с елисеевской мадерой. Не закусит, мученик наш, мадеру селедочкой, у которой в пузе такая сочная молока. Не скрипеть ему, соколику, по Руси своими нахальными блестящими сапогами...

С моря летели синие вьюги.

Гроб поставили в кузов грузовика. Была уже ночь, мороз лютовал страшный, и Курлов этой неизвестной даме («шатенке лет сорока») предложил место в кабине подле шофера. Но в ответ она истерически разрыдалась:

— Нет, нет, только с ним! До гробовой доски...

Солдаты впихнули ее в кузов, в глубоком религиозном экстазе она распласталась поверх гроба с Распутиным, обнимая и целуя шершавые заледенелые доски. Машина дернула — понеслись...

Никто больше не знал, куда делся Распутин.

Протопопов широко оповещал печать и столицу, что гроб с телом Распутина отправлен железной дорогой на родину — в село Покровское, где и погребен согласно обрядам церкви.

* * *

На самом же деле Распутин лежал в Федоровском государственном соборе, что смыкался с большим Александровским дворцом царской резиденции. Здесь служили панихиды по «невинно убиенному», здесь чадили пудовые свечи, а клубы росного ладана волнами утекали под купол храма. Никто из посторонних в собор не допускался, а возле открытого гроба кликушествовали царица и Вырубова, Мунька Головина и прочие. Должность Распутина оставалась вакантной, и Пуришкевич был трижды прав, когда говорил, что это дело прибыльное, а свято место пусто не бывает! На

освободившийся пост уже карабкался Протопопов; министр прилагал бешеные усилия, чтобы заменить Распутина, и всюду открыто вещал, что старец, покидая сей грешный мир, вселил в него, Протопопова, свой бессмертный дух. Мало того, министр внутренних дел перенял даже внешние повадки Распутина, начал понемножку хамить и даже пророчествовал, внушая царям, что, пока он, Протопопов, жив, с династией Романовых ничего не случится; Протопопов названивал в Царское по утрам к императрице — как раз в то время, в какое она привыкла беседовать с Распутиным...

Алиса замышляла похоронить Распутина в соборной ограде, но помешали офицеры царскосельского гарнизона, которые, пронюхав об этом, честно заявили лично Николаю II:

— Ваше величество, вы знаете, как мы преданы вам. Но если Распутин еще будет валяться в Федоровском соборе, где молимся мы и наши семьи, мы все уходим на фронт...

Противу канонов православия ночью (!) долгогривый Питирим отслужил над Гришкой обедню, причем с Протопоповым случился нервный припадок, он ползал на коленях и кричал, как хлыст:

— Чую! Чую! Дух и сила Распутина вошли в меня...

Дух — может быть, но сила — вряд ли!

Распутин был погребен на пустынном участке, принадлежавшем Вырубовой, которая закладывала здесь часовню и уже свозила сюда доски, кирпичи и бочки с известью. Это место, безлюдное и мрачное, называлось тогда «убежищем Серафима», — оно находилось на самой опушке парка, где к окраинам Царского Села примыкает платформа станции Александровская Варшавской железной дороги. Редко здесь встретишь человека, только торчат, уставившись в небо, длинные стволы пушек зенитной батареи...

Хоронили в три часа ночи — в самое воровское время!

Тяжеленный гроб тащили на себе Николай II и лишь самые близкие из его свиты, а наследник престола, плача от холода и страха, придерживал черный флер, спадающий с гроба. За гробом, как две неразлучные тени, шли, качаясь от горя, императрица и Вырубова — овдовевшие... Алиса, часто вскрикивая, прижимала к себе окровавленную рубаху Гришки, в которой его травили, били и добивали, как собаку, в юсуповском дворце на Мойке, а Вырубова, голося что-то божественное, несла икону и пучок нежных мимоз,

выращенных в теплицах. Во мраке ночи, с треском коптя, чадили смоляные факелы... В этой тайной мистерии не хватало только запаха дьявольской серы и чтобы мелкие бесы, держа в руках пучки горящих розог, плясали по сугробам, горласто и визгливо распевая любимую — распутинскую:

Со святыми упокой (да упокой!),
Человек он был такой (да такой!),
Любил выпить, закусить (закусить!)
Да другую попросить (попросить!)

* * *

С тех пор и повелось. По узенькой тропочке, пробитой в снегу, каждодневно императрица с Вырубовой ходили на склад строительных материалов, и солдаты-зенитчики, топая от холода промерзлыми валенками, не могли взять в толк, какого беса ради они режут там, среди стропил и балок, между кирпичей и досок.

Но эти посещения распутинской могилы скоро пришлось оставить. Дело в том, что гарнизону зенитных батарей было бы грешно не использовать это укромное местечко в общечеловеческих целях. Не стыжусь сказать, что солдаты оценили могилу Распутина как замечательный отхожий уголок, где ты никого не видишь и тебя, грешного, никто не узрит... По-французски это звучало даже красиво: *couverte d'ordures*. Говоря же по-русски, солдаты обклали Распутина столь густо, что царица наконец вляпалась.

— Не ведают, что творят, — сказала она Вырубовой.

Ведали, еще как ведали! После революции это послужило веселой темой для множества газетных карикатур. «Радуйся любострастия причина, радуйся лжесвидетельства ревнителю, радуйся хулиганов покровителю, радуйся Григорий великий сквернотворче!» Родзянко при встрече с царем вновь завел речь о «темных нечистых силах», от которых следует избавиться.

— Да ведь теперь *его* больше нет, — сказал царь.

— *Его* нет, но общее направление сохранилось...

10. Распутин жив!

Побирушка настойчиво названивал Белецкому:

— Степан Петрович, зайдите ко мне... по делу!

Белецкий ссылался на острую нехватку времени, но князь Андронников был навязчив, как балаганный зазывала:

— Ну, только на минуточку! Есть нечто важное...

Белецкий навел Побирушку в его пустынной квартире; здесь же был и Бадмаев в хорошем европейском костюме (ни слова не проронил, только улыбался); они сидели за круглым столом под розовым абажуром, мертвая тишина наполняла неудобные комнаты... Побирушка болтал разную ерунду, и было ясно, что никакого важного сообщения у него нет. «Зачем же он так настойчиво звал?..»

Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта.

Белецкий услышал там тихий шорох. Скрипнули сапоги.

На фоне двери стоял... Распутин.

Да, Григорий Ефимович Распутин, живой и теплый. Сомнений быть не могло. Борода, одежда, поза — все как у настоящего Гришки, и Белецкому стало жутко под его свирепым и темным взглядом, который из глубин соседней комнаты он обращал к нему. Побирушка при этом болтал по-прежнему, но искоса наблюдал за тем впечатлением, какое произвел на жандарма этот живой и невредимый Распутин, снова заскрипевший сапогами...

Белецкий понял, что где-то в романовском подполье уже заранее был запасен двойник Распутина, чтобы крутить распутинщину и дальше. Новый Распутин еще постоял напротив двери, потом кашлянул неловко и тихо удалился куда-то... Белецкий сказал:

— Спасибо за беседу. Мне надо трогаться.

— Вы разве ничего не заметили? — спросил Побирушка.

— А что я должен был заметить?

— Да нет, — смутился Побирушка, — это я так...

Бадмаев ласково улыбался масляной рожей.

История сдохлыми кошками казалась дивным сном невозвратного и сладкого былого, а теперь — не то. Совсем не то...

Скучно жить, черт побери, без Распутина!

«Где ты, Ефимыч?»

«Ау-у... здесь. А ты где?»

До самого февраля Распутин еще бродил по городу. И он исчез, когда столицу заполнила зовущая к оружию «Марсельеза».

11. Женщинам посвящается

Было очень холодно, на перекрестках полыхали костры. Толпы студентов и прапорщиков распевали «Марсельезу», а голодные в очередях кричали: «Хлеба!..» Если хочешь иметь хлеб, возьми ведро, пробей гвоздем в днище его дырки, насыпь горячих углей и с этим ведром ступай вечерком стоять в очереди. Ты, голубь, на ведро сядь, и снизу тебя, драгоценного, будет припекать. Так пройдет ночь, так наступит утро. Если хлеб подвезут, ты его получишь... «Хвосты» превращались в митинги. Изысканный нюх жандармов точно установил, что выкрики голодных женщин идейно смыкаются с призывами большевистских прокламаций. Костры горели, а громадные сугробы снега никем не убирались.

Родзянко с трудом умолил государя об аудиенции. Получил ее. Жена Родзянки, со слов мужа, описала царя: «Резкий, вызывающий тон, вид решительный, бодрый и злые, блестящие глаза...» Во время доклада председатель Думы был прерван возгласом:

— Нельзя ли короче? Меня ждут пить чай. А все, что следует мне знать, я уже давно знаю. Кстати, знаю лучше вас!

Родзянко с достоинством поклонился.

— Ваше величество, меня гнетет предчувствие, что эта аудиенция была моей последней аудиенцией перед вами...

Николай II ничего не ответил и отправился пить чай. Родзянко, оскорбленный, собирал свои бумаги. Доклад вышел скомканный. На листы его доношений капнула сердитая старческая слеза...

А рабочие-путиловцы с трудом добились аудиенции у Керенского. Они предупредили его, что Путиловский бастует и забастовка их может стать основой для потрясений страны. Потрясения будут грандиозны, ни с чем ранее не сравнимы... Керенский их не понял, а ведь они оказались пророками!

23 февраля работницы вышли из цехов, и заводы остановились. «На улицу! Верните мужей из окопов! Долой войну! Долой царя!» К женщинам примкнули и мужчины... Керенский выступал в Думе.

— Масса — стихия, разум ее затемнен желанием погрызть корку черного хлеба. Массой движет острая ненависть ко всему, что мешает

ей насытиться... Пришло время бороться, дабы безумие голодных масс не погубило наше государство!

К рабочим колоннам присоединились студенты, офицерство, интеллигенция, мелкие чиновники. Городовых стали разоружать. Их били, и они стали бояться носить свою форму. Вечером 25 февраля, когда на улицах уже постреливали, ярко горели огни Александрійского театра: шла премьера лермонтовского «Маскарада». В последнем акте зловеще прозвучала панихида по Нине, отравленной Арбениным. Через всю сцену прошла белая согбенная фигура. Публика в театре не догадывалась, что призрак Нины, уходящей за кулисы, словно призрак смерти, предвещал конец *всему*.

* * *

Родзянко встретился с новым премьером — Голицыным:

— Пусть императрица скроется в Ливадию, а вы уйдете в отставку... Уйдите все министры! Обновление кабинета оздоровит движение. Мы с вами живем на ножах. Нельзя же так дальше.

— А знаете, что в этой папке? — спросил Голицын.

В папке премьера лежал указ царя о роспуске Думы, подписанный заранее, и князь в любой момент мог пустить его в дело. Думу закрыли. По залам Таврического дворца метался Керенский.

— Нужен блок. Ответственный блок с диктатором!

— И... пулеметы, — дополнил Шульгин. — Довольно терпеть кавказских обезьян и жидовских вундеркиндов, агитирующих за поражение русской армии... Без стрельбы не обойтись!

Дума решила не «распускаться». Но боялись нарушить и указ о роспуске — зал заседаний был пуст, Керенский неистовствовал:

— Умрем на посту! Дать звонок к заседанию...

Кнопку звонка боялись нажать. Керенский сам нажал:

— Господа, всем в зал. Будьте же римлянами!

— Я не желаю бунтовать на старости лет, — говорил Родзянко. — Я не делал революции и не хочу делать. А если она сделалась сама, так это потому, что раньше не слушались Думы... Мне оборвали телефон, в

кабинет лезут типы, которых я не знаю, и спрашивают, что им делать. А я спрашиваю себя: можно ли оставлять Россию без правительства? Тогда наступит конец и России...

В этот день Николай II, будучи в Ставке, записал в дневнике: «Читал франц. книгу о завоевании Галлии Цезарем... обедал... заехал в монастырь, приложился к иконе Божией Матери. Сделал прогулку по шоссе, вечером поиграл в домино». Ближе к событиям была императрица, она сообщала мужу: «Это — хулиганское движение; мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба. Если бы погода была еще холоднее, они все, вероятно, сидели бы по домам». Она снова пошла на могилу Распутина! «Все будет хорошо, солнце светит так ярко, и я ощутила такое спокойствие и мир на ЕГО дорогой могиле. Он умер, чтобы спасти нас...»

Наконец до Николая II дошли слухи о волнениях в столице. Он распорядился: «*Дать хлеба!*» И власть схватилась за голову:

— Какой хлеб? О чем он болтает? Рабочие хлеба уже не просят. На лозунгах написано теперь другое: «*Долой самодержавие!*»

Сообщили царю, и он ответил — а тогда надо стрелять...

* * *

Адмиралтейство установило на башне флотский прожектор, который, словно в морском сражении, просвечивал Невский во всю его глубину — до Знаменской площади, и в самом конце луча рельефно выступал массивный всадник на битюге. Подбоченясь, похожий на городского, сидел там Александр III и смотрел на дела рук сына своего... Звучали рожки — сигналы к залпам, и солдаты стреляли куда попало. Рикошетом, отскакивая от стен, пули ранили и убивали. Мертвецкие наполнялись трупами. Иногда офицеры выхватывали винтовки у солдат — сами палили в народ.

— Кто хочет жить — ложись! — предупреждали они...

Родзянко советовал поливать публику из брандспойтов.

— В такой мороз, мокрые-то, не выдержат, разбегутся.

Царь не отвечал на его телеграммы. Войска отказывались исполнять приказы. Власть в стране забирала Государственная Дума, и к Таврическому валили толпами — рабочие, солдаты. Шульгин писал: *«Умереть? Пусть. Лишь бы не видеть отвратительное лицо этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлого сброда... Ах, пулеметов сюда, пулеметов!»*

Родзянко хрястнул о стол мясистым кулаком.

— Хорошо! — решил. — Я беру на себя всю полноту власти, но требую абсолютного подчинения. Александр Федорович, — погрозил он пальцем Керенскому, — это в первую очередь относится к вам. Вы у нас в Думе всегда были склонны играть роль примадонны?

До царя наконец дошло, что в Петрограде не мальчишки с девчонками бегают по улицам и не хлеба они там просят. Сейчас за ним, за царем, остался только отрядик, засевший в Адмиралтействе: сидит там и посвечивает... Ставка не ведала истины до конца: генералы рассуждали о каких-то «безобразниках», а правительство жаловалось генералам на удушение власти от «революционеров». Наконец на сторону народа перешел и гарнизон Петропавловской крепости! Но это еще не все... Николаю II пришлось испытать чашу отчаяния до последней капли.

— Ваше величество, — доложили ему, — старая лейб-гвардия... Невозможно выговорить, но это так: Преображенский полк примкнул к восставшему гарнизону столицы и, простите, порвал с вами!

— Как? И... офицеры?

— Ваше величество, мужайтесь — и офицеры тоже.

— Кто же там остался мне верен?

— Один лишь флотский гвардейский экипаж, посланный нами в Царское Село для охраны вашего семейства...

Но к Таврическому дворцу уже подходил гвардейский экипаж, который вел великий князь Кирилл — двоюродный брат императора, и на шинели его высочества колыхался красный бант. Великий князь доложил Родзянке, что экипаж переходит целиком на сторону восставших, и Родзянко невольно содрогнулся.

— Снимите бант! Вашему высочеству он не к лицу...

Слепящий глаз прожектора на башне Адмиралтейства погас, и канул во мрак истукан царя-миротворца, до конца досмотревшего всю бесплодную тщету своего бездарного сына...

28 февраля, в 5 часов утра, еще затемно, от перрона могилевского вокзала отошел блиндированный салон-вагон — император тронулся на столицу. В городах и на станциях к «литерному» выходили губернаторы с рапортами, выстраивались жандармы и городовые. Колеса вертелись, пока не подъехали к столице. Здесь график движения сразу сломался. Все так же безмятежно струились в заснеженную даль маслянистые рельсы, но... Революция затворила стрелки перед «литерным», и царь велел повернуть на Псков.

В 8 часов вечера 1 марта 1917 года царский вагон загнали в тупик псковского узла. Сыпал мягкий хороший снежок. Император вышел из вагона глянуть на мир божий. Он был одет в черкеску 6-го Кубанского полка, в черной папахе с пурпурным башлыком на плечах, на поясе болтался длинный грузинский кинжал...

Он еще не знал, что его решили спасти!

Спасать хотели не лично его, а монархию!

К спасению вызвались Гучков и Шульгин.

Вопрос в паровозе. Где взять паровоз?

— Украдите, — посоветовал находчивый Родзянко...

Воровать паровоз, чтобы потом мучиться в угольном тендере, не пришлось. Ехали в обычном вагоне. Шульгин терзался:

— Я небритый, в пиджаке, галстук смялся. Ах, какая ужасная задача перед нами: спасти монархию через отречение монарха!

Ярко освещенный поезд царя и темный Псков — все казалось призрачным и неестественным, когда они прыгали через рельсы. Гостиная царского вагона была изнутри обита зеленым шелком. Император вышел к ним в той же черкеске. Жестом пригласил сесть. Гучков заговорил. При этом закрылся ладонью от света. Но у многих создалось впечатление, что он стыдится. Он говорил о революции... «Нас раздавит Петроград, а не Россия!» Слова Гучкова горохом отскакивали от зеленых стенок. Николай II встал.

— Сначала, — ответил он спокойно, — я думал отречься от престола в пользу моего сына Алексиса. Но теперь переменяю решение в пользу брата Миши... Надеюсь, вы поймете чувства отца?

(«И мальчишки кровавые в глазах...»)

Гучков передал царю набросок акта отречения.

— Это наш брульон, — сказал он.

Николай II вышел. Фредерикс спросил думцев:

— Правда, что мой дом в столице подожжен?

— Да, граф. Он горит уже какой день...

Возвратился в гостиную вагона Николай Последний.

— Вот мой текст...

Отречение было уже переписано на штабной машинке:

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, господу богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание...»

Далее он отрекался. Часы показывали близкую полночь.

Акты государственной важности всегда подписываются, чернилами. Николай II подписал акт отречения не чернилами, а карандашом, будто это был список грязного белья, сдаваемого в стирку.

* * *

Вернулись в Петроград рано утром. Гучкова сразу же отодрали от Шульгина, увели под локотки — ради речеговорения.

Шульгина тоже поволокли с перрона.

— Войска построены. Скажите им... скажите!

Помещение билетных касс Варшавского вокзала стало первой аудиторией, где русский народ услышал об отречении императора. Войска стояли в каре «покоем», а не заполненное ими пространство забила толпа. Изнутри каре Шульгин вырыдывал из себя:

— ...он, отрекаясь, подал всем нам пример... богатые и бедные, единяйтесь... спасти Русь... о ней думать... война... раздавит нас... один путь — вместе... сплотимся... вокруг нового царя... царя Михаила... и Натальи... Урра-а!

Его выхватили из толпы, потащили к телефону.

— Милюков! Милюков вас... срочно.

В трубке перекатывался профессорский басок:

— Все изменилось. Не объявляйте отречения.

— А я уже. Я здесь — всем, всем, всем.

— Кому, черт побори?

— На вокзале. Войска... народ. Я им — про Михаила!

— Лягнули как в лужу, — отвечал Милюков. — Пока вы ездили в Псков, здесь закипела буря. Предупредите Гучкова, чтобы не болтал глупостей. И с вокзала срочно поезжайте на Миллионную, дом номер двенадцать. Квартира князя Путятинина...

День был солнечный. Магазины закрыты. Трамваи не работали. Никто не ходил по панелям, толпы валили посередине улиц. Половина людей была вооружена. Многотысячный гарнизон растворился в этой толпе, празднующей свободу. Два «архангела» из охраны Гучкова и Шульгина лежали животами на крыльях автомобиля. Выдвинутые вперед штыки пронзали воздух — ожесточенно.

— Не выколите глаза людям, — кричал Шульгин из кабины...

Миллионная, 12, — особняк князя Путятинина, где затаился от толпы новый император. Здесь же собрались и партийные заправилы. Милюков не говорил, а словно каркал, накликаая беду:

— Не откажите! Если не вы, то Россия... пропадет... такая история... бурная, великая... кошкам под хвост! Что ждет нас без царя? Кровавое месиво... анархия... жидовщина и хаос...

Мишка покорно слушал. Терещенко шептал Шульгину:

— Хоть стреляйся... что делать? Рядом со мной Керенский, он весь дрожит... колотит. Бойтся — надежных частей нет...

Керенский обрушил на Михаила лавину слов:

— Я против монархии, я республиканец. Как русский русскому скажу правду. Недовольство народа монархией... нас ожидает война гражданская... как русский русскому... если нужна жертва... примите ее... в любом случае за нашу жизнь я не ручаюсь!

Михаил подумал и отрекся, оставив престол бесхозным, 304 года начались на Руси Михаилом — Михаилом все и закончилось...

За ученической партой, в классной комнате дочерей Путятинина, писали акт об отречении: «Мы, Божией милостью Михаил, Император и Самодержец Всероссийский...» Возмутился сам Мишка:

— Что вы тут городите? Я же еще и не царствовал...

Растерянные, блуждали среди парт. Спотыкались о разбросанные детские игрушки. Шульгин говорил страдальчески:

— Как жалобно зазвенел трехсотлетний металл драгоценной короны, когда его ударили о грязную бульжную мостовую...

От Невы горело закатом. По Миллионной, заворачивая в Мошков
переулок, прошла рота матросов, горланивших:

Ешь ананасы, рябчиков жуй —
День твой последний приходит, буржуй!

Слова незнакомые. Таких песен раньше не слышали.

Расходясь, все молились:

— Да поможет господь бог нашей России...

Династия Романовых-Кошкиных-Захарьиных-Голштейн-
Готторпских, правившая на Руси с 1613 года, закончила свой бег по
русской истории — навсегда... С хряском сталкивались на улицах
грузовики!

* * *

Революция возникла 23 февраля по старому стилю, или 8 марта по
новому. Это был Международный женский день, и начали революцию
женщины — не будем об этом забывать!

Эту последнюю главу романа я и посвятил женщинам.

Женщинам — чистым и умным.

Женщинам — любящим и любимым.

Финал последней части

Едва загремела февральская «Марсельеза», Протопопов вызвал петроградского градоначальника Балка и омерзительно целовал того в посинелые уста.

— Нужны пулеметы... на крышах! И передайте городovým, — наказал министр, — что, если будут стрелять в народ решительно, я обещаю им по семьдесят рублей суточных, помимо жалованья, а в случае их гибели семья получит по три тысячи сразу...

Вечером он велел жандармскому полковнику Балашову сделать к утру доклад о положении в столице. Полковник в шинели солдата-окопника всю ночь шлялся по улицам, наблюдая за людьми и событиями; а утром разбудил Протопопова словами:

— Это конец! Советую вам скрыться...

Министр рухнул в обморок. Его воскресили с помощью нашатыря, и поначалу он затаился на даче Бадмаева у Поклонной горы; врач бросал на жаровню ароматные травы и бубнил, что стрелять и вешать надо было раньше, а теперь уже поздно. Звонок по телефону словно взорвал притихшую в снегах дачу.

Звонила жена Протопопова, плачущая навзрыд.

— Ты вот сбежал, меня бросил, — упрекала она мужа, — а к нам ворвались солдаты, искали тебя, распороли штыками всю обивку на диванах и креслах. Хорошо, что не убили.

— Откуда ты звонишь?

— Мог бы и сам догадаться, что меня приютил твой брат Сергей на Калашниковской набережной...

На Литейном министр (еще министр!) видел, что казаки, посланные для усмирения восставших, лениво крутили сигарки в седлах. Если кто из них ронял пику, прохожие поднимали ее и дружелюбно подавали казаку. На углу Некрасовской, оскалив красные от крови зубы, лежал убитый жандарм... Стрельба, пение, оркестры!

Протопопов решил укрыться в Мариинском дворце; тут его поймал на телефоне градоначальник Балк, сказавший, что сопротивление немислимо — он с отрядом конных стражников пробьется в Царское Село, чтобы там охранять императорскую семью.

— На ваше усмотрение, — отвечал Протопопов.

В грохот оркестров вмешивалась трескучая дробь пулеметов, расставленных на крышах. Мертвые на улицах стали так же привычны, как свежая булочка к утреннему чаю... Голицын сказал:

— Александр Дмитриевич, ваше имя раздражает толпу. Простите, но вы должны покинуть нас... нужна благородная жертва!

Покидать Мариинский дворец, где был отличный буфет, где от калориферов разливалось приятное тепло, было страшно. Протопопов забрел в кабинет Госконтроля, в мрачной и темной глубине которого ничего не делал госконтролер Крыжановский.

— Можно я посижу у вас? — спросил робко.

Ну, не гнать же его в три шеи.

— Посидите, — отвечал Крыжановский. — Только недолго. А то вас уже ищут. Вас и вашего товарища Курлова.

Потом спросил, где он собирается ночевать.

— Не знаю. Мой дом разбит. А к брату идти боюсь.

Контролер дал ему адрес: Офицерская, дом № 7. Протопопов снял пенсне и поднял воротник пальто, чтобы не быть узнанным. Возле Максимилиановской лечебницы со звоном распались стекла витрин, шустрая бабка в валенках шагнула в магазин через окна, будто в двери. Протопопов сунулся в подъезд № 7 по Офицерской, но швейцар наcostылял министру внутренних дел по шее.

— Проваливай! Ходют здесь всякие... шпана поганая!

«Бреду обратно, — писал Протопопов, — через площадь к Николаевскому мосту — не пускают. Я думал пройти на Петербургскую сторону, Б. пр., д. № 74, к своей докторше Дембо. Перешел Неву по льду... через Биржевой не пускают, через Тучков тоже, а по Александровскому проспекту — стрельба ружей и пулеметов. Вернулся к Мариинскому дворцу...»

— Это опять вы? — возмутился Крыжановский. — Вам же сказано, что ваше присутствие в правительстве неуместно.

Протопопов заплакал и сказал, что с Офицерской его турнули. Крыжановский сунул ему адрес другого убежища: Мойка, дом № 72. «Я вновь вышел на улицу; толпа была еще велика, и масса вооруженных, даже мальчиков, стреляли зря — направо и налево и вверх. Дальше от площади по Мойке было сравнительно тихо... Идти

было очень опасно, могли узнать, и тогда не знаю, остался ли бы я живым». Эту ночь он провел на чужом продавленном диване.

— Боженька, за что ты меня наказуешь?..

Утром Протопопову дали чаю и кусок черного хлеба. В передней он увидел на столике кургузую кепочку и спросил хозяев:

— Можно я возьму ее? А вам оставлю шляпу.

— Берите уж... ладно. Не обедняем.

Замаскировав себя под «демократа», министр внутренних дел вышел на улицы, управляемые пафосом революции. Он укрылся на Ямской у портного, который совсем недавно сшил для него дивный жандармский мундир, суженный в талии. От портного министр узнал, что Курлов уже арестован; газеты писали, что есть нужда в аресте Протопопова, но его нигде не сыскать, — всех знающих о его местопребывании просят сообщить в канцелярию Думы.

— Неужели же я грешнее всех? — спрашивал Протопопов.

При нем были ключи от несгораемого шкафа, в котором хранились секретные шифры, и была еще пачка полицейских фотографий, сделанных с мертвого Распутина в различных ракурсах тела. Протопопов умолял портного, чтобы послал свою девочку на Калашниковскую набережную с запискою к брату. Та вернулась с ответом. «Дурак! — писал брат Сергей. — Имей мужество сдать...»

Портной плотно затворил за министром двери.

Стопы были направлены к Таврическому дворцу.

«Боже, что я чувствовал, проходя теперь, чужой и отверженный, к этому зданию... Господи, никто не знает путей, и не судьбы мы сами жизни своей, грехов своих». Протопопов обратился к студенту с красной повязкой поверх рукава шинели; закатывая глаза к небу и слегка заикаясь, он сообщил юноше:

— А ведь я тот самый Протопопов...

— Ах, это вы? — закричал студент, вцепившись в искомого мертвой хваткой. — Товарищи, вот она — гидра реакции!

Было 11 часов вечера 28 февраля 1917 года.

Громадную толпу солдат и рабочих, готовых растерзать Протопопова, прорезал раскаленный истерический вопль:

— Не прикасаться к этому человеку!

Керенский спешил на выручку; очевидец вспоминал, что он «был бледен, глаза горели, рука поднята... Этой протянутой рукой он как бы

резал толпу... Все его узнали и расступились на обе стороны, просто испугавшись его вида. А между штыками я увидел тщедушную фигуру с совершенно затурканным, страшно съезжившимся лицом... Я с трудом узнал Протопопова».

— Не смей прикасаться к этому человеку!

Керенский возвещал об этом так, словно речь шла о прикосновении к прокаженному. Керенский кричал об «этом человеке», не называя его даже по имени, но всем видевшим Протопопова казалось, что это вовсе не человек, а какая-то серая зола давно затоптанных костров... Буквально вырвав своего бывшего коллегу по думской работе из рук разъяренной толпы, новоявленный диктатор повлек его за собой, словно жертву на заклятие, крича:

— Именем революции... не прикасаться!

Он втащил Протопопова в павильон для арестованных. С размаху, еще не потеряв инерции стремительного движения, Керенский бухнулся в кресло так, что колени подскочили выше головы, и голосом, уже дружелюбным, сказал с удивительным радушием:

— Садитесь, Александр Дмитриевич... вы дома!

«Навыи чары», казалось, еще продолжают: в уголке посиживает Курлов, вот и Комиссаров... Какие родные, милые лица.

— Ну, я пойду! — вскочил Керенский, выбегая...

К услугам арестованных на столе лежали папиросы, печенье и бумага с конвертами для писем родственникам. Слышался тихий плач и сморкание — это страдал Белецкий, общипанный и жалкий.

— Почему я не слушался своей жены? Бедная, несчастная женщина, она же говорила, что добром я не закончу... За эти годы я прочел столько книг о революциях, что мог бы и сам догадаться, что меня ждет в конце всех концов. Ах, глупая жизнь!..

Из угла павильона доносился могучий храп — это изволил почивать, сидя в кресле, сам Горемыкин, и его длинные усы колебались под дуновением зефира, вырывавшегося из раздутых ноздрей. Раньше он утверждал, что война его не касается; сейчас он демонстрировал равнодушие и к революции... Комиссаров сказал:

— Вот нервы, а? Позавидовать можно.

Зато министр финансов Барк напоминал удавленника: галстук болтался, как петля, из воротничка торчала одинокая запонка.

— А ведь могут и приклепнуть, — высказался он.

Штюрмер аккуратно прочистил нос, заявил с апломбом:

— Гуманность, господа, это как раз то самое, чего никогда не хватало России... Будем взывать к гуманности судей!

— Паша, — сказал Протопопов, — пожалей ты меня.

Курлов волком глянул из-под густых бровей.

— Мы сажали, теперь сами сидим... И не ной!

— Но я же никому ничего дурного не сделал.

— Э, брось, Сашка! Хоть мне-то не трепись...

Под министром юстиции Добровольским вибрировал стул.

— Ну, да — играл! В баккара, в макао. Каюсь, долги в срок не возвращал. Но жена, но дети... Так в чем же я виноват?

— А я всегда был сторонником расширения гражданских прав, — отвечал ему Протопопов. — Теперь говорят, что я расставил по чердакам пулеметы... Господа, посмотрите на меня и представьте себе пулемет. Я и пулемет — мы не имеем ничего общего!

Была уже ночь. Отсветы костров блуждали по потолку павильона. «Приходил фельдфебель... подошел ко мне и почти в упор приставил к моей голове маузер; я не шелохнулся, глядя на него, рукой же показал на образ в углу. Тогда он положил револьвер в кобуру, поднял ногу и похлопал рукой по подошве...»

Протопопов затем спросил Курлова:

— Паша, а что должен означать этот жест?

— Догадайся сам. Не так уж это трудно...

Двери раскрылись, и в павильон охрана впихнула типа, у которого один глаз был широко распылен, а другой плотно зажмурен. Это предстал Манасевич-Мануйлов — в брюках гимназиста, достоящих ему до колен, а голову Ванечки украшала чиновничья фуражка с кокардой самого невинного ведомства империи — почтового!

— Пардон, — сказал он, шаркнув. — Но при чем же здесь я? Не скрою, что удивлен, обнаружив себя в обществе злостных реакционеров и угнетателей народного духа. Впрочем, о чем разговор?

Жандармы Курлов и Комиссаров стали позевывать.

— А не поспать ли нам, Павел Григорьич?

— Я тоже так думаю, — согласился. Курлов.

Генералы от инквизиции нахальнейшим образом составили для себя по три стула (причем один недостающий стул Курлов вырвал из-под Ванечки) и разлеглись на них. Удивительные господа! Они еще

могли спать в такие ночи... Но министрам было не до сна, и они обмусоливали риторический вопрос — кто же виноват?

— Ну, конечно, — сказал Манасевич, не унывая. — Какие ж тут среди вас могут быть виноватые? Господа, — подал он мысль, — вы же благороднейшие люди. Если кто и был виноват все эти годы, так это только покойник Гришка Распутин...

Ну что ж! Распутин — отличная ширма, за которой удобно прятаться. Добровольский полез к Ванечке с поцелуями.

— Воистину! Да, да... если бы не Распутин, мы бы жили и так бы и померли, не узнав, что такое революция!

Храп как обрезало: поддерживая серые английские брюки в полоску, вышел на середину древний годами Горемыкин, который при аресте забыл вставить в рот челюсть. Прошамкал:

— Я шлешу имя Рашпутина! Боше мой, не будь этой шатаны, вшо было б благоприштойно. Почему я толшен штрадать за Рашпутина?

Штюрмер призвал самого бога в свидетели.

— Мы шли в состав правительства, осиянные верой в добро, и мы добро делали. Конечно, не будь на Руси этого гнусного шарлатана, и я, страдающий мочеизнурением, разве бы ночевал здесь? Вон растянулись двое. На трех стульях сразу. А я должен всю ночь сидеть. Хорошо хоть, что не отняли последний стул...

Стулья закрипели, и Комиссаров поднял голову.

— Господа министры, вы дадите поспать людям или нет? Что вы тут воркуете, когда и без того уже все ясно!

Заворочался и Курлов на своем жестком ложе.

— Ссволочи, — тихо просвистел он. — Нагаверзили, насвинячили, разрушили всю нашу работу, а теперь плачутся... Вцепились в этого Гришку, словно раки в утопленника. Да будь он жив, он бы задал вам всем деру хорошего! Вы бы у него поспали...

Чтобы не мешать сердитым жандармским генералам, министры, как заговорщики, перешли на деликатный шепоток. Сообща договорились, что на допросах все беды следует валить на Распутина как на злого демона России, который задурманил разум царя и царицы, а мы, исполнители высшей власти, хотели народу только хорошего, но были не в силах предпринять что-либо, ибо демон оказался намного сильнее правительства... С этим они и заснули, вздрагивая от лязга

оружия в коридоре, от топота солдатских ног и выкриков ораторов на площади. За стенами Таврического дворца бурлила разгневанная музыка, медь оркестров всплескивала народные волны, — за синими февральскими вьюгами бушевала Вторая Русская Революция, и мало кто еще знал, что вслед за нею неизбежно грянет — Третья, Великая, Октябрьская...

Посреди площади с треском разгорались костры.

Гремела, буйствовала «Марсельеза».

Как всегда — зовущая и ликующая!

Авторское заключение

Я начал писать этот роман 3 сентября 1972 года, а закончил в новогоднюю ночь на 1 января 1975 года; над крышами древней Риги с хлопанием сгорали ракеты, от соседей доносился перезвон бокалов, когда я, усердный летописец, тащил в прорубь узел с трупом Распутина, гонял по столице бездомного министра.

Итак, точка поставлена!

Говорят, один английский романист смолоду копил материалы о некоем историческом лице, и к старости у него оказался целый сундук с бумагами. Убедясь, что все собрано, писатель нещадно спалил все материалы на костре. Когда его спрашивали, зачем он это сделал, романист отвечал: «Ненужное сгорело, а нужное осталось в памяти...»

Я не сжигал сундук с материалами о Распутине, но отбор нужного был самым мучительным процессом. Объем книги заставил меня отказаться от множества интереснейших фактов и событий. В роман вошла лишь ничтожная доля того, что удалось узнать о распутинщине. Каюсь, что мне приходилось быть крайне экономным, и на одной странице я иногда старался закрепить то, что можно смело развернуть в самостоятельную главу.

У нас обычно пишут — «кровавое правление царя», «жестокый режим царизма», «продажная клика Николая II», но от частого употребления слова уже стерлись: им трудно выдерживать смысловую нагрузку. Произошла своего рода амортизация слов! Я хотел показать тех людей и те условия жизни, которые были свергнуты революцией, чтобы эти заштампованные определения вновь обрели наглядную зримость и фактическую весомость.

По определению В. И. Ленина, «контрреволюционная эпоха (1907–1914) обнаружила всю суть царской монархии, довела ее до „последней черты“, раскрыла всю ее гнилость, гнусность, весь цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Распутиным во главе ее...»

Вот именно об этом я и писал!

Наверное, мне могут поставить в упрек, что, описывая работу царского МВД и департамента полиции, я не отразил в романе их жестокой борьбы с революционным движением. По сути дела, эти два

мощных рычага самодержавия заняты у меня внутриведомственными склоками и участием в распутинских интригах.

Так и есть. Не возражаю!

Но я писал о негативной стороне революционной эпохи, еще на титульном листе предупредив читателя, что роман посвящен разложению самодержавия. Прошу понять меня правильно: исходя из представлений об авторской этике, я сознательно не желал уместить под одним переплетом две несовместимые вещи — процесс нарастания революции и процесс усиления распутинщины. Мало того, работу царского МВД в подавлении революционного движения я уже отразил в своем двухтомном романе «На задворках великой империи», и не хотелось повторять самого себя. Отчасти я руководствовался заветом критика-демократа Н. Г. Чернышевского, который говорил, что нельзя требовать от автора, чтобы в его произведении дикий чеснок благоухал еще и незабудками! Русская пословица подтверждает это правило: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь... Теперь я должен сделать откровенное признание. Кажется, кому же еще, как не мне, автору книги о распутинщине, дано знать о тех причинах, что сделали Распутина влиятельным лицом в империи. Так вот именно я — автор! — затрудняюсь точно ответить на этот коварный вопрос.

Память снова возвращает меня к первым страницам.

Распутин пьет водку, скандалит и кочевряжится перед людьми, он похабничает и ворует, но... Согласитесь, что была масса причин для заключения Распутина в тюрьму, но я не вижу причин для выдвижения этой личности на передний план.

Только ограниченный человек может думать, будто Распутин выдвинулся благодаря своей половой потенции. Поверьте мне, что вся мировая история не знает случая, чтобы человек выдвинулся благодаря этим качествам. Если присмотреться к известным фигурам фаворитизма, к таким ярким и самобытным личностям, какими были герцог Бирон, семья Шуваловых, братья Орловы, князь Потемкин-Таврический, Годой в Испании или Струензе в Дании, то мы увидим картину, совершенно обратную распутинщине. Проявив в какой-то момент чисто мужские качества, фавориты затем выступали как видные государственные деятели с острой хваткой административных талантов — именно за это их и ценили коронованные поклонницы.

Мне могут возразить на примере Потемкина... Да, этот человек не был чистоплотной натурой. Но, обладая крупными пороками, он обладал и большими достоинствами. Потемкин строил города, заселял гигантские просторы необжитых степей Причерноморья, он сделал из Крыма виноградный рай, этот сибарит умел геройски выстоять под шквалом турецких ядер, когда его адъютантам срывало с плеч головы; умнейшие люди Европы ехали за тридевять земель только за тем, чтобы насладиться беседою с русским Алкивиадом, речь которого блистала остроумием и афористичностью.

Какое же тут может быть сравнение с Распутиным! Из истории фаворитизма известно, что, получив от цариц очень много, русские куртизаны умели тратить деньги с пользой не только для себя. Они собирали коллекции картин и минералов, ценные книги и гравюры, вступали в переписку с Вольтером и Дидро, выписывали в Петербург иностранных архитекторов и живописцев, оркестры и оперные труппы, они вкладывали деньги в создание лицеев и кадетских корпусов, после них оставались картинные галереи и дворцы с парками, дошедшие до наших дней как ценные памятники русского прошлого.

А что дошло до нас от Распутина?

Грязные анекдоты, пьяная отрыжка и блевотина...

Так я еще раз спрашиваю — где же тут причины, которые могли бы конкретно обосновать его возвышение?

Я не вижу их. Но я... догадываюсь о них!

Мое авторское мнение таково: ни в какие другие времена «фаворит», подобный Распутину, не мог бы появиться при русском дворе; такого человека не пустила бы на свой порог даже Анна Иоанновна, обожавшая всякие уродства природы. Появление Распутина в начале XX века, в канун революций, на мой взгляд, вполне закономерно и исторически обоснованно, ибо на гноище разложения лучше всего и процветает всякая мерзкая погань.

«Помазанники божьи» деградировали уже настолько, что ненормальное присутствие Распутина при своих «высоконареченных» особах они расценивали как нормальное явление самодержавного быта. Иногда мне даже кажется, что Распутин в какой-то степени был для Романовых своеобразным наркотиком. Он стал необходим для Николая II и Александры Федоровны точно так же, как пьянице нужен

стакан водки, как наркоману потребно регулярное впрыскивание наркотика под кожу... Тогда они оживают, тогда глаза их снова блестят!

И надо достичь высшей степени разложения, нравственного и физиологического, чтобы считать общение с Распутиным «божьей благодатью»...

Я, наверное, не совсем понимаю причины возвышения Распутина еще и потому, что стараюсь рассуждать здраво. Чтобы понять эти причины, очевидно, надо быть ненормальным. Возможно, что надо даже свихнуться до того состояния, в каком пребывали последние Романовы, — тогда Распутин станет в ряд необходимых для жизни вещей...

На этом я и позволю себе закончить роман.

Роман — это дом с открытыми дверями и окнами.

Каждый может устраиваться в нем как ему удобнее.

Жанр романа тем и хорош, что оставляет за автором право что-то недосказать, чтобы оставить простор для читательского домысла.

Без этого домысла никакой роман не может считаться законченным.

notes

Примечания

1

Николай II считал себя позже обязанным своему батальону за доставку короны и до самого конца царствования оплачивал из своего кармана все долги Преображенских офицеров.

2

Здесь и далее по тексту фразы, взятые в кавычки, я цитирую из показаний свидетелей ходынской катастрофы, которые мало известны нашим читателям.

3

Д. О. Отт (1855–1929) — позже плодотворно работал при Советской власти; на базе Повивального института, основанного Оттом, был создан при его участии Акушерско-гинекологический институт Академии мед. наук СССР.

Н. А. Ирецкая (1845–1922) — профессор Петербургской консерватории по классу вокального пения; среди ее учениц Н. Забелла-Врубель, Е. Катульская, Л. Андреева-Дельмас, Н. Дорлиак и др.

5

В описываемое нами время И. И. Восторгов сам находился под судом за растление девочек в Ставропольской гимназии: хорошая компания собралась в одном купе — под статью Гришке Распутину!

6

Я не мог выяснить происхождение этой картины в доме гр. С. С. Игнатъевой; мне известна лишь одна картина под названием «Нана» работы Эдуарда Манэ (1877), но она хранилась в «Кунстхалле» в Гамбурге. Может, у Игнатьевых была копия?

А. А. Поливанов (1855–1920) — генерал от инфантерии, ученый генштабист, одним из первых царских генералов перешел на службу в Красную Армию; скоропостижно скончался в Риге при заключении советско-польского мирного договора; согласно его завещанию погребен в Ленинграде в мундире российского Генштаба.

8

Об этой гигантской афере Т. Манасевича подробно сказано в книге М. Д. Бонч-Бруевича «Вся власть Советам» (М., 1958).

9

Из Парижа Манасевич-Мануйлов продал охранке якобы японские секретные коды, которые на поверку оказались страницами, вырванными наугад из англо-японского словаря.

10

С. И. Тютчев (1870–1957) — заслуженный советский искусствовед, научный работник музея-усадьбы Мураново; М. В. Нестеров написал портрет этой женщины на фоне «тютчевского» пейзажа (находится в Горьковском художественном музее).

О гибели капитана Л. М. Мациевича (1877–1910) существует несколько версий. Для написания этого факта я использовал письма П. А. Столыпина к царю, записки жандарма П. Г. Курлова и воспоминания борца-авиатора Ивана Заикина «В воздухе и на арене».

В 1968 г. наша печать опубликовала найденное в архивах «Дело Коковцева», где сказано: «Этот вопрос о погроме в связи с убийством Столыпина мало известен». Описание массового бегства евреев из Киева в ночь с 1 на 2 сентября 1911 г. дано в автобиографическом романе польского писателя Яна Бжехвы, прошедшего свою юность в Киеве («Пора созревания». М., 1964).

Эти очень интересные документы, составленные Илиодором на квартире Бадмаева, опубликованы в советское время в книге «За кулисами царизма. Архив тибетского врача Бадмаева».

По слухам, бытовавшим в обществе, Коковцев предложил «отступного» Распутину в двести тысяч рублей.

В известной книге «Rasputin und die Frauen» («Распутин и женщины». Берлин, 1927) приведена любопытная таблица взаимоотношений Распутина со столичным обществом; там в числе его прочных «поклонниц» обозначена и Н. И. Червинская.

Здесь же позволю себе выразить благодарность полковнику медицинской службы Виталию Сергеевичу Чернобурову, который, будучи учеником С. П. Федорова (1869–1936), многое поведал мне из его рассказов о лечении наследника и влиянии Распутина на дела придворной медицины.

С. Ю. Витте ввел винную монополию в 1894 г., и она стала одним из рычагов «систематического, беззастенчивого разграбления народного достояния кучкой помещиков, чиновников и всяких паразитов» (Ленин, соч., т. 12, с. 270). Так, например, в 1913 г. себестоимость водки составила 200 млн. руб., а население оплатило ее в сумме 900 млн. руб. Конечно, все эти разговоры Романовых о «спаивании народа» — чистая демагогия, имевшая своей целью свергнуть В. Н. Коковцева.

Приношу извинения перед читателем за то, что известную в истории «Записку» П. Н. Дурново я перевел в прямую речь, дабы мне было удобнее выделить в ней самое существенное.

19

После революции, при разборе бумаг императрицы, была найдена карта с детальным обозначением войск всего фронта, которая готовилась в Ставке лишь в двух экземплярах — для Николая II и генерала М. В. Алексева. Интересно, кто мог ею пользоваться?

Нынешние Слока (курорт на Рижском взморье), станция Ишкалны (дачное место под Ригой) и город Даугавпилс — областной центр ЛССР, входивший до революции в состав Витебской губернии.

Кронпринц Генрих Прусский писал: «Благоприятная минута для заключения мира с Россией представлялась в конце лета 1915 г. Царь как раз назначил тогда Штюрмерас В этом назначении неоспоримый признак желания начать переговоры с нами о мире». — «Мемуары германского кронпринца». ГИЗ, 1923, с. 131.

А. В. Амфитеатров открыл протопоповскую прессу статьей, которая представляла собой бессмысленный набор слов. На самом же деле она была замаскированной криптограммой. Из первых букв каждого слова складывалась фраза с требованием отставки Протопопова!

Это А. А. Хвостов, родной дядя А. Н. Хвостова, о котором мною говорилось.

Родной брат Николая Михайловича великий князь Александр Михайлович был женат на великой княжне Ксении, родной сестре императора Николая II; дочь от этого брака, Ирина Александровна, была женою князя Ф. Ф. Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон, убийцы Распутина.

В его характере была одна черта — искренность, которая многих подкупала. Известный чекист Я. Х. Петерс, член ЦК ВКП(б) и соратник Дзержинского, писал о причинах освобождения Пуришкевича, что он «держался хорошо, в результате произвел впечатление на некоторых товарищей, и когда вопрос (о нем) обсуждался в коллегии, то, благодаря одному воздержавшемуся, он остался жив» (статья Я. Х. Петерса «10 лет ВЧК — ОГПУ»).

Это был доктор Файнштейн.

На судебном процессе кн. Ф. Ф. Юсупова в США (1965 г.) на вопрос адвоката, сколько сделано выстрелов в Распутина, князь после долгого размышления дал ответ, что выстрелил дважды. Очевидно, это ошибка — выстрел был сделан один.

Н. М. Романов (историк) полагал, что виноват в этом Дмитрий Павлович, который, уезжая с Лазовертом и Сухотиным, забыл затворить за собой дверь.

Существует версия, по которой Пуришкевич преследовал Распутина не один — с ним была женщина, тоже стрелявшая, аристократка из очень древней русской фамилии.

Table of Contents

Валентин Пикуль НЕЧИСТАЯ СИЛА

Пролог, который мог бы стать эпилогом

Часть первая ПОМАЗАННИКИ БОЖИИ (1880-е годы — осень 1905-го)

Прелюдия к первой части

1. Гатчинские затворники

2. Суций младенец Ники

3. Гессенская муха

4. Воспитательное путешествие

5. Колесо истории

6. Скандал в Ливадии

7. Нечистая сила

8. Житие царя тишайшего

9. Первые призраки

10. Звериный рык

11. Явление мессии

12. Чудо без чудес

13. Бесстыжий апостол

14. Парламент на крови

Финал первой части

Часть вторая ВОЗЖИГАТЕЛЬ ЦАРСКИХ ЛАМПАД (1905–1907)

Прелюдия ко второй части

1. Первый блин комом

2. Салонная жизнь

3. «Нана» уже треснула

4. Самая короткая глава

5. Темные люди

6. Из грязи да в князи

7. Дума перед думой

8. Почти как в Англии

9. Дуракам все в радость

10. Бомба в портфеле

11. Лампадный Гришенька

12. Премьеры и примеры

13. Друзья-приятели

Финал второй части

Часть третья РЕАКЦИЯ — СОДОМ И ГОМОРРА (лето 1907-го — конец 1910-го)

Прелюдия к третьей части

1. Скандальная жизнь

2. Cela me chatoville

3. Хоть топор вешай!

4. Гром и молния

5. Мой пупсик — мольтке

6. Бархатный сезон

7. Изгнание блудного беса

8. Родные пенаты

9. Вундеркинд с сахарной головкой

10. Коловращение жизни

11. И даже бетонные трубы

12. Три опасных свидания

13. На высшем и низшем уровне

Финал третьей части

Часть четвертая НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ (январь 1911-го — весна 1912-го)

Прелюдия к четвертой части

1. Муравьиная куча

2. Саблер безо всяких «но»

3. Прохиндеи за работой

4. Провокатор нужен

5. На бланках «штандарта»

6. Третья декада августа

7. Сказка про белого бычка

8. Сказка о царе Салтане

9. Теперь отдыхать в Ливадию

10. Так было — так будет!

11. Кутерьма с ножницами

12. Натиск продолжается

13. Один Распутин или десять истерик

Финал четвертой части

Часть пятая ЗЛОВЕЩИЕ ТОРЖЕСТВА (лето 1912-го — осень 1914-го)

Прелюдия к пятой части

1. Вербовка агентов
 2. Слепая кишка
 3. Медленное кровотечение
 4. В канун торжества
 5. Романовские торжества
 6. Горемычные истории
 7. «Мы готовы!»
 8. Герои сумерек
 9. Июльская лихорадка
 10. «Побольше допинга!»
 11. Зато Париж был спасен
- Финал пятой части

Часть шестая ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ (осень 1914-го — осень 1915-го)

Прелюдия к шестой части

1. Все ставки на ставку
 2. Штаб-квартира империи
 3. Убиение «невинных» младенцев
 4. Поклонение святым мощам
 5. Открытые семафоры
 6. «А нам наплевать!»
 7. Мелочи жизни
 8. Кесарю — кесарево
 9. Мафия — в поте лица
 10. Практика без теории
 11. Заготовка дров
- Финал шестой части

Часть седьмая ХВОСТОВЩИНА С ХВОСТАМИ (осень 1915-го — осень 1916-го)

Прелюдия к седьмой части

1. Мышиная возня
2. Бей дубьем и рублем
3. Наша Маша привезла мир
4. «Навьи чары»

5. Мои любимые дохлые кошки

6. Ахтунг — Штюрмер!

7. Хвост в капкане

8. Когда отдыхают мозги

9. Торт от «Квисисаны»

10. «Мы плохо кончим...»

11. Война или мир?

12. Голоса певцов за сценой

13. «Про то попка ведает...»

Финал седьмой части

Часть последняя СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ (Осень 1916-го — февраль 1917-го)

Прелюдия к последней части

1. Bravo, Пуришкевич, bravo!

2. Анкета на убийц

3. «Не спрашивай, не пытай, левконоя...»

4. До шестнадцатого

5. Последний день мессии

6. Великосветский раут

7. «Византийская» ночь

8. Семейная революция

9. Трупное дело

10. Распутин жив!

11. Женщинам посвящается

Финал последней части

Авторское заключение

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[11](#)
[12](#)
[13](#)
[14](#)
[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)

